

Самуил Гордон
(1909-1998)

Один из самых видных представителей последнего поколения советских еврейских писателей, писавших на идише.

Родился в Ковно (Каунас), воспитывался в детском доме. Юношей приехал в Москву, учился на еврейском литературно-лингвистическом отделении 2-го МГУ. Его можно назвать долгожителем из плеяды выпускников отделения, так как почти все ее представители были репрессированы, многие погибли на фронте или в сталинских застенках.

Издал не менее двенадцати книг на идише, среди которых романы, рассказы, повести и большое количество путевых заметок и очерков. Еврейской автономной области посвящены его книги «Патриоты», «Биробиджанские старожилы». В середине 1960-х годов Самуил Гордон отправляется в длительное путешествие по бывшим еврейским местечкам Украины. Обо всем увиденном и пережитом он рассказал в путевых картинах «Местечки». Со скидкой на условия советской цензуры и идеологического прессинга творчество Гордона можно назвать художественной летописью советского еврейства.

Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. Работал в Совинформбюро, Еврейском антифашистском комитете, был активным автором печатного органа этого комитета, газеты «Эйникайт». В 1949 году Самуила Гордона арестовали и репрессировали по делу ЕАК. До 1956 года он был в ГУЛАГе, впоследствии реабилитирован.

Роман Самуила Гордона «Изкор. Поминальная молитва по осужденным писателям» рассказывает будущим поколениям правду о трагических судьбах, страданиях еврейских литераторов, артистов, ученых, вся вина которых заключалась лишь в том, что они хотели творить в Советском Союзе свою национальную культуру на родном языке. Книга, по словам писателя, «будет служить вечным памятником тем, кто не смог вернуться оттуда, из этого ада». Роман был издан в Иерусалиме в 2003 году. К большому сожалению, его автор не дожил до этих дней.

Самуил Гордон

ИЗКОР

Поминальная молитва по осужденным писателям

Роман

Биробиджан. 2024

УДК 82-311.6
ББК 84(2 Рос-4Евр)6-44
Г68

Гордон Самуил Вульфович
Изкор. Поминальная молитва по осужденным писателям: роман / С.В. Гордон; перевод с идиша. – Хабаровск: АО «Хабаровская краевая типография», 2024. – 580 с.

ISBN 978-6047972-4-2

Книга Самуила Гордона «Изкор. Поминальная молитва по осужденным писателям», написанная на идише, была опубликована в 2003 году в Израиле. Ее автор – один из видных представителей последнего поколения советских еврейских писателей. Ему принадлежит более десятка романов, повестей, рассказов, путевых заметок и очерков. Впервые побывав в Еврейской автономной области еще в 30-х годах, он издал повесть «Биробиджанские дети» (1937 г.). А посетив ЕАО уже после войны, написал ряд очерков, вошедших в сборник «Биробиджанер тойшвим» («Биробиджанцы»).

Читателям представлен роман, который, по словам автора, стал самым важным из того, что он написал в своей жизни.

Участник Великой Отечественной войны, в 1949 году Гордон был репрессирован по делу Еврейского антифашистского комитета. Выйдя на свободу через шесть лет мук в лагерях, реабилитированный в связи с отсутствием состава преступления, в романе «Изкор» он рассказывает будущим поколениям то, что сам пережил, а также о трагических судьбах еврейских писателей в те грозные годы – конец 40-х – начало 50-х прошлого столетия.

Роман переведен на русский язык Исроэлом Некрасовым и Ларисой Привальской.

© Валерия Гордон
© Лариса Привальская – перевод, главы 1-29
© Исроэл Некрасов – перевод, главы 30-89

ISBN 978-6047972-4-2

В 2003 году в Иерусалиме после кропотливой работы над рукописью знаменитого еврейского писателя Самуила Гордона – отца моего мужа – была издана его книга воспоминаний «Изкор. Поминальная молитва по еврейским писателям». Этот роман, по словам автора, не дожившего до его издания почти пять лет, – самое важное из того, что он написал.

Моя внучка Катя Гордон, в то время студентка первого курса университета в Израиле, в студенческой библиотеке узнала, что есть изданная на языке идиш книга «Изкор» ее прадедушки. С большим трудом с помощью Мордехая Юшковского, который участвовал в её издании, эту книгу удалось получить.

Сегодня читателям представлена книга Самуила Вульфовича Гордона в переводе на русский язык.

Я благодарна за возможность издания этой книги моей любимой внучечке Катеньке, правнучке С.В. Гордона (он успел подержать ее на руках), Мордехаю Юшковскому. Особая признательность замечательному переводчику Исроэлу Некрасову и Еве Семеновне Едвабной, которая постоянно поддерживала меня в течение эпопеи подготовки к изданию этой книги. И, конечно, спасибо издателю Валерию Соломоновичу Гуревичу за то, что мы наконец-то пришли к завершению издания этой долгожданной книги.

Валерия Ильинична Гордон

Самуил Гордон и его историческая эпопея

Мордехай Юшковский

С начала 80-х я был хорошо знаком с писателем Самуилом Гордоном через его произведения, которые я читал в оригинале на идише, а также в русском переводе. Личное знакомство с ним состоялось в 1987 году, года я начал работать в редакции журнала «Советиш гейменланд». Частый гость в редакции, Гордон был не только одним из самых знаменитых постоянных авторов журнала, но и членом редколлегии. Раз от раза удавалось с ним коротко побеседовать и насладиться его красочным идишем.

Мне были хорошо известны основные биографические данные Самуила Вульфовича – одного из ведущих представителей последнего поколения советских еврейских писателей. Он родился в Ковно (Каунас) в 1909 году, воспитывался в детском доме, юношей приехал в Москву, учился на еврейском литературно-лингвистическом отделении (ЕвЛИТЛО) 2-го МГУ.

Отделение это стало настоящей кузницей кадров для еврейской культуры в СССР. Там преподавали такие корифеи лингвистики и литературоведения на идише, как Йехезкель Добрушин, Айзик Зарецкий, Ицхак Нусинов, Арон Гурштейн. А его выпускники явились своего рода первопроходцами, построившими основы советской еврейской литературы, а также педагогики, языкознания и лексикографии. Среди них лингвисты и лексикографы Соня Рохкинд и Хаим Лойцкер, знаменитые поэты и прозаики Изи Харик, Зелик Аксельрод, Иосиф Рабин, Нотэ Лурье, Бузи Олевский и другие.

Самуила Гордона, окончившего вуз, по всей видимости, в 1934 году, можно назвать долгожителем из плеяды выпускников ЕвЛИТЛО, так как почти все её представители были репрессированы, многие погибли на фронте или в сталинских застенках. Гордон оказался и одним из самых плодовитых авторов в советской еврейской литературе: дебютировал с повестью на идише в 1928 году, издал не менее 12 книг на идише, среди которых романы, рассказы, повести и большое количество путевых заметок и очерков. Девять его книг переведены на русский язык. В своем творчестве

он продолжил традиции европейской психологической прозы, рисуя исторические пласты и события через внедрение во внутренний мир, душевные искания, психологические и морально-этические коллизии своих героев. Со скидкой на условия советской цензуры и идеологического прессинга творчество Гордона можно назвать художественной летописью советского еврейства. С началом Великой Отечественной войны Самуил Вульфович был призван на фронт, участвовал в боевых действиях, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями, а в 1942 году по состоянию здоровья уволен в запас. Позже работал в Совинформбюро, Еврейском антифашистском комитете, был активным автором печатного органа этого комитета – газеты «Эйникайт».

В 1949 году Самуила Гордона арестовали и репрессировали по делу ЕАК. До 1956 года он отбывал заключение в ГУЛАГе, впоследствии реабилитирован.

В середине 90-х, уже живя в Израиле, я заведовал факультетом по подготовке учителей языка и культуры идиша, организованном при московском отделении американского университета «Туро колледж». Осенью 1994 я пригласил Самуила Гордона провести курс лекций по истории советской еврейской литературы для 52 студентов этого факультета.

Присутствуя на части лекций, которые проводились на идише, я поражался тому, насколько искусно он вплетал в исторический материал собственные воспоминания. Авторы, которых он упоминал, получались у него не энциклопедически-трафаретными личностями, а живыми людьми со своими слабостями и достоинствами. Лекции на столь серьезную и зачастую трагичную тематику Гордон переплетал с обильным языковым фольклором и колким еврейским юмором.

Не раз я просматривал видеозапись с первой его лекцией из этого цикла, где Гордон делился с молодыми слушателями своими горькими воспоминаниями из ГУЛАГа, сравнивая себя и других выживших с героем повести Давида Бергельсона «Дер тойбер» («Глухой»). Он долгие годы мечтал о том, чтобы настал момент, когда можно будет прервать вынужденное молчание и рассказать правду о страданиях еврейских литераторов, артистов, ученых, вся вина которых заключалась лишь в том, что они хотели творить в Советском Союзе свою национальную культуру на родном языке.

После лекции Самуил Вульфович пригласил меня и моего учителя, израильского профессора Гершона Вайнера з"л[1] – создателя кафедры идиша в Университете Бар-Илан, а в то время председателя Всемирного совета по языку и культуре идиша, – в свою квартиру на Кутузовском проспекте. Мы с профессором Вайнером с изумлением, граничившим с оцепенением, на протяжении всего вечера слушали рассказ Гордона о военном прошлом и страшных испытаниях, выпавших на его долю после ареста.

К концу встречи он сказал: «Мне много лет, но у меня остались две мечты. Первая – увидеть своими глазами меорэс а-махпейлэ (гробницу праотцев в Хевроне), а вторая – увидеть этот роман (при этом он поднял со стола огромную пачку машинописных страниц) изданным в Израиле. Этот роман – самое важное из того, что я написал в своей жизни. Он будет служить вечным памятником тем, кто не смог вернуться оттуда, из этого ада».

К сожалению, первой мечте не суждено было сбыться, Гордону не удалось посетить Израиль из-за проблем со здоровьем. Зато вторая его мечта сбылась, хотя и частично. Профессор Вайнер воспринял ее как свое личное обязательство. Через невероятные трудности ему удалось мобилизовать из разных частных источников немалую сумму денег, необходимую для издания романа, слить воедино главы, опубликованные ранее в журнале «Советиш геймланд» (впоследствии «Ди идише гас»), отыскать утерянную, не редактированную рукопись этих глав, совместить этот текст с главами продолжения, переданными ему самим Гордоном. Кроме того, нужно было найти редактора, который смог бы не только перевести советское правописание идиша в общепринятое, но и заменить и объяснить огромное количество русизмов, которые были непонятны читателю, далекому от советской действительности. К кропотливой работе над этим проектом проф. Вайнер сумел привлечь многих специалистов, в т. ч. д-ра Мотла Тищенко из Одессы для основной языковой редакции, писателя Мишу Лева з"л, проживавшего к тому времени уже в Израиле, для текстового анализа и корпуса примечаний, а координировала всю эту тяжёлую работу бессменный секретарь проф. Вайнера Лили Гольцман з"л. После огромных усилий роман «Изкор ди фармишпетэ

[1]Аббревиатура ивритского словосочетания з"л означает «да будет благословенна память его/её»

шрайбер» («Поминальная молитва по осужденным писателям») был издан в 2003 году в Иерусалиме. К величайшему сожалению, автор не удостоился увидеть свое детище, так как скончался в Москве в 1998 году. Мою докторскую диссертацию на тему «Художественно-языковое развитие еврейского исторического романа», выполненную под руководством профессора Дова Ноя з"л, я защитил в 1997 году. Работая над ней, я, к сожалению, не имел в моём распоряжении текста этой эпопеи Самуила Гордона, поэтому не мог детально проанализировать её в диссертации, однако, сопоставляя её с теоретическими основами жанра исторического романа, могу с уверенностью назвать «Изкор» исторической эпопеей. Имена героев изменены, хотя чаще всего они легко узнаваемы. Зато это произведение создает широкий исторический фон, отражающий крах советской еврейской культуры и горькую судьбу её ярких представителей. В предисловии к оригинальному изданию на идише проф. Вайнер писал: «Автору посчастливилось в том, что после шести лет мук в лагерях он вышел на свободу спустя пару лет после смерти тирана. И тогда он решил возложить на себя миссию – передать будущим поколениям то, что сам пережил, а также то, что он видел и слышал о трагических судьбах еврейских писателей в те грозные годы – конец 40-х – начало 50-х прошлого столетия».

Понимая всю важность романа «Изкор», я очень обрадовался, когда получил лет пять назад телефонный звонок от правнучки Самуила Гордона Кати с просьбой передать ей экземпляр книги, т.к. её бабушка Валерия Ильинична, невестка писателя, решила перевести этот роман на русский язык. Можно лишь поражаться той настойчивости и упорству, с которым Валерия Ильинична шла через многочисленные препятствия к достижению этой возвышенной цели. Как говорят по-еврейски, за это ей полагается огромный йишер-коех!

Благодаря этому переводу книга станет доступна многочисленным русскоязычным читателям, и хочется надеяться, что со временем этот бесценный роман будет переведен и на другие языки, и, как сказано в его последнем предложении: «будет звучать громом между небом и землей вечный еврейский «Изкор»».

Глава 1

Гроб с покойником еще до полудня должны были привезти из Боткинской больницы, куда его доставили прямиком с минского поезда, прибывшего на Белорусский вокзал. Дело, однако, уже далеко за полдень, вот уж и вечер приближается… Гасит потихоньку искры, сверкающие на высоких сугробах, готовится к ночи, покрывая снег тенями от тесно скученных домов и оголенных деревьев. Скоро в печально-сером небе начнут появляться звезды. Но никто из толпы, пришедшей сюда, чтобы попрощаться со Шлойме Бен-Михоэлом – благословенна память его! – и не думает уходить, пусть даже придется прождать до глубокой ночи и крепкий морозец заступит на смену мягкому вечернему холодку… А все к тому идет, ведь на дворе месяц шват[1], самая середина января.

Толпа собралась здесь еще рано утром, как только распространилось по городу печальное известие, передаваемое из уст в уста людьми с заплаканными глазами. К вечеру очередь к зданию Еврейского театра в начале Малой Бронной растянулась далеко наверх, через соседнюю Большую Бронную аж до Пушкинской площади. Стояли по пять-шесть человек в ряд, заполонив не только весь тротуар, но и часть мостовой. Народу становилось все больше. Вот людская масса уже перевалила через улицу Горького к площади Маяковского, и даже те, кто находился не в самом хвосте очереди, начали сомневаться в том, что успеют до закрытия пройти рядом с гробом и в последний раз увидеть вблизи того, кого мир короновал титулом «Соломон Мудрый». Завтра, наверное, уже не будут к нему пускать. Похороны в первой половине дня.

В одном из последних рядов стоял Залман Мандел. Слишком не по сезону он был одет, чтобы простоять несколько часов на морозе, который к вечеру все сильнее давал о себе знать. На Залмане было легкое осеннее пальтецо и простые, не до конца зашнурованные туфли – как будто он жил где-то неподалеку и выскочил на минутку, в киоск за сигаретами. Впрочем, почти так все и было. Он собирался всего лишь дойти до ближайшего телефона-автомата, чтобы

1 Шват – пятый месяц еврейского календарного года, приходится на январь-февраль (здесь и далее прим. перев.).

позвонить другу, театральному критику Натану Левитину. В коммунальной квартире, где проживал Залман, телефон уже пару дней как был отключен: кто-то из соседей забыл вовремя оплатить разговор по межгороду. Залман не успел еще ни о чем спросить, как трубка выскользнула у него из пальцев. Новость, которую сообщил ему Левитин, была настолько шокирующей, что он, даже не зайдя домой переодеться, тут же запрыгнул в подошедший трамвай, направлявшийся в центр города. Остаток пути – от Охотного Ряда до Никитских Ворот – он проделал пешком, даже не заметив, как набрал полные туфли воды, наступая прямо на кучи убранного с дороги снега.

Из зимней одежды на Залмане была только темно-коричневая пыжиковая шапка, которая приглянулась ему недавно в комиссионке. Правда она была ему настолько велика, что чуть не падала на глаза. Такой головной убор прекрасно подошел бы какой-нибудь знаменитости, желающей укрыться от жадных глаз публики. Залман Мандел тоже был человек с именем, но не столь известен, чтобы его узнавали на улице, хотя в сборниках его стихов была напечатана фотография автора, а в фойе театра, среди фотографий драматургов, чьи пьесы входили или до сих пор входят в репертуар, был вывешен и его портрет. Театр уже поставил три его пьесы. В одной из них главную роль исполнил сам Бен-Михоэл, и это сблизило их еще больше. В последнее время они даже перешли на «ты», несмотря на разницу в возрасте: Залман был почти на полтора десятка лет моложе.

Как бы там ни обстояло дело с его популярностью, Манделу не было нужды прибегать к помощи специальной шляпы, чтобы избежать назойливых посторонних взглядов. Сейчас у него и вовсе появились сомнения в том, что кто-то из людей в очереди знает его в лицо. Он никогда не принадлежал к числу тех писателей, которые постоянно выступают с чтением своих произведений на литературных вечерах и нередко только тем и запоминаются публике. Так или иначе, пока что к нему никто еще не обратился, из чего Залману нетрудно было сделать вывод, что ни один из собравшихся, вероятно, никогда не держал в руках его идишских книжек. И невдомек им, что он – автор той самой драмы, которую они, конечно же, видели на сцене и которая, несомненно, осталась у них в памяти, ведь главную роль в ней играл тот, с кем они теперь пришли попрощаться, кого

хотят проводить в последний путь. А кто может принимать случившееся так близко к сердцу, как еврейский писатель?.. А даже если бы кто-нибудь из толпы узнал его и спросил о том, как произошло «это несчастье», что он мог бы ответить? Разве что то же, что сам услышал здесь, стоя в очереди наравне со всеми? Хотя нет, в отличие от соседей по очереди, он – возможно единственный – уже побывал внутри здания театра, где шла подготовка к прощанию и куда вот-вот должны были привезти гроб… Люстры, зеркала и настенные светильники вдоль лестниц, ведущих в фойе, занавешены черным. На опущенном занавесе в траурной рамке – портрет Шлойме с орденом Ленина на лацкане пиджака. Легкая улыбка на лице, выдающаяся вперед нижняя губа. Широко раскрытые, немного вытаращенные глаза удивленно вглядываются в полутемный зрительный зал, словно спрашивая: отчего же тут сегодня так пусто и так тихо? Почему так суетится и бегает туда-сюда вдоль сцены Биньомин Бен-Арье – самый близкий его друг, с которым пройдена вся жизнь рука об руку? Почему он то и дело обхватывает голову руками и вытирает глаза?

В театре Залман был своим человеком, и никому не показалось бы странным, останься он там, вместо того чтобы торчать на морозе. Он мог бы присоединиться к небольшой горстке людей, в ожидании сидящих на сумеречной галерке. Незнакомых среди них не было. Два всемирно известных режиссера. Остальные – великие русские писатели. Никого из пишущих на идише. Неудивительно: те, скорее всего, стоят сейчас снаружи, вместе с народом.

Вот и Залман уже снова на морозе, не спеша сворачивает с Малой Бронной на Большую. Но не для того, чтобы отыскать в толпе знакомых, покинул он театр: ему хотелось посмотреть, сколько примерно людей здесь сегодня собралось и что это за люди. Еще не дойдя до Пушкинской площади, он уже насчитал четыре тысячи. Ничего неожиданного. Шли и глубоко пожилые люди, и молодежь, и штатские, и военные. Детей много… Детей, которые не успели увидеть и теперь уже никогда в жизни не увидят того, с кем идут прощаться. Некоторые женщины держали на руках совсем крошечных младенцев.

«Может, неразумно было с моей стороны, – размышлял Залман, постукивая нога об ногу, – скрывать от Биньомина детали той нашей последней встречи с Бен-Михоэлом, накануне трагедии».

Шлойме тогда направился в Минск в сопровождении еще одного представителя комитета по Сталинским премиям, театрального критика Голубова[1]. В те же дни оказался там и Залман – привез в Минский еврейский театр[2] свою новую пьесу. На читке Шлойме не смог присутствовать. Он был занят, ходил в Оперный театр, проверить, заслуживает ли очередная их постановка того, чтобы удостоить ее Сталинской премии.

На следующий день после читки Залман обедал со Шлойме в ресторане гостиницы, где они оба остановились. Когда подали горячее, Шлойме тихонько произнес несколько слов, словно доверяя ему какой-то секрет, и теперь Залман понимает, что это действительно был секрет:

– Залманке, – сказал ему Шлойме, – ту поездку в Америку они нам не простят.

– Кто они? Почему не простят?

Шлойме ничего не ответил, лишь рукой махнул так, что это могло означать: «Никому ни слова…», или: «Просто забудь», или даже: «Может, я ошибаюсь…»

Не исключено, что именно поэтому Залман не стал ничего рассказывать Биньомину. Да и вообще, так не хочется верить в существование какой бы то ни было связи между случившимся и тем, что шепнул ему тогда Бен-Михоэл. Нет, даже настолько гениальный человек не мог быть провидцем до такой степени. Но что-то его все-таки мучило. Тайну эту он унес с собой – туда, откуда нет пути назад. Хотя кто знает… Сколько тайн, покоившихся глубоко в земле, со временем воскресали из мертвых?!

Судя по тому, что толпа вдруг резко продвинулась вперед, наконец, привезли гроб, и людей стали пускать в здание театра. Разговоры в очереди, однако, по-прежнему не утихали ни на миг. Сам Залман в них не участвовал, но старался не упустить ни единого слова, будто надеялся услышать нечто, что дало бы ему ключ к разгадке…

1 Владимир Ильич (Вольф Гилькович) Голубов (1908-1948) - публиковавшийся под псевдонимом Потапов. Театровед, театральный журналист, секретарь Комитета по Сталинским премиям, по свидетельствам ряда источников, осведомитель МГБ.

2 Белорусский государственный еврейский театр (БелГОСЕТ) - основан в 1926 году в Москве, вскоре переведен в Минск. В годы Второй мировой войны работал в Новосибирске. Вернулся в Минск в конце 1946 года.

– Хотел бы я знать, – произнес стоявший впереди деликатного вида юноша с густыми усами, в глубине которых прятался кончик его длинного, раскрасневшегося на морозе носа, – если все так, как говорят, и их[1] переехал грузовик, то зачем понадобилось везти его в больницу на вскрытие и держать там столько времени?

– По необходимости, вероятно. – Встрял стоявший в сторонке пожилой мужчина с коротко подстриженной бородкой, похожий на опытного адвоката. – Была на то, как мне представляется, солидная причина.

– Это какая, например? – Раздалось одновременно несколько голосов.

– Например, вы спрашиваете? Например, потому, что в подобных случаях сперва полагается во всем разобраться. Вдруг они были навеселе и сами, например, под колеса бросились?

– Глупости.

– Да как вам угодно…

– Это что ж такое вам в голову-то взбрело, а? Вы хоть в курсе, сколько я со Шлойме знаком? Я его еще в роли бадхена[2] лицезрел, в «Ночи на старом рынке»[3]! А уж сколько раз я его просто так видел… Да… И что-то я вот не припомню, чтобы он когда-нибудь был под градусом, как это принято, да простят они мне, у знаменитостей.

– А мне вот доводилось его в подпитии наблюдать. Не на улице, ясное дело. И сторонний человек вряд ли бы чего заметил. Науке возлияний Шлойме, небось, у самых великих актеров да писателей обучался. У меня и самого в тех кругах некоторые знакомства водились. В любом случае, со стаканом он управлялся уж как-нибудь получше своего реб Алтера из «Мазлтов»[4], у которого после первой рюмки ноги начинали подкашиваться. Он еще кричал все: «Никогда еврей не бывает пьян! Еврей ведь как-никак… еврей!»

Залман не проронил ни слова. Он мог бы внести свой вклад в дискуссию, но с его стороны даже заикнуться на эту тему было бы

1 Второй жертвой наезда стал В.И. Голубов-Потапов.

2 Бадхен (ивр.) – в традиции ашкеназских евреев скоморох, шут, свадебный тамада.

3 «Ночь на старом рынке» – спектакль, поставленный в ГОСЕТе в 1925 году, по одноименной поэме Й.-Л. Переца.

4 «Мазлтов» (Ид. "Поздравления!") – спектакль, поставленный в ГОСЕТе в 1921 году.

величайшим святотатством. Из всего услышанного здесь самой правдоподобной показалась ему гипотеза, высказанная молодым военным в очках:

– Водитель машины, похоже, пьян был. И почему он их в канаву бросил, тоже нетрудно догадаться. Оставил бы их на дороге, там, где переехал, – его бы скоренько поймали, ведь он бы другим машинам путь загородил. А так от его колес следы с другими перепутались…

Пока что, однако, никто не задался вопросом, который не давал покоя Залману. В Минске Бен-Михоэл был далеко не впервые. Как же его тогда занесло в какую-то пустошь за городом? Пошел взглянуть на развалины еврейского гетто? Да кто же ходит туда впотьмах? По идее на них могли ведь и просто грабители напасть. На Шлойме была хорошая шуба. Он ее из Америки привез, когда ездил туда посланником от Сталина. Шуба была подарком от еврейских рабочих Нью-Йорка. Пока они собирали доллары, чтобы закупить оружие для Красной Армии, для Шлойме шили эту шубу, стежок за стежком… Грабители – если все же имело место разбойничье нападение – об этом, разумеется, не знали и знать не могли. Но сам тот факт, что шубу, по словам Биньомина, не украли, как нельзя лучше свидетельствует против версии об ограблении.

«Ту поездку в Америку они нам не простят».

«Кто они? Почему не простят? Вы же не сами по себе поехали. Вас ведь туда отправили, по его инициативе, с его ведома».

Разгадку Шлойме унес с собой. В вечность.

Мимо очереди прошествовали двое молодых людей в одинаковой одежде: коричневое пальто с черным воротником, ондатровая шапка и подшитые валенки. С чего Залману вдруг почудилось, что у этих двоих есть ответы на его вопросы? Может, потому, что они сами к нему как-то странно присматриваются?..

– «Эйл молэ рахамим, шойхэйн бамроймим[1]…» – донеслось из передних рядов. Песнь звучала настолько мощно, что, наверное, доходила до заиндевевших звезд, подвешенных в морозном небе.

1 «Господь, преисполненный милосердия, пребывающий в небесах» (ашк. ивр.) – начало молитвы, произносимой от лица общины в память об умерших, в частности, о тех, кто погиб мученической смертью.

– Эс нишмосой[1]… – вступил второй голос – высокий, чистый, полный мольбы и печали.

У Залмана перехватило дыхание, хотелось выть. Накатила такая слабость, что он никак не отреагировал, когда рядом с ним одна женщина шепотом сообщила другой, что приехала Голда.

– Какая Голда? – Обратился к ней, как будто придя на помощь Залману, пожилой мужчина.

– Что значит «какая Голда»? Говорят, Бен-Михоэл ей на Израиль миллион долларов дал.

– Откуда же взялось у него такое богатство, да еще в валюте?

– Так он в Америке был, вот и привез.

– Какой только чепухи люди не придумают!

– А вы почем знаете, что это неправда? На пустом месте такого говорить не станут.

– И вы в это верите?

Невдалеке Залман снова заметил тех двух одинаково одетых молодых людей.

– Пошустрее, товарищи, пошустрее, – подгонял входящих крепкий юнец с красно-черной лентой через плечо.

Залман вытащил замерзшие руки из карманов и, пригнув голову, начал взбираться по ступенькам мимо висящих на стенах светильников. Неслышно, словно стараясь не касаться пола, вошел он в тускло освещенный зрительный зал.

Тем, кто подходил к гробу вслед за ним, пришлось подождать. Залман замедлил шаг. Слегка коснулся холодных, сложенных вместе рук Шлойме. Тех рук, что на сцене подчас выражали больше, чем произносимый текст.

Была в них особенная сила, какая-то неповторимая магия. Гениальные руки работы гениального скульптора.

Он встал вторым в траурную вахту у подножья гроба и смотрел, и смотрел, не отводя глаз, на это лицо и на синеватую полосу на шее.

– Ой, Шлойме, Шлойме…

Стоявший рядом мужчина взглянул на него с удивленным испугом. Похоже, Залман произнес это вслух. Немудрено. Он ведь

1 «Душу его» – из той же молитвы.

сюда не просто попрощаться с покойным пришел, а к ответу его призвать. Как могло такое случиться? Почему Шлойме подпустил к себе смерть? Почему не вступил с ней в схватку? Почему не возопил, как в «Короле Лире»[1], когда в бушующую ночь, под грохот грома и сверкание молний, требовал от Создателя, чтобы «сплюснулся шар земной»[2]?..

– Ой, Шлойме, Шлойме… – На сей раз Залман не сомневался, что слова не слетели с его уст. Но обращался он по-прежнему к Бен-Михоэлу как к живому, не в силах заставить себя хоть на секунду взглянуть на него иначе – как на того, с кем разлучаешься навсегда… Если только нет другого мира, кроме этого. Или все же…

– Ой, Шлойме, Шлойме…

Каких-то пять дней назад они сидели рядом в минском ресторане, обедали. Он, Залман, в тот день уезжал домой, а Шлойме собирался ехать назавтра. Почему он этого не сделал? Что ему помешало? Будучи в Минске, Залман слышал от тамошних актеров, что исполнитель главной роли – Шимеле Сорокера – в их постановке «Двухсот тысяч» Шолом-Алейхема[3] – умолял Бен-Михоэла, чтобы тот отсмотрел хотя бы первый акт, и Шлойме ему пообещал. Так неужели из-за этого он на день отложил свой отъезд? Но тогда разве стал бы он таиться от Залмана? Наоборот! Он бы и его уговорил задержаться еще на денек, за компанию…

«Всего пять дней назад мы с тобой трапезничали в минском ресторане… До этого мне однажды уже довелось сидеть с тобой за одним столиком, в Москве, тоже не так давно. Я шел из книжной лавки, что на улице Кирова, и случайно столкнулся с тобой на Пушечной, неподалеку от Центрального дома художника. Ты не захотел меня отпускать, зазвал посидеть в тамошнем заведении. Час был поздний, и свободных столиков у них не оказалось. Но стоило нам только появиться на пороге зала, как отовсюду стали махать, приглашая тебя присоединиться и знаками показывая, что и для твоего гостя – для меня, то бишь – местечко отыщется. Не прошло и минуты, как инициативу перехватил белокурый юноша с закрученными

1 Спектакль по одноименной пьесе У. Шекспира, поставленный в ГОСЕТе в 1931 году.
2 У. Шекспир, «Король Лир», 3 действие, 2 картина.
3 «Двести тысяч» – спектакль БелГОСЕТа по пьесе Шолом-Алейхема «Крупный куш».

бакенбардами и бабочкой на открахмаленной до жесткости рубашке. Не дожидаясь твоего согласия, он внес в зал еще один столик, поставил его у окошка, принес два стульчика с мягкими сидениями и высокими спинками. Я сразу понял, что тебя здесь знают как завсегдатая и что этот блондин – твой постоянный официант. Мы просидели там часа два или больше, а между собой нам хорошо если парой слов удалось перемолвиться: вокруг сидели люди известные, признанные, и то один, то другой подходил к нашему столику, желая испить бокал вина с «царем Соломоном», властителем мира искусств… А ты не хотел никого обидеть и всякий раз притрагивался губами к рюмке. Слегка, не более. Чувство меры, присущее тебе на сцене, не подводило тебя и в повседневной жизни.

Хмельным я тебя видел только в роли Алтера, когда ты бормотал: «Никогда еврей не бывает пьян! Еврей ведь как-никак… еврей!» Но не тот это хмель, Шлойме, ох, не тот, чтоб под колеса попадать…»

*

Угрюмый низкорослый мужчина, которого один из актеров вывел из-за кулис, припал к гробу, как припадают в час беды к отворенному орн-койдеш[1]. Залман не узнал его. Человек этот, казалось, вовсе ничего не видел вокруг. Поначалу даже не обратил внимания, когда стоящий позади него в очереди стал в нетерпении постукивать ему по затылку. Уже сойдя с вахты, Залман все же догадался, что это, вероятно, был Довид Шетик, первый муж супруги Бен-Михоэла, умершей во цвете лет актрисы. Безвременный уход юной Фриды еще больше скрепил дружбу этих двух мужчин.

Театральная гримерка Бен-Михоэла одновременно служила и кабинетом председателя Еврейского антифашистского комитета, куда стекались израненные войной сердца – пострадавшие и чудом уцелевшие евреи. У дверей сидел Довид. Он заносил визитеров в список и запускал их в кабинет. К исполнению этой почетной обязанности он относился как к своим личным 613 заповедям[2]…

Залману больно было видеть, как Довид Шетик обнимает гроб

1 Орн-койдеш — шкаф для свитков Торы, расположенный у восточной стены синагоги (ид.).
2 613 – число обязательных для еврея заповедей, полученных Моисеем на горе Синай.

и некому прервать эти объятия. Наконец, Биньомин оттащил его от усопшего и увел за кулисы, держа за руку, как ребенка. Довид шагал, словно слепой, все еще не видя ничего вокруг.

Когда Залман проходил вдоль гроба, в очереди люди стояли по трое в ряд. Сейчас в каждом ряду было уже четверо, а то и пятеро, и поток все не прекращался. Даже если прощание продлить до полуночи, не все успеют зайти. На часах уже половина девятого. Из тех, кто уже отстоял на вахте, многие, как и сам Залман, не спешили уходить. Его место на галерке было теперь занято: там сидел какой-то седовласый мужчина. Залман, кажется, видел его портрет в газетах. Не похож он ни на актера, ни на режиссера.

Наверное, ученый какой-нибудь, академик…

Залман выбрал себе кресло в последних рядах партера, откуда можно было видеть всех входящих и выходящих. Но куда бы он ни бросил взгляд, виделся ему только он – тот, чья фотография с орденом Ленина на лацкане пиджака смотрела на него с опущенного занавеса. И в чужом голосе, который так печально пел сейчас за кулисами, он тоже слышал лишь Шимеле Сорокера и его «Тайо»[1], песню без слов, которую он запел, выиграв огромный куш.

– Ой, Шлойме, Шлойме…

В незатихающем ни на минуту людском потоке мелькали лица и тех знакомых, с кем Залман Мандел не виделся много лет, и в первые мгновения он ничуть не удивился, увидев в толпе Пэпе Криштол. Хотя… Пэпе ведь должна быть примерно его возраста – года сорок два, сорок три. Та же, кого он видит перед собой, – значительно моложе. Или даже как будто это она и есть, Пэпе, такая, какой она была тогда, когда он познакомился с ней в крымских степях, в молодежной коммуне «Мишмар»[2]. Было невозможно не влюбиться в нее с первого же взгляда. Иногда Залману казалось, что где-то глубоко в нем до сих пор еще тлела искра той далекой, безумной любви.

«Нет, я не ошибся. Это она, Пэпе! Видимо, время над ней не властно!

После всего, что время учинило с нашим миром, сохранить молодость и красоту?!»

1 «Тайо» - песня из спектакля «200 000», муз. Л.М. Пульвер, сл. С.М. Михоэлс.

2 «Мишмар» – одна из еврейских сельскохозяйственных колоний в Крыму, недалеко от Джанкоя. Основана в 1924 г.

Залман вскочил с места, чтобы догнать Пэпе. В фойе, где ждали своей очереди видные деятели искусства и знаменитые ученые, крутились все те же одинаково одетые юноши. Они сразу бросились ему в глаза. Как-то странно они присматривались к каждому. И вроде он их где-то раньше уже видел… Уж не в Минске ли? Не в том ли самом ресторане, где накануне трагедии он сидел за обедом со Шлойме?

Напротив выхода из театра, на заснеженном балконе стоял пожилой человек и играл на скрипке. Послушать напевы из «Ночи у ребе»[1] и «Путешествия Биньомина Третьего»[2] собралась огромная толпа – улицу не перейти. Но Пэпе Залман быстро заприметил. Впрочем, сейчас он уже был далеко не так уверен, что это она, и что можно заговорить с ней как со старой знакомой: вблизи она выглядела еще моложе, чем двадцать лет назад.

– Простите, – окликнул ее Залман и немедленно пожалел об этом.

Наверняка, это выглядело как наглость! Мужчина, пристающий к женщине, которая ему в дочери годится, да еще в такой тяжелый горестный час… И все же он не мог не попытаться объясниться. – Простите! Вы мне напомнили одну мою знакомую. Пэпе Криштол ее звали. Я понимаю, что это не вы. Вы слишком молоды, я обознался. Просто сходство поразительное.

– Я дочь Пэпе Криштол.

– Боже мой! – чуть не сорвался в крик Залман, – Как же это я сразу не догадался! Конечно же, вы ее дочь!

Он мог бы рассказать девушке, по каким именно признакам он должен был догадаться, но для этого ему пришлось бы много говорить о той изумительной красавице – о ее матери, о Пэпе. К тому же он не вполне уверен, что она не воспримет его слова превратно. В наши дни нередко случается видеть мужчин его лет прогуливающихся с ее ровесницами… Тем более, что в свои сорок два он сохранил и мягкие черты лица и чистую синеву глаз…

Пожилой скрипач на балконе продолжал наигрывать печальные мелодии.

---

1 «Ночь у хасидского ребе» – третья часть спектакля «Три еврейские изюминки», ГОСЕТ, 1924 г.

2 «Путешествие Вениамина Третьего» – спектакль ГОСЕТа по одноименной книге Менделе Мойхер Сфорима, 1927 г.

– Простите… – Задумчиво произнес Залман. – Вы здесь одна?

– Да. – Она подняла на него свои огромные темные глаза, и глаза ее были глазами Пэпе, и он взял ее за руку, сам того не заметив. Она не выразила недовольства, не отдернула руки, как будто давая ему понять, что верит ему, что знает, что он действительно не чужой, и уже этим он ей дорог…

– Вот что значит Москва! Живем в одном городе, а с вашей матерью ни разу не пересекались! А ведь я – без стеснения могу вам признаться – был страшно влюблен в нее. Отец ваш знал об этом. Извините, я запамятовал, как зовут вашего папу.

– Папу звали Михаил. Михаил Исакович.

– Да-да, Михл. Только не понимаю, почему вы говорите «звали»? Сейчас его что, иначе как-то зовут? И еще раз простите, а как ваше имя?

– Элиша.

– Элиша? Звучит как поэзия. Э-ли-ша… А у меня двойное имя, выбирайте любое, какое нравится: Залман или Зиновий. Я люблю, когда меня называют так же, как мама с папой звали в детстве, – Залмен. Ну или Залман Наумович.

– Что ж, я вас тоже так буду называть.

Они дошли до угла Тверского бульвара. Напротив, как суровый страж на посту, стоял памятник Тимирязеву.

Вы позволите мне вас проводить? – спросил Залман, когда они остановились у Никитских Ворот, не определившись, куда дальше – налево, к Пушкинской площади, или по улице Герцена к метро «Охотный Ряд».

– Спасибо, не нужно. Куда вы потащитесь в такой холод? Я живу очень далеко отсюда. Туда даже метро пока не ходит. Почти час езды, да еще с пересадкой, на двух трамваях.

– Это вы в такую даль забрались?

– Вероятно, нашему знакомому, у которого я остановилась, не удалось получить квартиру где-нибудь поближе к центру.

– Извините? – Залман забежал на шаг вперед и повернулся к ней лицом. – Я не понимаю. Что значит «у знакомого остановились»? Вы, получается, не в Москве живете?

– Нет.

– А где же?

Немного помолчав, она тихо ответила:

– Я живу с мамой, в Абези[1]…

– Где это?

– Далеко на севере, в Коми. Вы, наверное, слышали о таком месте?

– А отец ваш где?

Элиша оглянулась по сторонам.

– Мы не знаем. Восемь лет, как мы от него писем не получали.

– Но почему ваша мать не переедет к вам сюда, в Москву?

– А как она пропишется? Кто ее пропишет? Меня к нашему знакомому и то только временно прописали, до вступительных.

– Да ведь экзамены прошли уже давно.

– Просто так получилось, не смогла я раньше приехать. А сейчас, если меня до времени не выпишут, я тут до следующих экзаменов пробуду.

– А куда вы поступать собираетесь, если не секрет?

– В Еврейское театральное училище[2]. Мой папа писал одноактные пьесы, буффонады… Их во многих городах в драмкружках играли. Он с Бен-Михоэлом был близко знаком.

– Да-да, помню. У меня в памяти даже застряла одна песенка из его антирелигиозной буффонады, «И пригубив хорошего вина, вы побежите к туркам прямиком…»

– Отец говорил, что из меня может вырасти хорошая актриса. Говорил, что я просто рождена для театра – такого, как здешний Камерный[3]. Бен-Михоэл для папы богом был. Кажется, мой трамвай. До «Красных ворот» доеду, а там на семнадцатый пересяду, он до Стромынки идет.

– Это вы из такой тьмутаракани сегодня добирались?

– Сегодня даже из других городов люди приехали, чтобы с Бен-Михоэлом пропрощаться.

– Да, верно. Вы, наверное, будете завтра на похоронах?

---

1 Абезь – поселок в Республике Коми, на правом берегу реки Уса. После войны там находился один из самых больших санитарных лагерей для политзаключенных.

2 Московское государственное еврейское театральное училище (МГЕТУ) – изначально студия при ГОСЕТе, организованная в 1930 году для подготовки молодых актеров.

3 До 1925 года название театра включало в себя слово «камерный» - ГОСЕКТ или ГЕКТ.

– К огромному сожалению, не смогу. Я на этой неделе в первую смену работаю.

– Вы же говорили, что учиться приехали, к экзаменам готовиться…

– Но пока что нужно ведь на что-то жить. Мама мне помогать не может, а папа… – Она замолчала, как будто вдруг забыла, что собиралась сказать.

– Если бы я раньше знал, что вы собираетесь поступать в Еврейское театральное училище… Я поэт, но к драматургии тоже имею некоторое отношение. Моя фамилия Мандел. Вы ее вряд ли слышали, я не настолько известен. Народ наш вообще очень мало знает своих писателей. Да, так где вы там обитаете, на Стромынке, – до Сокольников или после? – Залман надеялся, что она поймет намек, заключенный в этом вопросе: он мог бы сыскать для нее жилье поближе. Она, впрочем, могла его совсем иначе услышать... – В центре города вы бываете иногда?

– Разумеется. Я в Еврейскую библиотеку часто приезжаю, которая рядом с Политехническим музеем. Там наш знакомый работает, тот, у кого я остановилась.

– Ну, коли так, знаю я вашего знакомого. Ойзер Норвил его зовут?

– Да. Он из той же коммуны, «Мишмар», где папа мой был. Может, и вы тоже оттуда?

– Нет. Хотя однажды мне случилось там побывать. Я тогда ездил по еврейским деревням с «Гезкульт-квартетом»[1]. Ребята пели, я читал, рассказывал… Давно это было, много лет назад. «Мишмар» мне особенно запомнился, ведь там я познакомился с вашей мамой. Она вам никогда обо мне не рассказывала?

– А вот и мой трамвай! – Перебила его Элиша. – Доброй ночи! – Она вспорхнула на покрытые инеем ступеньки вагона.

Дождавшись, когда трамвай скрылся из вида, Залман отправился обратно, к заполоненной народом Малой Бронной.

1 Гезкульт (ид. Гезелшафт-култур) – Всеукраинское общество содействия еврейской культуре, действовало с 1926 до 1931 гг.

Глава 2

Двери театра были заперты.

– А который теперь час, что уже перестали запускать?

Увидев, что публика по-прежнему не расходится, Залман решил, что доступ к гробу все же не прекратили, а только приостановили на какое-то время.

– Дело в том, – объяснили ему у входа, – что кто-то оттуда попрощаться с Бен-Михоэлом приехал, из израильского посольства.

– Что значит «кто-то»? Она сама и приехала, Голда. – Говоривший подмигнул, указав на стоявший у занесенного снегом тротуара черный автомобиль с опущенными шторками.

Известие это Залмана ничуть не удивило. Правда непонятно, зачем понадобилось скрывать, что из того самого посольства приехали. Почему не развевается на автомобиле сине-белый флажок?

Залман не был целиком уверен, что узнал бы в лицо израильскую посланницу Голду Мейерсон: он хоть и видел ее пару раз в театре, но издалека. Она тогда сидела в одном из первых рядов, окруженная молодыми людьми. В антракте они доставали торчащие из карманов газеты и демонстративно погружались в чтение, как будто дома у них не было времени ознакомиться с ивритской прессой, ну а заодно чтобы показать окружающим, что они не откуда-нибудь, а из посольства Израиля… Подойти тогда к рампе, чтобы рассмотреть Голду вблизи, показалось Залману неудобным, даже неприличным.

– А с чего вы взяли, что это она приехала? – Спросил Залман.

– В каком смысле «с чего»? Вот же у меня ее карточка: тут портрет ее, на Рош а-Шана[1], когда она выходила из синагоги. Вэй-вэй! Что там тогда творилось!

Протиснувшись ко входу, Залман постучал в дверь раз, потом другой, пока не услышал знакомый голос администратора. Пробираясь через внутренние кулисы в затемненный зрительный зал, он лицом к лицу столкнулся с человеком, из-за которого, судя по всему,

1 Рош а-Шана (ивр.) – еврейский Новый год, отмечается в течение двух дней в новолуние месяца тишрей (приходится на сентябрь или октябрь).

и перестали пускать людей в здание. Только вот ничем эта женщина в черном манто с поднятым воротником не напоминала ту, кого он ожидал увидеть. Эта показалась ему и моложе, и выше ростом, чем израильская посланница, что пару раз сидела поодаль от него в зале, когда на сцене играл Бен-Михоэл.

Пока Залман провожал Элишу до трамвая, в зале появились новые люди. Троих он сразу узнал. Двое блистательных русских актеров и русский писатель, которому рукоплескал весь мир. Они тоже пробирались в темный уголок амфитеатра – видимо, как и он, собирались уйти сегодня отсюда последними.

Как только женщина в черном манто отошла от гроба и в сопровождении Биньомина Бен-Арье исчезла за кулисами, откуда можно было попасть во двор театра, поток людей с улицы снова хлынул внутрь. Ряд за рядом.

Ближе к полуночи доступ остановили. У гроба осталась только осиротевшая актерская семья. Биньомин стоял, наполовину повернувшись к стене, и раскачивался взад-вперед, как читающий кадиш[1]. Время от времени он хватался обеими руками за голову и будто вздрагивал, напоминая подрубленное дерево, которое вот-вот упадет.

– Бог дал, бог взял, – произнес Залман, подходя к Биньомину.

– Но почему же он – этот господин Взямши – именно его выбрал? Почему не меня? – Биньомин уткнулся заплаканным лицом в грудь Залману.

– Залман! Вы же знаете, кем он для нас был? Никому не понять, насколько… Никто даже не представляет, кого мы потеряли… Погасла свеча наша вечная, наш нер томид[2]…

– Народ, может, и пуще нашего это понимает. Жаль, вы, Биньомин, не слышали, что о нем говорили на улице. Как там люди все толкуют… Я вот думаю, не из посольства ли происходят все эти слухи?.. Как бы там ни было, здесь ей не стоило сегодня появляться.

– Кому? – Спросил Биньомин полуобморочным голосом.

Залман оглянулся по сторонам. Ему казалось, что те двое

1 Кадиш – зд.: поминальная молитва.

2 Нер томид (букв. «вечный светильник»), негасимый синагогальный светильник в специальной чаше, висящей напротив Ковчега как напоминание о меноре разрушенного Иерусалимского храма.

одинаково одетых молодых людей все еще продолжают здесь крутиться. Уже совсем тихо он пояснил:

– Ну ей. Голде.

– А кто вам сказал, что здесь Голда была?

– На улице люди говорили. Разве не из-за нее вдруг пускать перестали? Я был уверен, что та женщина, которую вы провожали к выходу…

– Это Перл была. Полина Семеновна, Жемчужина.

– Перл? – Еле слышно переспросил Залман. – Жена Молотова?

Не сказать, чтоб Залмана это ошарашило. Сам он Перл до сего дня никогда не встречал, но от других слышал, что ее видели здесь на спектаклях не раз и не два. И вряд ли Второй во царстве не знал о походах супруги. А раз не возражал, выходит, был не против ее знакомства с Бен-Михоэлом, с Соломоном Премудрым, как прозвали его на самом верху – и за мудрость, и за великий актерский и ораторский талант. Сам высокий царедворец тоже был знаком с погибшим, но не через жену. Перл к этому отношения не имела. Достаточно знать, что ее благоверный супруг ни разу не видел Шлойме на сцене. Даже на прогремевшую на весь мир постановку «Короля Лира» не пришел. Зато имел возможность рассмотреть его с более близкого расстояния, в своем МИДовском кабинете.

О том, что по возвращении из Америки Бен-Михоэл встречался со вторым лицом в стране, Залман узнал не от самого Шлойме, а от его напарника по миссии. В общих чертах все знали, что тогда, во время войны, их обоих направили за океан с одобрения Сталина, возможно, даже по его собственному замыслу и указанию. По крайней мере, так следовало из слов Лозовского[1]. Он служил заместителем председателя Совинформбюро, в чье ведение входил – в числе прочих комитетов – и Еврейский антифашистский комитет, председателем которого был Бен-Михоэл. По совместительству Соломон Абрамович Лозовский являлся и одним из заместителей Молотова.

Бен-Михоэл с Бен-Шолемом не были просто посланниками от советского еврейства, прибывшими с визитом к евреям Америки.

1 Лозовский Соломон Абрамович, наст. фамилия Дридзо (р. 1878) – с июля 1941 заместитель, в 1945-48 гг. начальник Совинформбюро, курировал Еврейский антифашистский комитет.

Иначе газеты и радио, вероятно, не уделяли бы такого внимания их многочисленным заокеанским встречам и речам, которые они произносили на митингах.

МИДовскому начальнику посланники во всех подробностях рассказали о своей поездке: о том, как американские евреи взяли на себя обязательство помогать Красной Армии, чтобы приблизить победу над фашизмом – этим убийцей народов, особенно еврейского народа… А еще они передали требование евреев Америки: пусть вместо Биробиджана будет создана еврейская автономия в северо-западной части Крымского полуострова, со столицей в Евпатории. Если советское правительство согласится, американцы готовы выделить огромную материальную помощь, как они уже делали раньше, помогая строить там еврейские поселения. Бен-Михоэл не забыл при этом добавить, что еще много лет назад, в самом начале переселения, план создать национальный еврейский дом не на Дальнем Востоке, а в пустых, необжитых степях Крыма поддерживали очень многие советские евреи. И не только они. Не случайно же вокруг Евпатории тогда были созданы два национальных еврейских района – сначала Фрайдорфский[1], а потом Ларидорфский[2], а чуть подальше и еврейские деревни вокруг станций Джанкой, Курман-Кемельчи, Биюк-Онлар…

У Бен-Михоэла имелась причина так спешно заводить со Вторым-во-царстве разговор о Крыме: накануне в Еврейский антифашистский комитет пришла телеграмма от генерала Крейзера[3], чья армия стояла в освобожденном Крыму, с просьбой прояснить, будут ли какие-либо указания сверху касательно Еврейской автономии и следует ли его армии охранять еврейские деревни, чтобы их не заняли нееврейские переселенцы из других областей. Пока не появилось

1 Фрайдорфский национальный еврейский район (ФНЕР) – один из восьми национальных районов, учрежденных в Крымской АССР постановлением ВЦИК РСФСР от 30 октября 1930 г. Включал в себя большинство существовавших к тому времени еврейских сельскохозяйственных поселений Евпаторийского, Джанкойского и Симферопольского районов.

2 Ларидорфский национальный еврейский район (ЛНЕР) – второй еврейский национальный район. Учрежден постановлением ВЦИК РСФСР от 23 января 1935 г. в рамках разукрупнения районов Крымской АССР.

3 Крейзер, Яков Григорьевич (1905–1969) – генерал, герой Советского Союза, весной 1944 года командующий 51-й армией, принимавшей участие в освобождении Крыма от фашистов. Член Президиума ЕАК.

указа об учреждении Еврейской автономии, эвакуированным евреям было сложно возвращаться домой, в свои степные жилища.

Об аудиенции Бен-Михоэла в МИДе Залману напомнило сегодня появление в театре женщины в черном манто с поднятым воротничком. Еврейская автономия – на Черном море, со столицей в Евпатории… Уж не на тот ли разговор намекал тогда, в Минске, Шлойме, прошептав Залману «Этого они нам не простят»?

– Вы с ней говорили? – спросил Залман Биньомина, отводя его подальше от гроба.

– О чем? Я, собственно, и не знаю ничего. Только то, что сам от других слышал. Говорят, мол, что Шлойме под грузовик попал. Она приехала семье пособолезновать, у гроба постоять.

– А муж ее знает?

– Что она здесь была? Такое она никак не смогла бы от него скрыть, даже если б хотела.

От услышанного у Залмана в голове все спуталось. Он вдруг увидел перед собой картину, которую описывал ему Бен-Шолем.

Дело было в нью-йоркской гостинице. Как-то утром заходит он в номер к Шлойме и застает его лежащим на полу. На столе ничего похожего на спиртное – ни следа. Бен-Михоэл за все время их миссии ни разу к вину не притронулся.

– Шлойме, что случилось? – испуганно спросил Бен-Шолем. – Что с тобой?

– Обезьяны. Обезьяны за мной гнались. Куча обезьян. Я бежал – они за мной. Кричали что-то. Я упал. Они меня окружили!..

– Перл, когда уходила уже, – как будто внезапно вспомнил Биньомин, – сказала: «Вижу я, что вы вообще ничего не знаете. То, что произошло, гораздо страшнее, чем вы себе представляете. Страшнее и ужаснее».

– Ровно то же я слышал от людей на улице. Народ, Биньомин, похоже, всегда больше нас знает. Это начало великих гонений – вот что они говорили.

В зрительном зале потушили свет, как будто закончилось очередное представление. Только две лампадки продолжали гореть в изголовье гроба. Но великий спектакль под названием «Жизнь и смерть» еще не подошел к концу, и исполнитель главной роли не сошел

со сцены. Залману вновь привиделось, как обезьяны гонятся за Шлойме. Они бегут, бегут за ним, а он пытается убежать и находит укрытие в гробу…

Тихонечко, почти не касаясь пола, Залман подошел к гробу и застыл на несколько минут, все еще не в силах осознать, что лежащий здесь мужчина со скрещенными на груди руками – тот самый человек, который глядит на него с портрета на занавесе. Мандел поднялся на сцену и проследовал за кулисы, туда, где был второй выход, во двор.

Подходя к трамвайной остановке на углу у Никитских Ворот, Залман увидел укутанный в лунный свет памятник Тимирязеву, а рядом с ним – тех двух молодых людей, что весь вечер сновали в толпе, сначала на улице, а потом, когда публику начали запускать, и в самом театре. Не иначе как караулят тут кого-то…

– Так это они, выходит, Яшу поджидали? – спросил сам себя Залман, глядя из окна отходящего трамвая теперь уже на три фигуры, стоявшие возле памятника. Яша был в своем обычном облачении: длинная шинель, фуражка с синим кантом. Военная форма на нем никого из его знакомых не отпугивала даже в те годы, когда люди замолкали при виде любого человека в фуражке.

Глава 3

С Яшей Залман познакомился будучи в гостях у родственника, в тогдашнем приграничном Каменец-Подольске. В город приехал с гастролями Еврейский детский театр из Киева, и худрук – его старинный приятель – представил ему молодого, видного собой капитана погранвойск, отрекомендовав его как многообещающего поэта. Впрочем, особого впечатления Яшины стихи на Залмана не произвели. Как-то все дидактично, по-морализаторски. Хотя, возможно, дело было в том, что Яша их не читал, а хрипло пропевал, как еврей, вызванный к Торе, а Залман такую манеру поэтической декламации терпеть не мог, она казалась ему слишком нарочитой. И тем не менее было понятно, что со временем из Яши может вырасти поэт. Залман только недоумевал, почему Яше приспичило сочинять именно

на идише, если русским он владеет ничуть не хуже, да и живет, судя по всему, в совершенно русском окружении. Разве мало у нас примеров, когда евреи становились русскими, украинскими или белорусскими писателями, и некоторые даже вполне признанными?

Залман тогда поделился своими соображениями с Яшей, не умолчав и о том, что сам он не видит великого будущего ни для языка идиш, ни для литературы на нем. На что Яша ответил, что человек, выросший в еврейском местечке, среди идишеговорящих, не способен стать настоящим писателем на каком-либо другом языке и что сам он родом как раз из штетла. Что же до дальнейшей судьбы идиша и еврейской литературы на идише, никому она покуда не ведома.

Залману хватило услышанного, больше вопросов он к Яше не имел. Хотя ему было чем крыть: Левитан и Антокольский! Первый родился в Литве, в настоящем еврейском местечке. Второй – в таком насквозь еврейском городе, как Вильно. Но и Яша мог бы ему возразить, что даже если прибавить к этим двум гениям третьего – Шагала, к примеру, – все одно: никто из них в своем творчестве не имел дела с языком, на котором говорят и пишут. А Залман сослался бы на тот факт, что идишские писатели, как правило, не отдают своих детей в идишские школы, так что те в итоге вырастают, не зная языка, на котором созидают их родители. И разве это не свидетельствует как нельзя более красноречиво, что сами эти литераторы не верят в будущее своего языка и литературы? Нашелся бы Яша, что ответить?

Уже остался позади Сретенский бульвар. Грохот трамвайных колес не мешал Залману предаваться воспоминаниям о Яше Розене – капитане госбезопасности и еврейском писателе. После войны, когда Яша обосновался в Москве, они неожиданно сблизились, несмотря на разницу в годах. Ничто не помешало Залману подружиться и с еще более юным Натаном Левитиным – они чуть ли не с первой встречи перешли на «ты». Натан был более высокого мнения о стихотворстве их общего друга: особенно котировались у него Яшины «Рифмованные байки для больших и маленьких». Натан даже взялся редактировать Яшину книжку, которая, впрочем, пролежала в издательстве до конца войны и по разным причинам все еще не ушла в печать. Заполучить Натана в редакторы считали за огромную честь даже именитые литераторы, настолько весомы были его критические

замечания. Со временем Яша стал у Левитина своим человеком, иногда даже оставался у него ночевать, по большей части в дни зарплаты, которую всю до копейки спускал в ресторанах. Потом он обычно почти целый месяц клянчил у знакомых рубль, чтобы перекусить. Его постоянное попрошайничество вызывало у всех отвращение, и тем не менее редко кто ему отказывал. По крайней мере, Залман, насколько помнится, ни разу ему не отказал… Немыслимо, как так вышло, что парень, выросший в крохотном и благочестивом еврейском местечке, довел себя до пьянства!

Надо сказать, что Яша Розен, в каком бы опьянении он ни находился, никогда никому ни словом не проговорился о том, что у него за должность и чем он там нынче занимается, коль уж больше не служит на границе. Хотя с вопросами к нему, собственно, и не приставал никто. Как-то раз он сам заявил о себе, чтоб знали, раз и навсегда: он – профессиональный командир в войсках безопасности! Почему же он не уволится с военной службы и не посвятит себе поэзии без остатка? Так он ведь наперед знает, что его не отпустят. Сам себе он не принадлежит. Он коммунист, и хозяин над ним – первонаперво партия.

Никто не сомневался, что так оно все и есть, и в писательской среде ему доверяли не меньше, чем любому другому. Залман и сейчас ему доверяет, хотя все же не так безоглядно, как Натан. Доверие Натана к Яше было, похоже, абсолютным, иначе он проявлял бы большую осмотрительность в его присутствии. Несколько дней назад они втроем выходили из ЕАКа, и Натан произнес: «Как знать, не повернется ли в один прекрасный день колесо судьбы и не придется ли нам предорого заплатить за это…» Натан взглядом указал на тяжелый сверток, который он нес в Совинформбюро на улицу Станиславского, в здание, где раньше располагалось немецкое посольство. В свертке были рассказы, стихотворения и заметки, которые должны были отослать за границу по почтовому каналу Совинформбюро. В отдельном конверте там лежали Яшины «Рифмованные байки». Яша тогда на реплику Натана никак не отреагировал, будто не услышал. Залман же отозвался: «Все может случиться, даже то, что сейчас в голове не укладывается…»

Все эти эпизодические воспоминания, которые перебирал в уме

Залман, добираясь домой на трамвае, увы, никак не помогали ему понять, какое отношение Яша может иметь к тем двоим молодцам у памятника Тимирязеву. Кстати, тем вечером Яша Залману на глаза нигде не попадался – ни на улице, ни в театре. А может быть, те двое – просто пьянчужки? Сговорились с Яшей состыковаться и пропустить где-нибудь по стаканчику? Они же при деньгах, не то что их товарищ-писатель…

Ну разумеется! Вот оно в чем дело! Как же он сразу-то не догадался? Или, может… Может, он просто обознался, и это был совсем не Яша?

Глава 4

Вот-вот прекратят доступ к гробу. Элиша сегодня работает в первую смену. Она ведь сказала, что не сможет быть на похоронах. И все же Залман выскочил на улицу проверить, не стоит ли она там где-то в толпе. Вдруг ей удалось отпроситься с работы, и теперь она никак не может пробиться к осажденному входу? Возвращаясь по ступенькам в тускло освещенный зал, где вскоре должна была начаться панихида, Залман услышал голос, напевающий мелодию без слов. Он застыл, не в силах двинуться с места.

Этот голос ни с чем не спутаешь. Есть на свете голоса и посильнее, но даже среди знаменитых канторов, чьи напевы тоже были слышны сегодня за кулисами, не найдется такого, что звучит из таких глубин души, из самого сердца… Иван Козловский, оперный певец Большого театра и близкий друг Бен-Михоэла. А эта мелодия без слов, такая знакомая… В ней великая боль, напомнившая Залману о молитве «Эйл молэ рахамим», что читают по убиенным во дни Гитлера (да сотрется имя его!), как в прошлый Йом-Киппур[1], когда он был в синагоге.

Когда хазан дошел до части «Изкор»[2], его могущественный голос, казалось, рассекал небеса… Но навстречу пению Козловского

1 Йом-Киппур (ивр.– день прощения/искупления) – «Судный день», центральный праздник в еврейской традиции, завершающий Десять дней покаяния. Отмечается в десятый день месяца тишрей (приходится на сентябрь-октябрь).

2 Изкор (ивр.– да помянет Господь) – одна из трех молитв «поминания душ» в литургии ашкеназских евреев.

небеса отворялись сами и в страхе трепетал Вышний Суд, как в минуты, когда припадает к открытому Ковчегу мать, вознося вопль мольбы о спасении ее угасающего ребенка…

Залман все так же стоял на верхних ступеньках лестницы, ведущей в зал, когда из-за кулис уже зазвучали голоса других известных русских певцов и певиц. Они оплакивали потерю близкого друга, но в их голосах слышалось не только «за упокой», но и «во здравие» – как будто есть для будущих поколений осиротевшего народа и утешение, и вера…

Панихида по погибшему недаром началась с музыки, с пения без слов. Шлойме Бен-Михоэл, говоря о себе, нередко цитировал песнь царя Давида из Псалмов: «Кол ацмойсай теомарно», и переводил ее на свой лад – «Каждая косточка моя поет»…

Из всех ораторов Биньомин Бен-Арье был единственным, кто ни словом не упомянул колеса того грузовика, что забрал у еврейского народа его пророка и заступника. Забрал ровно в тот час, когда он был необходим более всего… В конце речи Биньомин, казалось, с трудом сдерживал рвущийся наружу крик, и Залман вспомнил об их вчерашнем разговоре и о словах Перл – «То, что произошло, гораздо страшнее и ужаснее, чем вы думаете». Похоже, для Биньомина не было секрета и в словах Шлойме, тех, что он прошептал тогда Залману в Минске, за день до гибели. О том, что не сойдет ему это с рук, что они ему этого не простят…

Тот, кто выступал на панихиде последним, был известен в всем мире как гений русской театральной сцены. Речь его была краткой. Он обратился к извечному партнеру Шлойме по сцене, к Биньомину, чтобы утешить его.

Гибель Шлойме – великая потеря не только для еврейского народа. Сейчас в вечность провожает его вся страна, все народы…

– Горе разделенное – капля утешения. – Произнес кто-то рядом с Залманом. И тут же со вздохом опроверг собственные слова. – Ох, нет… Оттого, что и по другим ударило, ни горя у тебя не становится меньше, ни утешения больше…

Около сцены, у стен зала и в фойе, были тесно сложены траурные венки. Залман вместе с незнакомцем, рассуждавшим о разделенном горе, подхватили огромный тяжелый венок, пронесли его через

широко отворенные двери и погрузили на один из заказанных для похорон грузовиков.

На заснеженном балконе дома напротив Залман снова увидел того старичка со скрипкой, который вчера вечером наигрывал мелодии из спектаклей Бен-Михоэла. Как только в дверном проеме показался гроб с покойником, еврей на балконе вскинул смычок и завел спор с мирозданием – обо всем том, что так и не было произнесено на панихиде: «Фрегт ди велт ан алте каше»[1]…

Людей было столько, что пришлось перекрыть движение на Тверском бульваре и соседней улице Герцена.

– Что вы стоите, Залман? Вы разве не едете в крематорий? – Позади него, с поднятым воротником, стоял Яша Розен.

– Его кремируют? – Спросил Залман, как будто впервые об этом слышит. Уж сколько лет прошло с тех пор, как в городе построили крематорий, сколько лет там сжигают покойников, а он все никак не может привыкнуть к тому, что людей обращают в пепел… Невозможно это принять. Особенно теперь, после того как в дым крематорских труб ушли целые поколения людей – от мала до велика, так что и следа от них не осталось.

Когда опускают в могилу гроб, умерший все же остается в памяти живых человеком – пусть ушедшим, но в человеческом облике. Хотя, возможно, Шлойме оставил завещание? Может быть, он сам выбрал для себя такой путь в небо, чтобы и после смерти быть вместе со своим народом?..

– Вы один здесь? – Спросил Яшу Залман, оглядываясь на двери, из которых выносили гроб.

– Один. А с кем я должен быть?

– Ну, мало ли? Например, с теми двумя молодыми людьми, с которыми я вас вчера вечером здесь видел.

– Меня?

– А что вас так удивляет?

– Да то, что вы меня вчера никак не могли видеть. Меня вообще в городе не было.

– Выходит… – Залман и сам начал сомневаться. Да и видел он

1 «Фрегт ди велт ан алтэ каше» (ид., «Мучает мир извечный вопрос…») – хасидская песенка, авт. неизв.

того военного у памятника Тимирязеву лишь издалека, когда трамвай уже тронулся. – Выходит, я ошибся, обознался.

Вероятно. – Яша взял его под руку. – Пойдемте. Сядем на автобус и поедем в крематорий отдать честь Бен-Михоэлу перед тем, как он уйдет в вечность.

Автобусы и машины остановились у красной кирпичной стены, за которой взмывала к серому зимнему небу высокая задымленная труба. Люди ринулись к столикам, где торговали цветами. Залман отошел в сторонку, зная наперед, что он, возможно, будет единственным, кто не принесет покойному цветов. Он пока еще ни разу не смог себя заставить прийти на похороны с букетом. У евреев издревле было иначе заведено, и не ему преступать традиции.

Людей во дворе крематория, казалось, собралось даже больше, чем у театра, когда выносили гроб. Многие, видимо, приехали сюда заранее. На панихиде внутри было не протолкнуться. Выступающих Залману, стоящему на цыпочках около дверей, было не видно и не слышно. Лишь отдельные слова долетали.

Короткий зимний день близился к концу. Высокие трубы уже успели пропустить через себя еще нескольких покойников, обратив их в густой черный дым и пепел, а Залман все метался по двору крематория, и в голове его все стучали слова бессмертной песни: «Фрегт ди велт ан алтэ каше»…

Глава 5

Элиша позвонила Залману спустя недели три после их первой случайной встречи накануне похорон Бен-Михоэла. Ей необходимо как можно скорее с ним увидеться. В ближайшее воскресенье, во второй половине дня, она будет ждать его в Еврейской библиотеке.

Библиотека эта, рядом с Политехническим музеем на Новой площади, давно уже была только наполовину еврейской. Но среди еврейских читателей она все еще сохраняла свое прежнее название.

До войны Залман частенько сюда захаживал, но сейчас ему уже трудно вспомнить, когда он был здесь в последний раз. Да и что ему там, собственно, делать, если встреч с еврейскими писателями, как это

было в довоенное время, там уже не устраивали, а ради идишских книг ехать туда не имело смысла. Дай бог успеть перечитать хотя бы те, что накопились за долгие годы у него в комнате. Их скоро ставить будет некуда. Рано или поздно, вероятно, придется какую-то часть отдать в дар библиотеке. Вот он заодно на сей счет с Норвилом и переговорит.

Ойзер Норвил был на месте: стоял на вершине стремянки и возился с книгами на верхней полке стеллажа. Увидев вошедшего Мандела, он помахал ему рукой.

– Она только что звонила, скоро подъедет. Вам придется немного подождать.

Судя по тому, что Норвил поспешил сообщить Залману о звонке Элиши, даже не излив на него поток приветствий, которым он обычно встречал еврейских писателей, можно было заключить, что для библиотекаря не секрет, зачем Элише так срочно понадобился Залман и почему это действительно важно. Но Ойзер из тех, кто умеет хранить тайны. Залман знает его много лет и не помнит, чтобы он хоть раз позволил себе сказать о ком-нибудь дурное слово или пересказывать мелкие сплетни, которых всегда в достатке в писательской среде. Маленький, тощенький – кожа да кости.

Очки на близоруких глазах почти целиком заслоняли его узкое лицо, поросшее редкой щетиной. Ойзер производил впечатление человека, живущего исключительно духовными материями. Казалось, малейшее дуновение ветерка может унести его прочь. Говорил Ойзер тихо и медленно, ходил так же. Трудно представить, что он мог идти за плугом или управлять лобогрейкой[1]. И тем не менее было в его жизни и такое. Когда Элиша, в вечер их знакомства, рассказала ему о жизни Ойзера в коммуне, Залман даже принял это за шутку, хотя знал, что во время войны Ойзер участвовал в ополчении, причем не каким-нибудь коком, а с винтовкой в руке, на передовой. Странно, что когда Залман был в «Мишмаре» с Гезкульт-квартетом, Криштолы не познакомили его с Ойзером. Или его тогда в коммуне еще не было? Или он только много позднее стал книгочеем? Залман готов был побиться об заклад, что среди всех книг, стоящих здесь на полках, не отыщется ни одной, которую

1 Лобогрейка – примитивный жатвенный комбайн для уборки зерновых.

Ойзер не прочел бы целиком, и ни одного пассажа, который он не смог бы разъяснить.

Другим знатным книжником – хоть и меньшего калибра – считался среди писателей Ирахмиэль Канф. Залман постоянно встречал его в читальном зале. Никаких теплых чувств к этому смуглому пареньку с торчащими усиками и волосами до плеч он не испытывал. Вызывали антипатию и его привычка стоять, облокотившись о колонну, и его менторский тон. На каждой встрече с писателями, на каждом литературном вечере, на каждой дискуссии, посвященной новому произведению, Канф непременно одним из первых брал слово. Речи его напоминали проповеди, перенасыщенные цитатами и интерпретациями, и казалось, что он в основном хочет козырнуть своими познаниями, причем в области не столько еврейской, сколько западноевропейской литературы.

Тем не менее Ирахмиэль Канф, которого никто не брал на работу, – в анкете его было указано, что он не просто имеет родственника за границей, а еще и гостил там в течение нескольких месяцев, – вызывал жалость, и люди сами предлагали ему материальное вспоможение. Причем предлагали таким образом, чтобы получатель не почувствовал себя униженным, не принял бы помощь за милостыню. Пока Залман наблюдал за очередной такой сценой, вошла Элиша.

– Бог в помощь! – Она протянула Залману свою миниатюрную нежную ручку. – Простите меня, я, кажется, опоздала немножко.

– Не страшно. Я тоже не так давно пришел. И потом, я никуда не тороплюсь.

– Я вас надолго не задержу, – произнесла Элиша почти беззвучно.

Норвил, все еще стоявший на верхней ступеньке стремянки и переставлявший книжки на стеллаже, жестом пригласил их пройти к нему в каморку. Там им никто не помешает обсудить вопрос, с которым дочь его пропавшего друга Михла Криштола пришла к видному еврейскому поэту и драматургу Залману Манделу.

– По телефону вы сказали, что дело срочное. – Напомнил Элише Залман, усаживаясь рядом с ней в каморке у Ойзера. Эта была крохотная комнатка, отделенная от книгохранилища фанерной стенкой. – Прошу вас. Я слушаю.

Элиша молчала. Ей, видимо, трудно было начать разговор.

– Насколько я понимаю, – пришел ей на помощь Залман, – это имеет какое-то отношение к вашей матери.

– Да, – Элиша оглянулась по сторонам и повторила уже немного громче, – да, к моей маме это тоже имеет отношение. Но в первую очередь это связано с моим погибшим отцом.

Она отвела взгляд и некоторое время просидела с закрытыми глазами.

– Мой отец погиб не на войне. Это случилось много раньше. Его, судя по всему, расстреляли. Столько лет прошло, а мы не получили от него ни одного письма. Маму – как жену врага народа – выслали в Коми, в маленькое поселение по ту сторону Полярного круга. Я вам в прошлый раз не рассказала… Просто не знала тогда еще, кто вы. Но Ойзер меня убедил, что вам можно доверять. Поэтому я и позвонила.

– Дитя мое… – Залман поднялся со стула, простоял какое-то время в растерянности и снова сел, с трудом собравшись с силами, чтобы продолжить разговор. – В чем его обвиняли?

«Эх, до чего же я наивный человек, – подумал Залман, – Кто в наше задает такие неуклюжие вопросы? Разве непонятно, что ее отца обвинили в том же, в чем и всех тех, чья судьба до сих пор остается тайной для их близких, уже потерявших последнюю надежду?..»

Из всех сгинувших знакомых Залмана Михл Криштол обладал, пожалуй, самой незапятнанной репутацией: его нельзя было заподозрить даже в малейшем проступке, не говоря уж о преступлении.

Если Пэпе была высочайшим эталоном женской красоты и преданности, ее муж Михл мог служить мерилом человеческой чистоты и порядочности. Его можно было читать как открытую книгу. Не чета Залману с его грешными мыслями… Элиша была еще совсем маленьким ребенком, когда Залман приехал к ним в «Мишмар». Их Гезкульт-квартет разъезжал по еврейским деревням; Залман выступал с чтением своих стихов и отрывков из пьес. На следующий день после концерта в «Мишмаре» ему вдруг стало плохо, поднялась температура. Квартет отправился дальше по маршруту, а его оставили выздоравливать в доме и под присмотром Пэпе Криштол – заведующей избой-читальней – и ее мужа Михла, моториста на артезианской скважине. Михл, человек умный и образованный,

не мог не понимать опасности, которая подстерегала его в лице квартиранта. Даже когда Пэпе призналась мужу, что влюбилась в Залмана, Михл не прогнал его прочь, хотя мог бы. У них дома ведь не лазарет, да и Залман к тому времени уже не был тяжело болен. И если начистоту – он и до этого не так уж сильно хворал. Это Пэпе уговорила его сказаться больным.

А когда уже было решено, что он увезет ее с собой… Кто из них первым очнулся? Нет, не он. Он был слишком слаб для такого поступка. А Пэпе сумела себя преодолеть. Произошло это, насколько он помнит, чуть ли не в последний час. Она выходила замуж на всю жизнь…

Если Пэпе когда-нибудь рассказывала о той истории своей дочери, это обнаружилось бы уже во время его первой встречи с Элишей. Но она ведь могла что-то узнать и недавно, от бывшего коммунара, а ныне библиотекаря Ойзера Норвила…

– А вы когда приезжали в «Мишмар»? Он в то время был еще колонией или уже колхозом?

– Тогда это уже давно был колхоз. Но деревушка по-прежнему называлась «Мишмар». Вы знаете, что означает «мишмар»?

– Раньше знала, но забыла.

– «Мишмар» значит «стража, охрана, вахта». Это на иврите. Там ведь раньше была коммуна халуцим[1]. Тамошняя молодежь, как потом рассказывали, хотела поднабраться опыта а потом уехать в Палестину, уже как заправские колонисты.

– Мой папа никогда не был халуцем и никогда не собирался ни в какую Палестину.

– Я знаю. Он мне сам об этом говорил.

– И Ойзер Норвил тоже никогда не был халуцем. Он был намного умнее, чем мой папа.

– Из чего такой вывод? – с нетерпеливым любопытством спросил Залман.

– Из того, что он вовремя попрощался с «Мишмаром» и переехал сюда, в Москву. Потом все разъехались, только папа мой остался.

1 Халуцим (ивр. – «пионеры», «первопроходцы» - движение за национальное возрождение еврейского народа на исторической родине, начавшееся после революции 1905 г. и последовавшей волны погромов.

По маминым рассказам, его чуть ли не каждый понедельник и четверг туда вызывали.

Требовали «товар» сдать, предъявляли невесть какие выдумки о коммунарах – и о тех, что отчалили в Палестину, и о тех, кто остался, как Ойзер. Так измучили его, что в итоге мы тоже покинули колхоз и переехали в город – в Харьков. В большом городе человек не так заметен. Меньше бросается в глаза. И на несколько лет его действительно оставили в покое, не вызывали никуда. А потом о нем вдруг вспомнили, и как-то ночью – осенью это было…

Элиша закрыла глаза и продолжила:

– Уже восемь лет прошло с той ужасной ночи. Сколько бы я ни прожила, никогда ее не забуду. Восемь лет… И мы до сих пор не знаем, где он и что с ним. Нам сказали, что он враг народа, так что скорее всего… Неужели просто жить в коммуне – это такой грех, что заслуживает… Он даже и халуцем-то никогда не был… А? – Элише как будто показалось, что Залман что-то сказал. – Вы не знаете, что это я вдруг так разговорилась? Простите меня, пожалуйста. Я ведь совсем по другому делу хотела с вами встретиться. – Она на мгновенье задумалась и добавила намного увереннее, – По важному делу.

– Слушаю вас.

Молчание Элиши могло означать, что ее внезапно обуяли сомнения, можно ли доверять ему – в сущности, совершенно чужому человеку. Что с того, что он был знаком с ее родителями и даже влюблен в ее мать? Когда все это было? Сколько лет назад?

Подождав еще несколько минут, Залман повторил:

– Я вас слушаю.

– Сейчас, сейчас. – Элиша прислонилась к фанерной перегородке и продолжила каким-то глуховатым голосом. – Если помните, я вам в прошлый раз говорила, что мой папа имел отношение, в числе прочего, к драматургии – писал для передвижных театров, для драмкружков. Буффонады, одноактники. Мама говорила, что публика очень хорошо их принимала, во многих городах. Сам же папа, по ее словам, был не слишком высокого мнения о себе как о драматурге. Но незадолго до того, как его забрали, – мы тогда, как я уже говорила, в Харькове жили, – он написал пьесу, которой сам был доволен. И все, кому он читал, очень ее хвалили. Ее обсуждали во всех

тогдашних еврейских театрах. Шлойме Бен-Михоэл даже написал папе, пригласил приехать в Москву на читку. Но папа не успел. Успел только отдать пьесу машинистке на перепечатку. И вот, спустя столько лет, получаем мы с мамой письмо от той машинистки, и она пишет, что у нее сохранилась рукопись пьесы М. Криштола «Родня»… Вы что-то сказали?

– Нет, ничего.

– Представляете, что такое по нашим временам – столько лет прятать у себя рукопись человека, который находится там?

– Ну это как посмотреть. Те, кто во время войны прятал у себя евреев, рисковали своими жизнями похлеще вашей машинистки. Хотя согласен, не каждый человек, даже самый порядочный, пошел бы на такое на ее месте.

Нет в жизни ничего сильнее страха. И хотим мы признавать это или нет, над нами сейчас довлеет эта сила, сила страха. А я все равно верю, что и сейчас, как в прежние времена, есть отважные люди. Пусть их и не так много, но они есть. Не думайте, что я пытаюсь показаться исключением из правила. Я, вероятно, такой же, как все. Мною тоже движет сила страха. В детстве я пережил погром и знаю, что такое нацеленное на тебя ружье.

«Наверное, он догадался, – подумала Элиша, – ради чего весь этот разговор, и продолжать его смысла нет. Что еще могли означать его слова о том, что он – не исключение, что он – как все?» Она взглянула на часы и поднялась со стула.

– Простите, что задержала вас. – Она протянула ему руку. Залман не отпускал ее ладонь, пока она снова не села рядом.

– Почему вы вдруг передумали? Вы же хотели со мной о чем-то важном посоветоваться? Может быть, об отыскавшейся пьесе, а?

Элиша утвердительно кивнула.

– Пьеса у вас?

Она опять кивнула, оглянувшись на дверь. Залман заметил мелькнувший в ее глазах испуг.

– Я понимаю. Вы боитесь держать ее у себя. Так оставьте у меня. Хотя я тоже не могу быть абсолютно уверен в том, что однажды ночью не…

– Боже сохрани! – Перебила его Элиша.

– Бог не сторож. Если уж он не смог уберечь Каина от Авеля… В наше время все может случиться. Сейчас об этом каждый из нас думает. Но я возьму у вас пьесу. Машинистка ее перепечатала?

– Нет. Она нам рукопись вернула.

– Ну, это мелочь. Я организую, чтоб ее перепечатали на машинке в нескольких экземплярах, и запрячу их в какое-нибудь более надежное место, чем мое жилье. Есть у меня на примете несколько знакомых.

– Мы вам очень благодарны. Я говорю и от имени моей матери. Она уже знает, что мы познакомились, и просила передать вам сердечный привет. В последнем письме написала и о вашей встрече в «Мишмаре», когда вы оба были молодыми. Я вам в следующий раз дам почитать. Мы же еще увидимся до моего отъезда?

– Вы что же, уезжаете? – Залман взял ее за руку, как будто хотел удержать.

Элиша руки не отняла. Она все еще боролась с сомнениями, стоит ли выдавать Залману секретный замысел, который она держала в себе с тех пор, как получила спасенную рукопись. Наконец она решилась.

– Я, Залман Наумович, хотела с вами посоветоваться не совсем о том, где спрятать папину пьесу. Порядочные и смелые люди есть везде; мы могли бы ее сохранить и у наших знакомых в Абези. Я про другое: как сделать так, чтобы «Родню» поставили? Если не здесь, не в ГОСЕТе, то в каком-нибудь другом театре? В Черновцах? Или в Минске? Я понимаю, что никто не отважится ставить пьесу, написанную врагом народа. Но ведь никто и не знает, что это пьеса моего отца. В конце концов, можно же вообще не указывать, кто автор, или придумать какой-то псевдоним…

– И настоящего автора нигде не указывать?

– Ну да.

– Такое, милая моя Элиша, решительно невозможно. Это просто наивно. Ни в одном нашем театре на это не пойдут и пойти не могут.

– Я бы выдала ее за свою, но моя фамилия тоже Криштол. Кроме того, никто не поверит, что я автор, у меня ведь идиш не ахти какой. Да и потом скажут, что такая юная девушка не может настолько разбираться в тонкостях семейной жизни взрослых людей…

Только не подумайте, что мы это из-за гонорара затеваем, хотя я не буду отрицать, – да вы и сами, думаю, понимаете – деньги нам очень пригодились бы. Много ли мама может заработать, драя чужие полы? Это еще удача, что хоть до такой работы ее допускают. На одни мои заработки мы бы вряд ли смогли прожить. Я в швейном ателье работаю… В общем, речь не о гонораре. Мы просто хотели…

– А знаете, что? – прервал ее Залман, – Давайте я для начала пьесу прочту? Если с ней все действительно так, как вы рассказываете, посмотрим, что можно придумать. В крайнем случае, выдам ее за свою. Если вы ничего не имеете против, разумеется.

– Я? Против?

– Как Норвил может тут сидеть, в этой конуре? Здесь же дышать нечем! – Оба одновременно встали. – Пройдемся немного на свежем воздухе?

– Вы уже уходите? – спросил Ойзер, разбирающийся уже с нижней полкой того же стеллажа.

– Мы еще вернемся.

По глазам Элиши библиотекарь понял, что ей удалось договориться с Залманом о дальнейшей судьбе обретенной рукописи. Хорошо, что он посоветовал девушке обратиться к Манделу и помог им встретиться.

Словно ком снега, выкатилась из-за кирпичных домов на площади Ногина ранняя вечерняя луна. Застыла в ожидании, пока Залман с Элишей спускались вниз, мимо покрытого сугробами сквера, а потом свернула вслед за ними, поплыв к набережной Яузы. Как москвич с солидным стажем Залман хорошо знал эту часть города. Помимо Еврейской библиотеки здесь когда-то находились «ОЗЕТ»[1] и его печатный орган – журнал «Трибуна», где Залман тоже был частым гостем. Сейчас, проходя мимо этих зданий, он не удержался и стал рассказывать Элише, что тут было раньше. А когда она обратила к нему вопросительный взгляд, показывая на кирпичный дом с развевающимся на нем красным флагом, Залман поспешно отвел ее подальше и только потом поведал, что в прежние годы здесь располагалось Центральное

1 ОЗЕТ (ид.) – сокр. от «Общество землеустройства еврейских трудящихся». Организация, основанная в 1925 г. с целью привлекать советских евреев к земледельческому труду.

бюро Евсекции[1] при ЦК Комсомола. А еще он рассказал ей, как однажды его пригласили сюда на совещание, и пробираясь по бесконечным коридорам, он увидел на одной из дверей табличку – это был кабинет Сталина. Самого его Залман тоже видел, но уже годом позже, причем видел настолько близко, что и поверить невозможно. Только лучше об этом не говорить. По крайней мере, не здесь. Скрипучий снег под ногами, казалось, вторил: «Не здесь… Не здесь…»

На обратном пути они решили пойти не мимо садика с памятником героям Плевны – русским солдатам, павшим во время Русско-Турецкой войны, – а через соседний, ведущий в горку переулок, который заканчивался на пересечении с коротенькой, любимой народом улочкой Маросейкой. В Спасоголенищевском переулке у Залмана тоже нашлось, что рассказать Элише. Пройдя полпути в горку, они остановились у высокого светлого здания с четырьмя круглыми колоннами у входа. В огромные окна заглядывал лунный свет.

– Я сюда прихожу, только чтобы «Изкор» прочесть. Совершенно из головы вылетело… Ведь кантор этой синагоги, вероятно, знал вашего отца. Он был одним из четырех вокалистов того самого квартета, с которым я ездил по еврейским колониям. У него сильный, красивый голос, и все молитвы он прекрасно знает. Но у омеда[2] мне все равно как-то странно его видеть.

Он неожиданно прервал свой рассказ. Вытащил из кармана записную книжку, вырвал из нее листок и, записав на нем карандашом свой адрес и телефон, протянул его Элише.

– Когда будете отправлять письмо вашей маме, вложите в конверт эту записочку. Еще секундочку. – Он взял у нее из рук сложенный листочек и написал на нем «Пэпе Криштол от Залмана Мандела».

– Не забудете ей переслать?

– Забуду? Забыть не забуду, но не уверена, что получится. Скорее всего, лично в руки ей отдам. Уже скоро поеду.

– Не понимаю. Вы же мне говорили…

1 Евсекции – еврейские секции ВКП(б), созданные наряду с другими национальными секциями для борьбы с проявлениями религиозности и «буржуазного национализма», а также для насаждения пролетарской культуры в еврейской среде. Позднее были созданы, в частности, евсекции при республиканских Союзах писателей.

2 Омед – в синагоге возвышение, с которого читается Тора.

– Только не обижайтесь. В прошлый раз я не могла сказать вам правду.

Вы же для меня тогда были совершенно посторонним человеком. Вот я и придумала, как будто приехала несколько месяцев назад и работаю на заводе. Но не все обман: я на самом деле собираюсь поступать в Театральное училище при ГОСЕТе. Хотя посреди зимы я сюда приехала все же по другому делу.

– Понимаю. Вы приехали из-за пьесы…

– Да, – и тут же добавила, – Впрочем, не только из-за нее. Вы знаете, почему меня не было на похоронах? Я в тот день была записана на прием в военной прокуратуре. Приехала туда рано утром и уехала в конце дня. Но правды так и не узнала. Не верю я, что папа умер в лагере, хотя прокурор, у которого я была, назвал мне не только год, но и месяц, когда это случилось. Только вот… если бы папа был в лагере, разве он не нашел бы способа подать нам весточку? И потом прокурор этот с такой ненавистью говорил о папе, что я пришла к выводу, что его расстреляли. Но как же не хочется в такое верить… – Она закрыла глаза, но слез сдержать не смогла: они так и хлынули из-под ее опущенных век.

– Элиша, дорогая… – Залман слегка прикоснулся к ее руке. – Слезами же ничего не изменишь.

– Не подумайте только, что я и там тоже расплакалась. Там я была сильной, не хотела, чтобы прокурор видел мои слезы. Может быть, благодаря тому, что я не стала перед ним унижаться, он пообещал рассмотреть мое прошение, чтобы маме разрешили вернуться из ссылки. Некоторым ссыльным женам позволяют селиться на сто первом километре от областных центров.

– А вам тоже не разрешено жить там, где вы хотите?

– У меня обыкновенный паспорт, в нем специального запрета нет.

– Тогда почему бы вам не обосноваться здесь, в Москве? Тем более, если вы собираетесь поступать в театральное.

– Разумеется, я хотела бы поселиться в Москве. Но меня ведь никто не пропишет. А если ты не прописан, то и на работу не устроишься. Выходит, остается одно: выйти замуж за местного жителя.

– Думаю, долго искать жениха вам не придется. Нет такого юноши, который не влюбился бы в вас с первой минуты.

– А что скажет этот юноша, когда узнает, кто родители его избранницы? Если уж выходить замуж, то за человека с такой же «достойной» генеалогией, как у меня. Это я шучу, конечно же.

– Сам понимаю, что шутите. А сейчас вы где живете?

– Сначала я у Ойзера была несколько дней. Но там негде - трое взрослых людей в одной комнате… Сейчас Ойзер Абрамович меня на время устроил к одному своему знакомому. Только он боится меня долго у себя держать, без прописки.

Недолго посовещавшись сам с собой, Залман предложил:

– А вообще знаете, что? Перебирайтесь-ка вы пока ко мне. Не подумайте, не дай бог, ничего плохого. У меня есть еще жилье. У меня жена и взрослый сын. Сын, правда, не мой. Жена, собственно, тоже не моя. Мы с ней не расписаны и видимся достаточно редко… Это длинная история, долго рассказывать. Во время войны Еврейский антифашистский комитет отправили в эвакуацию... Куйбышев тогда на время стал столицей для многих. Туда целыми толпами переезжали. А при таком наплыве людей – иди сыщи жилье. Мне в буквальном смысле негде было голову преклонить. Вот тогда я и познакомился с Надеждой Федоровной. Она тоже была москвичка, эвакуированная, но в Куйбышеве имела свою комнату.

– Вы что, предлагаете мне «понарошку» за вас замуж выйти? Ради постоянной прописки в Москве?

– Сохрани меня господь от подобных мыслей! – Воскликнул Залман. «Хотя на самом деле – что за великое преступление? Если уж обстоятельства до этого довели…»

Уже на улице Залман спросил у Элиши:

– Вы действительно хотели бы стать актрисой?

– С детства мечтаю.

– Но почему вы именно в Еврейское училище хотите поступать? С таким замечательным русским произношением вас, думаю, и в русское могли бы принять. А на русской сцене играть – это, знаете ли, не то же самое, что на еврейской. У идишского театра, так же как и у идишской литературы, нет никаких перспектив. Это мерцающий огонек, который может потухнуть даже раньше, чем мы думаем. Такова судьба, и от нее не отмахнешься.

Элиша остановилась:

– Вот от вас я не ожидала подобное услышать. И если вы считаете, что перспектив нет, то почему же продолжаете писать на идише? Мне кажется, вы и русским неплохо владеете.

– Писать – это нечто совершенно иное. Я, например, не верю, что человек может заниматься сочинительством на языке, который он выучил, а не знал с детства. Я вам мог бы назвать нескольких наших писателей, в том числе крупных, которые начинали писать на другом языке и даже добивались успеха, но в конце концов все же переходили на идиш, на свой родной язык.

– Бен-Михоэл с вами не согласился бы. Он не стал бы сравнивать еврейский театр с еле мерцающим пламенем.

– Откуда вам знать, Элиша?

– Если бы Бен-Михоэл так думал, он, вероятно, не приехал бы к нам. У нас в Харькове был драмкружок при еврейской школе, где я училась. Тогда еще во многих городах были еврейские школы. У нас поставили одну буффонаду моего папы и на премьеру пригласили Бен-Михоэла и еще несколько актеров ГОСЕТа. Они как раз приехали в Харьков с гастролями.

После представления Бен-Михоэл пришел за кулисы и очень меня хвалил. Сказал папе, что как только я закончу общеобразовательную школу, он должен меня послать учиться к ним, в Театральное училище… Ох, был бы Бен-Михоэл сейчас жив…

– Если понадобится, я замолвлю за вас словечко. Я уже говорил вам: меня знают и в театре, и в училище.

*

…В библиотеке они застали Ойзера с Яшей Розеном. Они о чем-то спорили, да так жарко, что не сразу заметили вошедших.

– Разрешите мне представиться вашей знакомой! – Яша расправил плечи, стукнул каблуком о каблук на военный манер и протянул Элише руку:

– Яша Розен.

– Один из наших молодых поэтов, – добавил Залман.

– Вижу, вы меня, Залман Наумович, все еще за новичка держите. А ведь меня – позвольте вам заметить – уже переводят на русский.

И не абы кто, а великие поэты. И мои рифмованные байки в самом скором времени появятся в центральных русских журналах.

– Поздравляю вас! От всего сердца.

– Спасибо.

Из библиотеки они вышли втроем. Залман посадил Элишу на подошедший трамвай и дождался, пока он тронется.

– Знал бы я раньше, что вы не собираетесь ее провожать, – сказал Яша Залману, – сам бы поехал. Она ведь живет у черта на рогах.

– А вы уже в курсе, где она живет? И что еще вы успели узнать?

– Ну о том, что она не ваша жена, я и сам догадался. Слишком она молода. Хотя, с другой стороны, после войны встречаются такие парочки, и никто слишком сильно не удивляется. А вы, как я посмотрю, эстет не только в творчестве, но и в жизни. Где вы отыскали такую красавицу, в каком штетле[1]? Такой красоты мне даже в наших подольских местечках не встречалось – а уж они славятся своими суламифями. Не бойтесь, не буду ее у вас отбивать. Но между нами говоря, я бы с такой, как ваша Элиша, под хупу[2] с закрытыми глазами пошел, и пусть ведет меня хоть на край света!..

– Да ради бога! Я ей ваши слова передам. Только вот сильно сомневаюсь, что они ей по нраву придутся.

– Это почему? Потому, что я уже был женат?

– Не думаю, что поэтому. Просто такие красивые девушки, насколько мне известно, не переносят запаха горячительных напитков.

– Вы меня совсем уж в пьяницы записали. Эх, знали бы вы, Залман Наумович, что довело меня до бутылки!.. Но сейчас, прямо вам скажу, я действительно почувствовал, что, будь у меня такая жена, я бы в жизни больше к спиртному не притронулся.

– Это мне тоже ей передать? Простите, но мне нужно домой. Доброй ночи.

Залман тоже мог бы сесть на метро вместе с Яшей. Но вместо того, чтобы спуститься в подземку, сел на автобус. А почему – он и сам не мог бы сказать.

1 Штетл – ид. «местечко».

2 Хупа – свадебный балдахин в евр. традиции.

Глава 6

В нескольких минутах ходьбы от бурлящей торговли Арбата, на втором этаже деревянного двухэтажного дома, двором выходящего на Трубниковский переулок, жил Натан Левитин – театральный критик, сотрудник Еврейского антифашистского комитета и литературный редактор его печатного органа, газеты «Эйникайт»[1]. В большой коммунальной квартире Левитин с семейством занимали две смежные комнаты, не сказать чтоб просторные.

С Натаном, который был намного младше него, Залман сдружился еще до войны. Натан в ту пору уже окончил Историко-филологический институт и опубликовал несколько очерков и театральных рецензий, среди которых был и отзыв на пьесу Залмана «Любовный роман» – отзыв острый, язвительный, под заглавием «Роман без любви». Читая рецензию, Залман представлял себе ее автора как человека средних лет – ожесточенного, полного горечи… Дошло, однако, до знакомства, и Залман увидел перед собой совсем еще юношу, с улыбающимися глазами, полными доброты и мудрости. Его смуглое, несколько вытянутое лицо сияло добродушной, очаровательной улыбкой даже тогда, когда он сердился. А сердился он в тех случаях, когда предстояло редактировать слабую в художественном отношении работу. Он называл подобные тексты «эрзацем», а их авторов – «эрзацниками», причем такого прозвища подчас могли удостоиться даже те писатели, которых в целом он ценил и уважал.

Мало кто из авторов, которым Натан возвращал их произведения на доработку, брался с ним спорить. Все верили в его порядочность и добрую волю, доверяли его художественному вкусу и не прекращали водить с ним дружбу. Залману казалось, что в какой день к Натану ни зайди, неизменно встретишь там кого-нибудь из писательского или театрального мира.

Залман и сам имел обыкновение заглядывать к Натану ненадолго, даже без предварительного звонка, и потом просиживать у него часами за беседами и спорами. Темы никогда не заканчивались…

1 Газета «Эйникайт» (ид. – «единство») – выходила на идише с 7 июня 1942 г. по 20 ноября 1948 г. Распространялась в СССР и за рубежом.

Почти ни с кем из многочисленных знакомых Натана Залман не был на «ты». Не любил он фамильярности, и когда кто-нибудь ему «тыкал» – вежливо напоминал, что существует слово «вы». Как же тогда вышло, что с Натаном они незаметно для самих себя перешли на «ты» чуть ли не на первой встрече после войны? Наверное, война их и сблизила, хоть за четыре военных года они ни разу не виделись. Натан был на фронте, Залман – в эвакуации, работал в Антифашистском комитете, в газете «Эйникайт». Теперь Натан был уже не юнцом, а зрелым мужчиной, отцом двоих детей, но разница в возрасте между ними осталась все той же, что и тогда, когда они только познакомились…

В ту их первую послевоенную встречу Левитин пригласил Залмана к себе и познакомил с женой – Годл – и двумя отпрысками. Уже с первых слов Годл Залману стало очевидно, что она связана с миром еврейского театра: нигде, кроме как в Еврейском театральном училище и в ГОСЕТе, не приходилось ему слышать, чтобы слова произносили будто по слогам, громко и четко интонируя каждый из них. И действительно, жена Натана была из тех, кому, несмотря на все усилия, не удалось до конца освободиться от этой неестественной манеры речи. Хотя время от времени она, сама того не замечая, переходила на свой старый одесский говор, с его певучестью и тягучими гласными. Но одесситку Залман в ней узнал не только по говору. От нее веяло морем и солнцем, словно она только что вернулась с пляжа.

Такой предстала ему Годл тогда, много лет назад, и такой она показалась ему сегодня, когда он в очередной раз зявился к Натану без звонка, на ночь глядя. К немалому удивлению Залмана, других гостей он там не обнаружил.

Хозяин дома, запершийся в дальней комнате, конечно же, слышал, кто пришел. Он с удовольствием вышел бы повидаться с дорогим гостем, но – увы! – не может, поскольку в высшей степени занят: сочиняет вступительное слово для литературной страницы очередного выпуска газеты. Сын Натана, первоклашка Лейзерке, внимательно следил, чтобы его трехлетняя сестренка не мешала папе писать. Он стоял, как страж, у закрытой двери в папин альков, отгоняя маленькую Фейгеле, как отгоняют кота, посягающего на чужое лакомство.

– Поди-ка сюда, Фейгеле, – Залман посадил ее к себе на колени.

– Спой мне что-нибудь. Я так давно не слышал, как ты поешь. Только тихо-тихо, – и указал на закрытую дверь, у которой стоял ее братик.

Лейзерке сел за свой столик и принялся делать уроки.

– Не помешаем мы тебе? – спросил его Залман.

Когда он заходил сюда в прошлый раз, в комнате толпились гости, в основном писатели и актеры. Был как раз тот момент вечера, когда публику развлекала Фейгеле. Раскрасневшаяся, белокурые косички откинуты назад, она стояла посредине комнаты и исполняла фрагменты разных песенок. Как все актерские дети, она немало их наслушалась от родителей и их знакомых. Иногда она запиналась, и мама приходила ей на подмогу. Сейчас же Годл хлопотала на кухне.

– Давай я тебе помогу, хочешь? Что бы нам с тобой спеть? – обратился к девочке Залман.

– «Ой вэй, йидн бней рахмоним…»[1] Нет, нет. Давай лучше «Нохемке-сынок»[2].

– Давай «Нохемке-сынок», – сразу согласился Залман. – Только я не все слова знаю. А ты знаешь?

Фейгеле утвердительно качнула своими тоненькими белокурыми косичками, запрокинула голову вверх и затянула с неожиданной хрипотцой:

– Пошто ты так печалишься, Нохемке-сынок?..

Впервые увидев Лейзерке, Залман заметил, что малыш – точная копия отца. Фейгеле же внешне больше похожа на маму. У нее то же округлое загорелое личико, большие карие глаза, длинные ресницы и ясный звонкий голосок. Лишь волосы у нее не такие, как у матери. У Годл они иссиня-черные, а у Фейгеле светло-золотистые. У Лейзерки глаза Натана, только в них живет грусть, и голосок у него шепчущий, испуганный. Он, судя по всему, сильно боится отца и не понимает, почему тот с ним так суров.

Однажды в присутствии Залмана между супругами разгорелась ссора. Годл вступилась за сына, вся вина которого заключалась в том, что накануне он пробегал с друзьями на двадцать минут дольше, чем разрешил ему отец…

1 Неточн. «Ой, ир йидн бней рахмоним» - Песня из пьесы А. Гольдфадена «Колдунья».

2 «Нохемке-сынок» - песня-пародия на слова песни «Меирке-сынок», авторство которой приписывается Бердичевскому ребе.

Годл отправила детей во двор, а когда она вернулась на кухню, Залман обратился к Натану:

– Ты не обижайся, но мне кажется, ты чересчур строго с детьми обращаешься.

– Возможно. Я этого не отрицаю. А знаешь, почему? Да все потому, что я их очень люблю. Скажешь, здесь противоречие? Да и пусть! Только так оно и есть. Дети не должны расти исключительно в тепличных условиях, как в оранжерее. Не думай, что Годл их целует, а я нет. Я целую их не меньше, просто делаю это тогда, когда они не видят – когда спят. Кому дано знать, что ждет наших детей в будущем? Я на войне такого насмотрелся… И жизнь научился несколько иначе видеть. Кроме солнца есть еще метели… Ну, довольно философствовать. Мой руки и идем к столу. О чем ты вдруг так призадумался?

– Уже больше недели, как в газетах не анонсируют репертуар Еврейского театра. Никто ничего не знает и не понимает, и все боятся спросить там, где следует.

– Ты ошибаешься. Где следует, уже спросили и не раз. Только ответа нет. Я поначалу решил, что в воскресном номере на наш театр просто места на полосе не хватило, но потом мне со всех сторон стали звонить, спрашивать, мол, что бы это могло значить и не связано ли это каким-то образом с внезапной гибелью Бен-Михоэла… Вот тут я и понял, что это не случайность, что оно все сверху идет.

– И к чему оно идет? Дальше-то что? – обратился Залман к Натану, как будто вдруг увидел в нем человека гораздо старше и опытнее себя. – Не закроют ли его совсем, не дай бог?

– Все может случиться. Я, впрочем, больше всего опасаюсь, что он сам по себе закроется. Как перестали в газетах ГОСЕТ упоминать, так публика и ходить туда перестала. При полупустом зале играют, а иногда и вовсе только четверть мест занято.

– Коли так, – Залман тяжело вздохнул, – выходит, что и касса пуста, а значит, долго театр не продержится.

– Странный у нас народ. Если пробьет час и театр закроют – или, скажем, на идише книги печатать окончательно перестанут – первыми поднимут вой как раз те, кто скорее всего и в ГОСЕТе отродясь не бывал, и еврейской книжки в глаза не видел. Но касса, насколько мне известно, не страдает: стали распространять среди евреев

театральные абонементы: покупать никто не отказывается. Попадаются такие, что даже два или три берут. Но в театр при этом ни ногой.

– Страх?

– В числе прочего. Одни говорят, что там каждого незаметно фотографируют. Другие додумались до того, что там даже списки пришедших составляют. Одним словом, дорогой Залман, ничего хорошего. Как говорится в пьесе «Развод», «погано так, что фу!»[1].

– То есть, не исключено, что и с нашими книгами так же будет?

Дожили: евреи от еврейской книжки шарахаются…

– Ничего исключать нельзя, Залман. Ничего. Мы все давно уже лежим под колесами.

Из кухни вышла Годл.

– Вы не могли бы капельку потише беседовать? Мне там практически каждое слово слышно. А кругом соседи.

– Мы же, Годл, на идише говорим, – начал оправдываться перед ней Залман, как будто она не знала, на каком языке шел разговор.

– Вот за этой стеной как раз живет наш еврейский сосед. Да и у стен есть уши, особенно в последнее время. Куда вы собрались, Залман? Пока с нами не пообедаете, я вас не отпущу. У меня уже почти все готово. Сейчас дети придут, и за стол.

– А пока моя Годл готовит, угощу-ка я тебя двумя великолепными текстами. В ближайшем номере газеты выйдут, на литературной страничке.

– Натан вынес из кабинета несколько машинописных страниц. Это были байки Яши Розена. – Я тебе почитаю?

Залман слушал, слегка подавшись вперед, и когда Натан закончил чтение, чуть было не потерял равновесие и наверняка упал бы вместе со стулом, не схватись он обеими руками за хозяина дома.

– Знаешь, – нахмурившись, произнес Залман, – мне кажется, обе байки уже печатались. Одна так точно. Вроде еще до войны. Не могу только вспомнить, где именно: то ли в журнале, то ли в газете…

– Плагиат? – Встрепенулся Натан.

– Боже упаси! Перо безусловно его. Просто он это однажды уже публиковал.

1 «Развод» (ид.) – одна из ранних пьес Шолом-Алейхема, 1887.

– Тогда не понимаю, зачем ему понадобилось подсовывать мне эти байки как новые, свеженаписанные?

– Не думаю, что он хотел тебя как-то подвести. Просто сидел, небось, без копейки, на поллитровочку не хватало. А без нее он, как мы знаем, ну никак обходиться не может.

– Это не оправдание. Я поговорю с ним. Только сперва сам попробую разобраться, в чем тут дело. Так ты говоришь, они до войны еще печатались?

– Спроси у Ойзера, он тебе сразу найдет – и когда, и где.

– Да, но это бы означало навлечь на человека подозрение, а мы еще ничего не выяснили. Я сам пороюсь. А пока пусть в сторонке полежат. Не пойдут они в ближайший номер.

Дети вернулись с прогулки, их щечки горели от мороза. Фейгеле торопливо сбросила с себя пальтишко, прискакала к столу и так потянула на себя скатерть, что тарелки чуть на пол не попадали. Лейзерке же остался стоять одетым у входа. Залману показалось, что он может простоять так недвижно еще долго, пока его не позовут.

– Сначала моем руки, потом садимся за стол. Поняла, девчушка? – Сдержанно проведя рукой по волосам дочки, Натан повернулся к Лейзерке:

– А ты куда собрался?

– Никуда, – глуховатым голосом тихонько ответил мальчишка.

– А что тогда стоишь, как гость, не раздеваешься? В кино хочешь пойти?

У ребенка радостно засияли глаза.

– Значит, договорились. Делаешь уроки, и идем с тобой в кино.

Когда Лейзерке подошел к столу, Натан пододвинул его стульчик поближе к себе.

После обеда Левитин пригласил Залмана в кабинет и предложил прочесть свою вводную статью. Они вместе покончили с редактурой, потом занялись материалами, отобранными для субботнего номера, и, наконец, вернулись к теме, которая не давала им обоим покоя. В то, что произошедшее в Минске станет началом множества новых бед – поверить трудно, но и не поверить невозможно, и следует быть готовым ко всему.

– Годл, – спросил Залман, уже собираясь уходить, – вы не знаете, что идет сегодня в театре?

– Должен был идти «Фрейлехс»[1].

– «Фрейлехс» всегда хорошо посмотреть. И потом просто любопытно – неужели и на нем половина мест будет пустовать? Хотя нет, сегодня же суббота, так что зал наверняка будет битком.

– Потому что вечер выходного дня?

– Нет, не поэтому. Вернее, не только поэтому. Перед воскресным походом в ЗАГС многие родители – и жениха, и невесты – ведут своих детей в театр на «Фрейлехс».

*

Представление уже началось, двери в партер были закрыты, и Залман поднялся на галерку. Слишком пристально оглядываться по сторонам не пришлось: Левитины не преувеличивали. На галерке пустовали почти все кресла. Внизу, в партере, он тоже насчитал довольно много свободных мест. Зал был заполнен едва ли наполовину… и это в день, когда дают «Фрейлехс»! Залман хоть и был предупрежден, не мог поверить собственным глазам. Может, на этих выходных просто мало свадеб играют? До трагедии – еще совсем недавно – у тебя еще на подходах к театру, на углу улицы, начинали стрелять лишний билетик… Или это газеты так перепугали людей, перестав анонсировать спектакли Еврейского театра, что родители уже не приводят детей на «Фрейлехс» перед походом в ЗАГС? Бен-Михоэл поставил этот спектакль вскоре после войны, в утешение исстрадавшемуся народу. Эта свадебная пьеса полна печали, песен и танцев, в которых слышится – как написал Натан Левитин в своей рецензии – «Лой омус» – народ не мертв, «ки эхъе» – народ жив[2]. Натан тогда еще написал, что, возможно, более подходящим названием для этой постановки было бы «Продолжение»…

Залман уже столько раз видел «Фрейлехс», что мог позволить себе пропустить начало спектакля, когда меланхоличный бадхен

1 «Фрейлехс» («Радость», также название евр. танца) – спектакль ГОСЕТа по мотивам хасидского фольклора, 1945. Был удостен Сталинской премии.
2 Ивр., букв. «Не умру я, ибо буду жив». Псалом 117:17.

справа и его жизнерадостный визави слева открывают каждый свою половину занавеса, чтобы публика увидела и услышала, как стекаются гости на свадьбу, как радуется им родня молодых, как танцуют все вокруг чудом оставшейся в живых бедной тетушки и поют: «Не будем же стыдиться кровинушки своей»…

Во время антракта, спускаясь по натертым до блеска ступенькам, Залман увидел среди толпящихся в фойе Элишу с Яшей. Когда это они успели так сблизиться, что уж и в театр вместе ходят? И сейчас беседуют, судя по всему, о чем-то важном…

Залман попытался пройти мимо незамеченным, но Элиша уже успела его заприметить, и, высвободив свою руку из Яшиной, направлялась к нему. Яша последовал за ней.

– Добрый вечер! – С некоторым смущением поприветствовала его Элиша. – Вы тоже первый раз на «Фрейлехс»?

– Первый раз? – Переспросил Розен, как будто ее вопрос был обращен к нему. – Мы уж и не вспомним, наверное, который раз. Но это такой спектакль, что его можно смотреть и смотреть, и не надоест. Что скажете, Залман?

– Я тоже так считаю.

– Ох, в буфет какая очередь! А меня вдруг ужасная жажда одолела…

– Пойду займу очередь. – Вызвался Яша. – Хотя не уверен, что мы успеем.

– Почему нет? Еще даже первого звонка не было. Я сейчас правда в обморок упаду, так пить хочется.

Залман мгновенно разгадал причину ее внезапной жажды: девушка просто не нашла другого способа остаться с ним наедине.

– Вас, я вижу, удивляет, что вы меня здесь встретили в компании вашего юного поэта?

– Он не так юн, как я его вам представил. – Залман и сам не понял, зачем он это сказал. Теперь она вообразит, что он ее ревнует. Надо дать ей понять, что глупо даже подозревать его в подобном. Он ее все же в два раза старше, ему уже за сорок. И чтобы убедить Элишу в том, что она ошибается на его счет, он добавил уже гораздо более мягко, – Но он красивый, очень красивый мужчина.

– Вы мне его сватаете? – Элиша рассмеялась и отошла к стене, на которой висели портреты тех, чьи пьесы играли здесь в разные годы.

– Ой, смотрите, ваша фотография.

– Меня еще можно здесь узнать? Снимок сделан столько лет назад…

– А мне кажется, что вы совершенно не изменились. Честно. – Элиша бросила взгляд в сторону буфета и, удостоверившись в том, что Яша еще какое-то время простоит в очереди, повернулась к Залману: – Я все эти дни собиралась вам позвонить, но знаю, что вы человек очень занятой, и мне не хотелось отнимать у вас время.

– Вы преувеличиваете мою занятость. У меня сейчас одно дело – чтобы пьесу вашего отца перепечатали. Пока что я успел ее только прочесть. Хотите услышать мое мнение? Если бы она мне не понравилась или показалась негодной для постановки – я не отдал бы ее на перепечатку. Но прежде чем представить ее в театре под моим именем, мне нужно посоветоваться с одним моим хорошим знакомым. Он видный театральный критик. Как получу экземпляры, сразу к нему. Но имя автора ему покамест не открою. А может и вообще…

– Думаете, он вас отговаривать будет от этой затеи?

…Да, Натан мог бы его отговорить. Залман, впрочем, и сам до конца еще не решил, брать ли на душу такой грех – приписывать себе авторство, не имея к произведению ни малейшего отношения.

– Не думаю, что он будет меня отговаривать, хотя даже если будет, я его осуждать не стану.

– Понимаю…

– А ему вы рассказали? – спросил Залман.

– Яше? Я его почти не знаю. Мы и виделись-то буквально считаные разы. Вы кажетесь человеком, которому можно довериться. А ему я пока ничего не говорила. Он мне с временной пропиской помог – на месяц – и в швейное ателье помог устроиться. У него, оказывается, обширные знакомства где надо. А еще обещал помочь маму из Абези перевезти, в Московскую область, на сто первый километр, а со временем в самой Москве ее прописать. Для этого ему потребуется пару раз сводить в ресторан тех людей, которые могут решить вопрос. Но сейчас у него нет лишних денег. Говорит, ему еще за книжку гонорар не выплатили.

– За какую книжку?

– Откуда мне знать?

Розен возвращался из буфета, держа в одной руке бутылку лимонада, а в другой стаканы.

– Когда мне вам позвонить? – торопливо и негромко спросила Элиша.

– В любое время. Я с вами всегда готов встретиться. У вас в партере места? Пойду к себе на галерку.

Ко второму акту Залман остался на галерке единственным зрителем. Все остальные перебрались на свободные места в партер. Таким образом, опоздав на второй акт и покинув зал до конца спектакля, он никого не побеспокоил, никому не помешал.

Уже прошагав километра два, он остановился в нерешительности: вернуться домой, в свою коммуналку, или перестроить маршрут и направиться к Наде?

Глава 7

Бывали дни, когда Залману не работалось. Тогда он выходил из дома и бродил бесцельно и бездумно по городу, от улицы к улице, не переставая злиться на себя: столько часов за письменным столом, и ни полстраницы, хоть сколь-нибудь стоящих! Чаще всего ноги приводили его в центр города, в самую суету. Шум и толкотня вокруг помогали ему освободиться от неудачной строфы или надуманной картины, которые навязчиво требовали, чтобы он вновь и вновь пропускал их через себя. И порой случалось, что, освободившись в конце концов от их назойливого преследования, Залман возвращался со своей беспорядочной прогулки со счастливой добычей: подходящее сравнение, ловкая метафора или точный образ, которые никак не давались ему дома.

Так было и сегодня, когда он приступил к работе над давно уже задуманной драмой. В комнате буквально весь пол был устлан исписанными и разорванными на клочки листами бумаги. Не додумайся он вовремя убежать из дома, мучительные поиски деталей для первой картины первого акта, вероятно, довели бы его до безумия. Обычно, слоняясь по улицам в такие болезненные дни, Залман

старался нигде не останавливаться, но сегодня ему постоянно приходилось это делать. Дышать было тяжело.

Сердце не болело, но на всякий случай он все же положил под язык таблетку валидола. По совету Моисея Маргулиса – врача их писательской поликлиники – Залман никогда не выходил из дома, не прихватив с собой валидол.

Когда-нибудь он использует доктора Маргулиса как прототип для персонажа одной из своих пьес… Возможно, той самой, за которую он взялся сегодня.

На прошлой неделе они случайно столкнулись – но не в поликлинике, а на выходе из гастронома на Охотном Ряду.

– Как думаете, Моисей Бенционович, – спросил его Залман, – он – Сталин – в курсе?

– Видите ли, Залман Наумович, полагаю, об этом его самого следует спросить.

– Эх, кабы знал я лет эдак двадцать назад… Я тогда стоял рядом с ним, точь-в точь как сейчас с вами. Вижу, не верите вы. Да я и сам уже толком не верю. Но был в моей жизни такой случай. Давайте отойдем в сторонку. У улиц есть глаза.

– Зато у них ушей нет, – кривовато усмехнулся Маргулис, видя как Залман оглядывается по сторонам.

– Вот здесь в те годы находилось студенческое общежитие, и я был там частым гостем. И вот спускаюсь я как-то раз вниз по лестнице и вдруг слышу «Траурный марш» Шопена. Подхожу к выходу и – представьте себе! – вижу Сталина и всех прочих. Это сейчас на демонстрации к трибуне Мавзолея на выстрел не подпускают, уже на подходе вести начинают. А тогда – другое дело. Разве что Охотный был запретной зоной. Так вот. Я тогда еще выглядел, можно сказать, почти мальчишкой, и был не из пугливых, так что, недолго думая, рванул на другую сторону, к Колонному залу. Оттуда гроб выносили, венки. Я только потом узнал, что хоронили редактора «Известий», Скворцова-Степанова[1]. Те, кто там со стороны присматривал, возможно, просто не заметили, как я перебежал. Тогда не следили

1 Скворцов-Степанов, Иван Иванович (1870–1928) – советский партийный деятель, историк, экономист. В 1925-1928 гг. ответственный редактор газеты «Известия».

так, как сейчас. Но скорее всего просто приняли меня за родственника покойного, потому что я сразу присоединился к похоронной процессии. И дошел аж до Мавзолея…

*

Сегодня, к концу своих хаотичных блужданий по городу, Залман тоже завернул на Охотный Ряд, купить в гастрономе чего-нибудь съестного. В центре больше выбор, чем в магазинчиках на его улочке.

Помимо Колонного зала, из всей старой застройки на Охотном Ряду сохранилось лишь здание студенческого общежития, куда он когда-то частенько наведывался: там обитали студенты Еврейского литературно-лингвистического отделения Второго московского университета[1]. Сейчас, проходя мимо тогдашнего общежития, Залман будто увидел себя той ранней осенью, в тот день, когда он перебежал на другую сторону улицы, к Колонному залу. Прошлое предстало перед ним так явственно, что казалось, он мог бы точно указать, где именно тогда прошагал Сталин. Он увидел, как Сталин с Молотовым ведут под руки высокого сутуловатого Максима Горького. За ними шествует высокий гость из Франции, знаменитый французский писатель Филипп Эриа[2]. Залману запомнился даже тот факт, что после похорон Эриа сразу отправился домой. А вот кто был рядом с французом – память не сохранила. Вероятно потому, что сам Залман шел впереди и не слишком оглядывался, хотя за гробом тогда следовали все те, кого он не раз видел издалека, когда они стояли на трибуне Мавзолея. А еще через несколько лет многих из них уже нигде не стало видно… Тогда же он всю дорогу смотрел только на одного человека – того, кто шел справа от него. Раньше ему и в голову не приходило, что Сталин – значительно ниже его ростом. А на фоне Горького с Молотовым он казался еще меньше. На портретах и на трибуне Мавзолея Сталин выглядел рослым

1 Еврейское литературно-лингвистическое отделение (ЕвЛИТЛО) – было открыто в 1926 году на педфаке при 2-м Московском государственном университете для подготовки учителей для еврейских школ. В 1930 г. в результате реформы высшего образования педфак отошел МГПИ им. А.С. Бубнова. ЕвЛИТЛО просуществовало до 1938 г.

2 Филипп Эриа (Philippe Hériat, 1898-1970) – французский прозаик, актер, драматург.

и широкоплечим. Сейчас он шагал так близко, что Залман заметил еще нечто, чего не увидишь на портретах: лицо генералиссимуса было темным и изрытым оспинами, а голова местами будто убеленная снегом. Только усы чернели, словно уголь. Казалось, дотронься до них, и на пальцах останется сажа. Брови и ресницы были того же оттенка.

Дойдя до улицы Горького, похоронная процессия повернула налево и начала подниматься по широкому проезду, между красными стенами Кремля и такой же кирпичной стеной Исторического музея, к Красной площади.

После панихиды, у подножия деревянного Мавзолея, Залман расстался с Хозяином страны, понимая, что так близко больше никогда его не увидит.

– О, Залман Наумович!

Мандел вздрогнул, как будто услышал голос того, о ком сейчас думал. Путь ему преграждал элегантно одетый мужчина, стоявший с разведенными в стороны руками, как будто собираясь заключить его в объятия. Лицо у незнакомца тоже было темное, только усики под широким носом маленькие, едва заметные.

– Что вы так смотрите, Залман Наумович? Не помните меня?

– Нет, – растерянно ответил Залман.

– Вам подсказать или вы сами вспомните? – Незнакомец взял его под руку и отвел в сторону, подальше от входа в бывшее студенческое общежитие. – Ах, дорогой Залман Наумович, ну как же это? Так быстро забыть своего близкого товарища…

– Близкого товарища? – Переспросил Залман, приходя в еще большее замешательство.

– Вижу, придется мне вам все-таки помочь. Вы когда последний раз на курорте в Сочи были?

– Я в Сочи вообще ни разу в жизни не был.

– А в Кисловодске?

– В Кисловодске?

– Ладно, не мучьте себя, Залман Наумович. Все равно не вспомните, ведь в Кисловодске я и сам сроду не был. – Мужчина как будто неохотно вытащил из кармана красную корочку и предъявил ее резко побледневшему Залману. – Что вы так испугались? Вам нечего

нас бояться. А что мы на улице стоим? Давайте сюда вот зайдем, в гостиницу. Я вас надолго не задержу. Мне с вами только переговорить, по одному вопросу.

Они проследовали по длинному коридору на первом этаже гостиницы «Москва». Человек в штатском открыл дверь своим ключом и пропустил Мандела вперед.

Комната представляла собой обычный гостиничный номер с деревянной кроватью, шкафчиком и столиком с двумя стульями. На столике стояли телефонный аппарат, лампа с зеленым абажуром и графин с водой.

– Пожалуйста, присаживайтесь. Пальто можете снять – здесь достаточно тепло.

– Спасибо.

– Вы, кажется, курите. – Мартин Константинович, как он представился Залману, достал из ящика стола непочатую коробку папирос «Казбек» и положил перед ним вместе со спичками. – Пожалуйста, не обижайтесь на мою шутку. На самом деле мы с вами нигде не встречались. Что, впрочем, не мешает мне иметь о вас представление как о порядочном советском человеке и преданном патриоте нашей Родины. А в какое время мы живем – вы, разумеется, и без меня прекрасно знаете. Наша страна в кольце врагов! А потом еще, как там говорится в присказке? «Избави меня, боже, от друзей, а от врагов я и сам избавлюсь». И вот врагов, которые скрываются под личиной друзей, у нас намного больше, чем мы думаем. Они повсюду! Затаились по норам и думают, что от нас спрячутся. Но тут они сильно просчитались…

Зачем он ему это говорил, Залман не мог взять в толк. Дальнейшее он слушал уже рассеянно: в голове мелькали мысли о ненапечатанной рукописи, о непоставленных пьесах, о драме Криштола… Может, пока он гулял, у него в комнате уже провели обыск и изъяли все, включая записную книжку и связки писем? Зачем он их только хранил? Кому, кроме него, они интересны? Неправильно письма сохранять. Прочел и порвал…

– Мы примерно знаем, но нам нужны детали: кто именно разносит слухи, будто бы Бен-Михоэл не угодил под грузовик, а был убит, что он пал жертвой… А? Жертвой кого? Кто его погубил? За что

его убили? Мы положим конец всем сплетням! Мы догадываемся, откуда у них ноги растут. Убежден, что и вы знаете, кто занимается их распространением.

Залман поднял глаза и тут же вновь опустил, наткнувшись на острый взгляд обладателя красной книжицы.

– Все эти клеветнические слухи, Залман Наумович, происходят от ваших коллег, от еврейских писателей, из Еврейского антисоветского, то есть я хотел сказать, антифашистского комитета, от актеров Еврейского театра… С огнем ведь играют. Вы уж их предупредите. А еще лучше будет, если вы нам их назовете и мы сами с ними поговорим. Как настоящий советский человек, вы просто обязаны нам в этом поспособствовать.

Залман поднялся с места.

– Извините. Я не тот, за кого вы меня принимаете.

– Вы отказываетесь нам помочь?

– Простите. Я для такой работы не гожусь. Мартин Константинович тоже встал:

– Не торопитесь сказать «нет», Залман Наумович. Сперва обдумайте все хорошенько. Как искренний друг советую. А мы с вами еще встретимся. У меня есть ваш телефон, я позвоню. Никакой подписи я от вас не требую. Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что о нашей беседе никому знать не нужно. Встречаться будем здесь, у меня в номере. Пока что это все. До свидания. – Он открыл дверь, но прежде чем выпустить Мандела из номера, удостоверился, что поблизости в коридоре никого нет.

Залман вышел из гостиницы. Небо над головой раскололось пополам, земля ушла из-под ног. Перед ним разверзлась черная бездна, и как преодолеть ее, он не знает. Знает лишь, что она от него уже не отступится, вечно будет стоять перед глазами. За что ему это?

– Боже мой, за какие грехи? – произнес Залман вслух и вдруг услышал внутри себя другой голос: «Ты уже видел его раньше. Вспоминай…»

И вправду, где-то он этого Мартина видел. Странно, что раньше не подумалось. Только вот где? Ни о чем другом Залман по дороге домой думать не мог.

А ночью, уже в постели, его вдруг словно подбросило. Он вспомнил.

Вспомнил, где.

Дело было не так давно. Из Еврейского антифашистского комитета, занимавшего почти весь нижний этаж бывшего княжеского двухэтажного особняка на улице Кропоткина, в редакцию газеты «Эйникайт» обычно ходили не по парадной мраморной лестнице, а по запасной, деревянной. На полпути, между этажами, была довольно просторная огороженная площадка. И вот карабкается Залман по ступенькам в редакцию, и как раз на площадке вырастает перед ним вдруг Яша Розен и чуть на шее у него не виснет, будто они невесть сколько лет не виделись.

– Залман, хочу вам свою новую байку прочесть – с пылу с жару!

– Готов выслушать. Поднимайтесь в редакцию.

– Там темно. Лучше здесь. Тут потише. – Перегнувшись через перила, Яша начал в своей манере негромко напевать свежесочиненную рифмованную байку.

Внизу, прислонившись к стене, стоял какой-то человек и смотрел на них. Да, это был он – тот, кто сегодня остановил его на Охотном Ряду, у бывшего студенческого общежития.

*

Проснулся Залман поутру с мыслью о том, что надо бы поехать к Натану и все ему рассказать, но уже спустя минуту в голове его возник вопрос – «Зачем?». Идти на сделку Залман отказался и никогда на такое не согласится. Да, он осознает, чем это для него чревато. Если уж они завели с ним свою дъявольскую игру – не отступятся. А значит, выход один – исчезнуть. Уехать далеко, туда, где никто не станет его искать. Если Элиша не успела рассказать Яше о старинной любви Залмана к ее матери, то самое надежное место – это заброшенное поселение Абезь. Кому придет в голову, что человек может сам себя сослать туда, куда ссылают людей они? На сегодняшний день приглашения от Мартина Константиновича у него нет. Да и завтра вряд ли. Мартин ведь дал ему время подумать о том, что его ожидает в случае отказа от сотрудничества…

Так или иначе, ни сегодня, ни в ближайшие дни Залман не сможет

появиться в редакции и в Комитете. И не потому, что боится встретить там того человека в штатском, нет. Просто непонятно, как ему теперь смотреть в глза тем, с кем его связывает многолетняя дружба, зная, что над ними нависла ужасная угроза? А он ведь даже предупредить их не может… Ну а если с кем-то из них, не дай бог, что-то случится? Будет ли у него тогда право сказать, что не его руки пролили кровь?

Голова раскалывается. Мысли бегают по кругу. Принести себя в жертву… Так во все времена поступали те, кто думал о ближнем. Пожертвовать собой во имя своего народа. Только вот поздно уже спасать их от нависшей опасности – всех тех, кого он из года в год видел чуть ли не каждый день… Над каждым из них уже занесен топор, на каждого направлена винтовка. А тем, от чьего имени вел вчера с ним разговор Мартин Константинович, он – Залман – нужен лишь для того, чтобы оправдать себя перед лицом истории. Но почему они выбрали именно его? Есть ведь писатели и позначительнее, и поизвестнее. Не иначе как Розен на него указал, заверил их, что он подходит. Видать, не хочется Яше одному виноватым быть, вот и ищет, кого бы еще замазать.

«Еще не поздно. Жертвуй. Иди и предупреди об опасности всех и каждого».

Нет, слишком слаб он для подобной жертвы, и не его в том вина. Все сейчас живут в оцепенении, вот и в него страх проник слишком глубоко – не справиться. Но и дьяволу душу продавать он не станет, здесь его уверенность тверда.

Элиша… От нее он не может скрывать все то, что ему известно об угрозе. Наступит час, и Яшу доля сия не избежит. В Элишу он влюблен не на шутку, насколько Залман успел заметить, увидев их в театре. Возможно, что и она в него. Что ж тут удивительного? Парень он видный, статный, к тому же писатель. Но придется встрять в их любовь и рассказать Элише все. Как с ней связаться? Эх, почему он не взял у нее адрес? Она ведь сама ему предлагала… Остается пойти к Ойзеру. По будням она работает, значит, не раньше воскресенья. Лучше в первой половине дня. Она, конечно же, спросит его об отцовской пьесе. Что ж, он может ответить только одно: не время сейчас для того, что они задумали.

В тот же день Залман забежал к Ойзеру в библиотеку и попросил его передать Элише, что в ближайшее воскресенье, около двух, он будет ждать ее на том же месте. И еще – чтобы домой ему она не звонила. Он ей потом объяснит, почему.

– Хорошо. Я ей все передам. – Пообещал Норвил. За стеклами его очков блеснул огонек. – Случилось что-то?

– Ничего особенного. Просто мне переговорить с ней нужно.

– Насчет пьесы ее отца?

– Она с вами консультировалась?

– Просто сказала, что отдала ее вам на прочтение.

– Только с другими не обсуждайте…

– Вы считаете, мне самому это не понятно?

У двери Залман замешкался. Хотел было что-то сказать, но только рукой махнул и ушел в темноту, пытаясь спрятать лицо от мороза за поднятым воротником пальто.

Глава 8

Левитины пригласили Залмана на третий день рождения их дочери, Фейгеле. Накануне праздника он заехал в «Детский мир» – самый большой детский универмаг Москвы – и купил для именинницы трехколесный велосипедик. Ему вспомнилось, как год назад он подарил Фейгеле большую пластмассовую куклу с нежными пухлыми щечками, глазками небесно-голубого цвета и длинными золотыми локонами.

Вероятно, завтра, как и год назад, будет полная квартира гостей, в основном писатели и артисты. И все, разумеется, будут веселиться. Только никаким весельем не облегчить ту тяжесть, что оставил на сердце каждого из них неожиданный уход Шлойме. Завтра прозвучит тост и за его светлую память. И все будут вспоминать, как всего год назад сам Бен-Михоэл сидел за этим же праздничным столом… Как он посадил Фейгеле к себе на колени и с какой-то особенной четкостью продекламировал ей коротенький стишок своего любимого поэта:

Молю – будь жизнь его благословенна! –
Чтоб с материнским молоком к нему
Пришло стремленье всей светить Вселенной,
Но также и народу своему.[1]

И следом еще одно стихотворение, того же автора:
Прозрачное стекло блестит в руке твоей[2]…

А закончил уже прозой:

– Запомни это, Фейгеле, на всю жизнь запомни. – Он поцеловал девочку в белокурую головку и поставил на ножки.

Дом весь вечер ходуном ходил, а больше всех в ударе были Бен-Михоэл и его извечный партнер по сцене, простоватый Биньомин Бен-Арье. Вот перед гостями возникают Шимеле Сорокер и Соловейчик, шадхен[3] из «Двухсот тысяч», и вдруг это уже Биньомин Третий и Сендер-еврейка, а еще через мгновение – Гоцмах и баба Яхне[4].

Залман представил себе Бен-Арье на завтрашнем торжестве. Биньомин, конечно же, придет. Не захочет омрачать праздник своему доброму другу, Натану Левитину. Но что бы он не запел завтра, слышен будет лишь его крик боли у гроба Бен-Михоэла и укоризна, обращенная к тому, кто вращает колесо мирских судеб – «Почему он, а не я?»

Яша Розен год назад подарил малышке Фейгеле свои «Рифмованные байки» и потом за столом читал фрагменты из книжки, как обычно, нараспев. Всем понравилось. Поэтично, образно. Нет сомнений, истинный талант.

Но наступил день празднества, и Залман, уже было собравшись к Натану, решил остаться дома. Там ведь и Яша будет, и как тут знать… Но не одно это его удержало. Как смотреть в глаза людям – тем же родителям Фейгеле, не подозревающим о том, какая угроза нависла над каждым из них?

1 Шмуэль Галкин, «Новорожденному» (1944). Перевод Ю. Нейман. Цит. по: Самуил Галкин, «Дальнозоркость», Москва: Изд-во Художественная литература, 1968.
2 Шмуэль Галкин, «Стекло» (1938). Перевод А. Безыменского. Там же.
3 Шадхен – сват в еврейской традиции.
4 «Колдунья» – спектакль ГОСЕТа по пьесе А. Гольдфадена, 1925.

Годл с Натаном не обидятся. Он им заблаговременно позвонил, сказал, что ему нездоровится. Может, желудок? Они же знают, что он по большей части в столовке питается…

Маленькому велосипеду пришлось переночевать у него, но уже на другой день он был у Фейгеле, которой и предназначался. Девочка не слезала с седла ни на минуту, все крутила педали и непрерывно сигналила, чтобы ей уступили дорогу, а не то задавит.

– Как вы себя чувствуете? – спросила его Годл с беспокойством в голосе.

– Спасибо, намного лучше.

– А мы собирались вас сегодня проведать. – И добавила, обращаясь как будто не к нему. – Я, наверное, и дня не смогла бы одна прожить. Кажется, нет ничего ужаснее одиночества. – И снова ему, Залману, – Натан еще на работе. Звонил, что скоро придет. Вы меня простите, я вас тут одного оставлю, мне надо на кухню. Думаю, с Фейгеле вы не заскучаете.

«Вот на такой, как Годл, – подумалось Залману, – я бы точно женился. Может, и отцом бы снова стал. Сорок два ведь еще не… Эх, была бы Элиша хоть на десять лет постарше…»

Тут ему самому смешно стало. Хорош бы он был, если б так ей и сказал! Сперва он, значит, в мать влюблен, а теперь в дочь!.. Но уже не впервые посещают его подобные дикие мысли. Он их, конечно же, всякий раз гонит, не дает себя завлечь. Глупо ведь даже предполагать, что Элиша – юная красавица Элиша – может полюбить мужчину в годах, такого, как он.

Молодой и привлекательный Яша Розен, в которого Элиша, судя по всему, уже успела влюбиться, ей, разумеется, больше подходит. Но Залману все же придется нарушить их идиллию, понравится это Яше или нет. Нельзя скрывать от дочери Пэпе, кто ее избранник и чем это для нее чревато. Нужно как можно скорее предупредить ее, не откладывая в долгий ящик.

Годл, конечно же, права. Нет в жизни ничего страшнее одиночества. И ведь она знает, что он встречается с Надеждой Федоровной, а все равно сказала ему это. Он пару раз приходил к Левитиным с Надей, и Годл, наверное, увидела, что он одинок… Иначе не стала бы она недавно заводить речь об «одной своей знакомой» –

прекрасной молодой женщине. Годл кажется, что они могли бы сойтись… Но если ты потерял жену и ребенка, которые были тебе дороже жизни, не так уж просто сойтись с другой. Для этого требуется чувство – как то, что накрыло его в молодые годы, когда он встретил мать Элиши, чудесную Пэпе. К Наде он никогда ничего похожего не испытывал. Собственно, поэтому он на ней так и не женился, хотя фактически они уже не первый год муж и жена. После возвращения из эвакуации каждый из них существует сам по себе, и видятся они даже не каждую неделю, хотя живут не так уж далеко друг от друга. Надя никогда не выражает недовольства таким положением вещей. Он так хочет – пусть так и будет. Она готова всю жизнь вот так с ним быть, только бы он ее не оставил. Эта Надина влюбленность в него, ее доброта и преданность – все еще удерживают его от окончательного расставания. Оба они, впрочем, знают, что рано или поздно расставание случится, и винить в этом некого.

Возможно, и его, и ее жизнь сложилась бы иначе, если бы Надя тогда не оставила его ночевать…

Сейчас, размышляя об этом, Залман как будто забыл о том, как бродил от дому к дому, как искал, где бы голову приклонить, – и не находил. Вот и с Надей договориться о сдаче угла не удалось. Но она не с каким-то тайным умыслом не дала ему тогда уйти. Просто на улице бушевала метель, ветер сбивал с ног… А потом произошло то, чего ни один из них в ту зимнюю ночь не ожидал… И потом Надя уже не была ему чужой. Но и настолько любимой, чтобы он увидел в ней спутницу жизни, не стала. Так все и тянется у них с войны. И когда Залман у нее, когда с ней, ему кажется, что это на денек-другой, и что приехал он только потому, что истосковался по ее плоти. И невдомек ему, что именно эта неизбывная тоска, возможно, и есть основная причина, по которой он не расстается с ней.

Залман, вероятно, еще долго перебирал бы в памяти все, что касалось их с Надей, если б не появился Натан.

– Давно ждешь? – Натан поставил в угол свой коричневый портфель.

– Ничего, у меня сегодня свободный день. Как-то совсем не работается в последнее время.

– Это от тебя велосипедец? К чему такие дорогие подарки?

– Он пошире открыл дверь соседней комнаты, чтобы девочка могла подальше прокатиться на своем новом транспорте. Присев рядом с Залманом на кушетку у стены, Натан вдруг без каких бы то ни было предисловий спросил:

– А помнишь, Залман, что я тебе недавно сказал? Когда ходил корреспонденцию в Совинформбюро относить?

– Что в один прекрасный день это может плохо для нас закончиться? А что ты вдруг вспомнил?

– Потому что сегодня я тоже забирал материалы из комитета, и тут говорит мне Анечка…

– Машинистка?

– Да, машинистка наша, Анечка. Говорит, что уходит с работы. Завтра уже не выйдет.

– Жаль. Очень жаль. Мне она очень нравилась. Другой такой машинистки на всем белом свете не сыщешь. И скорость сверхъестественная, и ошибок не допускает, и почерк любой разбирает, даже такой кошмарный, как мой. Но откуда такая внезапность? У нее ведь и зарплата неплохая вроде…

– И представь, это ее не остановило. Как и то, что ей в декрет вот-вот уходить, и с ней по закону должны были за полных четыре месяца рассчитаться. А так она уволилась сегодняшним днем, и даже не написала заявления, чтобы ей заплатили за отработанное с начала месяца. В комитет даже нос казать больше не хочет, бежит, как с тонущего корабля. Еле добился от нее – сообщила мне по секрету, что же все-таки произошло. Кто-то из комитета сказал ей сегодня ровно то, что я говорил тебе тогда. И этот кто-то посоветовал ей немедленно уйти с работы и заниматься воспитанием детей.

– И кто же этот кто-то?

– Ответственный секретарь. И по словам Анечки, он был очень напуган. Задыхаться несколько раз начинал, валидол под язык… Вероятно – и это мои уже догадки – его пригласили туда же, куда звали его предшественника и ответственного редактора нашей газеты – Ахнеса. И это, разумеется, не приглашение на чаепитие. Скоропостижная кончина Ахнеса до сих пор остается загадкой, и я думаю, что нынешняя беда началась как раз с нее, а не с гибели Бен-Михоэла. С Ахнеса отсчет пошел.

«Уж не имел ли с Натаном беседу тот человек с Охотного Ряда? – подумал Залман. – И теперь они скрывают друг от друга одно и то же? А ведь с Натаном Мартин Константинович мог говорить гораздо жестче и более открыто, зная, что имеет дело с партийным. Вполне мог дать ему понять, что нас всех ждет…»

– Да, с Ахнесом и вправду мутная история. – У Залмана дернулась жилка под глазом. – Сколько ему было? И семидесяти не исполнилось, если не ошибаюсь. Относительно нестарый еще человек, полный сил.

– Думаешь, не своей смертью он умер?

– У меня еще тогда возникли подозрения на сей счет. А уж теперь, после того, что мне Анечка поведала, и сомненья прочь. Ну ты сам посуди, возможно ли такое? Пора номер в печать подписывать, а Ахнеса с его педантичной пунктуальностью на месте нет? Сколько я там работаю – никогда такого не бывало. А в тот день оказался я по чистой случайности у Ахнеса в кабинете, и тут ему как раз позвонили, и он встревоженно так ответил, что, мол, да, сейчас приедет. Открыл сейф, вытащил свой партбилет, тут я и понял, что это сверху звонили. Еще часа дня не было. К четырем, как всегда, принесли ему на подпись верстку, а его все нет. На часах уже пять – а все нет его. Если бы его там так надолго задержали, он бы по крайней мере позвонил, сказал бы, кому вместо него номер подписать.

Без подписи-то номер не выйдет, и там об этом тоже прекрасно знают. Тогда где же он может быть? Первым делом позвонили мы в гостиницу «Метрополь». Он как вернулся с комитетом из эвакуации, пару лет там жил, все никак не мог перебраться в собственное жилье, в силу определенных обстоятельств. Была у них с женой небольшая комнатка в коммуналке на Сретенке. В «Метрополе» предсказуемо ответили, что его там нет. На всякий случай повонили ему домой, на Сретенку. Соседи тоже ответили ровно то, что мы ожидали услышать, и добавили, что он уже несколько дней там не появлялся. Ни он, ни жена его. Куда нам еще было звонить? Туда? Но никто из нас не знал, как. Да даже если б знали, вряд ли решились бы. А что, если с ним, не дай бог, на улице что-то случилось? Такую мысль можно было допустить. Мы позвонили в Институт Склифосовского. Для пущей солидности разъяснили, что Ахнес – старый коммунист,

что его сам Ленин с миссией в Америку отправлял… Но они твердили, что такой пациент к ним не поступал. А часики все тикали. Вот уже шесть, надо срочно подписывать верстку, иначе завтрашний номер не выйдет. Что делать? У нас просто мозги вскипели.

– Представляю.

– Мы давай снова в «Метрополь» трезвонить, потом снова домой к нему. Попросили соседей посильнее в дверь ему постучать, мало ли что. Может, заскочил домой, прилег ненадолго, да и заснул? Хотя нелепость, конечно. Проходит минута и соседи рапортуют, что у него в комнате кто-то есть: храп оттуда слышен, но никто не отзывается, а дверь заперта. Когда мы прибежали, Ахнес еще хрипел, но в себя уже не пришел. Мы отвезли его в ту же Боткинскую больницу, куда через несколько лет привезли с Белорусского вокзала гроб с Бен-Михоэлом. Ахнес недолго мучался. В тот же день отошел.

– Да, крайне мутная история. Как мог он посреди рабочего дня збрести к себе на Сретенку и, зная, что его ждут с версткой, даже не позвонить в редакцию? У него ведь и телефон в квартире есть...

– Вот именно на этот вопрос ни у кого ответа и нет. Как никто не может ответить, что именно произошло в Минске с Бен-Михоэлом. Но представить себе и то, и другое не слишком сложно. Очевидно, что там, куда вызвали Ахнеса, имели с ним такую беседу, что он уже не мог двинуться с места без посторонней помощи. И в таком состоянии они его, естественно, не могли привезти в комитет или в «Метрополь», и решили что самым логичным будет доставить его домой.

– Ну а соседи? Они ведь не могли совсем ничего не заметить? И зачем ему понадобилось дверь изнутри запирать? – Это Залману было совсем уж непонятно.

– Соседи, наверное, с работы еще не вернулись. А заперся он не сам – они его заперли. Там замок сам срабатывает, даже придумывать ничего не пришлось.

– А в чем смысл-то?

– Ну как, а вдруг он придет в себя? Чтоб скорую не смог вызвать или соседей позвать. А так быстрее помрет, не успеет рассказать, где он был, о чем с ним там говорили и как… Что хотели, что требовали…

«Небось, то же самое, что требовал от меня тот человек?» – хотелось спросить Залману. – Об Ахнесе Натан рассказал в мельчайших подробностях… А может, и об истории с Бен-Михоэлом ему все известно? Он ведь и сам только что говорил, что представить это нетрудно». И Залман спросил друга, как он себе представляет, что произошло тогда в Минске.

– Думаю… то есть я даже уверен, что дело было вот как: Бен-Михоэлу позвонили в гостиницу, сказали, что он вместе со своим московским напарником приглашен на прием в такое-то время. У гостиницы их будет ждать машина. Звонивший мог назваться представителем какого-нибудь весьма высокопоставленного лица. В оговоренный час Бен-Михоэл с товарищем сели в машину, и когда она тронулась, они уже ничего не могли поделать, даже если в какой-то момент и заметили, что везут их совсем не туда. Не могли же они выломать дверцу и выпрыгнуть на полном ходу, тем более, что кроме водителя там наверняка находился еще кто-то, кто выдал себя за их провожатого. А дальше, как я себе представляю, было так: в определенном месте, среди развалин рядом с оврагом, машина остановилась. И там их уже поджидали с холодным оружием те, кому было поручено это кровавое дельце. Или шофер с провожатым сами все сделали, чтобы не было лишних свидетелей. Или же все закончилось еще в автомобиле, а потом трупы выбросили в овраг. Или их сначала выманили из машины под предлогом, что нужно колесо поменять, и убили уже снаружи… Все это, по большому счету, не суть важно. Более идиотской нелепицы, чем они придумали с попаданием под грузовик, уж точно не придумаешь.

«Разве это не их работа – придумывать?» – Подумал Залман, вспомнив тех одинаково одетых молодых людей, которые крутились в толпе на похоронах Михоэлса. И как будто в ответ на его мысли прозвучал голос Натана:

– Вот так я себе все это представляю. И с Ахнесом тоже нечто в этом роде было. Меня только один момент смущает. Ты мне рассказывал, что Шлойме тебе за обедом, за день до трагедии, по секрету сказал, что им не простят поездку в Америку. Ни ему, ни Бен-Шолему. Как же тогда вышло, что Бен-Шолем тоже не оказался в той машине? Он ведь тоже был в Минске…

– У них там свой расчет. А Бен-Шолем – вообще, как говорится, в рубашке родился… – Залман вдруг осекся и взглядом указал Натану на дверь. – Кажется, стучит кто-то.

Не успел Натан оглянуться, как дверь бесшумно отворилась. На пороге застыл Яша Розен. Его едва можно было узнать – неопрятный, заросший, раздавленный, беспомощный… Шинель без погонов, с шапки исчезла звезда.

– Что стряслось? – Испуганно спросил Натан.

– Меня из партии исключили. – И тихо, почти рыдающим голосом, добавил, – Они меня демобилизовали. Выгнали. Без работы оставили.

– Может, ты за стаканчиком вина лишнего взболтнул?

– Я голову никогда не теряю, даже когда пью. Доверие я у них потерял. Почему? А самим вам непонятно? Да потому, что еврей.

– А до сих пор ты это разве скрывал? Раньше они не в курсе были?

– Раньше время было другое… Как мне выживать теперь? Жена, ребенок…

– Ты же с ней развелся. – Подсказал Яше Натан, как будто тот мог запамятовать.

– Но у нее сын наш, целиком на моем попечении.

Залман слушал вполуха. У него вдруг отпали последние сомнения: тот, кто стоял на лестнице в комитете тогда, когда Яша читал ему свою свежую байку, и Мартин, подкарауливший его на Охотном, – один и тот же человек. Откуда такая уверенность? Ведь он может и ошибаться. На Яшу же он напрасно грешил – оказалось, что обознался. Увидел форму как у тех, кого следует остерегаться, и решил, что это Яша. Хотя Яша, собственно, весьма косвенное отношение к тем людям имел – он регулярных погранвойск капитан. Ему на границе, может, и с настоящими врагами иметь дело приходилось…

– Байки у тебя новые есть? Принеси мне. Посмотрю, может включим их в подборку, которая в прошлый выпуск литстраницы не вошла. – Натан взглянул на Залмана и прочел в его глазах уверенность в том, что печатать надо, даже если Яша эти байки уже однажды публиковал и гонорар за них уже получил.

– Спасибо тебе, Натан. Доброе у тебя сердце.

– Слушай, а знаешь, что мне на ум пришло? Ты ведь русским

свободно владеешь? Так приходи в комитет работать. У нас там как раз недавно освободилось место переводчика с идиша. И зарплата достаточно солидная.

– Буду очень тебе благодарен. Мне такой вариант подходит.

– Славно. Завтра переговорю с руководством. Думаю, ты им тоже подойдешь.

*

Уходили они от Натана вместе.

– Элиша знает?

– Что меня с работы сняли? Не такая это радостная новость, чтобы ей спешить делиться.

– Не бойтесь, этим вы ее не напугаете. Я хорошо знаю ее мать. Элиша, как мне кажется, в нее. Если уж кого-то полюбила, то на всю жизнь. Ничто ее не остановит. И к голоду, и к холоду она, насколько мне известно, привыкшая.

– Голодать и мерзнуть Элише не придется. На одни гонорары идишский писатель у нас все равно прожить не может, будь он хоть гений, как Шолом-Алейхем или Перец[1]. Если ты не драматург, надо ремесло в руках иметь. У меня оно, слава богу, имеется. Я, к примеру, с мрамором отлично управляюсь. В ДК Автозавода сейчас ремонт идет. Я был там сегодня, они меня берут. Но работа в комитете мне, сами понимаете, больше подходит.

– Понимаю.

Они уже расходились, когда Залман вдруг произнес:

– Лучше в Дом культуры идите работать.

– Почему? – Яша взглянул на него широко раскрытыми глазами.

– Не важно. Просто послушайте меня: не ходите в комитет. Это я вам как друг Элиши говорю. – И тут же добавил, – Как большой ее друг.

– Я подумаю, но тем не менее, хотелось бы знать – почему?

Залман хотел было ответить, мол, спросите у нашей бывшей машинистки, у Анечки. Но промолчал.

1 Ицхок-Лейбуш Перец (1852-1915) – еврейский писатель, один из классиков литературы на идише.

Глава 9

В последнее время Залман с трудом сдерживался, чтобы не попросить соседей по коммуналке – если ему будут звонить – ответить, что дома его нет и появится не скоро. Для самих соседей это звучало бы вполне правдоподобно. Они знали, что у него есть незаконная жена, с которой он вместе не живет, но у которой временами остается, иногда на несколько дней.

Сейчас соседка позвала его к телефону стуком в дверь, но спросить ее, мужчина звонит или женщина, он не успел – она уже ретировалась. Хотя по идее, сегодня воскресенье, и опасаться, что на проводе Мартин Константинович, не следует. Но, с другой стороны, может, у них вообще нет выходных? Голос в трубке принадлежал женщине. Залман не сразу ее узнал.

– Залман Наумович?

– Да.

– Вас не вызывали?

Он, наконец, понял, что это Годл.

– Куда? – Он хотел еще спросить – кто, но Годл перебила его:

– Что-то случилось, но что – я не знаю. Натан спал еще, ему позвонили из комитета и велели немедленно приехать.

– Но сегодня ведь воскресенье.

– Вот поэтому я и волнуюсь. Натан только что позвонил, сказал, что скорее всего долго там проторчит, и просил ему туда не звонить. – И добавила, тяжело вздохнув, – Там наверняка произошло что-то. Если вы поедете и узнаете что-нибудь, позвоните мне, пожалуйста. Мне очень беспокойно. Просто места себе не нахожу.

– Напрасно вы так волнуетесь. Мало ли для чего его могли вызвать? Может, иностранная делегация заявилась и надо ее принять, или зарубежному корреспонденту интервью дать…

– Что вы такое говорите?! Кто же с раннего утра приемы устраивает?

– Ну, по какому-нибудь другому поводу. Я как раз собираюсь туда. Как доеду, перезвоню вам.

В начале одиннадцатого Мандел вышел из метро и повернул направо, на прилегающую улицу Кропоткина, шедшую под

небольшим уклоном вверх. Не дойдя до аптеки, располагавшейся в третьем здании от угла, он остановился. Через несколько домов, рядом с небольшой двухэтажной кирпичной постройкой, где находились Славянский и Еврейский антифашистские комитеты, стояли черные легковушки и несколько грузовиков, покрытых зеленоватым брезентом. Входная дверь была распахнута. Солдаты в голубых картузах выносили к машинам запакованные мешки и перевязанные свертки.

Стоявший на входе милиционер у Залмана ничего не спросил, впрочем, как обычно. Стражи порядка, охранявшие здание, вообще никогда никого ни о чем не спрашивали – ни куда направляется человек, ни к кому. Им было довольно одного взгляда на мрачное лицо и тяжелую походку посетителя. Еврейская публика шла в Еврейский антифашистский комитет – шла, чтобы излить свою сердечную боль и найти немного утешения после великих мытарств… Нередко заходил сюда и Залман, как все идишские литераторы. И его, как и всех остальных, люди в форме давно знали в лицо.

– Что тут происходит? – обратился Залман к знакомому милиционеру, – комитет переводят в другое место?

Тот молча отвернулся, из чего Залман заключил, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут: даже если что-то знает, не поделится.

Если б не строгие, будто окаменевшие лица тех, кто без смущения хозяйничал в помещениях комитета на нижнем этаже, можно было подумать, что это гости, приглашенные на какой-то торжественный прием – в костюмах с иголочки, белоснежных накрахмаленных рубашках, ярких галстуках и до блеска начищенных ботинках. К моменту появления Залмана они уже все внутри перевернули и теперь занимались тем, что бегло проглядывали горы бумаг из опустошенных шкафов и ящиков столов, перед тем как засунуть их в коричневые кирзовые мешки. Изредка гости перебрасывались между собой словечком, обращаясь друг к другу по имени-отчеству, как это принято у цивилизованных, воспитанных людей. А если вдруг вырывалось у кого-то из них случайно «товарищ полковник» или «товарищ майор», он тут же замолкал, боязливо оглядываясь – не попадет ли ему за это… Хотя какой смысл напускать туман, если по их

выправке, по любому их движению было очевидно, что перед тобой заправские, вымуштрованные военные, а по их напряженной суровости – что они представляют то самое учреждение.

*

Помимо Натана Залман обнаружил здесь еще нескольких сотрудников комитета. Пришлым военным в штатском потребовался помощник: нужно было определить, какие машинописные идишские страницы могут представлять для них интерес. Из всех присутствующих они выбрали по какой-то причине самого неподходящего кандидата. Ответственный секретарь комитета Янкев Цейтлин, сменивший на этом посту умершего странной смертью Ахнеса, очень слабо владел идишем, если вообще его знал. Залман, во всяком случае, никогда не слышал, чтобы тот говорил по-еврейски.

Незадолго до того, как начать здесь работать, Цейтлин вернулся из Америки. Сейчас он сидел у стены – бледный, с испуганным взглядом – и люди в штатском обращались к нему не по имени-отчеству, а исключительно «товарищ полковник».

Для Залмана это не явилось откровением. В комитете все знали, что Яков Иосифович Цейтлин – полковник службы безопасности и что во время войны он находился в Америке, когда туда пожаловали с миссией Бен-Михоэл и Бен-Шолем. Обращение «товарищ полковник», очевидно, означало, что он имеет к происходящему непосредственное отношение. По глазам Цейтлина, однако, было видно, что он шокирован не меньше остальных, и что он – будучи человеком оттуда – знает, чем такие игрища обычно заканчиваются, и готов к абсолютно любому исходу.

В итоге сортировать бумаги, отпечатанные на идишской машинке, пришлось совершенно потерянному Бен-Шолему. В смотрящих из-под очков глазах, из которых обычно лучилась радость, сейчас застыл страх. Этого весельчака и остроумца, который всегда мгновенно производил на окружающих впечатление человека здравомыслящего и уверенного в себе, было трудно узнать. Он сидел у стола с выдвинутыми и опустошенными ящиками и не произносил ни слова, если только не обращались непосредственно к нему.

Узрев всю эту картину, Залман понял, что выяснять у Натана,

зачем людей сюда вызвали, смысла нет. Но когда они на несколько минут оказались одни в пустом предбаннике, Залман все же успел задать другу несколько вопросов:

– А наверху? В редакции?

– То же самое. Раз уж комитет закрывают, то и «Эйникайт» тоже. Это ж его газета.

– А кто закрывает? Государство или они?

– А это не одно и то же?

– Но и комитет, и газета, насколько мне известно, создавались по решению государства, так по чьему-же решению их теперь закрывают?

– Решение о закрытии – тоже на государственном бланке.

– Тогда я вообще не понимаю. Если это исходит от государства, то почему здесь люди оттуда? Что Яков Иосифович говорит? Он же тамошний, должен знать.

– Цейтлин говорит, что такое случается. Редко, правда, но случается.

– Ты бы Годл позвонил, она очень волнуется.

– Отсюда запрещено звонить.

Мимо прошел солдат с набитым мешком на плечах и перевязанной стопкой книг в руке. Бросил на них строгий взгляд, будто они стояли у него на пути. Залман с Натаном вернулись в соседнюю комнату, где неподвижно сидели Цейтлин и Бен-Шолем.

Другой возможности оказаться наедине, судя по всему, не представится. Все комнаты снова заполонили пришельцы оттуда. Заново оглядывают каждый шкаф и каждый ящик стола, как будто не доверяя друг другу. Так у них, видать, заведено. Залман не мог простить себе, что забыл спросить Натана о судьбе пьесы Криштола, которую он должен был прочитать. Где она сейчас – у него дома? Или он держал ее здесь? Фамилия автора там вымарана. Вместо «Михл Криштол» написано «Залман Мандел». Хотя даже если «Родня» и попадет к ним в руки, нет в ней ничего такого, что стоило бы бояться последствий. И потом, в конце концов, он свободный человек! Его сюда никто не вызывал, как того же Натана. И если здесь запрещено пользоваться телефоном, он позвонит Годл из автомата. Он же обещал ей позвонить.

В дверях ему преградил дорогу стоявший на вахте милиционер.

– Я проголодался. Меня сюда не вызывали, – стал объяснять ему Залман, – заскочу в кафе напротив, перекушу и сразу назад. Объясняю же: меня сюда никто не приглашал. На каком основании меня не выпускают?

– Извините, я слышал, вы хотели пойти перекусить?

Перед Залманом внезапно вырос молодой человек с вытянутым лицом и бегающими глазами цвета соломы. Он изрядно смахивал на одного из тех двоих, которые крутились в толпе сначала на Малой Бронной во время прощания с Бен-Михоэлом, а потом во дворе крематория, и о которых Залман с тех пор не единожды вспоминал, пытаясь понять, не имели ли они какого-то отношения к убийству, совершенному возле занесенного снегом минского оврага. А может, это не сходство? Может, он и есть один из тех?

– Да, но меня охранник не выпускает. – Залман набрался мужества и задал вслух вопрос, на который пока что не осмеливался ни один из вызванных сюда сегодня. – Не понимаю: я что, арестован?

– Пока мы не закончим, никого отсюда не выпустят. Но голодать вам не придется. Я вам скоро принесу перекусить.

– Не нужно, спасибо.

Не прошло и получаса, как молодой человек принес свежий батон белого, кусок колбасы, нарезанный ломтиками сыр и пару бутылок минеральной воды. Выложив все это на стол в предбаннике, он стал учтиво приглашать к трапезе каждого, кто попадался ему на глаза:

– Перекусите пока что.

Бутылки опустошили быстро, но к еде никто не притронулся.

«Зачем же я сюда, дурак, полез? – подумал Залман. – Ясно ведь, что домой никто из вызванных сюда сегодня не вернется. Да, но его-то не вызывали! Разве это не меняет дела? Неужели им все равно? Элиша должна быть ему благодарна за то, что он отговорил Яшу от идеи устраиваться на работу в комитет. Если бы Залман верил в 613 заповедей, то счел бы, что выполнил одну из самых великих: как-никак человека спас. Выше этого ничего и нету.

В углу комнаты валялась газета. Залману даже нагибаться не пришлось, чтобы разглядеть еврейский шрифт. Он бережно поднял ее

с пола, как страницу, выпавшую из священной книги. Хотел было положить на подоконник, но взгляд его упал на дату: «Эйникайт», двадцать первое ноября 1948 года. Сегодняшний. Последний вышедший из печати номер. Ну, будь что будет! Он сложил газету и засунул ее в нагрудный карман пиджака.

Конец дня. Все упаковано и погружено на машины. Налетчики из того самого дома на Лубянке перестали обращаться друг к другу по имени-отчеству: Матвей Иванович, Гурам Луарсабович, Рудольф Данилович… Теперь говорили попросту: товарищ полковник, подполковник, майор. К низкорослому мужчине с неполным набором зубов и соскользнувшим на нос пенсне обращались «товарищ генерал».

Сотрудников редакции вызвали с верхнего этажа – там они ожидали, когда закончится обыск. Щербатый коротышка с покоящимся на носу пенсне громко объявил:

– Все свободны. Можете идти домой.

Никто не шелохнулся. Все ждали, что будет сказано дальше, хоть это и было понятно заранее.

– С сегодняшнего дня ваш Еврейский комитет вместе с газетой закрываются. Безработицы у нас в стране, как вы знаете, нет, так что каждый из вас легко сможет устроиться.

Выйдя из здания, Натан вдруг понял, что забыл в кабинете ручку, но обратно внутрь его не пустили.

Отъехали легковушки и тяжелые грузовики. На кирпичной стене уже не было таблички «Еврейский антифашистский комитет». У закрытых дверей все топтались, как бездомные, свидетели сегодняшнего исторического – как его охарактеризовал Бен-Шолем – события. Они стояли вкруг, спрашивая себя и друг друга: а что здесь такого особенного, собственно, произошло? – И тут же предлагали объяснения, стараясь звучать так же уверенно, как обычно. – Комитет же учредили в начале войны, верно? В те грозные дни наш вождь обратился к народу: «Братья и сестры мои!» И мы тогда воззвали к евреям всего мира: «Братья евреи!»… Но сейчас-то война ведь уж три года как закончилась. И чем же, по большому счету, занимался теперь комитет? Пересылал в зарубежные еврейские газеты рассказы, стишки да заметки от наших писателей? Но для этого у нас существует советское издательство и литературно-художественный

альманах «Хеймланд»[1], где печатаются советские идишские писатели. Но послушайте! С чего вдруг такая спешка? Да еще и занимаются этим полковники с майорами аж оттуда. Вероятно, тут кроется какая-то тайна… Что ж, со временем, будем надеяться, все разъяснится.

Янкев Цейтлин всплеснул руками, как человек, который лучше других понимает смысл и представляет последствия происшедшего:

– Лучшее, что сейчас можно сделать, – разойтись по домам. Как можно меньше собираться, как можно меньше говорить обо всем этом. И вообще…

Горстка людей рассеялась. Расходились притихшие, как после похорон близкого родственника.

– Может, ко мне? – спросил Натан Залмана.

– Нет, Надя ждет, я ей обещал прийти. Мы давненько не виделись.

Позвони Годл. Она ведь, бедная, поди уж не знает, что и думать.

– А что ей думать, если меня забрали? Помнишь, что я тебе тогда сказал, когда почту относил? Боюсь, милый мой друг Залман, что это оно самое и есть. Это начало.

– Ну-ну.

Впрочем, уверенности в том, что Натан ошибается, у Залмана не было. Основания для такого вывода имелись.

Глава 10

– Где ж ты был целый день? – спросила Залмана Надежда Федоровна, отряхивая снег с его пальто. – Я тебе звонила пару раз, а соседи говорят, что ты еще утром из дома ушел. Просто хотела напомнить, что мы с тобой сегодня в театр идем.

– Только не сегодня.

– Так я уже билеты купила… – И со внезапным испугом воскликнула, – Что-то случилось? Я же вижу по тебе, что да!

Но дальше с расспросами Надя к нему не приставала. Только смотрела неотрывно своими влажными глазами, словно ждала,

1 Хеймланд (ид. «Родина») – выходил с декабря 1947 до августа 1948.

что он, как обычно, подойдет, обнимет ее, привлечет к себе. Ей ведь от него всего и надо, чтобы он оставался ночевать в те дни, когда приходит. Надя не скрывала от Залмана, что ближе, чем он, у нее никого на свете не было. Да и он не скрывал того же от нее. Но как бы ему ни хотелось пробудить в себе по отношению к ней чувство, хоть чем-то похожее на его любовь к Пэпе, все было напрасно.

– О чем ты так призадумался, мой дорогой?

– Разве мало в наше время поводов призадуматься? Нам с тобой еще повезло, что мы по закону не муж и жена.

– С чего ты вдруг об этом речь завел?

– Еврейский комитет закрыли, вместе с газетой. И никто не знает, что дальше и чем все это может для нас закончиться. Нехорошо, Наденька, очень все нехорошо. Дай бог, чтобы я оказался не прав, но боюсь, что сегодняшним днем дело не обойдется.

– Я понимаю, дорогой мой. Ничего хорошего, что закрывают ваш комитет и газету. Но с чего ты решил, что это еще не все? Что еще-то может быть? То, что ты пишешь и говоришь на идише – это ж не преступление. Так чего тебе бояться?

– В наши дни, Наденька, что угодно может стать преступлением. – Залман встряхнул головой, как будто отгоняя от себя внезапно нахлынувшие тяжелые мысли. – Дай стакан чаю, и отправимся-ка мы все же в театр.

– Может, перекусишь?

– Нет, спасибо, только пить хочется. В горле что-то пересохло.

Подняли занавес, но о чем говорили между собой актеры на сцене, Залман не слышал, и даже когда прислушивался, слов не понимал. В голове его было лишь одно: что завтра? Что дальше? Но следующий день никаких новостей не принес, как и следующая неделя, и та, что последовала за ней. Никто не внял предостережению Янкева Цейтлина в день закрытия комитета – как можно меньше собираться вместе и не обсуждать того, что случилось. В темных коридорах идишского издательства «Дер эмес»[1], где после войны половину комнат

1 «Дер эмес» (ид. «Правда») – издательство, фунционировавшее с начала 1920-х до ноября 1948 г. Во время войны находилось в эвакуации в Куйбышеве. Специализировалось на издании литературы на идише и переводов с идиша на русский.

занимало другое учреждение, все еще можно было встретить еврейских литераторов. Внизу, как и прежде, шумели станки заново оборудованной типографии. Только не слышалось больше в их шуме той радости, с которой раньше встречали здесь каждого входящего. Теперь уже на пороге ощущалась печальная атмосфера кануна Субботы, перед зажиганием свечей.

Но наступила четвертая неделя, и издательство постигла та же судьба, что и комитет, и его еврейскую газету. Игра развернулась все по тем же лекалам, лишь с незначительными вариациями: на сей раз было выбрано не раннее воскресное утро, а обычный будний день, так что специально вызывать сотрудников на рабочее место не пришлось. Объявление о том, что издательство закрывают, никого из них не удивило. Все были к этому внутренне готовы и перед людьми оттуда старались не выказывать ни растерянности, ни уныния.

Для Залмана закрытие издательства тоже не явилось неожиданностью, хотя логику происходящего он все же не до конца понимал. Ну хорошо, комитет имел дела с заграницей, и хочешь не хочешь, приходится признать, что его сотрудники не всегда проявляли надлежащую осторожность. Но издательство-то занималось исключительно книгопечатанием, причем часть изданий на идише выпускалась также и в переводе на русский! Какие ж такие ошибки могло допустить издательство, если каждая книжка выходила с одобрения цензора? И нужно ли было заново отстраивать весь нижний этаж и оборудовать там еврейскую типографию только для того, чтобы практически сразу ее разрушить? Залман никак не мог смириться с мыслью, что все это делалось с ведома Сталина. Невозможно в такое поверить.

На следующий день, когда Залман только вернулся из города, позвонил Мартин Константинович.

– Нечасто вы дома бываете, не застать. В пять часов жду вас по тому же адресу. Не опаздывайте.

Сегодня Мартин Константинович не был столь же благодушен и вежлив, как в первую их встречу. И одет он был по-военному. И голос его звучал тоже по-военному строго – слова холодные, отрывистые.

– Ну как, Залман Наумович, надумали?

– Мне и думать нечего, не гожусь я на это. Не подхожу.

– Стало быть, отказываетесь помогать нам в борьбе с врагами? Смотрите, Залман Наумович, как бы вам потом не пожалеть. Не притворяйтесь, будто не знаете, почему мы закрыли ваш еврейский комитет и вашу еврейскую газету, и ваше еврейское издательство заодно с типографией. Запомните: мы орган не воспитательный, а карательный.

– Не понимаю только, чем провинился перед нашей страной Еврейский антифашистский…

– Антисоветский! – Грубо перебил Мартин и задержал на нем свой тяжелый взгляд, от которого некуда было деться, – Ясно? Так как же мы с вами договоримся, Залман Наумович?

– Не подойду я вам.

– Опять двадцать пять? Или вы полагаете, что мы к вам случайно обратились? До сих пор вы нам были известны как порядочный советский человек. Выходит, мы в вас ошиблись, раз вы отказываетесь помогать нам в поисках замаскированных врагов, которые служат американскому империализму? Задумайтесь, пока я еще даю вам на это время. Но поторопитесь, ведь можете и опоздать, и тогда я уже ничем не смогу вам помочь, как бы мне ни хотелось. Только мою помощь надо еще заслужить. Не думайте, что мы без вашего содействия не можем обойтись! Мы и сами отлично знаем, кто с кем встречается и где, о чем говорят, какие сплетни распространяют о нас, о нашем великом вожде… Подпишитесь.

– Под чем?

– Да не пугайтесь вы! Это всего лишь бумажка. Что никто от вас не узнает о наших с вами разговорах.

Залман сделал шаг назад.

– Никаких бумажек я подписывать не буду.

– Спокойнее, Залман Наумович, спокойнее. Ну ладно, я вам на слово поверю. Можете идти.

Уже подходя к двери, Залман услышал позади себя голос Мартина:

– Когда вы в последний раз встречались с Михаилом Криштолом? Вас не удивляет, что я вас об этом спрашиваю?

Залмана это скорее испугало, чем удивило. «Мартин припас этот

вопрос напоследок… Намекает, что о надписи «Залман Мандел» на пьесе Криштола «Родня» ему тоже известно? Но откуда? Хотя что тут спрашивать… Как же это Натан так неосторожно?..»

– Видите? Мы знаем все! – Запальчиво воскликнул Мартин, не дожидаясь ответа Залмана. – Больше вас не задерживаю. А насчет Криштола мы с вами еще побеседуем. Правда уже не здесь, скорее всего. Хотя все зависит целиком от вас. Подумайте.

Только через несколько кварталов Залман заметил, что идет не в ту сторону и уже забрался в какие-то дебри: путь ему преградила высокая глухая стена.

*

Вспомнилось:

…Покосившаяся хата, ютящаяся за старым бейс-медрешем[1]. Глубокая ночь. В оконную раму стучат:

– Бегите в Шпицениш! Погромщики опять идут!

Стучавший тут же исчез. Зажигать керосинку не стали – обошлись тусклым светом холодной луны. Мама на скорую руку обернула в лоскутное одеяло полуторогодовалого братика Залмана. Сам он, вместе с остальными – босыми, полуодетыми сиротками, мал-мала меньше – спешил за ней, догонявшей толпу евреев с женами и детьми. Они бежали в соседнее местечко Шпицениш, верст тринадцать-четырнадцать пути. У них, в Погребище, в прошлом году уже случился погром – в субботний день, в начале элула[2]. За пару часов половину местечка уничтожили. Среди жертв оказались его отец и старший брат.

Сейчас была весна, середина праздника Песах3, и в эту полную хаоса, морозную весеннюю ночь они бежали в Шпицениш, за спасением. Луна плыла с ними вровень, как будто нарочно освещая бегущих евреев с завернутой в простынки мацой за плечами, их жен с младенцами на руках и заспанных деток, пытающихся не отставать

1 Бейс-медреш, ид. (ивр., букв. «дом учения») – место изучения Торы, также могло служить жильем для ешиботников и приютом для бедных.

1 Элул – последний месяц года по еврейскому календарю, приходится на август-сентябрь.

2 Песах – один из центральных праздников в иудаизме, в память об Исходе евреев из Египта. Начинается 15 нисана и длится 7 дней (в Диаспоре – 8).

от родителей. А ведь могла бы спрятаться, помочь преследуемым… Все старались двигаться как можно тише.

Расплачется малыш – со всех сторон кидаются его успокаивать, чтоб не потревожить погруженные в сон деревенские домики, чтоб не услышали спящие, как убегают из местечка их еврейские соседи.

В небе догорали последние звезды, когда изможденные беженцы добрались наконец до Шпицениша. На Погребище бандитам в ту ночь нечем было поживиться. Новая резня произошла совсем в другой день – и тогда никого не успели предупредить, и времени спрятаться не было…

*

Зачем память подсовывает ему картинки из той пасхальной ночи именно сейчас? Чтобы напомнить, что бывают времена, когда опасность грозит многим и нельзя стоять в стороне и думать только о себе? Тот человек, постучавший им в окно… Он прибежал из близлежащей деревни, где расположилась банда, чтобы сообщить евреям о грядущем погроме… Не мог не знать, что собственную жизнь на кон ставит. Может статься, что и заплатил ею. Если убийцы узнали, вряд ли бы его простили… Получается, что какой-то абсолютно чужой крестьянин пожертвовал собой ради него, Залмана! А теперь вот судьба выбрала на роль гонца, несущего страшную весть, его самого… И выходит, что ему просто не хватает мужества, если он, зная о приближающейся катастрофе, до сих пор ни к кому не постучался, чтобы предупредить… пока еще не поздно хоть что-то предпринять?

Но страх этот поселился в нем не вчера. Если он сейчас нарушит тайну, ему придется заплатить втридорога, ведь Мартин Константинович и люди оттуда не посмотрят, что никаких бумажек о неразглашении он не подписывал. Здесь иллюзий нет. Но пока что у него еще есть возможность многим открыть глаза – рассказать, какие над каждым из них нависли обвинения… А он все еще во власти того старого страха, взявшего его в тиски много лет назад, в эпоху первой великой охоты на «врагов народа». Но сейчас, продолжая хранить молчание, он уподобляется Яше! Чем он, в сущности, лучше Розена?! Довольно! Настал час перешагнуть через страх, чего бы ему это ни стоило!

Самая большая опасность грозила сейчас Элише. С ней необходимо снестись в первую очередь. Розену она, судя по всему, доверяет всецело. Что ж, давно пора открыть ей глаза… Ладно, Элишу, допустим, еще можно как-то понять. Но Натан?

Можно пойти прямиком к Элише – летом она перебралась в студенческое общежитие, где обитали студенты ее Театрального училища. Залман только не был уверен, что за ним не проследят. Мартин Константинович мог позаботиться и приставить к нему постоянную слежку.

Во время их последней беседы стало вполне очевидно, что из поля зрения они его уже не выпустят. Придется снова действовать через Ойзера Норвила: он живет недалеко от общежития и сможет передать Элише, чтобы она перезвонила. Ойзер должен быть в библиотеке, и поход туда, по идее, не должен ни у кого вызвать подозрений.

Глава 11

Рабочий день давно начался, но на двери библиотеки висел тяжелый немой замок, и никакого объявления, объясняющего, почему она закрыта и когда откроется. Два огромных окна, выходящих на улицу, занавешены изнутри.

Ничего удивительного. Следовало ожидать. И все же Залман не мог представить, что больше никогда не придется ему перешагнуть порог библиотеки, где он так часто бывал, начиная еще с довоенных времен. Кажется, совсем недавно стоял он там перед переполненным залом и рассказывал читателям о еврейских поселениях в крымских степях, откуда он только что вернулся. В газете тогда опубликовали фрагменты его путевых заметок, и многие читатели увидели в них намек на то, что Еврейская автономная область будет создана на юге, в Крыму, а не на Дальнем Востоке. У самого же Залмана, когда он отправлялся туда с командировкой от редакции, ничего такого и в мыслях не было. Он никогда не был большим поклонником Биробиджана, с которым был достаточно хорошо знаком, прожив там, как и в крымских еврейских деревнях, какое-то время и до войны, и после. Послед-

ний раз, направляясь в Крым, Залман уже знал, чем закончился визит заокеанских посланцев – Бен-Михоэла и Бен-Шолема – ко второму лицу в стране. Не тот ли прием у Молотова имел в виду Бен-Михоэл, когда в Минске, за день до своей гибели, говорил «Меня не простят» и «С рук мне это просто так не сойдет»? Хотя, возможно, он имел в виду совсем другой эпизод – ту шутку в кабинете у Ахнеса? Залман тоже был там тем вечером.

– А давайте, Ахнес, представим, – обратился Бен-Михоэл к элегантно одетому секретарю комитета, – что пришло постановление Правительства создать в Крыму автономную еврейскую республику со столицей в Евпатории. Кого бы вы, к примеру, предложили в президенты?

– Вы хотите сказать, в Председатели Верховного Совета? На этот высокий пост у нас нет более подходящего кандидата, чем вы. – Поддержал игру Ахнес. – Первым Председателем Верховного Совета первой Еврейской автономной республики должен стать человек с мировым именем.

– А что скажет на это общество?

– А что может сказать общество кроме того, что оно согласно?

– Ну, если общество, как вы утверждаете, согласно, то я принимаю предложение, тем более что немножко опыта в государственных делах у меня имеется. Я столько лет был королем, – Бен-Михоэл поднес руки к голове, как делал его персонаж в спектакле «Король Лир», когда хотел убедиться, что не потерял корону, – что могу хоть завтра приступить к исполнению монарших обязанностей. Первым делом нужно выбрать премьер-министра. Кстати, вы, товарищ Ахнес, словно рождены, чтобы занять этот пост! Так вот, товарищ премьер-министр, – Бен-Михоэл с каждой минутой все больше входил в роль в этой игре, приосанился в кресле, величественно откинулся на высокую спинку кресла. – Будьте любезны, возьмите листочек бумаги, и займемся Советом министров.

Начнем с министра мностранных дел. На этот пост…

– Товарищ Председатель, – заметил Премьер Ахнес, – в автономных республиках нет такого министра. Как и министра Вооруженных Сил…

*

Помимо него свидетелями этого дурачества были еще несколько человек. Находился ли среди них Розен? Залман не помнил.

Стоя сейчас у запертой двери, Залман внезапно почувствовал, что кто-то за ним наблюдает. Значит, все же приставили к нему наружку. Он был почти уверен, что позади него стоит один из тех одинаково одетых молодцев. Он отошел чуть в сторону и как будто нехотя обернулся. Вблизи никого не было, но напротив, у Политеха, топтался Ойзер Норвил. Залмана он, похоже, не заметил. Или не узнал. Вид у библиотекаря был скорбный, как у человека, только что похоронившего близкого друга. За те две недели, что они не виделись, Ойзер словно скукожился, стал еще более сутулым. Залман подошел к нему тихим, сдержанным шагом, как к человеку в трауре, и произнес то, что положено на похоронах:

– Благословен Судья праведный. Ойзер вздрогнул:

– А?

– Бог в помощь вам, Ойзер.

– Бог в помощь, бог в помощь.

– Я говорю, благословен Судья праведный.

– Да-да. Хорош праведный судья. Хотел бы я, по крайней мере, знать, почему? За что это нам?

– Надо было их спросить.

– Вы шутите? Что тут было спрашивать, если они мне показали бумагу оттуда, что, мол, нужно вывезти из библиотеки все еврейские книги. Может, вы мне, Залман, ответите? Вы ведь, как говорится, инженер человеческих душ – за что нам это? Какие-такие за нами прегрешения?

Залман только рукой махнул, как делал всегда, когда ему задавали нелегкий вопрос. На сей раз его жест должен был означать, что ответа лучше вовсе не знать. Он оглянулся по сторонам, как будто ожидал снова встретить взгляды тех двоих, и спросил:

– Когда?

– Вчера.

– Как?! Двое похорон в один день? Вчера ведь издательство закрыли.

– Какая им разница, сколько похорон? У них на всех и хевро-

кадишо[1] найдется, и транспорт… Залман, вы даже не представляете, какими сокровищами обладала наша библиотека! За один день все вывезли…

– Вам хотя бы сказали, куда?

– Что ж я, сам не понимаю, куда? На сожжение.

– Прямо как в Германии, в дни… – Залман осекся, будто испугавшись собственного голоса, и продолжил тише, – Нет, не посмеют они. Такое ведь и до Самого́ дойти может.

– До Самого́ пока дойдет, все уже в дым обратится… Такие богатства! Им цены нет… – Норвил даже не пытался вытирать слезы, они свободно стекали по его впалым щекам к побледневшим дрожащим губам.

Если бы Залман не взял его под руку, Норвил, наверное, еще долго стоял бы на морозе напротив здания библиотеки с ее немым замком и занавешенными окнами.

– С Элишей вы видитесь? – Вопрос прозвучал настолько тихо, что Ойзер мог его и не услышать.

– А? – Еще тише отозвался Ойзер, – Случилось с ней что, не дай бог?

– С чего бы это? – У Залмана дрогнул голос.

– Разве в наше время спрашивают «с чего»? Нынче спрашивают только «когда»?..

– А если у Яши спросить? – Залман постарался совладать с дрожью в голосе, чтобы не выдать, что сам он Розена в чем-то подозревает.

– Я его видел пару дней назад, как раз до закрытия библиотеки. Он в последнее время чуть ли не каждый день захаживал. А может, с ним, не дай бог, что-то случилось?

– Да что вы, ей-богу! С ним-то почему? С чего вы взяли? – Залману вдруг пришло в голову, что Мартин Константинович мог ведь уже побеседовать и с Ойзером… И тогда он, конечно же, упомянул, что у них там, наверху, расшифровывают аббревиатуру «ЕАК» не как «Еврейский антифашистский комитет», а как «Еврейский антисоветский комитет»…

1 Хевро-кадишо (арам., букв. «святое общество») – похоронное общество в традиционном еврейском укладе.

– Все с того же, Залман… с тех лет, когда закрывали евсекции да газеты… Уж вам вряд ли нужно напоминать.

– Да, такое не забывается. – Залман снова взял Ойзера под руку. – Пойдемте, что тут стоять? Сейчас надо «хлебом бедности нашей»[1] заняться. Где собираетесь устраиваться? Есть какие-то варианты с работой?

– Откуда я знаю?.. – Растерянно пробурчал Ойзер, как будто до сей минуты об этом и не думал.

– Яша меня недавно в библиотеке познакомил с одним ученым евреем, который даже в мелких буковках[2] разбирается. Сам он агроном, в Минсельхозе служит. Я Розена попрошу, чтоб переговорил с ним. Может, найдется для вас работа? Библиотекари во многих учреждениях нужны. Не все, конечно, захотят иметь дело с человеком, всю жизнь проработавшим в еврейской библиотеке. Могут и побояться, хотя не все еврейское пока еще закрыто – остались пока еще Театр и его училище…

– Почему вы говорите «пока еще»? Думаете, что…

– А вы как думаете? Для них сделают исключение? Собственно, с театра все и началось. Или кто-то верит, что Бен-Михоэл попал под машину?.. Вы куда теперь? – Спросил Залман Ойзера, когда они отошли на некоторое расстояние от библиотеки.

– Куда? Разве у меня есть выбор? Домой, разумеется.

– Раз так, у меня к вам просьба. Вы же от Элиши недалеко – передайте ей, пожалуйста, что мне с ней срочно увидеться нужно. Я буду завтра ее ждать во второй половине дня, после занятий, с трех до половины четвертого… – Он помедлил. – Буду на Курском вокзале ее ждать, в первом зале.

*

Ойзер, похоже, сильно напугал Элишу. Она была так взволнована, что прошла мимо него в зале ожидания.

– Элиша, – окликнул ее Залман, – вы меня уж не узнаете совсем?

– Простите меня, Залман Наумович. Я вас просто не заметила. –

1 Аллюзия на Пасхальную Агаду.

2 Разбирается в мелких буковках – способен понимать священные тексты иудаизма, в частности, Талмуд.

Она стянула перчатку и протянула ему руку.

– Вы в перчатках… А вроде не должны холода бояться? Вы же с далекого Севера, из-за кудыкиных гор… Давайте выйдем на улицу. Не такой уж сегодня мороз. Честно говоря, просто ужас как не люблю вокзалы. Столько их повидал… Что же касается… Думаю, вы и сами уже поняли, что ничего не вышло.

– Не понимаю, что вы имеете в виду? Папину пьесу?

– Ну ты же слышала наши последние новости, правда? – Только и смог ответить ей Залман. Он и не заметил, как начал называть ее на «ты».

– Но театр-то остался.

– Да, театр и училище еще держатся. Но кому ведомо, дитя мое, что день грядущий нам готовит? Подождем немного. В театре знают, что я закончил писать драму и собираюсь представить ее труппе. Просто сейчас неподходящий момент. Маме тоже не пиши пока. – Немного помолчав, Залман сам задал ей вопрос, который ожидал от нее услышать.

– Знаешь, почему я попросил тебя прийти?

Если бы она ответила вопросом – не потому ли, что сильно по ней соскучился? – Залман не стал бы отрицать, только добавил бы, что это не единственная причина. Но Элиша ответила, как нечто само собой разумеющееся:

– Ну как же, насчет папиной пьесы.

– Нет, по другому поводу. Часто ты с ним видишься?

Элиша резко повернулась к нему. В ее взгляде нетрудно было прочесть, что она подозревает его в ревности к Яше. Может быть, поэтому она ответила немного туманно:

– Не слишком. Он ведь человек занятой.

– Это я знаю. А что Пэпе, то есть мама твоя, она все еще там, в тридевятом царстве?

– Пока еще там.

– Ты мне вроде рассказывала, что Розен обещал перевезти ее сюда, поближе.

– Быстро это не получится. Надо потерпеть. Яша собирается записать меня на прием к одному своему знакомому полковнику, который занимается такими делами.

– Не ходи! – Залман крепко схватил ее за руку, словно испугавшись, что она может прямо сейчас туда отправиться. – Не нужно никуда идти. – И добавил почти приказным тоном, – Постарайся как можно меньше встречаться с Яшей. Вообще не видеться. Берегись его.

Он оглянулся, нет ли никого рядом, и тихонько прошептал ей:

– Он и сейчас там работает. Секретно.

– С чего вы взяли? – переспросила Элиша так же чуть слышным шепотом прямо в ухо. – Он же оттуда ушел.

– Это ни о чем не говорит. Можно уйти и все равно остаться одним из них. Оттуда так просто не уходят. – Для пущей убедительности Залман рассказал ей о том, как пару дней назад застал Яшу стоящим у Натана под дверью.

Элиша рассмеялась:

– Так он меня там ждал! Я ему накануне сказала, что вечером буду с вами у Левитиных. – И как будто шутя добавила, – Он вас, наверное, ко мне ревнует.

Такого поворота Мандел никак не ожидал. Но абсолютной уверенности в том, что все обстоит именно так, как говорит Элиша, у него не было. Перед расставанием он попросил ее не рассказывать Розену об их сегодняшней встрече. И еще Залман попросил ее запомнить – вне зависимости от того, послушает она его совета относительно Яши или нет, – Натану и Годл она всегда может довериться так же, как ему.

Глава 12

Натан только ступил за порог, как ему вдруг захотелось громко, во весь голос продекламировать «Так иль иначе, вот уж мартом веет…» – как в школьные годы. Но он тут же осадил себя и даже оглянулся вокруг на всякий случай, как будто испугавшись, что и впрямь произнес вслух всю строфу, а может и еще что-то из того, о чем он в последнее время непрестанно размышлял.

«Так иль иначе, вот уж мартом веет» – начало строго-настрого запрещенной поэмы загубленного поэта, певца еврейского народа…

Даже имя его произносить было небезопасно. А строчка эта так и шла сегодня за Залманом по пятам, не отпуская ни на миг.

Так или иначе, но на улице действительно пахло мартом, хотя зима еще в самом в разгаре. Вот-вот начнут продавать новогодние елки, а снега в городе не сыскать. Что не рассеял ветер, иссушили солнечные лучи. Небо сияло совершенно по-весеннему. В такой расчудесный день хочется просто гулять, а не таскаться по всему городу от одного учреждения к другому в надежде, что где-нибудь отыщется для него местечко. И не то чтобы он буквально голодает, нет – все же у него есть лекции по эстетике в Театральном училище. Но зарплаты от двух лекций в неделю хватает лишь на хлеб да картошку, а на его попечении жена и двое ребятишек. В газетах и издательствах, куда он обращался с расспросами, его уверяли, что сотрудники им нужны, записывали его домашний номер, обещали обязательно перезвонить. Пока что никто, впрочем, не перезвонил, и у Натана были серьезные сомнения, что позвонят. Удивляться не приходится. Он и сам отлично понимает, что в наши дни не каждый решится взять на работу человека, прежде работавшего в организации, которую закрыли. Тем более, что весь город уже знал, чьих это рук дело… Его сегодняшний поход в издательство «Физкультура и спорт» тоже скорее всего обернется пшиком. Вчера в вечернем номере было объявление, что им требуется корректор.

Только вот вряд ли это он…

Издательство «Физкультура и спорт» находилось в самом центре города, на улице Горького, неподалеку от дома, где проживал любимец еврейских литераторов, профессор Айзик Добрин, которого близкие нежно величали Изей. В еврейской писательской семье, которую трудно было назвать дружной, за него в любой организации голосовали все без исключения. Уже много лет подряд он являлся и сотрудником бюро Евсекции при Союзе писателей, и членом худсовета в театре, а также участвовал в редколлегиях газеты и альманаха и заседал в президиуме Антифашистского комитета. Удивительно! Добрину уже далеко за шестьдесят, еле ходит из-за хромоты, и все же не было случая, чтобы он пропустил хоть какое-то собрание или заседание, чтобы не выступил. Натану казалось, что ни к кому так

не прислушивались, как к Изе. Все видели в нем человека, отмеченного божественной печатью доброты и порядочности.

Натану не довелось быть студентом профессора Добрина, и тем не менее он считал его одним из своих учителей. Без его одобрения не подавал на публикацию ни одной своей статьи, даже сейчас, когда сам уже считался именитым критиком. С тех пор же, как закрыли комитет и издательство, Левитин ни разу не был у него. Сам не знал, как так получилось. Но ведь Изя не станет думать, что и он, Натан, так же как многие другие представители писательской братии, настолько напуган, что не выходит из дома, никому не звонит и не хочет, чтобы звонили ему? Нет, профессор наверняка понимает, что он занят поисками хоть какой-нибудь работы и что голова у него забита исключительно заботами о пропитании…

Хотя не может это служить оправданием. Надо будет в ближайшее время Залману позвонить и заскочить к Изе вместе. Заранее предупреждать о визите необязательно. Натан и раньше всегда приходил к Добрину без звонка, и не он один. Профессор ни разу никого за это не упрекнул. В какое бы время к нему ни пришли, оно тут же откладывал в сторону свою работу, забрасывал хворую ногу на подлокотник изрядно потрепанного жизнью кожаного кресла, сдвигал очки с близоруких глаз на высокий ученый лоб, и, как бы ни было ему порой скучно выслушивать то, что читал гость, никогда не выказывал ни капли нетерпения. И даже если посетитель засиживался до неприличия, Добрин ни намеком не давал ему понять, что пора бы и честь знать…

Дорога в издательство, как и в Театральное училище в Столешниковом переулке, вела через бульвары – Суворовский и Тверской. Торопиться смысла нет. Ответ Натану наперед известен. Только глянут на его документы… И потом, просто грех не прогуляться в такой ясный воскресный денек, не говоря уже о том, что пеший способ передвижения позволяет не слышать все те чудовищные выдумки о евреях, что рассказывают друг дружке пассажиры в трамваях и троллейбусах. Самое ужасное, что люди этим историям, кажется, верят. Как-то раз в трамвае Натан чуть было не стянул со своего израненного тела рубаху: хотел от стоявшей чуть поодаль группки потребовать – со всей суровостью солдата, который дошел до Берлина и которому

ничего уже в жизни не страшно – чтобы они повторили ему в лицо то, о чем только что говорили вполголоса: как во время войны евреи якобы прятались в Ташкенте, как торговали там на рынке, обвесившись орденами да медалями…

«Так иль иначе, вот уж мартом веет». Сейчас Натану чудилось, что именно об этом чирикают между собой птички, сидящие на обнаженных ветвях деревьев. Переходя из Столешникова на бульвар, он вновь вернулся к размышлениям, не дававшим ему покоя последнее время. Ему неоднократно приходилось слышать, что не будь на свете евреев, следовало бы их придумать, ведь в тяжелые времена всегда нужны те, на кого можно взвалить вину за свои беды. За то, что евреи принимали участие в революции, белогвардейские банды расплатились с ними резней – как будто без евреев не было бы никакой революции. Гитлер сделал виноватыми вообще всех евреев, и зверская расправа ждала их всех, от мала до велика. Ну а сейчас? Чем евреи провинились на сей раз, что на них так набросились, словно они враги страны, а? Может быть, этот знает ответ? – Скрывая горькую усмешку, подумал Натан, увидев перед собой Хайкла Вайнкола.

Невысокий, грузный, чисто выбритый Хайкл с вечно смеющимися глазами всегда вызывал у людей сочувственную улыбку – своим заметно припудренным лицом, бабочкой вместо галстука поверх накрахмаленной до жесткости рубашки, веселенькой пританцовывающей походкой… Возможно, именно за это его и держали в театре: публика улыбалась при одном его появлении на сцене. Для других ролей он был слишком поверхностен и прямолинеен, и никаких сценических задач, кроме как развеселить публику, ему не доверяли. Вероятно, поэтому после смерти Бен-Михоэла он распрощался с театром и перебрался в кино. Натан видел его пару раз на экране, но и там Хайкл производил впечатление циркового клоуна, у которого одна цель – заставить публику хохотать. Поговаривали, что Хайкл теперь выступает и в роли бадхена на еврейских свадьбах. Без ермолки в нагрудном кармане из дома не выходит. Те невеликие певческие данные, что требуются для исполнения шутовских рифмованных песенок, у него имеются. Уход Хайкла из театра и его перевоплощение в бадхена не стали сенсацией, как не вызвала удивления и трансформация, произошедшая с автором атеистических брошюрок Цемахом

Абелем, который после закрытия Антифашистского комитета и его газеты, где он заведовал архивом, стал служкой в синагоге, по протекции знакомого кантора – бывшего вокалиста Гезкульт-квартета.

«Жизнь и не до того доведет», – оправдывался каждый из них на свой манер, хотя ни у кого и в мыслях не было предъявлять им претензии.

Сейчас Натану бросилось в глаза, что Хайкл был будто сам не свой – не кинулся на него с распростертыми объятиями, как делал всегда, даже при встрече с малознакомыми людьми, и не подпрыгнул, чтобы звонко чмокнуть его в губы. Вечно смеющиеся глаза Хайкла были заплаканы, и всем своим видом он напоминал человека, сидящего шиву[1].

– У вас что-то, не дай бог, случилось? – спросил Натан.

– Вижу, вы еще не слыхали о великом горе. Его теперь тоже нет.

– Кого? – вздрогнул Натан.

– Биньомина Бен-Арье. Его забрали сегодня ночью. – Хайкл не смог сдержать слез. – Ой-ой-ой, еще одна потеря, и какая! Если Шлойме был как Перец, то Биньомин – это ж наш Шолом-Алейхем! Два гения, два гиганта в один год… Ох, хоть караул кричи!

– Вы уверены? – переспросил Натан, хоть и понимал, что вряд ли Вайнкол стал бы такое выдумывать. Но и поверить в это было тяжело. – Но ведь Биньомин лежал в больнице.

– Чудной вы человек. Ну в больнице, и что с того? Или им это важно? Они ж на все способны. Ох, товарищ Левитин, плохи наши дела… За ним ночью пришли, когда он спал. Таких больных, как он, сном лечат. Стали будить его, а он давай кричать спросонья, судороги пошли… Так они его наскоро завернули в одеяло и вынесли из палаты. А во дворе уже тюремная машина ждала, черный «воронок».

– В театре уже знают? – Спросил Натан.

– Там еще нет никого…

*

По пути, увидев телефон-автомат, Натан решил на всякий случай позвонить Биньомину домой.

1 Шива – в еврейской традиции – семидневный траур по умершему.

– Кто спрашивает? – По-военному чеканно ответил голос.

Натан повесил трубку. Кому принадлежал этот голос и что делает его обладатель в доме Биньомина – гадать не приходится. Значит, все еще идет обыск. Хотелось бы, конечно, поинтересоваться, что они там так долго ищут и что надеются найти – спрятанный пулемет? Танк? Подводную лодку? Что?!

Не выходя из кабинки, Натан набрал номер Залмана:

– Нет у тебя желания немного прогуляться? Погода сегодня превосходная. Заодно к Изе заглянем. Я у него уж сто лет как не был. Где встречаемся? Около его дома? Или, может, сразу у него? Ну, не задерживайся.

Уже на пороге Натану стало очевидно, что принесенная им новость для Изи таковой не являлась. Наверное, Хайкл Вайнкол не удержался, проинформировал. Добрин выглядел совершенно потерянным – настолько, что даже не протянул Натану руки, лишь едва разборчиво пробормотал «доброе утро».

– Вы, Изя, стало быть, уже знаете? Вам Вайнкол звонил? – Натан перевел взгляд на стоявшую на столе фотографию, где рядом с Добриным были запечатлены Шлойме и Биньомин. Изя сидит между ними. Оба смотрят на него, как ученики на обожаемого учителя.

– Вайнкол? – Переспросил Изя, – А в какой связи он мне должен был звонить?

– Что нынешней ночью забрали…

– Эти новости, дорогой мой Натан, я уже знаю. – Он тяжело вздохнул.

– Что ж, умные люди это предвидели. Следовало ожидать.

– Почему? – С некоторым удивлением взглянул на Добрина Натан.

– Не забывайте, дорогой мой, что он был за границей.

– За границей много кто был. И что, получается, всех теперь сажать? Вы ведь тоже ездили за рубеж, насколько мне известно, и не раз.

– И неужели вы полагаете, что если до того дойдет, они мне этого не припомнят? Даром, что я там был еще задолго до революции, при Николае. Звонят, кажется.

Изя удалился в коридор и минутой позже вернулся в сопровождении Залмана.

– Вы уже слышали хорошенькую новость? – Изя бросил на Натана вопросительный взгляд, как будто нуждался в его разрешении, чтобы рассказать Залману об очередной беде, произошедшей сегодня ночью.

– Еще одно несчастье? – Испуганно спросил Залман.

– Биньомина забрали. – Взял на себя инициативу Натан.

– Биньомина? – Словно в обмороке переспросил Добрин. Потом вдавился поглубже в кресло и зарыдал в голос.

– Что с вами, Изя? – Натан недоумевал, что вызвало такую реакцию. – Разве я вам не сказал?

– Я же думал, что речь о Бен-Шолеме.

– О ком? – Теперь у Натана от неожиданности перехватило дыхание.

– Вы не знали, что ночью Бен-Шолема забрали?

– Вайнкол только о Биньомине сказал. Так Бен-Шолема, значит, тоже уже нет? Не пойму, почему Вайнкол от меня это скрыл?

– Он, должно быть, и сам еще не знал. Я тоже был не в курсе. Мне Яша позвонил. Но тут-то как раз все ясно, глубоко копать не надо: ни для кого не секрет, что Бен-Шолем не так давно из Америки вернулся. Но Биньомин? Если его тоже за границу забрали, значит всех театральных арестовывать будут – всех, кто чуть ли не двадцать лет назад в зарубежные гастроли с ним ездил.

– Не ищите во всем этом логики, товарищ Изя, – в замешательстве от всех услышанных новостей отозвался Залман. – Машине логика не ведома. Ее запустили, она и едет. А мы у нее под колесами. Ужасно, что мы до сих пор не перестаем искать какие-то логические объяснения.

– Но Биробиджан нам все же оставили, – напомнил Натан.

– Биробиджан закрывать нужды нет. Он сам закроется.

– Все к тому шло. С самого начала, собственно. – Изя не выпускал из рук фотографию, где он сидел между Шлойме и Биньомином, и все поглядывал поочередно на Натана и Залмана, словно нуждался в их совете, что делать с ней – оставить на письменном столе или засунуть куда-нибудь подальше?

Опустив очки со лба на положенное им место, Изя обратился к обоим гостям, как будто только что вспомнил о чем-то важном:

– Мне надо вам сказать… Короче, встретил я на днях в городе Яшу, и он мне прямо с места заявляет, что есть среди нас один, который все туда передает, и надо быть с ним поосторожнее. Имени Яша мне не назвал, но я плюс-минус представляю, кто это.

– Так скажите и нам тоже!

– Да как же я могу, если сам еще не уверен? Я вас немного постарше, и я знаю, как это часто бывает. Указывают на одного, а в итоге оказывается, что это кто-то совершенно другой, на которого как раз никто бы никогда не подумал. Но осторожность все же не помешает. Поменьше собираться, пореже в гости ходить, просто так не созваниваться. Пока не пройдет эта новая чума, нужно поберечься. Со временем она пройдет, должна пройти, иначе не может быть.

– Боюсь, Изя, что к тому времени нас уже не будет.

– Здесь я, видите ли, ничего гарантировать не возьмусь.

*

– Может, подождешь меня? – Спросил Натан Залмана, когда они вышли от Добрина. – Мне в издательство надо заскочить, узнать, что они там насчет меня решили. Тебе-то, конечно, легче. Ты один, без семьи, к тому же еще от театра немного заработка имеешь. А мне вот без постоянной работы никак нельзя.

Заведующий отделом кадров издательства «Физкультура и спорт» Иван Денисович Емельянов попросил Натана присесть, просмотрел все его бумаги и наконец произнес:

– Пишите заявление и завтра выходите на работу.

Во взгляде, которым проводил его Емельянов, Натан прочел то же, что услышал сегодня от человека гораздо старше себя, от Изи Добрина: «Чума пройдет. Она должна пройти, иначе и быть не может».

Глава 13

Бениш Кит, к которому Яша Розен посоветовал Ойзеру обратиться по поводу работы, служил агрономом в Министерстве сельского хозяйства.

Даже если Бениш Моисеевич не сможет устроить его у себя, то подыщет ему место где-нибудь еще. Библиотеки есть почти в каждом крупном учреждении, а у Кита большие связи.

*

Должность Бениша Кита в министерстве была не из тех, что предусматривают наличие отдельного кабинета. В огромной комнате на последнем этаже стояло около десятка столиков. Сам Кит сидел напротив входа, у полупрозрачной стены.

Борис Моисеевич Кит не настолько часто посещал Еврейскую библиотеку, чтобы Ойзер сразу узнал его в лицо. Сам же агроном мгновенно узнал посетителя и догадался, что его привело.

– Вы ко мне? – Бениш направился к двери, у которой в нерешительности застыл Ойзер.

– Да, – смущенно ответил Ойзер и опустил взгляд. Рядом с высокорослым Китом он выглядел совсем как мальчишка.

Они вышли в коридор и встали в уголке.

– Как я слышал от моего земляка Яши Розена, вы остались без работы и не можете нигде устроиться?

Норвил со вздохом кивнул:

– У меня ужасное положение. Нас четверо. Жена больная, дочка еще в школу ходит, а до пенсии мне еще далековато. На стипендию сына нам четверым не продержаться. Не знаю, что делать, голова кругом. Прямо хоть ложись да помирай.

– Ну-ну, не говорите глупостей. Мы и похуже вещи выдерживали и не сдавались. Или вы думаете, что это навсегда? Нет, не может такого быть. Хотя пока что, понимаю, хорошего мало. Что же нам с вами делать? – Бениш обратился сам к себе с вопросом и тут же ответил, – За один день такие вещи не решаются. Я поспрашиваю у знакомых. Если вы в ближайшее время не найдете работу, приходите ко мне. Денька через три-четыре, например. Вы, надеюсь, пока еще не голодаете?

Норвил переждал целую неделю, в течение которой не было и дня, чтобы он не выходил из дома рано утром и не бродил по городу до вечера, таскаясь от одного учреждения к другому. Всюду, куда можно было войти, не имея пропускного документа, он расспрашивал,

не найдется ли хоть какой-то работы. Но для него даже в конторе Утильсырья работы не нашлось. Отговорка звучала одна и та же: «Нет свободных мест. Вот пришли бы вы вчера или позавчера…» Бениш Кит так и остался единственным, кто не дал ему от ворот поворот. Обещал рано или поздно устроить его, и не абы куда, а в библиотеку. Значит, нужно запастись терпением.

Спустя неделю Ойзер снова направился в Минсельхоз. И снова. И снова. Сотрудники Бениша уже знали, зачем приходил сюда этот низкорослый, болезненного вида человек со съехавшими на длинный заостренный нос очками. Некоторые сочувственно кивали ему в коридоре. Стоило Ойзеру только приоткрыть дверь в комнату, как первый увидевший его объявлял:

– Борис Моисеевич, к вам.

Наконец настал день, и у Ойзера появилась надежда. Бениш радостно замахал ему рукой, приглашая войти.

– Ну, что я вам говорил? Небеса таки на землю не упали! Мир все еще не без добрых людей. У меня в одном НИИ есть хороший знакомый, не еврей. У них в библиотеке освобождается место. Он мне завтра-послезавтра даст знать. Приходите послезавтра в это же время.

Ойзер пришел минута в минуту, но Кита в комнате не застал.

«Наверное, вышел куда-нибудь ненадолго», – подумал Ойзер и уселся на лавочку в коридоре дожидаться своего доброго ангела.

Прошел час, Ойзер терпеливо ждал, но Бениш все никак не возвращался.

– Вы не могли бы мне сказать, – спросил Норвил у молодого человека, вышедшего из комнаты, – где Борис Моисеевич? Он надолго отлучился?

– Не знаю, – отрубил тот и поспешно отвернулся.

– Но он сегодня еще будет?

– Нет, – еще резче ответил юноша и ускорил шаг. Похоже, Ойзер здесь всем порядком поднадоел своими частыми визитами. Но куда ему было деваться? Кит ведь сказал, что нашел ему работу…

На следующий день Ойзер пришел в министерство пораньше. Только он приоткрыл дверь в комнату на верхнем этаже, как тот же, вчерашний, юноша его остановил:

– Ваш знакомый здесь больше не работает, и нечего сюда ходить.

На улице Ойзер на какое-то время застыл, глядя вверх на голые окна желтого кирпичного многоугольника и пытаясь осознать случившееся. Он ведь был здесь всего два дня назад, и Бениш ни словом ему не обмолвился, что собирается увольняться… Эх, надо было спросить, где Борис Моисеевич теперь работает… Ойзер вернулся в здание, вызвал лифт, и когда кабинка уже спустилась на первый этаж, внезапно передумал. У него же есть домашний адрес Кита, лучше пойти туда.

Бениш Кит жил на Дорогомиловской, в красном кирпичном доме с высокой винтовой лестницей. Его квартира находилась на последнем этаже, в самом конце темного узкого коридора. Ойзер неуверенно постучал в дверь.

Никто не отозвался. Немного подождав, он постучался еще раз, уже увереннее и громче. И снова безрезультатно. Впрочем, ничего странного. Сейчас ранний вечер, только старики по домам сидят, все остальные на работе. Придется подождать. Не упускать же шанс получить работу?

Было совсем уже темно, когда на лестнице послышались шаги.

Женщина достала ключ и остановилась перед дверью в середине коридора. Уже войдя в квартиру, она повернулась и выкрикнула в коридор:

– Вам к кому?

– К Борису Моисеевичу, Киту.

– Вы его не дождетесь.

– Почему?

Но женщина уже захлопнула дверь.

– Почему? – переспросил Ойзер, обращаясь скорее к себе самому. Он хотел постучаться к ней, разузнать, в чем дело. Или Кит здесь больше не живет? Но стучать не пришлось. Через пару минут соседка сама вышла и встала у порога:

– Я же вам сказала, что нечего его ждать.

– Почему?

– Это вы у Ревекки Ефимовны выясняйте.

«Ничего не понимаю. Почему она не хочет сказать ему, где Кит? Супруга Бениша, по словам соседки, здесь, а его, значит, нет? Или они вдруг внезапно развелись? Да ну, чушь какая! А может, эта женщина

просто подумала, что он выглядит как-то подозрительно? Она немножко странно на него смотрела…

На лестнице опять послышались шаги. Ойзер отошел в дальний угол коридора, надеясь остаться незамеченным и избежать расспросов других соседей. Но на сей раз это, похоже, была жена Бениша. Он сделал шаг вперед:

– Извините, вы Ревекка Ефимовна, супруга Бориса Моисеевича?

– Я да. А вы кто?

– Бениш… Ваш муж вам обо мне, наверное, рассказывал? Я Ойзер Норвил, из Еврейской библиотеки. Которую недавно закрыли.

– Знаю-знаю! – Она стала как будто отмахиваться от него обеими руками. – Это вы все ходили-вынюхивали, пока им его не сдали! Что вам теперь надо? За мной следить будете? Уходите! Я вас не знаю и знать не желаю! Чтоб я вас здесь больше не видела!

Ее крик преследовал Ойзера всю дорогу домой, и некуда было от него укрыться.

Глава 14

С того дня, когда они с Натаном побывали у Добрина, уже прошло довольно много времени, а Залман все мучался вопросом – кого же мог иметь в виду Изя, призывая их быть осторожными с «этим человеком» и следить за словами в его присутствии? Да и Розен – почему он, предупреждая Добрина об опасности, не назвал эту опасность по имени, а ограничился лишь намеками? Ясно одно: выдумывать такие вещи Яша бы не стал. Речь идет о жизни и смерти. И намекал он явно не на «стахановца» от литературы – автора небольшого поэтического сборника, посвященного железнодорожникам… Уж его-то разоблачать точно смысла не имело. Это было сделано много лет назад, еще в период чисток, последовавших за убийством Кирова. Кстати, поначалу он ни у кого не вызывал подозрений… пока его не поймали с поличным. Кто-то случайно услышал, как Стахановец по телефону говорил о двух писателях, занимающихся вредительством.

Одного из них забрали уже назавтра. Второго – спустя несколько дней. Незадолго до ареста оба опубликовали в газетах острые рецензии

на стихотворный сборник Стахановца. Заголовок одной из них Залман помнил до сих пор – «Вне поэзии». Но нет, не о Стахановце думал Изя, говоря, что более-менее догадывается, на кого намекал Яша…

Казалось бы – абсурд, но перебирая в уме возможных подозреваемых, Залман не обошел и себя. Предположим, Мартин Константинович случайно знаком с Розеном – и разве не могли они, в числе прочего, и о нем беседовать? И если допустить такую мысль, совсем нетрудно представить, что Мартин рассказал Яше о своей встрече с Залманом, умолчав о том, что Залман отказался от сделки и больше не переступал порога гостиницы на Охотном Ряду. Было бы вполне в духе Мартина Константиновича – наказать человека за упрямство и несговорчивость, уничтожив его репутацию в глазах еврейских писателей, артистов… Вообще всех, кто его знает.

Да он, собственно, и заслужил подобную кару. За то, что знал – с первой встречи с Мартином знал! – но никого не предупредил о том ужасе, который ждет их всех впереди.

Вот Изя их с Натаном предупредил об опасности. И не только их, судя по всему. Люди вдруг, как будто по щелчку, отдалились друг от друга. Не звонят, в гости не ходят. Впрочем, и сам он ни с кем, кроме Натана, давно уже не созванивается. Элишу тоже намного реже теперь видит, и они даже договорились не созваниваться без крайней необходимости.

Крайней необходимости ни у кого из них в последнее время не возникало, но Залман так по ней соскучился… Наверное, было бы разумнее – безопаснее, по крайней мере, – навестить ее вечерком в общежитии. Хотя вероятность, что она окажется там, невелика: будущие актеры проводили вечера преимущественно не в общежитии, а на театральной галерке – когда удавалось заполучить места подешевле. А пока что час полуденный, занятия в разгаре, и у него есть неплохие шансы застать Элишу в Столешниковом. Но и по дороге туда Залман не мог не думать о том, что именно в эти часы там, возможно, крутится тот, кого нужно опасаться.

По его расчетам, через несколько минут начнется большая перемена.

Он коротал время, рассматривая галстуки в витрине магазина мужской одежды. Дверь Театрального училища распахнулась раньше,

чем он ожидал. Элиша выпорхнула наружу одной из первых и вместе с толпой устремилась в направлении студенческой столовой на соседней улице. Залман еле догнал ее.

План его состоял в том, чтобы их с Элишей встреча выглядела случайной – он наткнулся на нее в переулке и проводил до студенческой столовой. Но вот они увиделись, прошлись немного вместе, и он привел ее обратно в переулок, чтобы пригласить в актерское кафе «Арфа».

Скоро два: торговые лавки закроются на обед, и сюда будет не протолкнуться. Сейчас же здесь еще были свободные столики. Они уселись подальше от входа. Когда официантка, с широкой улыбкой приняв заказ, удалилась, Элиша обратилась к своему спутнику:

– Надо было котлеты заказать, не пришлось бы ждать так долго.

– Тебе еще не надоели котлеты в студенческих столовках? – Он отодвинул меню, чтобы она не смотрела на цены. – К тому же мы с тобой не виделись целую вечность.

– Да, уж две недели скоро. Я вам пару раз чуть не позвонила, но не решилась, вы ведь запретили…

– Не запретил, а попросил этого не делать, и ты, думаю, понимаешь, почему. Мне почти никто в последнее время не звонит. И сам я звоню лишь изредка. – Залман оглянулся по сторонам и добавил еще тише, – Время такое, к встречам не располагает. Как и к телефонным разговорам. – Он снова оглянулся, чем, кажется, еще больше ее напугал.

«Встречаются двое, и оба слово боятся обронить, потому что каждый про другого думает – а разве непохоже, что он оттуда?» – такие полушутливые присказки бытовали среди сокурсников Элиши. Но нет, к ее отношениям с Залманом это не относится…

– Что мама тебе пишет?

– Ничего особенного. Просила передать вам сердечный привет и велела вас слушаться по всем вопросам.

– Ты для нее ребенок, которого она впервые куда-то одного отпустила.

– Если бы вы знали хотя бы тысячную долю того, через что я в жизни прошла, вы бы так не думали.

– Могу себе представить… Ну, а как учеба идет?

– Преподаватели пока не жаловались. От других не отстаю.

– Знаю, интересовался. Учителя говорят, что ты подаешь большие надежды и что у тебя настоящий актерский талант. Меня это радует.

За обедом Залман продолжал время от времени оглядываться по сторонам, на что Элиша не могла не обратить внимания.

– Вы от кого-то скрываетесь?

До конца трапезы он больше ни разу не посмотрел в сторону. Когда они уже собрались уходить, Залман произнес чуть слышно:

– Ты должна знать, что есть один человек, из своих, с которым надо быть осторожной. Яша предупредил.

– И кто это такой?

– Имени он не говорит.

– Мне, думаю, скажет.

– Ты с ним часто видишься?

По тому, как прозвучал вопрос, Элиша почувствовала, что в ответ Залману хотелось бы услышать, что они с Яшей уже почти не встречаются… Хотя они виделись не далее как вчера: он приходил в общежитие. Врать Залману она не стала.

– Вчера?

– Да, зашел сказать, что уезжает. Хочет написать поэму об одесских катакомбах. Ему от Союза писателей творческую командировку в Одессу дали, на полтора месяца.

«Это уже за пределами понимания! Еврейскую литературу уничтожают под корень, а они идишского писателя в командировку посылают!»

– Поверить невозможно.

– Я официальное направление видела. Он мне показывал.

– Как же он может уехать? Непонятно. У него ведь работа… Или он ее бросил? – Залман улыбнулся. – И тебя тут одну не побоялся оставить?

Элиша стыдливо потупила взгляд.

– А насчет того, что я тебе сказал о судьбе актрисы в еврейском театре, ты все же подумай.

Залман проводил ее до входа в училище и на прощанье – чтобы подбодрить то ли ее, то ли самого себя – произнес:

– Как знать, может, над нами еще взойдет солнце? Ведь сколько

раз оно уже гасло, а потом возвращалось… Все возможно. Умение ждать – великое дело! Но еще важнее не терять веры в то, что дождешься света.

– А вы верите?

– Как тебе сказать? Я и сам не знаю.

*

На углу переулка Залман услышал позади себя голос:

– Товарищ Мандел! Залман!

Очень знакомый голос. Залман оглянулся. Айзик Добрин! Наверное, из училища идет, он ведь там по-прежнему читает лекции по современной еврейской литературе. Изя спешил ему навстречу, выставив перед собой массивную коричневую трость с полукруглой ручкой. Обычно он использовал ее при ходьбе, когда ступал своей искалеченной ногой, обутой в сапог на высокой подошве.

– Вы куда-то совсем запропали. Не звоните, не заходите.

– Изя, дорогой, чтоб вы мне были здоровы! Я ведь ваш завет исполняю. Или вы забыли, о чем нам с Натаном говорили?

– Да, но это не значит, что надо совершенно чужими становиться. Вы уже и в театре не бываете. Как у вас с пьесой дела?

– С какой?

– Ну, с той, которую вы пишете.

– Которую я пишу? – Растерянно переспросил Залман. У него совершенно вылетело из головы, что только Натан знал о том, кто настоящий автор пьесы, на которой написано имя «Мандел». А ведь Айзик наверняка слышал о Криштоле, ведь когда-то – когда еще были драмкружки при клубах и странствующие труппы – его буффонады играли повсеместно. – Праздновать пока рано, еще работать и работать. Настроение, дорогой Изя, знаете ли, такое… Как-то не пишется.

– Надо себя заставлять. Да-да, товарищ Залман. В отчаяние впадать нельзя, ни в коем случае! Мало мы уже пережили тяжелых времен? Не мне вам рассказывать. И эту беду тоже снесем! Доживем еще до дня, когда Биньомин будет играть в вашей новой пьесе. Вы что, не верите?

– А вы?

– Хочется верить… – Айзик сильнее сжал набалдашник трости, – что на этом хаос закончится. Здравый смысл подсказывает. Раз уж за прошедшие дни кроме Биньомина и Бен-Шолема никого не забрали…

– Дай-то бог, чтобы вы оказались правы. Только как нам быть теперь? Скрижали уже разбиты, и самое дорогое – литературу – они у нас уже отняли.

– Все же пока еще не совсем. – Добрин не двигался с места. – Помните времена, когда помимо идишской существовала еврейская литература на русском, хотя ситуация тогда совсем другая была? Что ж, значит, прибегнем к тому же выходу: писать будем на идише, как раньше, а потом сразу на русский переводить. Разумеется, не указывая, что текст переводной.

– Знаете, что мне это напоминает? Марранов[1].

– Да, есть некое сходство. Все гонения на евреев имеют между собой нечто общее. А вы можете предложить другой выход из положения?.. Да. Ну а покамест – у нас остается наша устная Тора[2] – наш театр. Зрителей у него все еще немало, включая молодежь. Вероятно поэтому ни его, ни училище до сих пор не закрыли. В их системе координат это в каком-то смысле даже логично.

– У кого вы, Изя, ищете логику? У них? В том, что с нами сейчас происходит, логика и не ночевала! Скажите мне лучше, кого же вы все-таки имели в виду, когда предупреждали нас с Натаном об осторожности?

Айзик снова выставил перед собой трость, на сей раз не так далеко, и отозвался, словно пропевая слова на мотив Геморы[3]:

– Дорогой вы мой человек! Да как же я мог назвать вам имя, если сам не вполне уверен? Хоть Розен и клялся, что сомнений нет и быть не может… Только вот никак у меня в голове не укладывается, чтобы мог этот человек такими вещами заниматься. Я его больше двадцати лет знаю. Но после того, как одна моя добрая знакомая повторила примерно то же, что говорил Яша… Вы

1 Марраны – евреи Испании и Португалии, под угрозами преследований принявшие христианство во времена инквизиции, но втайне продолжавшие исповедовать иудаизм.

2 Устная Тора (ивр.) – была дана Моисею на горе Синай вместе с письменной Торой, и позднее оформлена в корпус галахической и агадической литературы.

3 Гемора (арам.) – корпус дискуссий и интерпретаций Мишны, также синоним Талмуда.

должны ее знать – она была примадонной в Крымском колхозном театре.

– Ривка Шнайдер. Помню такую. Неплохой был театр.

– Так вот, звонит мне вчера Рива, и что-то у нее там важное, не телефонный разговор. – Айзик снова начал жестикулировать перед собой тростью. – В общем… Если коротко – она сказала, чтобы я остерегался библиотекаря.

– Ойзера Норвила? – От неожиданности Залман чуть не поскользнулся на месте. – И вы ей верите?

– А вы послушайте и сами поверите! Когда закрыли библиотеку, Ойзер пошел к ее мужу на работу, чтобы тот помог ему где-нибудь устроиться. Изо дня в день ходил к нему. И кончилось все тем, что Бениша забрали.

– Из-за того, что Ойзер к нему приходил?

– Так слушайте дальше. На следующей день после того, как арестовали ее мужа, она застает библиотекаря у себя под дверью. Пришел, стало быть, полюбопытствовать, кто к ним ходит.

– Вот как? А что бы вы, к примеру, подумали, если б знали, кого я не так давно застал под вашей дверью? Одного нашего хорошего знакомого… Но я воздержусь. Понимаете, никого не хочется подозревать, а уж Ойзера меньше всего. Мы с ним бог весть сколько лет знакомы, и поверить в эти обвинения я попросту не в состоянии.

– О том и речь, дорогой Залман! Именно таких, на которых не может упасть ни малейшего подозрения, они, как правило, и выбирают для таких гадких дел! Уж не знаю, что он им там может обо мне рассказать, но что-нибудь наверняка найдет…

– На меня так точно найдет… – Залман задумался даже не столько о себе, сколько об Элише. Надо, чтобы она сегодня же встретилась с Ойзером и переиграла всю историю с пьесой ее отца. Пусть скажет ему, что пьеса потерялась, и найти уж отчаялись. Что еще можно придумать?..

Они дошли до начала улицы Горького и остановились у подъезда, где проживал Айзик Добрин.

– Вы никуда не спешите? Тогда поднимемся ко мне? Я же вам еще свой сборник статей не подарил. По счастью, успели до закрытия издательства отпечатать.

Залман был в этой комнате, наверное, сотню раз – видел это кресло с потертой кожаной обивкой, эту портативную пишущую машинку на массивном столе. Сегодня книжных полок, кажется, еще больше, чем всегда. На столе, на подоконнике, на полу, куда ни кинешь взгляд, – тоже беспорядочные кипы книг и папок с бумагами. Большинство томиков, конечно же, дары от авторов, с автографами и теплыми пожеланиями. Папки набиты присланными рукописями и письмами… Даже еврейские писатели из других городов, приезжая в столицу всего на пару дней, непременно приходили сюда, чтобы выслушать отзыв Добрина о своих произведениях. Он был авторитетом для всех.

Сейчас, оглядывая обстановку в комнате, Залман почувствовал себя так, как будто попал сюда впервые. Куда же все это денется потом? – подумалось ему. – Айзик ведь отнюдь не молод, да и здоровяком его не назовешь. Еще недавно, если бы с ним, не дай бог, случилось то, от чего никто в этом мире не застрахован, все его сокровища могли бы отойти Антифашистскому комитету или переместиться в Еврейскую библиотеку. Но теперь…

По блуждающему взгляду Залмана Айзик, похоже, догадался о ходе его мысле и заговорил о накопенных им богатствах. В глазах его стояли слезы.

Он говорил о них так, как говорят о живом существе, которое страшно оставить на произвол судьбы и о безопасности которого нужно заранее позаботиться на случай, если…

– Биробиджан? – Пришел ему на помощь Залман.

– А откуда у вас, товарищ Залман, такая уверенность, что нынешняя чума минует Биробиджан? Довоенной катастрофы ему, как известно, не удалось избежать, и писатели тамошние пострадали ничуть не меньше московских, киевских, минских… А сейчас, если и дальше все пойдет, не дай бог, в том же духе, – в один прекрасный день Еврейская автономия может просто прекратить свое существование.

Зазвонил телефон, Айзик поднял трубку. Очки чуть не упали с его высокого лба, он едва успел их подхватить.

– Еще что-то? – испуганно спросил Залман.

– У нас новая жертва.

– Кто?

– Ни за что не догадаетесь. Стахановца забрали.

– Кого? Стахановца? – Залман всплеснул руками. – Вот этого, Изя, я уже совсем не понимаю. Кстати, когда вы нас с Натаном предпреждали, я ведь подумал, что вы как раз на Юдла намекаете. Было бы неудивительно… Но постойте: Стахановец, насколько мне помнится, за границей сроду не бывал. Так за какие подвиги его взяли?

– За талант.

Прекраснодушный Изя славился своим умением найти доброе слово для каждого, но чтобы назвать Юдла Стахановца талантом?

– За какой? – поинтересовался Залман в полнейшем изумлении.

– За такой, который им подходит. Или вам объяснять надо?

– Не надо. Этот его талант нам давно уже известен.

*

От Айзика Залман направился обратно в Столешников переулок. Ему и в голову не пришло подумать о том, как его визит будет выглядеть для сокурсников Элиши. Он даже переменки не стал дожидаться.

Новости об Ойзере повергли Элишу в еще больший шок, чем испытал сам Залман, услышав их от Добрина. Но она понимала, что Залман не стал бы предупреждать ее об опасности, которой не было на самом деле.

– Хорошо, – ответила она, немного помедлив, – постараюсь с Норвилом сегодня же увидеться. Скажу, что вы вернули мне пьесу, что не захотели ей заниматься. А теперь я ее найти не могу. Потеряла, похоже…

Глава 15

Вернувшись домой, Залман обнаружил у себя в комнате Надю. Странно, они ведь только вчера виделись. Удивления своего он, однако, не выказал, чтобы Надя не решила, что он ей не рад. Что-то, должно быть, случилось. Но спрашивать, что, он не стал. Лишь осведомился, давно ли она здесь.

– Нет, с часок, наверное. У меня два билета в кино, на «Победу». Нам на заводе бесплатно дали от профкома. На последний сеанс.

– Я видел этот фильм. Стоит посмотреть. Сходи.

– Без тебя не пойду.

– Говорю же тебе, я его уже смотрел.

– Все равно.

– Чудна́я ты какая! А если б ты меня сейчас не застала?

– Без тебя я бы все равно не пошла. Подождала бы. Мне нужно было с тобой увидеться.

Залман уже привык к тому, что Надя ему время от времени напоминает, как много он для нее значит. И что она не представляет, как будет обходиться без него, хоть и знает, что вечно так продолжаться не может, что ниточка рано или поздно оборвется… Но она все равно не перестанет его любить, даже если он совсем от нее отдалится…

Заводя из раза в раз этот разговор, она, возможно, надеялась, что рано или поздно услышит нечто подобное в ответ. Залман и сам хотел бы ответить ей взаимностью. Он и без ее напоминаний знает, что никто не будет ему предан так, как эта простая женщина со светлыми глазами. Но усилием воли переплавить в себе то теплое мужское чувство, которое он испытывал к ней, в любовь, ему не удавалось. Особенно ярко он начал ощущать это после случайной встречи с Элишей. Залману казалось, что его стародавняя любовь к Пэпе – любовь, которая все еще теплилась где-то в глубине его существа – разгорелась вновь, только теперь уже не к ней самой…

Но ни слова из того, что он ожидал услышать от Нади, не слетело с ее губ. И глаза ее теперь смотрели на него как-то иначе: они были полны страха. Э, нет, не из-за похода в кино она пожаловала, – догадался Залман.

– У тебя что-то случилось? На работе? – Он подсел к ней ближе. – Почему ты молчишь? Я ведь вижу, ты от меня что-то скрываешь.

Надя не отводила от него перепуганного взгляда.

– Ты был сегодня в городе? – Голос ее показался чужим, незнакомым.

– Не понимаю, что за вопрос. Ты же видела, что я пришел с улицы.

– И ты ничего не заметил, ничего не слышал? – Надя была сама не своя от изумления. Неужели ей придется объяснять человеку, только что пришедшему с улицы, чем так взбаламучен город? Как можно

быть не в курсе, если только об этом везде и говорят? – Ты не знаешь, что сегодня ночью арестовали почти всех еврейских инженеров с Автозавода? Может, тебе куда-нибудь уехать на некоторое время?

– Я вроде не инженер, да и на Автозаводе не работаю, с чего мне прятаться? И вообще, от них, чтоб ты знала, нигде не спрячешься. Если я им понадоблюсь, они меня везде найдут. Так что там натворили инженеры?

– Собирались взорвать Красную площадь.

– Что-о-о? – Залман аж подпрыгнул на месте. – Боже-боже, до чего мы дожили! Более дикой чуши не придумаешь!

– Но люди-то в это верят.

– Быть не может.

– Выйди в город, сам услышишь. Даже от интеллигентных людей услышишь. Говорю тебе, Зиновий, уезжай куда-нибудь на время. Евреям скоро страшно будет из дома выйти, слово вымолвить. К тому все идет. Меня сегодня продавщица в гастрономе тоже, похоже, за еврейку приняла. Ты бы слышал, что она мне наговорила, когда я ее спросила, есть ли у них в продаже французские булочки. Я не знала, что они теперь называются не «французские», а «городские», и за это она обозвала меня… Не хочется повторять. Послушай меня, уезжай.

– А знаешь, что я тебе скажу, Наденька? Пойдем-ка мы с тобой в кино!

Такой фильм не грех и по второму разу посмотреть.

Сегодня Залмана уже не так сильно удивило то, что экранный Сталин разговаривает на хорошем русском языке, без малейшего намека на грузинский акцент. Может, правдоподобность действительно лишняя? К чему заострять внимание на том, что сам вождь другой национальности, если тост он произносит только за русский народ?

Глава 16

Как он добрался до дома после встречи с женой Кита, Ойзер и сам не знал. Помнил только, что когда выходил из коридора, все вокруг кружилось и подпрыгивало. Он шел слепыми шагами, вытянув

вперед руки, словно в густом тумане. Сел не в свой трамвай, потом долго плелся пешком по замерзшим тротуарам. Сел в другой трамвай, опять не поинтересовавшись маршрутом, и снова попал на какую-то незнакомую окраину города. Ему было все равно. Будто не он это – другой человек. В какой-то момент он без малейшего удивления обнаружил себя стоящим у Политехнического музея, напротив закрытой Еврейской библиотеки, окна которой все еще были заклеены газетными страницами. Но и здесь перед его взором стояли лишь Рива да сбежавшиеся на шум соседи. Крик Ривы шел за ним по пятам, неотступно преследовал, дырявил мозг: «Сначала мужа моего выслеживал, теперь за меня принялся!» Последним воспоминанием Ойзера стал момент, когда он открыл дверь своей квартиры и жена с сыном подхватили его под руки, чтобы он не упал.

Об остальном Ойзер узнал только через несколько дней, когда начал потихоньку приходить в себя. В тот вечер Хана с сыном не находили себе места. Где он мог задержаться? Почему не позвонил? А вдруг случилось несчастье? Под машину, не дай бог, попал? Собирались уже в Склиф звонить, и тут он как раз открыл дверь. Вид его был ужасен: лицо впалое – белее стены, глаза безумные, пульс едва прощупывается. Больше всего их пугало его молчание, ни единого слова не могли от него добиться. Скорую вызвали, но он несколько раз пробормотал сквозь забытье: «Не надо… Не надо в больницу». А потом, по ночам, разговаривал во сне. Говорил много, но почти исключительно обрывками слов, из которых тяжело было что-либо понять.

Когда опасность, казалось, миновала и Ойзер начал вставать с кровати, его тихая голубка Хана спросила, как бы мимоходом, кто такая Ревекка. Во время болезни он все время разговаривал с ней о чем-то во сне, клялся ей здоровьем своих детей… Ойзер на это лишь махнул рукой и отвел глаза.

Хана только успела заметить, как вздрогнули его губы, как будто он вот-вот расплачется, и больше с расспросами к нему не приставала. До сих пор Ойзер ничего от нее не скрывал и сейчас не стал бы. А раз ничего важного, и эта Ревекка ему не более чем знакомая, то нечего тут и думать. Они с Ойзером не один день муж и жена, и друг друга знают лучше, чем самих себя.

Внезапная болезнь мужа ужасно напугала Хану: она боялась, как бы дело инсультом, сохрани господь, не закончилось. Слишком много переживаний с поисками работы, слишком близко к сердцу принимал он свое положение. Но разве один он сейчас такой? И бригада скорой помощи, и врач из районной поликлиники постановили, что больному необходим покой – для него это лучшее лекарство. Все эти тяжелые дни Хана никого к нему не допускала. Даже после того, как доктор позволил Ойзеру по чуть-чуть ходить по дому, она продолжала оберегать его, как тяжело больного. Когда он наконец поинтересовался, какие новости и что произошло, пока он болел, она переспросила, будто не поняла, о чем он:

– Новости? Какие нынче могут быть новости?

– Никого из наших за это время не арестовали?

Хана, конечно же, понимала, что мужа подкосило неожиданное закрытие целого ряда еврейских учреждений. А в тот вечер его, возможно, вызывали туда, но рассказывать об этом запретили… Заметив, что Ойзер смотрит на нее с подозрением, Хана протараторила, как будто оправдываясь:

– Да даже если что-то и случилось, откуда мне знать, если я нигде не была с тех пор, как ты заболел? Если что, мне Элиша рассказала бы. Она захаживала пару раз. Просто ты не в том состоянии был, чтобы к тебе гостей пускать. Она еще зайдет, думаю, скоро. Ей вроде срочно надо было с тобой увидеться.

– Она одна была? Или с ним?

– Нет, одна. Яша тоже приходил тебя проведать. От Элиши, наверное, узнал, что ты болен.

– Так он еще заглянет?

– Не знаю. Он мне ничего не сказал.

А жаль. С Яшей-то как раз очень кстати было бы переговорить.

Попросить, чтоб он съездил к жене Бениша и объяснил ей, что она ошиблась, что Ойзер не имел никакого отношения к аресту ее мужа и что в министерство он ездил по поводу работы. Розен сам ему посоветовал к Бенишу обратиться. Сколько дней прошло с того ужасного вечера? За это время Рива могла кому-нибудь рассказать свою версию событий, а этот кто-то – еще кому-то… Кроме Яши и некому спасти его честное имя!

Сколько лет они с Розеном знакомы, а где он живет – Ойзер не знает. Вроде в каком-то переулке на Плющихе. Элиша должна знать, но когда она теперь появится? Придется самому к ней подъехать. В училище ехать поздно, занятия уже закончились. А новое студенческое общежитие, куда она не так давно перебралась, находится ох как далеко… Но и откладывать никак нельзя. Он должен найти ее до конца дня, в какой бы дали она ни была…

Ойзер все еще не вполне твердо держался на ногах, но ни слабость, ни слезные мольбы Ханы не могли его остановить. Волновался он лишь о том, что Элиши может не оказаться на месте. Что ж, тогда он подождет. Сколько потребуется, столько будет ждать.

Ждать не пришось. Элиша была у себя в комнате, одна. Но войти и присесть она ему не предложила – сама вышла в коридор.

– Как ваше здоровье?

Вопрос был явно задан исключительно из вежливости. Она ведь даже не смотрит в его сторону. Ойзера немало удивила ее отстраненность. Он, кажется, ничем не провинился ни перед ней, ни перед ее родителями. Отчего же она так недружелюбна с ним сегодня? А может, он просто в неподходящий момент появился? Или что-то у нее стряслось? Чтобы зря не гадать, Ойзер поспешил объясниться, мол, он и не пришел бы, но жена ему передала, что дело срочное…

– Да, я действительно хотела с вами встретиться. Помните, вы мне посоветовали доверить папину пьесу одному писателю, Залману Манделу? И что если ему понравится, он представит ее в театре под своим именем? Так я последовала вашему совету.

– Ну да, разумеется, помню.

– В общем, ничего из этого вышло. Пьесу он мне вернул. Даже не дочитал, судя по всему.

– Как так? Не ожидал от него такого.

– Это еще не все. Я ее потеряла.

– Когда? Как?

– Не все ли равно, когда и как? Нет пьесы, и все.

– И копии не осталось?

– Нет.

– Это уже… даже не знаю, как назвать. Но если он испугался держать пьесу у себя, вам следовало сразу мне ее передать, я бы сберег.

«На что она вам? – чуть не спросила его Элиша, – О том, что пьесу эту написала не я и не моя мать, вам прекрасно известно, а моего погибшего отца вы уже не сможете наказать, даже если отыщете в его пьесе какую-то крамолу…»

– Там ничего крамольного и не было, – продолжил Ойзер, – и почему Залман испугался держать ее у себя – загадка. Да и отец ваш, насколько мне известно, с сионизмом ничего общего не имел. В коммуне жил какое-то время, да, но сам халуцем никогда не был… Хана говорила, что Яша ко мне приходил, но я еще болел. Я бы сам сейчас к нему подъехал, но у меня адреса нет. У вас, наверное, есть?

«Это еще зачем? Шпионить? Как за агрономом? Или думаете, что никто не знает, как вы потом еще у жены его под дверью терлись? А теперь, значит, Яшина очередь настала?..»

– У меня нет его адреса. Я у него ни разу не была.

– А кто может знать?

– Понятия не имею.

Ойзер посмотрел на Элишу и не стал больше ни о чем спрашивать. А может, она и вправду не знала Яшиного адреса? Элиша ведь дочь Криштола, она из тех девушек, что никогда не войдет в дом к одинокому мужчине. Она и с собственным женихом до свадьбы с глазу на глаз не останется.

– Помнится, он обитал где-то на Плющихе, – произнес, обращаясь скорее сам к себе, Ойзер.

– Возможно. Только мне кажется, что Яши вообще нет в городе. Он собирался уехать.

– Надолго? – Норвил прислонился к стене. – А куда он собирался ехать?

– Я не знаю. Ничего не знаю.

Ойзер уже уходил, когда Элиша, как будто преодолевая смущение, спросила:

– А как вы прошли? – И совсем тихо добавила, – Сюда же сейчас вообще посторонних не пускают.

«Почему Элиша сочла нужным сообщить ему об этом? Предупреждает об опасности? Или просто не хочет, чтобы он приходил?»

Еще большее недоумение вызвала у него реакция обычно милого, добродушного Айзика Добрина. Выйдя из общежития, Ойзер

позвонил ему из телефона-автомата – спросить насчет Яшиного адреса. Изя даже слова ему сказать не дал, сразу перебил и попросил ему больше не звонить. И не приходить. После чего добавил: «Ни к кому не ходите и никому не звоните».

«Хотя что обижаться-то? У Айзика Добрина имелись основания стать отшельником – не общаться, не заводить бесед. Он был теснее всех связан со Шлойме Бен-Михоэлом и Биньомином Бен-Арье, да еще и за границей прожил пару лет, что по нынешним временам грех – даже если он был совершен еще при царе – и возможная расплата за него Изю наверняка особенно страшила… Надо было сперва Залману позвонить: у него-то уж точно должен быть адрес Розена. Сколько раз они вместе приходили в библиотеку и вместе уходили оттуда? Залман принадлежал к старшему поколению писателей, за рубеж никогда не выезжал, а значит, и пугаться ему нечего. Пьесы его в театре играют. Театр… А ведь его пока еще не закрыли…»

Залман выслушал Ойзера, не перебивая, но ответил холодно и безаппеляционно:

– Простите, но впредь попрошу вас мне не звонить. Почему – вы, полагаю, догадываетесь.

Перезванивать и уточнять, почему, было бы глупо. И так ясно, что имел в виду Залман, как, впрочем, и Изя. Ойзер только никак не мог взять в толк, отчего они с ним не говорили в таком тоне две-три недели назад. Быть может, за то время, что он провалялся в постели, случилось еще нечто такое, что всех перепугало, и о чем он не знает? Кого же из близких спросить? А заодно и Яшин адрес узнать?

Одним из тех, чей номер Ойзер помнил наизусть, был Натан Левитин.

Трубку подняла Годл. Едва услышав его голос, она отрезала:

– Больше нам не звоните. – И почти дословно повторила услышанное им несколько минут назад от Залмана. – Вам должно быть понятно, почему.

Ойзер еле нашел в себе силы выйти из телефонной будки, но дальше идти уже не смог. Успел только облокотиться на стоявшее рядом дерево. Когда сердце чуть-чуть отпустило и стало чуть легче дышать, он снова принялся искать ответ, но не находил его. Предположим, за время его болезни действительно произошло что-то важное. Но ведь

тогда Элиша не стала бы скрывать это от него, верно? Должна же быть какая-то причина, раз никто не желает его ни слышать, ни видеть, да еще и присказка у всех одна и та же, мол, ему самому должно быть понятно… А не может такого быть, что… Как же это он сразу не догадался? Рива ведь была актрисой ныне закрытого Еврейского колхозного театра в Крыму! И вроде до сих пор преподает в Театральном училище. В тот день, когда она накинулась на него с обвинениями, ничто не мешало ей отправиться туда, или даже в сам театр и предупредить там всех, чтобы остерегались его. Единственный, кто может спасти его честное имя, – это Яша Розен! Медлить нельзя ни минуты. А что, если, не дай бог, не удастся его найти? Вдруг его и вправду нет в городе?

Все, больше он никому звонить не будет. Обратится в справочное бюро. Практически все необходимые сведения у него есть. Если память ему не изменяет, родился Розен в каком-то местечке в Подолии. Возраст его, пусть и приблизительно, Ойзер тоже сможет назвать. Остается одно неизвестное: настоящее имя Яшиного отца. У евреев не принято нарекать мальчиков по отцу – значит, точно не Яков Яковлевич. Если только Яша не родился сиротой, то есть уже после смерти отца. Хотя это тут при чем?

Согласно выданной ему в бюро справке, Розен был прописан недалеко от Рижского вокзала, а вовсе не на Плющихе, как было указано в его библиотечном формуляре. За пару десятков лет, что Ойзер проработал в библиотеке, в памяти у него отложились данные о месте жительства всех еврейских литераторов. Яша, должно быть, недавно перебрался на другую квартиру…

Насколько Норвил мог судить, его спонтанный визит не вызвал у Яши никакого удивления, как будто тот его ждал или даже специально ради него отложил свою творческую командировку в Одессу.

– Коньяка вы у меня, к сожалению, не найдете, но немного водки сыщется. – Яша поставил на стол откупоренную бутылку водки и две рюмки. И чем закусить тоже.

– Вы обо мне беспокоитесь? Я не голоден.

– И тем не менее.

– Напрасно вы бутылку открыли. Не пью я.

– Как? Что, совсем нет?

– Совсем.

– По рюмочке давайте все же выпьем – за ваше здоровье?

– Спасибо, но пить я не буду. Мне нельзя.

– Вам врачи запретили? Ну а кому они не запрещают? Думаете, мне они разрешают? Но поверьте, вам это не повредит. Выпейте, и я поведаю вам нечто прекрасное.

– Я же сказал, что не пью. Вообще не пью.

– Вижу, вы хотите, чтобы я вам просто так все выложил, без гроша гонорара? Так слушайте. Был я недавно в гостях у одного знаменитого писателя. До войны он писал на идише. Фамилии называть не буду, вы и сами угадаете, о ком речь. Так вот, принял он меня радушно, выставил кучу вина всякого, а за ужином вдруг спрашивает: «Теперь вы убедились в том, что я великий писатель?» – «А на основании чего я должен был прийти к такому выводу?» – Интересуюсь я. А он отвечает: «Как, вы что же, не видите, как я пью?»

Яша наполнил рюмку и залихватски опрокинул ее в себя, даже не потянувшись в сторону закуски – нарезанной кусочками колбасы.

– Вот тоже учусь, как быть великим писателем. – Прокомментировал он Ойзеру.

Пододвинув бутылку поближе к себе и обхватив ее обеими руками, как будто опасаясь, что их разлучат, Яша наконец обратился к визитеру с вопросом, который, казалось бы, следовало задать с самого начала:

– Как вы сюда попали? Вам Элиша адрес дала? – Бутылка выскользнула у него из рук и едва не перевернулась.

– У Элиши нет вашего адреса, я спрашивал. Я только что от нее.

– Как она поживает? Я ее уже сто лет не видел.

Ойзер, без всякой задней мысли, отозвался:

– Она мне сообщила, что вы уезжать собираетесь.

– Это я ей по телефону сказал. Так от кого, вы говорите, адрес мой узнали?

– Адрес мне дали в справочной. – Ойзер недоумевал, почему Яше так важно знать, откуда адрес. И зачем он пытается скрывать, что встречается с Элишей? – У меня к вам очень срочное дело.

– Мне, товарищ Норвил, представьте себе, тоже нужно было срочно с вами повидаться. Я к вам даже заходил.

– Да, знаю, жена мне говорила.

– Жена у вас чрезвычайно сердобольная и преданная! Не пустила меня к вам. Сказала, что вы тяжело больны. Что с вами приключилось?

– Сам не знаю. Все началось после моего разговора с супругой Кита. Я был у нее на следующий день после того, как забрали ее мужа.

– Кого забрали? Бениша Кита? Кто вам такое сказал?

– А вы не в курсе? Как такое возможно?

– Человек вы мой расчудесный! Да откуда ж мне быть в курсе? Я ведь, считай, нигде не бываю и почти никому не звоню… Так что наговорила вам Ревекка?

– Она меня, оказывается, подозревает. Якобы я за Бенишем следил и это из-за меня его забрали.

– Что за чушь?

– Но вы-то знаете, что к Киту я ходил по поводу работы? Вы же сами мне посоветовали к нему обратиться!

– Ну да. Странно: Рива ведь умная еврейская женщина, должна понимать, что ваши визиты к ее мужу ни при чем. Или это только потому, что вас самого не зацепило? Бениша взяли, скорее всего, за то, что до войны он несколько лет в ОЗЕТе состоял, а ОЗЕТ был с «Джойнтом»[1] связан... Вы когда с Ривой встречались?

– Недели две назад или чуть больше. Боюсь, что за это время она уже успела кому-нибудь обо мне рассказать. Боже мой! Что будет, если моя жена и дети узнают, в чем меня подозревают?

Ойзер почувствовал, что его лицо искривила судорога. Он стал белее мела.

– Что с вами? – Испуганно спросил Яша. – Зря вы все так близко к сердцу принимаете. Мало ли, кто кого в чем подозревает? Кого в наше время не подозревают? Меньше слушайте, что люди говорят, здоровее будете.

– А как мне прикажете быть? Я кому ни позвоню, все бросают трубку. Даже милейший Изя. – Произнести это было нелегко. Слова искололи ему рот, как осколки битого стекла.

1 Джойнт - «Американский еврейский объединенный распределительный комитет». Крупнейшая благотворительная еврейская организация, созданная в 1914 году. До 1931 г. носила название «Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны».

– Изе просто страшно. Наша еврейская интеллигенция вообще перепугана. Нет чтоб треснуть кулаком об стол! А они лишь покорно склоняют головы, лебезят…

– У стен есть уши.

– И что с того? Я не боюсь открыто говорить. Вот никто из нас, разумеется, даже приблизительно не может знать, в чем можно обвинить, к примеру, такую тихую овечку, как Биньомин Бен-Арье. В его случае это, скорее всего, как-то связано с тем, что он был за границей. Вы когда-нибудь бывали за границей?

– Господь уберег.

– И у меня обошлось. Нам с вами бояться нечего. Вы же видите, что забирают только тех, кто выезжал. Причем не только евреев. Других тоже берут. Если бы Еврейский антифашистский комитет вместе с его газетой «Эйникайт» и издательством «Дер Эмес» не имели дел с заграницей, их бы не прикрыли.

– А библиотека? Ее почему закрыли? Она к заграницe вроде никакого отношения не имела.

– Лес рубят – щепки летят. Так уж испокон веков повелось. Хотя, по правде говоря, некоторое отношение к заграницe библиотека все же имела. Разве после войны туда не присылали книжки из Америки?

– Яша, я хотел…

– Я понимаю, о чем вы хотели меня попросить. Обещаю, что обязательно съезжу к Риве и растолкую ей истинное положение вещей. Объясню, что вы никоим образом не причастны к аресту ее мужа.

– Поезжайте сегодня же, прошу вас!

Розен встал из-за стола и начал прохаживаться взад-вперед по комнате, каждый раз на секунду задерживаясь у висевшего на стене прямоугольного зеркала. Наконец, оставшись довольным собой – копна густых волос по-прежнему без единого седого волоска, на лице ни морщинки, глаза блестят, – он вернулся к столу, но присаживаться не стал.

– А вы меня, знаете ли, напугали. Нельзя так идти на поводу у своих нервов. Небо на землю пока не обрушилось. Колесо фортуны еще может повернуться. Для вас, по крайней мере, наверняка.

Норвил не спускал с Розена глаз, хотя периодически вдруг переставал видеть его перед собой.

– Да, друг мой, для вас колесико еще может совершить совсем иной поворот. Собственно, по этому поводу я и приходил вас повидать. Не знал, что вы хвораете. Короче говоря, у меня для вас радостное известие – надеюсь, мы с вами еще не опоздали. Одна библиотека ищет знатока иврита – такого, чтобы разбирался и в ашкеназском, и в сефардском[1]. А у вас с ивритом, если я не ошибаюсь, не хуже, чем с идишем.

– Хуже или лучше, но иврит я знаю. И ашкеназский, и сефардский.

– Само собой, кто бы сомневался. Сегодня уже поздно туда идти, подъезжайте завтра. Не забудьте захватить все необходимые бумаги.

Библиотека находится на Солянке, во дворе, где когда-то был Профинтерн[2]. Она немножко в стороне, за особняком. Вывески там никакой нет – библиотека не для всех. Но вы ее легко найдете. Зарплата, насколько я слышал, довольно приличная, Еврейской библиотеке не чета. Только бы вы не опоздали! Охотников на такую должность, вероятно, немало. Так или иначе, съездите.

– К кому мне там обратиться?

– К товарищу Бородулину. Василий Васильевич Бородулин. Запишите себе, чтобы не забыть. И если спросят, откуда вы узнали, что им там требуется переводчик с иврита, скажите, что от одного из читателей бывшей Еврейской библиотеки узнали. Повстречали его случайно в городе, он и рассказал. Кто такой и откуда – толком не знаете. На меня, в любом случае, не ссылайтесь. Я у них не был никогда, и знать меня там никто не знает.

У Ойзера вырвалось, как будто помимо его воли:

– Чтоб это все не закончилось так же, как с Китом… Чтобы я снова не оказался виноватым…

Розен ответил с едва скрываемой улыбкой:

– На сей счет не переживайте. За Василия Васильевича можете быть абсолютно спокойны: его не арестуют.

1 Ашкеназский иврит/сефардский иврит – два варианта произношения древнееврейского языка и литургии на нем. Возрождая иврит в конце 19 века, Элиэзер Бен-Йехуда и его последователи приняли норму сефардов, поскольку сохранявшаяся в Европе ашкеназская норма ассоциировалась с «галутом» – Изгнанием.

1 Профинтерн – он же «Красный интернационал профсоюзов» (1921-1937) – международная организация радикальных профсоюзов, учрежденная в противовес реформистскому Амстердамскому интенационалу.

*

Судя по всему, в этом кабинете уже шла о нем речь. Иначе почему его даже не попросили рассказать о себе? Василий Васильевич Бородулин, казалось, знал о нем все, что нужно. Не задал ни одного дополнительного вопроса, только просмотрел заполненную анкету.

Разъяснив новому сотруднику, в чем будут состоять его обязанности и сколько он будет получать, Бородулин предложил ему выбрать себе другую фамилию, нечто вроде псевдонима.

– Пусть вас это не удивляет, такой у нас тут обычай. Итак, какой псевдоним вы хотели бы взять?

– Овин.

О том, почему ему вдруг пришло в голову выбрать в качестве новой фамилии «Овин», Ойзер задумался только оказавшись во дворе. Но кроме того, что она образована от ивритского корня[1], ничего вразумительного не придумал, а от волнения и значения этого корня вспомнить не сумел, как ни пытался. А впрочем, неважно, нечего голову ломать.

Остались позади волнения о хлебе насущном. При мыслях о завтрашнем дне он больше не чувствовал страха. Василию Васильевичу нравились его переводы из материалов заграничной ивритоязычной прессы. Нравились и точностью передачи, и хорошим русским языком. За все время работы здесь он допустил только одну ошибку, за которую Василий Васильевич строго его отчитал. В бухгалтерии Ойзер случайно написал не псевдоним «Овин», под которым он значился в зарплатной ведомости, в свою настоящую фамилию – Норвил… Это дома он Норвил, а здесь – Овин, Овин! Ему следует раз и навсегда зарубить себе на носу: он О-вин, а не Нор-вил!

С новой работой у Ойзера ни на что другое не оставалось времени, но его это ничуть не тяготило. Не то сейчас время, чтобы вести активную светскую жизнь. Как выразился Изя, «Никуда я не хожу и никому не звоню». Хотя к Риве Кит наведаться все же придется,.. А с другой стороны, что он еще может сделать, после того как Розен уже побывал у нее? Если б Яша не уехал, можно было бы через него какую-то сумму денег Риве передать, она ведь наверняка нуждается. А он хоть, конечно, и не богач, но зарабатывает теперь неплохо…

1 Ивр. (ашк. «ов») – отец, предок, патриарх.

Недавно он получил на перевод очередную статью, и под ней стояла подпись «Бен-Шолем». Ойзер уже не был новичком в этом учреждении. Ему уже не раз и не два приходилось переводить материалы, написанные советскими евреями и опубликованные в зарубежной прессе на иврите или на идише. Каким образом их тексты попадали за границу – не секрет. Еврейский антифашистский комитет, так же как и Славянский, относился к Совфинформбюро, и оттуда один-два раза в месяц отправляли за рубеж корреспонденцию, в числе прочего произведения еврейских писателей и публицистов. Только вот незадача. Бен-Шолем ведь уже арестован… Почему же ему дали переводить статью арестованного? Может быть, это специально, чтобы устроить малоопытному сотруднику испытание? Станет ли он притворяться, будто не знает, кто автор статьи и где он сейчас?

На сей раз, сдавая перевод, Ойзер решил уточнить, известно ли Бородулину, что автор данной статьи арестован.

– Вас это касаться не должно, – жестко отчеканил Василий Васильевич почему-то на иврите, – ваше дело – перевести, и все. Что вы на меня так смотрите? Или вас удивляет мое знание иврита?

Ойзера не могло это не удивить. Василий Васильевич Бородулин совершенно ничем не походил на еврея. Классическая русская внешность: светлые глаза, светлые волосы, широковатый, немного вздернутый нос… Хотя, с другой стороны, среди евреев иногда встречаются совершенно русские лица, так же, как и среди русских попадаются люди с еврейской внешностью…

– А вы думали, что иврит только евреи знают? – обратился к нему Бородулин уже по-русски. – Я, кстати, не в курсе – вы сами-то где его выучили? Лично я в университете.

Больше Ойзер ошибок в бухгалтерии не допускал. К тому же со временем псевдоним стал для него почти таким же привычным, как его настоящая фамилия.

Сегодня был день зарплаты, и по пути домой он зашел в большой гастроном, взглянуть на ассортимент, но ушел оттуда без покупок, поскольку кошелки у него с собой не оказалось. Надо будет завтра не забыть, чтобы жене лишний раз в магазин не тащиться.

Не успев ступить на порог, Ойзер тут же понял: очередная беда. Снова кого-то арестовали.

– Кого? – В замешательстве спросил он, застыв на пороге.

– Училище. Театральное училище закрыли.

– Когда? Хотя какая разница?.. – пробормотал себе под нос Ойзер. – Утром. Или днем… Скажи, Хана, что с Элишей делать? У нее дела совсем швах: из общежития не сегодня завтра выселят. Взять ее к нам? Так ведь не пропишут же! Но и туда, откуда он приехала, ей никак нельзя…

– Может, Розен ее к себе пропишет? – Подала идею Хана.

– Его в городе, как назло, нет. Уехал. Хана, надо что-то придумать.

– Что тут придумаешь в такое страшное время? Плохо все.

– Сам знаю, что ничего хорошего. Но все равно, Хана, что-то придумать надо…

Ойзер еще долго стоял у дверей, ссутулившись, и как будто продолжал говорить сам с собой, пытаясь найти решение.

Глава 17

Весть о том, что закрыли Еврейское театральное училище, Залман услышал по телефону, от Элиши. Что ж, ожидаемо, – мелькнуло у него в голове, и тут же к горлу подкатил ком, дыхание перехватило. Вновь обретя дар речи, он хрипловато выдохнул в трубку:

– Уже еду.

– А может, не надо?

Ему показалось, что Элиша не спрашивает, а подсказывает. И чтобы у нее не зародилось ни малейшего подозрения в том, что он засомневался, Залман резко ответил:

– Нет, надо! Скоро буду. – Слова его прозвучали уверенно и твердо.

Вообще-то, никто не воспринял бы его неприезд как трусость. Да, в училище он не был посторонним человеком, но не более того. Бывало, он неделями туда не заглядывал. И лекций он там – в отличие от Изи или Натана – ни разу не читал. Только какое все это могло иметь отношение к реплике Элиши «Может, не надо»? Натан никогда бы ему такого не сказал. Кстати, а Натан уже знает о новом несчастье? Если Элиша позвонила ему, как только сама узнала, то не исключено, что ни Натан, ни даже Изя еще не в курсе. Это не одна

из тех новостей, которыми спешишь со всеми поделиться. Тем не менее Добрину Залман решил позвонить.

Телефон не отвечал. Может быть, Айзик вышел в коридор и не услышал звонка. Немного подождав, Залман перезвонил еще раз и долго слушал гудки. Видимо, кто-то уже успел рассказать Добрину о случившемся, и он рванул туда, даже не думая поберечься. Натан уж и подавно не из пугливых – и даже тот факт, что он лишь недавно устроился на работу после стольких мытарств, его не остановит. Хотя если обнаружится, что он присутствовал при закрытии училища, как бы ему снова не оказаться в рядах безработных… Но ведь Натан мог и не знать? На работе у него отдельного кабинета с собственной телефонной линией нет… Разве что домой ему позвонить, на всякий случай.

Трубку взял Лейзерке.

– А где папа? – Спросил Залман и в ответ услышал ровно то, что ожидал. Натан на работе.

– А мама?

– Мама уехала в Театральную студию, – и тихонечко, как детки подсказывают друг дружке на уроках, добавил, – Их закрыли.

*

Среди собравшихся в Столешниковом переулке Залман увидел Ойзера Норвила. Библиотекарь держался особняком, стоял в сторонке, и Залману показалось, что это знак им всем – мол, ничего от его глаз не скроешь, и все, за чем его сюда сегодня послали, он уже узнал и запомнил: кто тут был и кто с кем о чем говорил… Теперь понятно. Говоря, что ему, возможно, лучше не ехать, Элиша намекала на то, что здесь крутится Ойзер, а сам Залман в тот момент подумал, что может наткнуться на тех двоих молодцов в одинаковой одежде, а то и на Мартина Константиновича собственной персоной.

Когда он последний раз возвращался от Мартина, его не оставляло ощущение, что кто-то идет за ним по пятам. Нечто подобное он почувствовал и сейчас. И теперь он уже уверен, кто такой этот «кто-то». Пока Залман оглядывал собравшуюся публику, перед ним возник Норвил. Он протягивал ему руку.

– Здравствуйте, товарищ Залман.

– На похоронах не здороваются. – Отрезал Залман и, не вынимая

руки из кармана пальто, направился к стоявшим вкруг студентам. Впрочем, и этих нескольких секунд ему хватило, чтобы разглядеть, насколько изменился Ойзер за последнее время: уменьшился, скукожился. Впалого лица почти не видно за огромными очками. Только нос стал как будто еще длиннее и заостреннее…

На мгновение в Залмане возникло нечто вроде сострадания, но он тут же подавил его в себе усилием воли. В конце концов, библиотекарь сам поддался, иначе ни Мартин Константинович, ни кто бы то ни было другой оттуда не смог бы его сломать.

Залман, похоже, слишком громко ответил Ойзеру: стоявшие вокруг вдруг разом перестали переговариваться между собой. Теперь все стояли молча, наблюдая за происходящим, как на прощании с покойником. Для Залмана это уже третьи похороны за последние несколько месяцев. Когда закрывали Еврейский антифашистский комитет и издательство, Залман видел – как обычно на похоронах – великое множество машин, разве что на бортах у них не было ни венков, ни черных траурных лент. Здесь машин было не видно, как если бы гроб уже увезли. Хотя что отсюда увозить? Все имущество студии состояло из двух-трех декораций да нескольких театральных костюмов – можно в руках все унести, транспорт не требуется. Спрашивается: чего же ждут эти люди? Им, должно быть, все еще не верится, что беда добралась и до них. И пока они не увидят, что на дверь училища повесили замок и запечатали ее сургучом, – не поверят.

Тротуар в любимом горожанами переулке был недостаточно широким, чтобы уместить всех собравшихся. Часть студентов забралась в глубокую арку проходного двора. Элиша тоже наверняка там. Но Залман не спешил ее искать. Найдутся желающие сообщить ей о его появлении, ведь ни для кого не секрет, почему писатель Залман Мандел последнее время так зачастил в район училища…

И действительно – через пару минут силуэт Элиши появился в окне здания. Он помахал ей рукой и стал проталкиваться ко входу. На лестнице Залман лицом к лицу столкнулся с Добриным.

– Все уже кончено, Залман, – остановил его Айзик. – нечего туда идти. Все вывезли, и памяти не оставили. Да, здорово они нас уделали.

В тяжелые часы Айзик всегда находил аргументы, чтобы смягчить удар. Вот и сейчас он попытался:

– Но ведь ничего неожиданного не произошло. Ну, посудите сами, какой смысл готовить еврейских актеров, если во всей стране остался один-единственный еврейский театр, и есть основания думать, что и его конец не за горами. Никто не будет содержать театр, где играют при полупустом зале.

Залман хоть и привык к Изиной казуистике, в этот момент его попытки оправдать происходящее показались ему совсем уж странными.

– Не понимаю я вас, Изя. Неужели они там, наверху, не знают, почему еврейская публика перестала ходить в свой театр? На тех, кто еще посещает спектакли, наш брат уже как на героев смотрит. Если так дальше пойдет, идишская книжка в руках будет приравниваться к подвигу.

– Все возможно, мой милый Залман. Все может быть. Послушайте, а что мы на ступеньках стоим? Не имеете желания меня немножко проводить? Или вы торопитесь?

– Куда мне теперь торопиться? Правда, меня тут одна знакомая студентка ждет. Я только поднимусь сказать ей, чтобы она без меня не уходила.

*

Элиши у окна уже не было. Он нашел ее в коридоре, в длинной очереди в канцелярию. Там студентам возвращали их документы.

– Дождись меня, не уходи. – Залман взял ее под руку, но тут же отпустил, даже не оглянувшись по сторонам, чтобы проверить, не заметил ли их случайно кто-то из студентов. – Я пойду Добрина провожу…

*

– Изя, от кого вы так бежите? – Спросил Залман.

– Да боюсь, как бы он меня не задержал.

– Кто?

– Ну этот, библиотекарь. Ох, до чего же человек может докатиться, как низко пасть!.. А ведь мы все эти годы за ангела его держали. Как думаете, знает он, что мы его подозреваем?

– Он ведь не слепой, чтобы не увидеть, что я ему руки не подал.

Не оглядываясь назад, как будто боясь превратиться в соляной столп, как жена Лота при конце Содома, Залман задумчиво продолжил:

– Мы с вами, Изя, живем в такое время, когда вообще невозможно знать, кому давать руку, а кому нет. Так о подвигах, – Залман безо всякого перехода вернулся к прерванной на лестнице беседе, – думаете, можем мы дожить до такого? Что только самые отчаянные не побоятся книжку на идише в руки взять?

– Дай-то бог нам с вами ошибаться, но дойти до этого может. Свидетельством тому закрытие единственного в стране еврейского издательства. Хотя началось оно все вовсе не с «Дворим», а с «Берейшис»[1], – за несколько лет до войны, когда еще существовали местечки, еврейские деревни и даже города, где и дома, и на улице говорили исключительно на идише, и где в один прекрасный день, одним щелчком вдруг закрыли все еврейские школы. Ни с того, ни с сего. Вот тогда-то и началась наша великая беда. История – ровно как в Агаде[2], только наизнанку. Водица не затушит пламени, пламя не сожжет палку…Без школ, Залман, не может быть читателей, а без читателей не может выживать литература. Это одной цепи звенья.

Айзик сошел на мостовую, как будто на тротуаре ему не хватало места, чтобы широко жестикулировать свободной рукой, как он обычно делал, когда ораторствовал:

– Предлог у них тогда был наготове: родители, мол, не хотят, чтобы их дети получали образование на идише. Я не утверждаю, что таких случаев не было, но истинная причина состояла в том, что евреи, согласно учению Сталина, не являются нацией, а значит, чем скорее отнять у них то, что еще осталось от их национального наследия, тем скорее они перестанут быть евреями. И станет на свете одним народом меньше, и освободится наконец мир от тех, с кем вечно приходилось иметь дело и от кого с незапамятных времен одни проблемы…

– Упрямый народ. И несломленный. Дело, однако ж, в том, что не все выдерживают испытания.

1 «Берейшис» (ивр.) – название первой книги Пятикнижия Моисеева. «Дворим» (ивр.) – название пятой – последней – книги Пятикнижия Моисеева.

2 Пасхальная Агада – сборник благословений, молитв и комментариев в память об Исходе евреев из Египта. Читается во время ритуальной трапезы на праздник Песах.

На углу Залман остановился.

– Дальше не пойду. Меня ждут. – Он протянул Изе руку. – Нынче в качестве прощания приходится только выражать надежду, что это была не последняя встреча.

Ритмично поскрипывал под ногами сверкающий снег, и в такт шагам звучали в голове Залмана одни и те же слова: «Из грязи, да в князи. Из грязи, да в князи». Как хочется уверовать, что еще может случиться чудо, и вновь воспрянет к жизни идишская литература, дороже которой у него ничего нет! При закрытых еврейских школах это было бы именно чудом, под стать ханукальному[1]: «Нес годл хайо шам»[2]… Они – там, за высокими окнами, не могут не понимать, что без читателей литературе не жить, рано или поздно она угаснет. А откда взяться новым читателям, коли нету школ? Вот если бы случилось такое великое чудо, что снова открылись бы еврейские школы… Залман тогда посоветовал бы в качестве образца взять довоенную еврейскую школу в нееврейском городе Самаре, что потом переименовали в Куйбышев. Там родители даже не думали забирать своих детей из школы. Наоборот, желающих там обучаться было столько, что не хватало мест – помимо тех же предметов и на том же языке, что и во всех школах, там преподавали еврейский язык, еврейскую историю и литературу. Если бы ту школу не закрыли, сейчас там прибавился бы еще один предмет – иврит. Ивритская литература ведь тоже еврейская…

На подходе к училищу Залман вдруг начал озираться по сторонам, как будто опасался, что Ойзер мог подслушать его мысли. Библиотекарь по-прежнему стоял все там же, отдельно от остальных, и казался еще более сгорбленным.

Сегодня, после того как Залман, с которым они были дружны целую вечность, даже не ответил на его приветствие, Ойзер укрепился в своей догадке, что Рива таки успела всем поведать, как застукала его у себя под дверью. Видимо, поэтому его теперь все избегают – подозревают в самом низком, в самом страшном, в таком грехе,

1 Ханукальное чудо, в память о котором празднуется Ханука, состояло в том, что Маккавеям, освободившим Иерусалимский Храм, хватило однодневного запаса масла, чтобы огонь в ритуальном светильнике продержался все восемь дней, необходимые для освящения Храма.

2 «Нес годл хайо шам» (ивр. – «чудо великое было там») – Начальные буквы этих слов написаны на четырех гранях волчка («дрейдл»), в который дети играют в дни праздника Ханука.

совершив который, человек становится нелюдем. Неужели Яша не поговорил тогда с Ривой? Он же обещал, клялся… Или Рива не поверила его объяснениям? Не бывает ведь такого, чтобы человека вдруг на пустом месте перестали замечать? Помимо Изи и Залмана к училищу сейчас приехали еще несколько знакомых литераторов, и ни один из них к нему не подошел, ни единым словом с ним не перемолвился. Получается, что он их видит, а они его нет. Согласится ли Залман его выслушать? Не факт. Но попытаться надо, непременно. Не здесь, конечно же. Он поедет домой к Залману. У него достаточно доказательств! Перед мужем Ривы он ничем не провинился. Яша тому первый свидетель. Не станет же Розен отрицать, что это он свел их с Китом, и что речь шла только о поиске работы? Да и любой сотрудник Кита может подтвердить – все они точно знали, по какому вопросу Ойзер изо дня в день приходил к Борису Моисеевичу…

*

Не говори, что ты идешь в последний путь,
Пускай свинцовый свет небес сжимает грудь[1]…

«С ума он сошел, не иначе», – подумал Залман, услышав, как Хайкл выводит рулады своим канторским голосом.

Следующие строки Вайнкол пропел еще громче, сопровождая пение притоптыванием, как будто маршируя на месте:

Час придет, и власть падет проклятой тьмы,
И прогремит наш шаг и клич наш: живы мы!

Залман прервал его:

– Вы, я вижу, пришли, чтобы предложить утешение? А знаете, что в своей поэме о погроме сказал Бялик[2] о тех, кто приходит утешать в час такой беды, когда никакого утешения нет и быть не может?

– Вера, товарищ Залман, вера! Без веры во Всевышнего для меня

1 Первые строки «Гимна еврейских партизан», 1942. Сл. Гирш Глик, муз. Д. Покрасс («То не тучи – грозовые облака»). Перевод с идиша – Л. П.

2 «Сказание о погроме» (ивр., букв. «В городе резни») – поэма Х.-Н. Бялика, написанная по следам Кишиневского погрома 1903 года.

и еврей – нееврей! Как говаривал наш Бен-Михоэл – благословенна память о нем! – в спектакле «Двести тысяч», главное, чтоб колесико крутилось. Вера! В один прекрасный день оно может совершить поворот, и тогда прогремит наш шаг барабанной дробью и раздастся наш клич – «Мы есть!» Таки имеются основания на это надеяться. Немалые основания!

– И какие же, например? – спросил Залман, отыскивая взглядом Элишу среди толкавшихся в дворовой арке.

– Не понимаю, – произнес Хайкл, по инерции нараспев. – Или вы не слыхали историю, как спасение пришло оттуда? Та еще история! Нынче только ее и обсуждают. А то, что училище закрывают, еще ни о чем не говорит! Если оттуда дадут отмашку, чтобы его оставили, за каких-нибудь полчаса все сделается! Вы ведь знаете Иоффе[1], рижского художника? Который для Биробиджана азбуку рисовал? Так вот, он, по чистой случайности, как раз присутствовал при том, как оттуда явился посланник к Марку Полонеру…

– К кому? – Переспросил Залман, хотя прекрасно расслышал, за кем именно пожаловали оттуда. Просто удар был настолько сильным, что ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать эту великую боль: Полонер тоже уже там.

– Разве я не сказал, к кому? К Полонеру. Причем не абы кого к нему прислали, а целого полковника! Он пригласил Марка на небольшой визит к министру на Лубянку. Министр, видите ли, хочет с ним побеседовать о еврейских делах. Да и то сказать, с кем еще ему беседовать, как не с Полонером, если Бен-Михоэла уже нет? Где еще взять такого известного человека, как он? В гости к министру не каждый день ходишь, так что Полонер натянул свой праздничный костюм с орденом Ленина и в сопровождении полковника отправился на Лубянку. Такие дела, товарищ Залман.

– Когда это случилось? – Голос Залмана дрожал.

– Сегодня поутру.

– Так если ненадолго… как вы сказали… он, должно быть, уже вернулся?

1 Возможно, имеется в виду Меер Маркович Иоффе (1895-1960), в какое-то время сотрудничавший с ГОСЕТом как театральный художник.

– Пока нет. Ему домой уже звонили, и не раз, но никто не отвечает.

– Так значит, у нас уже…

Залман осекся, чуть было не произнеся «снова одной жертвой больше… да еще какой!». Сам не зная почему, он решил спросить Вайнкола:

– На сколько процентов вы допускаете, что он оттуда вернется?

– Что за вопрос?! Наш рижанин ведь собственными ушами слышал, как полковник Полонеру сказал, что это ненадолго.

– Дай-то бог. – Произнес Залман так, как произносят «Аминь» по завершении молитвы. – Дай-то бог, чтобы все вышло так, как вы говорите. Я бы, впрочем, не был так уверен. Мне кажется, это они хотят, чтобы так думали…

Марк Полонер… Инженеры Автозавода, планировавшие взорвать Красную площадь… А что дальше? Сколько можно жить вот так, боясь самих себя? А если завтра, или даже еще сегодня, пригласят туда «в гости» Изю, с которым он только что расстался в конце переулка? А он, Залман, узнает об этом только спустя несколько дней, да и то случайно, как сейчас узнал о Полонере? Хотя сердце подсказывает ему, что скорее придут за ним самим. Мартин не из тех, кто бросает слова на ветер. Предупреждал же он, чем все может закончиться, если Залман будет тянуть да в игры играть… Что ожидает его там – он не знает. Знает одно: он не Ойзер Норвил, и задурить себе голову не позволит. Лучше уж петля на шею. Веревка у него припасена еще с того дня, когда он вернулся домой после первой беседы с Мартином Константиновичем в гостинице на Охотном…

Вопреки всем стараниям он все же столкнулся взглядом с Норвилом. Вместо отвращения в Залмане снова шевельнулось нечто сродни жалости. Ему показалось, что Ойзер плачет. Залман, однако, быстро одернул себя, отвернулся и отправился на поиски Элиши.

Глава 18

– Ты уже освободилась? Все документы забрала?

– Вроде да. – Элиша открыла застежку портфеля, чтобы на всякий случай еще раз проверить, все ли на месте.

– Можешь ты мне объяснить, – спросил ее Залман, – почему никто не расходится? Чего они ждут?

– Они сами не знают. Все еще не верится, что сегодня мы в последний раз переступили этот порог. Знали бы вы, сколько здесь слез за сегодняшний день было пролито.

– Представляю. Я ведь как-никак имею некоторое отношение к театру, так что знаю, как тяжело в такой момент не расплакаться… Ну что ж, раз ты свободна – пойдем? Здесь уже ничего не выстоишь. Занавес, как говорится. Пойдем.

Воспользовавшись тем, что на улице было скользко, Залман на глазах у всех взял ее под руку – впервые настолько открыто. Пока они не свернули с переулка, Элиша несколько раз останавливалась и оглядывалась.

– Мы всю ночь не спали, никто из нас, – произнесла она, тяжело вздохнув.

Залман только сейчас обратил внимание, что глаза ее были почти наполовину прикрыты.

– Я не понимаю. Вам что, заранее кто-то сообщил, что вас ждет?

– Нет, этого мы совершенно не ожидали. – И тихонько, еле слышно, продолжила. – Сегодня ночью троих наших студентов арестовали: двоих ребят и девушку. Ребята оба на фронте воевали. Один из Харькова, другой из Московской области. Девушка из Западной Белоруссии. С бывшей польской территории. Кто знает, за кем нынешней ночью придут. Все испуганы, все друг друга боятся. За мной точно придут. Вряд ли они забыли, чья я дочь.

В середине улицы Горького Элиша вдруг застыла. Она заметила, что прохожие оглядываются на них с Залманом, заслышав еврейскую речь. Чего было больше в этих взглядах – ненависти? Дружеской симпатии? Просто любопытства?..

Рядом со сквером находилось кафе, но там разговаривать небезопасно. А снаружи, на морозе, им долго не продержаться. К тому же Залман видел, что Элише тяжело идти и глаза у нее слипаются.

– Зайдем на телеграф?

В огромном, высоченном зале ожидания центрального телеграфа было достаточно свободных мест. Помимо прочего, посетители здесь разговаривали на таком количестве разнообразных наречий,

что никому и в голову не пришло бы прислушиваться к беседе еще на одном языке.

– Понимаешь, – начал разговор Залман, когда они уселись подальше от входа, – случиться может абсолютно все. Все, что угодно, и с каждым из нас. Иди угадай, кто раньше, кто позже, если неизвестно, за что да почему. Не ровен час, дело до погромов дойдет.

– Так может, мне в Абезь вернуться?

– Не вижу причины тебе туда ехать.

– Но меня ведь со дня на день из общежития выпишут, так что я не смогу легально жить и работать в Москве.

Залман напомнил ей, что один раз Яше уже удалось добиться для нее временной прописки – на квартире, которую отыскал для нее библиотекарь. Отчего же она считает, что на сей раз ему это не удастся?

– Тогда все было совсем по-другому.

– Ты имеешь в виду, что сейчас все труднее?

– Нет, не в том дело.

– Тогда в чем? – Залман действительно мог понять. – Или вы с ним поссорились?

– Ничего мы не поссорились! У нас и времени-то поссориться не было. Мы в последнее время мало виделись. Яша сильно изменился. Хотя он и раньше жаловался на писателей старшего поколения. Говорил, что они все захватили, что из-за них он за столько лет всего три книжки выпустил, хотя таланта у него не меньше…

– Мне он это тоже вменял в вину?

– Нет. Вам нет.

– Только оттого, что мы с тобой близкие люди, и ему это известно.

– Возможно.

– Но пусть даже так, какая связь? Почему он не может помочь тебе с пропиской на несколько месяцев, пока не начнутся вступительные экзамены в театральное? Когда он приезжает?

Молчание Элиши могло означать, что она не хочет раскрывать ему какой-то секрет – что-то, что касается исключительно их двоих – ее и Яши.

– Не знаю, дошли ли уже до вас последние новости из Одессы, – Элиша оглянулась и продолжила приглушенным голосом.

– У нас одна студентка оттуда письмо получила, из дома. Ее отец когда-то был артистом в тамошнем ГОСЕТе[1].

– Был такой когда-то…

– Так вот, он пишет, что у них в городе не осталось ни одного еврейского писателя, всех пересажали. И раз Яша оттуда до сих пор не вернулся, значит…

Щелкнули электрические часы на табло, как будто подсказывая Залману с его спутницей, что они засиделись в зале ожидания: как бы не привлечь внимание кого-нибудь из тех, кто днем и ночью снует по городу…

– Пора обедать. – Залман поднялся с места, Элиша последовала его примеру. – Тут напротив, в Георгиевском переулке, раньше была неплохая столовая. Или в кафе лучше? Здесь рядом.

– Я никуда не хочу. Мне в общежитие нужно. Вдруг уже сегодня выселять будут?

– Не надо лишних страхов, их и без того хватает. Как что узнаешь, сразу позвони мне. Я буду ждать.

Глава 19

Из всей компании еврейских литераторов Залман не прервал контактов только с Натаном. По утрам он звонил другу с одним-единственным вопросом: «Кто?». В последние недели без новых жертв не проходило и ночи. Скоро и вовсе не останется, о ком спрашивать. За какие такие заслуги к ним до сих пор не постучали – ни он, ни Натан решительно не понимали. И если суждено, к чему тянуть? Пусть свершится неизбежное, и делу конец!

Залман уже несколько раз замечал, и не только по себе, что иногда даже некую зависть испытываешь к тем, кто уже получил свое…

Обвинение для всех одинаковое. Приготовлено оно и для них с Натаном, когда настанет их черед. Мартин Константинович так и заявил ему, без обиняков. Еще во время первой их встречи

1 Одесский государственный еврейский театр – основан в 1930 г. Закрыт в 1949 г.

недвусмысленно дал понять. Залман удивлялся наивности Вайнкола, уверовавшего в то, что Марка Полонера пригласил к себе сам министр трехбуквенного ведомства, якобы посоветоваться с ним насчет еврейских дел… Марк Полонер как-никак писатель с мировым именем… А значит, вернется оттуда домой, цел и невредим…

Ну а сам Марк – он тоже в это верил, когда его увозили? Или же знал, что дороги назад ему не будет и что квартиру начнут переворачивать вверх дном, как только он уедет? Только вряд ли он мог себе представить, что его семье оставят только одну комнату, а остальные запечатают, объявив его жене и детям, что находятся они здесь временно, а жить им предстоит совсем в другом месте.

С Добриным, – как рассказывал его шурин, известный скульптор Йосеф Зак, проживавший в ним в одной квартире, – представители секретного серого здания обошлись без очковтирательства. Да даже если б они и затеяли с ним ту же игру, что с Полонером, Изя ни на секунду не поверил бы в сказки о приглашении на беседу к высокопоставленному лицу. Тем более что пришли за ним даже не утром – его подняли с постели посреди ночи. Кроме того, ему уже было известно о том, что произошло с Марком.

Для комнаты Айзика, где хранились ценности, достойные музея, тоже не стали делать исключения. Переворошив, как обычно, ее содержимое, комнату опечатали, оставив все, что не забрали, мышам на снедь… И не нашлось никого, чтобы подсказать им там, наверху, что за одни только книги и картины с дарственными надписями авторов, не говоря уже о рукописях и письмах знаменитых писателей, художников и артистов, – мировые еврейские музеи, не скупясь, выложили бы кругленькие суммы. Материалы, собранные Добриным, представляли собой сокровище поистине бесценное.

Что же там такого вдруг случилось? Лубянка простаивает, пустуют места? Или чем объясняется арест Изи? В последние недели они вплотную занялись остававшимися на свободе еврейскими литераторами: события развивались очень быстро. Несколько дней назад Залман, как всегда по утрам, позвонил Натану и ничуть не удивился, услышав, что в детских садиках теперь уже

не декламируют «Анна Ванна бригадир»[1] и что очередной инфаркт не выторговал пощаду Йоэлу Рогачеву. Они не поленились приехать за ним в Малеевку, где он лежал, прикованный к постели, в Писательском доме творчества. И потащили его через сотню с лишним километров в Москву, на Лубянку.

Кроме Натана Залман никому не звонил и ни с кем из писателей не встречался, и не столько потому, что Мартин, вероятно, не выпускает его из поля зрения, а скорее из-за своей привычки во всем искать логику, даже там, где ее и близко никогда не было. Какую логику можно было разглядеть, например, в том, что они взялись за молодых, когда еще разгуливают на свободе «старики» – те, которые не просто выезжали за границу, а довольно долго там жили? Хотя, если он верно истолковал намеки Мартина, даже факта кратковременного пребывания за рубежом более чем достаточно, чтобы быть приглашенным к ним в гости.

Среди литераторов старшего поколения было двое великих прозаиков, живых классиков, чьим даром Залман никогда не уставал восхищаться и с кем он раньше достаточно много общался: Рэфоэл Охримов и Пинхас Машберг. Пинхас был для него идеалом – и в том, как вести себя в жизни, и в том, как изображать жизнь в слове. Будь он хоть чуть-чуть податливее, научись он закрывать глаза на все, что происходит вокруг, – как это с легкостью делают многие другие, добровольно признающие над собой ранообразных хозяев, – Машберг мог бы стать одним из самых состоятельных тружеников пера. В реальности же он был чуть ли не самым бедным из всех них… Даже рискуя остаться в буквальном смысле без куска хлеба, он не уступал обстоятельствам, не прогибался, не соглашался вычеркнуть ни строчки или, наоборот, добавить то, что противоречило его авторскому замыслу. В творчестве Пинхас не признавал никаких авторитетов, кроме себя самого. Вероятно, именно по этой причине далеко не все им написанное выходило в печать. И, возможно, в своих произведениях он переключился на демонов, духов, гномов и колдуний, просто устав иметь дело с людьми…

1 Стихотворение Льва Квитко (1890-1952), написанное в 1939 году и ставшее необычайно популярным в русском переводе С. Михалкова.

Залману очень не хватало общения с Пинхасом – большим ученым и великим писателем. До чумы они разговаривали довольно часто, но сейчас Залман уже давно ему не звонил. Пару раз видел его издалека, но не подошел: слишком высоки риски и слишком силен страх, прочно поселившийся в каждом. Помимо прочего, нельзя быть уверенным, что Пинхас хотел бы, чтобы к нему подходили. Недавно Залман наткнулся в городе на одного знакомого актера – тот прошел мимо, не останавливаясь, только произнес то ли «Бог в помощь», то ли «Простите». Залман отнесся к этому с пониманием, и Машберг, конечно, тоже не затаил бы на него обиды за подобное поведение.

Да, сегодня колесо судьбы изменило траекторию: они переключились с ветеранов литературного цеха – к числу которых принадлежал и Залман – на юную поросль. Но следует ли из этого, что завтра не произойдет новый поворот и у народа не отберут его последних двух классиков? Отнюдь не следует. А значит, Залману ни на день нельзя откладывать встречу с Машбергом. Никто, кроме него, не сможет дать ответы на все накопившиеся за последние месяцы вопросы.

Звонить не обязательно. Те, кто был близко знаком с Машбергом, знали, что каждое утро, с девяти до десяти, – если только не бушует непогода и не сыпется с неба град – его всегда можно встретить на Тверском бульваре. Жил он неподалеку, и эта прогулка была для него непременным ритуалом, предшествующим работе: только после нее он садился за письменный стол.

Так переписчик Торы, прежде чем приняться за свою священную работу, окунается в микву[1]. Существует ли вероятность, что Пинхас изменил своему распорядку дня, потому что, как и многие другие, не в силах творить? Возможно, хотя представить трудно. Нет, даже такое суровое время не могло заставить Машберга умолкнуть! Он, конечно же, по-прежнему запечатлевает своим благословенным пером все, что творится с его народом...

Непонятно, как мог Залман усомниться в мастере, пусть даже на мгновение? Еще на подходе к бульвару он увидел Пинхаса, шагающего по правой стороне аллеи. Лучше не торопиться: пусть он сделает

1 Миква – в иудаизме бассейн для ритуального очищения.

круг, и тогда все прояснится. Быть может, он молча проследует дальше, сделав вид, что не заметил коллегу, и тем самым дав ему понять, что он – как и все – избегает встреч со знакомыми, особенно из числа еврейских писателей.

На случай возможной слежки Залман постарался сделать так, чтобы их встреча выглядела случайной. Он занял позицию в верхней части аллеи, поближе к ограде: так у Пинхаса будет возможность самостоятельно сделать выбор – приблизиться к нему или продолжить путь как ни в чем не бывало. Залман поймет, если выбран будет второй вариант. Нельзя нынче на такое обижаться, даже если речь идет о Машберге.

Они знакомы бог весть сколько, но всякий раз при встрече Залман глядит на Пинхаса, как зачарованный. Эти широкие, слегка сутулые плечи, как у бродячего торговца. Огонь в его черных глазах под густыми бровями. Южная смуглость, которая делает его похожим на ассирийцев, что чистят обувь. Негромкий, мягкий голос главы ешивы[1], не дающий тебе пропустить хоть одно произнесенное им слово. Видел в нем Залман и безыскусность, эдакую деревенскую простоту хасидского ребе из рассказа Переца «Если не выше», и готовность пожертвовать собой ради ближнего и спасти мир от взяческого зла своей добротой… Говорил Пинхас так, что вся его ученость, равной которой не было среди еврейских литераторов, становилась абсолютно доступна для любого – как основы учения танная[2] Гилеля[3], которые он, как известно, умел объяснить, стоя на одной ноге.

Пинхас, конечно же, не мог не выйти навстречу Залману, хотя прекрасно осознавал риски. Он протянул руку еще до того, как приблизился к нему на достаточное для рукопожатия расстояние, но произнесенное им приветствие было односложным. Его сознание, видимо, все еще парило где-то там, в мире, населенном хасидскими притчами Нахмана из Брацлава[4] и историями о блуждающих душах, являющихся в образе демонов и гоблинов… Надо набраться

2 Ешива – высшее религиозное учебное заведение.

2 Таннаи (арам. – «повторять», «изучать») – титул законоучителей в Эрец-Исраэль в I-II вв. н. э.

3 Гилель (кон. I в. до н. э. – нач. I в. н. э.) – один из самых авторитетных законоучителей эпохи Второго Храма, на протяжении около 40 лет был главой Синедриона.

4 Нахман из Брацлава (1772-1810) – правнук основателя хасидизма Бешта, один из духовных лидеров хасидизма.

терпения и подождать, поха Пинхас выберется оттуда и вернется на грешную землю.

Какое-то время они шагали рядом молча. Наконец, Залман услышал тихий, деликатный голос Машберга.

– Куда путь держим, реб[1] Залман?

Неспроста это. Откуда вдруг всплыла эта старинная формула? Или ему отныне тоже следует обращаться к Машбергу с давно забытым еврейским «реб», в котором больше души, чем в словах «товарищ Пинхас»?..

– Я, реб Пинхас, и сам толком не знаю, куда лежит мой путь.

Похоже, Машберг услышал в его ответе намеренную недоговоренность. Ведь разве может нынче идишский писатель позволить себе пойти куда-то «просто так»? Придется признаться.

– Плохи дела, реб Пинхас, очень плохи. Меч уже занесен. – Залман провел рукой по горлу. – Я к вам шел, реб Пинхас, за ответом, как в былые времена евреи ходили к чудотворцам. За что нам все это? Чем мы согрешили? Откуда, после всех ужасов, учиненных в дни Гитлера – да сотрется имя его! – накатила на нас эта новая беда? Разве не предан стране наш народ, и душой, и телом? Никак не менее других. Так почему теперь все рушится, одним ударом? Боюсь, скоро просто быть евреем станет опасно. Но ведь не на пустом месте окутал нас такой черный мрак? Должен же быть хоть какой-то смысл? Чай, не Германия тут – Россия! Советская Россия!

Машберг оглянулся по сторонам и еле слышно произнес:

– Не обижайтесь на меня, реб Залман. Мы с вами знакомы, если не ошибаюсь, не день и не два, так что опасаться вас у меня оснований нет. Но для нас обоих, думаю, здоровее будет не вести подобных разговоров. И потом – у кого вы вознамерились искать ответов на вопросы? У меня? А что я могу знать, и кто я, с позволения сказать, такой?

– Вы Первосвященник наш, реб Пинхас, летописец нашего народа.

Машберг еще глубже втянул голову в поникшие плечи, как будто говоря: «Мал аз есмь, и не след изображать меня исполином».

1 Реб – в дореволюционной еврейской традиции – уважительное обращение ко взрослому мужчине, ставится перед именем.

– Быть летописцем – честь, конечно, великая, но до титула Первосвященника, который вы мне пожаловали, я все же еще не дорос.

– Это не я, реб Пинхас, это народ, это книги ваши, та честность, с которой вы так искусно изображаете и прошлое, и нынешнее… Летописец во все времена видел дальше других и жизнь понимал глубже. Так к кому же, спрашивается, идти мне за ответами на все мои вопросы, если не к вам?

Должны же быть какие-то ответы…

– Ответы есть, но мы их вряд ли когда-нибудь узнаем. И возможно… Что говорит нам Гемора? Наши таннаи, когда не находили ответа на тот или иной заковыристый вопрос, – оставляли его открытым до лучших времен. Вот и нам время даст ответ, чем навлекли мы на себя такие удары. А по поводу того, что нас ожидает и чем все закончится, – тут не обязательно быть летописцем или Первосвященником. Какие только испытания не сваливались на наш народ, и все он выстоял. Надо надеяться, так будет и с этой бедой. Не знаю, правда, доживем ли мы с вами до этого дня. Вы – не исключено, а я вот уже нет. Если только не… – Пинхас снова испуганно оглянулся вокруг и отступил на несколько шагов от деревьев, как будто ему показалось, что они подслушивают…

Дорожка, по которой Машберг прогуливался по утрам, проходила мимо чугунного ограждения, за которым стоял кирпичный дом, где когда-то жил Бен-Михоэл. Проходя мимо его окон, Пинхас всякий раз останавливался и какое-то время стоял с низко опущенной головой, как стояли люди во дворе крематория, когда захоранивали урну с горсткой пепла. Залман тоже знал, чьи это окна. Он не раз бывал у Шлойме в гостях; за стаканчиком вина они вели споры о еврейской литературе, о театре, о том да о сем. Не таков был их последний разговор в ресторане минской гостиницы. Там речь шла о существовании не идишской литературы, а самого еврейского народа…

Когда они отошли от ограды и продолжили путь вверх по протоптанной тропинке, Залман произнес:

– Он ожидал такого конца.

– Кто? Шлойме?

– Да, Шлойме Бен-Михоэл, благословенна память его.

– С чего вы взяли? – Повернулся к нему Пинхас.

– Он мне сам говорил, во время нашей последней встречи, накануне его гибели. «Залман, – сказал он мне, – это путешествие в Америку дорого нам обойдется. Мне они ее не простят».

– Не понимаю, что значит «они не простят»? Шлойме же не сам вдруг решил к дядюшке Мозесу[1] наведаться? Его государство командировало. И в газетах так сообщалось.

– Это не важно. Мало мы видели, чтобы сегодня так, а завтра ровно наоборот? Или Шлойме мог не знать, что из высоких окон на него косо поглядывают? Мог не замечать, что ходят за ним по пятам? Он ощущал это, всем своим существом чувствовал. Говорил, что все время слышит за собой шаги, даже во сне…

Они уже подходили к концу бульвара, когда Пинхас вдруг обернулся и застыл, глядя на оставшуюся позади чугунную ограду.

– А когда вы в последний раз виделись? – Спросил Пинхас, как будто за несколько минут успел забыть, что говорил ему Залман.

– За день до трагедии.

– А мы с ним виделись за день до его отъезда в Минск, и он мне рассказал… Уж не знаю, почему – возможно потому, что в газете тогда появилась статья с острой критикой в мой адрес, мол, в центре моих книжек сплошь духи да черти… – а может быть, в связи с тем, о чем вы сейчас сказали… Он рассказал мне об одном своем сне, в нью-йоркском отеле.

– Как за ним гонится стая обезьян и он падает в пропасть и не может выбраться?

– С вами он тоже, стало быть, поделился. Видно, крепко у него это а памяти засело, как рельсы у Анны Карениной. Вообще-то Шлойме, насколько мне известно, суевериями не страдал. Хотя, конечно, бывают моменты, когда становишься суеверным. Теперь я тоже понимаю, что тот сон он рассказал мне не случайно, и именно перед поездкой в Минск, где его уже караулили колеса той гигантской машины, которая сейчас надвигается на всех нас. Мне тоже временами мерещится шорох шагов…

Пинхасу уже давно пора было вернуться с прогулки и сесть

1 Так на идише стали называть Америку после того, как в конце XIX – начале XX века туда переселились несколько миллионов европейских евреев.

за письменный стол. Стрелки на часах у входа на бульвар приближались к двенадцати, но Машберг этого, похоже, не замечал, настолько поглотила его беседа. Сколько уже времени прошло с тех пор, как он встречался с кем-то из писательской братии? Сам он никому не звонил, и его никто не навещал, особенно после того, как в конце лета закрыли театр. Само здание театра, где он живет за кулисами в полутемной каморке, стало навевать на людей страх еще до закрытия. В последнее время даже «Фрейлехс», на который обычно все билеты распродавались заранее, играли при наполовину заполненном зале. А потом внезапно – прямо перед летними каникулами, когда актеры разъезжаются в отпуск – случился аншлаг: зал был набит под завязку, толпы остались снаружи. Публика как будто почувствовала, что театр исчезнет из города не на два летних месяца, а навсегда…

– Театр закрыли, и больше нечего закрывать. – Продолжал Пинхас все тише и тише. – Уже все разрушено.

– Пока еще не все.

– Вы имеете в виду Еврейскую автономию? Так она кроме названия давно никакого отношения к идишу не имеет, так что ее и закрывать не нужно. Особенно учитывая, что там и евреев почти нет. Те немногие, кто еще не сбежал, сидят на чемоданах. Жестокой шуткой обернулись те великие надежды, что привели их туда.

Пинхас знал, о чем говорил. Великие надежды были и у него, когда после войны – будучи уже в почтенном возрасте – он отправился в Биробиджан с эшелоном переселенцев и даже собирался там обосноваться. Залман напомнил Пинхасу о том периоде, и тот ответил:

– Коль скоро нам дали еврейскую автономию, идишские писатели тоже должны быть вместе с народом. Так я тогда думал.

– Вы всерьез полагали, что наш народ осядет там навеки? – спросил Залман. – Мне кажется, что второй Первосвященник нашей литературы – Рефоэл Охримов – так не думал, хотя тоже прожил там пару лет.

– Знаю, что вы хотите сказать: Рефоэл уехал, потому что подступала тьма, и неизвестно, что ему грозило бы, не уберись он оттуда вовремя. Не посмотрели бы, что всемирно известный писатель. Так ведь? Да, все так. Но это была не единственная причина…

Залман, наконец, решился задать летописцу Машбергу свой самый трудный вопрос. Произнести его вслух нелегко. Залман хорошенечко огляделся вокруг.

– Как считаете, реб Пинхас, от кого все это идет? Неужели от него? Трудно поверить. Да и не хочется.

Не дождавшись ответа, Залман сам пустился в рассуждения, впервые вслух:

– Но и безусловно отрицать это невозможно. Есть некоторые вещи, которые мне давно покоя не дают. Никак не могу вспомнить, где я прочитал… Там говорилось о выборах Центрального комитета, то ли на съезде, то ли на пленуме, точно не помню. К тогда выбрали целую кучу евреев, и кто-то, в присутствии многих очень известных делегатов, отпустил шуточку, что вот, раздолье, есть где еврейский погром устроить. Как там говорится в русской поговорке: в каждой шутке есть доля правды? Не поворачиваясь к Залману, Машберг задумчиво ответил:

– Некоторый резон тут есть. Но мне бы хотелось своими глазами взглянуть.

– Я бы и сам хотел еще разок это перечитать, только вот не помню, что за книжка…

– А с другой стороны, даже если вспомните, что толку? Все равно вы ее теперь уже нигде не достанете.

– И тем не менее… Постойте, постойте… Знаете, у кого можно было бы узнать? Не хочется упоминать его богомерзкое имя… У библиотекаря нашего. Он наверняка ее читал: я от него примерно ту же хохму как-то раз слышал, в издательстве. Вбегает он, весь такой запыхавшийся, и давай «острить» – есть теперь, где конференцию по языку идиш устроить, да и погром заодно… Это он решил так к новостям подвести: Красная Армия только что заняла Черновцы и Кишинев. Тогда никому из нас и в голову не пришло, что Ойзер Норвил не ради самих новостей все этого говорил, а чтобы посмотреть, кто как среагирует…

Пинхас опустил глаза. Ему было стыдно даже слушать, как порочат человека.

– Дорогой Залман, вы даже представить себе не можете, сколько таких историй об Ойзере я наслушался за последнее время и сколько

страданий они мне причиняют. Ну вот не укладывается у меня в голове, чтобы этот тихий, скромный человек мог иметь отношение к нашим бедам. Конечно, иди знай – жизнь может так человека искорежить, что он упадет ниже некуда… Так что вывод, вероятно, один: нам следует меньше удивляться, и чем меньше мы будем удивляться, тем больше смыслов нам откроется.

– Я к тому же выводу пришел, реб Пинхас, и уже давно. Это болезненная еврейская манера – удивляться, гадать, вопросами задаваться, как-де то возможно да се?.. Вот и я не могу заставить себя до конца поверить в то, что все наши беды – от самого… него. А как думаете, реб Пинхас, – Сталин ведь не один год в духовной семинарии провел, может, это он там к нашему народу такой злобой проникся, из-за Иисуса?

Машберг отозвался, снова втягивая голову в сутуловатые плечи:

– Вы же знаете, реб Залман, я никогда ни во что не вмешиваюсь, я всегда был далек от политики. Мне Гемору с Тосефтой[1] легче постичь, чем прогрызть кусок марксизма. Но раз уж вы завели речь о политике, то сами мне скажите – мог он так нас возненавидеть из-за байки, которую мусолят уж две тысячи лет? Что мы сына божьего сгубили?

– Вполне могу себе такое представить. Но в его случае, думаю, другое главное. Не забывайте, что среди посаженных и расстрелянных им были люди на несколько голов выше его, и именно этого он не смог им простить. Опасность в них видел: не ровен час, оттяпают у него власть. Потому он и окружил себя теми, кто намного мельче его – теми, кто при каждом его слове падают ниц и поют ему осанну!.. Может, передохнем немного? Вы сегодня все равно ведь уже не работаете, по моей милости?

Залман снял перчатку и смахнул снег со скамейки, но Пинхас садиться не стал. Немного постояв, они продолжили путь мимо сиротливо выглядывавших из-за забора окон Бен-Михоэла.

– Око за око, зуб за зуб…

О чем это он вдруг? Или это цитата из Шлойме Бен-Михоэла?

1 Тосефта (арам. – «дополнение») – сборник таннаических учений, комментарии и дополнения к Мишне.

То, что он произнес на первом еврейском антифашистском митинге? Долго гадать Залману не пришлось.

– Коль уж вы мне доверились, реб Залман, не побоялись со мной говорить о том, о чем и думать-то опасно, – отплачу вам тем же, раскрою секрет. – Пинхас вдруг замолчал, как будто потерял голос. Несколько раз нервно оглянулся по сторонам и продолжил. – За несколько недель до того, как забрали Марка Полонера, прогуливались мы с ним по бульвару, вот как с вами сейчас. Вы не хуже моего знаете, как меняется Марк, когда его берет за живое. Но таким возбужденным, как в тот день, я его никогда не видел. Он был словно пророк, в котором разбушевалось священное пламя. Слушайте, небеса, и внимай, земля[1]… Расплавленные камни, раскаленная смола и сера вырывались из его уст. «В России, – кричал он, – возможно, бывали и более жестокие времена, но не было такие гнилых и подлых, как теперешнее!» Я вздрогнул, его ведь запросто могли услышать, не дай бог! Но остановить его не представлялось возможным. В итоге он мне признался, что задумал написать роман или поэму обо всем этом. Сюжет у него в голове был уже сложен. И он пустился в пересказ. Если вкратце, замысел его был следующий: с тех пор, как евреи стали народом, они неизменно стремились к миру, к дружбе, к порядочности и человечности. И «Возлюби ближнего своего, как самого себя» было самым сердцем Торы, основой основ. Что же из этого вышло? В один прекрасный день Скрижали сбросили с себя частичку «не», она просто исчезла из запрещающих заповедей – «Не убий», «Не укради», «Не возжелай», «Не лжесвидетельствуй»… И тогда миру была ниспослана, как это называется у Полонера, новая Тора – Евангелие, явившее человечеству еще одного сына еврейского народа, Ешу Ха-Ноцри. Учение его было все о том же: отдай другому свою последнюю рубаху, возлюби ближнего своего, даже недруга возлюби. Ударит он тебя, а ты ему другую щеку подставь… Во что же вылилось это новое учение? В реку крови.

Больше убийств, больше злодейства, больше зависти. И так продолжалось веками. Тогда пришел спасти мир еще один еврей – Карл Маркс – со своей Торой, со своим учением. Он знал, как устроить рай на нашей грешной планете, как искоренить ненависть

1 Книга Пророка Исайи, 1:2.

и зависть. Пусть каждый старается в меру своих сил и берет от жизни все, в чем нуждается. К чему привело его откровение – видно даже слепому: умножилась ненависть, умножилась зависть. И виноватыми, как при любой беде, оказываются евреи, и вот уже натравливают на них толпу, и как знать, не приведет ли и сейчас все это в очередной раз, не дай бог, к тому же, к чему Гитлер – да сотрется имя его! – привел свое правительство? А коль уж покрылась скверной Тора, повествующая о создании земного рая для всех людей, не все ли равно, что будет с человечеством дальше? И вот уже снова подоспела новая Тора, принесенная в мир еще одним евреем – Альбертом Эйнштейном. Потому что раз не могут люди сосуществовать между собой по-человечески, то к чертям такой мир, пусть ни травинки не останется, пусть сгинет даже память о нем и не последует возрождения, как после Великого потопа! И именно то, что для этого нужно, Эйнштейн и даровал миру.

Пинхас остановился, расправил, как мог, свои сутулые плечи.

– Так что вы, к примеру, на это скажете, реб Залман?

– Ну а что я могу на это сказать? Мне такой исход не импонирует. Рано или поздно мир очнется, придет в себя, и не будет нужды его уничтожать, я уверен. Как уверен я и в том, что Полонер, доведись ему поработать над своим замыслом, нашел бы другую концовку. Но как страшно сейчас представить, что Марк, не дай бог, мог обмолвиться о своей задумке в присутствии кого-то из них…

– А я вот другого больше опасаюсь: как бы они не раскопали, что во время войны Полонер носился с идеей о еврейском военном подразделении. Надо, мол, создать специальную часть, как в Испании, и послать ее на передовую. Эти красноармейцы будут сражаться, как львы, до последнего – и как советские люди, и как евреи. Только боюсь, там такой план могут совсем иначе истолковать.

– Уже нечего беспокоиться, реб Пинхас. Там уже все истолковали. Один русский писатель, которому я полностью доверяю, рассказал, как у них на совещании выступил главный редактор журнала: «Неправда, что евреи плохо себя держали на войне. Они сражались геройски, только по большому счету не потому, что были советскими людьми, а потому что были евреями! Немец ведь не делал секрета из того, какие у него на них планы…» Понимаете, реб Пинхас, к чему

он клонил? Что не стали бы евреи геройствовать, если б немцы с ними как-то иначе обходились! Да… Остается только надеяться, что там все же отдают себе отчет, кто такой Марк Полонер, и знают, что гении не каждый день рождаются…

– А такие, как тот, кто создал «Хлеб», «Бойтре-разбойника»[1], «Непокой» – каждый? И что с ними стало? Говорят, автор «Хлеба», великий народный поэт Исроэл Зевин, не выдержал пыток и покончил с собой…

– Если уж на то пошло, реб Пинхас, в ту волну страдали все, вся страна. Ни для кого исключения не делали. Не смотрели – еврей ты или не еврей, идишский писатель или еще какой. Нынешняя чума иного порядка…

В конце бульвара Машберг остановился и обратился к Залману несколько неуверенно:

– Как вы посмотрите на то, что я вас попрошу кое о чем? – И чтобы Залман не спешил соглашаться просто из вежливости, Пинхас добавил, – Понимаете, я бы не к каждому смог обратиться…

– Если я правильно понимаю, – ответил Залман, – вы не собираетесь посылать меня взрывать Красную площадь? Тем более, что евреи с Автозавода ее уже взорвали, если верить разговорам в городе. Так к чему эти преамбулы? Говорите уже, о чем речь, прошу вас.

Залману показалось, что то, о чем Пинхас хотел его попросить, было у него на уме все то время, что они кружили по бульвару, но решиться доверить свою тайну другому человеку – пусть даже такому близкому, как Залман, – ему оказалось нелегко.

– Тут о чем, собственно, речь? – Произнес Пинхас не спеша, словно хотел выиграть еще несколько секунд на размышление. – Речь о Восточной стене нашего Храма. Разрушенного храма нашей литературы. Судя по всему, Рефоэл Охримов, наш Первосвященник, довольно давно подозревает меня в том, что я имею на нее претензии. Будто считаю, что не его, а меня следовало короновать как четвертого классика, сразу за Менделе, Перецем и Шолом-Алейхемом. Что это мне, а не ему, должно достаться почетное место у Восточной стены. Но вы-то, реб Залман? Вы-то прекрасно знаете, насколько

1 «Бойтре-разбойник» – поэма Мойше Кульбака 1936 г.

я далек от того, чтобы гоняться за почестями? Не говоря уже о том, что я не раз и не два говорил – при свидетелях! – что четвертый классик – он. Но кому-то, видимо, понадобилось посеять между нами раздор. Не хочу даже повторять, что мне наговорил Рефоэл по этому поводу. Хотя, не исключаю, что он просто повторял то, что услышал от своих поклонников, они же мои противники. А ведь его адепты – они же мои недруги – тоже могли понарассказывать ему бог весть что, что якобы говорил о нем я…

Скрытое соперничество идет ведь не только между нами – наши читатели находятся в состоянии чуть ли не войны! Поэты, в свою очередь, тоже сражаются за пьедестал… Мне эта борьба уже здоровья стоила. И мне давно следовало бы поговорить с Рефоэлом, не дожидаясь Дней Трепета[1]. Попросить у него прощения, если я чем-то перед ним провинился. К кому из нас когда постучатся ночью – нам неведомо. К кому раньше, к кому позже? Я упустил время, не поговорил с Рефоэлом глаза в глаза. Поэтому теперь мне осталось только обратиться к нему письменно: что прошу меня простить за все то, в чем я, возможно, немножко виноват, и даже за то, в чем моей вины вовсе нет. По почте письмо посылать, сами понимаете, нельзя: там сейчас, насколько я представляю, вообще всю корреспонденцию на идише читают, что уж говорить о послании от одного еврейского писателя другому.

– Письмо при вас? – Залман протянул раскрытую ладонь.

– Нет, мне его сперва еще написать надо. Если вы располагаете временем, зайдите ко мне, я вас надолго не задержу. Или, может, отложим на следующий раз?

– К чему откладывать? Времени у меня сколько угодно, так что ничего, подожду.

– Да, я хотел вам сказать… – Пинхас осекся, махнул рукой. – Забыл. Забыть об этом Пинхас, конечно же, не мог. Просто он не был уверен, не сочтет ли Залман за оскорбление, если напомнить ему, что, согласившись сейчас зайти в здание театра и, в еще большей степени, согласившись посетить Рефоэла, он подвергает себя опасности. Может быть слежка.

1 Дни Трепета (ивр.) – 10 дней покаяния между праздниками Рош-а-Шана (еврейским Новым годом) и Йом-Киппур.

Глава 20

В крохотной, полутемной комнатушке глубоко за кулисами теперь уже закрытого Еврейского театра, где все еще проживал Пинхас со своей тихой женой Лией, Залман бывал и раньше. Но до сегодняшнего дня он не замечал, какая жалкая нищета царила там, среди запыленных декораций со знаменитых спектаклей прошлых лет. Сейчас, оглядываясь вокруг, он вдруг вспомнил бывшую столицу Украины и светлую, просторную квартиру, где Пинхас проживал до войны. Машберг был чуть ли не единственным из еврейских писателей, кто не уехал из Харькова, когда столицу перенесли в Киев. Идишская литературная знать вскоре позабыла своего Первосвященника. Все были заняты собой – получением квартир в новой столице для себя, для своей родни… А Пинхас о себе ничем не напоминал. В каком-то смысле он был даже рад остаться в стороне. Он и раньше жил подобно отшельнику, держался вдалеке от писательской ярмарки тщеславия и сплетен, никогда не гонялся за деньгами и довольствовался тем, что ему перепадало. А перепадало ему немного. Машберг был и остался бедняком отнюдь не потому, что мало трудился: от письменного стола он почти не отходил и над каждой строчкой корпел до седьмого пота. Но печатали его мало, и не по его вине.

Возвращаться из эвакуации Машбергу было некуда: от его харьковского дома не осталось и следа. И хотя пьес он не писал, Бен-Михоэл, возвращаясь с эвакуированным театром из Ташкента в Москву, взял его с собой, под свою ответственность. На первое время Шлойме поселил Пинхаса в свободной каморке за кулисами, которая вскоре стала напоминать обитель Виленского Гаона[1], где он днем и ночью изучал Тору. Из чего, конечно же, не следует, что в отношении Торы их можно было считать ровней, хотя Пинхас тоже слыл великим ее знатоком.

Из мебели в комнате находились: железная кровать с простеньким покрывалом, столик с парой табуреток и шкафчик, где хранились и книги, и хлеб. От каждого предмета здесь веяло тоской. Посуда ютилась на подоконнике, кастрюльки – на полу. В уголке у двери стояла

1 Виленский Гаон – Элияху Бен Шломо Залман (1720-1797), выдающийся талмудист, раввин, ученый.

пара поношенных мокроступов. Впервые увидев все эту обстановку, Залман проникся еще большим уважением к Пинхасу.

От Натана Залман знал, что недавно Машберг занес в редакцию альманаха несколько глав своего нового произведения, написанного уже в совершенно реалистичной манере, без демонов, ведьм и гоблинов. И как он делал со всеми своими публикациями – даже когда находился в крайне стесненных обстоятельствах – предупредил редакторов, что без его согласия не позволит вносить правки и менять хоть букву.

Глядя на Пинхаса, в задумчивости сидящего над письмом Рефоэлу, Залман не мог не подумать о себе. Если уж кому следовало бы просить прощения, так это ему. Перед кем-то он извиниться уже не сможет, они уже там. Велика вина его, что скрыл и продолжает скрывать свои встречи с Мартином. У него была возможность всех предупредить, и тогда кому-то, вероятно, удалось бы сбежать из города. Не так важно, куда – страна немаленькая. Кто знает, чем бы для него самого закончилась довоенная охота на людей, если бы он заблаговременно не покинул столицу и не скрылся бы в далеком заброшенном местечке…

Та история крепко засела у него в памяти. Он, вместе с Айзиком Добриным, отдыхал в Евпатории, на Черном море, и их обоих пригласили выступить на литературном вечере в еврейской деревне неподалеку от Саки.

Изя произнес речь, сам он прочел несколько стихотворений. Одно из них было посвящено лидеру немецких коммунистов Эрнсту Тельману, на тот момент заключенному в концлагере. Когда Залман закончил читать, к нему обратился какой-то колхозник из публики: «Как вы думаете, получится освободить Тельмана, или фашисты его убьют?» И Залман ответил ему, что скорее второе, чем первое.

Через несколько дней их с Изей снова пригласили на литературный вечер в другой еврейский колхоз, в той же местности. На станции Саки их ждала арба, и возница – молодой человек, который все время моргал, как будто ветер надул ему пыль в глаза, – отозвал Залмана в сторонку и прошептал ему на ухо, что если он хочет спастись, то должен исчезнуть немедленно. Пару дней назад этот паренек заезжал в соседнюю деревню, ту самую, где они с Изей выступали,

и там их искали люди из известного учреждения. Оказалось, что колхозник, которому Залман ответил, что Тельмана фашисты скорее всего погубят, счел, что поэт Мандел не верит в силы пролетарского интернационала, и донес свое впечатление куда следует. И как знать, где бы теперь покоились кости этого поэта, если бы он тогда не последовал совету возницы и не исчез отовсюду, где его могли бы найти?

– Вы еще не передумали поработать посыльным?

Залман вздрогнул, очнулся от воспоминаний и поднялся со стула.

– Вы не обижайтесь, что я переспрашиваю. Время такое, зыбко все, никогда не лишне переспросить. – Пинхас вложил письмо в конверт и протянул его Залману. – Конверт я, как видите, не запечатываю. Можете прочесть, если хотите. Секретов там нет. По правде говоря, мне бы даже хотелось, чтобы вы прочли… Так вы что, прямиком отсюда к нему отправиться собираетесь? Может, лучше не рисковать? Письмо и завтра доставить можно.

– Незачем откладывать. Если Рефоэл при мне напишет ответ, я его вам еще сегодня успею доставить.

*

Рефоэл Охримов проживал в трехкомнатной квартире на другом берегу Москвы-реки, в многоэтажном писательском доме напротив помпезного кирпичного здания Третьяковской галереи. Когда-то, в период кровавых погромов, что чинили в еврейских местечках разнообразные банды, он покинул страну своих отцов и вернулся с чужбины только незадолго до войны.

Теперь в этом доме уже не осталось почти никого из тех, кто салютовал тогда возвращению на родину всемирно признанного еврейского писателя Охримова. Нынешних соседей Рефоэла Залман не знал и не имел ни малейшего представления о том, кто они и чем заслужили право занять квартиры прежних владельцев, многие из которых были известны всей стране…

По опыту довоенного времени Залман помнил, что днем люди не так сильно вздрагивают при звуке звонка или стука в дверь, не так тревожно прислушиваются к движению лифта. Страх подступает ближе к полуночи и не отпускает до зари, когда уже больше нет

сил бороться со сном… Сейчас было еще светло, и все же Залман позвонил в квартиру Охримова как можно мягче, чтобы не напугать. Тут же послышались приближающиеся шаги.

– Это я, Мандел, – спешно представился Залман, хотя знал, что Рефоэл всегда открывает, не спрашивая, кто там и по какому вопросу.

Дверь открыла Цивья, супруга Рефоэла, которую он называл «мой ангел». Залман и сам представлял себе ангелов примерно такими, как Цивья: благородное, немного вытянутое лицо, любовь, льющаяся из чистых, светлых глаз, готовность каждому прийти на помощь, какая-то особенная нежность в голосе…

– Цивьенке, с кем это ты там разговариваешь? – Раздался из соседней комнаты голос Рефоэла.

– Залман у нас в гостях.

– Кто-кто?

– Залман Мандел.

– А, Залман! И что же вы там стоите? Заходите, пожалуйста. Цивьенке, будь добра, сделай нам чаю.

– Конечно, Рефолинке.

– Так что хорошего скажете, Залман?

Говор Охримова всегда вызывал у Залмана удивление. Сколько десятилетий минуло с тех пор, как Рефоэл покинул родное волынское местечко? За это время он исколесил полмира, побывал по ту сторону океана, живал в огромных шумных городах – а речь его так и осталась речью местечкового еврея, всю жизнь прожившего на одном месте. Слова он произносил неспешно, четко, чуть ли не по слогам, особенно тщательно выговаривая букву «р», как будто подчеркивая, что картавость не есть неотъемлемый атрибут еврея. Если речь Шлойме Бен-Михоэла была подобна Устной Торе – идеальным примером того, сколь чудесно звучание языка идиш, – то Рефоэла Охримова можно было сравнить с Торой Письменной: в его произведениях идиш представал во всем своем богатстве и образности.

Между этими двумя людьми существовало не только внешнее сходство – у обоих сильно выдавалась вперед нижняя губа. Оба они были остроумцами, и их словечки и афоризмы мгновенно расходились

в народе, как, например, фраза Рефоэла о щедрых биробиджанских реках, где рыбы толкутся в очереди и умоляют, чтобы их выловили.

Рефоэл сидел за письменным столом, и Залману подумалось, что только воистину великие писатели, такие как Пинхас и Рефоэл, находят в себе силы даже в такое страшное время не выпускать перо из рук. Он едва не произнес это вслух.

– Я вам, наверное, помешал… Но я ненадолго, не задержу вас.

– Напротив! Я как раз таки не возражаю, если вы меня задержите. Готов выслушать все, что вы принесли. Ну, начинайте читать, не заставляйте себя упрашивать.

Чудно: Охримов, в отличие от Айзика Добрина, если когда и приглашал кого-то почитать неизданное, случалось это крайне редко. Впрочем, даже будь у него при себе что-то из свеженаписанного, он бы отказался читать.

Ясно ведь, что Рефоэл сказал это просто из вежливости. Не готов он сейчас слушать.

– Я уж скоро и не вспомню, когда в последний раз сидел за письменным столом. Ни сердце к работе не лежит, ни голова. Да и для кого теперь писать? Для кого?

– У вас только сейчас этот вопрос возник? А я, дорогой Залман, уже давно им задаюсь, очень давно. Но дело в том, что не могу я заставить себя не писать! И сейчас вот тружусь не меньше прежнего, если не больше. Над каждым словечком. Взгляните в корзину: видите, сколько бумаги я разорвал ради одной-единственной строки? Вот Исаак Бабель – тот мог сказать о себе, что нанизывает слова, как жемчужины на нитку. Мне же все дается ужасно тяжело, порой просто мозг из костей вытягивает. Настоящая каторга. Да… Мы сами себе каторжане. Как там у Маяковского? «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды…»[1] Только такая она, это каторга, что на волю даже не тянет. И тут приходите вы и желаете убедить меня в том, что забросили писанину! А я вот гляжу на вас и вижу, что есть у вас, что мне прочесть. Угощайтесь. – Он протянул Залману початую плитку шоколада. – Отломите себе клеточку. Это вам аванс, а там посмотрим.

– Спасибо, но врачи запретили мне сладкое.

1 В.В. Маяковский, «Разговор с фининспектором о поэзии».

– А мне, думаете, разрешили? Я с детства сладкоежка. Хотя научился держать себя в руках: положите передо мной гору конфет, я к ним и не прикоснусь. Но когда выходит у меня удачная страничка, я себя балую. Если, конечно, Цивьенке, мой ангел, выносит постановление, что я достоин награды. Ну, если не шоколад, то угоститесь хотя бы цигаркой. Не курите? Тогда позвольте попотчевать вас парой страниц, которые я сегодня с утра написал?

– С удовольствием.

Закурив папиросу и не спеша, с каким-то особенным удовольствием выпустив дым из широковатых ноздрей, Рефоэл отодвинулся вместе с креслом от стола. Для Залмана это должно было означать: «Править на ходу не буду. Прочту то, что есть». Еще больше выпятив вперед нижнюю губу, Охримов вдруг спросил:

– Вам когда-нибудь доводилось пережить погром?

– А какому еврею, если он родом из местечка, не доводилось?

– Тоже верно. А в связи с чем я вас спросил – хотите знать?

– Вероятно, вы сейчас об этом пишете.

– Почти угадали. – Снова затянувшись из тлеющей папиросы, Рефоэл стал потихоньку выпускать, вместе с кольцами дыма, разделенные на слоги слова. – Самое ужасное, когда уже знаешь, что ожидает. Та тишина накануне погрома. У нас, евреев, ведь все события начинаются накануне, с вечера. В последнее время я чувствую такие же спазмы в животе, как от той тишины. Да… Странная у нашего народа судьба. Собственно, о ней я тут и пишу. – Рефоэл пододвинулся вместе с креслом обратно к столу и положил ладони на акуратно разложенные листы рукописи. – Только бы господь послал мне сил дописать роман до конца. Я пока что в самом начале, собираю, так сказать, камни.

– Время собирать камни и время разбрасывать камни, – подхватил Залман, как будто Рефоэл нуждался в напоминании, что там дальше говорится у Экклезиаста.

– Так-то оно так, только у меня, Залман, серьезные сомнения, что наступит для нас когда-нибудь то, другое, время. Разве что с приходом Мошиаха[1]. Ну а покуда он мешкает, знаем мы лишь одно: народ наш стал какой-то игрушкой: то мы те, с кем бьются, то мы те,

1 Мошиах (ивр., «помазанник») – мессия в религиозной системе иудаизма.

кого бьют. Причем второе случается гораздо чаще и длится значительно дольше. Сталин не просто разрешил еврейские школы, клубы с театрами и все остальное – аж целую еврейскую автономию устроить приказал! Чем, конечно же, снискал симпатии во всем мире. Я тогда за границей жил и помню, какое это на всех произвело впечатление. Заслуги евреев даже сам Второй-во-царстве признавал, когда на одном из совещаний, через пару лет после прихода Гитлера к власти, говорил о товарище Марксе, товарище Эйнштейне и других великих товарищах, которых подарил миру наш народ. А потом опять реки вспять: началась война, и снова возникла нужда в дяде Сэме, и снова евреи стали товаром и даже народом были названы, как все народы… И снова ненадолго. – Рефоэл положил в пепельницу докуренную папиросу, подъехал вместе с креслом поближе к Залману, и, понизив голос, спросил. – Вы не помните, – когда мы во время войны сочиняли приветственное послание нашему великому Отцу народов от ЕАКа, кому тогда пришло в голову вставить туда цитату о мече и книге, что были вместе спущены с небес[1]?

– Нет, этого я не помню. Помню только, что наше послание в «Правде» напечатали.

– Это я тоже помню. Так вот, если задуматься, выходит, мы Сталину сами вложили в руки меч. Только сколько бы он им не махал, ничего ему не поможет, не удастся ему уничтожить наш народ. Мы ведь такой народ, который не только для мира огромная загадка, но и для себя самого! Да, Залман, мы самих себя не вполне еще знаем. Слушайте, а что это за конверт у вас?

Залман помедлил, как будто забыл, что держит в руках.

– Ой, совсем из головы вылетело! Забыл сказать, что я к вам по делу. Письмецо принес от Пинхаса Машберга. – Залман протянул Рефоэлу нераспечатанный конверт.

Рефоэл надел очки, но вскрывать конверт явно не спешил.

– Что там Пинхас поделывает?

– Сидит и пишет. Словно ничего вокруг не происходит.

---

2 Ивр. – выражение неоднократно встречается в Мидрашах. Мудрецы трактовали его так: Народу Израилеву даны были Тора и меч. Если учат они Тору, то и мечом обладать будут. Если же перестают, меч обратится против них.

– Так я и думал. Всегда был трудяга, все дни жизни своей… И что за письмо, о чем там?

– Не знаю, не читал. Но со слов Пинхаса – там просьба простить его. Он у вас прощения просит.

– Прощения? У меня? – Рефоэл в изумлении вскочил с места. – Вроде не канун Судного дня на дворе, да и вообще, за что он может просить прощения?

– Насколько я понял, речь о войнах между вашими и его хасидами, об их споре, кому из вас полагается почетное место у Восточной стены и корона четвертого классика идишской литературы. Машберг порядочно настрадался от этих дрязг.

У Рефоэла дрогнули губы, как будто он вот-вот расплачется.

– О какой Восточной стене вы говорите, когда наш Храм лежит в руинах?! А склоки между обожателями и ненавистниками? Из них никогда ничего хорошего не выходило, но что поделаешь? Так испокон веков повелось.

Дочитав письмо, Рефоэл воодушевленно воскликнул:

– Вот кто истинный праведник! Ламедвовник[1]! Один из тех тридцати шести, благодаря которым еще держится мир! Так ему и передайте. Не хотелось бы вас утруждать, но если вдруг будете завтра в наших краях, заскочите ко мне, пожалуйста. Прямо сейчас, стоя на одной ноге, так сказать, ответ у меня написать не получится. Займет какое-то время все переварить, продумать, взвесить каждое слово. Мне многое нужно ему сказать, очень многое…

Провожая Залмана до двери, Рефоэл спросил:

– К Мееру не собираетесь заскочить?

В одном доме с Охримовым жил еще один идишский литератор – поэт Меер Аренс, который не менее своего соседа был известен тем, что перелопачивал ради каждой строки тонны словесной руды. Он, более чем кто бы то ни было из еврейских поэтов, имел право утверждать, что нанизывает слова, как жемчуг на нитку. И все же для собрания сочинений у него не набралось всего два-три сборника стихов. То ли потому, что так подолгу шлифовал он каждый образ,

1 Ламед, вав (ашк. «вов») – буквы еврейского алфавита, с суммарным численным значением (гематрией) 36. Согласно еврейской традиции в каждом поколении в мире одновременно живут по крайней мере 36 скрытых праведников, которым мир обязан своим существованием.

доводя его до идеального блеска, то ли просто потому, что писалось ему тяжело? Зато даже такой придирчивый редактор, как Натан Левитин, ни разу не нашел у Аренса ни одной строфы, которая вызвала бы у него нарекания. Высоко ценил его поэтический дар и Рефоэл. Залман же, при всем уважении к самому Аренсу, не являлся страстным поклонником его поэзии. В стихах Меера мысль главенствовала над чувством – что было скорее удивительно, поскольку в жизни он был человеком тонким и душевным.

Раньше Залман довольно часто с ним виделся – и дома, и в издательстве, и в комитете, и в клубе писателей – но с тех пор, как грянула гроза, они пересеклись всего пару раз, и оба раза в метро, случайно.

– Мне бы, наверное, надо к нему зайти, – ответил Рефоэлу Залман, – только не уверен, что он этого хотел бы.

– Возможно, вы правы. Мы с ним в одном подъезде живем, и то редко в гости друг к дружке ходим. Может, так и лучше.

Залман вдруг подумал, что его собственные визиты Рефоэла, должно быть, тоже не слишком радуют.

– А завтра… Может быть, вы ответ Пинхасу по почте перешлете?

– Вы боитесь ко мне зайти?

– Нет, я не к тому спросил. Просто подумал, что… Как сказать? Что если…

– Чему быть, тому не миновать, – перебил его Охримов, – от судьбы никто еще не убегал. Приходите завтра, ради бога. Прощение – миссия священная! Приходите в любое время, письмо для Пинхаса будет ждать вас.

Залман уже вызвал лифт, когда Рефоэл приоткрыл дверь:

– И захватите все же завтра с собой что-нибудь новенькое почитать. Если вещь стоящая, я придумаю, чем вас вознаградить, раз от шоколада и от курева вы нос воротите.

Глава 21

«Похоже, я квартиры перепутал. Наверное, лифт на этаж выше остановился», – подумал Залман, увидев в дверном проеме Меера Аренса.

Меер впустил его в квартиру Рефоэла и не успел еще закрыть дверь, как Залману стало ясно, что тут произошло со вчерашнего дня. На полу разбросаны пожелтевшие газеты и журналы, вырванные корешки книг, скомканные листы бумаги. Вся мебель сдвинута с мест. На стульях и на столе – одежда из опустошенных шкафов. Для полной картины погрома в еврейском местечке не хватало только летающих по дому перьев из выпотрошенных подушек и перин.

Из комнаты в комнату ходил взад-вперед, будто не в силах остановиться, единственный сын Рефоэла, юноша двадцати с лишним лет от роду, недавно демобилизованный из армии офицер и начинающий ученый. Довид Охримов непрерывно нашептывал себе что-то под нос, как делал его отец во время работы над рукописями, отбирая из сонма накопившихся слов наиболее подходящие. Цивья, ангел Рефоэла, лежала на софе с мокрым полотенцем на голове и после каждого вдоха причитала ослабшим голосом: «Ох, Рефоэлке мой, Рефоэлке…»

Меер пытался утешить ее, внушить ей хоть каплю надежды на то, что это еще не конец, но в интонации его Залману слышалось лишь извечное еврейское «Бог дал – Бог взял». Он понимал, что и ему следует предложить какие-то слова утешения, но кроме как «Бог в помощь» придумать ничего не мог: все остальное, что мелькало у него в голове, прозвучало бы еще более неуклюже. Залман словно внезапно позабыл все, что принято говорить на похоронах – а в том, что он попал на похороны, сомневаться не приходилось. Долго стоял он у входа, потом тихими, медленными шагами прошел в комнату, где у окна стоял Меер.

Только сейчас он заметил, насколько постарел Меер Аренс с тех пор, как разразилась новая гроза. В нем уже почти невозможно было узнать того бравого военного, который прошел Первую мировую, чуть ли не с первого до последнего дня сражался с тем же врагом на фронтах Второй, и все еще не утратил молодой лейтенантской удали. Старость настигла его как будто вдруг, одномоментно. Стоящий у окна пожилой человек с опущенной на грудь головой напоминал скорбящего, который только что отсидел семидневный траур.

Спрашивать, что и как именно произошло, смысла не имело –

все было достаточно очевидно. Оправдываться и объяснять, как он оказался здесь, тоже лишнее. Хотя за последнее время стало уже привычным с подозрением смотреть на того, кто приходил в дом в час такой беды… Но ведь Рефоэл вчера сам позвал Залмана. Цивья присутствовала при их разговоре, она в курсе, что он должен был зайти за письмом для Пинхаса.

До сегодняшнего дня за большинством еврейских писателей приходили глубоко за полночь. Пришельцам, видимо, особое удовольствие доставляло поднимать людей с постели в часы самого крепкого сна. Исключение, похоже, сделали только для Полонера. К нему пришли среди бела дня, и еще до заката стало понятно, что вся эта история с якобы приглашением Полонера к самому главному начальнику того самого учреждения была не более чем игрой. Отвратительной, дьявольской игрой. Чтобы не вызвать подозрения у Марка, его жены и сыновей, посланники оттуда даже посоветовали ему надеть самое лучшее, что у него есть. Так принято. Все же на прием к министру едет, да еще к какому!..

С Рефоэлом эту шутку повторять, судя по всему, не стали: его новый костюм и неношеные туфли лежали на полу, в куче выброшенных из шкафов вещей. У Залмана был такой же светло-серый костюм из грубой ткани и яркие полукожаные туфли – подарок от евреев Америки, присланный в ЕАК для еврейских писателей Советского Союза.

Рефоэл, как и сам Залман, так ни разу и не примерил подарка, и не только потому, что, вернувшись из-за границы домой, привез с собой такой запас одежды, что в ближайшие годы ему не понадобилось бы ни покупать новую, ни чинить имеющуюся. Залман же, хоть и не мог похвастаться богатым гардеробом, ни разу не надел обновок по другой причине: ему казалось, что в одинаковых нарядах еврейские писатели походили бы на воспитанников стародавних сиротских приютов.

– Довидл, – упавшим голосом обратилась Цивья к сыну, который продолжал вышагивать туда-обратно по опустевшим комнатам, – ты не помнишь, сынок, папа взял с собой папиросы?

– Нет, мама, не взял.

– Ох ты ж, горе! – Цивья всплеснула руками и попыталась

принять полусидячее положение. – Без папирос папа уехал, несчастье-то какое! Он же не выдержит. Он ведь и часа без курения не может. Что делать, сыночек? А знаешь, сходи-ка ты в лавку, купи там несколько пачек – папирос да сигарет. Я ему отнесу.

– Куда отнесешь, мама? Ты разве знаешь, где он? – У Довида дрожала полная, выдающаяся вперед нижняя губа. На этом его внешнее сходство с отцом заканчивалось. – Сперва надо узнать, куда его увезли и где он сейчас.

– Что значит, где он? Где ж ему еще быть, как не там, где все, – на Лубянке?

– Ваш Довид, милая Цивья, абсолютно прав, – отозвался Меер, перестав пялиться в окно на заснеженный двор. – Сегодня бессмысленно туда идти. Надо переждать несколько дней. Сейчас вам там никто ничего не скажет.

– Да как же вы не понимаете, Меер, дорогой? Он не может обойтись без папирос! Он без них в обморок может упасть! Умереть, не дай бог!

– От этого пока что никто не умер. Мне вот другое весьма удивительно: как так вышло, что у Рефоэла, коль уж он курит так много, не было припасено на всякий случай несколько упаковок? У меня, к примеру, давно уже наготове десяток «Беломора» со спичками – неприкосновенный запас.

– У моего Рефоэла поначалу тоже около того было отложено. Только потом он их понемножку выкурил. В последнее время ведь как-то потише стало…

– Тихо, как перед погромом, – сказал Залман и тут же добавил, – Ровно вчера он мне об этой тишине говорил…

Теперь Меер тоже в курсе, что Залман был здесь и вчера, и может догадаться, что сегодня он зашел по делу, по договоренности. Теперь при Меере больше не нужно слишком тщательно подбирать слова.

Как человек, прошедший две войны, Меер знал, каково приходится солдату, оставшемуся без курева: это тяжелее, чем остаться без хлеба. Он с искренним сочувствием обратился к Цивье:

– А денег вы ему с собой дали? Просто мне говорили, что если туда переправить деньги, там вроде можно кое-что купить.

– Довидл, ты не знаешь, папа взял с собой деньги?

– Всего несколько рублей. Больше ему не дали взять. Огромные часы на стене глуховато отсчитали одиннадцать.

– Что, уже одиннадцать? – Цивья спустила ноги на пол, но при первом же шаге пошатнулась так, что чуть было не упала, и уселась обратно на софу.

– Довидл, ты позвонил бы на работу, сказал бы, что не придешь сегодня. Нам только не хватало, чтобы тебя за прогул с работы выкинули.

– По этому поводу, Цивья, не извольте беспокоиться, – встрял Залман, все еще стоявший у окна, – оттуда сами позвонят куда надо и сообщат кому надо.

Сам не зная, зачем, Залман решил спросить, в котором часу забрали Рефоэла. Хотя не все ли равно, в какое время суток приходят оттуда – в предрассветный ли час, в полночь или в послеобеденную пору?..

– Мы уже спать идти собирались, и тут вдруг звонок в дверь. И такой звонок – мертвого на ноги поднимет! Заявилась в квартиру целая свора и учинила настоящий погром. Целую ночь крушили тут все, да потом еще карманы у Рефоэла вывернули и все спрашивали, нет ли у него оружия. Они только недавно ушли. Ой, Рефолинке мой, Рефолинке…

– Вообще-то обычно у них так заведено: если ночью приходят, то уж дожидаются, пока самый крепкий сон наступит, – сказал Меер с такой интонацией, будто в том, что вчера визитеры пожаловали, когда хозяева еще не легли спать, он углядел чуть ли не проявление милосердия. – Моего соседа по этажу – Сергея Денисовича – на прошлой неделе забрали далеко за полночь. Непонятно, чем такой человек мог против них согрешить. Мы с ним на войне какое-то время в одной части служили. Я столько раз видел, как он бежал в самое пекло и орал во всю глотку «За Родину! За Сталина!» За границей, насколько мне известно, он отродясь не бывал, и в плен не попадал, и анекдотов не травил, да и…

– И, судя по тому, что его зовут Сергей Денисович, он даже не еврей. – Пришел Мееру на подмогу Залман. – Поскольку там считается, что если ты еврей, то, знамо дело, преступник.

– Только не перегибайте палку! – Пламенный коммунист Меер Аренс строго взглянул на не очень благонадежного беспартийного Залмана Мандела и жестом попросил его немного сбавить тон и выражения выбирать поосторожнее, везде же полно ушей… – Евреи в наше время товар, конечно, ходовой, и никто не знает, к чему все это, не дай бог, приведет, но…

– Какое «но»? Откуда? – перебил его Залман. – Или вы сомневаетесь, что со временем мы все там окажемся?

Это могло прозвучать и как нелепая попытка утешить Цивью, прибегнув к аргументу о разделенном горе, которое якобы утешение для каждого. Цивья сидела на софе, скукожившись, и время от времени тяжело вздыхала.

– Цивья, милая, – повернулся к ней Залман, – скажите, как он держался? Сказал он вам что-нибудь перед уходом?

– Что он мог мне сказать? Я и попрощаться-то с ним не успела! Пока дома был, я еще держалась кое-как, а как стали уводить, подошел он ко мне, а я рухнула на пол прямо из рук его, как мешок с картошкой. Сознание потеряла.

– Папа хотел ее поднять – ему не дали. Даже нагнуться к ней не дали, чтобы хоть поцеловать.

– Так он и ушел, а я осталась лежать на полу. Ох, Рефолинке мой… – Цивья закрыла лицо руками и долго не могла прийти в себя. – Они еще несколько связок книг его взяли. И все рукописи. Кабинет его опечатали…

– Это потому, что в папин кабинет есть отдельный вход. Небось, заселят туда кого-нибудь из своих. – Довид махнул рукой, что должно было означать «Пусть делают, что хотят. Нам уже все равно».

Не секрет, что дети редко читают то, что пишут их родители, и это вдвойне верно в случае отпрысков идишских писателей. Помимо всего прочего, сыновья не знали языка, на котором творили их отцы, – он был для них чужим, далеким. Довид, единственный сын Рефоэла, был скорее исключением – он мог и говорить, и читать на идише, но был настолько погружен в науку, что не прочел всех произведений отца, хоть и знал, что тот считается классиком, одним из крупнейших еврейских писателей в мире. Какое-то представление о книгах родителя он, впрочем, все же имел. Да и Рефоэл ни от кого

не скрывал, о чем пишет, тем более от собственного сына. А значит, есть вероятность, что он посвятил Довида и в то, что касалось его ответа на вчерашнее письмо Пинхаса… Залман хотел было спросить об этом Довида напрямую, но что это даст, если оба письма уже находятся там же, где все остальные рукописи Рефоэла?.. И теперь Залман уже не доставит ответное письмо Машбергу. Но на словах он сможет передать ему то, что говорил о нем Рефоэл в присутствии своего ангела-хранителя, своей Цивьи: Пинхас Машберг принадлежит к числу скрытых праведников, на которых держится этот мир…»

Вслед за Залманом, вскользь упомянувшим о своей вчерашней встрече с Рефоэлом – что должно было служить объснением его внезапного появления здесь сегодня, Меер Аренс тоже счел необходимым вставить в разговор свое случайное столкновение с дворничихой, которая, собственно, и сообщила ему страшную новость. Уходили Залман с Меером вместе. Шли рядом молча. Каждый пытался осмыслить чудовищные события последнего времени, включая то, что произошло несколько часов назад.

Аренс тщился понять, какой смысл всемогущему Правителю так обходиться с писателем, который верно служил ему своим великим талантом еще будучи по ту сторону границы, к которому прислушивались во всех странах, которого называли чуть ли не сталинским псалмопевцем?.. И, вернувшись с чужбины, разве не благословлял он Сталина усерднее прочих – «Свят, свят, свят!» – по три раза в день? Из всего этого следует, что дело не в каком-то одном человеке. И не в двух, и не в трех. И признать это Мееру Аренсу, до недавнего времени непоколебимому коммунисту, было нелегко. Происходящему должно быть какое-то иное объяснение – путь дикое, нелепое, но должно быть!

Залман уже давно нашел для себя ответ. Вернее, Мартин помог ему найти ответ, еще на первом их свидании. И сейчас его мучил другой вопрос: почему Рефоэл, которого ценили во всем мире, перед которым были открыты все страны и двери всевозможных редакций, решил вернуться сюда, да еще в такое тревожное время, которое тогда уже наступило? Видимо, не верил он тому, что писали зарубежные газеты о его стране… Но ведь это надо быть слепым и глухим! Или он по России-матушке так истосковался? Да, ностальгия, случается,

все перевешивает. Тем хуже, когда матушка превращается в мачеху. И вот итог: вместо того, чтобы наслаждаться жизнью где-нибудь в Нью-Йорке, Лондоне или Париже, кукует теперь Охримов за решеткой на Лубянке. А могло такое быть, что им иные мотивы двигали? Возможно, не давало ему покоя то, что там он не единственный великий идишский писатель, а лишь один из них? Здесь же – и это он знал наверняка – ему нет равных, и почетное место у Восточной стены советской еврейской литературы ему гарантировано… Впрочем, будь это даже так, в глазах Залмана Рефоэл не стал бы менее великим автором.

Глава 22

Известие о ночном аресте Рефоэла Охримова было не из тех, что путешествуют пешком. Как и в прошлые годы, хватило двух-трех часов, чтобы о нем узнали во всех уголках земли – по крайней мере, в тех странах, где Рефоэл когда-то жил. Должно быть, кто-нибудь из его близких счел необходимым позвонить тамошним евреям, ведь этот жестокий удар был нанесен не только по одной семье, но и по всему народу, чьим достоянием был арестованный…

Так или иначе, пока что Залман с Меером – одни из немногих, кому не придется настраивать радиоприемник на нужную волну «с той стороны», чтобы узнать очередную трагическую новость. Большинство людей получали информацию об арестах еврейских деятелей в СССР именно так, хотя обычно им редко удавалось расслышать больше нескольких слов подряд: сигнал заглушался всевозможными дикими звуками, похожими на скрежет мельничных жерновов.

До минхи[1], как они между собой называли первую радиотрансляцию «с той стороны», еще несколько часов. Может, не стоит отрывать реб Пинхаса от его священной работы? Меер, насколько Залман его знал, тоже не станет звонить Машбергу. Но письмо, как же письмо? Он ведь ждет ответа от Рефоэла. А с другой стороны, они ведь не договаривались, в котором часу Залман должен принести ему ответ...

1 Минха (ивр. – «приношение, дар») – предвечерняя молитва, одна из трех ежедневных молитв.

«Благо тем, кто в нужный час успел – кто пришел, пока еще не поздно!»[1] – вспомнились Залману строки одного стихотворения Меера Аренса. Это он, вероятно, о пророках наших, о Первосвященниках разрушенного Храма… Шлойме Бен-Михоэл, Пинхас Машберг, Рефоэл Охримов, Марк Полонер… А ведь реб Пинхас будто предчувствовал, что нельзя тянуть. Успел-таки «в нужный час» написать Рефоэлу, попросить прощения за все свои несовершенные грехи. А вот Рефоэл ответить ему уже не успел. И теперь Залману придется передавать Машбергу содержание ненаписанного письма. Главное, не забыть ни слова, – твердил себе Залман, глядя на украшенное ледяными узорами окошко трамвая, мчащегося через мост. «Пинхас Машберг – один из скрытых праведников, чьими заслугами все еще существует этот мир». У Залмана, впрочем, были вопросы к этой сентенции: в самом ли деле заслужил сей пропащий мир Пинхаса Машберга, или же прав был Марк Полонер, пришедший к выводу, что мир безнадежен и будет только правильным, если он исчезнет без следа?..

В голове у него вдруг начали пульсировать обрывки нового стихотворения, хотя о чем оно, было пока неясно. Залман только чувствовал, что в нем рождается что-то, что он потом и сам не сможет ни пересказать, ни растолковать. Как невозможно пересказать мелодию молитвы или напев еврея, склонившегося над разворотом Талмуда. Такие стихи слагаются сердцем. И только к нему, к его подсказкам он сейчас прислушивается, все прочее не имеет значения. Завороженный наплывающими строками, Залман пропустил момент, когда кондукторша объявила «Арбатскую площадь» – оттуда он собирался пойти к Натану. С Левитиным у них не было секретов друг от друга. Что ж, остановку он проехал, но оно, может, и к лучшему.

Натан наверняка уже на работе. Можно было бы ему туда позвонить, но не телефонный ведь разговор... Или домашний его номер набрать, сообщить ужасные известия Годл, чтобы передала мужу?

Залман сошел у Никитских ворот и направился к телефону-автомату. Сломан. Другой искать можно долго. Ничего, он от Пинхаса позвонит.

1 Из стихотворения Арона Кушнирова (1890-1949) «Это будет наш последний бой», 1926/1928. (Перев. Л.П.)

В начале Тверского бульвара, перед поворотом на Малую Бронную, где за кулисами закрытого Еврейского театра жил Пинхас Машберг, Залман замедлил ход. Он не то что бы рассчитывал в этот неурочный час наткнуться на прогуливающегося по бульвару Пинхаса. Нет, реб Пинхас, конечно же, уже вернулся с променада в свою полутемную каморку и сейчас сидит в уединении за своей благословенной работой. Но на минутку он ведь теоретически может иногда сделать перерыв и выскочить на бульвар? Здесь как-то сподручнее было бы поговорить, сообщить ему о Рефоэле. Там, за кулисами, могут подслушивать… Лучше подождать немного, покружиться здесь. Есть новости, с которыми не след торопиться.

Подходя к памятнику, Залман увидел Хайкла Вайнкола. Он шел как-то странно, будто с трудом переставляя ноги. И рука его, протянутая Залману для приветствия, была рукой больного человека – холодной и слабой. Сомневаться не приходилось: произошло что-то ужасное. Хайкл, должно быть, прочитал на лице Залмана немой вопрос и запричитал на мотив кадиша:

– Благословен будь, Господь наш, Бог отцов наших. Слава ему, что мы еще видимся. Но тут такое… Я буквально раздавлен. Боже-боже, кого мы потеряли! – Глаза его сожмурились, словно сами собой. На щеках блеснули слезы. – Забрали нынче ночью нашего великого писателя.

Все уже давно привыкли к негласному правилу – не называть тех, кого забрали туда, по имени, а только описательно давать понять, о ком речь. Даже на улице. Нельзя быть уверенным, что никто не услышит, случайно или нарочно. И хотя Залман знал о ночном аресте Рефоэла, намека Хайкла вдруг оказалось недостаточно, ведь великим в народе также называли и другого писателя…

– Что?! – Залман прислонился к ближайшему дереву и, с трудом переводя дыхание, выдавил из себя, – Реб Пинхаса тоже больше нет?

– Почему вы говорите «тоже»? Что, еще кого-то сегодня ночью забрали?

– Рефоэла. Рефоэла Охримова. Обоих наших гениев, наших классиков.

Впору голову пеплом посыпать. Караул кричать…

– Не забывайте, где мы находимся, товарищ Залман. Кругом люди, могут нас, не дай бог, услышать. Стало быть, «Р» теперь тоже нет…

Ни «Р» нету, ни «П»… – И добавил еле слышно, – Под корень они нас разделали, а? И за что? Почему? Только за то, что мы евреи?

– Похоже на то, – ответил Залман.

А что он еще мог ответить? Ему примерно такая перспектива рисовалась еще до того, как новая череда несчастий начала происходить наяву.

Сейчас, когда между ним и Хайклом чуть не произошло недоразумение относительно того, кто именно был арестован, – и все потому, что оба использовали намеки вместо имен, – в памяти Залмана всплыл аналогичный эпизод, когда у Айзика Добрина с Натаном случилась путаница с именами двух других жертв – первых жертв этой волны.

– Уже и спрашивать о новостях страшно. Я в отъезде был больше месяца, у родственников гостил в Одессе. Только вчера вернулся. Там всех еврейских писателей уже взяли, ни одного не осталось. Первым почетного приглашения к завершающей, так сказать, молитве удостоился гуляйпольский[1] цадик[2].

– Кто? Как вы сказали?

– Нахман Ладинер, которого сам Рефоэл провозгласил достойным места у Восточной стены. А «гуляйпольским цадиком», если вы не в курсе, Ладинера нарек тот, кого писатели между собой именовали «чернобыльский магид»[3] – Еремей-переписчик. Он не только прекрасно разбирался в священных книгах и был великолепным оратором, но еще и голосом обладал таким – что хоть сейчас ставь его молитву в Дни Трепета вести. Так вот, Еремей придумал Ладинеру такое прозвище оттого, что тот был земляком Батьки Махно, да к тому же отчаянным безбожником. Правда, на Йом-Киппур он постился – но так, чтобы никто, не дай бог, не узнал, а на Песах тайком ел мацу.

– Неужели за это тоже сажают?

– Ой, дорогой мой товарищ Залман, чтобы вы да такое спрашивали?! Скажите лучше вы мне, за что нынче не сажают? – Как будто

1 Гуляй-Поле/Гуляйполе – село в совр. Запорожской области. По состоянию на 1897 г. там проживало около 1200 евреев.

2 Праведник – духовный лидер хасидской общины.

3 Магид – странствующий религиозный проповедник, нередко являющийся также раввином. Исторически «чернобыльский магид» – раби Менахем-Нахум бар Цви-Гирш Тверский (1730-1797) – ученик отца хасидизма Бааль-Шем-Това, основатель чернобыльской хасидской династии. Зд. перен.

вдруг очнувшись, Вайнкол стал лихорадочно оглядываться, приговаривая теперь уже самому себе, – Потише, товарищ Хайкл, потише.

Не прошло и минуты, как перед Залманом стоял уже совсем другой Хайкл – точь-в-точь как на сцене, разве что без своей фирменной пританцовывающей походочки.

– Так вот. Встречаю я как-то Нахмана. Вообще-то он под Одессой сидел, в деревне, статью сочинял о председателе тамошнего колхоза, в духе – как он сам мне признался – «Сколь прекрасны шатры твои»[1]. И вот с той статьей в портфеле направился он в город, к знакомой машинистке, чтобы она ему это дело перепечатала. И по дороге к ее дому переходим мы с ним, значит, улицу Пушкина, как откуда ни возьмись, останавливается рядом с нами легковушка. Вылезает оттуда паренек в очках и к Нахману подскакивает. И говорит – вежливо, с милой такой улыбочкой. Помните, как у Бабеля? Когда к приставу Беня Крик подкатывает после того, как его ребятушки организовали ночной пожар в полицейском околотке?

– Откуда шествуете, молодой человек?

А Ладинер ведь, как вы знаете, не робкого десятка, смелости ему не занимать. Как-никак из старых еврейских колоний выходец. Это так, к слову пришлось. В общем, если врежет он кому, тот надолго запомнит. И вот Нахман, как ни в чем не бывало, легонько так отталкивает очкарика локотком и говорит:

– А вашей бабушке какая забота, откуда я шествую? Дайте-ка я вас спрошу, вы – откуда едете и куда?

Но паренек тот тоже, надо заметить, не из пугливых оказался. А тут и еще один из машины выскочил – чуть постарше и физически, сразу видно, помощнее. Хватает Ладинера за руку, как клещами, и к себе притягивает:

– Не соблаговолите ли объяснить, откуда вы взяли этот портфель? Нахман как-то резко дернулся, руку высвободил и мне кивает:

– Пойдем, Хайкл.

– Никуда вы, молодой человек, не пойдете, пока не сообщите нам, откуда у вас этот портфель. Или вы хотите, чтобы мы вам сами

1 Отсылка к библейскому стиху: «Сколь прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!» (Чис. 24:5).

сказали? Так пожалуйста! Вы украли его на вокзале, откуда в настоящий момент и следуете.

Нахман громогласно расхохотался.

– Зря смеетесь, молодой человек. Нам и имя ваше известно. Вы Исаак Гуткин.

– Получше вы ничего не могли придумать? – Рассмеялись мы теперь уже оба. Ведь типичная одесская хохма!

Только эти двое молодчиков все не унимались.

– Напрасно хорохоритесь! Все равно придется вам подъехать к нам в милицию, а уж там мы разберемся. Тут недалеко. И пострадавший уже там.

– Ладно, но только при одном условии: мой товарищ поедет со мной. – И Нахман указал на меня.

– Зачем это? – Четырехглазый отвел Нахмана в сторонку и стал ему что-то говорить, совсем тихонько. Я не все смог расслышать.

«Вы полагаете, нам неизвестно, кто вы такой на самом деле? Что имя ваше не Исак Гуткин, а Нахман Ладинер? И что следуете вы сейчас не от вокзала? И что портфель принадлежит вам? Мы все знаем». – Он вытащил из кармана красную книжицу, раскрыл ее и показал Нахману.

За какое-то мгновение Нахман изменился до неузнаваемости. Он покорно залез в машину и беспомощно махнул мне рукой, как будто говорил: «Одному богу ведомо, увидимся ли мы еще когда-нибудь…»

Залмана не слишком удивило известие о том, что Ладинера забрали. Довольно было вспомнить, что о нем хвалебно отзывался Рефоэл Охримов, еще в те годы, когда проживал за границей. Странно другое: почему его просто не взяли? Зачем им понадобилось такую изощренную изгородь городить?

– Ну? Что вы на это скажете? – спросил Хайкл.

– А что я могу сказать? Со временем все мы там окажемся, все до единого, кто когда бы то ни было имел хоть малейшее отношение к еврейским делам…

– Вы так думаете? – Хайкл застыл. – Но вот меня же они не взяли? А к еврейским делам я некоторое отношение, как вы знаете, имею. Впрочем, кто знает, что у них там на уме? Этот, который в очках, небось не стал бы на пустом месте меня расспрашивать, как зовут да где работаю… – Он сделал несколько шагов и снова остановился,

внезапно изменившись в лице. – Эх, как был я дураком, так и остался! Кто меня за язык тянул? Зачем я ему и фамилию свою настоящую выложил, и все остальное? Но одну вещь я все же сделал по-умному! Смылся на следующий день из Одессы в Москву. Каково, а? – И, не дожидаясь реакции Залмана, Хайкл продолжил. – Хотя что я вам говорю, друг вы мой любезный?.. Будто здесь они меня не найдут, если захотят… А как думаете, может… Может, правда, забраться в какую-нибудь глушь? Боюсь только, что и там они меня достанут. Лицо у меня такое. Хоть бороду до пупа отпусти, все равно расшифруют.

У Вайнкола действительно была очень специфическая внешность, и узнавали его все еще за версту. Он всегда как будто посмеивался чему-то. Даже сейчас, сообщая Залману совсем не веселые новости, он не смог сбросить с себя эту улыбочку.

– А спектакль, который они разыграли с Генехом? С Генехом Эрдиным?

Залман не знал более тихого человека, чем Генех, и не читал более невинных стихов, чем его. Писал Эрдин преимущественно о флоре, и каждое растьеньице, каждый цветочек и каждая травинка имели у него собственное имя, как будто все они были его знакомыми… Его-то за что? Перепутал название какого-нибудь сорняка? Это ему засчитали за преступление?

– Эрдин, как и Ладинер, тоже из старых еврейских колоний, вы, наверное, слышали. Только со здоровьем у него, в отличие от Нахмана, не ахти. К тому же близорукость – считай, наполовину слепой. Всю жизнь с белым билетом. И вдруг – такое только в Одессе бывает – присылают ему повестку от военного комиссариата… При том, что война уж несколько лет как закончилась! И велят ему собрать солдатскую пайку про запас и явиться назавтра в такой-то час на вокзал. На курсы военной переквалификации поедет, в Жмеринку. Билет его будет у проводника такого-то вагона такого-то поезда. Как вам придумка? Человеку уже хорошо за сорок. Ружья сроду в руках не держал. Еле видит. И его посылают постигать военную мудрость! Где еще такое возможно, кроме как в Одессе?

Жена с дочерью его проводили, а как поезд тронулся, отправились домой. А там уже поджидает их машина с бравыми молодцами! Ночь напролет погромничали там: половицы вырывали, стены

простукивали… Такие вот спектакли разыгрывают в Одессе с еврейскими писателями. Ну а у нас тут как, в столице, вы не знаете? С Пинхасом они по-простому обошлись, без фокусов. Лия мне рассказала.

– А когда вы узнали, что реб Пинхаса забрали?

– Да вот буквально только что и, можно сказать, совершенно случайно. К Янкеву Шнеерсону ходил, посылочку передать от его одесской родни. А он ведь с Пинхасом прямо дверь в дверь живет. От него и узнал эту прискорбную новость. А Розен ваш, судя по всему, совсем не в себе.

– Что? При чем тут..?

– Ну сами посудите: какой нормальный человек в такое время потащится в Одессу с творческой командировкой? Ясно ведь, как день, что долго ему там гулять не позволят. Заграбастают еще до гуляйпольского цадика с чернобыльским магидом. Так оно и случилось. Когда именно – точно никто не знает. Он просто внезапно взял и исчез, как корова языком. С него, вероятно, и начали. Первым он у них стал… Так вы не хотите зайти к Пинхасу, то есть к Лие? Пойдемте лучше через двор. Хотя там, наверняка, тоже смотрят, кто приходит, кто уходит…

*

В каморке Машберга никаких следов разрушения, все вещи на своих местах, как вчера. Только Лия как будто постарела на несколько лет. В гостях у нее Залман застал профессора Исаака Ниссенбаума. Он сидел у столика, спрятав лицо в ладони, и лишь молча кивнул Залману, когда тот вошел.

Известия об аресте Охримова, судя по всему, не произвели на Лию ошеломляющего впечатления. Залману показалось, что ее скорее удивило бы, сообщи он ей, что Рефоэл на свободе. Как будто для нее было само собой разумеющимся, что фигуры сопоставимого масштаба все должны быть в одном месте – или на свободе, или наоборот, там.

Выслушав в изложении Залмана содержание ненаписанного Рефоэлом письма, Лия заговорила о своей беде:

– Тот, который мне протокол обыска подписать давал, очень удивлялся, даже не скрывал: «Нам сказали, что мы к великому

писателю едем, а писатели ведь самые богатые люди. А тут на тебе: пара стоптанных калош, да и все богатство!» Потом вдруг осекся и совсем уже другим тоном спрашивает: «Чем это ваш муж заслужил такие подарки от американцев, а? Пальто, костюм, туфли… За здорово живешь они таких подношений не делают…» Что я могла ему ответить? Он разве сам не знает, что американцы не только еврейским писателям помогали? Что они посылали одежду и еду многим страждущим – тем, кто вернулся из эвакуации гол как сокол и без гроша за душой?

Исаак Ниссенбаум вслед за Залманом поднялся с места и стал прощаться с Лией:

– Я буду приходить к вам, пока я на свободе. И прошу, не забывайте, что мой дом всегда для вас открыт.

– Спасибо. Этого я никогда не забуду. И вам, милый Залман, спасибо огромное, за весточку от Рефоэла.

Уходя, Залман задержался взглядом на паре поношенных мокроступов у двери.

Глава 23

Когда приходишь домой к человеку, которого только что забрали – возможно, навсегда – и обнаруживаешь там постороннего, невольно начинаешь его подозревать. И в самом деле: время сейчас такое, что люди стараются обходить дом очередной жертвы стороной, даже меняют привычные маршруты, лишь бы не столкнуться случайно с кем-то из его близких… И никаких обид, все все понимают. Страх живет в каждом. Тем не менее сейчас, увидев у Пинхаса в каморке Исаака Ниссенбаума, Залман не испытал ни тревоги, ни даже удивления. Слишком уважал он Исаака, особенно с некоторых пор, когда они стали теснее дружны.

На самом деле все относились к Исааку с почтением. И у каждого, кто знал его лично, в тот или иной момент возникал вопрос: «Что же, к примеру, не хватало такому человеку, который и у себя в стране и за ее пределами слыл одним из величайших знатоков западноевропейской литературы, чтобы он взял да занялся еще и идишской?» К сорока с лишним годам Ниссенбаум уже был доктором наук,

профессором Московского университета, лектором в Институте красной профессуры[1] и Педагогической академии. Служил в редколлегии литературной Энциклопедии и других академических изданий. Выпустил множество книг. Какой же черт его дернул впрячься еще и в неповоротливую и небезопасную телегу идишской словесности? Исаак же охотно отвечал каждому недоумевающему, что литература на идише – его возлюбленная, нареченная, к которой влечет его сердце, переполняясь радостью, хотя она и уступает литературе и русской, и западноевропейской…

Особым уважением Ниссенбаум пользовался у Залмана еще и потому, что был полной противоположностью Эли Левадова, чье имя уже давно стало опасно даже упоминать. Левадов всегда был ангелом-обличителем, который ищет у всякого писателя огрехи, ошибки и незавершенности, а когда находит, не щадит ни кнутов, ни разящих стрел. Ниссенбаум же неизменно выступал ангелом со стороны адвокатуры и в любом произведении первым делом видел достоинства и творческие достижения. Даже внешне он как нельзя лучше подходил на роль защитника: узкое вытянутое лицо с заостренной бородкой, улыбающиеся голубоватые глаза, от которых исходит свет, мягкий голос, свидетельствующий о доброте его обладателя…

Особо острой критики со стороны обвинения удостаивались авторы, жертвующие, по выражению Левадова, «талантологией» в угоду «благочестивой идеологии». Вступаясь за всех, кто попал под беспощадный левадовский кнут, Ниссенбаум приобрел себе славу великодушного либерала, хотя не менее своего визави был на стороне «талантологов» и против «благочестивых идеологов». Самого Залмана, когда на него нападали ревнители генеральной линии, Исаак, впрочем, не спешил защищать. Это, возможно, потому, что в защите он не нуждался. Для него, Залмана, адвокатом выступал сам Эли Левадов…

Ниссенбаум не был бы Ниссенбаумом, если бы не зашел сегодня к Лие Машберг. Да, он по-прежнему остается самим собой.

На улице Исаак обратился к Залману:

1 Институт красной профессуры (1921-1938) – высшее учебное заведение ЦК ВКП(б), где готовили высшие партийные кадры и университетских преподавателей идеологически важных дисциплин.

– Последние новости до вас, полагаю, тоже уже дошли?

– Какие новости? – Залман остановился.

– Ну о том, что к Бен-Шолему домой снова оттуда приходили. Пару вещей его забрали, из верхней одежды. Не заглянуть ли нам к нему?

Они свернули на узкую улочку, где не нужно было непрерывно оглядываться по сторонам, боясь, что тебя услышат. Но говорить все равно лучше потише.

– Вы с Бен-Шолемом, насколько я знаю, близко дружили в последние годы. Ни на что, боже упаси, не намекаю. Я к тому, что вы могли от семьи узнать насчет его… Или вы вообще не допускаете мысли, что он..?

– А вы? – Залман удивленно взглянул на Исаака.

– Я? – Ниссенбаум на несколько секунд застыл в задумчивости, а потом заговорил будто с кафедры, медленно и вдумчиво, чтобы в аудитории успевали записывать его мысли. – Я исхожу из того, что каждый, кто попадает туда, где кончаются надежды, тем самым уже искупает любые свои грехи, даже те, которые тяжело простить. – Он закашлялся от морозного воздуха. – Скажите лучше вот что, друг мой: вы вчера и с Охримовым виделись, и с Машбергом…

По внезапно повисшей паузе Залману показалось, что Исаак хотел спросить его не совсем об этом.

– Как думаете, чувствовали они за собой роковую поступь? Понимали, что ангел смерти уже на подходе?

– Как можно такое спрашивать?

– Ну да, ну да. Так значит, не было по ним заметно?

– Реб Пинхас, – неуверенно ответил Залман, – мне кажется, предчувствовал. Иначе не стал бы Рефоэлу письмо писать, прощения просить… А Рефоэл – нет, думаю, не ожидал, что так скоро его очередь наступит. Возможно, даже надеялся, что его и вовсе не тронут, чтобы в мире буча не поднялась…

– Как же так вышло, что Рефоэл, мудрец Рефоэл дал им себя облапошить? И слепому ведь видно было, к чему все идет… Не знаю, как вы, а я уже давно шаги за собой слышу. Ангел смерти. – Он оглянулся и перешел почти на шепот. – Удивляюсь я, признаться, что

мне еще дозволено ходить на воле. По всем знакам уже там должен был быть…

Уж не собирается ли Ниссенбаум и его призвать к ответу, почему он до сих пор на свободе, когда всем известно, что с Бен-Шолемом он был дружен еще с довоенных времен? – Стоило Залману подумать об этом, как его нагнала еще более тревожная мысль. – А что, если Мартин Константинович – бывший студент Ниссенбаума, из «Красной профессуры»? И не мог ли Исаак узнать от него об их встрече в гостинице на Охотном?

– Ох ты ж! Заболтались мы тут с вами, я чуть не забыл, что у меня через полчаса лекция в институте. Можете поприсутствовать, если желаете. Говорим о Рабле. Только такси мне помогите поймать.

Залману и раньше доводилось присутствовать на лекциях Исаака. Как-то раз, задолго до войны, он попал туда случайно. Денек тогда выдался солнечный, он прогуливался по улице Герцена и на дверях клуба МГУ увидел объявление, что сегодня здесь состоится лекция профессора Ниссенбаума. Вход свободный.

Профессор заметил его среди публики и помахал ему с кафедры рукой, мол, не убегайте сразу, задержитесь после лекции. О чем они тогда беседовали, Залман уже не помнит. Но запало в память то, что Исаак говорил с ним тогда исключительно на идише, хотя вокруг топталась стайка студентов, которые, скорее всего, не понимали ни слова. Ниссенбауму будто было все равно. Или же он, наоборот, давал всем понять, что да, если захочет, будет говорить на еврейском языке, пусть и в присутствии студентов?

В последнюю секунду, когда перед ними наконец остановилось такси, Исаак обратился к Залману:

– Знаете, я передумал. Не обижайтесь, не могу я вас с собой взять. Опасно это. Меня и сегодня уже могут к Охримову с Машбергом определить. Еще до лекции. Или сразу после. Давно уже шаги слышу… Будьте здоровы!

Глава 24

Иного выхода, кроме как вернуться в заснеженную Абезь, Элиша

для себя не видела. Из общежития ее после закрытия училища выписали. Пока что Залман перебрался к Наде, а ей уступил ей свою комнату. Но сколько она там продержится без прописки?

В последние дни Элиша много размышляла о том их разговоре, когда Залман рассказал ей о Наде, почему-то избегая слова «жена». Но почему? Он говорил о ней как о близком друге, за которого он жизнь готов отдать – как и она за него. Говорил, что дружат они уже многие годы, чуть ли не с начала войны. Зачем он ей все это говорил? К тому, что мужчина и женщина могут быть друзьями? У Элиши были сомнения на сей счет. Хотя в ситуации Залмана – не исключено: Надя даже в молодости явно была не из тех, на кого на улицах заглядываются. Но даже если Залман видел в ней только друга, а не женщину, трудно представить, что и Надя не видела в нем мужчину… Для своих сорока с хвостиком он выглядел достаточно молодо. Мог бы позволить себе влюбиться в кого-нибудь помоложе Нади и составить конкуренцию ее юным поклонникам…

Ерунда, конечно. Не ее все это дело. Но она знает, откуда у нее в голове периодически возникают такие мысли. Все оттого, что Яша как-то обратил внимание, что Залман теперь якобы как-то иначе на нее смотрит, не так, как тогда, когда он впервые увидел их вдвоем… Наверное, поэтому Яша с недавних пор невзлюбил Залмана. Больше не говорит о нем с такой же дружеской симпатией, как раньше. Пьесы его не нахваливает, стихи…

Но если Яша и вправду ревнует, если ей не почудилось, то с его стороны это как-то по-детски, чтобы не сказать глупо. Или он слепой и не замечал, как она всякий раз терялась при виде него? Только вот почему после каждой встречи с ним у нее оставалось какое-то смутное, тяжелое чувство?.. Иногда ей кажется, что между ними с самого начала была стена. Его синяя фуражка и светло-серая шинель… И хотя потом с фуражки исчезла звезда, с шинели погоны, стена никуда не делась. А еще Яша в последнее время вел себя с ней как-то странно, все больше молчал… Сейчас, после рассказа Хайкла Вайнкола о том, что произошло в Одессе, она понимает, почему.

Видимо, давно уже ждал, что за ним придут. И всю эту историю с поэмой он выдумал только для того, чтобы ему командировку от Союза писателей дали. Чтобы одним махом – вон из столицы

и с глаз долой! И это тоже, ну разве это не ребячество? Не легкомыслие? Не наивность? Одесса! Нашел город, где спрятаться! Сказал бы ей правду, она бы отыскала ему более подходящее место, где перекантоваться до конца смутных времен… В Абезь ехать не вариант: там не затеряешься, на каждом шагу глаза и уши. Но тундра с ее разбросанными глухими деревушками велика и без Абези.

Ну а теперь… Теперь что толку думать обо всем этом? После всего увиденного и услышанного за годы, проведенные в Коми, в Сибири, в тайге и тундре, ей ли не знать, что будет дальше? Оттуда, куда отвезут Яшу, мало кто возвращается. Двадцать, двадцать пять лет в лагере, еще пяток на поселении…

С Яшиным арестом рухнула ее единственная, последняя надежда. Нет больше той самой пресловутой соломинки, не за что ухватиться. Он обещал ей помощь через своего знакомого полковника. Говорил, что тот разрешит ей навсегда в столице прописаться. Теперь ей к тому полковнику не попасть… Что же остается? Только обратно в Абезь, в вечную мерзлоту… Залман ее, конечно, не выставит. Сколько бы она ни тянула с переездом, он ей и слова не скажет. Но ведь это коммуналка, не отдельная квартира.

Соседи. Долго от них прятаться вряд ли получится.

«Соседей бояться не нужно, – заверил ее как-то Залман. – Евреи. Все понимают, что происходит». Элиша ему тогда напомнила, что помимо соседей есть еще дворник, есть милиция. И дворник с окладистой рыжей бородой, и молодой участковый с острым, пронзительным взглядом уже не раз видели, как она выходила из подъезда. Не сегодня завтра поставят ее перед фактом, что у нее есть двадцать четыре часа, чтобы покинуть город. И Залману это тоже, разумеется, с рук не сойдет. Хорошо еще, если штрафом отделается. Без прописки людей к себе поселил… Хотя Залман не хуже нее все это знает. Он только на время ее у себя поселил. Обещал что-нибудь придумать. Мол, мир не без добрых людей. Даже в самые ужасные времена не все оказываются злодеями, случаются и праведники. И вот она сидит сегодня весь день, запершись в комнате, и ждет, когда Залман принесет ей весточку от своих знакомых праведников, среди которых есть и евреи, и неевреи…

Только предчувствие шепчет ей, что Залман снова вернется от

своих праведников ни с чем, как уже было не раз. Время такое, надо трезво смотреть на вещи. А еще что-то подсказывает ей, что он опять заведет разговор о том, чтобы им пожениться «понарошку». Ведь тогда он сможет прописать ее к себе как законную супругу. Пусть она не волнуется, что им придется жить вместе. Ему есть, где ночевать, она же знает. Так что пусть живет тут столько, сколько потребуется. И о соседях не стоит не беспокоиться – если заметят, что его по ночам дома не бывает и догадаются, что он ненастоящий муж… А даже если дойдет до этого – тоже не беда. Он поменяет свою комнату на такую же в другом районе, а уж тамошним соседям до них точно дела не будет. Мало ли что может происходить между мужем и женой? Тем более когда мужчина в годах, а супруга его юная красотка…

Пока что из всех задумок Залмана больше всего ей по душе был план поселить ее на чьей-нибудь загородной даче. Недельку у одного, пару недель у другого, а там уж и лето, и экзамены в театральные училища. Авось повезет, и она поступит. Недаром же Бен-Михоэл считал, что ей сам бог велел на актерское идти. Экзамены ей не страшны: экзаменаторы ее вряд ли вычислят, ведь внешне в ней почти ничто не выдает еврейку. Разве что анализ крови возьмут, как гитлеровцы делали в Германии, когда подозревали человека в еврействе… Ну а произношение у нее и вовсе безупречное, русское. И потом – может же так быть, что к лету уже рассеется тьма и больше не придется прибегать к конспирации? В мире ведь все меняется, неужели только это кошмарное время будет вечно стоять на месте? С другой стороны, перемены бывают и к худшему. Хотя куда уж хуже, если будь ты даже гений из гениев, стоит тебе в пятом пункте анкеты указать, что ты еврей, и привет: на остальные вопросы можно не отвечать?

– Сколько талантов пропадает, – Элиша вдруг принялась рассуждать вслух, – из-за одного пункта в анкете? И что делать, если иначе я ответить не могу? Не писать же неправду?

И все же теоретически есть вероятность, что судьба ей подыграет и среди экзаменаторов окажутся те самые нееврейские праведники, о которых говорил ей Залман. А пока что нужно продержаться до лета. Как раз сегодня он собирался навестить одного своего доброго знакомого в дачном поселке Кратово и переговорить с ним по поводу

Элиши. Чтобы взял ее к себе на первое время, а там и другое место сыщется. По ее расчетам, Залман уже должен был вернуться. Хотя он мог с вокзала сначала к Наде завернуть, ведь пока Элиша не съехала, его дом – там… Если бы у нее возникло хоть малейшее подозрение, что Залман может попытаться остаться на ночь в одной с ней комнате – при том, что она уверена, что даже в таком случае он ничего бы себе в отношении нее не позволил, – она бы с самого начала отказалась от его гостеприимства! Собрала бы свой фанерный чемоданчик и махнула бы из общаги прямиком на Северный вокзал[1]. Оттуда отправляется воркутинский поезд, который на несколько минут останавливается на заброшенном полустанке «Абезь»…

Солнышко уже скрылось меж кирпичных домов, подсвеченным оставался лишь маленький кусочек неба. В проплывающем облачке Элиша увидела очертания своего дома в далекой тундре, куда солнце давно уже не добиралось. Небеса там сутками напролет словно покрыты пеленой дыма, и единовластная хозяйка над ними – бледная, промерзшая луна. Ей представилась мама: она тоже сидит у окошка – в низенькой избенке, где ей сдают отгороженный угол, – и тоже смотрит вверх, на серое, мутное вечернее небо, на еле видный месяц… Фантазии, фантазии. Разве может мама себе такую роскошь позволить? У нее и времени-то на это нет. Она сейчас небось скребет чьи-нибудь чужие окна. Или полы драит. И все мысли ее – о дочери и о том, кто заменил ей преданного отца, – о Залмане. Мама все еще живет надеждой… А ее дочери тем временем, возможно, суждено вот-вот покинуть столицу и убраться восвояси, ведь кроме тайги да тундры нет на всем белом свете места ни для нее, ни для мамы…

В своих раздумьях Элиша унеслась так далеко в морозную тундру, что, вернувшись в среднюю полосу, обнаружила, что последние закатные лучи уже растаяли и в весеннем небе воцарилась мгла. Вернул ее из далекого далека четырехкратный звонок в дверь. Хотя нет, наверное, звонили все же три раза, а не четыре: вон кто-то из соседей уже пошел открывать. Но через секунду она услышала в коридоре шаги Залмана. Дверь в комнату лучше заранее не открывать, не привлекать внимание соседей лишний раз.

1 Между 1922 и 1955 гг. Ярославский вокзал назывался Северным.

– Знаешь, что сегодня Пурим[1]? – С порога спросил ее Залман, даже не сняв пальто.

– Пурим?

– Ты представляешь? Когда со мной такое случалось? Совершенно из головы вылетело, что сегодня Пурим!

– Пурим? – Снова переспросила Элиша, как будто ждала от него объяснений, что это такое и при чем тут его поездка в Кратово.

Глядя на ее растерянное лицо, Залман действительно чуть было не пустился в объяснения, но Элиша вдруг тихо пропела строку из старинной еврейской песенки: «Нынче Пурим, завтра – все…»

– Рано пока еще отчаиваться, Элишенька! Не думай, что завтра уже все.

В словах его Элиша почему-то услышала приговор: в Кратово у него, видимо, ничего не вышло, а у себя он ее дольше держать не может. А значит, пора ей собираться в путь-дорогу, домой. Весь его вид, казалось, говорил об этом. Наверное, оттуда с ним связались, дали понять, что к чему, а он решил от нее это скрыть, чтоб не расстраивать…

– Ну раз по Пуриму ты специалист, – прознес Залман напевно, как будто читал Свиток Эстер[2], – не стану тебе напоминать ни про подарки, ни про «уши Амана»[3], ни про праздничную трапезу. Так что будь добра, одевайся, и отправимся мы с тобой к Натану на праздник. – Увидев ее неуверенность, он перешел на обычный, будничный тон, – Что ты так на меня смотришь? Боишься, что я, как говорится, не в себе? Наверное, думаешь: «Хорошенькое время для еврейских праздников! Пир во время чумы…»

– Что-то в этом роде. Ваш Натан и вправду должен быть или не совсем в себе, или…

– Да бог с тобой, что ты! – перебил ее Залман.

– Тогда объясните мне одну вещь. Вот сейчас люди даже втроем

1 Пурим (ивр.) – еврейский праздник, установленный в память о том, как в Древней Персии, во времена царя Ахашвероша, евреям удалось избежать уничтожения от рук злодея Амана. Отмечается 14 адара (кон. февраля – нач. марта).

2 Свиток Эстер, он же библейская Книга Эсфири, где повествуется о чудесном избавлении евреев от рук Амана.

3 «Уши Амана» – народное название традиционного еврейского печенья в форме треугольника, которое печется на Пурим.

не собираются, потому что знают, что завтра каждому из них могут самый страшный пункт 58-й статьи пришить – одиннадцатый. А Натан вдруг берет и зазывает к себе полный дом народа и устраивает еврейский праздник? Вы, я вижу, пока не очень разбираетесь в этой статье с ее пунктами, так что просто послушайте меня. Лично я к Натану, в любом случае, не пойду и вам не советую.

– Там только свои будут. Все друг друга по много лет знают. Да, – он торопливо поднялся с места, – я тебе главное забыл сказать. Я в Кратов сегодня не поехал, а то мои знакомые могли счесть, что я к ним на трапезу напросился. К тому же, как ты тонко подметила, если точно не знаешь, с кем в том или ином месте столкнешься, лучше туда и не соваться. Ты все верно говоришь: с незнакомыми нынче осторожнее надо быть, лучше подальше от них держаться. Но у Натана – уверяю тебя! – только безработные идишские писатели будут. И такие же актеры. Те, кто еще не утратил веру в чудо, а в Пурим мы как раз и вспоминаем о великом чуде…

– Так это когда было? В древности. А в наше время… А почему в наше время не случаются чудеса, а? Почему?

Вопрос прозвучал так, будто за отсутствие или наличие чудес отвечал персонально Залман.

– Напрасно думаешь, что сегодня чудес не предвидится. Ты ведь слышала, что в Одессе все еврейских писателей взяли? Так вот, всех забрали, а Яшу нет! На свободе он.

– Кто?

– Да Яша же, Розен. Я его сам видел.

– Где? Когда?

На радостях Элиша чуть было не бросилась на Залмана с объятиями, но вспомнила, что между ним и Яшей в последнее время кошка пробежала и Залман даже посоветовал ей лишнего при Яше не говорить и вообще быть с ним поаккуратнее.

– Когда и где я видел Яшу? – В задумчивости переспросил Залман, словно это чудесное происшествие случилось в стародавние времена, а не сегодня. – В метро, на станции Маяковская, вот где. Спускаюсь я на эскалаторе, а он на соседнем поднимается. Я, честно говоря, сперва глазам своим не поверил. Может, ошибка? Почудилось? Пришлось себя даже ущипнуть. Ведь если уж забирают туда, –

и я не от одной тебя об этом слышал, – то не на день и не на месяц, а на годы, а то и на веки вечные. А тут выходит, что его и месяца не продержали! Но я не обознался. Это был таки он. Я давай ему рукой махать, чтобы он меня наверху подождал. Поднимаюсь, а там кругом толпа народа, у каждого пара ушей, и то, что влетает в одно ухо, далеко не всегда вылетает из другого. Отвел я Розена в сторонку и спрашиваю тихонечко:

– В честь какого же праздника с вами такое чудо сотворилось? Ханука или Пурим?

Смотрит он на меня, как будто не узнает:

– О каком вы чуде говорите? – Недоумение изображает. Ну я тогда прямо решил спросить:

– Давно вы оттуда?

– Откуда?

– Ну, когда приехали?

– Вчера вечером.

– И до сих пор ничего не слышали?

Он снова смотрит на меня так, как на постороннего.

– Что я должен был слышать? Что посадили Охримова и Машберга? Так эта новость давно уже не новость. Или пока меня не было, еще кого-то забрали?

– А с Вайнколом вы в Одессе пересекались?

– Видел его там пару раз. И что с того?

– Выходит, неправду он сказал… – Говорю.

– Какую именно неправду?

– Что вас посадили. Он мне сам это сказал.

– Сумасшедший дом. И за какие подвиги меня, по-вашему, посадить должны были?

– Странные вы вопросы задаете. А гуляйпольского цадика за какие подвиги забрали? А чернобыльского магида? А Генеха Эрдина?

– Так они же одесские. Хотя меня, конечно, тоже достанут, коли будет на то нужда.

– И все же я не вполне понимаю: с чего Хайкл Вайнкол взял, что вы уже там?

– Черт его знает. Может, потому, что перестал меня в городе встречать. Я поменьше старался там маячить, не мозолить людям

глаза. А потом один мой знакомый, бывший еврейский учитель, подал мне идею уехать, не дожидаясь окончания командировки. Он меня на улице случайно увидел и чуть ли не с криками как набросится: «Вы в своем уме или что? Чтобы еврейский писатель, да в такое-то время, добровольно приехал в самый еврейский город – в Одессу?! Уезжайте отсюда немедленно! Послушайте меня! Это я вам как друг советую». Ну я и послушался. А оставшиеся от командировки дни в родном местечке отсиделся. Там до меня и дошли известия об одесских несчастьях. Кто знает, если б разъехались наши все оттуда вовремя, может, удалось бы избежать беды? Хотя от них спрятаться не так-то просто. У них своих ребят везде полно… А насчет местечка – что оно такое, послевоенное местечко? – мне много есть чего порассказать. Я сегодня вечером у Натана буду. Приходите.

Я уж собрался обратно в метро спускаться, а Яша меня останавливает:

– На Пурим, если память мне не изменяет, подарки посылать принято. Я послать ничего уже не успею, так что с собой принесу. Бутылочка водки к праздничному столу, думаю, подойдет? Лишней не будет? Что скажете?

Элиша слушала молча.

– А мы с тобой что в подарок понесем? – Спросил ее Залман, стараясь не показать вида, что заметил ее смятение. – Может, тоже бутылочку захватить, как думаешь? Эх, когда-то у нас фаршированная рыба и латкес считались лучшими еврейскими блюдами, а теперь и водка стала частью еврейской кухни… Скажи мне, что ты стоишь? Почему не одеваешься?

Элиша отвела взгляд и с тревогой в голосе спросила:

– Вы уверены, что там не будет случайных людей? Незнакомых?

– А сама как думаешь? Если б я не был уверен, разве пошел бы я туда, да еще и тебя за собой потащил? Давай, пойдем.

Элиша стыдливо опустила глаза.

– Отвернитесь, пожалуйста, я переоденусь.

– Нечего переодеваться. Царя Ахашвероша и царицы Эстер в списке приглашенных не значится. Можешь появиться как есть.

На всякий случай он все же отвернулся и принялся рассматривать корешки книг на застекленных полках книжного шкафа.

Глава 25

Кажется, Элиша была права, когда пыталась уговорить его воздержаться от сегодняшнего визита к Натану. Жаль только, что осознал он ее правоту слишком поздно, когда пути назад уже не было. Кто-нибудь из знакомых мог заметить его исчезновение и наверняка истолковал бы его как трусость. Но считать себя трусом Залман отказывался. Нет-нет, он отнюдь не трус! На его месте не у каждого хватило бы духу так вести себя с Мартином Константиновичем! Хотя почему ему это сошло с рук, неясно… Для Мартина он, вероятно, запасная фигура в игре. В противном случае его бы забрали в числе первых – он ведь не просто еврей, а еврей самый что ни на есть еврейский. Наивно полагать, что там, где помнят все – и то, что было, и то, чего не было, – вдруг запамятовали, как в Йом-Киппур его видели в одной деревенской молельне с молитвенником в руках…

Да, был с ним такой случай. Правда, к религии он имел отношение весьма косвенное. Залман не отличался особой набожностью и, если и заглядывал в синагогу в дни еврейских праздников, то исключительно для того, чтобы послушать пение кантора, и держаться старался неприметно, чтобы его, не дай бог, не узнали. А тут надо же было такому случиться, что, находясь в командировке, оказался он в некоей еврейской деревушке ровно в Йом-Киппур! Синагоги там никакой не было, но незадолго до того переехал туда из какого-то местечка ночной сторож. У него был свиток Торы и в праздничные дни он уступал молящимся одну из двух комнаток у себя в хате. Там умещался миньян[1] пожилых евреев, еще не забывших, что в эту пору года в страхе трепещет даже рыба в воде. Заходили к гостеприимному сторожу и люди помоложе – чтобы прочесть поминальную молитву, изкор.

С той же целью появился там и Залман.

Не успел чтец дойти до «Ес нишмосой» из «Эйл молэ рахамим», как в комнату вбежал ребенок, внук кого-то из миньяна, и завопил, как на пожаре:

1 Миньян (ивр.) – десять взрослых (старше тринадцати лет и одного дня) евреев-мужчин, необходимых для совершения коллективной молитвы и определенных ритуалов.

– Председатель идет!

Залман догадался, что мальчишку поставили стоять снаружи, «на шухере», как делали в царские времена, когда устраивали подпольные сходки.

От того, что в Судный день полтора десятка человек не вышли в поле, колхоз материально пострадать не мог: хлеб на тот момент уже убрали. И все же, услышав, что приближается председатель – Янкев-Йосеф его звали – молящиеся посбрасывали с себя талесы[1] и пустились наутек, куда глаза глядят. И только он, Залман Мандел, московский гость, командированный от ОЗЕТа, никуда не побежал. Так и стоял на месте, обратившись лицом к восточной стене, с одолженным молитвенником в руках.

Председатель колхоза не задал Залману не единого вопроса, только взглянул, что за книжка у него в руках… Сегодня он, если что, так просто не отделается. И не он один. И даже если Натан на всякий случай поставит на наблюдательную вахту своих Лейзерке с Фейгеле, вряд ли это кому-то поможет…

А тогда, на следующий день после Йом-Киппура, Залман получил депешу от ОЗЕТа. Ему предписывалось прервать командировку и возвратиться в Москву. История с подпольной молельней позднее появилась в газете: автор статьи призывал исключить Залмана Мандела из Московской ассоциации пролетарских писателей.

Странный он все же человек, Натан. Все никак даже мысли допустить не может, что Залман Яшу не на пустом месте подозревает.

Была еше одна причина, почему Залман, подходя с Элишей к воротам двора, где жил Натан, не поддался сомнениям и не повернул назад: приезд Розена вернул ему надежду, что удастся заполучить для Элиши постоянную прописку. А если не постоянную, то хотя бы на длительный срок. Надо думать, у Яши действительно есть такая возможность, иначе не стал бы он разбрасываться обещаниями. Как-никак он там не один год отслужил, немало знакомых, должно быть, имеет… Хотя как с ним там в итоге обошлись? С работы сняли, из партии исключили, до того довели, что он на стройке камни дробит ради куска хлеба… И все это, вероятно, оттого, что он мало

1 Талес (ивр.) – молитвенное покрывало.

того, что еврей, так еще и идишский поэт, а это сейчас, судя по всему, уже совсем страшное преступление, как до войны быть, не дай бог, троцкистом. Кстати, тогда дело касалось не только евреев, даром что Троцкий был одним из них. Тогда страдал каждый, кто в тот или иной период числился в рядах другой партии. Особенно грустные перспективы ожидали тех, кто до революции хоть один день принадлежал к «Бунду»[1].

В былые годы был один рецепт, как еврею себя обезопасить: надеть крестик и время от времени в церковь без шляпы заскакивать. Сегодня такое уже не проходит. Теперь лишь одно средство есть – стать их прислужником, предать позору свой народ, лить на него серу и смолу кипящую, не замечая, что вызываешь омерзение не только у соплеменников, но и у своих новых хозяев, которые в один прекрасный день выбросят тебя, как мусор. Хотя случается, что люди все равно сохраняют какие-то связи. Вот у Яши, по его словам, остались знакомства, которые могут пригодиться в дождливый день…

Волнение Элиши с каждым шагом становилось все более явным. Она все еще силилась понять, как мог Яша не объявиться, если уже вчера приехал? Он будет перед ней, конечно, оправдываться, говорить, что не знал, где ее искать, ведь в общежитии она больше не живет… Не мог же он сам догадаться, что она перебралась к Залману? Ой, а вдруг он, наоборот, знал, и решил, что она с Залманом… в смысле, что у них… Ужас какой!

Гости были в сборе: артисты закрытого театра, несколько бывших студентов закрытой Театральной студии, парочка писателей младшего поколения. К пуримской трапезе они еще не приступали, как будто ждали Залмана с Элишей. С их приходом наступило заметное оживление.

Розена среди собравшихся не оказалось, и Залман почувствовал некоторое облегчение. Не придется так аккуратничать со словами. Впрочем, полностью расслабиться ему не удалось: мешало присутствие незнакомого пожилого мужчины с очками на широковатом

1 Бунд (ид.) – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. Социал-демократическая партия, основана в 1897 г. в Вильно. Не поддержала большевистский переворот 1917 года. Официально прекратила свою деятельность на территории РСФСР в 1921 г.

носу. Судя по тому, что вокруг него образовался целый круг слушателей, он рассказывал нечто в высшей степени занимательное.

– Кто это? – спросил Залман Натана, кивнув на рассказчика.

– Шамай Бинкин. Пойдем, я тебя представлю. Его не надо бояться.

Шамая я знаю еще с тех далеких лет, когда он был «слегка крещеным» евреем, как таких тогда называли, – евсеком. Умнейший человек! В науку потом ушел. Стал доцентом по математике, даже кафедрой успел немного позаведовать. А в душе так и остался евсеком: большим поклонником и знатоком идишской литературы и еврейского театра. С великими нашими был дружен – с Бен-Михоэлом, Машбергом, Орхимовым…

Учитывая характеристику, данную Натаном, Залман ничуть не удивился, когда Шамай Бинкин, как только их представили, пустился легко и непринужденно читать наизусть одно из его давних стихотворений – «Остаться в живых», за которое ему в свое время немало досталось от «благочестивых идеологов». Бывший евсек, вероятно, имел в виду сделать автору приятно, но тому выбор репертуара не пришелся по сердцу, хоть Бинкин и назвал его творение «классическим». Залман уже не раз пожалел, что включил это стихотворение в свой недавно вышедший сборник «Избранное». Надо было последовать примеру Меера Аренса, который еще много лет назад открыто отказался от самого сильного своего текста – от «Кадиша» – и больше никогда не печатал его ни в одном из своих сборников. А для нынешних времен «Кадиш» подходит куда более, чем «Остаться в живых»…

В дверях показался Яша Розен. Залман попытался подмигнуть Бинкину, чтобы остановить его декламацию, но безрезультатно.

Годл вышла в прихожую встретить гостя. Поздравив хозяйку с праздником, Яша передал ей свою шинель без погонов и фуражку без звезды. Поинтересовался, нет ли новостей. Отыскал глазами Залмана и Элишу, которые уже отошли в сторонку от бывшего евсека. Подошел к ним, поприветствовал каждого рукопожатием.

– Залман тебе, наверное, сказал, – обратился Розен к Элише, – я только сегодня приехал.

– Вы же вроде говорили, что вчера прибыли? – Напомнил ему Залман.

– Вчера? Ну да, вчера, но поздно вечером, почти ночью. – И снова повернулся к Элише. – Из общежития тебя пока не выписали, правильно я понимаю?

– Не только выписали, но и выселили.

– Вот оно как. Где же ты теперь живешь?

– Где жить, я бы и сама как-нибудь нашла, если бы у меня было право на прописку. А пока что я у Залмана Наумовича. – Поняв, что это прозвучало двусмысленно, она поспешила добавить, – Он мне уступил свою комнату. Но я там недолго буду. За мной дворник уже следит.

Яша не отводил от нее взгляда, словно ждал, что она себя выдаст, и он прав, думая, что вместе с ней в комнате живет и сам Залман.

– Да уж. От дворника долго не пробегаешь. Как и от участкового. Я в ближайшие дни постараюсь увидеться с моим полковником, из паспортного горотдела. Переговорю с ним. Уверен, он мне не откажет. – Яша нежно взял ее под руку и отвел в сторону.

Среди гостей не было почти никого, кто не посещал бы синагогу по крайней мере раз в году, на «Кол нидре»[1] или на «Изкор». Но уважением у актеров, из всех еврейских праздников, пользовался только Пурим, как имеющий отношение к рождению еврейского театра, к пуримшпилерам[2], которых Бен-Михоэл почтительно именовал не иначе как «нашими праотцами». Гастролируя по стране, Шлойме воодушевленно рассказывал о них на каждой встрече со зрителями.

Откуда возник обычай – еще за несколько лет до войны – на Пурим собираться именно у Натана, Залман затруднился бы ответить. Возможно, так повелось потому, что двери Левитиных были всегда открыты для друзей, а сам Натан и его гостеприимная Годл были крепко-накрепко связаны с театром и с Театральной студией. Скорее всего сыграло свою роль и то, что на самом первом пуримском сборище здесь присутствовали патриархи современного еврейского театра – Шлойме Бен-Михоэл и Биньомин Бен-Арье. Залману запомнилось, как Шлойме тогда продемонстрировал публике свое

1 Кол нидре (арам.) – «все обеты» – молитва, произносимая раз в году, в начале вечерней службы на Йом-Киппур. Молящийся провозглашает отказ от данных им обетов, зароков и клятв.

2 Пуримшпилер – исполнитель пуримшпиля (ид.), традиционного юмористического представления, разыгрываемого на Пурим.

виртуозное искусство опрокидывать стаканчик за стаканчиком, оставаясь трезвым. Если только самую чуточку было заметно, что он хватил лишку, – когда начал высвистывать хасидские нигуны[1].

Чем больше Залман прислушивался к разговорам вокруг, тем больше ему казалось, что за все годы их дружбы он все же не так хорошо узнал Натана, если тот способен вызывать в нем такую смесь гордости и изумления. С одной стороны, в такое время, когда брат избегает брата и самые близкие товарищи не звонят друг другу, Натан делает вид, что ничего экстраординарного не происходит, и продолжает держать свои двери настежь – для всех, как прежде. Тут нужен особенный героизм. С другой же стороны, как можно быть настолько беспечным и безоглядно доверять каждому? Если бы Залман мог предвидеть, что здесь сегодня будет происходить, он бы не пришел.

Теперь Залману стало понятно, откуда Натану были известны некоторые секреты того самого кирпичного дома на Лубянской площади, где окна нижних этажей занавешены, а на остальных решетки. Вероятно, он узнал их от бывшего евсека и бывшего доцента-математика, которому после закрытия евсекций довелось провести в том доме немало времени. Не верить рассказам Натана у Залмана не было оснований, но ему все равно было сложно представить, что точно так же там могут обходиться с болезненным, деликатным Айзиком Добриным, с хрупким Биньомином Бен-Арье, с пожилыми, всемирно известными писателями Рефоэлом Охримовым и Пинхасом Машбергом…

Нет, такое решительно невозможно. В одном у него, впрочем, не было сомнений: если очередь дойдет, не дай бог, до Натана, и там с ним вздумают обращаться так, как рассказывал бывший евсек, он станет им отвечать по законам Торы, по принципу, о котором в первые дни войны напомнил Бен-Михоэл, выступая на еврейском антифашистском митинге в Колонном зале: «Око за око, зуб за зуб». Шлойме тогда имел в виду, конечно, немцев, ну а Натан… Для Натана, кажется, и те, и эти убийцы одним миром мазаны, и эти, пожалуй, похуже тех будут.

Кроме накрахмаленной белоснежной скатерти мало что сегодня

1 Нигун (ивр.) – хасидская молитвенная мелодия без слов.

напоминало пуримские трапезы прошлых лет. Почти все присутствующие, за исключением двух-трех человек, и без праздничных трат не знали, как им пережить завтрашний день. Но не это главное. В конце концов, было бы желание, как-нибудь да ухитрились бы собрать сколько нужно, чтобы купить пару плетеных хал в бывшей Филипповской булочной на улице Горького и живую рыбу в бывшем Елисеевском гастрономе по соседству. Но на душе было так непраздничнo, что всех устраивало, что вместо халы на столе простая буханка черного хлеба, вместо фаршированной рыбы – простая селедка, украшенная кольцами лука, а вместо «ушек Амана» – латкес, картофельные оладьи, которые, впрочем, такая же часть еврейской кухни, как фаршированная рыба или рубленая печень. Ну а пока суд да дело, пока на столе еще не появилась закуска, дядя Эстер – Мордке, он же Хайкл Вайнкол, вместе с царем Ахашверошем и его строптивой царицей Вашти – был готов представить публике пуримшпиль собственного сочинения, причем рифмованный!

– Явись, о прекрасноликая царица Эстер! – Напевно воззвал Хайкл к Годл.

Царица стояла у плиты на кухне и одновременно на двух сковородках жарила латкес. Подготовительную работу выполняла Элиша: она с величайшей тщательностью чистила картошку и натирала ее на терке.

– А ты, Яша, лучше бы оставил в покое эту коробку – все равно глушат – и пару куплетов для царицы наваял, в духе былых пуримшпилей.

– Видишь ли, Хайкл, тут уместнее к нашему драматургу обратиться, – Розен подмигнул в сторону окна, где беседовали Залман с Натаном, и продолжил возиться с радиоприемником. – А коробка… Откуда еще новости узнаешь? Я от одного своего знакомого слышал, что вчера ночью передавали, будто бы на Малаховском кладбище чуть ли не полсотни надгробных плит перебили. А еще передали, что…

– Да мало ли что там передают. Не все надо на веру принимать, – перебил Яшу царь Ахашверош и отошел подальше от включенного транзистора. – Я вообще не желаю знать, что они передают. Вы мне лучше скажите, кого мы ждем? Почему не начинаем? – И запел, перейдя на сценический тембр, – И случилось во дни Ахашвероша,

что царем был над землями от Индии до Эфиопии… И произошла история во время оно…

Царь Персии явно помнил кое-что со времен хедера[1] и мог пересказывать Свиток Эстер и дальше, если бы царица Вашти, как и положено сварливой супруге, не перебила бы его и не обратилась бы своим полуженским-полумужским голосом к Яше:

– Так что там еще передавали? Насчет Малаховского кладбища?

– Я сам ничего не слышал. Но, со слов моего знакомого, за ночь до того или даже в ту же ночь кладбищенскую сторожку подожгли. А утром обоих евреев – и сторожа, и его жену – нашли мертвыми. Пока непонятно, то ли они во сне от дыма задохнулись, то ли…

В эту секунду в комнату вошел Янкев Шнеерсон – высокий, немного полноватый мужчина лет пятидесяти с лишком, с растрепанными, как от сильного ветра, наполовину седыми волосами и мягкими светлыми глазами. Шлойме Бен-Михоэл привез его в Москву из Ташкента, как и Машберга, когда возвращался с театром из эвакуации. И тоже поселил его с женой и дочерью за кулисами театра. До войны Янкев Шнеерсон жил в Одессе, был учителем в еврейской школе.

Для Шлойме этот человек был небывалой находкой, неисчерпаемым источником еврейского фольклора. Кажется, не было на свете такой песенки или хасидской мелодии, которой Янкев бы не знал. Он помнил все до единой байки Хершеле Остропольера, Мотке Хабада, Шайке Файфера[2]. О подвигах и проделках Бени Крика и его ребятишек с одесской Молдаванки мог рассказать не меньше, чем молдаванский летописец Исаак Бабель. И голосом Шнеерсон обладал особенным: была в нем и хасидская восторженность, и канторская глубина.

Теперь в лицедейских услугах Хайкла Вайнкола уже не было нужды. Шнеерсон мог с легкостью сам отыграть весь пуримшпиль по ролям.

– Вот у кого мы скоро все узнаем. – И Хайкл стал пересказывать новоприбывшему услышанные от Розена новости.

1 Хедер – начальная еврейская религиозная школа для мальчиков.

2 Хершеле Острополер, Мотке Хабад, Шайке Файфер – известные острословы в еврейском фольклоре 19 века.

– К превеликому сожалению, это таки правда. Не оттуда знаю. – Он кивнул на радиоприемник. – Мне дочь эти новости привезла. Сегодня ночью.

– Это же бандитизм! Убийцы! – Царица Вашти схватилась за голову.

– Ну а чему тут удивляться, – заметил Янкев, обращаясь как будто к самому себе, – если все время толпу на нас науськивают…

– Когда похороны? – Спросил Натан.

– Хотите поехать? – Янкев не скрывал своего удивления. – Сейчас ведь на электричку сесть значит жизнью рисковать. – Он повернулся к Яше. – Про красковскую историю с того берега еще не передавали?

– А что за история?

– Вы не слышали? В Красково пропал русский мальчик. И кого, как вы думаете, заподозрили? Ну, разумеется, евреев! Дело ведь к Песаху идет. Мацу уже пекут…

– Снова Бейлис[1]? Очередной кровавый навет? Ох, до чего ж мы дожили!

– Чтобы люди в такую чушь верили, и это в наши дни! – вышел из себя обычно сдержанный царь Ахашверош.

– В наши дни как раз все возможно. Если уж удалось убедить публику в том, что евреи Красную площадь хотели взорвать… Я эти бредни с кровавым наветом в электричке слышал. – У Янкева пылало лицо, как будто ему было стыдно, что на праздничной трапезе ему приходится говорить о таких вещах. – Пассажир один рассказывал. А как дорассказал, так весь вагон на меня обернулся и давай глазами сверлить. Ставить под сомнение достоверность рассказа было бессмысленно. Я бы только хуже себе сделал, могли меня и с поезда на полном ходу выкинуть. У некоторых там явно руки чесались. Взгляд убийцы. Мне пришлось пережить погром, и я прекрасно знаю, что это такое. Я вам погромщика за версту определю… И вот сижу я, голову в плечи втянул, пошевелиться боюсь. И вдруг голос позади себя слышу, обычный человеческий голос:

1 Дело Бейлиса (1913) – один из самых громких уголовных процессов в дореволюционной России. Менахем-Мендл Бейлис (1874–1934) был обвинен в ритуальном убийстве ребенка в Киеве в 1911 г. Два года провел в тюрьме. По итогам судов был полностью оправдан.

– Да как вам не стыдно в любую дичь верить, что на евреев навешивают? Что ж позволять себя дурить-то так, а?

На мгновение в вагоне воцарилась тишина. А потом сразу – шум, гам, суматоха, оглохнуть можно:

– Что вы его слушаете, братья-славяне? – Хрипло-пьяным голосом выкрикнул кто-то. – Он же сам еврей!

– Кто еврей? Вот этот? Совсем глаза залил? Не видишь, что он православный?

– Значит, подкупили его евреи.

– Ага, подкупили меня, подкупили.

– И за сколько?

Я хотел посмотреть, кто был тот человек, что вступился за нас, но решил не оборачиваться. Только слушал, что он говорил:

– Злости у меня не хватает на тех, кто всю эту ерунду выдумывает и разносит повсюду! Они ведь тем самым наш, русский народ на весь мир позорят! Да мир не от бомбы погибнет – атомная она там или какая! – от ненависти загнется! Вселять в людей ненависть куда легче, чем потом ее выпалывать. Сейчас вот евреи, кому-то так, видать, нужно. А потом все это дело, как пожар в бурю, и на другие народы перекинется. Сохрани господь впустить в свое сердце ненависть! Нет ничего опаснее. Она всех с лица земли стереть может…

Янкев вздохнул и добавил, уже от себя:

– Кто знает, что еще нас ожидает при этой власти?

– Не цепляйтесь к власти, – перебил Шнеерсона царь Ахашверош, наставив на него ладони, как будто загораживая власть от его нападок. – Товарищ Натан, мы вроде договаривались, что сегодня без этих подходцев обойдемся.

– Мой высокочтимый господин, владыка ста семидесяти семи земель! – обратилась к Ахашверошу вернувшаяся из кухни царица Эстер, краем фартука вытирая с рук кусочки тертого картофеля. – Царской особе так вести себе не подобает. Да и где вы тут подходцы углядели? В том, что евреи вспоминают, что когда-то у них были еврейские детские сады, еврейские школы и библиотеки, клубы и театры, газеты и журналы, и даже институты?! И как на улицах городов евреи легко и свободно разговаривали на идише, а дома не боялись держать еврейские книги? И что теперь…

– Помолчала бы ты лучше, царица Эстер. – Властитель отошел в сторону и отвернулся, что должно было означать: «Что бы вы там ни говорили, мне нет дела, я вас все равно не слушаю».

Дядя Мордке – Хайкл Вайнкол – хоть и видел на лице Ахашвероша испуг от того, что его подданные так неосторожно обращаются со словами, все же не мог не встать на защиту своей племянницы, царицы Эстер, стараясь, впрочем, звучать не так резко, как Янкев.

– Все так, только я вот не уверен, что то, что с нами сейчас происходит, идет от него, – Хайкл взбросил руку высоко над головой. – Он думаю, и знать обо всем этом не знает. Скрывают от него. Как до войны скрывали. Когда еще не смотрели, еврей ты или кто. Я бы даже сказал, что по евреям в те годы меньше проехались, чем по другим. Хотя началось все уже тогда, когда позакрывали еврейские школы и клубы с библиотеками… Но виноват во всем этом Гитлер, да сотрется имя его! С него все началось.

Среди присутствующих, однако, тут же обнаружились несогласные с тем, что вся вина лежит исключительно на Гитлере.

– Гитлера нет уж давно.

– Но учение его живет… – Напомнил дядя царицы Эстер.

– Даже если предположить, что это так, – пустился в философствования самый пожилой из присутствующих актеров, сжимая в кулаке собственный подбородок – эта привычка образовалась у него оттого, что на сцене он с юных лет играл персонажей в годах, и все они как один были бородачами.– что до руководства до сих пор не дошло, что с нами делают. Но ведь у нас там, за высокими окнами, в конце концов, свой человек имеется, один из нас?..

– Вы про Лейзера Кагановича? – Встряла Вашти. – Эх, он уж не тот, что раньше. Увы и увы!

– Потише, друг мой.

– А что я такого сказала? Ничего я особенного не сказала.

– И впрямь. – Поддержал царицу визирь Ахашвероша – немолодой актер, который после закрытия театра переквалифицировался обратно в дамские портные.

Все вдруг оглянулись на Яшу, как будто ожидали его вердикта – дозволительно ли сегодня затрагивать подобные темы. Он ведь

до недавнего времени еще носил синюю фуражку со звездочкой и шинель с синими погонами, и все об этом помнили.

Сочтя молчание Розена за зеленый свет, визирь продолжил мысль, высказанную царицей Вашти:

– Ну ведь правда, увы ему, разве нет? Был наш Лейзер высшей знатью, то ли второй, то ли третий человек в царстве-государстве. А теперь что? Выставили его в прихожую, и когда перечисляют великих мира сего, он в самом хвосте оказывается. А ведь по тому, кого за кем припоминают, можно понять, у кого какие позиции. Или не так, скажете?

– Так и есть, – утвердительно кивнул Яша, что придало царскому советнику еще больше храбрости.

– А помните, фашисты с воздуха листовки сбрасывали? И писали там, что Лейзер, когда овдовел, женился то ли на сестре своей, то ли на дочери? Уж не знаю, откуда они это взяли, только я похожие вещи слышал еще раньше, до войны, причем от разных людей. И коли не врали они, то эта женщина должна стать нашей царицей Эстер: открыть государю глаза на то, что творят с ее народом. А? Что-то не так? Что скажете, Яша?

На сей раз никакого одобрения на лицах слушателей визирь не увидел и замолчал, вероятно, поняв, что все же хватил через край. Хотя кого ему тут опасаться? Все друг друга сто лет знают. Иначе не стали бы сегодня собираться, в такое-то время…

Недолгую паузу прервал Хайкл.

– Господа, перед пуримшпилем не помешало бы спеть что-нибудь в честь праздника. Как в театре у нас заведено было, когда Шлойме Бен-Михоэл – благословенна память его! – перед каждой репетицией просил меня исполнить что-нибудь из канторского репертуара или изобразить местечкового портняжку или сапожника. Шлойме говорил, это нужно, чтобы разжечь священное пламя актерского искусства. Ну а поскольку сегодня у нас в программе пуримшпиль, я хотел бы разжечь в вас божественный огонь небольшой сценкой. Надеюсь, вы поймете, о чем она.

Никто и моргнуть не успел, как Вайнкол вскарабкался на табуретку, и вот перед публикой уже не он, а козлик – старенький, жалкий козлик: сучит копытцами по полю, жует сжатые колоски, и так ему хорошо, что время от времени он не может сдержаться – «Мэ-э-э-э!».

Глядя на то, как самозабвенно Хайкл трясет головой, казалось, что у него вот-вот вырастут рога и козлиная бородка.

– А сейчас, господа, – объявил Вайнкол, спрыгнув с табуретки, – начнем представление! Товарищ Ахашверош, будьте добры, займите ваше место на троне. Да-да, вот здесь.

– А может, отложим спектакль ненадолго? Перед едой в пляс, как говорится, не идут. – Вмешался кто-то из гостей.

– Ну меня вы, допустим, убедили. Но что скажет публика?

– Согласны! Согласны! – отозвались все в один голос.

– Что ж, ежели так…

И Хайкл, подражая Биньомину Бен-Арье в роли шадхена Соловейчика в пьесе «Двести тысяч», принялся рассаживать гостей за столом, потирая руки от удовольствия.

И вот уже Годл с Элишей несут из кухни тарелки, на которых дымятся горяченькие латкес.

Глава 26

Рядом с поджаристыми картофельными оладушками – нарезанные «халы», в роли которых выступает ржаной и пшеничный хлеб. По центру несколько бутылок водки и вина. После того, как Янкев Шнеерсон пропел, пусть и без былого задора, полдюжины песенок с одесской Молдаванки, Хайкл Вайнкол снова перехватил бразды правления и провозгласил громко, но мелодично:

– Господа пуримшпилеры! Публика алчет представления!

– Ваши соседи не против, что мы тут шумим? – спросил Натана бывший евсек Шамай Бинкин.

– У меня все соседи русские, кроме одного.

– Не пойму, что из этого вытекает…

– Знаете, что вы мне напомнили своим вопросом о соседях? Один летний денек много-много лет назад. Я тогда еще был, можно сказать, ребенком, но тот день отложился у меня в памяти на всю жизнь. Раввин нашего местечка призвал нас провести весь следующий день в посте и молитве, в бейс-медреше. Чтобы молили мы Всевышнего отвести от нас угрозу и спасти нас от бандитов, которые

в соседних местечках уже вырезали всех, от мала до велика. А чтобы не возникло никаких подозрений у наших русских соседей, которые хорошо знакомы с еврейским календарем – мол, что за праздник вне расписания, почему евреев не видно ни на рынке, ни в лавках, а все в молельне сидят? – раввин велел заранее проинформировать их, что есть у евреев такой специальный день скорби, который отмечается раз в пятнадцать лет… Ни постом, ни молитвой пощады от Господа добиться не удалось: банду он от нас не отвел. Но русские соседи, как только узнали, что погромщики приближаются к местечку, прибежали в бейс-медреш, чтобы предупредить нас, и через это многим евреям тогда удалось спастись. Вот и я так сегодня поступил. Заранее соседей подготовил, что у нас будут гости. И что за гости – для них тоже не секрет. Мы который год под одной крышей живем. Хотя слишком шуметь, конечно, ни к чему. А вот единственный наш еврейский сосед… Вот его как раз опасаться следует, и даже больше, чем дворников с милицией.

– Господа пуримшпилеры, зритель ждет.

– Подождет ваш зритель, – успокоил Натан суетливого Хайкла, – мы сперва попросим Яшу рассказать нам, что там сейчас с местечками. Он только что оттуда.

– Как это? У нас еще есть еврейские местечки? И в них что, живут евреи? – Изумленно спросил Бинкин, – Я с тех пор, как евсекции прикрыли, там не был… Давайте же послушаем, что теперь делается в наших родных и любимых штетлах[1].

Розен не заставил себя упрашивать:

– Не так уж много штетлов я посетил, чтобы вам исчерпывающую информацию предоставить. Но насколько могу судить из увиденного и услышанного, там везде примерно одно и то же: почти везде еще остались евреи, хотя намного меньше, чем до войны, само собой. И почти все живут в страхе, точь-в-точь как здесь. Так что если думаете воспользоваться одним из местечек как городом-убежищем[2] – у вас не получится. Там за каждым приглядывают, как при румынах: когда узнавали, что кто-то тайком перевез к себе еврея из соседнего

1 Штетл (ид.) – еврейское местечко. (Прим. перев.)

2 Города-убежища (ивр.) – в Библии шесть городов, где могли укрыться от кровной мести те, кто совершил неумышленное убийство.

местечка, которое под контролем немцев было, тут же заставляли его выдать.

– Так и зачем вы тогда туда ездили? – Спросил Залман, чьи подозрения относительно Яши только укрепились после столь смелых речей о страхе, в котором «живут везде». – Вам же в Одессу командировку дали.

– Хорошенькое дело! А что же я, по-вашему, должен был делать, когда узнал, что гуляйпольского цадика забрали и чернобыльского магида заодно? Сидеть и ждать, пока придут и за мной?

«За вами? – Чуть было не взорвался Залман, но вовремя одернул себя и задумался. – Кто знает? Вдруг он все же не тот, за кого я его принимаю? Как-никак, не чужой, да и раскаявшихся испокон веков прощать принято… А может, я и вовсе ошибался в нем с самого начала, а прав был Натан?»

– Вернуться домой до окончания командировки? Это вызвало бы подозрения, – продолжал тем временем Розен, – Надо было где-то перекантоваться оставшиеся дни. И по большому счету я от этого решения выиграл: столько историй услышал, что если писать о них, на всю жизнь хватит! А вот вам Залман, я удивляюсь – почему вы в своих пьесах местечки десятой дорогой обходите? Съездили бы туда хоть на пару недель, на великую драму сюжетов бы накопали, уверяю вас.

– Но вы же сами только что сказали, что на роль города-убежища для еврейских писателей местечки не годятся?

– Ну мне, как видите, повезло. Возможно, и вам повезет. Вернетесь с новой пьесой в голове. Единственный вопрос – где взять еврейский театр, который ее поставит? Хотя если по-русски написать… Вы мне, помнится, сами когда-то давно советовали перейти на русский, нет? А Элише, опять же, если мне память не изменяет, рекомендовали в русское театральное училище податься? – Яша сцедил себе в рюмку оставшиеся на дне бутылки капли вина, как будто давая понять, что сказал все, что хотел, и добавить ему нечего.

Хайкл снова решил взять инициативу в свои руки и произнес:

– Господа бывшие актеры бывшего Московского еврейского государственного театра, мы начинаем представление! Ахашверош, царь над землями от Индии до Эфиопии! Простите! Одевайте-ка обратно

свою бумажную корону и пожалуйте на трон. Вот он тут стоит, вас ждет. – Хайкл указал на табуретку, которую царица Эстер заблаговременно принесла из кухни.

– Слушайте, а как насчет того, – отозвался царь Ахашверош, – чтобы отложить спектакль? На другой раз?

– И на какой примерно раз вы предлагаете его отложить?

– До лучших времен.

– Вы верите в лучшие времена? – Спросила Ахашвероша царица Вашти.

– Или у нас есть выбор? Надо верить. На то ведь мы и евреи – народ жестоковыйный. Народ-упрямец.

– И во что верить прикажете? – Не унимался Залман. – В чудо? Во второе пришествие Пурима? Чудеса, дорогой мой человек, случались когда-то, в незапамятные времена. Сейчас их уже не бывает.

– А я, видите ли, верю, что и в теперешние времена может найтись место пуримскому чуду. Ну, в будущем году[1], как говорится… В смысле, выпьем за счастливый Пурим!

– Итого, значится… Как я понимаю… – с грустью в голосе и запинаясь, будто от неуверенности, отозвался Хайкл, – представление не состоится. Ну а что скажет публика?

– Публика согласна.

– Если не ошибаюсь, – раздался глубокий голос Шамая Бинкина, – это из «Бойтре-разбойника».

– «Когда выходит Бойтре за порог, дрожат деревья…» – с хасидской восторженностью пропел Янкев Шнеерсон, и тут же опомнился и прикрыл рот рукой, обратив извиняющийся взгляд на Натана, в чьем доме он осмелился, хоть и не напрямую, припомнить Сморгонера, имя которого давно уже стало опасно произносить. А Залман услышал в себе другие строки, написанные когда-то им самим: «Зачем в тебя стрела попала, не в меня? Ведь когда лук натянут был, стояли вместе рядом мы…» Это стихотворение свило себе гнездышко в самой глубине его души. Записывая его, Залман думал не только о Сморгонере, но и о народном поэте из Минска[2]. Их обоих

1 «В будущем году – в восстановленном Иерусалиме!» – завершающие строки молитвы «Нэила», произносимой в конце богослужения в Йом-Киппур.

2 И Изи Харик, и Мойше Кульбак были расстреляны в конце октября 1937 года как «враги народа».

заставили навеки замолчать в одни и те же дни, в годы первой, довоенной чумы.

– Ну, за то, чтобы Пурим в будущем году…

Пожелав радушным хозяевам – Годл, Натану и их детишкам – дожить до следующего года и справить более радостный Пурим, гости начали осторожно выбираться из квартиры, как из укрытия, по одному или парами. Предпоследними ушли Яша с Элишей. Она хотела сказать Залману, чтобы он ее дождался – она немного пройдется и сразу обратно, – но не успела. Залман и сам хотел ей сказать, что домой пока не собирается и без нее от Натана, в любом случае, не уйдет. Хотел сказать и не сказал. И не потому, что тот, с кем она ушла, был гораздо моложе его. Нет, Залман сейчас больше думал об Элише. Есть вероятность, что Яша все же поможет ей с пропиской.

– И что теперь делать? – спросил сам у себя Залман, когда все гости разошлись.

– Ну а что ты здесь можешь поделать? – Натан подсел к Залману за низкий столик, где Лейзерке обычно делал уроки. – Раз безопасного места для нас нет и от палачей все равно не скрыться, надо сидеть на месте и ждать. Хотя можно, к примеру… Только не смейся. Знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Давай подъедем в центр, на Горького или на Охотный, и затеем потасовку! Тут-то нас обоих и укатают на нары за хулиганку.

– За хулиганство, мои дорогие, – напомнила им Годл, – сажают всего на две-три недели, если я не ошибаюсь.

– А мы ни на пядь не отступим от теории перманентной революции!

Нас только выпустят, мы тут же снова в драку, и так далее и тому подобное. Пока годика два-три не схлопочем. Только уже не по пятьдесят восьмой, а совсем по другой статье УК, не такой опасной. Как тебе идея?

– Ты мне лучше посоветуй, что с Элишей делать? – Залман поднялся из-за столика и застыл посреди комнаты. – Не могу я ее дольше у себя держать. С дворником еще можно кое-как договориться: дашь ему на бутылку и готово. Но что делать, когда участковый прознает, что у меня человек без прописки живет?

– Здесь можешь не переживать, – успокоил Залмана Натан, – с милицией переговоры точно такие же. Хотя это, конечно, не выход.

– И у Нади невозможно ее поселить. Не то что Надя подозревает… Да и смешно ей было бы подозревать, будто между нами с Элишей существует что-то помимо чистой дружбы. И все же я чувствую, что ее это мучает.

Единственный выход – отвезти ее до экзаменов на какую-нибудь дачу в Подмосковье. А там, может, повезет ей и она поступит в Театральное? Талант у нее есть, я бы даже сказал, большой талант. Жаль, если пропадет он. Так или иначе, возвращаться туда, откуда она приехала, ей нельзя. У меня в Кратово есть один хороший знакомый. Я собирался туда подъехать, но сейчас, когда услышал историю о пропавшем красковском мальчике и сезоне мацы… Боюсь там Элишу оставлять. Кратово ведь совсем от Красково близко…

– Мы бы ее с удовольствием к себе взяли на несколько дней, пока ты подыщешь какой-нибудь вариант, на первое время. Наш еврейский сосед…

Вошла Элиша, впустив в дом свежий весенний холодок. Кажется, она никогда не была так прекрасна и так похожа на Пэпу – ту, какой Залман увидел ее впервые в коммуне халуцим, прибыв туда с Гезкульт-квартетом…

– Что скажешь, Элиша? – Спросил Залман и тут же сам ответил, – Пустые хлопоты, прошлогодний снег?

– С чего вы взяли? И ничего не прошлогодний снег! Яша сказал, что нужно еще немного подождать: он на днях договорится со своим полковником знакомым.

– Московская прописка это, конечно, великое дело, но надо ведь еще иметь, на что жить! Сейчас тут людям даже на черновую работу нелегко устроиться.

– Знаю, Годл Моисеевна, особенно таким, как я.

– А почему ты говоришь «особенно таким, как ты»? У тебя разве написано в паспорте, что ты дочь расстрелянного отца и ссыльной матери? Перед такой красавицей, как ты, дорогая моя, ни один мужчина не устоит. Уж тебе-то, чтобы достать на пропитание, точно

не придется умолять, чтобы тебя пустили конверты клеить, как женам наших арестованных писаталей и актеров.

Элиша покраснела, но не оттого, что зашла речь о ее девичьей красоте. Это для нее не внове. Но в словах Годл сквозил намек – намек, связанный с устройством на работу…

– Мне тоже скоро придется отправиться на поиски пропитания. – Задумчиво произнес Залман. – Я в молодости рисовал неплохо. Шагала или Левитана из меня не вышло, но в школе детей учить рисованию я бы, думаю, мог. А еще можно подучиться немножко – и в бухгалтеры! Мне математика всегда легко давалась. В редакторы я не гожусь: тут, Натан, твой талант нужен. Тебе, я уверен, не грозит остаться без работы.

– Это ты так думаешь. Я же, брат мой любезный, наблюдаю несколько иную картину. Да, пока что я работаю и мной довольны. Но кто может знать, что будет завтра? Помнишь, как у Шолом-Алейхема, когда пристав обращается к Тевье-молочнику? Мы, мол, к тебе, Тевье, ничего не имеем, но ваших нынче везде бьют, так как же я могу тебя обойти? Давай мы тебе хоть рамы порубим: поедет мимо начальство – увидит, что мы тебя не пропустили… Так-то, Залман. И не мне тебе напоминать, что самые рьяные любители помахать топором – вовсе не рабочие и крестьяне, а как раз люди с образованием.

– Ну не все же.

– Да не дай бог! Само собой, не все. Я о тех, что орут во всю глотку, что только они шагают в авангарде человечества. Эти одними рамами не удовольствуются… И знаешь, откуда берется у них такая дикая ненависть к нам?

– Зависть, по-твоему?

– Прежде всего, весьма вероятно, что она самая. Каждый из них ведь только о себе способен думать. И им не просто обидно, что Ландау, Ботвинник, Ойстрах и прочие мировые знаменитости – евреи. Им вообще невыносим факт нашего существования – как напоминание о том, что они-то сравнимых высот не добились. Ослепшие от ненависти, они не в состоянии постичь, что по приказу, даже с самого-самого верха, невозможно стать ни Ландау, ни Ойстрахом, как нельзя стать Ломоносовым, Толстым, Павловым или любым другим

гением, которым гордится весь мир. Как открывается у таких людей рот, когда они кричат, что евреи все захватили да все под себя подмяли, если ни в одном райкоме, ни в одном райисполкоме страны, не говоря уже о более высоких постах, не сыскать даже одной еврейской уборщицы! Там все давно уже «Judenrein»[1].

– Но раньше там недостатка в евреях, положим, не было.

– И это тот грех, за который мы теперь в двадцатикратном размере должны расплачиваться? Как у Иермияху сказано? «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?»[2]

– У одного нашего поэта есть на эту тему чудесное стихотворение, – и Годл с толком, с расстановкой – как в минувшем году Бен-Михоэл на дне рождения Фейгеле – прочла те же короткие строки, надеясь, что помнит их верно.

Молю – будь жизнь его благословенна! –
Чтоб с материнским молоком к нему
Пришло стремленье всей светить Вселенной,
Не навредив[3] народу своему.

– Тут выходит, что народ должен держать себя в руках и не открывать новых звезд, а то, не ровен час, станет для него мир еще темнее. Знаешь, о чем это, Залман? О том нашем наследии, от которого мы до сих пор никак не можем до конца избавиться, и вместо того, чтобы восклицать «Сколь прекрасна ты!»[4], мы все дрожим от страха и занимаемся самобичеванием.

– Извини, Натан, но твоя интерпретация ошибочна. Это не имеет абсолютно ничего общего ни с самоуничижением, ни со страхом, ни уж тем более с субботними песнопениями.

Залман имел право отрицать страх, ведь он же смог его в себе преодолеть? У него же достало мужества не сдаться Мартину Константиновичу, даже когда тот угрожал определить его в «тот самый дом». Хотя, с другой стороны… Почему он прямо сейчас

1 Judenrein (нем.) – зона, «свободная от евреев».
2 Иер. 31:29.
3 В оригинальном переводе Ю. Неймана «Но также и народу своему». Здесь перевод Л.П.
4 Начало одной из субботних молитв.

не расскажет другу о своих встречах с человеком оттуда в гостинице на Охотном Ряду? Что его удерживает? Все же трусость? Или понимание бесполезности таких откровений? Ведь укрыться от чумы все равно негде? И хотя он и сам знает, что негде, недавно, когда по дороге из Кратово он увидел проезжавший мимо состав с известняком, ему захотелось вскочить в открытый грузовой вагон и рвануть аж на край света! Пусть голод и холод, лишь бы подальше отсюда. А ведь раньше он никогда не желал для себя никакой другой земли, кроме той, где родился, и никакого неба, кроме того, что знал с детства.

– Все те, кто насаждает ненависть к нам, явно не отдают себе отчет, какая опасная и какая заразная это болезнь. Никто не в силах предвидеть ее развитие. Она как пожар! Сегодня мы в огне, а завтра пламя может легко перекинуться на другой народ. На дефицит народов наша страна не жалуется…

– Натан, не забывайся, – попыталась осадить мужа Годл. – У стен есть уши.

– Годл, милая, он ведь ничего такого не сказал, чтобы вам уж и собственных стен бояться. – Заступился за товарища Залман. – Я, кстати, так же думаю. Только вот не могу примириться с мыслью, что все идет от него. Просто не понимаю, зачем это ему? Он ведь перед всем миром позорищем предстает!

– Да он давно уже смеется над всем твоим миром! Ты спрашиваешь, зачем ему это? Проще простого: во все времена, когда народу живется туго, достаточно накормить его ненавистью к другому народу. У нас в стране пока что прекрасно срабатывает ненависть к евреям. Особенно с тех пор, как на карте появилось еврейское государство.

– Так ведь наши его чуть ли не первыми приветствовали! Поддерживали…

– Тогда была такая необходимость. А раньше была другая, и он даже пошел на то, чтобы создать Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке. Это игра. Мы – карта в его руках! И он думает, что выигрыш у него уже в кармане… – Натан умолк и вдруг продолжил, без всякой видимой связи, – Не знаю, что там выгорит с работой, но без крыши над головой мы Элишу не оставим.

Элиша осталась ночевать у Левитиных, и Залман мог вернуться к себе в комнату, но все же решил поехать к Наде. Она еще не спала.

– Где ты был так поздно?

– Разве я тебе не говорил, что к Натану собираюсь?

– Я уж не знала, что и думать. Тебе бы лучше дома пока пересидеть. Ты себе не представляешь, что творится. Пошла я сегодня тару сдавать и в приемном пункте, пока очереди ждала, такого о евреях понаслушалась… Хотела было слово вставить, так меня чуть ли не заподозрили, что я сама из ваших – космополитка! Очень мне страшно за тебя, Залман, очень! Уехать бы тебе куда-нибудь, переждать все эти ужасы. А хочешь, я с тобой поеду? Ох, боюсь я за тебя, Залманчик…

В ту ночь Залман почти не спал: лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху.

Глава 27

Сдав очередную порцию переводов из идишских и ивритских газет, Ойзер Норвил собрался было покинуть кабинет Бородулина, но Василий Васильевич попросил его задержаться.

– Вам придется немножко подождать, мы еще не отобрали новые материалы на перевод.

Подождать так подождать. Торопиться ему некуда, свободного времени у него навалом. Ойзеру, правда, показалось, что это лишь предлог, а дело в чем-то другом. Василий Васильевич, наверное, хочет сперва поподробнее изучить его переводы, проверить их соответствие оригиналу – не пропустил ли он чего-нибудь, не смягчил ли какие-то моменты… В том, что от острого глаза Бородулина не укроется ни один изъян, Ойзер уже успел убедиться. Но допущенные им ошибки и раньше были не настолько серьезны, чтобы он утратил доверие начальства и вернулся в ряды безработных, без единого шанса где-то устроиться. А в этот раз он и вовсе уверен, что Василию Васильевичу не удастся отыскать ни малейшего повода для выговора, сколько бы он ни читал и ни перечитывал. Ойзер, словно переписчик, корпящий над новым свитком Торы, следовал за каждой буквой оригинала. Никаких смягчений – для каждого

выражения, для каждой интонации он старался найти самые точные слова.

Внимательно просмотрев перевод, Бородулин принялся что-то записывать у себя в блокноте. У Ойзера внезапно улетучилась вся его уверенность. Он еще больше съежился, втянул голову в свои узкие плечи, стал совсем маленьким – еле разглядишь.

– Что? – Переспросил Ойзер, хотя Василий Васильевич обратился не к нему, а к женщине в пенсне на изрытом оспинами лице. Она неслышно вошла в кабинет и положила на стол тоненькую стопку газет.

Неужели из-за этих нескольких газетенок ему пришлось ждать? А в прошлый раз он отсюда тащил огромную кипу бумаг… И ждать ни минуты не пришлось… Все уже заранее было подготовлено.

– Ну вот, – Бородулин жестом пригласил Норвила присесть поближе к столу и стал извиняться за то, что сегодня для него так мало материала. – Зато в следующий раз вас будет ждать целая гора… неподъемная! Я вам так скажу: мы очень довольны вашей работой. Но мне как-то удивительно: откуда у вас такой богатый русский язык – вы, наверное, в русской среде выросли?

– Нет, вырос я как раз в еврейской среде, в настоящем еврейском городе, в Слуцке.

– Хм, я и понятия не имел, что Слуцк – еврейский город. До сегодняшнего дня мне казалось, что это город белорусский.

– Белорусский, разумеется, белорусский! – Поспешил исправить свою оплошность Ойзер. – Я просто хотел сказать, что в прежние годы в Слуцке жило много евреев, и я вырос на еврейской улице и в еврейском дворе.

– Не о том речь. Да, в городах и впрямь всегда было много евреев, я бы даже сказал, слишком много. Но тогда тем более, откуда ж русский-то у вас такой хороший? Ведь родной ваш язык – судя по тому, что вы работали в Еврейской библиотеке, – все же идиш?

– Само собой. Но я изучал русский, экстерном русскую гимназию окончил.

– Из чего можно заключить, что в старые времена в гимназиях русский язык преподавали куда лучше, чем в сегодняшних школах… Разве не так?

Ойзер ничего не ответил, только пожал плечами. Это могло означать что-то вроде «К чему вы меня спрашиваете, если и сами знаете?» или «Откуда же мне знать, я ведь в силу возраста в нынешних школах поучиться не успел…» Он встал.

– Что вы вскочили? Присядьте, присядьте.

– Спасибо. – Ойзер понял, что разговор не закончен. Похоже, Бородулину нужно выяснить еще какие-то моменты, без которых он не может доверить ему новую работу… Как бы то ни было, со словами надо быть поосторожнее.

Бородулин встал из-за стола. Ойзер поднялся вслед за ним. Хозяин кабинета снова жестом пригласил его садиться, а сам, засунув руки в карманы пиджака так, что снаружи оставались только большие пальцы, начал расхаживать от стола к окну и обратно. Ойзер следил за его шагами, не сомневаясь, что видит перед собой кадрового офицера, хоть и одетого по гражданке: светло-синий костюм, белоснежная рубашка, галстук, туфли на высокой платформе. Профессионального военного узнать нетрудно. Этой науке Ойзер быстро обучился, когда попал в ополчение.

Странное дело. Никто не верит, что он был в ополчении. Василий Васильевич тоже, наверняка, не поверил бы. С такой близорукостью ведь никуда не берут – ни в стройбат, ни в хозяйственный взвод. Ойзер знал об этом, когда шел записываться на фронт, но ему все же удалось перехитрить медкомиссию. Он заблаговременно выучил наизусть все десять строк таблицы[1]. Зазубрил, как азбуку. Среди ночи разбуди его, оттараторит без запинки. Впрочем, чтобы не вызвать подозрений – ведь как могут такие близорукие глаза разглядеть все буквочки сверху донизу? – во время осмотра он дошел только до седьмой строки…

– Да, моя вина. Хотя еще не поздно. – Произнес Бородулин, как будто обращаясь к самому себе, но долго томить недоумевающего Ойзера не стал. – Я забыл вам сказать, что, во-первых, под каждым переводом должна стоять ваша подпись. Но это-то как раз можно прямо здесь исправить.

1 Таблица для проверки остроты зрения, разработанная советским офтальмологом Д.А. Сивцевым в 1925 году. Содержит 12 строк.

– Нет, вы мне говорили, еще в самом начале. Мне кажется, я везде подписывался.

– Тогда другое дело! Но я, похоже, не сказал вам, что помимо подписи под каждым переводом должны быть подробные биографические сведения об авторе. Или об этом я вам тоже уже говорил?

– Нет. – Из более развернутого ответа Бородулин сразу понял бы, что, знай Ойзер о таком нюансе заранее, ему бы и в голову не пришло сюда на работу устраиваться.

– Стало быть, забыл… Что ж, думаю, для вас не секрет, что вы не единственный, кто может делать для нас переводы с идиша и иврита. Много кто может, пусть даже и не таким литературным стилем, как вы. Но для нас это, в сущности, не слишком важно. Мы же не книжки издаем, нам это так, просто ознакомиться. Однако вы, насколько нам известно, единственный из переводчиков, кто может нам подробно рассказать об авторах и их работах. И не суть, арестован ли автор, на свободе ли он. Вам это должно быть все равно. Думаю, вы меня поняли.

Ойзер почувствовал, как стул выскальзывает из-под него. Бледнее мела, он схватился за сиденье, как вцепляются в кресло пациенты у дантиста, когда предстоит вырвать зуб. От нервного напряжения он вдруг начал заикаться:

– М-м-мне не-е-е-чего о ни-и-их рас-с-с-ка-зы-зыва-ать.

– Ну-ну-ну! – добродушно погрозил ему пальцем Бородулин. – Вы же их всех не один день знаете, мы в курсе.

– Да. Я действительно знаю еврейских писателей не один день, но не близко, я даже на «ты» ни с кем из них не был.

– Ни с кем? – Василий Васильевич не отводил от него взгляда.

Ойзер задумался. Он перебирал в уме всех московских идишских писателей, пытаясь вспомнить, с кем он когда-либо был на «ты», хотя бы в молодости.

– Это, в конце концов, не так важно. На ты, на вы… – В голосе Бородулина снова зазвучали сухие военные нотки. – Но знаете вы их, сами же признаетесь, не один год. Разве из этого не следует, что вы знаете их достаточно близко?

Бородулин вернулся к столу, но садиться не стал, только облокотился обеими руками о спинку кресла.

– Уверен, – продолжил он, раскачиваясь на кончиках пальцев, –

вы помните, что именно вы для нас переводили. Если нет, я вам списочек могу вручить. У меня подготовлен.

– Не нужно. Я помню. – Ойзер поднял взгляд и тут же снова уперся глазами в пол. – Но я же не знаю ничего…

– Ойзер Абрамович!

Под Бородулиным скрипнуло кресло. Втянув голову еще глубже в плечи, Ойзер через силу пробормотал:

– Подскажите… Что нужно писать?

– Хватит валять ваньку, Ойзер Абрамович! Вы же умный, образованный человек, а у меня подсказок просите! Это же ваши добрые знакомые. Пишите все, что вам о них известно. Все! Понятно? Без этой информации ваши переводы недействительны. Каждый, каждый перевод должен сопровождаться – Подробной. Биографией. Автора. Да, и библиографией тоже. Ясно? Постарайтесь подготовить мне в ближайшие дни.

Он перестал раскачиваться, пододвинул к себе открытую папку и погрузился в чтение, как будто забыв о присутствии в его кабинете постороннего. Ойзер счел это сигналом, что аудиенция окончена и он может быть свободен.

Сгорбившись так, словно несколько газетных листов оказались для него непосильной ношей, Ойзер вышел из кабинета Бородулина и застыл. Прошел несколько шагов и снова остановился. В какой стороне выход?

Сколько бы он ни проигрывал в уме весь разговор с Бородулиным, так и не мог понять, что от него требуется. Если бы дело касалось хотя бы только тех, кто еще остался на свободе… Но ведь нет, речь идет и о тех, кто уже там, а уж там о них и так все знают… Тогда зачем им понадобилось, чтобы еще он что-то писал? Разве не очевидно, что не может Ойзер Норвил знать больше, чем те, кто занимается писателями там?

Одну глупость в разговоре он все же допустил: когда Василий Васильевич сказал, что без биографических и библиографических сведений он не примет переводы, Ойзеру следовало ответить, что он готов вернуть все полученные деньги, за все то время, что он здесь проработал.

А с другой стороны, – мысленно рассуждал Ойзер, как будто обращаясь к кому-то другому и подкрепляя свои слова жестами, –

никакой неправды и не надо! Пиши только то, что знаешь, всего-то! Да и что крамольного ты, в сущности, можешь написать, если при тебе никто из писателей действительно не произнес дурного слова ни о нем, ни об этой стране, ни об этой власти? Ведь каждый из них только и делал, что восхвалял и благословлял его, что устно, что на письме…

Через несколько дней Ойзер принес перевод одного старого рассказа Меера Аренса и стенограммы выступления Пинхаса Машберга на литературном вечере, напечатанной много лет назад в иностранной коммунистической газете. Бородулина он на работе не застал. Переводы приняла у него та рябая женщина в пенсне, которую он видел в прошлый раз.

– Я не знаю, дождетесь ли вы сегодня Василия Васильевича, – предупредила она Ойзера. – Если он и появится, то ближе к концу рабочего дня. У него есть ваш телефон? Он вам позвонит. Не волнуйтесь, я ему все передам. Приходите в конце недели. Я к тому времени как раз подготовлю вам новый материал. Без работы вы у нас не останетесь.

Сегодня, выйдя из здания библиотеки, Ойзер, наконец, вздохнул полной грудью. Будто камень с плеч. Все! Нет причин себя мучить! Он ни о ком не написал ничего такого, что можно было бы превратно истолковать.

Единственный, кому его писанина способна навредить, это он сам.

Жена попросила забрать из ремонта ее зонтик. Запоздалая весна добралась и до закрытого дворика, где находилось ателье, но здесь солнцу было больше работы, чем на открытых улицах: кроме него некому убрать здесь сугробы и раздробить лед. Лужи, прилипающая к ногам грязь, протянутые в голубеющую высь голые ветки деревьев – все это напомнило Норвилу канун праздника Песах, к которому в Слуцке начинали готовиться чуть ли не сразу после Пурима.

Он покинул Слуцк много лет назад, и с тех пор ни разу не присутствовал на пасхальной трапезе, хотя мацу раз в год покупал исправно. Сейчас первый год, когда он без мацы. Люди теперь боятся ходить в синагогу, как боялись идти в театр в последние месяцы перед его закрытием. Тот, кто решался рискнуть, посылал за мацой детей помладше. Ойзер тоже мог бы послать в синагогу своего сына, но служкой там нынче подвизался Цемах Абель, некогда сочинитель атеистических

брошюрок о жестоком еврейском боге и отсталых евреях-фанатиках. От человека, который может с такой легкостью менять веру на безверие, а безверие на веру, всего можно ожидать. Кстати, Абель как раз был очень дружен с идишскими писателями, гораздо ближе, чем он, Ойзер. Он вспомнил шестидесятилетие Абеля. Ему тогда устроили поистине королевское застолье: накупили в Елисеевском гастрономе целые сумки деликатесов, еле донесли. До войны еще дело было. А как чествовали его, дифирамбы какие пели! Добрый ангел Рефоэла, мудрая Цивья, наслушавшись хвалебных речей, сказала мужу: «Ну, признайся уже, что все твои романы и рассказы тоже Цемах написал…» Ойзер, конечно, тоже присутствовал на этом спектакле и, как все, тоже вписал что-то полушуточное в подаренный юбиляру альбом. Но с того вечера минуло много, много лет. А сегодня, когда отец остерегается собственного сына, а брат опасливо смотрит на брата, разве можно полагаться на такого, как Абель? Сейчас за покупку мацы и работу недолго потерять. Да и других евреев просить, как в прежние времена, теперь никак нельзя. Хотя, наверное, можно соседского русского мальчишку попросить за мацой сбегать…

В конце недели ему позвонил Василий Васильевич и велел назавтра явиться в библиотеку к одиннадцати утра.

Ойзер не успел закрыть за собой дверь кабинета, как Бородулин набросился на него чуть ли не с кулаками.

– Что за бред вы мне тут накалякали? Что это за ахинея? – Он выхватил из папки исписанный листок бумаги и начал размахивать им у Ойзера перед носом. – Вы думаете, мы тут с вами в игрушки играем? Здесь вам не детский сад! Вот это все… Мы и без вас все это знаем. Нечего дурачком прикидываться! Вы и сами прекрасно понимаете, что не этого мы от вас ждали.

– Я о них написал все, что знаю… – Чуть слышно пролепетал Ойзер пересохшими губами.

– Кого вы хотите обмануть? Нас? – Василий Васильевич остановился напротив Ойзера, ожидая, когда тот оторвет глаза от пола. – Вы отдаете себе отчет, где находитесь? Или вам напомнить? По имеющимся у нас сведениям, вы близко общались со всеми, кто имел отношение к так называемой еврейской культуре. И, соответственно, не могли не знать, о чем разговаривали все эти люди.

– О литературе разговаривали. О театре…

– И больше ни о чем?

– Ну да.

– И больше ни о чем!? – Переспросил Бородулин еще громче. – И о том, почему у вас все позакрывали, а многих из вас арестовали, – об этом они тоже не разговаривали? Ни словечка, а? – И уж совсем неожиданно, без всякого перехода, задал следующий вопрос: – Когда вы в последний раз виделись с Голдой Меир?

У Ойзера перехватило дыхание.

– Почему вы не отвечаете, когда вас спрашивают? Когда и где вы в последний раз встречались с Голдой Меир?

– Я с ней вообще не встречался. В Еврейскую библиотеку, где я работал, она никогда не приходила.

– Значит, ни разу, говорите? А что, если я вам покажу фотографию, где вы стоите рядом с ней возле синагоги?

– Я и вспомнить не могу, когда был в синагоге. Лет тридцать назад уж точно, а то и больше.

– Послушайте, Ойзер Абрамович, – Василий Васильевич повернулся к столу и взял паузу, как будто пытаясь взять себя в руки, унять бушующую в нем ненависть к стоящему напротив низкорослому щуплому еврейчику с длинноватым заостренным носом. Совладав с собой, он по-отечески мягко продолжил. – Вы полагаете, я не знаю, что вы обо мне думаете? Но вы ошибаетесь. Я же вам добра желаю. И делаю вам одно лишь добро. А взамен прошу какую-то малость. Вот вам бумага и ручка. Садитесь сюда за столик и пишите нам обо всем, что вы знаете о ваших еврейских писателях, о сотрудниках Еврейского так называемого Антифашистского комитета, где вы нередко бывали. Как видите, мы о вас знаем больше, чем вы думали.

Не двигаясь с места, Ойзер пробормотал сквозь внезапно возникшую икоту:

– Что я могу написать, если больше ничего о них не знаю?

– Что ж, хорошо. – Бородулину явно становилось все труднее сдерживать в себе накопившуюся злобу. – Мое дело было вас предупредить. Но вам, вижу, не терпится попасть туда, где сидят ваши друзья. Я вам хоть сегодня могу такое одолжение сделать! Ну?

Ойзер молчал. Не исключено, что хозяин кабинета, до того, как начал здесь служить, был актером. Удивительно, как быстро изменялся его голос, почти молниеносно. Сейчас он вновь стал спокойным и мягким.

– Вам у меня в кабинете, наверное, не очень удобно писать. Так ступайте домой, обдумайте все как следует и изложите нам подробно. Только не забудьте, о чем я вам говорил – и сегодня, и в прошлый раз. Я очень надеюсь, что вы меня поняли. Завтра, самое позднее послезавтра, вы должны все сдать. Я отъеду на несколько дней, но это ничего не меняет. Я вас сейчас познакомлю с одним человеком, ему все и передадите. Да, и дальше тоже он будет с вами связь поддерживать. – Бородулин снял трубку вычищенного до блеска белого телефона. – Олег Алексеевич, я вас жду.

Вошедший молодой человек – рослый, с зачесанными назад густыми волосами и сочными, как у девицы, губами – показался Ойзеру знакомым. Где он мог его раньше видеть?

– Олег Алексеевич, это Ойзер Абрамович Норвил, о котором я вам рассказывал. Прошу вас обсудить с ним его дальнейшую работу. А пока вот, почитайте, что он тут написал.

Минуту спустя Ойзер вспомнил, где он видел этого юношу. У себя, в Еврейской библиотеке, недели за две-три до того, как ее закрыли. И был он там не один, а с Розеном. Наверное, хороший знакомый Яши. Они вместе перелистывали подшивки старых газет, еще довоенных. Молодой человек периодически записывал что-то себе в блокнотик. Ойзер не придал этому значения. Многие читатели, работающие со старыми газетами и журналами, что-то оттуда выписывают…

– Вы где живете? – Спросил его новый старый знакомый, но ответа дожидаться не стал. Понимал, что в какой бы части города Ойзер ни жил, он явится, куда ему скажут, и с точностью до минуты.

– Послезавтра в одиннадцать часов утра вы должны быть у выхода из метро «Сокол». – Ровным тоном произнес Олег Алексеевич.

– Там два выхода.

– Ждите меня у выхода к Песчаной улице. Бородулин снова взялся за трубку телефона.

– Берта Адамовна, вы уже подобрали нужные газеты? Так несите мне их сюда.

*

От Бородулина Ойзер вышел около полудня, а когда подходил к дому, с единственного освещенного лоскутка неба, как лампочка из разбитого окошка, смотрела луна. Она застыла, словно раздумывая, куда дальше – еще немного сопроводить бредущего внизу человека или поплыть в другую сторону?

На вопрос Ханы, где он пропадал весь день, ответа у него не нашлось. Он и сам не знал, где. Обошел, наверное, полгорода, избегая людных улиц, забирался в самые узкие, извилистые переулочки и все думал, думал об одном… Почему Розен так убеждал его, чуть ли не уговаривал, устроиться туда на работу? Он ведь, конечно же, из добрых побуждений это делал, ради блага ближнего. А получилось… Хотя откуда Розену было знать, что творится здесь в глубине двора, внутри здания этой странной библиотеки без вывески? Хотя насчет Олега Алексеевича и чем он там занимается – даже Ойзеру более-менее понятно, а уж Яша и подавно должен был догадаться, и почему тогда не предупредил?

В окрестностях Киевского вокзала, на Бородинском мосту, что через Москву-реку, Ойзер несколько раз останавливался и затуманенным взглядом провожал первых вестников весеннего ледохода, постепенно погружавшихся в грязно-серую воду. Одна льдинка с дрейфующими на ней воронами скрылась под мостом. Ойзер перешел на другую сторону и стал с нетерпением ждать ее, но она все не показывалась. Наверное, запуталась там между перекрещенными балками и вырваться не может… Ойзер перегнулся через поручень, оторвав стопы от земли. Он висел так, вглядываясь в воду, довольно долго, как будто ждал, что кто-то подтолкнет его сзади… Он не стал бы сопротивляться…

Что же писать? У кого искать совета? О себе он готов написать все, ни от чего не открещиваясь. При приеме на работу, заполняя кучу анкет, Ойзер ни в одной из них не указал, что некоторое время состоял в «Бунде», а перед тем, как переехать в Москву, жил в Крыму, в общине халуцим. Он готов и об этом написать, хоть и знает наперед, чем это чревато. Нынешние хозяева страны делают вид, что забыли, как бундисты, наравне с революционерами из других партий, сидели по царским тюрьмам, мерзли на каторге и в ссылках. Теперешние

властители приравнивают «Бунд» чуть ли не к фашистской партии, а каждый, кто в те далекие годы состоял в нем, для них ничем не лучше национал-социалиста.

Не дай бог, кто-нибудь услышит его мысли… Ойзер как будто перестал доверять даже самому себе. Крепко сжал губы, зашагал прочь.

Тот, с кем ему послезавтра предстоит встретиться у выхода из метро «Сокол», возможно, уже не отпустит его домой, увезет туда же, куда несколько дней назад увезли очередного заложника, поэта Аврома Миллера, певца бердичевских Песков[1]. Забрали его, как рассказывают, прямо на улице, среди бела дня. А еще двух писательских жен вместе с детьми выслали куда-то далеко-далеко в Сибирь. Та же участь рано или поздно ожидает и его жену с детьми. Что же ему делать? Что делать? Разве только… Его снова потянуло к мосту. Он вернулся и опять стал всматриваться в водную глубь, еще ниже перегнувшись через поручень… Но до послезавтра у него еще есть целый день, чтобы что-то придумать.

Следующий день у Ойзера целиком ушел на то, чтобы заполнить половину синей ученической тетрадки описанием самых важных событий его жизни, включая те, что кто-то мог бы счесть пятном на его биографии. Например, однажды, получая зарплату за переводы, он нарушил наказ Бородулина и расписался в ведомости своей настоящей фамилией, а не псевдонимом «Овин». Господь свидетель, он не имел злого умысла. Исключительно по невнимательности.

Эта наполовину исписанная синяя тетрадка станет его свидетелем. Она расскажет правду, докажет, что руки его чисты, что на его совести нет пролитой крови. И даже если тетрадка попадет в руки к ним, что с того? Для них там не будет ничего нового.

Утром следующего дня он, как было назначено, стоял рядом с метро «Сокол», у выхода к Песчаной улице. Появился Олег Алексеевич, подмигнул ему, кивнул, мол, надо отойти в сторонку, подальше от людского потока, что они и сделали. И снова подмигнул – теперь это, видимо, сигнал, что Ойзер может отдать ему то, что принес: подробную биографическую и библиографическую справку на каждого литератора, чьи тексты он переводил из иностранных газет.

1 Пески – бедный еврейский район дореволюционного Бердичева.

– Мне нечего вам передать. Я ничего не принес.

– Что? Не понимаю, что вы такое говорите. В смысле… Дома забыли?

– Я не забыл, мне просто нечего было приносить. – Ойзер испуганно оглянулся, не поджидает ли его где-то неподалеку черный тюремный воронок. – Мне нечего писать о них. Я ни от кого из них никогда не слышал дурного слова о нашей стране. – Помолчав несколько секунд, он повторил фразу, записанную им накануне в синей тетрадке, – Нет людей более верных и преданных советской власти, чем евреи.

Куда повел его за собой Олег Алексеевич, Ойзер не спросил. Он старался не отставать, но это было нелегко. Молодой человек шел широкими торопливыми шагами. За одно движение он преодолевал большее расстояние, чем Ойзер за три своих шажка. Сугробы в огромном, густо заросшем Песчаном парке были еще глубокие, но уже немного обмякшие, и не могли выдерживать вес даже такого субтильного человечка, как Ойзер. Рядом с высокорослым Олегом Алексеевичем он выглядел еще меньше. А сейчас, то и дело застревая в снегу, и вовсе походил на прыгающую птичку.

В глубине парка не было ни души, Олег Алексеевич остановился. Повернулся на военный манер к Ойзеру и обратился к нему подчеркнуто сдержанным тоном:

– Вы хорошо подумали над тем, что говорил вам Василий Васильевич? О чем он вас предупреждал?

– Но мне нечего добавить. Я в прошлый раз все написал. Все, что знаю. – Его голос уже не дрожал, как тогда, у Бородулина в кабинете, после того как тот недвусмысленно дал ему понять, к чему может привести его отказ написать то, что от него ждут.

– Все, что мне было известно, я уже изложил, – в который раз повторил Ойзер. – Больше мне о них рассказать нечего.

От сдержанности Олега Алексеевича не осталось и следа. Он сорвался в крик, не обращая внимания на то, что перед ним стоит человек чуть ли не вдвое его старше:

– Говоришь, тебе нечего рассказать о них? Тебе нечего рассказать об этой банде буржуазных националистов, об этих предателях и шпионах из Еврейского антифашистского комитета? Это потому,

что ты такой же, как они! Но мы тебя заставим рассказывать! Не думай, что мы не в курсе, что ты в «Бунде» был, что в «Мишмере» жил, в сионистской коммуне. Видишь? Знаем мы тебя! А что такое «Бунд» и что такое сионизм, тебе, думаю, объяснять не надо.

Он взглянул на Ойзера так, как смотрят на низшее, презренное животное, которое мешается под ногами, которое можно просто взять и растоптать.

– Прекращайте эти ваши хитрые еврейские штучки! Хочешь перед своими чистеньким выглядеть? «Ни о ком ничего не написал, ничего не сказал…» А это, вот это что? – Олег Алексеевич вынул из внутреннего кармана своего кожаного пальто аккуратно сложенный пополам листок бумаги, развернул его и показал Норвилу.

– Узнаете?

– Это не я писал.

– А подпись тут стоит ваша! Попробуйте отрицать. Нам есть, через кого передать, чтобы это дошло до ваших. И до тех, кто уже у нас, и до тех, кто еще на воле разгуливает. Пока разгуливает.

Он подошел почти вплотную к стоящему рядом высокому дубу, как будто собираясь помериться с ним силами… Обернулся. В глазах его вдруг погас зловещий синий огонек, а из голоса исчезла вся жесткость.

– Я вам обещаю, что никто не узнает ни слова из нашего сегодняшнего разговора. Все останется между нами. Вдумайтесь хорошенько, Ойзер Абрамович, в то, о чем я вам сказал. Завтра буду ждать вас на том же месте, у метро.

Олег Алексеевич зашагал к выходу из парка, но, не пройдя и десятка метров, вдруг решил вернуться. В глазах его снова загорелась искра того синего пламени. Ойзер смотрел на него и никак не мог постичь, откуда взялась в этом молодом человеке такая жгучая ненависть к людям, которых он не знает, которых он никогда не видел… Откуда?

– И не вздумайте бежать. Выкиньте даже мысль такую из головы. У нас везде есть свои глаза и уши.

И действительно, уже на пути домой Ойзер заметил позади себя совсем юного паренька в черном пальтишке. Может, показалось? Ойзер зашел в булочную, задержался там на некоторое время, а выйдя,

увидел того же юнца. И снова – уже в трамвае. Ойзер сошел не на своей остановке – опять совпадение. Потом отрок вдруг исчез, как испарился. Но Ойзер, вместо того, чтобы отправиться домой, вскочил в вагон, который привез его к дому Залмана. Лучше не загадывать – пустит ли его Залман на порог, захочет ли с ним говорить… Он знает одно: заветную тетрадку нужно оставить у Залмана, ему можно довериться. Если что… Если случится то, чем пугал его Олег Алексеевич, эта тетрадка станет последним и единственным доказательством невиновности Ойзера Норвила.

Дверь коммуналки, где проживал Залман, открыла Элиша. Ойзера это и удивило, но не слишком.

– Залман дома? – спросил он, стоя на пороге.

– Нет.

– Когда должен быть?

– Я не знаю, сегодня, скорее всего, не будет. Он здесь не ночует.

– Да, но…

– Нет, он сюда приходит, конечно же. Это ведь его комната, – Все еще не приглашая Ойзера войти, Элиша повторила, уже увереннее, – но сегодня его уже точно не будет.

– Жаль. – Ойзер тяжело вздохнул и с великим сожалением в голосе снова произнес, – Жаль.

– Он вам очень срочно нужен? – Элиша вдруг как будто забыла, что Залман еще давно предупреждал ее, чтобы она избегала общения с Ойзером, не водила с ним разговоров. Или не забыла? Просто раньше она никогда не видела Ойзера таким опавшим. Он не мог не вызвать жалости.

– Элишенька, у меня к тебе огромная просьба. Ты не можешь мне отказать. – Он вытащил из внутреннего кармана пиджака тетрадку. – Передай это Залману. Скажи, чтобы сберег.

Элиша молча взяла тетрадь и вдруг, без всякой видимой связи, ответила:

– Вы, я вижу, удивляетесь. Не понимаете, что я здесь делаю?

– Почему ты считаешь, что меня это должно это удивлять? Залман очень хороший, порядочный человек. Пусть у вас все удачно сложится!

– Да что вы! – Ей стоило немалого труда сдержать приступ

смеха. – С чего вы взяли? Залман мне просто комнату свою уступил, на время, пока он не подыщет для меня угол.

– Ах вот как… – Элише показалось, что Ойзеру неприятно, что все оказалось не так, как ему представилось. – Яша, если я правильно помню, обещал тебе с пропиской помочь, чтобы ты работу могла найти?

– С работой он тоже обещал подсобить.

Перед тем, как закрыть за собой дверь, Ойзер обернулся и совсем тихо произнес:

– Я бы не советовал тебе прибегать к Яшиной помощи и принимать его одолжения. Разве Залман никогда не говорил тебе того же?

В эту минуту Элиша пожалела, что не послушалась Залмана и вступила с Ойзером в разговор о таких вещах, о которых ему знать не надо. А сейчас своими предостережениями по поводу Яши он выдал себя с головой! Тот, на кого падает подозрение, всегда находит, кого подставить вместо себя, на кого бросить тень. Залман вряд ли обрадуется, узнав, что она взяла у Ойзера тетрадку. Хорошо бы ее вернуть… Но нет, Ойзер, должно быть, уже далеко ушел, ей его не догнать…

*

На следующий день Ойзер вновь увидел бородулинского посланника на выходе из метро «Сокол» и сразу, не дожидаясь его подмигиваний и прочих сигналов, сказал, что идти в Песчаный парк не видит смысла. К сказанному в прошлый раз ему добавить абсолютно нечего. Ни слова.

– Очень хорошо. Смотрите, как бы вам раскаиваться потом не пришлось. – Ответил Олег Алексеевич. – Жду вас завтра в то же время, только уже не здесь. Там.

Ойзер все понял. Пора собираться в путь. Дорога туда широка, а выход узок… «Оставь надежду, всяк сюда входящий!»[1]

Оба стали спускаться по ступенькам в метро. На мостике, нависающем над рельсами, они расстались. Олег Алексеевич направился к платформе, откуда бледно-синие поезда увозили пассажиров в центр города, на «Площадь Революции». А Ойзер не знал, куда

1 Строка из надписи над вратами ада в «Божественной комедии» Данте («Ад, песнь 3, строфа 3).

ему ехать. Потерянный, стоял он на переходном мостике и смотрел вниз на рельсы. Один за другим выезжали из тоннеля поезда, сверкая яркими, как солнце, огнями, а он все стоял, перегнувшись через перила, и каждую секунду чувствовал на себе чей-то напряженный взгляд. Ойзер не оглядывался по сторонам, но знал наверняка: это смотрит на него снизу вверх тот, кто несколькими минутами раньше предупреждал его о том, что… О том, что вызвало в его памяти строки из «Божественной комедии», где описаны муки попавших в Преисподнюю. Бородулинский человек будто нашептывал ему словами Дантова демона: «Шестой обрушен мост, и нет пути. Чтоб выйти все же, если вам угодно, ступайте этим валом, там, где след…»[1].

И вдруг Ойзер услышал внутри себя те же слова, что родились в нем несколько дней назад на Бородинском мосту. «Нет, по этому пути я не пойду никогда». В то же мгновение он незаметно для себя вдруг потерял равновесие, и уже никто не мог остановить его полет навстречу спешащему поезду с яркими, как солнце, огнями.

Глава 28

Погибшего Ойзера бен Аврома Норвила привезли к месту захоронения на Востряковском кладбище.

Из писателей присутствовали Залман, Меер и Натан. Пришла и жена Натана, Годл. Залмана не удивило, что не явились остальные. Кто захочет, рискуя жизнью, быть в толпе, когда опасно собираться даже втроем, даже на похоронах? Усопший не обидится, что они не сподвиглись проводить его в последний путь. Впрочем, не исключено, – продолжал размышлять Залман, – что все проще, и другие не пришли потому, что еще не знают о синей тетрадке, которую Ойзер оставил у него накануне своего страшного прощания с этим миром… Залман никак не мог простить себе, что его не оказалось дома, когда Ойзер принес ему свою исповедь… Элиша наверняка тоже винит себя. Хотя что она могла сделать, не зная всего того, о чем написано в тетрадке?..

Единственное, что он в состоянии предложить осиротевшей

1 Данте, «Божественная комедия» («Ад», песнь 21). Перевод М. Лозинского.

семье в качестве утешения, это сказать, что Ойзеру, видимо, была предначертана такая судьба. Или лучше обойтись обычными для подобных случаев формулами – «Благословен Судья Праведный» и «Бог дал, Бог взял»? Тут самого себя утешить как-то не получается. Он ведь знает, что довело Ойзера до черты, только вдове его и сыну рассказать пока не может… Поэтому и не подходит к ним. А они стоят около кладбищенской конторы и ждут, пока подготовят покойного к миру истинному.

Похоже, здесь и вправду все верят, что если собраться в кружок – втроем-вчетвером, – об этом немедленно прознают там, и тогда уж подозрений не избежать! Вот и держится сейчас каждый сам по себе, как будто пришел на какие-то другие, отдельные похороны и ни с кем из остальных посетителей кладбища не знаком.

*

Стали подтягиваться опоздавшие литераторы. Больше всего Залман удивился, увидев Нойеха Ландина – благочестивого адепта магистральной идеологии в литературе, вечно сияющего моралиста с тонким, как у мальчишки, голоском – и его суетливую супругу, поэтессу Мэри.

Появление здесь пожилой парочки нарциссов привело в недоумение не только Залмана. Никто не мог припомнить, чтобы они хоть раз приходили на чьи бы то ни было похороны, даже когда речь шла о совсем близких людях. Кто-то мог бы даже подумать, что Нойех из коэнов[1], но не Залман. Он-то знает Ландина как прожженного атеиста, превзошедшего в безбожии самого Цемаха Авеля, некогда сочинявшего брошюрки «Против бога и его прислужников», а нынче работавшего служкой в хоральной синагоге… Нет, Мэри и ее супруг избегали похорон, скорее всего, по другой причине: до того, как повенчаться с идишской литературой, Нойех был врачом, а врачам уж, знамо дело, известно, что к сердцу следует относиться со всей бережностью... А если сегодня они сделали исключение и пришли попрощаться с Ойзером, хотя никакой особенной дружбы

1 Коэны – потомки Аарона, брата пророка Моисея, сословие священнослужителей, которым из соображений ритуальной чистоты запрещены контакты с умершими, за исключением ближайших родственников.

между ними не водилось, – вероятно, у них имелись на то веские основания. Тетрадка?

Ойзер мог сначала принести тетрадку им, а они, например, отказались хранить ее у себя и теперь пришли попросить у него прощения… И не только за это: оба они никак не меньше Залмана приложили руку к тому, чтобы Ойзера все начали сторониться и осторожничать с разговорами в его присутствии. А надоумил их наверняка все тот же Яша. В том, что Яши Розена сегодня тут не будет, Залман был уверен на все сто.

Если речь идет о покаянии, Ландину с женушкой неплохо бы попросить прощения не только у безвременно ушедшего Ойзера, но и у тех, кто пока еще числится в живых. И не только у коллег-писателей – у всего еврейского народа! За все свои многолетние старания принизить и опорочить его, оговорить и оклеветать, довести до того, чтобы он и сам себя увидел в самом недостойном свете… Ведь как иначе можно истолковать творчество Мэри, начиная с той давней злополучной поэмы, из которой следует, что едва ли не все евреи пели хвалы Петлюре и чуть ли не каждый был сионистом и противником советской власти…

Судя по тому, что многие ее творения так и остались неопубликованными, напрасно она, на пару с Нойехом, потратила годы жизни, строча письма в высокие инстанции и жалуясь на еврейские издательства и редакции идишских журналов, от которых она видит лишь отказы. А теперь вот как раз настал час для ее творений, но – увы! – печатать их уже негде. Все уже прикрыли. И остался этой парочке, похоже, один выход: тот, до которого на удивление быстро додумался Рудольф Ледер, сбежавший в СССР из охваченной войной Польши. О Ледере и тогда уже ходили самые разные слухи, а уж когда после войны он решил навсегда стать «местным» вместо того, чтобы вернуться в Польшу, как это делали другие…

Рудольфа Ледера тоже почти не печатали, но отнюдь не потому, что он распространял сплетни о своем народе или про страну, не дай бог, неподобающе высказывался. Напротив, в стихах его все было как нельзя более правильно, с непременными восторженными песнопениями. Не хватало в них лишь поэзии – и в языке, и в образах. Зато додумался он до такого, что ни одному из остававшихся на воле еврейских

литераторов никогда бы и в голову не пришло. Никто из них – даже умирая с голоду – не стал бы обращаться в редакцию русскоязычной газеты или журнала с просьбой напечатать русский перевод своего же произведения! А вот у Ледера ума хватило. Чутье ему верно подсказало, что практически любая редакция охотно опубликует даже самые слабые стихи, если это будет перевод с еврейского. Пусть мир увидит, что у нас все равны, включая евреев! И на идише писать никому не запрещается! Да, Рудольф Ледер понял: страна нуждается в нем. И не просчитался.

Лучшие русские поэты, из великой жалости ко всеми отвергнутому бедолаге Ледеру, перевели на русский несколько его стихотворений, впрочем, сохранив нетронутым смысл всего пары-тройки строчек, – остальное они написали сами.

Ну а тем, кто взялся бы переводить поэмы Мэри, даже не пришлось бы ничего переделывать: в ее стихах есть и поэтичность, и образность. И среди русских журналов наверняка отыскались бы желающие их напечатать. Но Залману хотелось бы верить, что Мэри и Нойех, как бы ни были они обозлены сейчас на еврейских писателей за закрытые издательства и редакции, до уровня Рудольфа Ледера все же не опустятся.

Кажется, нигде время не тянется так медленно, как на похоронах у евреев. Сегодня все продлилось бы еще неизвестно сколько, если бы разгоряченный Хайкл Вайнкол не носился бы взад-вперед и не подгонял бы каждого от кладбищенской конторы к яме в густо заросшей аллее, где почивший должен обрести вечный покой. На бегу Хайкл еще и ухитрялся о чем-то спорить то с одним, то с другим родственником Ойзера, и его явно ничуть не смущало, что с самим покойным библиотекарем он был, если Залман не ошибается, не знаком.

Когда не стало еврейского театра, не стало и театрального актера Хайкла Вайнкола, но в городе без него с тех пор не проходили, кажется, ни одни похороны и ни одна свадьба. Разве что те, о которых он не успевал вовремя узнать. Реквизит, то бишь ермолка, всегда при нем; он держит ее наготове, в нагрудном кармане пиджака, и без нее из дома не выходит. Какой-никакой голос у него тоже еще остался, и этого вполне достаточно, чтобы веселить народ на свадьбах и исполнять «Эйл молэ рахамим» на проводах усопших.

А ежели некому прочесть на могиле кадиш, так Хайкл и эту заповедь берет на себя. И пару псалмов у гроба пропеть он тоже может, если что. Из тех нескольких рублей, что достаются ему за труды, Хайкл берет себе лишь малую толику, а остальные отдает Ахашверошу, чтобы тот поделил их между самыми нуждающимися безработными актерами.

Сейчас букетик цветов в руках у Ахашвероша напомнил Залману бумажную корону, в которой монарх восседал у Натана на пуримской трапезе. Только сам он сегодня уже ничем не напоминает царскую особу – скорее походит на справляющего траур реб Цалье, персонажа одной из пьес Залмана. Вот он что-то шепчет себе под нос – возможно, тоже предъявляет упрек Создателю: для чего живет человек? В чем смысл, если таков его конец?.. В пьесе Залману удалось найти ответ для реб Цалье. «Смерти нет, есть только жизнь». Сентенция эта, однако, правдива лишь наполовину, ведь она применима к целому, но никак ни к частному. Для индивидуума утешения в ней нет. На чужих могилах глаза не выплакивают.

– Что они там копошатся, вы не знаете? – Спросил Залмана Меер, кивая в сторону конторы. – Родню бы хоть пожалели.

– Сам не понимаю. Вайнкол должен быть в курсе. Куда он опять делся?

– А вот и Хайкл! – Натан подозвал его к себе. – Хайкл, за чем дело стало? Темнеет ведь уже.

Ощупав обеми руками ермолку на голове – как делал Шлойме Бен-Михоэл в «Короле Лире», проверяя, на месте ли его корона, – Вайнкол во весь голос, так, чтобы услышали даже те, кто находился в другом конце аллеи, воскликнул:

– Неслыханно! Бардак! Могила до сих пор не готова! Боже сохрани иметь дело с этими бессовестными из хевро-кадишо! Каждые пять минут новую прибавку выклянчивают, не дашь, так и докапывать не будут – лопаты на плечи, и привет!

Меж деревьев показался высокий рыжебородый мужчина. Он махнул рукой, и Хайкл удовлетворенно кивнул. Через минуту-другую дверь конторы отворилась, оттуда вынесли гроб, погрузили его на тележку и накрыли черной тканью.

– Тшдоке татшил мимовеш[1]! Жертвующий от шмерти ишбавитша! – Раздался из-за деревьев шепелявый мужской голос. Со звоном ударились монетки о дно пушки[2]. – Тшдоке татшил мимовеш!

В прихрамывающем человеке с висящей на шее алюминиевой коробочкой Залман с трудом узнал Цемаха Абеля. В том, что он пришел, нет ничего удивительного: Цемах и сам был в некотором роде библиотекарем, и с Ойзером они были дружны. Но разгуливать среди бела дня по кладбищу с пушкой, выкрикивая фразы на древнееврейском, – это у Залмана в голове не умещалось, и не только у него. Все бросали на Абеля вопросительные взгляды, кто-то пытался расспросить его, что, мол, да откуда. Он долго молчал, лишь покашливал многозначительно, но в конце концов соизволил объясниться:

– Шуббота, шабеш… А мне даже в шабеш в шинагоге делать почти нечего. Там в лучшем шлучае два-три миньяна. А в будни и щитать нет шмышла – даже на минху и на майрев[3] не вщегда миньян набираетша. Так что я еще немножко у хевре-кадишо вроде как шлужкой подвижаюсь. Кое-что перепадает. В шинагоге – кхе-кхе – много не шаработаешь… Тшдоке татшил мимовеш, молодой человек! – Пропел Цемах какому-то юноше, который тут же подошел и опустил несколько монет в пушку, под которой болтался ключик. – Пошлушайте, молодой человек, мир грядущий, мир иштинный – нынче ша медяки не купишь. Только ша бумажные деньги.

Тележка с покрытым гробом въехала в аллею и двинулась к свежевыкопанной могиле.

– Неплохо они ш нами рашправляютша. – Пробурчал Цемах скорее сам себе, направляясь вслед за тележкой. После недолгой паузы его бурчание продолжилось, периодически перемежаемое напевным «Тшдоке татшил мимовеш!» – Такое богатштво уничтожить, в мгновение ока, ни ш того ни ш щего! И ради этого ты, товарищ Тшемах Абель, в жертву жишнь швою принеш? Ради этого у Николашки на каторге вощемь лет оттрубил? Ш Богом ради этого воевал? Чтобы в пуштой шинагоге шлужкой быть и у хевро-кадишо шлужкой, и даже

1 Искаженное (ашк. ивр.) – «Цдоке тацил мимовес», букв. «Жертвование нуждающимся избавляет от смерти».

2 Ид. – коробочка, шкатулка или кружка для сбора благотворительных пожертвований.

3 Майрев (ид.) от ивр. – вечерняя молитва, одно из трех обязательных ежедневных богослужений.

не наштоящим? Тшдоке татшил мимовеш! Да, хорошо они наш уделали. Такие головы у народа шабрали, таких великанов! Бен-Михоэл… Такие, как он, раш в што лет рождаются, а то и реже! В три… в четыре шотни лет! Или, может быть, Полонеры, Охримовы, Машберги – на швет каждую неделю появляютша, по понедельникам и четвергам?

– Тише, реб Цемах, вы тут не один, – Залман слегка потянул его за локоть.

– А что я такого шказал, что? Ничего некошерного я ведь не шказал. – Цемах будто очнулся, но тут же вновь погрузился в забытье и вернулся к своему монологу, теперь уже не понижая тона. – На каторге вощемь лет! Жишнь швою положил! Шпрашиваетша – ради чего? Ша что?

– Он, похоже, рассудком слегка двинулся, – прошептал Залману Меер.

– Шамри же, мой крик, о шамри же! – Заголосил Абель, как ведущий праздничной молитвы, дойдя до ее кульминации. – Нигде не ушлышат тебя[1]…

– «Все равно». Там было «все равно не услышат». И не «нигде», а «в небесах», – поправила декламатора идущая чуть в стороне Годл. – Вот это точно, там не услышат…

Цемах никак не отреагировал на критику. Кроме собственного голоса для него в эти минуты ничего не существовало. Он продолжил выводить рулады, не меняя мелодии:

– «И вот – мы шагаем в ряд,
И мрем от твоих потшелуев»[2]

Годл хотела было и тут указать на ошибку – что эта цитата вообще из другого стихотворения и даже из другого поэта, – но сдержалась. «И кто знает, что с ним теперь, с тем другим? Он ведь давно уже там. Как увезли его, лежачего больного, из подмосковной Малеевки, из Дома творчества, так и все…»

1 Искаженная цитата из: Арн Кушниров, «Напоминание» (сов. ид.), напечатанного в первом выпуске ежемесячного литературного журнала «Дер Штром», Москва, 1922. Перевод Л.П.
2 Шмуэль Галкин, «Россия» (1923). Перевод Л.П.

Оставшиеся строки Цемах воспроизвел без ошибок.

– Такое напишать! И штолько лет нашад! – Он остановился, – Пророком надо быть! Теперь-то уж и шлепой видит, до чего наш довели их потшелуи. Горе нам, горе! Люди уже книжки дома боятша держать! Которые еще шнают, кто такой Тшемах Абель, те в шинагогу мне идишшкие книги принощят, а оштальные так прошто шшигают или в мушорку! Ох, до чего же мы дожили! Чтобы это увидеть я вощемь лет на тшаршкой каторге убивалша, а потом на Гражданшкой из ружья палил ша влашть Шоветов?

До Цемаха, наконец, дошло, что он перегибает палку. Слишком громко, слишком открыто. Он звякнул несколько раз пушкой и вернулся к своему «Тшдоке татшил мимовеш!». Но прошло несколько минут, и он снова завел речь, на сей раз уже не с самим собой, а с Натаном и Залманом.

– Вы думаете, я не шнаю, что вы меня подошреваете? Конечно! Обо мне ведь там пошабыли, о штаром революционере! До щих пор к щебе на Штрашный Шуд не вышвали! Так ведь, да? Ну ничего, еще вышовут. Не переживайте, вщех наш пошовут. Вщех детей Ишраилевых…

Между запорошенных снегом могильных плит по ту сторону свежевырытой глинистой ямы Залман увидел Яшу. Это было настолько неожиданно, что он не поверил своим глазам и решил положиться на зрение Натана:

– Это кто там стоит?

– Рядом с Яшей?

– Ну да, – спохватился Залман, сделав вид, что вопрос был о другом человеке, чтобы не выглядить совсем уж глупо, – вот тот, возле Розена.

– А я знаю? Вероятно, из знакомых Ойзера кто-то, или из родни. А что ты вдруг интересуешься?

– Да просто так. – Залман ненадолго задумался. – Родственник, говоришь? Родственник не стоял бы поодаль.

– Тебя это сильно волнует, что ты так к нему приглядываешься?

– Понимаешь, он мне как будто бы знаком. Могу поклясться, что я его уже где-то видел.

– Так можно же у Яши спросить.

Залман приложил палец к губам. Натан понял, что молодой человек в пальто с поднятым воротником вызывает у Залмана гораздо

более серьезные подозрения, чем шепелявый синагогальный попрошайка Цемах Абель.

Долго присматриваться Залману не пришлось. Если и были какие-то сомнения, они быстро отпали. Да, это его Залман видел в тот день, в полутемном зале театра, когда публика шла мимо гроба Бен-Михоэла. И его же – у памятника Тимирязеву, вместе с еще двумя молодыми людьми. И нет, Залману тогда не показалось, что одним из двоих был Яша. И что этот юноша делает здесь? Возможно, он служит в той самой библиотеке без вывески, о которой Ойзер писал в своей тетрадке, и именно с ним Ойзеру пришлось иметь дело в последние дни жизни…

Когда все, кто пришел проводить Ойзера бен Аврома в последний путь, сошлись у гроба, стоявшего рядом с открытой могилой, высокий мужчина с продолговатой рыжей бородой подал знак могильщикам, чтобы они сняли крышку и дали родственникам попрощаться с усопшим. Вдруг Цемах Абель кинулся на гроб с раскинутыми руками, будто обнимая его:

– Не надо открывать! Шаколотите крышку!

– Она уже и так заколочена.

Хана, вдова Ойзера, ставшая за прошедшие после трагедии дни совершенно седой, припала к другой стороне гроба с воплем, способным расшевелить камни:

– Откройте! Почему вы не даете мне попрощаться с моим Ойзером, последний разок повидаться с ним? Снимите крышку! Откройте гроб!

– Мама, не надо! Прошу тебя, не надо! – Сын, высокий привлекательный юноша, больше похожий на мать, чем на отца, поднял Хану от гроба и отвел на шаг от могилы. – Давай его живым будем помнить.

– Дитя мое, – снова дернулась Хана в сторону гроба, – а что, если мне его не показывают, потому что там – не он, а кто-то другой?..

– Он, мама, он…

Залман отозвал Цемаха и Хайкла в сторонку и тихонько спросил:

– По какому праву вдове отказывают в праве попрощаться с мужем?

Разве есть какой-то еврейский закон, запрещающий нам просить прощения у покойного?

– По какому праву? – переспросил Цемах. – А шами вы не догадываетешь? Она же его не ушнает. И вы его тоже не ушнаете.

– Думаете, он за два дня так сильно изменился?

– Вы забываете, – напомнил ему Хайкл, – что Ойзер под поезд упал, и не под простой, под электропоезд… Все, уже опустили гроб. Эйл молэ рахамим, шойхэйн бамроймим!.. – Хайкл зашелся в рыданиях и бросил кусок липкой глины на опущенный в могилу гроб.

Когда на свежий земляной холмик водрузили фанерную дощечку с надписью на еврейском языке «Здесь покоится Ойзер бен Авром Норвил», Абель подозвал к себе единственного сына покойного:

– Шкаши кадиш. Или ты не шнаешь? Ну тогда ша мной повторяй: Йишгадал вэйишкадаш[1]…

– Реб Цемах, – перебил его рыжебородый еврей, как оказалось, дальний родственник Норвила, – не надо. Вы можете ему навредить. Лева все-таки партийный. Давайте я за него кадиш прочту. А потом наймем кого-нибудь.

– Никого не надо нанимать. Я шам кадиш читать буду. Я Ойшеру – да покоитша он ш миром – обяшан. Мы ш ним такую кучу лет шнакомы были! Вчера в шинагоге швечу ему на майрев зашег.

Хайкл пропел «Эйл молэ рахамим», а дальний родственник Ойзера прочел кадиш. Прошла небольшая панихида, на которой ни Залман, ни Натан, ни Меер не вымолвили ни слова. То, что они хотели бы сказать, вслух произносить было нельзя, и каждый проговаривал все самое важное про себя, стоя молча с плотно стиснутыми губами.

У выхода с кладбища Залмана нагнал Яша. Залману вспомнился тот день в Еврейском антифашистском комитете, когда они стояли на лестничной площадке, и Яша, положив ему руку на плечо, взглядом показал на человека, который стоял пролетом ниже и смотрел на них… А спустя несколько дней этот человек остановил Залмана у гостиницы «Москва» на Охотном Ряду… Какую теперь встречу готовит для него Розен?

– Залман, не совсем подходящее место и время, конечно, об Элише

1 «Йисгадал вэйискадаш» (арам. ашк.) – «Да возвысится и освятится…» - начало поминальной молитвы «Кадиш ятом».

беседы вести, и все же. Мы с вами оба прекрасно знаем, кто так постарался, что она от меня вдруг отдалилась. Но не бойтесь, на дуэль я вас вызывать не собираюсь.

Залман сделал широкий шаг вперед, не ответив. Яша преградил ему путь.

– Элиша у вас?

– Вам необходимо это знать?

– Я перед похоронами звонил несколько раз. Соседи сказали, что у вас никого нет. Где она? Мне нужно ее видеть. И я знаю, что она у вас.

– Ну а раз знаете, зачем меня спрашиваете?

– Послушайте, Залман, немедленно передайте Элише, чтобы она не ходила сегодня к полковнику, в милицию. Ни сегодня, ни завтра. Как можно скорее передайте!

У себя в комнате Залман Элишу не застал. Он опоздал. Дал ей уйти туда, где ей грозит опасность… И теперь он никак не может ей помочь, ничего не в силах изменить… Остается одно – сидеть и ждать.

Дело шло к полуночи, а Залман все сидел и ждал. Может, Яше позвонить? Только не из дома. Из дома опасно. Есть телефон-автомат неподалеку.

Залман зашел в будку и закрыл за собой дверь, и тут обнаружил, что у в карманах у него, как назло, нет нужной монетки. Что ж, может оно и к лучшему. Не телефонный это разговор. Хотя… Чтобы проверить, дома ли Яша, монетка не нужна.

Он снял с рычага трубку, набрал нужные шесть цифр. Никто не ответил. Он набрал снова, и снова длинные гудки. Не дома, стало быть. Но кто, кроме Яши, может сказать ему, что с Элишей и где она?

Глава 29

Коридор перед кабинетом полковника опустел. Элиша оказалась последним посетителем. Почему Леван Ревазович Маргиани до сих пор ее не принял, если даже те, кто пришел гораздо позже нее, уже давно отправились по домам? Она терялась в догадках. О ней будто

просто забыли. Вот сидит за столиком дежурная – женщина в милицейской форме со звездочкой на погонах. Без ее позволения никто и близко к кабинету начальника подойти не посмеет. А обращаться к ней бесполезно. От нее ведь ничего не зависит…

Кто бы знал, как не хочется возвращаться в Абезь… Только тот, кто там бывал, поймет, почему она позволяет себе так унижаться и сидеть который уже час под дверью… Яша обещал, что этот его знакомый полковник ей поможет. Правда, он еще обещал, что полковник и маму ее перевезти сюда разрешит, а потом оказалось, что запрет маме появляться в Москве слишком серьезный и для его отмены требуется решение значительно более высокопоставленного лица, чем Леван Маргиани. Но в его компетенции позволить ей поселиться в окрестностях какого-нибудь городка в области, недалеко от Москвы, и тогда Элиша сможет почаще с ней видеться.

– Гражданка Криштол.

Не поднимая головы от разложенных на столе бумаг, женщина со звездочкой на милицейских погонах вытянула руку, словно жезл, и указала ею на высокую, хорошо укрепленную дверь кабинета. Элише хотелось спросить, почему дежурная на нее так сердится, что даже не посмотрела в ее сторону... И почему называет ее только по фамилии... А что, если эта женщина знает о ней нечто такое, что не допускает иного обращения?! К тому же если шеф так с ней обращается – заставляет часами сидеть и ждать, – значит, так с ней и надо…

Полковник встретил ее таким взглядом, что Элиша мгновенно забыла об обиде и многочасовом унизительном ожидании. Когда он поднялся из-за стола и направился к двери, она даже подумала, что он собирается сделать выговор своей подчиненной за то, что та сразу ему не доложила, кто пришел… Но он всего лишь сказал дежурной, что она свободна – сегодня она ему больше не понадобится.

Несколько минут полковник молча ходил взад-вперед по кабинету, что дало Элише возможность как следует его рассмотреть. Высокие черные сапоги начищены до блеска. И брови, и аккуратно зачесанные назад густые волосы, и маленькие, идеально подстриженные усики, и даже глаза почти безупречно круглой формы – под стать сапогам: не менее черные и гладкие, словно их тоже обработали гуталином и отполировали. Шаги легкие, чуть пружинистые, но размеренные, ровные.

Похож на человека, который в любой ситуации не теряет самообладания и всегда готов выслушать и помочь. Или ей так только кажется, потому что примерно так отзывался о полковнике Яша?

– Присаживайтесь, пожалуйста. – Он указал на стул по другую сторону стола. – Ваша фамилия Криштол?

– Да.

– Элиша Михайловна Криштол?

Вопросы стандартные – так начинают разговор все сотрудники таких учреждений, только в голосе полковника Элиша не почувствовала ничего подспудного, никакой угрозы или желания поймать ее на вранье. Только душевность и сочувствие. Вытащив из папки исписанный лист, Маргиани пробежал по нему своими сверкающе-черными глазами и продолжил расспросы. Кажется, судьба ее вскоре решится!

– Давно вы знакомы с капитаном Розеном?

Элиша на несколько мгновений замялась, но потом подумала, что лучше ответить приблизительно, но побыстрее, чтобы у него не сложилось впечатления, что она пытается скрыть правду.

– Не слишком долго.

Полковник решил помочь ей вспомнить точнее. Для него этот вопрос имел, видимо, особую важность:

– И все же: год? Два? Три?

– Где-то около года.

– И вы с ним не женаты, так?

– Я не понимаю, гражданин полковник… – Элиша запнулась. Назвав Маргиани «гражданином полковником», она себя нечаянно выдала: так ссыльные в Абези обращались к военным. – Я не понимаю, товарищ полковник, – исправилась она, сделав двойное ударение на слове «товарищ», – почему это я должна быть за ним замужем?

– Потому что он парень, сотканный из одних достоинств! И молодой, и красавец, да еще и поэт к тому же. Вышли бы вы за него замуж, вам бы не пришлось ко мне приходить и разрешения на прописку просить. С женой своей Розен, насколько я знаю, не живет, он с ней развелся. – Дальнейшее прозвучало совсем уж неожиданно. – Вы меня, разумеется, не помните, а я вот вас помню очень хорошо. Видел вас с Розеном пару раз, могу даже сказать, где. Один раз в Столешниковом

переулке, рядом с вашим, теперь закрытым, Театральным училищем, другой – не так давно – на Площади Ногина. Кстати, не понимаю, почему Яков тогда не захотел меня с вами познакомить? Боялся, что я вас у него отобью? Глупости какие. Вы же видите, что я не тот мужчина, которого в этом смысле следует опасаться?

Возможно, в ответ полковник ожидал услышать, что он именно такой мужчина, которого в подобных случаях следует опасаться, – тем более что это не было бы преувеличением, – но Элише такое и в голову не пришло. Она вообще не могла понять, зачем он все это говорит. Похоже, она сама все испортила, с таким подчеркнутым равнодушием отвечая на его вопросы о Яше. Ей показалось, что взгляд Маргиани изменился. Она вдруг испугалась, что он вот-вот заведет речь о том, о чем ей уже столько раз считали необходимым сообщить другие – об ее ослепительной красоте… Но нет, речь он завел не об этом, Элиша мгновенно почувствовала облегчение и окончательно простила полковнику свое многочасовое ожидание в приемной. Тем более, что спустя еще несколько минут она поняла, почему он продержал ее там так долго. Поняла, когда услышала вопрос, знает ли она, что у них в Грузии никогда не было еврейских погромов. Так вот она, разгадка! При свидетелях Леван Ревазович, конечно же, не смог бы говорить с ней о таких вещах! Потому он и принял ее после всех остальных посетителей и отпустил домой дежурную… Но на что он намекает? Чтобы она переезжала в Грузию, где ее без лишних слов пропишут? На вопрос о погромах она не ответила, и после небольшой паузы он заговорил вновь, только теперь в его голосе ей послышалось что-то смутно знакомое и недоброе.

– Желаете, значит, насовсем в Москве прописаться. Стать, так сказать, постоянной жительницей нашей столицы. Я бы хотел дать вам такое разрешение. Это в пределах моей компетенции. Но каждому встречному-поперечному я такого разрешения давать не могу. Человек должен его заработать, доказать, что он его заслуживает.

– Извините, я не понимаю, о чем вы. Как заработать? Что доказать?

– Тут нечего особенно понимать. Я говорю о том, что долг каждого советского человека – быть преданным Родине. Вот преданность вашу и нужно доказать. Думаю, Розен с вами об этом говорил?

– Со мной об этом специально говорить – никаких причин ни у кого никогда не было. Я в жизни ничем не провинилась.

– Ну раз так, считайте, что мы с вами договорились. – Маргиани встал, постоял немного и снова уселся за стол. – Я вам дам разрешение на постоянную прописку в Москве. – Леван Ревазович склонился над столом с толстым грифельным карандашом в руке. – У вас есть, где прописаться? Кто согласен навсегда вас к себе прописать?

– Да, есть.

– Имя? Адрес?

У Элиши чуть не вырвалось имя Залмана, но она вовремя одернула себя, ответив, что ей сперва надо переговорить с тем человеком.

– Это вы, может, о Якове?

– Нет.

Полковник Маргиани отложил карандаш и пристально посмотрел на Элишу.

– Вы с ним что – поссорились? Ну не знаю… От него я о вас ни одного худого слова не слышал, только хорошее.

– Он и не мог ничего плохого обо мне сказать. Мы с ним ни разу не ссорились.

– Тогда почему вы не хотите к нему прописаться? Позвольте, я с ним поговорю?

– Спасибо, не нужно. Я у неженатого мужчины вообще не соглашусь жить.

– Ах вон оно что, дорогая моя! Вон оно что! А просто так вряд ли кто-то согласится вас к себе навсегда прописать. Это Москва! – Маргиани поднялся с кресла и приблизился к ней слегка пружинистой походкой. – Но выход есть. Один мой близкий приятель уехал на долгий срок, вместе с женой. Их отправили работать в одну африканскую страну, на год-полтора, не меньше. Ключик от квартиры они мне оставили и дали право туда пускать кого захочу. На время, разумеется. Квартира небольшая, две маленьких комнатки, но зато отдельная, без соседей. Насовсем я вас туда прописать не смогу – поскольку квартира не ваша, – но на полтора годика, пока мой приятель в командировке, вполне. А там поглядим. Может, он в Африке задержится… Квартплаты от вас не потребуется: хозяин проплатил за два года вперед. – Полковник

слегка нагнулся к ней. – Что-то я не вижу восторга. Или вам такой вариант не подходит?

Элиша отвела глаза.

– Я вам очень благодарна. Я такого не ожидала. Только не знаю, чем я заслужила?..

– Да я и сам, по правде говоря, не знаю. Вам, вероятно, красоту свою благодарить надо. Вы первый раз о ней слышите? Что вы вдруг так застеснялись? Ладно-ладно. Ваша красота тут, разумеется, не при чем. Ну если хотите честно – это я ради вашего Яши делаю. Он меня очень просил. Мы с ним старинные знакомые. Кстати, он мне говорил, что вы на фортепьяно играете. – Он приподнял ее ладонь. – Да, у вас пальчики как у настоящей пианистки: длинные, тонкие... – Повезло вам. В той квартире и пианино имеется. Не новое, но в целом приличное. Сгодится, в общем. Я в юности тоже имел некоторое отношение к музыке. Играть учился, петь. Но как увидел, что великого скрипача из меня не выйдет, а в Шаляпины я уж и подавно не гожусь, так забросил все это дело. Вы когда заселитесь, я к вам зайду, хочу, чтоб вы меня послушали. Вдруг я ошибся и певец во мне все же дремлет? – Он наконец выпустил ее руку. – У меня, как видите, небольшая слабость к людям искусства. Ну а насчет работы вам тоже волноваться нечего. Я вам помогу устроиться. У вас ведь замечательная дикция. Вы на радио могли бы работать. Я там переговорю с кем следует. Вас, смотрю, удивляет, почему я так пекусь о вас? Говорю же, сам не знаю. Может потому, что у меня первая жена была еврейка? Я ужасно ее любил… Отвлеклись мы с вами. В общем, раз договор у нас заключен – не будем нарушать обычаев и выпьем по рюмочке коньяка или вина, как изволите, и закусим чем-нибудь.

Элиша торопливо поднялась с места:

– Нет-нет. Ни в коем случае. Я и так уже засиделась, столько времени у вас отняла.

– Пусть это вас не беспокоит.

– Уже скоро десять. Мне пора.

– Вас кто-то ждет?

– Никто меня не ждет. Просто те, у кого я остановилась, очень далеко живут. На двух трамваях добираться.

– Не волнуйтесь. Не придется вам тащиться на ваших трамваях.

Я вас на машине отвезу. Вы уж меня простите, пожалуйста, я вас до сих пор не пригласил пальто снять. У нас тут очень тепло, я бы даже сказал, жарко.

Элиша попыталась было протестовать, но в итоге ей все же пришлось уступить. Ее пальто Маргиани повесил поверх своей шинели. Потом он подошел к стене за своим рабочим столом и раздвинул как будто плиссированные, кремового цвета портьеры, за которыми находилась дверца, ведущая, как оказалось, не в коридор, а в отдельную, красиво мебелированную комнату.

– Бывает, до глубокой ночи приходится работать. Иногда даже до утра. – Как будто оправдывался полковник. – Так что мы с вами пьем? Коньяк или вино?

– Спасибо, только стакан минеральной воды.

– Вы меня извините, Элиша… Не обижаетесь, что я зову вас во имени? Так вот, вы уж простите, но хозяин тут пока еще я. И вы будете пить то, что я вам скажу.

– Вы это всерьез? – Спросила она наполовину испуганно.

– Вы, вижу, совсем еще ребенок. Помогите-ка мне лучше стол накрыть.

Леван Ревазович вытащил из застекленного серванта тарелки с заранее заготовленными закусками, две рюмки и два фужера. Откупорил бутылку грузинского коньяка и бутылочку грузинского вина. Вытащил из морозилки и «Нарзан», но открывать его не стал.

– Ну а теперь, – пододвигая стул ближе к ней, произнес Маргиани, – я вам передаю право распоряжаться. Лично я буду пить коньяк. А вам что налить?

– Нарзан.

– Нарзан – напиток для таких случаев неподходящий. Так что же прикажете вам налить? Мне покуда не довелось видеть человека, который отказался бы от нашего грузинского вина. – Он наполнил фужер до половины прозрачным игристым вином. – Грузинское вино из рюмок не пьют, исключительно из бокалов. И вам ничего не поможет, вы просто обязаны со мной выпить. Если, конечно, обидеть меня не хотите. И не только меня, а Грузию!

Что именно налил ей полковник во второй раз – снова припомнив Грузию, которую она, конечно же, не захочет оскорбить, ведь это

было бы страшной ошибкой… – Элиша заметить не успела. Но после первого же глотка голова ее закружилась, и вместе с жарким дыханием Маргиани она почувствовала на своем колене его руку. Еще через мгновение что-то влажное прикоснулось к ее груди. Он привлек ее к себе, но она, сама не понимая, откуда у нее взялись силы, оттолкнула его и рванула что есть мочи к выходу, на бегу сорвав свое пальто с вешалки. Лицо ее пылало от стыда и от неизвестного напитка.

– Элиша, – догнал ее полковник в коридоре, – если я вас оскорбил, прошу меня простить. Поверьте, я этого не хотел. На минутку. – Он взял ее за руку, завел обратно в кабинет и оставил стоять у двери. Взяв со стола чистый лист бумаги и написав на нем крупными буквами «Элиша Михайловна Криштол», Маргиани вложил его в зеленую папку.

– Сюда я кладу только те бумаги, на которые мне не требуется ничье одобрение. Достаточно одной моей подписи. И это касается вас. А вот в этой красной папке лежат такие документы, чью судьбу я сам решить не могу, понимаете? Сюда я положил заявление с просьбой разрешить вашей матери прописаться в Московской области. Принесите мне все необходимые документы на следующей неделе. Я дежурному скажу, чтобы он вас сразу ко мне пропустил. – Он поднял телефонную трубку и приказал подать машину.

В автомобиле Леван Маргиани, сидевший впереди рядом с водителем, обернулся и сухо спросил ее:

– Куда вас отвести? Где вы живете?

Без долгих раздумий Элиша назвала одну из знакомых ей улиц и первый попавшийся номер дома. Выйдя из машины, она вбежала в подъезд чужого кирпичного дома и стала ждать. Через несколько минут, убедившись, что полковник уехал, она покинула укрытие и направилась в переулок, ведущий к той улице, где жил Залман.

Окна его комнаты были освещены. Элиша остановилась. Неужели она забыла перед уходом выключить свет?.. Неужели она так боялась опоздать на прием к полковнику, что и комнату не заперла? И теперь там может быть кто угодно? Ключ от квартиры у нее был, как всегда, при себе, а вот от комнаты… Элиша легонько нажала на дверь комнаты одним пальцем, и та открылась будто сама собой. Перед ней стоял Залман, совершенно растерянный.

– Откуда ты так поздно? – Он отшатнулся. – От тебя вином пахнет. Элиша стыдливо опустила глаза и тихо произнесла:

– Я выпила. Очень много выпила. Дайте мне пальто снять. Я вам все расскажу. Погодите, а как получилось, что вы здесь?

– Меня Яша прислал.

– Не понимаю.

– Он меня прислал тебе сказать, чтобы ты к этому его полковнику сегодня не ходила. Яша сказал, что вообще не надо тебе к нему идти.

– Почему? – Закричала Элиша чуть ли не на весь дом. – Почему он меня раньше не предупредил? Почему?

– Ты оттуда сейчас? – Чуть слышно спросил Залман, боясь услышать ее ответ.

Элиша обхватила голову руками и тяжело опустилась на стул.

– Что теперь будет? Он ведь от меня не отстанет, не оставит меня в покое. Он мне такое предложил!.. Специальную квартиру даже подготовил… Мне бежать надо... Прямо сегодня! Обратно в Абезь! Здесь мне больше ни дня нельзя оставаться. Почему Яша меня не предупредил? Или он не знал, что этому полковнику от меня надо было? Да? Так, по-вашему? Не знал?!

Залман не нашелся что ответить. Попытался лишь успокоить:

– Не нужно никуда бежать. Мы с Натаном что-нибудь придумаем. А пока что ложись поспи. Доброй ночи.

Он поцеловал ее в лоб и вышел из комнаты.

Элиша хотела его вернуть, – на дворе поздняя ночь, время такое опасное… Но она вдруг почувствовала такую слабость, что не смогла подняться со стула.

Глава 30

Едва Натан вошел в дом, Годл сразу поняла: у мужа что-то стряслось на работе. А вдруг его, не дай бог… Нет, даже подумать страшно! Что может быть ужасней, чем сейчас без работы остаться? Кто возьмет на работу человека, который имел отношение к Еврейскому комитету, еврейской газете, еврейским книгам? Как им жить теперь? Такого человека вряд ли даже грузчиком на склад взять

захотят, а ведь у них дети. Она конверты для Театрального общества клеит, но разве это заработок? На хлеб да на картошку – и то еле хватает.

– Натан… – Годл не могла справиться с потрясением. Она больше не успела сказать ни слова, как он перебил:

– Не спрашивай. Потом, потом…– В сердцах он отшвырнул выдвинутую из-под стола табуретку и начал шагать из угла в угол. – Ничего не понимаю! Сегодня ночью троих наших сотрудников забрали, и никто не знает, за что, почему. Все трое на фронте были, коммунисты, тихие, приличные люди. Господи, что ж это происходит? С ума сойти!

– Евреи? – Годл бросила взгляд, плотно ли закрыта дверь.

– Думаешь, кроме евреев никого не сажают? Из тех троих двое русских и один армянин. Несколько евреев у нас до сих пор работает. Можно догадаться, почему их сразу не арестовали, когда взялись за наше издательство «Физкультура и спорт». Если со всеми ведут открытую игру, то с евреями играют в темную, чтобы мы не догадались, что нас ждет. Знаешь, что я думаю? С нами поступят как с калмыками, балкарцами, черкесами и всеми остальными. В один прекрасный день всех нас вышлют. Повод там, наверху, наверное, уже давно нашли.

– А я подумала, когда ты вошел…

– Что нас уже высылать начинают?

– Но если всех нас все равно вышлют, зачем тогда было сажать Марка Полонера, Биньомина Бен-Арье, Машберга и других? Им в эшелонах, что ли, места не хватит?

– Неужели не понимаешь? Чтобы, когда это произойдет, некому было на весь мир крик поднять. Хотя это их не пугает. У них перед глазами хороший пример: Германия накануне войны. Ну, повозмущались в мире, и что? Гитлер испугался и прекратил еврейские погромы?.. Слушай, Яша приходил уже?

– Розен? – Годл удивленно посмотрела на мужа. – А с чего ему приходить?

– Сегодня на работу ко мне приполз. Трешку в долг просил.

– На бутылку?

– Я не уточнял. Но если человек просит, оказывать нельзя. А у

меня, как назло, только рубль был. Сказал ему, чтобы к тебе зашел, ты ему еще два одолжишь.

– У меня он просить не будет. Знает, что я ему ни копейки не дам. Сколько раз он у нас занимал и не отдавал.

– Отдаст.

– Я вообще не хочу, чтобы он к нам приходил. Мало тебе того, что Залман рассказывал?

– Залману могло показаться. Розен – точно такой же пострадавший, как и все мы. Для писателя нет ничего страшнее, чем не иметь возможности печататься. А что у него настоящий поэтический дар, этого никто не отрицает. – И вдруг: – А где топор? Ты никому не отдавала?

– Нет. На дровах лежит, как всегда. А что?

– Годл, понимаешь, все может случиться. Надо ко всему быть готовым. Не думай, что теперь, когда забрали наших великих писателей, да и не только их, опять станет спокойно. Они на этом не остановятся, не могут остановиться. Может, скоро нам скажут, как бог Аврааму: «Иди себе!» Иди в пустыню, иди в сибирскую тайгу. Но до того еще успеют забрать еврейских писателей, кто пока на свободе. И знаешь, я слышал, бывает, человека заберут, а всю семью выселят, просто потому, что квартира понадобилась.

– На наши-то комнатушки никто не позарится. Кому нужна квартира в деревянной двухэтажке без центрального отопления?

– Тоже так думаю. Но говорят, даже если комнаты смежно-изолированные, одну все равно отбирают. Находят, кого в ней поселить. Так что дверь между комнатами надо снять и сжечь поскорей. Случись что со мной, чтобы тебя с детьми в одной комнате не оставили. А так ты вторую сдать сможешь. Хоть какие-то деньги.

Дверь сопротивлялась, не хотела сниматься с петель, натужно скрипела. В ее охах и вздохах Натану слышалось: «Не спеши, подожди немного». Вспомнилось, сколько он набегался год назад, когда делал ремонт, пока они не поменяли старую, рассохшуюся дверь вот на эту, новую. Но Натана это не остановило. Он обливался по́том, пока дверь все-таки не поддалась и вместе с еще новыми, блестящими половинами петель не покинула свое место, освободив проход.

Взяв топор, Натан примерился к лежавшей на полу двери. Она уже не сопротивлялась, и он легко ее одолел. Несколькими ударами разрубил на дощечки, такие, чтобы по длине влезли в печь. Поднес к ним зажженную бумажку, и сухое дерево вспыхнуло, как порох. Натан сидел на перевернутом табурете, наблюдал, как огонь с веселым гудением пляшет в печи, освобождая место для новых дощечек, и подкидывал их одну за другой.

Вспомнилось: вот так, в далеком детстве, он сидел у печки в промерзшей комнате и смотрел, как пылает подсолнечный жмых из местной маслодавильни. Пламя было куда ярче, и печка ревела так, что страшно становилось.

И еще вспомнилось: чтобы разбушевавшееся пламя не выпрыгнуло из печки, ему вместо дверки преграждали дорогу хитрым жестяным приспособлением. Его придумал их сосед, рыжеволосый жестянщик, и снабдил им всех местечковых бедняков, которые даже дешевый жмых покупать были не в состоянии. Тогда отца Натана уже не было в живых. Это было уже после погрома. Страх перед новым погромом царил в местечке вместе с голодом и холодом…

Понемногу огонь утих. Натан сходил в прихожую за кочергой, чтобы разбить головешки.

Вернувшись, заметил на столе, за которым Лейзерка готовит уроки, толстую японскую книгу. Когда-то Натан привез ее из освобожденного Харбина. Лейзерка любил рассматривать цветные картинки. Сколько раз Натан говорил сыну даже не подходить к книжным полкам без разрешения! Хорошо же он будет выглядеть, если у него найдут эту японскую книгу. Попробуй докажи, что привез ее из Харбина, когда город освободили от самураев, и никаких японцев он знать не знает. Натан поднес книгу к открытой дверке печи, но в последнюю секунду рука отказалась повиноваться. Он поставил книгу обратно на полку, между книгами на идише. Судьбы не минуешь, придут так придут, но для этих великих знатоков японская книга вполне сойдет за еврейскую. Квадратные еврейские буквы и японские иероглифы вроде бы немного схожи.

В коридоре послышались шаги. Наверное, кто-то из соседей. Все ближе. Скрыть, чем он тут занимался, Натан все равно не успеет. Когда в дверь постучали, он спокойно сказал:

– Войдите!

И сам себе удивился: как это по стуку он не понял, что это Яша?

– Уф-ф! Ну и жара у тебя! Как в парилке. На улице весна давно, а он печку топит. – Притронулся к печке ладонью и тут же отдернул руку. – Не прикоснуться!

– Присаживайся. Сейчас Годл придет, даст тебе трешку обещанную.

– Погоди, а дверь-то где? Сжег, что ли?

Раз уж Розен сразу заметил, Натан решил, что отпираться нет смысла, и сказал все как есть.

– Извини, Натан, но это глупо с твоей стороны.

Со двора вернулась Годл с детьми. Не дав ей снять пальто, Яша схватил ее за руку и подвел к свободному проему между комнатами.

– Смотри, что твой муж натворил. Уж кому-кому, Натан, но тебе-то точно бояться нечего. За границей, насколько я знаю, ты не был…

– В том-то и дело, что был.

– Кто, ты? Впервые об этом слышу. И где, например?

– В Маньчжурии.

Яша расхохотался:

– Я серьезно говорю. В плену ты тоже не был.

– Глупости какие! – вмешалась Годл, помогая Фейгеле снять пальтишко. – Как еврей мог попасть в плен и в живых остаться?

– Не скажи. На войне, Годл, всякое случалось, могло и такое случиться. Объясни лучше, как ты позволила ему дверь спалить.

– Ну, что теперь об этом. Обратно из печки не достанешь.

– Годл, одолжи Яше трешку.

– Только не думайте, что я за трешкой пришел. Я узнать хотел, всех ли пригласили уже.

– Куда? Кто?

– Союз писателей. Вижу, ты не получил еще. Наверное, завтра получишь. Надо понимать, всех еврейских писателей на собрание в клуб вызвали.

– По поводу?..

– Не больше твоего знаю. Но раз всех зовут, значит, и нас тоже.

– А когда?

– Послезавтра в пять.

– К пяти не успею. Я же работаю. Думаю, пустят, если опоздаю на полчасика.

– Все-таки постарайся вовремя, как в приглашении указано.

– Так я же еще не получил.

– Получишь. Все получат. А с дверью, скажу тебе, ты большого дурака свалял.

Тем временем Лейзерка и Фейгеле уже раз десять успели сбегать из комнаты в комнату. Детям явно понравилось, что двери больше нет, будто раньше она им мешала.

Натан разбил кочергой тлеющие головешки и разгреб угли в стороны. Дети, на корточках сидя перед печкой, с восторгом наблюдали за его действиями. Вдруг спросил жену:

– У нас картошка есть?

– Зачем тебе?

– Да просто печеной картошки захотелось. Яша, что ты все стоишь в шинели? Раздевайся, и за стол сядем. А то я здорово проголодался. Годеле, посмотри как следует у себя в закромах, с Пурима ничего не осталось?

Когда взрослые пошли мыть руки, дети исподтишка принесли из прихожей несколько картофелин и закопали их в тлеющие угли.

Уже сидя за столом, Натан почувствовал аромат печеной картошки, который всегда почему-то напоминал ему запах леса.

Глава 31

С точностью до минуты – ровно в пять вечера, как было указано в приглашении, – Залман уже был в клубе, куда явились еще остававшиеся на свободе московские еврейские писатели.

Собрались на галерее, в той же просторной гостиной с темно-коричневыми дубовыми стенами, дубовым потолком, массивными дубовыми стульями с высокими спинками, куда один-два раза в месяц приходили члены Союза писателей СССР на собрание, чтение еще не опубликованных произведений, обсуждение недавно вышедших книг. На этих вечерах тут яблоку негде было упасть. Кроме еврейских

писателей, часто заглядывали и русские литераторы еврейского происхождения, которые еще не совсем забыли язык своих родителей, своего детства и юности.

Увидев столько свободных мест, Залман не поверил, что когда-то, причем совсем недавно, здесь было не протолкнуться, и шумели так, что, наверное, даже в другом конце клуба слышно. А теперь слышно только, как большие стенные часы отсчитывают уходящее время.

Прежде чем войти в помещение, Залман задержался на открытой галерее, которая своими ложами и балкончиками нависала над просторным дубовым залом, где еврейские писатели встречались с читателями. Залман решил подождать Натана. Почему он опаздывает? Может, вообще передумал идти? Залман знал: такая мысль у Натана была, он сам вчера говорил. Сказал, не хочет присутствовать, когда свои из страха будут проклинать тех, кто уже там, как было неделю назад в этом самом зале на общем партсобрании. Натан не уверен, что у него хватит мужества отказаться выступать, если его начнут заставлять. Ведь в нем живет тот же рабский страх, что и во всех остальных.

В конце концов Залман все-таки убедил Натана, что не прийти – еще хуже. Тот, кто сегодня их собрал, истолкует это, как ему удобно, и Натан твердо пообещал, что придет. И где же он? Уже шестой час.

Постороннему показалось бы, что здесь собрались совершенно чужие друг другу люди. Такое впечатление возникло и у Залмана. С тех пор как случилось несчастье, начались новые беды, прошло уже порядочно времени, но в последние месяцы еврейские писатели виделись очень редко. И все-таки, крутясь на галерее, Залман не замечал, чтобы старые знакомые, даже друзья радовались сегодняшней встрече. Будто избегали друг друга, здоровались только едва заметным кивком. Если кто-нибудь и заводил разговор, то не о недавних событиях, не о сегодняшнем собрании и о том, чего от него ждать, а просто о чем-то неважном. Это означало: ничего у меня не спрашивай, ничего мне не рассказывай. Хоть мы и не вчера познакомились, я прекрасно знаю, что ты мне не доверяешь, а я то же самое думаю о тебе. Наверное, и он, Залман, поступил бы так же, увидев Натана: может, даже за руку бы не поздоровался и начал бы какой-то незначительный разговор. Но не потому, что они друг другу не доверяют. Кто-нибудь может подсмотреть, подслушать, а это, как

на Пурим за столом предупреждал бывший евсек Шамай Бинкин, довольно опасно.

Натан Левитин вошел в помещение, когда Залман пробыл там уже довольно долго. То ли не заметив Залмана, то ли из осторожности Натан сел поближе к двери.

Когда часы на стене хрипло пробили шесть, Натан поднялся и вышел. Через пару минут вышел еще кто-то, потом еще. Одним из последних покинул помещение и Залман. Ему стало ясно, что Валерьян Анатольевич Сафролов, первый заместитель генерального секретаря Союза писателей, в чьи руки перешла вся власть и кто своей суровостью нагонял на всех литераторов страх, не придет и к семи. Ждать, наверное, придется еще долго. Но никто не ушел. Даже не подумал уйти. Раз Сафролов их созвал, придется ждать сколько надо. С ним шутки плохи, не стоит играть с огнем. Писатели просто бродили по галерее, поглядывая вниз, в зал.

Прошел еще час, а Сафролов так и не появился. Спрашивали у сотрудников клуба, но никто не знал, когда он придет и придет ли вообще. Ни у кого не хватало смелости позвонить и выяснить.

Единственный ответ, которого смогли от них добиться: раз Сафролов их созвал, надо ждать.

Мрачные, встревоженные, посидели в гостиной, потом перебрались на галерею. Шумно было только в ложе напротив приоткрытой двери в гостиную. Залман заметил там Хаима Юнгача и пожилую влюбленную парочку: известного лицемера Ноеха Ландина и поэтессу Мэри.

Юнгач что-то громко говорил, постоянно прерывая свой рассказ хрипловатым смешком, но Залмана не интересовало, с чего он так разошелся. Много лет назад во втором Московском художественном театре ставили «Закат» Бабеля. Залман пару раз видел пьесу. В Хаиме Юнгаче было что-то от Бени Крика. Когда они познакомились, Залману показалось, что Хаим нарочно старается походить на бабелевского героя. Он и одевался так же: брюки шоколадного цвета, короткий пиджак, желтый как глина, галстуки светлых тонов.

В писательской среде Юнгача недолюбливали по многим причинам. Раздражали его самодовольство, нахальная улыбка, бегающие глаза, манера делать вид, что забыл, о чем говорил минуту назад.

Надо же было случиться, чтобы месяца через три после их знакомства Залман оказался здесь, в клубе. Пришел сдать книги в библиотеку. Спустившись по винтовой лестнице из библиотеки на галерею, Залман увидел, как в этой самой ложе Хаим спорит о чем-то с Яшей и Мужичком, как за глаза называли летописца старых еврейских колоний Элиэзера Виленского. Пройти мимо ложи незамеченным Залману не удалось. Хаим остановил его и заставил выслушать, о чем они спорят.

Вообще-то к Залману это тоже имело отношение. У него, как и у них, когда закрыли издательство «Дер Эмес», остался договор на новую книгу. Все рукописи, сданные в издательство, перевезли в другое здание и свалили в сыром, темном подвале. Адрес этого склада авторам вскоре сообщили, Залман сразу поехал туда и свою рукопись забрал. Однако не все так поступили. У многих просто голова была другим занята. Кроме того, у всех остались копии. Эта троица – Хаим, Яша, Элиэзер – не спешила пойти забрать рукописи, ведь по закону, как из надежных источников узнал Юнгач, им должны выплатить гонорар, если государственное издательство заключило с ними договор. Ну и что, что издательство закрыли? Это неважно. Закон есть закон. Вопрос только, куда обратиться: подать в суд или написать в высокие инстанции?

Залман посмотрел на них:

– Господи, вы о чем? В такое время.

– И что с того? Верно, закон есть закон, – поддержал Хаима Розен. – Но в суд, говорю вам, подавать незачем. Я у адвоката спрашивал, он посмотрел на меня как на дурака, даже разговаривать об этом не захотел. Думаю, лучше всего к министру культуры обратиться.

– Чушь! – перебил Хаим. – Без толку!

– Значит, – возразил Элиэзер Виленский, – надо к Климентию обратиться. Говорят, он культурой занимается, издательствами в том числе.

– К кому, говоришь, обратиться? К Ворошилову?

– Ну да, к Климентию Ефремо…

– Харкать на него! – выкрикнул Хаим, даже не дав Виленскому полностью произнести отчество человека, который еще недавно был если не третьим, то четвертым в очереди к трону.

Услышав такое, Виленский, а за ним и Яша, размахивая руками, выскочили из ложи как ошпаренные. Элиэзер зажал ладонями уши, дескать, ты ничего не говорил, я ничего не слышал.

– Харкать на него! – еще раз крикнул им вслед Хаим.

– Ты в своем уме? – набросился Розен на Юнгача, указывая на Залмана как на лишнего свидетеля.

– Зачем вы это сказали? – при Элиэзере и Яше спросил Юнгача Залман. – С огнем играете. Вдруг, не ровен час, дотуда дойдет? Стены имеют уши. – И, не оглядываясь, сбежал с галереи в зал.

Как только Залман пришел домой, зазвонил телефон. В трубке – нахальный, громкий голос с хрипотцой:

– Это литератор Залман Наумович Мандел? Хаим Юнгач говорит.

– Сам слышу, что Хаим Юнгач. – У Залмана чуть не вырвалось «Беня Крик».

– Так вот, должен вас предупредить: если то, что я сказал, дойдет дотуда, головы полетят. Яшу я предупредил, Мужичка тоже, теперь вас предупреждаю.

Может, не надо было тогда уверять его, что не стоит беспокоиться, Залман никому ни слова не скажет. Не надо было переспрашивать, понимает ли он, какой опасности всех подверг. Как только он услышал голос Хаима, лучше было сразу бросить трубку. Не об этом ли случае Хаим рассказывает сейчас влюбленной парочке?

Хотя Залман несколько лет был членом бюро еврейской секции Союза писателей, он никогда точно не знал, сколько в Москве еврейских литераторов. Просто не считал. Сосчитал только теперь, начав с себя и Натана: не один, не два и так далее. Не забывая добавлять «не».

Посчитал и удивился: он не думал, что после несчастья наберется так много. А сколько же, получается, было раньше? А еще в Киеве? В Одессе? В Вильнюсе? В Риге? В других городах?

Но эти подсчеты ничего не значат. Разве можно считать вместе гениев и посредственностей, мерить их одной мерой? По сравнению с Рэфоэлом Охримовым, Пинхасом Машбергом, Марком Полонером он сам тоже ничего особенного собой не представляет, несмотря на то, что, перечисляя крупных современных писателей, среди прочих называют и его, Залмана Мандела.

Спустившись по крутым вощеным ступеням в зал к Натану и Меру, Залман встретил скромнейшего из писателей Гершла Бинштока. Ему было лет пятьдесят, но если бы он издал все, что написал еще с той поры, как сидел в сапожной мастерской, едва ли набралось бы на три-четыре книжки. Впрочем, Бинштока это не беспокоило. Чувство зависти было ему неведомо. Зато Гершл взял на себя право судить, высказывать писателям в глаза все, что думает о произведении, и о его достоинствах, и о недостатках. Один недостаток он находил у всех: слишком поверхностно, глубже надо копать, глубже. Даже Машбергу, которого он считал больше, чем гением, Гершл не упускал случая на это указать. На него не обижались. Могут же у человека быть маленькие странности.

– Только что Сафролов звонил, чтобы не расходились, кхе-кхе. – Такая у Гершла была манера – заканчивать каждую фразу легким покашливанием. Была у него и еще одна привычка – писать по пунктам.

– Восемь скоро. Три часа ожидаем его превосходительство. Разве можно так людей оскорблять? Унижать писателей?

– А вы можете им чем-то помочь, кхе-кхе? Дай бог, чтобы мы только долгим ожиданием отделались. Для меня, Залман, такие собрания, как сегодня у нас будет, – дело привычное. Знаю, чем оно пахнет. Аншл, поди сюда, – обратился он к маленькому, юркому Рабиеву, который носился по клубу, не останавливаясь ни на минуту.

По сравнению с Залманом и Гершлом Аншл выглядел как мальчишка, хотя был с ними одного возраста, наверное, даже чуть постарше. Во всяком случае, когда он, Аншл, занимался в Вильно подпольной работой, в то время как на город наступали польские легионеры, большого начальника, первого заместителя генерального секретаря Союза писателей Валерьяна Анатольевича Сафролова еще на свете не было, и это давало Аншлу право не скрывать своего возмущения человеком, который заставляет так долго себя ждать.

– Я что ему, мальчик, что ли? – кипятился Аншл, забыв, что рядом вертятся Яша Розен и Рудольф Ледер, которым, насколько знал Залман, Аншл тоже не очень-то доверял. Зато Аншл не забыл, что втроем собираться не стоит, потому что в пятьдесят восьмой статье, кроме пункта десять, есть еще пункт одиннадцать.

– Да ладно вам кипятиться, – попытался успокоить его Гершл Биншток, и как у человека, который лучше разбирается в таких вещах, хотя они оба еще до войны отсидели в тюрьме и в лагере за шпионаж в пользу Японии, потому что жили на Дальнем Востоке, в Биробиджане, спросил у Аншла, зачем из заставляют так долго ждать, какой в этом смысл, кроме того, чтобы их унизить.

Беспечность, всегда освещавшая худое, костистое лицо Аншла, ни на миг не померкла в его насмешливых голубых глазах.

– Какой смысл, говоришь? – переспросил он дребезжащим тенорком. – Смысл – дай бог, чтобы я ошибался – в том, что домой отсюда мы уже не вернемся. Я в таких вещах прекрасно разбираюсь, так что очень советую вам втроем не скапливаться. Там, где двое, третий – лишний. Ему, – указал он на Гершла, – напоминать не надо, он все это не хуже моего знает. Но вас, Залман, я должен предупредить.

После таких слов Залман очень неуверенно приблизился к Натану и Мееру, когда они его позвали.

– Что они там вам твердили? – спросил Натан.

– Гершл Биншток говорит, его превосходительство позвонили и велели передать, чтобы не расходились. Скоро прибудет.

– И на том спасибо. Дал о себе знать. Эх, до чего мы дожили… Ну, если скоро придет, надо на галерею подниматься. Как считаете?

– Конечно, вы идите, а я еще немного тут задержусь. Иногда хочется одному побыть, наедине с самим собой, так сказать.

Когда Меер Аренс остался один, он мысленно увидел себя в этом же зале на последнем партсобрании. Этого собрания он никогда не забудет. Не то что сесть, даже встать было некуда, ни внизу, ни наверху. Даже лестница была занята снизу доверху, кряхтела, угрожая рухнуть. Сколько председатель ни напоминал, ни предупреждал, все без толку. Никто не желал перейти в гостиную, хотя там было гораздо лучше слышно. Зато здесь воздух был другой. Раскаленный. Каждый ждал от собрания кроме обычной ругани чего-то такого, что сохранится в памяти на всю жизнь.

Когда Меер пришел, в зале еще оставались свободные места. Меер примостился в задних рядах.

Сцена в зале была низкая, не выше трех ступенек, и Меер со свое-

го места еле различал лица ораторов. Впрочем, в этом не было нужды. Лица можно было легко представить себе по речам.

Непонятно, как полный зал мог аплодировать Сафролову, поддерживать его выкриками и угрозами в адрес тех, с кем недавно плечом к плечу сражались на фронте не на жизнь, а на смерть, с кем годами дружили, к кому ходили в гости.

Говоря, Сафролов размахивал рукой, как мечом. Этот здоровый, рослый парень был в роте Меера запевалой. Со временем его голос сохранил силу, но совершенно утратил певучесть. До выступления Сафролова Меер не понимал, в чем, собственно, провинилась еврейская литература, чем заслужила, чтобы уничтожить ее одним ударом, в чем обвиняют еврейских писателей, которые уже там. Теперь он хотя бы приблизительно знал, в чем дело. Чаще всего в речи заместителя генерального секретаря и выкриках с места повторялись одни и те же слова: «Джойнт». Американские агенты. Буржуазные националисты. Предатели…

Сафролов закончил речь, и зал заревел:

– Почему евреи молчат? Не пришли?

– Здесь они! Здесь!

– А почему не выступают?

– Попрятались, бояться на трибуну выйти? Трусы!

Раз зашла речь о трусости, Меер охотно спросил бы это здоровенного парня Сафролова: а где же генсек, почему не пришел? От кого он прячется? От самого себя или от той самой трусости, которая перевешивает в нем все остальное? Как же прав был Марк Полонер, когда на Тверском бульваре сказал Пинхасу Машбергу: может, Россия знала и более ужасные времена, но никогда Россия не знала такого гнусного, такого подлого времени.

Те, кто продолжал надрываться в зале, своими криками ясно давали понять, что не делают различия между писателями, которые творят на еврейском и на русском. Главное, и те, и те – евреи.

– Вот один из них сидит.

Этот, указавший на него, напомнил Мееру тех пленных красноармейцев, которые, едва услышав от немцев команду: «Евреи и коммунисты, три шага вперед!», сразу показывали, кто среди них евреи и коммунисты.

Со всех сторон гремело:

– Не прячься! Выйди и расскажи о предателях и шпионах, что свили гнездо в вашей еврейской секции!

Все, кто сидел в одном ряду с Меером справа от него, поднялись, освобождая проход к сцене, куда он направился еще до того, как председатель вызвал его по фамилии. Меер шел, опустив голову, но не от страха – он с первого до последнего дня был на фронте, – а от стыда. Однако видел, что те, мимо кого он проходил, тоже опускали глаза.

– У входа в клуб висит мемориальная доска… – Горло внезапно пересохло, Меер был готов, что в любую секунду его заглушат свистом и топотом. – На доске вырезаны имена писателей, погибших на войне…

– Без тебя знаем!

– Дайте ему сказать.

– Неужели ни один из тех, – голос Меера зазвучал громче, – кто сейчас тут кричит, не заметил, сколько евреев упомянуто среди погибших? Как же можно обвинять евреев, что они не воевали, что они, в том числе еврейские писатели и писатели еврейского происхождения, прятались в Ташкенте?

– Не надо нам мораль читать. Лучше про ваших шпионов и предателей расскажи.

– На это я вам тоже отвечу.

– Минуту! – Сафролов встал, вскинул руку, сжатую в кулак. – Меер Давидович, я не слышал, чтобы кто-нибудь тут сказал, что евреи плохо воевали. Я до ранения не один день пробыл на передовой и видел, как храбро евреи сражаются. Но сейчас я должен для всех повторить то же самое, что вы, Меер Давидович, наверное, уже слышали от одного из наших авторитетнейших руководителей Союза писателей: евреи и не могли сражаться по-другому, потому что немец их все равно расстрелял бы. А русский солдат об этом не думал. Русский солдат сражался прежде всего за Родину. Вот в чем разница, Меер Давидович.

– Верно! Правильно! – понеслось из зала.

Перекричать весь зал Меер не мог. Дождался, когда стало немного тише, но говорить уже не было сил. От волнения, от внутреннего

напряжения зубной протез отстал от десен и запрыгал во рту. Меер прошамкал несколько слов, которых сам не понял, и, растерянный, спустился со сцены.

И вот он опять видит перед собой рослого Валерьяна Сафролова, уже не в мыслях, как минуту назад, а наяву, в сопровождении одного из его помощников.

Меер не торопился подняться на галерею. Он подождет, когда откроют собрание. А то мало ли что. Его бывший ротный запевала может сделать исключение и поздороваться с ним за руку. Нет, после того партсобрания Меер такому человеку руки не подаст.

Опасения оказались напрасны. Если бы даже Сафролов захотел подать ему руку, все равно не смог бы. Обе руки у него были забинтованы. Из окровавленных бинтов выглядывали кончики жирных, толстых пальцев с широкими, бурыми ногтями, из-за чего Сафролов напоминал мясника на бойне. Насчет собрания Меер тоже ошибся. Валерьян Анатольевич Сафролов заявил, что собрания не будет. Он пришел сообщить, что секретариат Союза писателей постановил распустить еврейскую секцию, которая стала гнездом предателей, космополитов, буржуазных националистов и проплаченных агентов американской разведки.

Но тут раздался хрипловатый бас Хаима Юнгача:

– А что с договорами, которые с нами заключило государственное издательство «Дер Эмес»? Мы же не виноваты, что его закрыли.

Сафролов еще не успел сказать ни слова, как его помощник вырос рядом с карандашом и блокнотом наизготовку.

– Позвони в «Огиз» от моего имени и узнай.

– Хорошо.

– Из Союза нас исключают или оставят пока?

Многим, наверное, показалось, что Натан зря это спросил. А то как бы большой начальник не разгневался. Но Сафролов совершенно спокойно ответил:

– Разумеется, оставят.

– А как же теперь печататься? – не отставал Натан. – Писатель должен печататься, если он действительно писатель.

– Разумеется.

– Где? По-еврейски теперь печататься негде.

– Так пишите по-русски. Ведь один из ваших от еврейского языка отказался, начал на русском писать. Берите пример.

Залман хотел ответить: «Значит, как я понимаю, вы предлагаете нам отказаться от нашего родного языка? Но народ без языка – не народ. Перейти на русский, говорите? Но еврейский писатель, на каком бы языке он ни творил, не может обойтись без еврейской жизни. Скажите, какой журнал, какое издательство будут печатать произведения о еврейской жизни теперь? Разве только мы будем лгать. Но тогда конец нашей литературе».

«А до сих пор? – спросил себя Залман. – До сих пор ты разве не лгал, писал только правду? – И сразу себе ответил: – Да, правды, кажется, никто из нас не рассказывал. Так или иначе все мы, кто больше, кто меньше, лгали. Но ведь мы считали, что пишем чистую правду. К нашему большому огорчению, мы поняли это только теперь, когда уже ничего не изменить, когда у нас отняли язык, наш родной еврейский язык».

Глава 32

Из клуба Натан вышел с Залманом и Меером, но на углу улицы Воровского и Трубниковского переулка с ними расстался. Надо было успеть, пока аптека не закрылась, забрать лекарства, заказанные для дочки. У Фейгеле уже второй день повышенная температура и сильный кашель.

Залман с Меером перешли на параллельную улицу Герцена. Там не надо так опасаться за каждое слово, за каждый взгляд, как на застроенной одно- и двухэтажными домами Воровского, где чуть ли не в любом здании иностранное посольство, и где за тобой следят из всех дворов.

Оглянувшись через несколько шагов, Залман тихо вздохнул:

– Боже, до чего мы дожили! – Он повернулся к Мееру. – Неужели все, конец? Ведь мы с тобой за это жизнь отдавали. Значит, зря?

– Ты меня спрашиваешь?

– А кого еще мне спрашивать? Ты же теперь, так сказать, наш патриарх, наш вождь.

– Патриарх, вождь. Скажешь тоже. Кто я вообще? Если бы меня считали писателем, как их, я бы тоже давно был там. Я ни на секунду не поверю в обвинения этого мясника Сафролова. Их единственная вина – что они евреи и писатели, наделенные настоящим талантом. А у меня, как видишь, особого таланта нет. Куда мне до них.

Залман мог бы возразить, что не надо принижать свой по-настоящему великий дар, немного найдется таких мастеров, у которых каждое слово сверкает как бриллиант. Еще мог бы добавить: а им-то откуда знать? Там, что ли, одни священники, которые у восточной стены сидят? Хватает и простых служителей, и обычных людей, чье место в сенях[1]. Кроме того, Залман не уверен, что те, с кем они сегодня виделись в клубе, тоже рано или поздно не окажутся там. Вроде бы этот мясник с забинтованными руками совершенно ясно дал понять.

– Все-таки тебе легче.

– Чем, например? – Залман не понял, к чему клонит Меер.

– Как бы то ни было, ты же один, тебе не надо думать, как на хлеб заработать. Когда ты один, поел – хорошо, не поел – ничего, как-нибудь. А мне семью содержать надо, жену и троих детей. Человек я небогатый, сам знаешь. Стихами, даже прозой еврейскому писателю не прожить. Надо еще чем-то заниматься. До войны мне и корректором поработать довелось, и выпускающим редактором, и переводчиком. Без хлеба, во всяком случае, семья не сидела. А теперь? Ты удивлен, наверное, что в такое ужасное время, когда нам уже смертный приговор вынесли, я могу о еде думать.

– Не надо оправдываться. Нет муки – нет Торы[2].

– Еще я по молодости недолго приказчиком в лавке служил. Маленько подучиться, и мог бы в счетоводы пойти. Но кто таких ненадежных элементов, как мы, на работу возьмет?

Залман представил себе, как великий мастер слова, автор известной на весь еврейский мир поэмы «Кадиш» Меер Аренс, вместо того чтобы создавать поэтические шедевры, сидит над конторской

1 В синагоге места у восточной стены считаются почетными. На чтение свитка Торы первым вызывают потомка священников, вторым – потомка храмовых служителей, третьим – прихожанина, не являющегося ни тем, ни другим.

2 Талмуд, трактат «Пиркей овес» 3:17.

книгой, щелкает на счетах, сводя дебет с кредитом, подсчитывая доход от продажи капусты, картошки, крупы, селедки, а рядом никого, кто поддержит, приободрит, скажет: «Ничего, мы еще увидим небо в алмазах…». Залман почувствовал, как у него запершило в горле.

– Не знаю, как у тебя, – продолжил Меер, когда они перешли через улицу, – а у меня дома накопилось полно иностранных еврейских газет и журналов, где мои стихи и заметки печатали. ЕАК их отправлял по почте от Совинформбюро для иностранной прессы. Не знаю, куда все это девать. Оставить – опасно, порвать и на помойку отнести – еще опаснее. Мне кажется, весь мусор просматривают. Лучше бы, конечно, сжечь. Но ведь во дворе костер не разведешь средь бела дня. Вот и не знаю, что делать.

– Есть один выход. У Натана дом без центрального отопления. Обычная печка. Я с ним поговорю. Отнесем к нему наши газеты и журналы и сожжем. Я тебе заранее дам знать.

– Только не по телефону.

– Ну, разумеется.

Они перешли Крымский мост и стали прощаться. Вдруг, отведя взгляд в сторону, Залман спросил:

– Как ты смотришь, если… Ну, короче, пойдешь в ЗАГС свидетелем жениха?

– А жених – это ты, что ли? Не сказал бы, что сейчас самое подходящее время. А она кто? Невеста, я имею в виду.

– Не спрашивай. Если дойдет до дела, все расскажу. Но пока попрошу тебя никому ничего не говорить. Кроме тебя и Натана, никто не знает. Даже сама невеста.

Через несколько дней Залман сидел у Натана и с тяжелым сердцем наблюдал, как огонь пожирает газеты и журналы, которые принесли они с Меером. Тот не стал дожидаться, когда пламя превратит бумагу в пепел. Известие, что сегодня ночью забрали самого старого писателя, Довида Эндрова, и самого молодого поэта, представителя нового поколения Йосефа Эрлиха, совершенно сломило Меера.

– Ну, хорошо, – рассуждал он перед Натаном и Залманом, – Довид Эндров какое-то время за границей жил, в Англии, по-моему. Но когда это было? Наверное, еще лет за десять до Первой мировой.

А Йосеф Эрлих вообще за границу никогда не выезжал. Доброволь-цем на фронт ушел из девятого класса, ранен был, тяжело, в шею.

– А Мотл Янбург, который там уже давно, не был тяжело ранен? – возразил Натан. – А меня, думаете, спасет, что я тоже с фронта раненый вернулся?

Ни Меер, ни Залман не нашлись, что ответить.

Печь гудела, огонь плясал, напоминая костры на берлинских пло-щадях, где книги превращались в пепел.

Залман смотрел и спрашивал себя: какая, в общем-то, разница, сгорят сокровища еврейских библиотек или пойдут под нож? «Ни-какой!» – ответил ему огонь в печи.

Глава 33

Вдруг зажегся свет. Натан отвернулся к стене и спрятал лицо в по-душку. Но тут же услышал шум в комнате и проснулся окончатель-но. Рядом стояли трое незнакомых людей. Один, в черном кожаном пальто и с таким же черным портфелем в руке, склонился над крова-тью. За столом развалился, как у себя дома, дворник в белоснежном фартуке – здоровяк с очень маленькой, сплюснутой с боков головой. Молодой человек в черном, будто извиняясь, что разбудили людей среди ночи, тихо, вежливо сказал:

– Проверка документов.

– Годл! – не отрывая головы от подушки, позвал Натан жену, ко-торая лежала с краю. – Мой паспорт в новом костюме, во внутреннем кармане.

– Отвернитесь, пожалуйста. – Годл села в кровати и натянула оде-яло до подбородка. – Я халат накину.

– Вам никто не мешает, – тем же спокойным тоном ответил мо-лодой человек в черном пальто. – Можете одеться в нашем присутст-вии.

– Она все-таки женщина! – Натана разозлило, что надо объяс-нять очевидное. – Она все-таки женщина, – повторил он, все еще не понимая, что происходит, зачем понадобилось проверять докумен-ты и будить людей среди ночи.

– Ну и что, что женщина? – вмешались двое других. – Нам без разницы. Предъявите документы!

– Сейчас, сейчас. – Прикрывая руками грудь, Годл встала, накинула поверх короткой ночной рубашки с глубоким вырезом халат, висевший на спинке стула, и в сопровождении одного из незваных гостей пошла в другую комнату, где стоял платяной шкаф.

Там тоже ярко горел свет. Лейзерка и Фейгеле проснулись и испуганно смотрели на незнакомого дядю и маму, которая что-то ищет в шкафу.

– Спите, ласточки мои, еще рано. – Годл поправила им одеяльца и попыталась уменьшить свет. Сопровождающий грубо отвел ее руку от выключателя.

Тот, что стоял возле кровати, наверное, главный, пока ничем не показал, что есть причина для беспокойства. Обычная проверка документов, не более того. Натан даже не сел. Так и лежал, подушку только повыше подложил.

С той минуты, как сопровождавший Годл вернулся и передал молодому человеку в кожаном пальто два паспорта в твердых красных обложках, оба младших по званию обращались к своему начальнику не по имени-отчеству – Виталий Кузьмич, – а только «товарищ майор».

Майор быстро просмотрел паспорт Годл и отложил в сторону. Паспорт Натана он изучал дольше, читая вслух графу за графой: «Левитин, Натан Захарьевич. Тысяча девятьсот восьмой, еврей. Починок Смоленской области».

Спрятал паспорт в портфель и так же спокойно, вежливо, будто извиняясь, сказал:

– Вам придется проехать с нами.

– Куда? – Вдруг за приоткрытой дверью в коридор Натан заметил солдата, вооруженного винтовкой с примкнутым штыком, и почти не взглянул на бумажку, которую майор показал ему, достав из портфеля. Трех напечатанных вверху страницы крупных букв МГБ было более чем достаточно, чтобы понять: три человека, не считая рябого дворника, среди ночи ворвались в квартиру совсем не для того, чтобы проверить документы. Как же он сразу не догадался? Натан изо всех сил постарался скрыть волнение.

– Годеле, принеси одежду.

От страха Годл совсем растерялась:

– Какой костюм наденешь?

– Дайте ему новый костюм, пожалуйста, – вежливо подсказал майор. – Он же все-таки не куда-нибудь, а в министерство едет. – И, наклонившись к Натану, который уже сидел на кровати, спросил: – Оружие есть?

Вопрос был настолько глупый, что Натан невольно вытаращил глаза.

– Оружие есть? – сделав вид, что ничего не заметил, громче повторил майор.

Натан только помотал головой и потянулся за брюками, которые успела принести Годл. Спокойный, вежливый молодой человек в кожаном пальто выхватил их у Натана, вывернул все карманы, прощупал каждый шов. То же самое проделал с пиджаком, вытряхнул из карманов все, что в них завалялось, и все найденные бумажки убрал в портфель. Натан молча смотрел, как майор снимает с его пиджака боевые ордена и медали.

Когда Натан оделся, один из младших по званию, тот, что стоял возле книжного шкафа, бросил Годл:

– Наверное, вы ему с собой хотите что-нибудь дать. Только побыстрее.

– А что ему можно взять с собой? – Годл ни на секунду не могла справиться с замешательством. – Вы надолго его забираете?

– Есть русская пословица, наверняка вам известная: готовь сани летом, а телегу зимой. Мыло ему дайте, зубную щетку, смену белья, рубашку, носки. Продукты не надо. У нас от голода никто не умирает.

– А деньги? Деньги можно?

– Только немного.

– Откуда у нас много? Так сколько разрешается с собой брать?

– Несколько рублей дайте, чтобы в первое время было на что в магазин сходить. У нас там магазин есть.

– Можно с детьми попрощаться? – спросил Натан, стоя у прохода в другую комнату.

– Можно. Только недолго. Времени нет. Ах, да. – Вдруг майор преградил ему путь. – Здесь же дверь была. Где она?

– Не было никакой двери.

– Здесь была дверь!

Натан и Годл незаметно переглянулись, спрашивая друг друга глазами: кто еще, кроме Яши, заходил к нам, когда мы сжигали дверь? Ведь мы никому об этом не рассказывали, даже Залману.

– Может, вы объясните, куда дверь девалась? – обратился майор к Годл.

В Натане проснулся солдат, фронтовик, который не раз смотрел в лицо смерти.

– Я же вам уже сказал, не было тут двери. Когда-то повесил дверь, когда ремонт делал, тогда нужна была. Потом не нужна стала, я ее и снял.

– И сожгли?

– Да. Сожгли.

– Зачем?

– Потому что ее хранить негде, это же коммуналка. Вот и пустили на дрова. – И хотя объяснять это майору не было никакой необходимости, Годл все-таки добавила: – Квартира без центрального отопления. У нас печка.

– Хватит юлить. – Теперь голос майора звучал не так тихо и спокойно, но все-таки, как казалось Годл, более по-человечески, чем у того, который следил, что она достает из платяного шкафа, и не дал выключить свет в детской комнате. – Думаете, мы не знаем, почему вы дверь сняли? Вы подумали, что мы придем, и испугались, что у вас комнату отберут. Не такое у вас жилье, чтобы за ним гоняться, особенно за маленькой комнатой.

– Делайте что хотите, нам уже все равно. Только скажите, – повернулась Годл к парню в очках, который стоял у книжного шкафа, – почему вы моего мужа забираете, а меня оставляете с двумя маленькими детьми на руках? В чем он провинился? Он всю войну прошел, ранен был два раза. За что вы его забираете?

– Невиновных мы не забираем.

– И в чем его вина?

– Ему там объяснят.

Из другой комнаты донеслись детский плач и крики:

– Ма-ма!

В этот раз за Годл пошел второй, тот, что в очках.

Лейзерка и Фейгеле сидели на своих кроватках, в детских глазах такой страх, что у Годл сердце заболело. Стараясь этого не показывать, она тихо спросила:

– Что вы не спите?

– Я хочу пи-пи! – еще громче заплакала Фейгеле.

– Из-за этого плакать надо? – И Лейзерке: – Ты же большой мальчик, не мог ей горшок дать? Он же под кроватью у нее.

– Я смотрел, там нету.

– Неужели я забыла на ночь поставить? – Годл взяла дочку на руки, но солдат с примкнутым штыком преградил путь в коридор, где находился туалет.

– Пропусти! – приказал майор, – но дверь в туалет не закрывать!

– А если мне тоже надо…

– Все равно. – И повторил солдату приказ: – Дверь не закрывать!

Фронтовик все сильнее бушевал в Натане. Вот-вот вырвется на свободу мысль, к которой он пришел, услышав данный солдату приказ. Между теми, с кем он сражался на фронте, и теми, кого он видит перед собой сейчас, нет никакой разницы. Ни в тех, ни в других не осталось ничего человеческого. Теперь это совершенно очевидно…

– Где ваше пальто? – вернул его к действительности голос майора. – Давайте сюда!

В кармане завалялся вчерашний номер «Комсомолки». Эту газетку, которая активнее всех остальных периодических изданий раскрывала подлинные фамилии евреев, писавших под псевдонимом, Натан мимоходом купил по дороге с работы. Больше ничего майор не нашел, но газету тоже спрятал в портфель.

– Куда? – Парень в очках только что пропустил в другую комнату Годл с Фейгеле на руках, но остановил Натана, когда он попытался пройти следом.

– Вы не можете запретить мне попрощаться с детьми.

– Можем! Мы все можем. – Голос майора опять стал тихим и спокойным. – Но я вам разрешаю. – И сам пошел за Натаном, будто никому кроме себя не доверял.

– Не плакать, слышишь, Годеле, не плакать. – Натан взял на руки сначала Фейгеле, потом Лейзерку, прижал к себе, расцеловал. –

Слушайтесь маму. Будьте умницами, не обижайте друг друга, учитесь хорошо. И меня не забывайте, помните. Спокойной ночи, мои хорошие. Эх, как же я буду по вас скучать!

Но последние слова услышала только Годл. Натан произнес их, уже стоя на пороге между солдатом с винтовкой и майором в кожаном пальто и с черным портфелем в руке.

– Обыск начинайте без меня. Я скоро вернусь.

– Есть, товарищ майор! – в один голос ответили оба подчиненных.

– Папиросы! Папиросы! – Крик Годл нагнал Натана на нижней ступеньке.

Он остановился.

– Разрешите ей передать мне папиросы. Я забыл.

– Давайте сюда! – крикнул майор очкастому подчиненному, маячившему в дверях.

Положил несколько пачек в портфель и бросил Натану:

– Вам там отдадут.

В открытом пустом дворе возле подъезда деревянной двухэтажки ждал легковой автомобиль того же цвета, что кожаное пальто майора. Майор открыл заднюю дверцу, первым пропустил внутрь Натана. Рядом сел солдат, зажал между колен винтовку, сняв с нее штык. Пару раз проверив, хорошо ли закрыта дверца, майор сел на переднее сиденье рядом с шофером, и автомобиль с включенными фарами выехал из двора.

На углу Трубниковского машина повернула налево и понеслась по ночному, засыпанному свежим снегом Арбату. Натан скользил взглядом по испуганно убегающим назад высоким и низким зданиям с темными окнами. Прохожих не было, улица будто вымерла. Лишь в одном окне за опущенной занавеской мелькнул огонек. Натан попытался вспомнить, кто из еврейских писателей живет на Арбате. Но с чего он взял, спросил он себя в ту же секунду, что охота идет только на еврейских писателей, что только их и тех, кто имеет отношение к еврейской литературе и культуре, среди ночи поднимают с постели? До того как начались новые преследования, новая охота, машина, в которой его сейчас везут, тоже явно не знала отдыха. А сколько еще таких машин носилось по ночным улицам, дрожащим от страха!

Если бы речь шла только о представителях еврейской культуры, их всех забрали бы за одну ночь!

Машина выкатила на Арбатскую площадь. Большие электрические часы на столбе напротив булочной показывали пятнадцать минут четвертого. С того момента, как его подняли с постели, прошло не больше получаса. Значит, еще и трех не было, когда незваные гости без стука вломились к нему в дом. С вечера была закрыта только входная дверь, внутри квартиры соседи почти никогда на ночь дверей не запирают. Но как незваные гости в темноте сразу нашли выключатель? Значит, кто-то им заранее рассказал. И еще рассказал, что между комнатами была дверь, а он ее сжег.

Кроме Яши, никто этого не знал. Он даже Залману не сказал, просто не успел. Кто еще, кроме Яши, мог их выдать?

Сколько раз Залман предупреждал его, даже тетрадку Ойзера давал прочитать, а Натан все не верил. Ведь Розен – не посторонний, не чужой. Свой человек в писательской братии. И вот это самое страшное, это и непонятно. Но теперь Натану необходимо понять, разобраться. С другой стороны, а что толку, что теперь он поверил? Все равно он никого не сможет предостеречь. Годл? Ей и так страшно, одной с двумя детьми.

Но кто же он все-таки, этот Яша? Просто проплаченный доносчик или он тоже жертва?

Дома бегут навстречу все быстрее и быстрее. Невозможно зацепиться взглядом. Вот машина проносится по улице Коминтерна, поворачивает на Моховую. Отсюда уже рукой подать до серого здания, куда его везут. Улица идет чуть под гору. Сколько же раз он ходил здесь, мимо этих домов…

Майор с шофером уже настолько привыкли работать по ночам, что им уже все равно, день сейчас или ночь. И точно так же им все равно, кого они подняли с постели и увезли, может быть, сами не зная, почему. Они знают только, что тот, кого они везут, редко от них возвращается. А солдат рядом с Натаном, похоже, о чем-то размышляет. Он наверняка удивился бы, если бы узнал, что Натан думает сейчас не о жене и детях. Он не может о них думать. Это слишком страшно. У него всю дорогу голова занята другим, и в этом его единственное спасение.

Насколько ему известно, оттуда редко приходят за кем-то одним. Та же самая машина едет за вторым, за третьим. За кем на час раньше, за кем на час или два позже. Если сегодня он у них первый, кто станет вторым из тех, кто, как и он, до сих пор оставался на свободе, и кого он в последний раз видел в клубе, когда туда явился этот мясник с забинтованными ручищами? Кто?

В конце концов ужасная мысль, от которой Натан защищался изо всех сил, все-таки прорвалась к нему и погнала его домой… Фейгеле и Лейзерка не спят, конечно. Сидят на кроватках и смотрят, как двое оставшихся, высокий, сутуловатый парень и второй, в очках, шарят по всем углам, простукивают стены, пролистывают книги, выкидывают из Лейзеркиного ранца тетради и учебники, перетряхивают их. Зачем им листать еврейские книги? Все равно же потом сожгут.

Он боится только одного: хоть бы Годл не сболтнула лишнего. Как бы осторожно она себя ни вела, всякое может случиться. Ей это ничего не даст, может только и себе, и ему хуже сделать. О себе он не думает, а вот о ней… Ведь она с двумя маленькими детьми осталась. «Не дай им тебя провести, Годеле, ты же умница у меня». Натану показалось, что он сказал это вслух.

«Так кого же из вас заберут сегодня вместе со мной? Тебя, Залман, или вас, Меер?»

За Меера он спокоен. Меер Аренс, как и Натан, тоже был на фронте, и не военным корреспондентом, а на поле боя. Меера не так легко запугать, не так легко сломить. Насчет Залмана он не настолько уверен. Его сломить могут. Они умеют добиваться, чтобы человек сказал все, что им надо. Но он не хочет допустить, не может допустить, чтобы Залман назвал кого-нибудь, кроме себя. А для тех, к кому сейчас везут его, Натана, самое главное, чтобы им назвали имена, как можно больше имен. Об этом на Пурим, когда они устроили праздничный ужин, по секрету сказал ему бывший евсек Шамай Бинкин. Рассказал, как там следствие ведут. Будто заранее его готовил. Видно, Бинкин уверен, что никому не миновать печально известного дома на Лубянской площади, по сравнению с которым, если верить Шамаю, ад – это рай.

Тогда Натан ответил Шамаю: око за око, зуб за зуб. Тот, кто

там поднимет на него руку, останется без руки. Однажды Натану довелось пойти в рукопашную. Только тот, кто сходился с врагом в рукопашной, по-настоящему знает, что такое война. Если погибать, то вместе с убийцей, а не как раб.

Его не удивляет, как он может размышлять о таких вещах, когда дома остались испуганные дети. Не думать сейчас о них – его единственное спасение, единственный способ держать себя в руках.

Машина уже взбежала на площадь Свердлова и покатила вниз, к серому зданию с окнами, горящими тусклым желтым светом.

Через минуту машина остановилась прямо на тротуаре. Вышли в том же порядке, в котором выходили из дома: Натан между майором с черным портфелем и солдатом с винтовкой.

Легко, будто сама собой, отворилась одна створка высоких дверей с занавешенными окошками. Прежде чем войти, Натан невольно бросил взгляд на карниз, будто ожидая увидеть там надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Глава 34

– О господи, разве так можно? За целый день даже не позвонил! Я уже не знала, что думать.

Надино беспокойство не удивило Залмана. Он ждал этого, хотя все годы, что они были близки, до недавнего времени он редко сообщал ей, что собирается задержаться где-нибудь допоздна. Но и когда они жили не вместе, а каждый в своей квартире, Залман чувствовал Надину любовь, которая все больше походила на материнскую. А на что еще это похоже, если Надя недавно спросила его, почему он не женится на Элише? Залман знал: она не ждала ответа, что если он и женится, то только на ней, на Наде. Она ведь его на несколько лет старше и, прямо сказать, далеко не красавица. Не из тех, в кого можно влюбиться с первого взгляда, как, например, в Пэпу или ее дочь Элишу. Надя и так была счастлива, что во время войны судьба свела ее с Залманом, который для нее красивее и лучше всех на свете, хотя знала, что это ненадолго, что в любой день она может его потерять.

– Целый день тебе названивает. – Ее голос заметно дрожал. – Последний раз минут десять назад звонил.

– Кто?

У Залмана чуть не вырвалось: «Мартин Константинович?»

– Я не спросила, а он не представился. А кто это может быть, что все это значит?

– Откуда я знаю? – Залман постарался скрыть накативший страх. – Ума не приложу, кто может мне сюда звонить. Из моих знакомых никто и номера-то твоего не знает, кроме Натана.

– Думаешь, был бы это Натан, я бы по голосу не узнала, или он сам бы не назвался?

– Так настойчиво звонил и не сказал, что ему надо?

– Просил передать, чтобы ты сегодня обязательно к Левитиным зашел.

– Теперь вообще ничего не понимаю. – Залман в недоумении развел руками и спросил скорее себя, чем Надю: – Если я ему так нужен, что же он сам не позвонил, зачем кого-то просить? Может, болен? Но тогда Годл позвонила бы. Странно, очень странно.

– Вот и мне кажется, очень странно! Я им несколько раз перезванивала, никто трубку не берет.

– Говоришь, в последний раз совсем недавно меня спрашивал? – Залман снял трубку и, хотя очень не хотелось звонить Натану из Надиной квартиры, шесть раз повернул диск с буквами и цифрами.

Никто не подошел.

– Не может быть, чтобы у них целый день никого дома не было, если сами прийти просили. Телефон, что ли, не работает? Все-таки придется съездить.

– Я с тобой! – Надя сняла с вешалки пальто.

– Не стоит, пока ничего ужасного не случилось, до погромов не дошло еще. Обещаю, сразу же дам тебе знать, что там и как.

Выйдя на улицу, Залман на всякий случай еще раз позвонил Натану из телефона-автомата. Трубку опять никто не взял. Подождал пару минут, набрал еще раз. То же самое. Перезванивать снова явно не было смысла. Залман на ходу вскочил на подножку трамвая.

Через полчаса Залман, запыхавшись, поднялся по крутой деревянной лестнице.

Дверь в коридор коммунальной квартиры, как всегда, была открыта. В комнаты Натана дверь тоже обычно не запиралась. Залман знал это, но, после того как никто не появился на стук, не стал входить, а постучался еще раз, сильнее.

Изнутри послышался голос Годл. В первый момент Залман его не узнал.

Открыл дверь и застыл на пороге. То, что Залман видел у Рефоэла Охримова, когда приходил за письмом для Пинхаса Машберга, и то, что увидел сейчас, напомнило ему, как однажды в субботу, в первый день месяца элул, к ним в местечко ворвались зеленые. Бандиты добрых два часа хозяйничали на улицах. Из всех убитых, лежавших на порогах и в канавах, ему больше всего запомнился часовщик, который пытался спрятаться в их убогом домишке за старой синагогой. Здесь его и настигла пуля. Часовщик лежал в сенях с залитым кровью лицом и широко открытыми, остекленевшими глазами, в которых застыл вопрос к тому, кто здесь, рядом, за стеной, спрятался в ковчеге со свитками Торы, которую он вместе с мечом даровал избранному народу – народу Израиля. «Гасаиф вегасейфер нитну мехойрохин мин гашомаим»[1]. Для кого и против кого вместе с Торой был послан меч?

Не тот ли это меч из Торы, который тогда прошел через беззащитные еврейские города и местечки, а еще до того не раз проходил через еврейские общины, теперь намеревается уничтожить все еврейское и легко рубит всех, кто имеет отношение к еврейскому языку?!

У Натана, точь-в-точь как у Рефоэла Охримова в то утро, все было перевернуто вверх дном. Книги сметены с полок, вырванные страницы разбросаны по полу. Для Залмана, как и для его отца, свята любая еврейская книга. Каждая страница, каждая буква. Из-за одной такой странички с еврейскими буквами его отец, царство ему небесное, в девятьсот пятом получил удар казацкой нагайкой. Листок, который отец подобрал на улице, оказался не страницей из святой книги, а прокламацией. Отцу Залмана было не важно, что написано на бумажке, валявшейся на мостовой под ногами. Достаточно того, что там еврейские буквы.

1 «Меч и книга даны вместе с небес» (древнееврейск.).

Залман тоже не мог смотреть, как на полу валяются страницы, вырванные из еврейских книг. Он собрал бумажки все до единой.

На улице еще не стемнело, но здесь, как поминальная свеча, горела настольная лампа, наверное, не выключенная с ночи. В комнате было тепло, будто печка, в которой они с Меером жгли еврейские газеты, еще не остыла, но Годл сидела, закутавшись в шерстяной клетчатый плед. Испуганные дети – Лейзерка и Фейгеле – тихо сидели в углу, ничего не спрашивали, ничего не просили.

Залман сразу все понял. Только, зная, что его тоже могут забрать не сегодня завтра, спросил у Годл, когда пришли за Натаном.

– Часа в три ночи… Натана минут через пятнадцать увезли… А сами в начале десятого ушли…

– Семь часов! – еле сдерживая гнев, прохрипел Залман. – Что они тут семь часов искали? Бомбы, пулеметы, танки, доллары? Спрятанный меч из Торы? Он и так у них!

– Вы были правы насчет него.

– Насчет кого? – не понял Залман.

– Насчет подонка этого, Яши Розена. Ничтожество, душонка продажная. Они сами его выдали. Только вошли, сразу: «Где дверь? Зачем сожгли?» Розен – единственный, кто об этом знал. Случайно пришел, когда Натан дверь рубил и жег.

Залмана не потрясло бы, даже если бы Годл сказала, что Розен был с теми, кто хозяйничал тут сегодня ночью. С другой стороны, Натана и без Яшиного доноса могли забрать. Трудно поверить, что Розен сначала не сообщил, куда надо, о нем, о Залмане. Он давно за ним присматривает, и все-таки Залман пока на свободе. Может, его защищает от карающего меча Мартин Константинович? Непонятно, чем он заслужил такую милость. С ним играют втемную. Но чего от него хотят теперь, когда из еврейских писателей и тех, кто имел отношение к Еврейскому антифашистскому комитету, скоро и так никого не останется? Почти все уже там, у них. Видно, им нужно что-то поважнее того, что им может сообщить Розен.

– А что с телефоном? Мы с Надей несколько раз звонили, никто не подошел. – Залман снял трубку, поднес к уху – мертвая тишина. – Видимо, отключили. Я Наде сразу позвонить обещал. Клочок бумаги найдется?

– Лейзерка…

Лейзерка достал из ранца тетрадь, вырвал страницу. Залман написал Надин номер, протянул мальчику листок и монетку.

– Позвони из автомата Надежде Федоровне, скажи, что я у вас и еще задержусь.

Взял на руки тихую, испуганную Фейгечку, сказал, будто обращаясь только к ней:

– Мне кто-то целый день звонил, просил Надю передать, чтобы я обязательно к вам зашел. Кто бы это мог быть?

– Может, Хайкл? – предположила Годл.

– Вайнкол? Тогда понятно. Он всегда первым узнает, кого забрали. Это от него я услышал радостные новости о Бен-Арье, Айзике Добрине, Пинхасе Машберге.

– Мне кажется, вы зря его подозреваете. Он от Яши мог узнать, они живут по соседству.

Вернулся Лейзерка, на щеках румянец от запоздалого весеннего морозца.

– Что Надежда Федоровна ответила, когда ты сказал, что я у вас задержусь?

– Ничего. Спросила только, что у нас случилось. Я сказал, что ночью папу арестовали.

– Я же, кажется, просил ей не говорить. Ладно, пусть знает, все равно я бы сам ей сказал. Она не из тех, кто после этого побоится к вам прийти.

– Чего вашей Наде бояться? – возразила Годл. – Она же русская.

– А русских мало посадили? Но дело в том, что у них пока не все поле перепахали, не все вырвали до последнего колоска. Еще есть где сеять.

Вдруг раздался треск, и в доме сразу стало темно. Залману почудилось, что в воздухе мелькнул призрак Натана и погасил поминальную лампу на комоде. Стараясь не показывать, что творится у него в голове, Залман попрощался с Годл, чего-то пожелал ей и поспешил уйти.

Глава 35

Надя расспрашивала, но Лейзерка и так все рассказал ей по телефону. Залман смог добавить только, что арестовали Натана в три часа ночи, и в квартире все было перевернуто вверх дном, как обычно после погрома. Сам Залман спросил у Нади только одно: не звонили ли ему снова.

– Нет, никто не звонил.

Домой от Нади Залман вернулся на другой день утром и совершенно не удивился, застав у себя в комнате Элишу.

– Давно пришла?

– Как только узнала, что Натана посадили. Здесь, у вас, мне тоже не скрыться. Ваш дворник с такой злобой на меня вытаращился…

– Ну, с дворником я как-нибудь разберусь. Дня три-четыре точно сможешь у меня побыть, а там посмотрим. Я что-нибудь придумаю. А знаешь, что? Поговорю-ка я с Ханой, вдовой Ойзера, ты же поначалу у них останавливалась. Может, и теперь там поживешь?

– Что мне дадут эти несколько дней? Тем более, я так с Ойзером поступила, что теперь у них и дня провести не смогу. Как я им в глаза смотреть буду?

– Ты одна, что ли, его подозревала? А я его не подозревал? Нет, ни ты, ни я в смерти Ойзера не виноваты. Наше время виновато. Страшное, подлое время.

Вдруг их взгляды встретились. Так на него смотрела ее мать, красавица Пэпа, когда они виделись в последний раз. Ее огромные голубые глаза лишили его дара речи, и теперь он так же онемел под таинственным взглядом Элиши.

– Даже не знаю, как вас благодарить, – тихо сказала девушка, опустив веки. – Вы столько сделали для меня, куда уж больше... Разве только он не оставит меня в покое.

– Кто?

– Да этот. Яша позвонил, передал, чтобы я сегодня вечером пришла к этому полковнику. Он Яше обещал, что сегодня выдаст мне разрешение на постоянную прописку в Москве. – Она немного помолчала и продолжила еще тише: – Даже если бы я поверила, все равно бы не пошла. И знаете, что я вам скажу, милый Залман… Они оба мне противны. Не хочу я видеть ни Яшиного полковника, ни самого Яшу.

Настолько он мне стал омерзителен… – Элиша встала. – Мне кажется, была бы я его женой, Розен и то отвел бы меня к полковнику по первому приказу. – И спросила с претензией в голосе, будто Залман был в чем-то виноват: – Откуда у такого человека может взяться поэтический талант? Причем настоящий, как вы говорили, да и не только вы.

– Пути господни неисповедимы, Элиша. Слушай, знаешь, что я придумал? Надо бы с Годл поговорить. Раз Натан уже там, к ней, как я понимаю, пока больше не придут. Несколько дней у нее поживешь, а потом посмотрим.

– Нет, не стоит. Я через два дня уезжаю, уже билет купила.

– Куда? Куда ты ехать собралась?

– Куда же еще, если не за темные горы, как Шлойме Бен-Михоэл называл нашу глухомань, где я маму оставила?

Залман взял Элишу за руки и как ребенку начал объяснять, что ни в коем случае нельзя ей ехать в тундру, страну ссыльных. Она должна остаться здесь, если хочет осуществить свою мечту. В мире не только злодеи живут, как теперь кажется. Он привел три примера, которые она и без него знала: три знаменитых русских театра, куда режиссеры, русские люди, приняли трех еврейских актеров, когда еврейский театр закрыли.

На первое время Залман выбрал для Элиши квартиру Годл, пока он не найдет для нее подходящее жилье.

Через пару дней, захватив для Лейзерки и Фейгеле по плитке шоколада, он поехал к Годл договориться насчет Элиши.

В темном коридоре он встретил соседку.

– Здравствуйте.

Соседка не сразу его узнала.

– Вы к кому? – тихо спросила, как-то странно оглядываясь по сторонам.

– К Годл Левитиной. Вижу, вы меня не узнаете.

– Да, да, теперь узнала. – И, больше не сказав ни слова, подвела его к двери, на которой висел опечатанный сургучом замок.

В тот вечер у него остался к Годл только один вопрос, все остальное и так было ясно. И теперь он задал тот же вопрос соседке.

– Вчера утром, когда Лейзерка в школе был, а Фейгеле в детском садике. Обыска не проводили, как в тот раз, когда Натана Захарьевича

арестовали. Только комнаты опечатали. Может, оно и к лучшему, что Годл Михайловну увели, когда детей дома не было. Она бы не выдержала. – Женщина вытерла рукавом повлажневшие глаза, но слезы тут же выступили снова.

– А дети-то где? Фейгеле же еще четырех не исполнилось. – Залман еле сдерживался, чтобы не разрыдаться.

– И детей забрали. Сперва Фанечку, потом Лейзерку.

– Как, по отдельности? Не вместе? С ума сойти. И куда их увезли?

– Не знаете, куда детей врагов увозят?

– Господи! Поверить не могу!

В коридор осторожно высунул голову сосед-еврей, в глазах ужас, будто опасность еще не миновала. Махнул рукой. Наверное, это означало: уходите быстрей и ничего не спрашивайте. У дерева все ветки от одного корня. Если родители нечисты, то и дети тоже.

Залман не удивился, что ему опять пришла в голову мысль, которую он то ли в шутку, то ли всерьез уже высказывал Элише. Теперь ему стало ясно: другого выхода нет! Нет!

– Ну а если… – И тут же сам себе возразил: до сих пор жен и детей не переселяли, все они оставались в своих квартирах. Еврейским писателям повезло: никто из них не разбогател. Отобрать нечего. Даже у Рефоэла Охримова и Марка Полонера – писателей с мировым именем – не было дачи. Они чуть ли не единственные еврейские литераторы, которые жили в отдельных квартирах, да и то не таких, чтобы кто-то на них позарился. Видимо, Годл неправильно повела себя во время обыска, сказала резкое слово, за что и поплатилась. Невозможно придумать более жестокое наказание для матери и маленьких детей.

Напоминать Элише, как держаться, если за ним придут, совершенно незачем. Она через это уже прошла, знает эти игры.

Залман не стал продумывать заранее, как он будет объясняться с Элишей. Зашел в юридическую консультацию узнать, может ли будущая жена, когда в ЗАГС уже подано заявление, жить у него без прописки.

Потом заглянул в мебельный магазин и купил ширму.

Элиша еще не успела спросить, зачем он принес ширму, как Залман решительно протянул руку:

– Давай сюда билет, ты никуда не едешь. Перед тем как ширму покупать, я зашел к юристу и все выяснил. Если мы завтра-послезавтра подадим в ЗАГС заявление, тебе не придется дрожать ни перед дворником, ни перед соседями, ни перед милицией. Имей терпение, я знаю, что ты хочешь сказать. Сначала послушай. Ты думаешь, я с ума сошел, не понимаю, что мы не пара.

– Я не это хотела сказать. Я хотела вам…

– Подожди, – остановил ее Залман, – дослушай до конца. Если помнишь, пару раз я, вроде как в шутку, уже предлагал тебе выйти за меня замуж. Теперь предлагаю то же самое без всяких шуток. Мы не первые, кто так поступает, и ни ты, ни я в этом не виноваты. Нас вынуждает время, подлое и жестокое, как говорил наш великий поэт Марк Полонер. Слушай дальше. Распишемся, и на другой день, когда ты уже будешь моей законной женой, сделаю тебе постоянную прописку. С моей стороны не будет никаких претензий, если через год, через полгода захочешь развестись. Из комнаты, сама понимаешь, я тебя не выпишу и не выселю. К тому времени у нас будут на нее одинаковые права. А если со мной… Не перебивай. Я знаю, что говорю. Тогда комната по закону перейдет к тебе. Подожди, это еще не все. Чтобы соседи ничего не заподозрили, мне придется какое-то время оставаться здесь на ночь. Поэтому я ширму и купил. Вот теперь все, что я хотел сказать. – И, наклонившись, он коснулся губами ее лба.

И Элиша почувствовала, сколько отеческой нежности было в этом легком поцелуе.

– Элишенька, ты документы приготовь: паспорт, метрику, что там еще нужно. Завтра в ЗАГС отнесем.

Элиша смущенно опустила глаза:

– Даже не знаю, что вам ответить.

– Ничего отвечать не надо. Все уже решено. Завтра подаем заявление. – Он снял со спинки стула и протянул Элише ее сумочку. – Давай билет. Поеду сдам в кассу.

Билет лежал у Залмана в кармане, а Элише все казалось, что это шутка, сцена из его новой, еще не написанной пьесы. Но подыгрывать Залману дальше, когда уже отдала билет, Элиша не могла.

– Хорошо было бы, – сказала она, чтобы не осталось недоразумений, – если бы это услышала ваша Надежда Федоровна.

Залман рассмеялся, но тут же осекся, будто это был грех. Он не помнил, чтобы хоть раз засмеялся после того, как случилось несчастье с его лучшими друзьями, Натаном и Годл.

– Моя Надежда Федоровна? Представь себе, она сама подкинула мне эту мысль. Уверен, даже если бы мы решили пожениться по-настоящему, она не пожелала бы мне ничего, кроме счастья. Думаешь, она не знает, не понимает, что рано или поздно мы с ней разойдемся? Но все равно навсегда останемся друзьями. Да, не забудь, по закону жених и невеста должны явиться в ЗАГС каждый с двумя свидетелями. Один свидетель у меня есть – Меер Аренс. Надо только сказать ему, в какой день… А второй… Кто будет второй, я еще подумаю. А ты, наверное, можешь двух своих подруг позвать из Театрального училища. Вроде я уже говорил, я в Союз писателей обратился, чтобы меня на два месяца в творческую командировку отправили.

– И куда вы собираетесь поехать?

– Куда? – Странно, что она не догадалась: единственное место, куда он может собираться, – это тундра за темными горами. – Я очень люблю твою мать.

– Вы едете в Абезь?

Ни на секунду не задумавшись, как Залман это воспримет, Элиша бросилась ему на шею и поцеловала в губы, будто невеста жениха, когда гости за свадебным столом кричат: «Горько!»

Глава 36

Возле многоквартирного писательского дома в Лаврушинском переулке, где жил Меер Аренс, Залман встретил Аншла Рабичева. Они столкнулись у подъезда. Залман не успел отступить в сторону, как Аншл, подпрыгивая, набросился на него:

– Что за змею мы на груди согрели, а?! Я тебя спрашиваю! Неслыханно! Уму непостижимо! Пошел я вчера в нашу поликлинику. Возраст дает о себе знать…

– Аншл, вообще-то мы с тобой одного возраста.

– Одного, да не одного. День в тюрьме или в лагере – как целый год. Это тебе любой скажет, кто там был. А я имел счастье восемь лет

отмотать от звонка до звонка. Вот и считай, сколько мне сейчас. Так вот, встретил я в поликлинике несчастных жен Машберга и Исаака Ниссенбаума.

– Как? Ниссенбаум тоже на Лубянке? Когда его забрали?

– А ты думал, для него исключение сделают, раз он большой ученый, профессор, и русские писатели его больше уважают, чем еврейские?

– Не думал. И что я исключение, тоже не думаю. Просто еще очередь не подошла.

– Раньше до меня доберутся.

– Кто знает? Ты же там уже был.

– Это им все равно. Они там по другим правилам играют.

– Так что тебе в поликлинике рассказали?

– Не поверишь! Приходил к ним на днях Яша Розен. Сказал, у него в том доме знакомых много, он может через них для арестованных еврейских писателей деньги передать. К женам других арестованных тоже приходил. Ну, что скажешь?

От такой новости Залман чуть не упал. Оперся на стену и, закрыв глаза, тихо спросил:

– Они ему поверили? Отдали деньги?

– Не говорят! Но на пол-литра он у них, наверное, насобирал. Как таких земля носит? Кого он обманывает?!

– Ты сейчас, как я понимаю, от Цивьи Охримовой… У нее он тоже был?

– Наверное. Но я к ней не заходил, не всех расспросил еще. Я к Мееру Аренсу шел.

– Хорошую новость сообщить?

– Кто-кто, но Меер и без меня должен знать. Он ведь теперь наш патриарх, ты сам его короновал. Но к нему сейчас не пускают.

Залман вытаращил глаза. Ему показалось, что он ослышался.

– Блюма, женушка его, не пускает. Он очень болен.

– Меер? – испугался Залман. – Я же его видел несколько дней назад.

– У него, как я понял с Блюминых слов, все очень серьезно. Ничего странного. Всю ночь лежать и прислушиваться, не на твоем ли этаже лифт остановился. Так не только рак или инфаркт можно заработать. Недолго и с ума сойти. Тебя-то Блюма, может, и пустит, вы

друзья, оба из поэтической братии. Я с ним не настолько близок, я же прозу пишу… Увидишь Меера – передай, чтобы перестал казниться, что его до сих пор не взяли. Он не один такой. Ведь и мы с тобой пока на свободе. Не знаю, правда или нет, но говорят, Меер добровольно собирался туда пойти, как когда-то в отряд самообороны.

Залману Меер ничего подобного не говорил даже намеком, но очень может быть, что так и есть. Вполне на него похоже. Если он действительно думает туда пойти, наверное, он хочет этим доказать, что арестованные писатели виновны не более, чем он, а он – не более, чем они.

Прежде чем пустить Залмана к Мееру, Блюма даже не стала напоминать, что не стоит рассказывать о недавних арестах. Залман и сам об этом помнил. Войдя в комнату, он сразу увидел, что Меер действительно очень плох. Трудно поверить, что с их последней встречи и двух недель не прошло. Сегодня четверг, а виделись они в позапрошлую пятницу. Правда, Меер уже тогда пожаловался на здоровье. Сказал со своей обычной милой улыбкой, что в нем мышка скребется, но так, несильно. Кто бы мог подумать, что за неполных две недели эта мышка настолько его изменит. Лицо потемнело, весь лоб в морщинах. Ни следа мужской красоты, которую Меер сохранил даже на фронте. С войны он вернулся таким же статным, красивым, каким ушел. Только темно-русые волосы слегка подернулись инеем. Теперь они совершенно белые. Синие губы искусаны от непереносимой боли. Аренс лежал с закрытыми глазами, но было видно, что он не спит.

– Меерл, – склонилась над ним Блюма, – к тебе Залман пришел. – Убрала ему упавшую на лоб прядь волос и вышла из комнаты.

– Как ты себя чувствуешь, Меер? – спросил Залман, садясь на табуретку возле кровати, хотя сам понимал, насколько это бессмысленный вопрос. Но ведь, раз пришел, надо что-то сказать.

Меер не ответил. Даже глаз не открыл.

Вглядевшись в лицо больного, Залман подумал: похоже, Меер еще не вернулся из туманной дали, куда его занесли тяжелые, путаные мысли, еще не расстался с увиденным в искрящейся тьме под опущенными веками. Только синие искусанные губы чуть шевелились, показывая, что он не спит. Это Меер, наверное, разговаривал

с теми, кто уже там, оправдывался перед ними, почему он еще здесь, почему не удостоился оказаться вместе с ними.

И, будто он был уверен, что Залман подумал о том же, Меер приоткрыл глаза и тихо сказал:

– Ты, наверное, с ними еще увидишься, а я – уже нет. Передай им…

– Не говори глупостей. Из того, что ты еще, так сказать, на свободе, совершенно не следует, что ты не в первом ряду. Один твой «Кадиш» чего стоит! Его в молитвенники включить надо, как стихи Иегуды Галеви.

– Убедить меня пытаешься…

– Это ни к чему. Все и так все знают. Наши произведения будет судить народ, а не люди оттуда.

Меер опять закрыл глаза, помолчал немного и сказал скорее себе, чем Залману:

– Умри, умри, мой крик! Ведь небеса тебя не слышат…

Он остановился, не продолжил молитву, и Залман понял, что Меер подводит итог, пройдя до конца свой путь и стоя на краю бездны. И в том, как он это сказал, Залман услышал другие слова: «Суета сует, все суета…»

Меер опять приоткрыл глаза и поманил Залмана ослабевшей рукой, показал, чтобы тот сел поближе. Мееру тяжело говорить, а сказать надо много, очень много. Когда стоишь на краю бездны, бояться уже нечего.

– Смерть никому не мила. – Чуть ли не после каждого слова Меер судорожно хватал ртом воздух. – Каждый хочет пожить подольше. Хоть ты и записал меня в патриархи, сам знаешь, мне еще до шестидесяти далеко. Но я на войне столько раз видел смерть, что перестал ее бояться. Уже несколько дней она стоит у меня в головах, я ее всем телом чувствую.

– Меер, не надо сейчас об этом.

– А если не сейчас, то когда? Но речь не о смерти. Не перебивай. Дослушай до конца.

– Я слушаю. – Залман наклонился ниже.

– Прежде чем посланник с небес уведет меня туда, откуда еще никто не возвращался, я хотел бы узнать, почему на нас с такой

жестокостью опять обрушился топор. За какие грехи? Только за то, что мы евреи? Еврейские писатели?

– Наверное. Мы еще узнаем. Все тайное становится явным.

Меер широко открыл глаза, посмотрел на Залмана.

– Для тебя, может, это еще станет явным, но для меня – уже нет. Уйду в вечность, не узнав, за что и почему такое случилось с нами, и чем это кончится. Это мучает меня сильнее, чем физическая боль.

– У меня есть знакомый профессор. Я с ним поговорю. Уверен, он тебя поставит на ноги.

– Ты как моя Блюма. Она тоже думает, я не понимаю, в каком я состоянии. Не надо меня уговаривать. Лучше придумай для меня хоть какой-то ответ, зачем им это понадобилось. Почему он это допустил? Мне не понять. Гитлер ни от кого не скрывал, что он замышляет, почему так жестоко поступает с нашим народом. Он заранее открыто об этом заявлял. Но что замыслил наш, в которого мы верили сильнее, чем праведный еврей в пророка Моисея? Неужели непонятно, что без него ничего бы не было, что все происходит с его ведома и одобрения? Но ведь должен быть в этом какой-то смысл. Разве что… – Меер на секунду задумался и, как человек, который уже стоит на краю бездны и которому больше нечего бояться, продолжил: – Разве что это от глупости. Только тот, кто не в своем уме, может так зверски поступать с целым народом. Как же нас обманули, Залман! Господи, мы же верили всей душой, мы же искренне писали в своих книгах: Сталин – наш отец, наш бог, под его руководством наша страна стала единственной счастливой страной для нашего народа, а получилось… Эх, как же слепы, как же глупы мы были!

Вошла Блюма. Спросила у мужа, не нужно ли ему что-нибудь. Залману ничего не сказала, но было ясно: она дает понять, что он слишком засиделся. Залман попытался встать, но Меер задержал его:

– Посиди еще чуть-чуть. Кто знает, когда теперь увидимся. – И совсем тихо, чтобы жена не услышала: – И кто знает, увидимся ли вообще. Блюмочка, оставь нас, пожалуйста. Мы еще не закончили разговор.

– Хорошо, только недолго. – Посмотрела на Залмана печальными черными глазами и вышла из комнаты.

Утихшая боль иногда все-таки напоминала о себе, но Меер старался этого не показывать. Не хотел, чтобы Залман замечал его беспомощность, видел, что он поддается в бою, который с ней ведет. Все-таки Меер на время смог ее преодолеть, не совсем, но настолько, чтобы не надо было закрывать глаза и кусать губы до крови. И по голосу было незаметно, что в эти минуты Меер сражается с неотступающей болью. Разве что ему приходилось говорить чуть медленнее, чем обычно, и чаще делать паузы, чтобы перевести дух.

– Посиди еще немного. В честь твоего визита боль отступила. Расскажи хоть в двух словах, я тебя Блюме не выдам, клянусь. Что нового у нас? За пару недель, что я в постели валяюсь, больше никого не забрали? Только честно.

Но честно Залман не мог рассказать, потому что сам не все знал. После того как забрали Натана и выслали Годл, он ни к кому не заходил и никому не звонил. Что Исаак Ниссенбаум тоже там, он случайно узнал только сегодня от Аншла Рабичева.

– Молчишь? Скрываешь от меня?

– Мне от тебя скрывать нечего. Я и сам-то ничего не знаю. Откуда мне знать, если я ни с кем не вижусь? Представь себе, я даже не слышал, что ты болеешь. Случайно только что узнал от Аншла. Он хотел тебя навестить, но Блюма не пустила.

– Наверное, я в таком состоянии был, что она его пустить не могла. Теперь это со мной часто бывает. Увидишь Аншла, будь добр, передай мои извинения. Объясни ему… Все-таки уходишь? Но ты же про себя ничего не рассказал. Занимаешься чем-нибудь? В Союз писателей заходил, говорил с Сафроловым, чтобы он помог тебе учителем рисования устроиться?

– Мы же договаривались, что вместе к нему пойдем. А ты меня подвел. Здорово подвел, между прочим.

– И в чем же я тебя так сильно подвел? Интересно.

– Забыл?

– Ну-ка напомни.

Залман и сам не знал, сказал бы он Мееру, что его привело сюда, даже если бы в комнату не вошла Блюма. Может быть, но при ней… Она точно решит, что он совсем спятил. Какая свадьба в такое время? Залман, конечно, мог бы ответить, что это свадьба ненастоящая,

не более чем спектакль для милиции, чтобы прописать у себя Элишу. Другого выхода, чтобы Элише не пришлось возвращаться в Абезь, он не видит. Но что возразить, если Блюма начнет ему мораль читать? Как ему такое вообще могло в голову прийти: с человеком, который при смерти лежит, заговорить о свадьбе и позвать его в ЗАГС свидетелем?

– Так как же я тебя подвел? Напомни.

– В другой раз, Меер, в другой раз.

Пожимая слабую руку Меера, Залман знал, что видит его в последний раз, и хотя Меер Аренс умирает в своей постели, все равно он жертва, такая же, как все, кто уже там. И почему Залман уверен, что с Меером не случится того же, что с Биньомином Бен-Арье, которого увезли туда уже смертельного больного, и он там отдал богу душу? Но Залман был уверен, что так умереть Мееру было бы легче.

В большой комнате, ломая руки, сидела заплаканная Цивья – несчастный ангел Рефоэла Охримова.

– Плохо дело, Залман, – тяжело вздохнула, еле сдерживая рыдания. – Очень плохо. Боюсь, как бы нас не выслали. Семью Бен-Шолема выслали уже.

– Когда? – прохрипел Залман, с трудом устояв на ногах от такой новости.

– Позавчера еще. Вы не знали?

Удивленной Цивье Залман мог ответить только то же, что Мееру и Аншлу:

– Откуда же мне знать? Я ведь и не вижу никого. А куда их выслали?

– Залман, милый, понятия не имею. Разве скажут? Но ясно, что не на Кавказ и не в Крым. Наверное, куда-нибудь в Сибирь. Ой, Залман, Залман, за какие грехи нам это все?

В то злополучное утро, когда он заходил к Рефоэлу, Залман не успел задать ему этот вопрос и теперь спросил Цивью:

– Зачем вы сюда вернулись? Кто-то вас заставил? Такой умный человек, как Рефоэл, дал себя обмануть. Ведь он, до того как приехать навсегда, пару раз в гости приезжал. Неужели не заметил, что тут происходит? Я имею в виду, не только с евреями.

– Его здесь очень хорошо встречали, каждый раз торжественный прием устраивали, это его ослепило. Скажите, Залман, милый, вы когда-нибудь жили в чужой стране, за границей?

– Нет, к сожалению.

– Не говорите так. А вот мы немало по миру поездили. Не скажу, что нам там плохо жилось. Но надо знать Рефоэла. Не передать, как он по дому тосковал. Почти все, что он там написал, – о доме, о родной земле, и написано с такой любовью! За какие грехи он наказан, почему, за что его посадили? А остальных? Слава богу, у меня немного денег взяли для него. Что будет, если нас вышлют? Никого не останется, кто ему сможет хоть копейку передать. Рефоэл не будет знать, что и думать.

Сколько разговоров всяких, что люди оттуда приходили домой к Бен-Шолему взять для него белье, папиросы, табак, теплую одежду! Один артист даже рассказывал, что собственными глазами видел Бен-Шолема во дворе тогда еще не закрытого театра, правда, не одного, а в сопровождении, наверное, переодетого военного оттуда… Если это не слухи, не выдумки, то тем более непонятно, почему выселили именно семью Бен-Шолема, жену и дочь. Что-то там с Бен-Шолемом точно произошло. Но поди знай, что именно. Тут не угадаешь.

– А зятя?

Цивья не сразу поняла, о ком спрашивает Залман.

– Зятя Бен-Шолема тоже выслали?

– Он сам себя выслал. От всего отказался и по собственной воле поехал с женой и тещей. На каторгу.

Если Залману еще суждено когда-нибудь сесть за письменный стол, его первое произведение будет о зяте Бен-Шолема, молодом, красивом Леоне. Надо только решить, поэму написать или драму. Задумавшись, Залман живо представил себе Леона, увидел его веселым, счастливым, каким тот выглядел всегда, когда они где-нибудь встречались.

Они познакомились во время войны в Еврейском антифашистском комитете. Тогда комитет еще находился в Куйбышеве. Будущий зять Бен-Шолема, молодой лейтенант Леон, за несколько дней до того выписался из госпиталя, куда пару месяцев назад раненый попал с фронта.

За день до возвращения Леона на фронт Бен-Шолем созвал гостей, Залмана тоже пригласил. Вроде как помолвку отметить.

Когда Залман встретил Леона в Москве, тот уже был зятем Бен-Шолема, и встретились они у Бен-Шолема в кабинете. Леон иногда заглядывал в комитет. Все девушки, которые там работали, завидовали единственной дочери Бен-Шолема, тоже мечтали о таком молодом, красивом, интересном муже. Его красота сразу бросалась в глаза. Продолговатое смуглое лицо с тонкими чертами, стройный, немного выше среднего роста. И военная форма ему очень шла. Когда случилось несчастье, закрыли комитет и почти сразу арестовали Бен-Шолема, Леон уже учился на втором курсе Военной академии бронетанковых войск. Он мог продолжить учебу и остаться в партии, от него требовалось только одно: отречься от семьи. Открыто заявить, что его тесть – враг народа.

– Но Леон на это не пошел.

– Я от него другого и не ожидал. – И Залман добавил, как молитву: – Благословенны отец с матерью, родившие и вырастившие такого сына.

Тихо, медленно приоткрылась дверь комнаты, где лежал Меер, и появилась Блюма.

– Задремал. – Измученная недосыпанием и постоянным страхом, она еле добрела до табуретки. – Цивья, дорогая, идите отдыхать. Вы же, как и я, всю ночь глаз не сомкнули. – И, повернув голову к Залману, спросила: – О чем вы хотели Мееру напомнить? Он попросил, чтобы я узнала.

– Да ерунда, и говорить не о чем.

– А все-таки?

– Говорю же вам, ерунда. Меер пообещал одному нашему знакомому пойти в ЗАГС свидетелем. Тот женится через два дня. Вот я и пришел Мееру напомнить. Я же не знал, что он болен. Понятно, ему сейчас не до того, так что я и напоминать не стал.

Блюма и Цивья переглянулись. Видно, они что-то знали о его предстоящей свадьбе с Элишей. Меер мог рассказать жене. А может, Залмана выдало его смущение. Он даже слегка покраснел.

– Пойду другого свидетеля искать. – И Залман поспешил уйти.

Из всех знакомых, кого он мог бы попросить пойти в ЗАГС,

самый подходящий, несомненно, Аншл Рабичев. Он точно не проболтается, что это за свадьба. Если Залман пригласит его свидетелем, от Аншла можно не скрывать, что свадьба ненастоящая.

Глава 37

Дверь открыл невысокий, щуплый человек в фартуке и рубашке с закатанными рукавами, в одной руке недочищенная картофелина, в другой – кухонный нож. Залман даже не сразу узнал Аншла, тем более что в коридоре было темно. Зато Аншл узнал Залмана сразу, испуганно отшатнулся и спросил дрогнувшим голосом:

– Что? Все?

– Что все?

– Я про Меера. Как он? Ты же сейчас от него?

– От него. А что такое?

– Сам не понимаешь? Ты меня до смерти напугал. Я подумал, ты, не дай бог, пришел худую новость сообщить. Чуть сердце не остановилось. Такой поэт, как Меер Аренс! Как он?

– Плохо, Аншл, очень плохо. Но будем надеяться.

– Да что ж мы в коридоре стоим? – Аншл толкнул коленом дверь в комнату. – Проходи, садись. Я сейчас. Картошку дочищу и варить поставлю, пока не все конфорки на плите заняли. Нас тут семь семей, семь хозяек на кухне. Просмотри газету пока, свежая, сам еще не читал. Наверняка что-то есть про нашего брата. Дня не бывает, чтобы про нас не вспомнили. Но в чем-то они правы. Что за манера под чужими фамилиями прятаться? Мы же с тобой не скрываем, как нас на самом деле зовут.

Аншл не ошибся, уже на второй странице была статья о двух евреях с нееврейскими фамилиями: Шевеленко и Кузнецов. В другое время Залман позвонил бы в газету и сообщил адрес одного своего знакомого. Он тоже по фамилии Шевеленко, а по имени-отчеству – Хаим Аронович, к тому же еще и верующий. Интересно, что бы ему ответили.

С кухни вернулся Аншл.

– Ну как, есть? – Будто просил Залмана посмотреть не раскрытые

в скобках еврейские фамилии, а таблицу тиража, не выиграла ли случайно облигация.

– Есть, есть, не волнуйся. И еще кое-что есть.

– Вижу, смотришь на меня и думаешь: Сендерл-баба[1]. А что, Залман? Я теперь и правда Сендерл-баба, на рынок хожу, по магазинам, у плиты стою. Но мы не жалуемся, слава богу еще, что моя Доля успела на работу устроиться. Раньше в этом нужды не было, а теперь на меня рассчитывать нельзя, только жена зарабатывает.

– Где она работает?

– Доля-то? Учительницей истории, сам понимаешь, ее теперь не возьмут, хоть она и кандидат наук. Но жить-то надо. Уборщицей устроилась, в двух местах работает. Вот ведь как жизнь повернулась! Пришлось на старости лет добытчицей стать, а мне – домохозяйкой, мой кабинет теперь – кухня. Но зачем Бога гневить? Кто знает, чем все это кончится. Если меня опять заберут… Богатырем я никогда не был, но когда меня в первый раз туда пригласили на восемь лет, все-таки я был помоложе. Теперь лесоруба или носильщика из меня не получится, силы уже не те. Но там не спрашивают, можешь, не можешь. Не дай бог, дорогой Залман, тебе туда попасть. Ой! – Аншл вскочил с табуретки. – Я, кажется, посолить забыл. С правой ноги[2], Сендерл!

– С правой ноги, Сендерл! – повторил про себя Залман, проводив Аншла затуманившимся взглядом.

«Почему, за что ему такое?» – кричала измученная душа Залмана. В чем провинился коммунист с девятнадцатого года Аншл Рабичев, чтобы его так унизили, так поступили с ним, довели до совершенно бедственного состояния? В чем? Может, в том, что, будучи вожаком виленского комсомольского подполья, он не попал в лапы польским легионерам, когда они захватили город, и не погиб вместе с городским советом? Или, может, в том, что не сгинул в лагере, где восемь лет его ставили на тяжелейшую работу: голодного, полуголого отправляли валить лес, копать твердую, как сталь, промерзшую землю? Или в том, что, выйдя из лагеря с белым билетом, он добровольцем

1 Персонаж повести еврейского классика Ш.-Я. Абрамовича «Путешествие Вениамина Третьего».

2 Этими словами желают удачи в пути.

пошел на фронт и опять остался в живых, стал лишним человеком в стране, к тому же евреем? Не за это ли его наказали, отобрав перо, и, вместо того чтобы писать книги, он ходит с кошелкой на рынок и по магазинам, чистит картошку, часами простаивает у плиты?

Но что толку задавать вопросы? Никто не услышит, никто не ответит. Весь мир вдруг оглох и онемел, не хочет ни слушать, ни отвечать.

С трехъярусной этажерки у стены на Залмана смотрели сочинения Аншла – десятка два книг.

Залман знал, что Аншл – очень плодовитый автор. Но все-таки, как он умудряется столько писать, живя с семьей в одной комнате? В тесной каморке – трое взрослых людей. Кабинет Аншла – это стол в углу, куда еле попадает свет из окна.

Просто так, из чистого любопытства, Залман измерил шагами комнату, хотя и так видел, насколько она мала. Ну да, четыре шага в длину, три с половиной в ширину.

– С правой ноги, Сендерл! – донесся из коридора бодрый голос Аншла. Скинув фартук и закатав рукава рубашки, он прошествовал в свой «кабинет» и сел за письменный стол в углу. – Попросил соседку присмотреть на кухне. Если что, позовет, можно хоть немного посидеть спокойно. Что там еще в газете, кроме раскрытых еврейских фамилий? А я ведь тебе еще одну новость не рассказал. У меня сосед, еврей, хорошо французский знает, до пенсии учителем в школе работал. Он вчера вечером Париж слушал. Французские радиопередачи так не глушат, как другие. Так вот, говорит, передали, что на днях в Киеве арестовали еврейского писателя Йоэла Бояра.

Выходит, со временем ко всему привыкаешь. Новость не так поразила Залмана, как предыдущие аресты. Он не стал скрывать этого от Аншла.

– Не удивляюсь. Наверное, нехорошо так говорить, но я этого ждал. Странно как раз, что такому писателю, как Йоэл Бояр, позволяли до сих пор на свободе оставаться. Его проза – это ведь истинная поэзия. Меер говорит, «Полесье», последний роман Йоэла, который Меер для публикации в альманахе отобрал, это классическое произведение. А Меер, сам знаешь, слов на ветер не бросает. Более строгого судьи в нашей литературе не бывало.

– Ой! – Вдруг Аншл подскочил, как в тот раз, когда вспомнил, что

не положил соли, и достал из ящика стола лист бумаги, перо и чернильницу. – Мне на кухне одно сравнение в голову пришло, надо записать. Наверное, думаешь, у меня не все дома. А я, несмотря ни на что, иногда берусь за перо. Выпадает свободный час, жена на работе, дочь в институте, на рынок сходил, обед приготовил – сажусь и пишу. Не спрашивай зачем, для чего. Сам не знаю. Но мне без этого никак. А дальше – кто знает. Время покажет. Думаю, ты тоже не совсем писательство забросил?

– Только я не записываю, в голове держу.

– На память полностью полагаться нельзя, особенно когда речь о прозе.

– Само собой.

Залман нередко бывал у Аншла, и тот никогда не спрашивал, зачем он пришел. Что такого, если старый друг заглянул в гости? Но сейчас Залман не мог не удивляться, почему Аншл об этом не спросит. Кто ходит в гости в наше время, тем более что сегодня уже виделись? Залман не удержался:

– Не хочешь спросить, что привело меня к тебе?

– А чего спрашивать-то? Ты что, у меня в первый раз?

– Ну, а все-таки? – И неожиданно больше для себя, чем для Аншла, выпалил: – Я женюсь!

– А? – И, спрятав в стол наполовину исписанный листок бумаги, переспросил, будто подумал, что ослышался: – Кто женится?

– Я.

Залман встал, немного постоял у окна, глядя во двор, потом вернулся к столу, накрытому клеенкой в чернильных пятнах, и повторил и для себя, и для Аншла, громче и уверенней:

– Я женюсь.

Отступать, даже если б Залман захотел, теперь было некуда, и, поскольку Аншл сразу согласился быть свидетелем, Залман рассказал ему все с самого начала.

– По-моему, – сказал Аншл, – я тебя с ней как-то в театре видел.

– Возможно.

Аншл крепко пожал ему руку и почти пропел:

– Дай вам бог…

– Аншл, о чем ты? Это же ненастоящая свадьба. Просто чтобы я

мог прописать ее к себе, иначе ей придется в тундру возвращаться, в заброшенную деревню Абезь за темными горами, как Бен-Михоэл говорил. Я верю, здесь она со временем в театральное училище поступит. Кто знает, может, ей суждено великой актрисой стать. Значит, договорились. В пятницу в одиннадцать утра. Сегодня у нас вторник. Получается, через три дня. Загс от меня через два дома.

Залман собрался уходить, он и так уже засиделся, но Аншл его задержал.

– Куда так спешишь? – Он вернул Залмана от двери. – Сейчас Доля с работы вернется, и за стол сядем. Богачами еврейские писатели никогда не были, а теперь и вовсе у разбитого корыта остались, но на бутылочку вина у меня найдется. Как хочешь, но я тебя не отпущу. Праздновать свадьбу, говоришь, вы не собираетесь, так хоть сейчас за тебя по рюмочке выпьем. Не бойся, я не забыл, что это лишь игра. Но из игры иногда получается…

– Аншл, что ты несешь? Забыл, что я ее вдвое старше?

– Это ничего не значит. В жизни всякое бывает. В такого, как ты, влюбиться нетрудно. Красивый, стройный, да еще драматург и поэт от бога. Короче, я тебя не отпускаю. Доля вот-вот придет.

– Странный ты человек, – попытался возразить Залман. – Элиша, наверное, уже меня ждет, беспокоится.

– Так позвони ей. А знаешь что? Позвони, скажи, пусть тоже приходит. Телефон в коридоре.

– Помню.

В комнату Залман вернулся совершенно растерянный.

– Что-то случилось? – испуганно спросил Аншл.

– Элиша сказала, дворник приходил, передал, чтобы я к семи часам в милицию явился, в одиннадцатый кабинет. Почему меня вызывают? Не пил, в драки не ввязывался, по карманам не шарил, без билета на трамвае или троллейбусе никогда не ездил. Если бы в военкомат вызвали, я бы еще мог подумать, что со мной собираются сыграть ту же шутку, что с Генехом Эрдиным в Одессе. Но тут – в милицию.

Аншлу пришло в голову простое объяснение:

– Слушай, а ты там от нашего Союза писателей никогда не выступал, своих стихов не читал? Я, например, несколько раз выступал

у нас в районном отделении. В последний раз даже без полномочий от Союза. В милиции знают, что я писатель, знают, где живу, сами меня пригласили.

– А ведь я тоже у них выступал пару раз! Может, и правда, опять решили позвать.

– Ты, ради бога, как только оттуда вернешься, сразу же позвони.

Глава 38

Без четверти семь Залман вышел из трамвая и через арку попал во двор, где в двухэтажном здании из красного кирпича находилось районное отделение милиции. Раз его вызвали на семь, раньше времени он туда не войдет. Лучше оставшиеся пятнадцать минут погулять во дворе, подышать свежим воздухом. Лето уже вступило в свои права: укутало деревья густой листвой, вырастило высокую, сочную траву и приготовило для вечернего звездопада чистое синее небо.

Сегодня вторник. Свадьба через три дня. «В пятницу, в пятницу», – бродя по двору, повторял про себя Залман, будто боялся забыть. «Гарей ат», надевая Элише кольцо на палец, он, конечно, даже мысленно не будет произносить, но что-нибудь из своих лирических стихов в эту торжественную минуту он бы, пожалуй, продекламировал. Вот только что именно?

Выбрать подходящее стихотворение Залман не успел. На часах было уже без двух семь.

Может, Залман ошибся, но ему показалось, что дежурный, у которого он спросил, где одиннадцатый кабинет, как-то странно на него посмотрел. Залман так и не избавился от этого ощущения, даже когда уже постучался в нужную дверь на втором этаже.

– Войдите, – донесся из-за двери приглушенный голос.

В слабо освещенной комнате Залман увидел двух молодых людей в штатском. Старший сидел за длинным, совершенно пустым столом, другой, совсем молоденький, почти мальчик, отвернувшись, смотрел в окно.

– Вызывали?

– Фамилия?

– Мандел.

– Имя, отчество?

– Залман Наумович.

Старший переглянулся с пареньком у окна и строго спросил:

– Почему опоздали?

– Извините. – Залман поднес ручные часы к уху, вдруг остановились. – Я не опоздал, минута в минуту пришел, ровно в семь.

– Вас вызывали к половине седьмого.

– Извините, дворник передал, чтобы я к семи пришел.

– Он не мог так сказать. Значит, вы не расслышали. Паспорт!

– Дома оставил. Никогда с собой не ношу.

– Какой-нибудь документ при себе есть?

– Членский билет Союза писателей.

– Давайте сюда.

Залман не спеша достал из верхнего кармана куртки билет с подписью Максима Горького.

– Может, все-таки скажете, зачем меня вызвали?

– Терпение. Вам все объяснят, – продолжая смотреть в окно, отозвался младший.

Вернув Залману членский билет и достав из стола тонкую синюю папку, старший указал рукой на стул и вышел из кабинета.

Прошло больше часа, а он все не возвращался. Видимо, произошло что-то важное. Но при чем тут Залман? У хмурого парня – тот по-прежнему сидел возле окна – спрашивать бесполезно, все равно не скажет. Разве что попытаться выяснить, сколько еще его собираются тут держать.

– Товарищ… Простите, не знаю, как его зовут.

– Кого? Капитана?

– Да. Товарищ капитан скоро вернется? Может, успею домой позвонить?

– Потом позвоните.

Залман то и дело поглядывал на ручные часы. Казалось, они ужасно спешат. Он уже полтора часа здесь сидит и ждет.

Наконец-то дождался. Вернулся капитан с тонкой синей папкой под мышкой.

– Дозвонился? – спросил хмурый парень у окна.

– Наверное, Мартин Константинович еще не пришел на работу, никто трубку не берет. Попозже позвоню. – И Залману: – Кто-нибудь проживает в вашей комнате? Кроме вас, разумеется.

– Да.

Наверняка дворник донес. Опоздал он со своим доносом, однако. Через три дня Элиша получит полное право там жить. Такое же, как у Залмана.

– Кто?

Залман удивился. Если капитан знает, что у него кто-то живет, значит, знает, и кто живет. Так зачем спрашивать? Хотя он может и не знать, даже скорее всего не знает, что квартирантка Элиша Криштол – без пяти минут жена хозяина комнаты Залмана Мандела.

Капитан действительно не знал, а то не стал бы спрашивать, почему Залман не пропишет ее к себе.

– Смогу через три дня прописать. В пятницу, двадцать шестого, у нас свадьба. Документы уже третью неделю в загсе лежат.

– Значит, она уже третью неделю у вас без прописки живет? Нарушение закона. Вы не знаете, что никого нельзя пускать к себе без прописки больше чем на двадцать четыре часа? Тем более в Москве, где живет наш великий вождь! В лучшем случае придется штраф заплатить, и немалый. Это в лучшем случае, – повторил капитан, – потому что по закону вас надо под суд отдать. Но это уже не от меня зависит. Такие вопросы решает более высокопоставленное лицо, чем начальник отделения милиции, где мы находимся. Если я до него дозвонюсь, поедем туда. Это недалеко. Может, он пойдет вам навстречу, штрафом отделаетесь.

– У меня денег нет при себе.

– Завтра занесете. Мы вам верим. Как можно не доверять писателю? Когда, говорите, свадьба у вас?

– Через три дня.

– Думаю, полковник, к которому мы поедем, примет это во внимание, не будет вам свадьбу омрачать. Подождите здесь, пойду, еще раз позвоню. Может, он уже пришел.

– Мне бы тоже позвонить надо.

– Невесте? – подал голос хмурый парень у окна.

Залман не ответил.

– Оттуда позвоните. – Капитан опять прихватил папку и вышел.

На этот раз он не заставил себя долго ждать. Меньше чем через четверть часа вернулся и объявил:

– Едем. Полковник готов нас принять. – И снова успокоил Залмана: – Оттуда своей невесте позвоните.

У дверей стоял легковой автомобиль. Хмурый молчаливый парень сел рядом с шофером, капитан и Залман – на заднее сиденье, и машина через арку выбралась на мощеную улицу. Миновав Большой колхозный рынок, свернула на другую улицу, асфальтированную, которая вела в центр.

До полуночи было еще далеко, но прохожие на тротуарах попадались очень редко. Зато по проезжей части автомобили сновали туда и сюда, освещая фарами темные окна домов.

– Где свадьбу справлять собираетесь? – спросил Залмана капитан и сам же ответил: – В ресторане, конечно. Скорее всего, в «Праге». Угадал?

– С чего вы взяли? В ресторане справлять – денег стоит, а я сейчас стеснен в средствах.

– А вот тут я вам не поверю. У вас, евреев, всегда денежки водятся. Разве не так?

Залман только пожал плечами и стал приглядываться к домам, все еще не понимая, по какой улице едет машина.

Не прошло и минуты, как капитан опять с ним заговорил:

– Как считаете, сколько евреев в Москве?

Хмурый парень на переднем сиденье обернулся, с любопытством ожидая, что Залман ответит. Но тот опять промолчал.

– Не знаете? Я вам подскажу. Полмиллиона, пятьсот тысяч.

– И все захватили. – Молчаливый будто пришел на помощь старшему по званию. – Все к рукам прибрали. Самыми умными себя считают.

«Вызвали в милицию, чтобы об этом сообщить? – подумал Залман. – А теперь к Мартину Константиновичу везут, чтобы он повторил ему то же самое?»

– Какой может быть штраф? – спросил он вслух. – Может, у меня с собой наберется. Тогда и ехать не надо.

– Раньше спросить надо было. Теперь уже поздно, он нас ждет. Сами же сказали, что стеснены в средствах. Может, начальник вам поможет, вообще от штрафа освободит. Скоро приедем.

Красный сигнал светофора остановил машину на углу Охотного Ряда, прямо перед входом в Колонный зал, где Залман однажды так близко видел хозяина страны. Сейчас Залман представил его в образе мясника-охотнорядца – в окровавленном переднике и с занесенным топором в руке.

Загорелся зеленый, и машина подъехала к серому зданию с ярко горящими окнами. Отсюда он никогда не позвонит Элише. Залман понял это еще до того, как автомобиль затормозил перед дверью с застекленным окошком, занавешенным белой шторой.

Глава 39

В боксе, где заперли Залмана, свет слепит глаза; стены, пол, низкий потолок густо выкрашены в цвет свежей крови. И воздух пропитан запахом крови, липким, тошнотворно-сладковатым. Чем дольше Залман всматривается в стены, тем явственнее ему кажется, что с них смотрят на него отрубленные головы с вытекшими глазами. Распахнутые рты, высунутые языки, отрезанные пальцы… Вот этого, на потолке, он узнал сразу. Шавлийский беженец, часовщик Янкл с единственной мощеной улицы в местечке. Когда зеленые устроили погром, он попытался спрятаться у них, в их бедном домишке за синагогой. Но его все равно настигла пуля. Пока убитых не похоронили, Янкл с окровавленным ртом и выпученными стеклянными глазами целые сутки пролежал у них в сенях на земляном полу. А молодая женщина, которая смотрит со стены, ломая руки, – кто это? Может, мама Залмана? Оплакивает его зверски убитого брата. На кого еще опустится занесенный топор, внезапно появившийся на стене?

Это не сон, Залман видел это наяву. Оказавшись здесь, он не закрывал глаз ни на минуту. Чтобы убедиться, что он не спит, Залман помотал головой и только теперь почувствовал, что она будто налита свинцом. В ней все так перемешалось, что Залман даже не может ответить себе, где он, как сюда попал. Ноги подкашиваются,

он вот-вот упадет, но боится опереться на стену, чтобы не испачкаться в крови.

– Который час?

Но спрашивать не у кого. Он чуть подтянул рукав куртки, с удивлением посмотрел на еле заметный круг, оставленный на запястье часами. Конечно, ведь их отобрали у Залмана, прежде чем запереть его в камере.

«Наверное, это он и есть, тот, кто забрал часы и еще сказал: “У нас они будут в целости и сохранности!”» – подумал Залман, когда медленно открылась дверь.

Нет, вошедший на того даже не похож. Молодой человек в легком коричневом пальто и фетровой шляпе выглядел пришельцем из другого мира. Дверь резко захлопнулась у него за спиной.

Он подошел ближе, остановился, словно чего-то выжидая. Холеное лицо, самодовольный взгляд светло-серых глаз.

– Фамилия?

Залман будто не слышал.

– Фамилия? – повторил молодой человек спокойно, даже, как показалось Залману, с нежностью.

– Мандел.

– Тише. Фамилия?

– Мандел.

– Тише, вам говорят. Фамилия?

– Мандел, – еле выдохнул Залман.

– Имя?

– Залман.

– Отчество?

– Наумович.

– Тише.

– Наумович.

Элегантный молодой человек смерил Залмана взглядом с головы до ног, как опытный портной, будто это было очень важно, будто он за этим и пришел, и, больше не сказав ни слова, вышел из камеры.

Неужели он не знает имени и фамилии арестованного? Но Залман даже не успел об этом подумать, как снова открылась дверь,

и вошел другой, тоже молодой, элегантно одетый, холеный. Только глаза темные.

– Фамилия?

Очень странно было опять услышать тот же вопрос. От неожиданности Залман вдруг забыл, как его зовут.

– Фамилия? – повторил молодой человек.

Что отвечать надо шепотом, Залман не забыл, напоминать об этом не было необходимости. Даже если бы захотел, теперь он не смог бы говорить громко. У него отняли не только часы, но и голос.

Залман снова остался один. Он по-прежнему бодрствовал, не закрывал глаза. Все, что он опять видел на стенах, на полу, на потолке, ему не снилось. А видел он те же отрубленные головы, окровавленные рты, вытекшие глаза…

За дверью что-то решают. Наверное, сейчас войдет третий. Залман не будет ждать, пока его спросят, сразу скажет: «Мандел, Залман Наумович». И, будто испугавшись, что забудет, он начал повторять: «Мандел, Залман Наумович, Мандел, Залман Наумович…»

Но когда дверь бокса открылась, Залман сразу сообразил, что этот, третий, ничего спрашивать не будет. По виду понятно.

Вошедший был в сером фартуке до горла и подкованных кирзовых сапогах. На мясистом, рябом лице тускло поблескивали пустые, пугающе холодные глаза. Тупо уставившись на Залмана, здоровяк рявкнул:

– Раздеться!

– А? – от неожиданности Залман не понял, что от него требуется.

– Раздеться!

Залман почувствовал себя как под дулом пистолета. Снял куртку, положил на откидной столик, тоже выкрашенный в красный цвет. Здоровяк подвинул куртку к себе, будто опасаясь, что Залман опять ее наденет, и еще раз рявкнул:

– Раздеться!

– Как, совсем? – Залман смущенно оглянулся, будто хотел убедиться, что в камере нет женских глаз.

– Догола!

Этот здоровенный парень с тупой, сытой рожей и неподвижным взглядом вдруг напомнил Залману погромщика, того, который,

ворвавшись к ним в дом, на всех по очереди наводил заряженную винтовку. Вспомнились даже его длинные пшеничные усы и прилизанные светло-рыжие волосы.

Запустив руку под фартук, парень вытащил из кармана штанов складной нож размером чуть ли не с кинжал. Не спеша открыл. Лезвие сверкнуло, как ручей в солнечный день. И тут же, с явной угрозой в голосе:

– Лицом к стене!

Залману казалось, что его телом управляет не он сам, а кто-то другой. Кто-то забрался в него, заставил увидеть на густо вымазанных красной краской стенах, полу и потолке призрачные отрубленные головы и окровавленные рты с вырванными языками, повернул его лицом к стене, наклонил, вынудил своими руками раздвинуть ягодицы, как для клизмы. Дыхание остановилось. Каждой клеточкой тела он чувствовал холод ножа. Куда он вонзится? В спину или между раздвинутых ягодиц? И тут новый приказ: повернуться лицом, руки в стороны.

Со стола угрожающе поблескивал нож, и, хотя молотка и гвоздей рядом с ним не было, у Залмана мелькнула мысль, что сейчас его руки и ноги прибьют к стене, и он повиснет на ней, как Христос на кресте. Здоровяк все не мог поверить, что у арестованного больше ничего нет, продолжал обыскивать его с головы до ног, чуть ли не на колени опускался, будто кланялся голому Залману, как своему повелителю.

– Убрать руку! – рявкнул, когда Залман попытался прикрыть срам ладонью.

Еще раз смерил арестованного тяжелым взглядом и потянулся за ножом. Залман зажмурился, а когда заставил себя приоткрыть глаза, здоровяк уже орудовал ножом вовсю. Ловко отпорол у куртки подкладку, срезал с костюма и кальсон все металлические пуговицы и застежки, вытащил ремень из брюк и шнурки из ботинок, извлек супинаторы из подошв. Спрятал свой любимый инструмент в карман фартука и повернулся к двери. Она мгновенно открылась и тут же закрылась у него за спиной. Только сейчас Залман заметил в двери глазок: значит, за ним непрерывно наблюдали.

Возвращенная одежда оказалась велика, будто за пару часов

Залман успел похудеть чуть ли не в два раза. Чтобы не спадали кальсоны и брюки, вместо ремня он подпоясался носками. Ботинки едва держались на ногах, но если они и свалятся, ничего страшного, идти ему тут все равно некуда. Но, даже одевшись, Залман по-прежнему чувствовал прикосновение холодного лезвия. Этот холод пробирал до костей.

На стенах опять проявились окровавленные лица. Он по-прежнему узнавал их, но как же они изменились! Трудно узнать даже Натана. Видно, он сопротивлялся, не хотел раздеваться. И здоровяк с ножом показал ему, как тут поступают с непокорными. С кем еще он мог так же обойтись? Во всяком случае, не с безобидными Айзиком Добриным и Пинхасом Машбергом. Разве что с несдержанным Марком Полонером или как раз очень вежливым, спокойным Исроэлом Лангиным из издательства. Но Залман не представлял себе, как они стоят, голые, расставив ноги, чтобы этот бугай с ножом мог заглянуть им между ягодиц.

Наверное, стоя у стены, он все-таки заснул и не услышал, как кто-то вошел.

Тот, кто потряс его за плечо, тоже был в фартуке, но не сером, а грязно-белом, в бурых ржавых пятнах.

Не сказав ни слова, даже не потрудившись посмотреть на Залмана, вошедший указал рукой на открытую дверь. Никакой ненависти или злобы, только равнодушие: в тех, кто сюда попадает, он давно перестал видеть людей. Чувство, понимание, что перед тобой человек, явно притупилось со временем. Залман сам удивился, что может об этом думать, когда в голове все запуталось, все перемешалось. Какая ему разница, что за чувства и мысли у тех, с кем он тут сегодня имел дело? И все-таки он не может перестать смотреть на них как на людей, хотя, как он успел убедиться, ничего человеческого в них уже не осталось.

Держа руки за спиной и стараясь не потерять штаны, Залман шагал по слабо освещенным, мрачным, как подземелье, коридорам. Куда его ведут? Разные мысли лезли в голову, но Залман гнал их от себя. Нет, не может быть. Он не сомневался только в одном: от того, кто идет перед ним, можно ожидать чего угодно, попробуй Залман остановиться хоть на секунду. Кальсоны уже сползли чуть ли не

до колен, брюки вот-вот свалятся. И поправить нельзя. Тот, кто идет впереди, даже ни разу не оглянулся. А зачем? Он и так знает: за ним идет уже не тот человек, которого привезли в это здание из другого мира, хотя граница между двумя мирами – всего лишь стена, серая глухая стена…

Залман уловил приглушенный шум воды. Еще пара шагов, и на него пахнуло тяжелым теплом непросохшего белья.

Провожатый приказал сесть на прибитый к полу табурет. Других охранников поблизости не было. Конечно, бежать тут все равно некуда.

Залман не успел разглядеть, что за предмет сверкнул в руке вертухая в грязном белом халате, как услышал над ухом жужжание и почувствовал кожей головы холод машинки. На колени начали падать срезанные густые локоны, еще почти черные. Его постоянный парикмахер в литературном клубе никогда не спрашивал, как постричь. Сам знал. Этот тоже ничего не спросил, он тоже знал, и ему не нужны были ни ножницы, ни расческа, только машинка, которую он достал из кармана брюк, завернув полу халата, как другой до этого достал складной нож.

Врожденное писательское качество – умение приглядываться, ничего не пропускать, все замечать и осмысливать, для всего находить необычное сравнение, – исчезнувшее, как решил Залман, когда он переступил порог кроваво-красного бокса, вдруг вернулось. Вот оно: холод блестящей машинки на выбритом затылке сразу напомнил о том далеком дне, когда старший брат Рувен-Генех, царство ему небесное, привез Залмана в город постричься. Впервые в жизни Залман почувствовал тогда этот холодок. Память сохранила кресла со сверкающими подлокотниками, высокие зеркала, огромные красные колеса проезжавшего мимо паровоза. Окна парикмахерской выходили на платформу городского вокзала. Кажется, Залман до сих пор чувствует прикосновение высокой шапочки с козырьком к выбритой голове.

Залман провел по голове ладонью. Сколько ж лет прошло? С того дня он больше ни разу не видел себя постриженным наголо. Наверное, в зеркале бы себя не узнал. Но зеркала тут все равно не было.

– Раздевайтесь!

Парикмахер приказывал не так грубо, как тот, предыдущий. Даже что-то человеческое в голосе. И все-таки, прежде чем начать раздеваться, Залман бросил взгляд, не достал ли парикмахер нож вместо машинки. Но теперь происходящее не так пугало. Страх, который напал на Залмана, когда его заперли в боксе, и все время сжимал, как тиски, понемногу отступил. Теперь Залман даже мог осознать происшедшее и подумать о том, что еще предстоит ему в этой дьявольской игре, куда его втянули гнусным обманом, не дав даже попрощаться с Элишей.

Задумавшись об этом, Залман совершенно забыл обо всем остальном. Оставшись в одном белье, он даже спросил, надо ли снимать его тоже.

– Никогда в бане не были? Не знаете, что там белье снимают? – Хотя и сейчас в голосе парикмахера слышалось что-то человеческое, его ответ напомнил Залману о другой бане – о той, куда загоняли голых людей, и ни один из них оттуда не вышел.

Полутемная каморка с запотевшими железными трубами по стенам, куда Залман вошел с обмылком в руке, произвела впечатление чего-то наподобие тех бань, о которых Залман немало слышал и читал после войны.

Парикмахер приказал поторопиться. Залман открутил краны, но тут же, задержав дыхание, отскочил в сторону. Постоял, вжавшись в стену, пока не увидел, что из душа течет обычная, настоящая вода.

В каком бы состоянии человек ни был, где бы ни находился, жизнь всегда и везде берет над ним верх. Если бы парикмахер не отдал новый приказ – закрыть краны, – Залман стоял и стоял бы под душем, наслаждаясь приятным теплом, растекавшимся по всему телу.

О том, что жизнь всегда берет верх над человеком, Залман думал, натягивая одежду, еще хранившую тепло дезинфекции.

Парикмахер привел его к фотографу и ушел. Если парикмахер тут, возможно, не по своей воле, то по фотографу этого никак не скажешь, несмотря на приятное лицо и голубые глаза. Взгляд – холодный и угрожающий, как лезвие топора. Может, другие так себя ведут, потому что им приказали, и они все время видят над собой занесенный меч? А этому не надо напоминать, он не нуждается

в приказах свыше, как вести себя с теми, кого к нему приводят. Он сам на это готов. Где, если не здесь, он может показывать свою власть? Это видно уже по тому, как он взял Залмана за руку, поочередно прижал все его пальцы к металлической пластинке, а потом – к чистому листу бумаги, на котором остались жирные, черные пятна.

– Сюда подойди! – Он указал на кран, кусок мыла и щетку, чтобы Залман смыл черную, как сажа, краску.

Взяв у Залмана отпечатки пальцев, фотограф тем самым ясно дал ему понять, что теперь Залман прописан здесь навсегда. Залман не успел разглядеть, что написано на металлической табличке, которую фотограф повесил ему на шею: фамилия или номер. От черного покрывала, под которым скрылся фотограф, веяло угрожающей тишиной, когда он рукой показывал Залману, как сесть, куда повернуть голову.

Каким же униженным он должен сейчас выглядеть, униженным и отталкивающим! Он опять провел рукой по наголо остриженной голове. Элиша, наверное, его не узнала бы. Да он и сам себя не узнал бы. Оно и к лучшему, что тут зеркала нет.

Молодой тюремщик, который за ним пришел, явно торопился. Сразу начал подгонять Залмана, почти бежать заставил, а руки держать за спиной, причем поднятыми чуть ли не до лопаток, даже немножко опустить не разрешал. В зарешеченном лифте повернул Залмана лицом к стенке. Руки болели, но конвоир так и не позволил их опустить. Он наверняка получал удовольствие, причиняя другому боль, и наслаждался своей властью. Этот молодой парень, и фотограф, и здоровяк с ножом, и все остальные, с кем Залман успел тут столкнуться, видели в нем не человека, а какое-то низшее существо, с которым можно делать что хочешь. Ну, а он, Залман, кого видит в них?

«Господи, – спросил себя Залман, – что со мной происходит? И что еще будет?»

В просторном, ярко освещенном кабинете с такими плотными шторами, что непонятно, день сейчас или ночь, от важности и самодовольства конвоира вмиг не осталось ни следа. Он робко замер у двери, не решаясь сделать шаг к столу, за которым сидел пожилой военный с тремя звездочками на погонах.

Приказав конвоиру ждать в коридоре, офицер подозвал Залмана

и дал прочитать бумагу с правилами поведения в камерах внутренней Лубянской тюрьмы. Первое правило гласило, что тот, кто не сообщит о нарушении, будет строго наказан наравне с нарушителем, потому что все сокамерники отвечают друг за друга.

Прочитав это, Залман понял, что тут каждого вынуждают стать доносчиком. Предать самых близких, как еще на свободе его заставлял Мартин Константинович. Запреты напечатаны в столбик, как десять заповедей, и после каждого запрета написано, какое наказание полагается за нарушение. В основном два: карцер и лишение права пользоваться тюремной лавкой.

– Прочитали? Распишитесь.

Даже его подпись, кажется, изменилась за то время, что он побыл в этом мрачном сером здании. У него был прекрасный почерк. А тут буквы сломались, как он сам.

Молодой конвоир опять заломал ему руки и по лабиринту коридоров, то вверх, то вниз, привел его в кабинет с высокой черной дверью.

Войдя, Залман неожиданно услышал красивый, чистый голос:

– Мешигене коп[1].

Слова принадлежали молодому блондину в форменном кителе, на погонах – по одной звезде.

– Мешигине коп! – повторил он, вызвав улыбку у двоих других военных, находившихся в комнате. У Залмана мелькнула мысль, что майор – еврей. Но как такое вообще могло прийти ему в голову? Даже будь молодой блондин крещеным евреем, даже носи он крестик, его бы в нынешнее время и на километр сюда не подпустили.

«А как же Розен? – спросил себя Залман и тут же себе ответил: – Нет, это другое. Служба службе рознь».

– Садитесь, – сказал ему один из тех двоих, высокий, немолодой военный с копной черных волос.

Залман сразу заметил, что табуретка и столик у двери намертво прибиты к полу. Одно это ясно указывало, что разговор между теми, кто сидит за большим столом у окна, и теми, чье место за столиком возле двери, ведется не словами. Если не прибить мебель к полу,

1 Дурья голова (идиш).

от таких, как, например, Натан Левитин, всякого можно ожидать… Но Залман Натану не ровня. Ему не хватает мужества, которое Натан принес с собой с фронта. Залман не уверен, что воспользовался бы табуреткой или столиком, даже если бы они не были прибиты.

– Ваша фамилия?

Залман не знал, как отвечать, громко или шепотом, как его учили в боксе. От растерянности он промолчал.

– Ваша фамилия? – громче повторил военный с двумя звездами на погонах, изучая при этом исписанный лист бумаги, будто хотел поймать арестованного на лжи, если тот сообщит о себе неверные сведения.

Хотя полученный в боксе приказ говорить шепотом здесь, наверное, не действовал, Залман не смог сразу вернуть потерянный голос и фамилию, имя и отчество – Мандел Залман Наумович – произнес чуть слышно.

– Год и место рождения?

Двое других ничего не спрашивали. Видно, допрос будет вести только один. Залман невольно задумался, на кого из тех, с кем он тут имел дело, похож этот следователь. Но, кажется, они все тут похожи друг на друга, различаются только звездочками на погонах. Они и обращались друг к другу не по фамилии, а только по званию, как на следствии по делу Еврейского антифашистского комитета. Так Залман разобрался, что одна звездочка – майор, две – подполковник. У того, который будет вести допрос, их две.

Затушив в пепельнице окурок, подполковник встал, подошел к Залману, положил перед ним лист бумаги, перо и показал пальцем, где расписаться.

Единственное, что понял Залман, взглянув на листок, это то, что это ордер. Читать, что там написано, после того как он увидел три устрашающие буквы алфавита, расположенные в обратном порядке, уже не было необходимости. Но Залман понял, что по отношению к нему допустили какую-то ошибку. Милиционеры, которые посадили его в машину и привезли сюда, слегка поторопились, не получив ордера на задержание и обыск. Хотя, собственно, какая разница, показали ему ордер в машине или уже здесь.

– Расписались? Дату поставьте.

Залман положил перо, поднял голову и посмотрел на подполковника, будто не понимая, что тот сказал.

– Дату поставьте.

– Какую дату указать?

– Сегодняшнюю.

– А какое сегодня число? – Залман потерял счет времени.

– Мешигене коп.

Кажется, подполковник уже и правда считает его тем, кем назвал его белокурый, голубоглазый майор. Если подполковник – его следователь, ему особенно важно знать, действительно обвиняемый чего-то не помнит или притворяется. От этого зависит, как вести допрос, найти правильный подход.

Посмотрев Залману в глаза и не заметив в них притворства, подполковник спокойно спросил:

– Когда вас арестовали?

– Двадцать третьего вечером.

– А сегодня двадцать четвертое.

– Двадцать четвертое? – удивился Залман. Еще даже суток не прошло?

– А вы думали, сколько вы уже здесь?

Залман не ответил. Все равно подполковник не поверит, что ему кажется, будто он тут целую вечность. Но себе он может ответить: он сидит у них столько, что уже позабыл, как выглядит мир за коричневой дверью с занавешенными окошками. Еще немного, и, кажется, он перестанет верить, что тот мир вообще существует.

Вернувшись к столу возле окна, подполковник открыл сейф с таким видом, будто достает особо секретный документ, вынул оттуда пачку папирос и подозвал Залмана:

– Берите.

Залман не двинулся с места.

– Берите, берите, – подбодрил следователь. – Вы же помните старую русскую пословицу: дают – бери, бьют – беги.

Если бы Залман не боялся себе навредить, он ответил бы: а как отсюда бежать? Куда? Но вместо этого он вежливо, своим спокойным, мягким голосом сказал другое:

– Спасибо, не курю.

Ответ явно разочаровал подполковника. Видимо, отказавшись от папирос, Залман отнял у него очень важное оружие, которое, как на Пурим у Натана рассказывал бывший евсек Шамай Бинкин, следователи успешно используют против курящих.

Убрав пачку дешевого «Спорта» обратно в сейф, следователь достал из другой, своей пачки ароматную сигарету, не спеша закурил, глубоко, с удовольствием затянулся, будто дразня Залмана, и медленно выпустил дым колечками.

Подполковник еще не успел докурить сигарету, как в кабинет вошел тот же молодой надзиратель. Вывел Залмана за дверь и тщательно обыскал, ощупал с головы до ног, видимо, не доверяя даже старшему по званию. Опять скрутил Залману руки за спиной, поднял их почти до лопаток и быстро повел по узкому коридору. Они спустились по лестнице, где пролет на каждом этаже был затянут металлической сеткой с мелкой ячеей, и оказались в другом коридоре. В нос ударил едкий, тошнотворный запах хлорки.

По коридору, в который выходило множество дверей, расхаживал надзиратель со связкой ключей на поясе. Надзиратель задерживался у каждой двери и заглядывал в глазок, наверное, надеясь, что сможет показать свою власть над кем-нибудь, как над Залманом – его бдительный провожатый.

Новый хозяин Залмана, перед тем как запереть дверь камеры, обыскал его еще тщательнее, чем молодой надзиратель у кабинета следователя. Обыск еще раз напомнил Залману, что здесь никто никому не доверяет. Все бдительные и все подозреваемые.

Глава 40

Мертвецы…

Люди, которых Залман, войдя в камеру, увидел за столом, были кто белее мела, кто желтее пергамента. Ему вспомнилось, что точно такие же иссохшие лица он видел у мертвецов в открытых гробах, когда однажды случайно забрел в Елоховский собор. Поэт Авром Мулер, к которому Залман пришел в гости, чтобы в стихах

поздравить с сорокалетним юбилеем, жил от Елоховского собора в третьем или четвертом доме.

Залман возвращался от Авремла поздно вечером, но двери собора были открыты. Изнутри доносились тихие, печальные звуки органа. Залман вошел. Переступив порог, он увидел несколько открытых гробов. Рядом мерцали огоньки восковых свечей.

Вот и теперь Залман увидел такие же бледные, изможденные лица и испуганно замер у двери, не решаясь шагнуть вперед, будто его прибили к полу, как столик и табурет в кабинете следователя.

Когда сидящие за столом подали какие-то признаки жизни, Залман закрыл глаза, еще не совсем понимая, куда он попал. Вдруг это сумасшедшие, которые сейчас набросятся на него и порвут на куски. Может, их потому здесь и заперли, что они нападали на таких же испуганных и беззащитных, как он.

Потом сокамерники рассказали Залману, что сразу догадались о его подозрениях. Чтобы своим видом не напугать его еще сильнее, они, стараясь не делать лишних движений, доброжелательно подозвали его к столу, сразу показали, которую из пяти шконок можно занять.

– Но днем на шконке сидеть нельзя, – предупредил Залмана его новый сосед, самый старший в камере, Иван Андреевич Капустин, как он представился.

– А еще тут строго запрещено…

– Хотите на него сразу все запреты вывалить? – перебил Иван Андреевич парня с отвисшей губой. – Зачем пугать человека раньше времени? Постепенно все узнает. – Он посмотрел на Залмана. – А где ваш багаж?

– Какой багаж? – спросил Залман, почти не открывая рта, чтобы поменьше вдыхать тошнотворный запах параши и хлорки. В камере воняло гораздо сильнее, чем в коридоре.

– Вы, наверное, не местный? – У спросившего глаза слипались, он явно из последних сил боролся со сном.

Откуда он – это не секрет, тут скрывать нечего, но Залман ответил чуть слышно, почти так же, как его учили в боксе:

– Местный.

Залману показалось, что молодой человек посмотрел на него с подозрением:

– Москвич, говорите?

– Москвич. А что?

– И где же тогда ваши вещи?

Похоже, этот парень ему не доверяет. Не принимает ли он Залмана за одного из тех, кого подсаживают в камеру подслушивать, что говорят заключенные, и доносить куда следует? Шамай Бинкин рассказывал о таких людях.

– Меня не из дома забрали. – Это прозвучало как попытка оправдаться.

– Та же история, – указал на себя Капустин. – Прямо на работе взяли. Вызвали из цеха да так сюда и привезли. Даже папиросы в спецовке оставил. Всех денег, что при себе были, еле на одну пачку хватило да на спички.

– У меня тоже с собой немного денег было, но все отобрали.

– Об этом не волнуйтесь, – успокоил Иван Андреевич. – Вернут. Вам квитанцию выдадут, на нее сможете иногда что-нибудь в лавочке покупать. Советую вам в первую голову махоркой и спичками запастись, от следователя милостей не ждите. Даст бог, дальше полегче будет, но сейчас мне тяжеловато. Я заядлый курильщик, на воле больше пачки в день смолил. Жена, понятно, знает, но чем она мне поможет, если у нее передачи не принимают? Они меня сломать хотят, нарочно посадили в камеру, где никто мне помочь не может, ни у кого ни копейки за душой. Они знают, что делают, знают, что курильщику легче без хлеба обойтись, чем без табака. Так что в первую голову, – повторил Иван Андреевич, – о куреве позаботьтесь.

– Я не курю.

– Как? Совсем?

– Ну да, совсем.

– Вот тебе на. А мы тут заждались, – отозвался парень с отвислой губой, – что вы нас табачком угостите.

– Если б я знал… – Залман все не мог избавиться от привычки говорить вполголоса. – Подполковник, к которому меня привели, мне пачку папирос предложил. Но я-то не курю, вот и отказался.

– И очень правильно сделали.

– А чего тут правильно?! – оба парня набросились на старшего,

Ивана Андреевича, будто он был виноват, что Залман отказался от папирос.

– Чего? А самим непонятно? Так он дал следователю понять, что он не тот человек, которого за пачку папирос купить можно. Это о многом говорит.

– Думаете, – растерянно спросил Залман более опытного Капустина, – этот подполковник так и будет моим следователем?

– Наверняка. Просто так, из жалости, они папиросами не разбрасываются, даже окурка не дадут. Дешевые папиросы и сигареты у следователей в сейфе, если обвиняемый курит, – великая сила. Одного не понимаю: почему они посадили вас в камеру, где собрали курящих, но у которых денег нет. Разве что хотят запретить вам махорку и сигареты покупать, чтобы вы нас поддержать не могли.

Еще один молодой человек, такой же бледный и исхудалый, как все сокамерники, но с широченными плечами грузчика, до сих пор не вставил в разговор ни единого слова. Он сидел в конце стола, спиной к глазку в двери, рвал жесткую голубую бумагу на одинаковые квадратики, аккуратно сворачивал их в трубочку, заклеивал слюной и закуривал. После каждой затяжки пустая самокрутка вспыхивала, и курильщик без конца задувал синий огонек.

– Вот увидишь, Василий, – сказал парень с отвислой губой, – кончится тем, что из-за тебя нам туалетную бумагу выдавать перестанут. Ее и так впритык дают, еле хватает. Еще и ты забираешь.

– Тише! Кажется, нашего Илюшу с допроса ведут, – сказал Капустин и тут же сам себе возразил: – А, нет, это не он. Ужин везут.

Тележка еще не отъехала от соседней камеры, а все уже стояли у закрытой кормушки[1] с мисками и кружками в руках.

– А вы? – спросил Залмана тот, который пытался курить туалетную бумагу. – Берите миску-кружку, становитесь с нами в очередь. Раздающие ждать не любят.

– Спасибо. Я не хочу есть. – Залман провел языком по пересохшим губам и, не вставая, добавил: – Не могу.

Он провел ладонью по горлу, показывая, что ему не только пищу, но даже воздух глотать тяжело.

1 Окошко в двери, через которое подают еду (прим. автора).

Капустин подошел к Залману и положил руку ему на плечо:

– Первые дни мне тоже кусок в глотку не лез. Но от голода сил не прибавится, а здесь они ой как нужны! Надо себя заставить. Понимаете?

– Я понимаю. Но не могу. Чай тоже дадут?

– Только без сахара. Сахар выдают утром на весь день. У меня остался кусочек, я с вами поделюсь. А ваш ужин мы все-таки возьмем. Если не будете, на всех разделим.

– Да, конечно. Ешьте на здоровье.

Пятого сокамерника, Илюшу, привели с допроса за несколько минут до того, как вертухай через окошко в двери дал команду ложиться спать. Залман даже не успел как следует рассмотреть совсем молоденького паренька с ямочками на худых щеках. Но за что он сидит, в чем его обвиняют, Залман уже знал, хотя никого не спрашивал. Все, кого он застал в камере, при знакомстве назвали не только имя, но и пункты пятьдесят восьмой статьи, по которым их обвиняли.

Очень суровое наказание ждало Илюшу. Уже далеко от Одесского порта, в открытом море, пограничный катер нагнал иностранный пароход, остановил и снял с него Илюшу, которому удалось незаметно туда пробраться. Он не скрывал своего замысла. Илюша мечтал стать путешественником, посмотреть мир и вернуться домой, к папе с мамой. На многочасовых допросах следователь не верил ни единому слову, требовал, чтобы Илюша признался в шпионаже и указал, кто и к кому его послал. Здесь не смотрят, что он почти мальчик, ему еще восемнадцати не исполнилось. Мучают его. А паренек не поддается, не подписывает протоколов, которые следователи составляют, как им надо.

Такое же строгое наказание ожидало молодого человека с отвислой губой. Он корил себя за свою глупую ошибку. Ведь он не семнадцатилетний мальчик, как Илюша, ему уже тридцать. Не по своей вине он оказался в немецком плену. Его дивизия попала в окружение. Куда он, тяжело раненный в ногу, мог бежать? Не по своей вине он, как и многие другие после войны, не вернулся из американской зоны домой, а уехал в Аргентину. Жилось ему там совсем неплохо, но ужасно тянуло на родину. Он вернулся бы гораздо раньше, если бы не боялся, что посадят. Доходили туда такие

слухи. Но он познакомился там с одним священником. Тот сказал, что это ложь, и уговорил вернуться. Здесь, на Лубянке, ему дали прослушать все их беседы. Как он мог догадаться, что священник – подосланный и незаметно записывает на магнитофон каждое слово? И о жизни в родном колхозе он тоже не сказал ничего хорошего этому попу, который, как он теперь понимает, нарочно заводил об этом разговор.

Третьему, Василию, светит если не двадцать пять, то не меньше пятнадцати лет в лагере плюс пять лет ссылки. Столько дают тем, у кого десятый пункт, вторая часть пятьдесят восьмой статьи. Заработать такой срок нетрудно. Вполне хватит одного неосторожного слова.

Самое легкое наказание ждет Капустина: десять лет лагеря. У него тоже десятый пункт, но первая часть.

О себе, кроме имени, Залман пока ничего не мог сообщить. Тот, кто подсунул ему на подпись ордер, даже не дав прочитать, не сказал Залману, в чем заключается его преступление, и по каким пунктам пятьдесят восьмой статьи его обвиняют.

Когда ложились спать, соседи по камере просто забыли ему сказать, что кружку на столе надо повернуть ручкой к глазку в дверях. Об этом Залману сказал надзиратель, пригрозив на будущее наказанием. Но что во время сна руки должны лежать на одеяле, сокамерники предупредили вовремя. Для Залмана это означало ночь без сна, он не мог долго лежать на спине. К тому же мешает свет. Лампочка в проволочной сетке висит прямо напротив его шконки. Свет все равно режет глаза, как их ни зажмуривай. Вонь параши и хлорки ночью чувствовалась еще сильнее. Буквально не продохнуть. Все уже спят, не у кого спросить, можно ли на минуту приоткрыть форточку или хотя бы подойти к зарешеченному окну с армированным стеклом и нависающим козырьком, чтобы даже клочка неба было не видно.

Свет не дает лежать спокойно. Залман сел, опустил ноги на прохладный вощеный паркет. Только сейчас заметил, что у всех глаза накрыты полотенцами. Из-за этого сокамерники еще больше похожи на мертвецов, чем в первый момент, когда Залман вошел и увидел их за столом.

Очень даже может быть, что в соседней камере, накрыв глаза полотенцем, лежит Рефоэл Охримов или Марк Полонер и мучается без сна. О чем они могут думать? Наверное, как и он, ищут ответ, хотят дойти до сути, понять, что все это значит, что будет с их народом. Какой-то ответ должен быть.

Как бы обмануть себя, чтобы поспать хоть пару часов? Полностью остановить бег мыслей в голове? Это не от него зависит. Не перестает терзать мысль, что из-за него страдает Элиша. А может, не дай бог, она тоже уже здесь? Ведь они знают, кто она, откуда. И насчет Надежды он тоже не совсем уверен. Могли и у нее побывать. Им без разницы, что она не еврейка. Ведь его соседи по камере тоже не евреи…

Вдруг кто-то толкнул его в бок. За то, что он убрал руки с одеяла и положил их под голову, надзиратель не стал его наказывать. Наверное потому, что это у Залмана первая ночь в камере. Но если еще раз…

Как за предыдущие сутки Залман приучился ходить, держа руки за спиной, так теперь он будет приучаться держать их на одеяле, когда спит.

Наверное, они опять соскользнули куда-то не туда, потому что его опять толкнули в бок. Но теперь не кулаком, а палкой. Только тогда Залман заметил, что в камере все уже проснулись. Испуганные, сидят на табуретках и чего-то ждут.

– На М, – объявил надзиратель.

– Похоже, за вами, – тихо сказал Залману парень, куривший туалетную бумагу. Его шконка стояла рядом. – Здесь по первой букве фамилии вызывают. На допрос вас поведут. Фамилию ему скажите.

– Мандел, – быстро отозвался Залман, еще не совсем понимая, что происходит.

– Максимов.

Фамилия парня с отвислой губой тоже начиналась на М.

Надзиратель помедлил, будто решая, кого из этих двоих вызвать, и, указав пальцем на Залмана, бросил:

– Приготовиться. Слегка.

Как бы странно это ни выглядело, Залману пришлось спросить сокамерников, что значит это «слегка».

– «Слегка», – объяснил младший, Илюша, – значит оставить вещи

здесь, ничего не брать. И, главное, про парашу не забудьте. Следователь из кабинета в туалет не отпустит, хоть лопни.

Дверь приоткрылась, и, едва Залман шагнул из камеры, как пришедший за ним надзиратель повернул его лицом к стене. Руки за спину Залман завел сам. Этот, в отличие от вчерашнего, не приказал поднять их до лопаток.

Похоже, они шли тем же путем. Наверное, вчера Залмана вели по этому же темному коридору, этим же лестницам с металлическими сетками на каждом этаже. Залман не мог допустить мысли, хотя на свободе не раз об этом слышал, что доведенные до отчаяния люди бросаются в лестничный пролет, поэтому он сетками и перегорожен.

Вдруг Залман услышал странные звуки. Они доносились как из-под земли, и от них кровь стыла в жилах. Бесы свистели в дудки, каркали вороны, чирикали воробьи, дробно перестукивались дятлы. Провожатый неожиданно схватил Залмана за плечи и резко повернул к темной стене.

Вскоре, пройдя несколько шагов, Залман опять услышал эти дикие звуки, и надзиратель опять прижал его к стене лицом.

Они свернули в коридор, освещенный чуть ярче. Здесь надзиратель не поворачивал Залмана к стене, а заталкивал в боксы размером с телефонную будку, без окон, со стенками, выкрашенными в цвет свежей крови. Когда они приближались к такой будке, Залман уже ждал, что надзиратель затолкнет его туда.

Глава 41

Залман не был уверен, что провожатый привел его в тот же кабинет, и что военный, который сидел за столом, сжимая зубами янтарный мундштук, – тот же подполковник, что вчера предложил ему пачку папирос, а он отказался.

Так или иначе, если тот, кто сейчас сидит за столом у окна, опять предложит папиросы, Залман не откажется. Наоборот. Чтобы не вызвать у подполковника подозрений, что берет папиросы не для себя, а для изголодавшихся по табачному дыму сокамерников, Залман даже закурит в кабинете, пожертвует одной папиросой.

Но сколько Залман, стоя у двери, где оставил его надзиратель, ни всматривается в военного за столом, он все еще сомневается, что это тот же самый. Залман не удивлен, что не узнает его. Он скоро себя узнавать перестанет. Даже в зеркало смотреть незачем, чтобы понять, что он – уже не он. Залман чувствует это. Всем телом чувствует. Зачем он вообще рассматривает этого подполковника? В конце концов, какая разница, тот или другой?

За несколько часов в камере Залман успел услышать от соседей, что следователи тут, собственно говоря, ничем не отличаются друг от друга. Это уже не люди. Бывшие люди, которых мать родная не узнает. Хотя в следователе, который вчера дал ему подписать ордер, Залман сумел разглядеть что-то человеческое.

– Садитесь.

Вот теперь все сомнения отпали. Да, это тот самый подполковник. Залман узнал его прежде, чем он поднял голову от бумаг на столе и указал на табурет у двери. Узнал по голосу. Совсем не командирский голос. Негромкий, спокойный, больше подходит не военному, а учителю. Теперь Залман уверен: его дело будет вести тот же самый следователь. Это немного приободрило. Залман перестал чувствовать ледяной холод, который сжимал его так, что не вздохнуть, с той минуты, когда ему приказали «слегка» приготовиться. Но даже на секунду забыть, где он, не давали табурет и столик, за которым он сидел. Ведь они намертво прибиты к полу.

Отложив перо, подполковник принялся тщательно вычищать мундштук, будто сейчас это было самое важное. На Залмана он даже не смотрел, казалось, совсем про него забыл.

Зазвонил телефон. Следователь снял трубку, очень доброжелательно с кем-то поговорил. Каждый раз, закашлявшись, он отворачивался от трубки и вытирал губы чистым белым платком. Залман все больше убеждался, что со следователем ему повезло. Непонятно только, о чем тот собирается его спрашивать.

– Как вы себя чувствуете, Залман Наумович? – Подполковник встал, прошелся по кабинету, засунув руки в карманы, и остановился перед Залманом. – Насколько я знаю, у вас сердце больное. Если нуждаетесь в медицинской помощи, вас отведут к нашему врачу, он вас осмотрит.

– Спасибо. Пока не нужно. – Вдруг Залман увидел перед собой не военного с двумя звездами на погонах, а просто человека, обычного человека, который тоже достоин сочувствия. И Залман не удержался:

– Я заметил, вы покашливаете. Это из-за курения. Знаете, вам бы бросить или хотя бы курить поменьше.

В тот же момент следователь, как показалось Залману, перестал видеть в нем обвиняемого. Он тепло поблагодарил за совет и заботу о его здоровье.

– Но, к сожалению, – добавил он, словно оправдываясь, – никак не могу отказаться от этой привычки, хотя давно пора.

Понимая, что, вынув пачку, он показывает обвиняемому свою слабость, следователь спрятал сигареты обратно в карман и вернулся к столу у занавешенного окна.

– Послушайте, Залман Наумович, вы же умный человек, образованный, известный в литературных кругах. Нет нужды объяснять вам, где вы находитесь. Сами понимаете, тут не детский сад. Тут никого не воспитывают. Мы – меч, который карает, и карает строго. Невиновные у нас не сидят. Но мы каждому даем возможность облегчить его участь, уменьшить заслуженное наказание. Для этого надо всего лишь быть с нами откровенным, честно признаться во всех совершенных преступлениях и помочь нам сорвать маски с предателей и врагов, засевших в Еврейском буржуазном националистическом антисоветском комитете и еврейской писательской секции.

Залман привстал с табуретки.

– Я никогда не занимался никакой антисоветской деятельностью. Я невиновен.

– Залман Наумович, не спешите, подумайте хорошенько. Пытаетесь отрицать очевидное? – все тем же спокойным тоном возразил следователь. – Поначалу все так говорят. Нас этим не удивишь. Если хотите облегчить свою участь, советую использовать возможность, которую вам дают. Расскажите все честно, без утайки. – Подполковник вытянул ноги под столом. – Итак? Я жду.

– Мне нечего рассказывать. Я невиновен.

– Опять за свое? – И с прежним спокойствием человека, который ждет, что ему ответят добром на добро, после небольшой паузы подполковник продолжил: – Вот что, Залман Наумович. Вижу, вы пока

не готовы полностью разоружиться, хотите сперва подумать. Я дам вам на это двое суток. Но имейте в виду, от нас ничего не скроешь. – Он подвинул на край стола пухлую синюю папку и хлопнул по ней ладонью. – Видите? Тут все записано. Нам все известно и про вас, и про ваш ЕАК, Еврейский антисоветский комитет; антисоветский, а не антифашистский, как он себя называл. Спросите, зачем мне тогда ваши признания в совершенных преступлениях, если нам и так все известно? Мне просто хочется проверить, раскаиваетесь ли вы, рассказываете правду или продолжаете юлить, как вся ваша антисоветская шпионская еврейская банда. – Он достал из сейфа несколько листов бумаги, пересчитал их, обмакнул перо в чернильницу и начал писать. Видно, что изложить их разговор в письменном виде ему было непросто. Пока писал, подполковник выкурил две сигареты и не раз закашлялся.

Закончив, он подошел к Залману и положил перед ним два исписанных листа и перо.

– Прочитайте и подпишите. – Уже отойдя, будто вспомнил и уточнил: – Подпись на каждой странице.

В протоколе оказались не только вопросы, которые он действительно задавал, но и немало того, о чем он не спрашивал. Однако все ответы были не следователя, а Залмана: «Я никогда не занимался никакой антисоветской деятельностью, я невиновен».

Из протокола Залман наконец-то узнал, что фамилия следователя Евдокимов, и что он, Залман Наумович Мандел, обвиняется по статье 58, пункты 1а, 10 и 11.

Прежде чем расписаться, Залман спросил, что означают перечисленные пункты.

Пристально глядя ему в глаза, следователь объяснил, что Залман обвиняется в измене, шпионаже, буржуазном национализме, коллективной антисоветской деятельности.

– О господи! – только и смог выдохнуть Залман.

Евдокимов забрал подписанные листы, продержал Залмана в кабинете еще часа два, больше ничего не спрашивая, и только следя, чтобы Залман не закрывал глаза, не дремал, потом вызвал конвоира и приказал отвести арестованного в камеру.

Снова Залмана сопровождали странные, дикие звуки, будто бесы и ведьмы играют свадьбу. Снова конвоир несколько раз поворачивал его

лицом к стене и заталкивал в расставленные по всему пути тесные, темные будки.

Но до того как открылась дверь камеры, Залман успел заметить, как надзиратель постучал ключом о пряжку ремня, а конвоир издал звук, похожий на лягушачье кваканье. И тут же со всех сторон понеслись свист, карканье, щебетанье.

Когда Залман оказался в камере, ему уже не было нужды спрашивать, что означают эти дикие звуки. Конвоиры боятся, что арестанты столкнутся в коридоре лицом к лицу, и подают друг другу сигналы. Кажется, для конвоиров встреча двух заключенных страшнее, чем для железнодорожников – два встречных состава на одной колее.

Когда он вошел, сокамерники приподняли головы и сразу же опять опустили на подушки, стараясь связать разорванную ниточку сна.

Который час? Может, и нет смысла ложиться, все равно уже не уснуть.

И все-таки сон его одолел. После двух бессонных ночей глаза так слиплись, что Залман еле открыл их, когда из кормушки раздался крик надзирателя: «Подъем!»

Вот так, почти не открывая глаз, Залман оделся, застелил серым покрывалом железную шконку. Потом побрел в туалет, куда двое парней, чья очередь была в тот день, отнесли парашу, опорожнили и вымыли едким раствором хлорки.

Клочок голубой бумаги, который надзиратель выдал ему, сопроводив в туалет, Залману не понадобился. Организм будто отказался от всех своих потребностей. Залман отдал жесткую бумажку широкоплечему парню, Василию, чтобы тот хоть пару раз затянулся дымом. В благодарность Василий уступил Залману самое приятное на дежурстве – натереть воском паркетный пол.

Сунув ногу в ремешок щетки, Залман несколько раз прошелся по паркету, прогоняя остатки сна. Остальным сокамерникам, кроме дежурного, были строго запрещены любые спортивные упражнения. Надзиратель внимательно наблюдал за этим через глазок.

Залман постарался подольше задержаться у окна. Чтобы не вызвать у надзирателя подозрений, он с особой тщательностью натирал там пол. Но, кроме зарешеченного кусочка неба за грязным, толстым, прошитым проволокой стеклом, не увидел за окном ничего.

К тому же мешала стая воронов, которые слетелись, кажется, со всего города и упрямо каркали снаружи.

Через несколько минут дал о себе знать кисловатым запахом привезенный на тележке завтрак.

В очереди к кормушке Залман стоял последним, но к еде не притронулся.

– Голодовку объявили? – спросил Капустин. – Если думаете этим чего-то добиться, это большая ошибка. Вы тут новенький, только с воли, так что должен вас предупредить: если они узнают, нам всем мало не покажется, за то что скрывали, а вас силой накормят, как гуся. Берите ложку и ешьте.

Залману пришлось послушаться этого заботливого пожилого мужчину.

Если Залман, сидя после завтрака за столом, все-таки заснул, то не больше чем на полминуты, к тому же он сидел спиной к глазку. Но надзиратель сразу заметил и приказал сесть к двери лицом.

Не прошло и двух-трех минут, как кормушка распахнулась, и Залман опять увидел надзирателя в коридоре.

– Не закрывать глаза! Еще раз увижу, что с закрытыми глазами сидишь, в карцер отведу!

– Я не закрываю, – пролепетал Залман. – Они сами закрываются. Я две ночи подряд почти не спал.

– Тогда не сиди. Встань и ходи, но глаза чтоб открыты были. Понял? Понял, я тебя спрашиваю?!

– Понял, гражданин начальник.

Залман шагал по камере. Хватаясь за изголовья шконок, но сон не отступал: глубоко в него забрался, не выгонишь. Все кости желали только одного, молили: спать, спать… Кроме этой молитвы, в голове ничего не осталось. С каждой минутой голова становилась все тяжелее, все больше наливалась свинцом, не держалась на плечах. Ноги не слушались. Еще шаг, и он упадет! Но сесть нельзя. Сон тут же схватит его и уже не отпустит.

– Глаза! Глаза!

Залман уже не понимает, это он сам себе напомнил или надзиратель. Из последних сил борется со сном. Нет ничего сильнее и дороже сна.

«Как дорог сон! Не переоценить».

У кого из своих коллег-поэтов он это вычитал? Скорее всего, у Йоэла Рогачева. А как дальше? Что дальше говорится про сон в этом чудесном стихотворении чудесного поэта, чьи строки полны души и музыки, как молитвы?..

Голова постепенно проясняется, освобождается ото сна, но к мысленному разговору с самим собой о Йоэле Рогачеве и других еврейских поэтах, запертых по тюремным камерам, Залман уже не вернулся. К собственному удивлению, вместо этого он задумался о вертухае за дверью, в котором, как и в остальных здешних надзирателях, он перестал видеть людей, хотя внешне они ничем не отличаются и тоже от рождения наделены всем, чем обладает любой человек. Залман хочет добраться до сути, понять, почему они все это утратили, причем с радостью.

И Залман, как ему кажется, в конце концов докопался до истины. Представил себе, как это произошло. У них просто отняли душу. От нее в них осталось только звериное, глубоко спрятанное в каждом человеке.

Мысль о величии и низменности человеческой души так захватила Залмана, что он не сразу услышал команду надзирателя. Однако приказ «на выход слегка» теперь получил не Залман, а Илюша.

– Уже которые сутки ему покоя не дают ни днем, ни ночью, – тихо сказал Капустин, когда Илюшу увели из камеры.

Слова Ивана Андреевича предназначались Залману. Остальные и сами это знали, но не проявляли к пареньку особого сочувствия. Будь что будет, лишь бы скорее закончилось. Сколько еще можно мучиться?

У Ивана Капустина уже внук был, ненамного младше Илюши. И когда Илюшу увели на допрос, у Ивана Андреевича даже слезы показались на глазах.

– Боюсь, он долго не выдержит, они его сломают. Это они умеют.

Залман знал, какое преступление совершил Илюша, но все-таки спросил:

– В чем его обвиняют?

– Ничего особенного, измена и шпионаж. Пятьдесят восьмая, пункт 1а.

– Измена и шпионаж! – воскликнул Залман, будто вчера не слышал этих же слов от своего следователя, Евдокимова.

Из-за того что у них с Илюшей одна статья, Залман почувствовал к нему особую симпатию. В первую же минуту он подумал, что Илюша еврей, теперь все сомнения отпали. И Залман сделал вывод: Илюшу обвиняют по той же статье, что и его, Залмана, прежде всего потому, что парнишка может быть евреем. Правда, у него фамилия Иванов. Залман никогда не встречал еврея с такой фамилией.

Василий, плечистый парень, для которого клочок бумаги дороже хлебной пайки, не согласился с добрым Иваном Андреевичем:

– Почему вы так уверены, что Илюша невиновен? Не был бы виновен, не погнались бы за пароходом. Хотите, чтобы они всем верили на слово, хотя мы сами-то не слишком друг другу доверяем? Я уже себе не очень-то верю.

Все затихли. Каждый задумался, не сболтнул ли он в камере чего-нибудь лишнего.

Только Залману незачем было об этом размышлять. Его единственная вина, как он понял из того, что услышал еще в машине, а потом от следователя, заключается не в том, что он еврейский писатель, а просто в том, что он еврей. Он никогда этого не скрывал, не стал бы скрывать, даже если бы мог. Он еврей до мозга костей и не отрицает, что этим гордится. Евреям есть чем гордиться, не меньше, чем всем остальным.

– Не держитесь все время за шконки. Надзиратель наверняка следит. Эта собака хочет вас, как говорится, за руку поймать и в карцер посадить.

– С ног валюсь, спать хочу, – пожаловался Залман, сам не зная кому.

Парень с отвислой губой, Максимов, тихо подсказал:

– Раз-два, раз-два! Тверже шаг. Вспомните, что вы фронтовик.

Если бы минуту назад Василий не сказал бы, что сам себе не доверяет, Залман не стал бы скрывать, что не воевал, хоть и не по своей вине. Его перо нужно было Еврейскому антифашистскому комитету, а комитет нужен был стране. Иначе она не отправила бы Бен-Михоэла и Бен-Шолема в Америку с призывом к братьям-евреям.

Следователь прекрасно об этом знал, но также знал, что

величайший поэт нашей эпохи, как назвал Маяковского «отец народов», приравнял перо к штыку, и не смог упрекнуть Залмана, что тот не воевал, не был на фронте. Но все-таки не удержался, чтобы не спросить, как Залману жилось в хлебном городе Ташкенте, хотя для следователя не секрет, что Еврейский антифашистский комитет находился в Куйбышеве, там же, где все остальные комитеты, созданные в начале войны.

– Сколько ночей уже вам спать не дают?

– Две, – бросил Залман, не останавливаясь.

– Всего-то? – От удивления Максимов еще больше выпятил нижнюю губу. – Детское наказание! Мне тут неделю спать не давали, с понедельника до воскресенья. Тут чего угодно можно ждать, ко всему надо быть готовым. Для начала приучитесь без сна обходиться. Это нелегко, но придется.

Чтобы привыкнуть обходиться без сна, у Залмана ушел целый день, и тянулся этот день очень долго. Уже не верилось, что он когда-нибудь кончится.

За Залманом по камере ходила Элиша. Он боялся обернуться, чтобы она не увидела его лица. А чего бояться? Она же все равно его не узнает. Он теперь и сам себя не узнает. Кому это она говорит:

– Я люблю тебя… Я с тобой, любимый, единственный… Где бы ты ни был, я тоже там буду…

Это сон? Да, наверное. Значит, он научился спать на ходу.

К обеду и ужину Залман почти не притронулся, еле проглотил пару ложек, и то лишь после уговоров Капустина. Тот опять стал твердить:

– Понимаю, что вам кусок в горло не лезет, но надо себя заставить. Берегите силы. Можете не сомневаться, завтра-послезавтра вас отсюда не выпустят. Если вы сюда попали, то это на годы, будь вы даже чисты как младенец.

– А вас за какие грехи посадили? – спросил Залман.

Вот Иван Андреевич как раз точно чист как младенец. Такая доброта от человека исходит. И где? В аду…

– Наверное, за те же, что и вас.

Залману захотелось возразить: «Но вы же не еврей».

– Ни за что меня забрали и уже четвертый месяц держат. Было

у нас на фабрике собрание. А я взял да задремал. То ли сам проснулся, то ли кто-то разбудил, и спросонья показалось, что все аплодируют. Вот и я зааплодировал, причем в самый неподходящий момент. А через два дня пришли ко мне на работу и сюда увезли.

Ложась спать, Залман не забыл, что кружку надо поставить ручкой к двери, а руки держать на одеяле.

Вдруг среди ночи раздался крик надзирателя:

– Приготовится к прогулке! – И немного мягче, будто уговаривая: – Гулять пойдете?

– Я не пойду, – отозвался Василий. – Сон дороже. Лучше, чем двадцать минут на крыше покрутиться. – И тише: – Нашли, когда гулять водить. Среди ночи, за счет сна. Нет, не пойду.

– Никто вас не заставляет, – сказал Капустин, – нет так нет. Это единственные двадцать минут, когда вы сам себе хозяин. Мне эти двадцать минут на свежем воздухе не менее дороги, чем сон. А вы, Мандел, тоже не пойдете?

– Пошел бы, но у меня пальто нет. Меня же не из дома забрали. А на улице, чувствуется, прохладно.

– Я скажу надзирателю, он вам принесет что-нибудь накинуть. Когда на прогулку выводят, дают что-нибудь надеть, если своего нет.

Все, кроме упрямого Василия, уже были на ногах, когда надзиратель принес в камеру старую серую шинель и высокую вылезшую шапку, наверное, еще времен японской войны. Казалось, они до сих пор хранят холод и сырость окопов и горький запах гари. Шинель оказалась до пола, шапка сползала на глаза, но другой одежды для прогулок на свежем воздухе здесь не нашлось. Один покрой и размер на всех. Кто знает, кто может сказать, уже стоя в шинели, подумал Залман, сколько людей выходило в этой одежде на отмеренные двадцать минут? Наверняка были среди них отцы и сыновья еврейской литературы. Возможно, даже сегодня кто-нибудь из них гулял в этой длинной, тяжелой шинели.

По узким, темным коридорам, по крутым лестницам – обратной дороги в жизни не найдешь – надзиратель, стуча ключом по пряжке ремня, привел их к грузовому лифту, поднял в нем наверх и через узкую дверь выпустил на крышу, в огороженное кирпичной стеной пространство. Кроме караульного на вышке и усеянного далекими,

стылыми звездами выделенного для заключенных клочка неба, отсюда ничего не видно. Пусто и тихо вокруг. Мертвецы. Мертвый город, мертвое небо с мертвыми звездами и трое живых мертвецов, которые ходят по кругу, изо всех сил втягивая в себя прохладный ночной воздух.

У него в одном стихотворении, вспомнил Залман, сказано, что у каждого есть своя звезда в небе. Он вычитал это в какой-то старой еврейской книге. Какая из этих звезд его? Может, эта, которая вдруг так ярко сверкнула? Там никто его не стережет. Он свободен. Кажется, его звезда отделилась от остальных и устремилась сюда, чтобы забрать его с собой. Но он не успеет вскочить на нее. Еще прежде, чем он протянет к ней руки, караульный выстрелит. Теперь Залман не принадлежит никому: ни земле, ни небу, ни этому свету, ни тому. Никому, кроме них. Тех, кто властвует в этом здании.

Внезапно караульный на вышке посмотрел вниз. Наверное, услышал, что к тяжелой коричневой двери с занавешенными окошками подъехала машина. Кого могли привезти в столь поздний час? Еще кого-нибудь из остававшихся на свободе еврейских писателей. И кого же? Смертельно больного Меера Аренса? Или уже пострадавших ранее Аншла Рабичева, Гершла Бинштока? Или, боже упаси, Элишу? Нет, Залман не может даже мысли такой допустить

– Элиша, где ты? Ответь! – Залман задушил в себе молитву, чтобы она не вырвалась из него в ночь. – Элиша, где ты?

Рано утром, когда по команде надзирателя все уже были на ногах, Илюша попросил кого-нибудь встать к двери, загородить спиной глазок и достал из набитого соломой матраца сложенный лист бумаги.

– Газетная страница! Со стола у следователя стащил, когда он отвернулся что-то в сейфе поискать.

– Как ты ее пронес? – и с испугом, и с восхищением Илюшиной смелостью спросил обманутый человек из Аргентины Максимов.

– Так на себе спрятал, что не нашли, хоть и обыскивали, как всегда. Давайте почитаем, что там пишут. В мою сторону не смотрите, чтобы собака за дверью не заметила.

Единственным, кто не узнал из газеты ничего нового, был

Залман. Он же только что с воли, всего третьи сутки как оттуда. Судя по газете, никаких изменений в мире за это время не произошло. Опять разоблачали евреев, скрывающихся под русскими фамилиями, тех, кто печатается в газетах и журналах, издает книги, играет в театрах и оркестрах, ученых и многих других: Веслов – это Векслер, Ефимов – Хаймович, Рябов – Рабинович, Лобатов – Штерн. Что величайшие жулики – Пиня из Жмеринки и Либа Фурман из Мурафы, для Залмана не новость. Об этом уже давно пишут.

Только дочитав газету, Илюша задумался, что с ней делать:

– И куда же ее девать? Спрятать нельзя, если найдут, шкуру спустят. Карцером не отделаешься.

– А что тут думать-то? Отдай Василию, он ее за день скурит.

– Здорово придумал! Хочешь, чтобы я рак заработал? Газета годится на самокрутки с махоркой, но не чтобы из нее махорку делать.

– Тогда одно остается, – решил Илюша, – разорвать и в парашу выбросить.

– Лучше подождать, – предложил более опытный Иван Андреевич, – и клочки в унитаз спустить.

Часа через два после завтрака дверь распахнулась и в камеру ворвались двое молодцов в черных халатах. С такой злобой, что, казалось, сейчас из карманов ножи выхватят, они принялись всех обыскивать, раздевать догола, все осматривать, ощупывать, шарить под матрацами, передвигать шконки. Заглянули даже в парашу, недавно вымытую вонючей хлоркой. Потом сокамерников по одному, друг за другом, увели.

В светлом кабинете, куда привели Залмана, за столом сидел очень молодой человек, но с четырьмя звездочками на погонах. Залману показалось, этот парень сам не верит, что он уже капитан, еще не привык к новому званию и из кожи вон лезет, чтобы в нем видели старшего офицера.

Не скрывая, что получает удовольствие от своей власти, он приказал Залману подойти ближе и ударил кулаком по столу.

– Откуда у вас газета? Кто передал? Ну?

– Не понимаю, гражданин начальник, о какой газете вы говорите.

– О той, которую вы в унитаз спустили. Теперь понятно? – И немного сдержаннее: – Вам же будет лучше, если признаетесь.

– Мне не в чем признаваться, гражданин начальник. Я ни в чем не виноват.

– Хотите сказать, что это не вы сделали. Ладно, верю. Тогда кто? Кто, я вас спрашиваю? Если не хотите, чтобы я вас сейчас же в карцер отправил, говорите, чья это работа!

– Я же сказал, гражданин начальник, не знаю.

Невероятно, но по словам капитана получалось, что внизу, под унитазом, есть сетка, которая ничего не пропускает. Каждую смытую в унитаз бумажку потом достают и просматривают. Абсолютно каждую. Не этот ли молодой, крепкий парень этим занимается, за что и получил капитанское звание?

В камеру, откуда его увели к офицеру Лубянской внутренней тюрьмы, Залмана больше не вернули, разлучили, и, скорее всего, навсегда, с его четырьмя сокамерниками, даже не дав попрощаться и узнать, чем закончилась история с газетой. Не выдал ли, не дай бог, кто-нибудь из них храброго паренька.

Глава 42

Сперва Залман подумал, что его новый сосед по камере, мужчина с густыми бровями и длинным, острым носом, тоже еврей. Но оказалось, что он вообще француз, полковник. Как он рассказал, его непонятным образом привезли сюда из Парижа.

Больших успехов в изучении русского языка французский полковник пока не достиг. За несколько месяцев он выучил только три-четыре десятка русских слов. Если бы во время разговора он не помогал себе руками, понять его было бы трудновато. Половину слов он изображал жестами, как в синагоге, когда нельзя прерывать молитву. Поэтому Залман и ошибся, приняв Шарля, как звали француза, за еврея, причем из маленького местечка.

При знакомстве Шарль рассказал, как его похитили и привезли в Москву, но его история на Залмана особого впечатления не произвела. Примерно такую же шутку, как рассказывал Хайкл Вайнкол, сыграли с гуляйпольским праведником Нахманом Ладинером. Но не в далеком городе Париже, а здесь, в родной стране, в прекрасной

Одессе-маме, и средь бела дня, у всех на виду. С Шарлем все произошло вечером, на тихой улочке, когда он пешком возвращался с работы, дышал свежим воздухом и уже подходил к дому. На перекрестке затормозил легковой автомобиль. Из него вышел элегантно одетый молодой человек и вежливо спросил, как проехать на Елисейские Поля. Что было дальше, как его посадили в машину и захлопнули дверцу, он до сих пор не знает. Наверное, его чем-то усыпили. Очнулся он уже здесь, на Лубянке.

Оказалось, что похитители в спешке с кем-то его перепутали. Он понял это на первом же допросе. Следователь расспрашивал его о Французском генеральном штабе, хотя Шарль никогда там не служил и никого там не знает.

– Если ошиблись, вернули бы меня в Париж, к жене и детям, но зачем-то держат здесь уже не знаю сколько месяцев.

Выслушав короткую историю Шарля, Залман ждал вопроса: «А вас за что?» Вместо этого Шарль прямо спросил, еврей ли он. Видно, даже француз, просидев не один месяц и точно побывав за это время в разных камерах, везде встречал евреев, которых тут немало, и сделал вывод, что быть евреем – уже преступление. Сейчас за одно это сажают.

То ли из-за того, что Шарль сам об этом заговорил, то ли из-за его местечковой манеры размахивать руками Залман, ответив, что он еврей, задал полковнику тот же вопрос.

– Нет, нет. Я француз. Чистый француз. У меня не пятьдесят восьмая. Совсем другая статья.

Если у полковника не пятьдесят восьмая статья, значит, Залману нет смысла его расспрашивать, выяснять, как проходят допросы, как с ним обращается следователь. С иностранцами, надо думать, обходятся немного иначе. О том, как следователь обращается со своими, Залману могут рассказать четверо других обитателей камеры.

За трое суток на Лубянке Залман успел узнать, что значит количество звездочек на погонах, и запомнить, какие пункты есть в пятьдесят восьмой статье.

У двух парней – они играли в шашки, когда привели Залмана – самый легкий пункт, десятый. Им светит лет восемь-десять, не больше. Их не заставляли подписывать протокол, это не понадобилось. Тот,

что постарше, на первом же допросе признался, что действительно рассказал анекдот про хозяина страны. А от кого сам этот анекдот услышал, он давно забыл. Пусть с ним делают что хотят, но ни на кого указывать, как требует следователь, он не будет. Пока следователь его пальцем не тронул, только запугивал. Но серьезно запугивал.

Второму парню просто не в чем признаваться. Он не отрицает, что, может, и правда сказал что-то такое, чего говорить не следовало. Но он не виноват. Немного перебрал, выпил лишнего, с кем не бывает.

Если все, что о следователях могли сообщить эти двое, Залман и так уже знал, то третьему, по имени Алексей Никитин, самому молодому, но успевшему сменить несколько камер, было что рассказать. Среди тех, с кем он сидел, были некий Генрих Эрдин и некий Яков Шнеерсон. Об Эрдине сказать особо нечего. Его почти не видно и не слышно было. Тихий человек, почти слепой. Ни с кем не ругался, никого ни о чем не спрашивал и о себе ничего не рассказывал, кроме того, что он поэт. Похоже, он из деревни.

– С чего вы взяли? – спросил Залман.

– У него все стихи про деревню да про землю-матушку.

– Он их вам читал? Насколько я знаю, он по-еврейски пишет.

– Да, он говорил. А свои стихи он на украинском читал. А вот про второго, Якова Шнеерсона, как раз много чего сказать можно. Сперва мы его опасались, подозревали, что он подсадная утка. Потом поняли, что он слегка не в себе. Все время веселился, песни пел. И откуда он так много песен знает? Попробуй столько запомни. Весело так распевал, как на праздник. Да он вообще человек веселый.

– А почему вы считаете, что он не в себе? – Залман ни секунды не сомневался, что Алексей Никитин рассказывает не про какого-то другого Шнеерсона, а именно про того, которого Шлойме Бен-Михоэл перевез из Одессы в Москву и поселил за кулисами по соседству с Пинхасом Машбергом. Но поверить, что всегда бодрый, жизнерадостный Яков дошел до такого состояния, что его считают человеком не в своем уме, Залману все-таки было трудно. Хотя можно догадаться, что со Шнеерсоном следователи обращались немного не так, как с теми двумя молодыми людьми. Все-таки Яков был близким другом Бен-Михоэла.

– Почему считаю, что он не в себе? – переспросил Никитин. – Даже по тому, как он на допросы ходил. Как на праздник. Каждый раз нам говорил: «С чего мне их бояться? Они ж все мои ученики, мои воспитанники…»

Это было похоже на правду. До войны Яков работал учителем. Его уроки еврейской литературы – Залман как-то посетил один из них – дышали святостью, как праздничная молитва. Наверное, с таким же вдохновением он беседовал о еврейской литературе со следователями. Для них он оказался настоящей находкой, если они имеют делом с тем, что так или иначе связано с идишем. Ведь все это теперь строго запрещено, приравнено к тяжелейшему преступлению.

Еще двое оказались евреями. Получилось, вместе с Залманом евреев в камере ровно половина. Какие у них пункты пятьдесят восьмой, он и спрашивать не стал. И так ясно. Если они евреи, значит, у них точно кроме десятого пункта еще одиннадцатый. А может, подумал Залман, как и у него, еще и 1а. Почему бы нет? Даже до французского полковника уже дошло, что быть евреем – само по себе преступление, так что их могут в чем угодно обвинить.

К счастью, пункта 1а у них нет, в измене и шпионаже их не подозревают.

Тот, что помоложе, бывший студент Института имени Плеханова Лейзер Элькин, из-за допросов вообще не беспокоился. Все эти страхи и мучения он пережил еще два года назад. Теперь он сидит здесь не как обвиняемый, а как свидетель, ради этого его привезли из Тайшетского лагеря. А раньше он был на Колыме. О ком и о чем он должен свидетельствовать, он до сих пор не знает. Не говорят. Он хотел бы скорее покончить с этим делом и вернуться в лагерь. Ему еще восемь лет осталось, если перед освобождением, как часто бывает, ему пятерочку не добавят к десятке, которую он получил за то что, у него нашли «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, хотя портрета Троцкого в книге уже не было. Он его предусмотрительно вырвал. Донес на него, как он считает, его близкий друг, который и дал ему книгу почитать, а потом как бы забыл забрать. Кто знает, может, его друг тоже сел, поэтому Лейзера сюда и привезли как свидетеля.

– Они, похоже, забыли, что я лагерник, а у лагерника на все один

ответ: не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. В лагере для тех, кто хочет выжить, это закон.

Если Лейзер Элькин начинал рассказывать о лагере, его было не остановить. Говорил и говорил. Он не пугает Залмана, боже упаси, но скрывать от него, что такое лагерь, он не имеет права, ведь Залману, очевидно, предстоит там оказаться, и не на один год. Есть основания так думать. В Тайшетском лагере у них в бараке живет один еврей, Авром Каминер. Выдает себя за еврейского писателя, говорит, дружил с Бен-Михоэлом и многими другими из Еврейского комитета. Ему двадцать пять дали.

– Может, знаете такого?

– Двадцать пять лет? – Трудно себе представить, за какие грехи Каминер получил такой срок. Писатель он довольно посредственный, и с Бен-Михоэлом, насколько Залману известно, даже знаком не был.

– Еще далеко не старый, немного за пятьдесят, но очень слабый. В тюрьме, говорит, легче было. Пожалуй, он прав. В тюрьме, если без конца на допросы не таскают и по ночам спать дают, действительно легче и, главное, не так опасно, как в лагере.

– Скажите, – спросил Залман студента, который, по его словам, успел сменить несколько камер, – вы случайно не сидели тут с писателем по имени Айзик-Ехезкел Добрин?

– Нет. Ни здесь, ни в лагере. Но с другими еврейскими писателями встречался и на Колыме, и в Тайшете, откуда сюда приехал. Везли нас на барже на Колыму, зеки в трюме – как селедки в бочке. Сидели рядом со мной на нижней палубе два странных еврея. Один – рослый, красивый, с густой русой бородой. Другой – далеко не красавец, но зато голос у него необыкновенный, действительно, что называется, за душу берет. Вологодский конвой известен своей жестокостью, неспроста про него говорят: вологодский конвой шутить не любит. Но даже они его все время спеть просили. Благодаря его голосу уголовники на барже политических ни разу пальцем не тронули. Не обокрали, не ограбили. Так вот, всю дорогу бородатый проклинал его на чем свет стоит. «Убью тебя, – кулаком грозил, – убью!» А певец наклонял голову, будто шею под нож подставлял, и просил: «На, убей. Я это заслужил».

Уже в лагере я узнал, что они оба – еврейские писатели и оба одесситы. Но вот фамилий не помню.

«Наверное, так только у евреев бывает, – подумал Залман, – чтобы еврей встретил еврейского писателя и не запомнил, как его зовут, не смог назвать ни одного его произведения. Страшна судьба еврейского писателя!»

– Их фамилии – Ладинер и Сойфер. Нахман Ладинер и Еремей Сойфер, – подсказал он образованному человеку, бывшему студенту Лейзеру Элькину.

– Может быть. Не помню. А как вы думаете, из-за чего они так ругались? Бородатый, Ладинер, значит, обвинял другого, Еремея Сойфера, что тот на следствии бог знает чего про него наговорил. И что он сын раввина, и что в своих произведениях о деревне он воспевал крестьянина-единоличника, до небес его превозносил, и о Биробиджане плохо отзывался, а о Палестине хорошо, в общем, много всякого разного. Хотя на самом деле как раз Сойфер – еврей до мозга костей. Был у нас в амбулатории уборщик из Кишинева, Янкл его звали. Прекрасно литературу знал и языки. Еремей с ним по-древнееврейски всегда разговаривал, а сын раввина Нахман Ладинер на древнееврейском ни слова не понимал. Зато в работе любого мог за пояс заткнуть. Когда какой-нибудь еврей спрашивал, зачем он костьми ложится, пашет как вол, как раб в Древнем Египте, Ладинер всегда отвечал, что где бы он ни был, что бы ни делал, он никогда не забывает, что он еврей, а по тому, как один себя ведет, судят обо всех остальных. Надо постоянно не о себе думать, а о своем народе.

Но Залмана больше обеспокоила война, которую Нахман Ладинер вел со своим близким другом Сойфером. Хотя, как бы долго она ни продолжалась, Залман не сомневался, что они помирятся.

– Все ссоры между евреями, – объяснил он своему молодому соседу по камере, у которого, кроме имени, кажется, не было ничего еврейского, – рано или поздно заканчиваются миром. Приходит Йом-Киппур, и все друг другу прощают.

– Но история учит, что не все войны заканчиваются миром. Обычно война для кого-то заканчивается победой, а для кого-то поражением. Видно, что ваш Нахман Ладинер до последней минуты на мир не согласится.

– Из чего это видно? – Последнее заявление крайне удивило Залмана. – С чего вы взяли?

– Просто ваш Ладинер, насколько я его узнал, из тех, кто не хочет понять, что человек, который сюда попадает, уже не тот, что раньше. Это два совершенно разных человека. Тех, кто доносит, находясь на свободе, простить невозможно, хотя они тоже живут в страхе. Но так же судить человека, который уже попал сюда, как Ладинер судит Сойфера, за то что тот на следствии оговорил и себя, и его, и, может, еще кого-нибудь, это просто бессмысленно. Не каждый выдержит все, что тут делают с людьми.

– Чтобы все это выдержать, надо быть Натаном Левитиным, – вырвалось у Залмана. И, не дожидаясь вопроса, кто такой Натан Левитин, Залман продолжил: – И Нахман Ладинер тоже такой, как я понял по вашим словам. Знаете, в чем их сила? Они живут по закону Торы: око за око, зуб за зуб. Если погибать, то как человек, а не как овца. Но на это не каждый способен. Вот вы, вижу, тоже такой, как Натан и Нахман. Вы не сломаетесь.

– Как вам сказать…

Тут надо чем-то голову занять. Это лучше всего получается у Арона Далина. Как только выдается свободная минута, он молится. Если бы надзирателя не боялся, целый день стоял бы у стены и молился. Реб Арон! – обратился Элькин к еврею, который стоял в углу камеры, повернувшись к стене, и слегка покачивался вперед-назад. – Познакомьтесь с нашим новым соседом. – И тише, чтобы остальные не слышали: – Слава богу, теперь нас в камере трое. Ровно половина.

Глава 43

Когда Арон подошел поздороваться, оказалось, что он ненамного старше бывшего студента Элькина. Лет тридцать. Но выглядел он очень плохо. Щеки ввалились, бледный, худой, кожа да кости. Голос слабый, еле слышный. В больших черных глазах – страдание. Страдание человека, который знает, за что он страдает, и готов к этому.

– Вижу, вы плохо себя чувствуете, – сказал Залман, на пару лишних секунд задержав в руке худую, костлявую ладонь Арона.

– А кто здесь чувствует себя хорошо?

– Да, конечно. Но я имел в виду, как ваше здоровье?

– Пока слава богу. Три недели у них в лазарете провалялся. Второй день как оттуда.

Подождав, когда молодой человек сядет за стол, Залман продолжил:

– Давно вы здесь?

– В этом аду? Седьмой месяц. А вы? По вам не скажешь, что уже долго сидите.

По каким признакам он понял, что Залман сидит недавно, спрашивать было ни к чему. Наверное, Залман еще не походил на мертвеца, как выглядели его первые сокамерники.

– Вы не ошиблись. Всего три дня. Но этого хватит, чтобы на всю жизнь запомнить.

– Для этого и одного дня достаточно. Но они по-другому считают. Раз я сюда попал, меньше десятки мне точно не дадут.

– И еще пять по рогам, – подсказал Элькин.

– Да, и пять по рогам вдобавок.

Залман знал, что «по рогам» означает поражение в правах. Те, с кем он сидел в предыдущей камере, не забыли ему объяснить. Раз уж болезненный молодой человек сам сказал, какой срок ему светит, Залман не стал спрашивать, за какие преступления, спросил только, по каким пунктам его обвиняют, показав тем самым, что, хотя он тут всего трое суток, новичком его уже не назовешь.

– А по каким пунктам могут обвинить еврея? Либо десятый, либо десятый и одиннадцатый, как у меня.

– Ну, я-то побогаче буду, и прилично. У меня, кроме десятого и одиннадцатого, еще один-а.

– Шпионаж? Измена? – Молодой человек запнулся. Потом спросил с дрожью в голосе: – В плену были?

– Реб Арон, разве я не сказал, кто это? Это писатель, еврейский писатель, имел отношение к Антифашистскому комитету, Еврейскому театру, Бен-Михоэлу.

– Еврейский писатель? Значит, можно с вами еврейским словом перекинуться. Ма шимехем[1]?

– Залман. Залман Мандел. Может, слышали, что есть у евреев такой писатель?

– Не только слышал, но и стихи ваши читал. – Покосился на двух игроков за доской с расставленными шашками и, помедлив, тихо сказал нараспев, будто над Талмудом: – Ну, раз вы писатель и, как говорит Лейзер, имели отношение к Антифашистскому комитету, я должен вам привет передать. Большой привет от вашего коллеги. Я тут лежал в одной палате с еврейским писателем. Реб Айзик его зовут.

– Айзик Добрин?

– Да, реб Айзик Добрин. Хромой. Большой знаток еврейского слова. Говорил, он друг Бен-Михоэла.

– Очень близкий друг. А что еще он вам рассказывал? В чем его обвиняют?

– Там не лучшее место для таких разговоров. Стены имеют уши. Он по ночам кричал во сне: «Не бейте! Я ни в чем не виноват! Не бейте!» Тут же прибегал санитар и ему кляпом рот затыкал.

– Ой-ой-ой! – Залман еле сдержался, чтобы не закричать во весь голос. – Как у них рука поднялась? Как можно ударить такого, как Айзик? Тихого, благородного человека. Он в жизни мухи не обидел. Его доброта, его любовь к человеку границ не знают. Как можно на такого руку поднимать, да еще на больного? Как бог мог это видеть и молчать?

– Ему, реб Залман, вопросов не задают. – Арон остановил Залмана, спасая его от греха, который тот готов был совершить, начав спорить со Всевышним. Опять бросил взгляд на шашечницу, но сразу отвернулся, борясь с искушением подсказать одному из игроков выигрышный ход, и так же, нараспев, продолжил: – Может, вы мне объясните, чем перед ними согрешил Шлойме Бен-Михоэл, царство ему небесное? Меня следователь про него спрашивал. Но что я мог ответить, если я Бен-Михоэла видел один-единственный раз, когда играл с ним в фильме «Еврейское счастье»? Думаю, вы этот фильм смотрели, но как вы меня узнаете, если я сам себя не узнаю?

1 Как ваше имя? (древнееврейск.).

Понятно, что человек шутит, хочет утишить боль, которую причинил ему рассказом об Айзике. Но Залман не показал Арону, что все понял, и спросил серьезно, будто поверил:

– И кого вы там играли?

– Кого? А кого я мог играть, если мне тогда лет девять-десять было? – Арон прикрыл глаза, будто в искрящейся тьме за опущенными веками увидел тот тихий летний день много лет назад в городе на Днепре, в самом прекрасном городе на свете. – На Херсонской, где была наша еврейская школа, ужасно высокий молодой человек собрал группу мальчишек и приказал нам бежать за низеньким евреем с острой бородкой, в шляпе, надвинутой на глаза. Потом я увидел его на Екатерининской, когда он сортировал невест. О том, что этот еврей в тесном, коротком кафтане и мятой шляпе – известный артист Бен-Михоэл, я узнал, когда Камерный театр уже уехал обратно в Москву.

– Так вы, значит, из Кременчуга?

– Из Кременчуга. А вы случайно не бывали в наших краях?

– Бывал, и как раз в то время, о котором вы рассказываете.

Для Залмана Кременчуг не был прекраснейшим городом на свете, каким он запомнился Арону. Для Залмана Кременчуг был обычным окружным городком, не слишком большим и не слишком зеленым. Но Кременчуг запомнился Залману как самый еврейский город из всех, где ему довелось побывать. Кажется, нигде не нашлось бы такого количества еврейских школ, клубов, красных уголков и такого количества синагог и молелен. Идиш звучал там повсюду. Создавалось впечатление, что в Кременчуге одни евреи живут, других нет.

Может, поэтому, а может, и не совсем поэтому туда приехал из Москвы Камерный еврейский театр, притом что многие крупные, даже очень крупные города не могли зазвать его к себе хотя бы на одно-два представления. Видимо, для съемок фильма «Еврейское счастье» Кременчуг оказался самым подходящим местом, тем более что там на некоторых улицах еще сохранились трамвайные рельсы, хотя трамвай исчез несколько лет назад. Для съемок, по замыслу режиссера, рельсы были необходимы. И то, что летом можно провести две недели на берегу сверкающего на солнце Днепра, окончательно склонило чашу весов в пользу Кременчуга.

Долго уговаривать Залмана поехать с Камерным театром на родину известного еврейского драматурга Якова Гордина, автора пьес «Мирале Эфрос», «Хася сиротка», «За океаном» и многих других произведений, поставленных не только на еврейской сцене, Бен-Михоэлу не пришлось. Залман тогда задумал написать драму в стихах, в которой главная роль предназначалась Бен-Михоэлу, и это сильно их сблизило.

Глядя на исхудалого, изможденного Арона, Залман словно пытался найти сходство с мальчиком, которого он тогда, солнечным летним утром, увидел на берегу Днепра рядом с Менахемом-Мендлом. Они сидели на песке, полуголые, в одних трусах. Бен-Михоэл, с приклеенной острой бородкой, так увлекся разговором с мальчишкой, что не сразу заметил подошедшего Залмана. О чем Бен-Михоэл беседовал с мальчиком, Залман уже не помнит. Но помнит, что они говорили по-русски, и тогда Залман вспомнил другого мальчика, городского, который приехал к ним в местечко и недолго учился у них в хедере. Этот мальчик отличался от остальных тем, что переводил Пятикнижие с древнееврейского не на идиш, а на русский, и из-за этого оно будто переставало быть святой книгой, которую целуют, когда закрывают. Что Менахем-Мендл говорит в еврейском городе Кременчуге не по-еврейски, показалось Залману очень неестественным, хотя Бен-Михоэл говорил на образцовом, чистейшем русском языке, произнося каждое слово как артист московского Государственного академического Малого театра.

На съемках сцены, когда толпа мальчишек бежит за Менахемом-Мендлом, Залмана не было, зато он был, когда снимали сцену, где Менахем-Мендл сортирует невест, и как их по его приговору на руках заносят в красные товарные вагоны с табличками.

Паровоз с прицепленными товарными вагонами стоял прямо в центре, на Екатерининской, перед зданием, где играл театр. К поезду сбежались дети, наверное, со всего города. Больше всего их собралось у вагона, где Менахем-Мендл сортировал невест, одних – налево, других – направо, по телосложению, возрасту, цвету волос. Детское веселье заражало Бен-Михоэла, и он то и дело сам превращался в озорного мальчишку. «Шлойме!» – раздавался с тротуара

строгий голос режиссера, и озорной мальчуган Бен-Михоэл снова преображался в Менахема-Мендла: одни – налево, другие – направо, по росту, профессии, возрасту…

– Значит, вы из Кременчуга, – сказал Залман, вернувшись из солнечного летнего дня в тесную камеру с зарешеченными окнами и вонючей парашей. – Но вас же, наверное, посадили не за то, что вы там снимались в «Еврейском счастье». Или, может…

– За это, слава богу, пока не сажают. Меня посадили за опиум.

Залман с Лейзером чуть не подпрыгнули от удивления.

– Шутите?

– Никаких шуток. За опиум, – повторил Арон. – Я был главой ешивы.

– Вы? – Залман не мог поверить, что в таком молодом возрасте можно руководить ешивой. И Лейзер Элькин удивился не меньше, когда Залман объяснил, что глава ешивы – это как доцент, а то и выше.

– Вы? – снова спросил Залман. Он не понимал еще одного: – Но чтобы возглавить ешиву, надо, чтобы она была. Хоть какая-нибудь.

– Была у нас ешива, – вздохнул Арон, – и не какая-нибудь, а довольно большая, у меня дома, на чердаке. Одиннадцать учеников. Я на окраине жил, на небольшой тихой улочке. По вечерам с ними занимался, после работы на бывшей табачной фабрике Гуральника. Уже «Бово басро» изучали. Но в конце концов меня взяли. Наверное, кто-то донес. Может, даже кто-то из учеников.

Залман ожидал чего угодно. Но что он встретит здесь главу ешивы и услышит от него, что ешивы еще существуют, и молодые парни тайно изучают на чердаке Талмуд, он и представить себе не мог. Эх, как обрадовались бы Пинхас Машберг, Марк Полонер, Исаак Ниссенбаум… Они бы, как и Залман, увидели в этом силу еврейского духа, еврейской традиции… А что касается Торы с ее законами, которые Маркс назвал опиумом для народа, Залман мог бы посоветовать реб Арону перечитать, что об отступниках, о выкрестах говорил крещеный немецкий еврей Гейне.

Вместо этого, совершенно потрясенный, Залман спросил:

– Вас били?

– Били? Нет. Чего не было, того не было.

К ночи все думали об одном: как она пройдет, что ждет их в кабинете следователя? Не беспокоился только Залман. Следователь дал ему на размышление двое суток. Сутки истекают только завтра утром. Готовиться к допросу не надо. Он не скажет следователю ничего, кроме того, что тогда, в гостинице, сказал Мартину Константиновичу. Так или иначе, сегодня он хотя бы отоспится за три отнятые у него ночи. А что может быть дороже сна?! Ради прогулки в клетке на крыше он ни минутой не пожертвует. Ложась, Залман попросил Арона его не будить. На прогулку он не пойдет.

Не прошло и минуты, как надзиратель из коридора дал команду «отбой», а Залман уже вытянулся на шконке. Он приготовился заранее: кружка стоит на столе ручкой к глазку, руки на одеяле. Чтобы они не соскользнули во сне, Залман крепко сцепил пальцы. На глазах – полотенце. В первую минуту Залман не понял, то ли он сам проснулся, то ли его разбудили. Он же просил не будить, сказал Арону, что на прогулку не пойдет. Но никто не одевается, все лежат, только без полотенец на глазах. Из кормушки торчит голова надзирателя. Кого-то вызывают на допрос.

– На М!

Похоже, фамилия на М только у него, никто не отзывается. В той камере фамилия на М была еще у одного.

– На М! – Надзиратель глубже просунул голову в кормушку.

– Мандел, – не шевелясь, спросонья откликнулся Залман.

– Слегка. – И окошко захлопнулось.

Вдруг Залман почувствовал ужасную боль в животе. Она поднялась выше, добралась до сердца, до горла. Как ножом режет. Залман закусил губы, загнал вглубь готовый вырваться стон и начал одеваться. Увидев, что он стоит у двери, француз повторил команду надзирателя, только мягко, певуче, и указал на парашу в углу. Напомнил Залману, что значит «слегка».

– Держитесь, реб Залман, – шепнул Арон. – Буду за вас псалмы читать.

Дверь еще не открылась, а Залман уже стоял перед ней, держа руки за спиной.

Глава 44

Конвоир, который сразу повернул Залмана лицом к стене и в присутствии коридорного надзирателя обыскал с головы до ног, кажется, был тот же, что вчера. Хотя нет, через секунду подумал Залман. Тот, вчерашний, не заламывал ему рук и не подгонял на каждом шагу.

Писатель в Залмане никуда не делся: все замечает, во всем пытается дойти до сути. Что, например, ответил бы его сегодняшний провожатый, если спросить, как он сюда попал? Не по своей воле или потому, что здесь работа полегче и, как можно догадаться, платят получше? Заодно Залман спросил бы, что конвоир думает о тех, кого водит на допросы и обратно в камеру. Действительно верит, что такие, как Залман, – его враги?

Худшего, чего ожидал Залман, – что вместо следователя, в котором он разглядел что-то человеческое, будет кто-то другой, – не случилось. Войдя со сложенными за спиной руками в кабинет, за столом у занавешенного окна он увидел подполковника Евдокимова.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, – не вынимая изо рта янтарного мундштука с тлеющей сигаретой, бросил подполковник и указал на табурет и столик у двери.

Залман на секунду забыл, что они прибиты к полу, и попытался немного отодвинуть табурет. Евдокимов это заметил. Его выдала улыбка, мелькнувшая на гладко выбритом лице. Неужели это его забавляет? Наверняка он видел нечто подобное уже тысячу раз.

Впрочем, неважно. Залману и помимо того есть над чем подумать. Если бы он хоть на минуту смог стать Вольфом Мессингом[1], который, как говорят, свободно, без пропуска, входил в это здание, несмотря на охрану, и так же свободно проникал в кабинет к самому…

Нет, на такое Залман не замахивался бы. Ограничился бы тем, что может открыть ему Евдокимов. Во-первых, он спросил бы подполковника, с кем из еврейских писателей тот имел дело, кто из них сидел за этим столиком. Был ли здесь Натан Левитин? Как он себя вел? О других, кто еще, кроме Натана, мог побывать в этом кабинете,

1 Известный гипнотизер (прим. автора).

Залман подумать не успел. Опять резкая боль в животе. Залман привстал. Кажется, так чуть-чуть легче.

Евдокимов сидел, склонившись над бумагами, но сразу же заметил, что Залман приподнялся с места, и приказал сесть. Но в том, как он приказал, Залман тоже нашел что-то человеческое, отличающее Евдокимова от остальных в этом здании. Он не понимал только, почему Евдокимов молчит, что скрывает за своим молчанием. Наверное, он поднял обвиняемого среди ночи не потому, что соскучился, увидеться захотел. Может, хочет, чтобы Залман скорее привык бодрствовать по ночам, как он сам? Вот только Евдокимов после бессонной ночи пойдет домой и прекрасно выспится в мягкой, чистой постели. А Залману, похоже, сегодня придется просить дежурного по камере уступить ему очередь натирать пол, чтобы преодолеть сон… А кто сегодня дежурит?

– Не спать!

Разве он спал? Только чуть-чуть прикрыл глаза.

Подозрительное молчание затянулось. Из коридора уже пару раз донеслись дикие звуки, которые издавали конвоиры, разводя заключенных по камерам. И оба раза подполковник едва заметно усмехнулся, как в театре на комедийном представлении.

Наконец Евдокимов достал из сейфа чистые бланки протоколов, обмакнул перо в чернильницу и по-дружески обратился к Залману:

– Ну, Залман Наумович, начнем. Рассказывайте.

– Что рассказывать?

– Опять двадцать пять! – Евдокимов вместе со стулом придвинулся ближе к столу. Мы же вчера договорились: я даю вам на размышление двое суток. Не думаю, что надо лишний раз повторять, где вы находитесь. На снисхождение могут рассчитывать только те, кто сам разоружится, честно во всем сознается.

– Мне не в чем сознаваться, гражданин подполковник. Я ни в чем не виноват. – Вдруг Залман будто услышал голос Айзика: «Не бейте! Я ни в чем не виноват! Не бейте!..»

– Эх, Залман Наумович! Вот уж не ожидал. – Евдокимов вставил в мундштук новую сигарету и, будто забыв, что Залман не курит, протянул ему пачку и коробок спичек.

– Спасибо, я не курю.

– Ах да, верно, вы же не курите. Ну что, Залман Наумович, как мы поступим? Сами все расскажете или придется вас заставить? Не сомневайтесь, мы своего добьемся, расскажете как миленький. Итак, Залман Наумович, я жду.

Постоянное обращение по имени-отчеству укрепило Залмана в мысли, что следователь не поступит с ним так же, как тут поступили с пожилым, больным Айзиком Добриным.

– Я жду. – Вместе с голубоватой струйкой дыма Евдокимов медленно, почти не делая пауз между словами, выдохнул: – Жду, что вы начнете рассказывать.

Залман сидел на прибитой к полу табуретке, беспомощно опустив голову на грудь. Он чувствовал себя школьником, не выучившим урока. И все-таки нашел в себе мужество твердо ответить:

– Мне нечего рассказывать, не в чем признаваться. Я ничего не знаю.

– Что вы заладили как попугай, – перебил Евдокимов, – «Нечего рассказывать, не в чем признаваться». Хватит дурака валять, Мандел! – Стул под следователем угрожающе скрипнул. – Может, хотите, чтобы я вам подсказал, с чего начать? С себя начните. С какими шпионскими центрами в Америке вы связаны, какую информацию им передавали, через кого, кто вас втянул, и кого вы втянули в шпионскую деятельность, сколько долларов и фунтов получили за измену Родине! – Он отложил перо, закурил новую сигарету и продолжил уже немного тише: – Я жду, что вы раскроете карты, расскажете про шпионское гнездо в вашем Еврейском так называемом антифашистском, а на самом деле антисоветском буржуазно-националистическом комитете. Про то, как еврейские члены Союза писателей в своих буржуазных националистических произведениях клеветали на нашу страну, на нашего великого вождя. Ну что? Опять скажете, что вам нечего рассказывать, не в чем признаваться?

Залман предполагал, что услышит нечто подобное. Его приготовил к этому Мартин Константинович. Но Залман не думал, что все зайдет настолько далеко. Обвинений в таких тяжких преступлениях он не ожидал.

Евдокимов развязал папку, достал фотографию и подозвал Залмана, приказав держать руки за спиной.

– С кем вы здесь?

На фотографии, которую следователь быстро показал ему, не дав как следует рассмотреть, Залман шагал по улице Горького мимо гостиницы «Центральная» напротив Моссовета. Он шел в окружении иностранных военных и гражданских. Что это иностранцы, сразу видно по одежде.

Залман растерянно покачал головой.

– Я никого тут не знаю. Впервые вижу.

– Ну-ну, – погрозил пальцем Евдокимов и отправил Залмана обратно, на место около двери.

– Ума не приложу, как я оказался на этой фотографии, если я в жизни на улице не снимался. Непонятно.

Следователь не обратил внимания на слова Залмана. Во-первых, ничуть не удивился, во-вторых, он уже был занят другим: обмакнул перо в чернильницу и медленно, будто оно не слушалось, стал заполнять протокол.

– Не спать!

И тут же снова:

– Не спать!

Он даже не посмотрел на Залмана, просто предупредил на всякий случай. Но это было лишнее. Сон испарился в тот миг, когда следователь начал перечислять, что он хочет услышать. Но сколько бы он ни спрашивал, другого ответа, кроме «Я ничего не знаю, мне нечего рассказывать», он не добился. А что еще Залман мог ответить, если он и правда ничего не знал? Вообще ничего.

И совсем не потому, что он не спит уже четвертую ночь, голова отказывается понимать, почему Евдокимов так долго пишет. Уже третий или четвертый лист исписывает. Неужели повторяет в протоколе то же самое, что высказал Залману, и верит, что так и есть? Все-таки следователь – это не тупой парень с ножом, или парикмахер, или надзиратель у дверей камеры, или конвоир, который привел Залмана сюда. Для этих все, кто сюда попал, – овцы, предназначенные на убой. Что они знают о нем, о Залмане? Раз посадили, значит, предатель, шпион, диверсант, террорист, короче, враг народа. Но ведь следователь отличается от тупых, ослепленных надзирателей и конвоиров. Он должен гораздо лучше разбираться, что

к чему. Грамотный человек, наверное, с высшим образованием. Не может быть, чтобы он верил в обвинения, которые тут перечислил, даже если в толстой серой папке, куда он все время заглядывает, указано что-то подобное. А может, его следователь, прежде чем прийти сюда на службу, сам заставил себя во все это поверить, потому что больше нигде ему не дадут отдельной квартиры, такого же высокого оклада, доступа к закрытым магазинам и распределителям, которые обычным людям и не снились.

Опять подкрался сон, глаза начали слипаться. Надзиратель в коридоре, когда увидел, что Залман сидит с закрытыми глазами, приказал ему ходить по камере. Евдокимов ходить по кабинету не разрешит. Вдруг Залман вспомнил хороший способ. Он делал так в Биробиджане, когда его как почетного гостя, известного московского писателя пригласили в президиум на слете стахановцев. Слет открылся в то время, когда в Москве еще спят глубоким сном. И Залман, сидя в президиуме, к тому же в первом ряду, придерживал веки пальцами, не давая глазам закрываться.

Больше не опасаясь, что следователь опять прикрикнет на него, как на мальчишку: «Не спать!», Залман опять задумался, уже не столько о себе, сколько о подполковнике. Нужно докопаться до сути, найти ответ на главный вопрос, без чего остальные вопросы не имеют смысла. Они зависят от ответа, который он ищет. Итак, верят ли следователи тому, в чем обвиняют запертых по тюрьмам, или заставляют себя верить, боятся не верить?

Вдруг Залман встретился взглядом со Сталиным. Тот смотрел на него с портрета на стене – постоянный свидетель всему, что тут происходит. Вот кто может ответить и на этот вопрос, и на все остальные. И Залман мысленно начинает с ним разговор. И на первый вопрос Сталин отвечает ему тем же вопросом: «Ну, а ты? Ты верил или заставлял себя верить, когда сочинял мне хвалебные стихи? Разве не ты предложил от лица вашего народа приветствовать меня словами о найденном мече из святой Торы?» Признаюсь. Я. Тогда я верил. Не «бехол левовхо увехол нафшехо»[1], но верил. «А теперь? Теперь?» – спрашивает Залман и не знает, что ответить. Евдокимов

1 Всем сердцем своим и всей душой своей (древнееврейск.) Слова молитвы.

перехватил его взгляд, обращенный к портрету на стене, но ничего не сказал, хотя вполне мог решить, что Залман смотрит на портрет не как должно, и добавить ему еще одно преступление.

Наконец Евдокимов отложил перо, закурил еще одну сигарету и не спеша пробежал глазами аккуратно исписанные листы. Передохнул, как после тяжелой работы, подошел к Залману, положил перед ним на столик протокол, перо и спокойно, почти равнодушно сказал:

– Прочитайте и распишитесь.

Уже вернувшись к столу возле занавешенного окна, напомнил, что расписаться надо на каждой странице.

После первой страницы желания читать дальше не возникло. Залман бегло просмотрел протокол. Уму непостижимо! Как Евдокимов мог ему все это приписать? Ничего подобного Залман не говорил. Тут ни одного его слова. На каком основании следователь изображает его заклятым врагом советской власти, буржуазным националистом, да еще подает это так, будто обвиняемый сам во всем признался? Когда это Залман признавался? Кто же в таком признается, если он в своем уме?

– Все страницы подписали? – Стремительно, будто боясь, что не успеет забрать подписанный протокол, следователь подошел к Залману. – А здесь где подпись? Не вижу.

– Я не подписал. – И, не пряча глаз от резкого взгляда Евдокимова, Залман твердо повторил: – Я не подписал. Здесь нет ни одного моего слова.

– Вы знаете, где вы находитесь? Я спрашиваю, вы знаете, где вы находитесь? Подписывайте! Сейчас же!

– Не могу, гражданин подполковник. Я ничего этого не говорил.

– Нам не важно, что вы говорили. Все ваши ответы нам заранее известны. Вот и приходится отвечать за вас. Зря вы упрямитесь, Залман Наумович. Все равно ведь подпишете. Все подписывают.

«Не бейте, я ни в чем не виноват. Не бейте, я ни в чем не виноват».

Нет, Евдокимов не из тех, кто позволит сделать с ним то же, что сделали с Айзиком Добриным. И пока Залман был в этом почти уверен, он нашел в себе смелость спросить, на каком основании в протоколе написано, что он буржуазный националист. На том, что он говорит и думает по-еврейски, пишет по-еврейски, изображает

еврейскую жизнь? А на каком основании его представили в протоколе убежденным врагом советской власти?

– Если бы гражданин подполковник прочитал хотя бы только мою последнюю книжку, он бы так не говорил.

– С чего вы взяли, что я не читал? У нас есть переводчики. Только враг народа мог использовать как эпиграф к своей книжке строфу из стихотворения заклятого врага России.

«Мы в ногу шагаем и мрем от твоих поцелуев…»

В кабинет вошел белокурый майор с небесно-голубыми глазами и ямочками на щеках.

– О, кого я вижу! – Казалось, он искренне рад Залману. – Мешигене коп! – Очень довольный, что у него в словарном запасе есть два еврейских слова, он еще раз повторил их и весело рассмеялся. – У меня спички кончились. – Это уже хозяину кабинета.

Оба следователя, подполковник и белокурый майор, отошли к окну и вполголоса о чем-то заговорили. Потом, будто забыв, что не одни в кабинете, перестали шептаться, стали разговаривать громче. По нескольким долетевшим до него словам Залман понял, что речь не о нем. Следователи говорили о женщинах.

– А что ж твой гость такой хмурый сидит? Недоволен, что спать не дают?

Вот это уже о нем. Залман напряг слух.

– Крепкий орешек попался. Протокол не хочет подписывать.

– Кто не хочет? Мешигене коп? – Майор шагнул к Залману. – А ну! Слышишь, что тебе говорят? Давай подписывай!

– Я не буду подписывать.

– Еще как будешь! У меня все подписывают. Живо! – И, подойдя вплотную, заорал: – Слышь, сука! Не подпишешь – мы тебя, хрен моржовый, туда отправим, где ты в жизни бабской сиськи не увидишь. В последний раз спрашиваю, пархатый, долго еще тебя уговаривать?

Залман не шевельнулся.

– Ах ты, сволочь пархатая! – И майор наотмашь ударил его в лицо. – Ну, будешь подписывать, нет?! – Не успел Залман отвернуться от искр, посыпавшихся у него из глаз, как майор снова ударил его в скулу с такой силой, что он сполз с табуретки.

Сколько лет прошло с того дня, как учитель в талмуд-торе[1], тощий, долговязый еврей, дал Залману пощечину за то, что он перепутал буквы шин и син? Залман даже представить себе не мог бы, что тот случай сохранится где-то в закоулках его памяти и вспомнится теперь, столько времени спустя. Вспомнилось, наверное, не потому, что очень больно было. Боль-то забылась, но не забылось унижение его человеческого достоинства, хотя ему тогда и десяти не было. И сейчас слезы потекли не от дикой боли, а от унижения и беспомощности. Он успел их смахнуть, сдержать, пока оба следователя не заметили. Но сдержать кровь, текущую изо рта, он не мог. Два нижних зуба с комком клейкой, соленой слюны он выплюнул на ладонь.

Едва Залман встал с пола и сел на табурет, следователь, не чужой, а свой, Евдокимов, крикнул:

– Встать!

И, как только Залман поднялся на ноги, новый приказ:

– Не держаться за стену. Отойти от нее на шаг. Смирно! Руки по швам! Вот так у меня стоять будешь, пока не подпишешь!

– Мешигене коп! – Выходя из кабинета, майор опять пропел два еврейских слова, которым его научил, наверное, такой же друг еврейского народа, как он сам.

Евдокимов вернулся к столу, развязал толстую папку и начал перебирать бумаги, не глядя на Залмана, будто потерял к нему всякий интерес.

Рассвет тонким золотым лучом отдохнувшего солнца проник в кабинет через занавешенное окно. Залман стоял около столика и табуретки, словно тоже прибитый к полу. Перед ним лежали исписанные листы протокола. Он не прикоснулся к ним. Наверное, преодолеть страх и не подписать их ему помогли псалмы, которые читал за него кременчугский глава ешивы.

1 Талмуд-тора – еврейская религиозная школа для бедных детей, существующая на средства общины.

Глава 45

В камеру Залман вернулся, когда надзиратель уже поднял всех со шконок, и дежурный, французский полковник Шарль, прошелся щеткой по паркетному полу. Следователь будто знал, что в предыдущей камере Залман научился преодолевать сон, и нарочно задержал его на допросе, чтобы он не успел несколько минут подвигаться, натирая пол, и, прогнав сон, избежал карцера.

Никто не спросил, как пошел допрос. Сокамерники – люди опытные, сами понимают, что к чему, тем более что у Залмана остался синяк на скуле. Но кременчугский глава ешивы, будто чувствуя себя виноватым, не удержался:

– Кажется, мои псалмы не помогли.

– Почему же? – успокоил его Залман. – Очень помогли, не дали мне сломаться. Я не поддался.

– Взгляните-ка направо.

Парень, на которого кивком указал Лейзер Элькин, сидел боком к глазку и усиленно тер ребром правой ладони по распрямленной левой.

– Руки точит. Точит и закаляет, как сталь. На этапе может пригодиться. И в лагере. Вам бы тоже стоило попробовать. По крайней мере, сон наверняка прогоните. – Вдруг Элькин запнулся и опять кивнул в сторону парня. – Никак не остановится. Целый день может так сидеть и точить, даже шашки забросил.

Видела бы Элиша, как Залман сидит и руки точит… Хотя, может, и не удивилась бы. Пока она с матерью по этапу добралась до Абези, всякого повидала. Говорила, такого насмотрелась, что не передать. Но он бы все равно ей сказал: «Не для того, чтобы размозжить кому-нибудь голову или перерубить горло, я точу руки. Это я борюсь со сном. До сих пор я и представить себе не мог, до чего он силен, и как трудно с ним бороться. Следователь, я уверен, приказал следить за мной, наблюдать, чтобы я не закрывал глаз, все время бодрствовал».

Надзиратель показал, что Залман не ошибается. Стоило ему на секунду повернуться спиной к глазку, как тот высунулся из кормушки и погрозил кулаком.

Всю хлебную пайку и сахар в придачу Залман отдал бы за то, чтобы пройтись щеткой по полу, натереть его, чтобы блестел как зеркало.

Рука не останавливается ни на секунду. Залману кажется, даже если он заснет, она будет двигаться туда-сюда, туда-сюда, как нож по оселку. Парень, у которого Залман научился точить руки, уже бросил это дело. Играет в шашки с другим, Алексеем Никитиным, который сидел в одной камере с Генехом Эрдиным и Яковом Шнеерсоном и передал от них Залману привет. Ребята коротают за шашками время, которое тянется здесь удивительно медленно. Реб Арон, раскачиваясь, что-то бормочет в тишине, наверное, читает псалмы или повторяет по памяти страницу Талмуда с комментариями. Только Шарлю не надо волноваться, как прожить день. У него есть книга. Правда, на французском. Кажется, кроме французского полковника, здесь больше никому не дают читать книги. А может, просто никто не просил?

Пока Залман обходится без книг. Ему есть что читать. За день он не успеет прочитать все стихи, которые хранит в памяти, и не только свои. Чужие стихи он даже может декламировать в авторской манере. Но про себя он может декламировать только свои, мысленно может и картину из своей пьесы разыграть. Чужие он должен читать вслух, по-другому не умеет, а здесь, как ему известно, это строго запрещено, будь это даже стихи таких великих поэтов, как Нохум Волынер или Марк Полонер. Кого тут вообще волнует чья-то гениальность?..

Зря Залман так гордился своей памятью. Вдруг взял и забыл начало первой картины из пьесы Михла Криштола. Память не дает долго об этом думать. Подсказывает Залману: важнее подумать, не было ли обыска у Надежды. Пока следователь о Криштоле ни словом не упомянул. Экземпляр его пьесы спрятан у Нади, а кто такой Михл Криштол, следователю не нужно объяснять. Чем для Нади может кончиться, если у нее проведут обыск и найдут пьесу? У Нади хранился единственный экземпляр, подписанный именем настоящего автора, а не Залмана Мандела.

Размышления Залмана прервал скрежет ключа в замке. Ясно, опять за ним. Нестерпимая боль, которая ни с того ни с сего скрутила его

вчера, когда за ним пришли, снова резанула в животе и поползла вверх, к сердцу.

Но на этот раз Залман ошибся. Пришли не за ним, а за всеми: двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе.

Друг за другом, руки за спиной, они вышли из вонючей камеры, прошагали по длинному коридору мимо запертых дверей с глазками, поднялись на грузовом лифте и, оказавшись на крыше, зажмурили глаза от яркого солнечного света.

– Отсюда хорошо луну благословлять, – тихо сказал у Залмана за спиной кременчугский глава ешивы.

Залман не ответил. Ему такая мысль не пришла в голову даже позавчера ночью, когда он впервые вышел на прогулку и увидел темно-синее небо с серебряной луной, окруженной звездами, как конвоирами. В ту ночь ему пришла в голову совсем другая мысль: ухватиться за серебряные лунные лучи и взобраться по ним, как по лестнице, которую видел во сне праотец Иаков, высоко-высоко в небеса и навсегда там остаться. Но сперва он подошел бы к самому краю крыши этого здания, которое разделяет мир надвое, и во весь голос крикнул бы: «Элиша!»

Но до края крыши, куда его тянет и сегодня, не добраться. Путь прегражден кирпичной стенкой. Со всех четырех сторон другая половина мира отгорожена кирпичными стенками. Кроме часового на вышке, отсюда ничего не видно. Там, где в ту ночь под конвоем звезд гуляла луна, теперь стоит солнце, не дает на себя посмотреть. Его лучи слепят глаза. Вот кто мог бы уничтожить весь мир, спалить его, чтобы и следа не осталось. Своими грехами он заслуживает этого гораздо больше, чем мир перед великим потопом.

«Что с тобой, Залман?» Чтобы разом отделаться от набежавших на крыше мыслей, Залман повернул голову к идущему за ним Арону и сказал:

– Я бы лучше солнце благословил. Четыре дня его не видел.

– Вижу, вы дни считаете, как от Пейсаха до Швуэс. Тут счет идет не на дни или месяцы, а на годы.

Неполных двадцать минут на свежем воздухе не прошли для Залмана даром. Слишком дорого он за них заплатил: опьянел так, что не мог на ногах устоять. Голова отказывалась соображать. Чувства притупились, он даже забыл, что нельзя закрывать глаза. Сон ведет

отсюда прямиком в карцер, по сравнению с которым, как рассказывали в предыдущей камере, ад – это рай. Но Залман больше не может бороться. Сейчас упадет, и будь что будет.

– Точите руки, – увидев, что Залман вот-вот сдастся, напомнил Элькин. – Сильнее. Еще сильнее. И быстрее.

Не прошло и пяти минут, как правая ладонь замерла на левой, остановилась, как маятник незаведенных часов.

– А знаете что, реб Залман, – обратился к нему глава ешивы, – садитесь за стол, и сыграем в шашки. Умеете, не умеете – не важно. Главное, пусть эта собака за дверью видит, что мы играем. – Расставив на доске шашки и кивнув Залману, чтобы тот сделал первый ход, реб Арон продолжил нараспев, будто над Талмудом: – От всего человека отучить можно, только не ото сна. Не спать куда тяжелее, чем не есть. Но что поделаешь, если нет другого выхода, кроме как привыкнуть к этому наказанию?

Залман сам не понял, как дотянул до команды «отбой». Видно, человек – сам для себя большая загадка. И не меньшая загадка, что, едва он упал головой на подушку и закрыл глаза от электрического света сложенным втрое полотенцем, желанный сон тут же испарился.

Он был не совсем уверен, что не спал, когда открылась кормушка. Но прежде чем надзиратель назвал первую букву фамилии, Залман уже почувствовал хорошо знакомую резкую, непереносимую боль. Но в ту же секунду, когда он услышал, что названная буква не имеет отношения к фамилии Мандел, боль понемногу отступила и через пару минут прошла совсем.

Снова он почувствовал ее, когда глубокой ночью сквозь сон услышал свою фамилию и команду «слегка».

В кабинете, куда его привел конвоир, все осталось по-прежнему: за столом у занавешенного окна сидел тот же следователь, а в шаге от двери стояли те же прибитые к полу столик и табурет.

– Здравствуйте. – Залман поздоровался так, что следователь мог и услышать, и не услышать. Как для него лучше, Залман не знал.

– Ну что? Будете вчерашний протокол подписывать? – Евдокимов достал из сейфа аккуратно исписанные листы и вместе с пером положил перед Залманом.

В первый раз он увидел в глазах Евдокимова эти зеленые огоньки. Но не отвернулся от них.

– Ну? – Евдокимов вытащил из карманов галифе руки, оперся ими о столик и навис над Залманом. Вот такие дикие, страшные глаза должны быть у разъяренного быка, когда он видит красную тряпку и бросается на противника, чтобы поднять его на рога.

Залман чуть отстранился и попытался пробудить в своем следователе хоть что-то человеческое:

– Как я могу подписываться под тем, чего не говорил, под обвинениями в преступлениях, которых я в жизни не совершал?

– Опять та же песня: «Ничего не знаю, впервые слышу». – И поток смачных русских благословений, с пеной на губах: – Чего зенки вылупил, сука пархатая?! Знаешь, тварь продажная, что полагается за шпионаж, за клевету на нашу страну, за буржуазный национализм? Мы за это к стенке ставим. Пиф-паф, и готово. Но я тебе даю возможность облегчить твою участь. Кто сам сознается, помогает нам выявить скрытых врагов, того мы щадим. Одумайся, пока не поздно. Вы ведь все равно во всем признаетесь, если не добровольно, то с нашей помощью. Мы знаем, как помочь в таком случае.

Уже который раз следователь повторяет то же самое слово в слово.

– Ну, так что? Опять, значит, отказываешься, хрен моржовый, протокол подписывать? – И, будто нехотя, двинул Залмана кулаком в челюсть.

Теперь Залман не стал сплевывать кровь на ладонь. Пускай течет. И, как той ночью, когда поднялся на ноги после удара, он опять встретился взглядом с вождем на портрете. И опять подумал, что портрет висит как доказательство, что тут все делается с одобрения вождя.

С этой минуты Мандел больше не искал в следователе признаков чего-то человеческого. Остался только зверь, а со зверьми в человеческом облике Залман уже имел дело в своих стихах. Но это были не следователи, не надзиратели, а фашисты.

Зазвонил телефон. Евдокимов метнулся к столу и схватил трубку.

– Подполковник государственной безопасности Евдо… – И тут же по-военному строгий голос зазвучал нежно, ласково: –

Ах, Лизонька, это ты? Почему не спишь? Поздно уже. Меня ждешь? Я еще не скоро. Работы очень много. Спокойной ночи, любимая. Целую. Детишки спят? Всех вас целую горячо-горячо…

Но как только Евдокимов положил трубку, Залман опять увидел и почувствовал в нем зверя.

– Из-за таких как ты, шкура продажная, ночей не сплю. Последний раз спрашиваю, сволочь, мать твою: будешь подписывать? Нет? Тогда пеняй на себя.

Забрав протокол, Евдокимов вернулся к себе за стол, развязал толстую серую папку, с довольным видом достал из нее лист бумаги, закурил сигарету и с наслаждением затянулся.

– Бен-Шолем просил вас познакомить его с Цилей Гарбер или, как он утверждает, вы сами ее ему подсунули?

Залман задумался, пытаясь понять, какое отношение к тому, что он здесь находится, может иметь Циля Гарбер, с которой он познакомился несколько лет назад на своем творческом вечере в зале Еврейского антифашистского комитета. Он читал свои новые лирические стихи. В зале – знакомые и незнакомые лица. Кудрявую, черноглазую девушку с полноватыми, ярко-красными губами, сидевшую в заднем ряду, он не знал. Но сразу ее заметил и после вечера подошел познакомиться. Она представилась: Циля Гарбер. Они вместе ушли из комитета, Залман проводил ее до дому. Циля жила у своей тети недалеко от комитета, на Зубовском бульваре. У нее родители в Житомире, она недавно оттуда, учится в консерватории по классу скрипки.

Потом Залман часто ждал ее по вечерам у памятника Чайковскому во дворе консерватории, несколько раз приходил с ней в комитет. Никто не удивлялся. Все знали о его слабости к молодым, хорошеньким девушкам и женщинам и об их слабости к его лирике. То ли Бен-Шолем, увидев ее в комитете, сам к ней подошел, то ли попросил Залмана его представить. Не так важно, чтобы об этом помнить. Залман не придал этому значения, как и тому, что однажды вечером он столкнулся с Бен-Шолемом у выхода из консерватории.

И теперь, через несколько лет после знакомства с Цилей, он не может ответить, был ли он влюблен в нее настолько, что женился бы, если бы она вдруг не вернулась в Житомир. Почему она внезапно

уехала, а месяц до этого избегала его, для Залмана до сих пор загадка. Он слышал только, что потом она из Житомира уехала на Урал и поступила в Свердловскую консерваторию. Но какое отношение все это может иметь к его отказу подписать протокол?

Евдокимов заметил растерянность Залмана и поспешил ею воспользоваться. Отложил в сторону лист бумаги и достал из папки еще два. Пробежал их глазами и, будто забыв, что Залман не ответил на предыдущий вопрос, задал следующий:

– С кем из своих знакомых вы были особенно близки? Что ж вы опять задумались? Может, тоже подсказать надо?

Нет, этого подсказывать, конечно, не надо, не об этом Залман задумался. Просто он не знает, не выдумает ли Евдокимов чего-нибудь о тех, кого он может назвать. На столе уже лежал новый бланк протокола.

– Долго еще молчать будем?

Кого-нибудь из знакомых все равно назвать придется, но ни в коем случае не тех, кто пока на свободе. А тем, кто уже здесь, это не повредит. Они все равно уже сидят. Но не о каждом, кого Залман назовет, он может сказать, что был очень с ним близок. Единственный, с кем он действительно близко дружил, это Натан Левитин. Что Евдокимов может ему приписать, если Натан за границу никогда не ездил, прошел войну почти с первого до последнего дня, был тяжело ранен?

Залман уже хотел назвать Натана, но у подполковника, видимо, лопнуло терпение. То ли ждать надоело, то ли, кроме Бен-Шолема, в эту минуту ему больше ни одной фамилии в голову не пришло, и подполковник назвал его сам:

– Вы же не станете отрицать, что близко дружили с Бен-Шолемом. Он сам указал, что вы были одним из его лучших друзей.

Как, удивился Залман, Бен-Шолем, который сам ему однажды признался, что у него нет друзей, знакомые, приятели – да, но не друзья, вдруг сделал для него исключение, назвал его лучшим другом? Залман не отрицает, они и правда были приятелями. За все годы их знакомства Залман не заметил в Бен-Шолеме ничего, что могло бы его оттолкнуть. Ему нравились юмор Бен-Шолема, простота и ясность его стихов, умение сочувствовать чужому горю. Правда, было

и в нем что-то такое, что Залману не нравилось, но что поделаешь, у каждого свои недостатки.

Сомневаясь, что Бен-Шолем действительно так его назвал, Залман заменил слово «друг» словом «приятель».

– Мы были хорошими приятелями.

– В показаниях Бен-Шолема сказано, что вы были его близким другом, а между друзьями секретов нет. Расскажите все, о чем вы с ним говорили, особенно когда он вернулся из Америки. И вообще все, что вы о нем знаете.

– Особо нечего рассказывать, – быстро ответил Залман. – Мы в основном о поэзии говорили.

– Хотите сказать, вас только поэзия занимала?

– Нет, не только. Все мы стремились рассказать миру о злодеяниях немецких фашистов, о героизме Красной Армии, о самоотверженности, с которой евреи сражались на фронте, трудились в тылу на заводах и фабриках.

– А больше, значит, вас ничего не интересовало? – Евдокимов оставил бумаги на столе и подошел к Залману, засунув руки в карманы галифе. – Послушайте, Залман Наумович. Вы долго еще собираетесь дурачком прикидываться? Вижу, вы очень хотите познакомиться с карцером и другими нашими кабинетами. Нам известно, что вы были не просто приятелем, а близким другом и Бен-Михоэла, и Бен-Шолема. И как может быть, чтобы вы не знали об их шпионской и предательской деятельности? Что ты, мать твою, башкой мотаешь? Рассказывай, с какими заданиями они тебя в Крым и Биробиджан посылали. Ну, добро. – Он взял со стола исписанный лист и сунул Залману под нос. – Узнаешь подпись?

Подпись внизу страницы, без сомнения, принадлежала Бен-Шолему. Залман сразу ее узнал. Понятная, простая, без лишних украшений. Как его стихи.

– Узнал? Узнал, я тебя спрашиваю? Отвечай, подонок, когда тебя спрашивают! Язык проглотил? Думаешь, молчание тебя спасет? Только хуже себе делаешь. Новый герой в Бердичеве появился, умнее всех хочет быть. Слушай, ты, хвост собачий, все ваши во главе с Бен-Шолемом давно признались в преступлениях против Родины, а ты якобы ни в чем не виноват, ничего знать не знаешь. Смотри,

сукин сын, что про тебя твой друг Бен-Шолем говорит: «Мне и секретарю Еврейского антифашистского комитета Ахнесу было известно, что у писателя Залмана Мандела те же буржуазно-националистические взгляды, те же антисоветские убеждения, что у нас, поэтому мы предложили ему принять активное участие в работе комитета». Ну что, падла, душонка продажная?! Опять скажешь, что ничего не знаешь, что ты овечка невинная? Дальше слушай, сволочь, что пишет про тебя не кто-нибудь, а твой лучший друг Бен-Шолем.

Время от времени посматривая на потрясенного услышанным Залмана Мандела, Евдокимов продолжил читать показания, под которыми стояла подпись Бен-Шолема: «Находясь в Америке, я и Бен-Михоэл обязались заниматься шпионажем, к чему привлекли наиболее известных писателей, в том числе Залмана Мандела как одного из столпов комитета. С мандатом Совинформбюро Мандел имел доступ куда угодно».

– Ну что, сука? Опять скажешь, ни в чем не виноват? – Евдокимов достал из сейфа чистые бланки протокола, внимательно их пересчитал, обмакнул перо в чернильницу и, вместе со стулом придвинувшись ближе к столу, кивнул Залману, чтобы тот начинал давать показания.

– Незачем отрицать. Мы все равно все узнаем. Рассказывай.

Из последних сил Залмана выдохнул:

– Что рассказывать?

– Все! И не только о себе, о своих преступлениях. О преступлениях других еврейских писателей, которые вместе с вами работали в Еврейском антифашистском комитете. Ты ж не глухой, слышал, что Бен-Шолем сказал про тебя и всех вас.

Как Бен-Шолем мог такое сказать? Не мог. Но ведь это его подпись. Бен-Шолем подписал протокол…

Глава 46

Сидя за прибитым к полу столиком, сейчас Залман не видел ничего, кроме портрета на стене. Всемогущий хозяин страны в белом кителе с широкими накладными карманами, как в тот осенний день

в Колонном зале. Тогда Залману, насколько он помнил, спросить было особо нечего. Все, кажется, было ясно и понятно.

О той встрече со всемогущим правителем он не написал ни строчки. Но хвалебные стихи тому, кто перестроил страну, из бедной крестьянской превратил ее в мощную индустриальную, где все народы живут как братья, где ненависть к евреям исчезла навсегда, – такие стихи у него есть. Он от них не отказывается, хотя многое ему теперь не ясно. Если бы он теперь встретился со всемогущим лицом к лицу, он задал бы ему много, очень много вопросов.

«Находясь в Соединенных Штатах, я и Бен-Михоэл обязались заниматься шпионажем в пользу Америки, к чему привлекли еврейских писателей, в том числе Залмана Мандела, одного из столпов комитета».

Как Бен-Шолем мог такое подписать, в таком признаться? И тут же Залман услышал внутренний голос: «А ты уверен, что сам не подпишешь, если тебя будут принуждать?»

Как он может быть в этом уверен, если бывшие руководители страны, люди, которых в борьбе с царским режимом ничто не остановило, ни тюрьмы, ни каторга, ни кандалы на руках и ногах, на процессах в советском суде согласились со всеми обвинениями, признались в преступлениях настолько чудовищных, что кровь стынет в жилах?

«Но ведь ты верил, что они действительно совершили эти преступления, раз они в них признались, все подписали. Теперь ты знаешь, как это делается. Держись, сколько сможешь. И да помогут тебе псалмы реб Арона».

– Ты, хрен моржовый, долго еще ждать? Рассказывай, падла, мать твою. Я тебе, сука, сейчас башку разобью. Рассказывай, если не хочешь, чтоб я тебя собакам на корм пустил!

Залман опустил глаза не только от страха, что подполковник госбезопасности разобьет ему башку, но и от стыда за великий и могучий русский язык, который здесь превратили в грязь, в помойку.

– Ну? – Евдокимов грохнул кулаком по столу. – Будешь ты наконец рассказывать?

– Мне нечего рассказывать. Я никогда не занимался шпионажем и не был буржуазным националистом. Это всегда было нам чуждо и отвратительно.

– Кому это «нам»?

– Советским еврейским писателям.

– Антисоветским, – тут же поправил Евдокимов, как при каждом упоминании комитета поправлял, что тот не антифашистский, а антисоветский. – Послушать тебя, сука, получается, наши органы, наша партия ошиблись, когда прикрыли ваш комитет и вашу еврейскую писательскую секцию. Так? Когда спрашивают, отвечать надо, падла. И кто же ты тогда, шкура продажная, если не предатель? В решении о закрытии вашего комитета сказано: «Министерство государственной безопасности окончательно постановило, что Еврейский комитет, во главе которого стоял шпион и буржуазный националист Бен-Михоэл, являлся антисоветской шпионской организацией, его орган газета «Эйникайт» была антисоветской, еврейская литература – буржуазно-националистической». А если ты сам говоришь, что был с ними тесно связан, из этого следует, что все обвинения имеют к тебе самое прямое отношение, понятно? Я тебе уже сто раз сказал и опять повторяю: твоя судьба полностью в твоих руках. Обещаю вам: если чистосердечно во всем признаетесь, ничего не скрывая, я постараюсь облегчить вашу участь. А наказание ждет вас как шпиона и предателя очень серьезное.

В этом Залман не сомневался. Неспроста в глазах Евдокимова горели желтоватые огоньки. Это были глаза зверя, окончательно победившего в нем человека. И хотя Залман понимал, что сражаться со зверем тем оружием, которое ему дано – человеческим разумом – не получится, здесь это оружие бесполезно, он все-таки попытался его применить, напомнить следователю, что идея создать комитет и газету исходила из высшей инстанции, что об этом наверняка знал сам «отец народов», что комитетом и газетой «Эйникайт», как и всеми остальными комитетами, созданными во время войны, руководило Совинформбюро…

Едва Залман упомянул Совинформбюро, следователь перебил:

– Совинформбюро руководил еврей Соломон Абрамович, шпион и буржуазный националист, как все вы.

– Я никогда не занимался шпионажем и никогда не был буржуазным националистом, – повторил Залман. Но в этот раз добавил: – Наверное, моя единственная вина – что я писал по-еврейски…

– Что?! – Евдокимов навалился грудью на край стола, будто готовый броситься на Залмана. – Ты, пархатый, нас в антисемитизме обвиняешь? Вождя в антисемитизме обвиняешь? Смотри, Залман Наумович, как бы тебя к стенке не поставили. Вижу, ты забыл, где находишься.

Кажется, Залман и правда немного забылся, перестал понимать, что происходит и что его ждет. Он поднял голову, посмотрел по сторонам и снова встретился взглядом с легким прищуром всемогущего на портрете.

– Добро, Залман Наумович, продолжим разговор, когда с карцером познакомишься. Последний раз спрашиваю: будешь рассказывать?

– Я не знаю, что рассказывать.

– Ах, бедненький, не знает он, видите ли. Про шпионаж и свой буржуазный национализм рассказывай. Или ты в комитете только стишки сочинял?

Меньше всего Залман тогда занимался сочинительством стихов. И не потому, что, когда говорят пушки, музы молчат. Времени не хватало. Музы всех еврейских писателей, кого по возрасту или состоянию здоровья не взяли в армию, вдохновляли их описывать героизм еврейских бойцов, которые плечом к плечу с представителями всех советских народов сражались на фронте, рассказывать миру о зверствах фашистов в оккупированных городах и местечках, откуда чудом спаслись живые свидетели чудовищных преступлений. Могли еврейские писатели рассказать и о том, как живут на новом месте эвакуированные.

Все ли, что он тогда написал, было напечатано, он не может сказать. Просто не знает. Знает только, что комитет через Совинформбюро пересылал все это в иностранную еврейскую прессу, и что сначала каждое слово проходило здесь цензуру.

– Что это вы вдруг замолчали?

– Мне больше нечего сказать, гражданин следователь.

– Да неужели? Может, напомнить? – Евдокимов положил обе руки на толстую серую папку. – Здесь копии нескольких ваших статей, которые комитет отправил за границу. Я мог бы их вам прочитать, они переведены на русский. Но я хочу, чтобы вы сами рассказали.

Интересно, как вы будете опускать свои националистические высказывания. Мне нетрудно будет вас за руку поймать. Он нас ничего не скроешь, нам все известно.

Пересказать, даже вкратце, все, что Залман через Еврейский антифашистский комитет отослал в иностранные еврейские газеты и журналы, – суток не хватит. Но если следователь настаивает, Залман перескажет ему пару-тройку своих статей, тех, что лучше запомнились.

Глава 47

…В Куйбышев прибыл эшелон с ранеными. Это было летом после войны. Как запомнилось Залману, стоял ясный, солнечный день, на небе ни облачка.

Совинформбюро, которое являлось отделением Министерства иностранных дел Советского Союза, служащим в основном для пропаганды среди евреев за границей, вместе с созданным в начале войны Антифашистским комитетом, находившимся тогда в Куйбышеве, на Волге, собрало для раненых подарки. Среди тех, кого отправили с подарками встречать эшелон, был и он, Залман, представитель Еврейского комитета.

В последнем вагоне Залман задержался дольше. Ему показалось, что раненый с забинтованной головой ему знаком: он уже где-то видел эти большие, будто удивленные, черные глаза. Но Залман никогда не бывал в Ярославле, откуда оказался этот молодой человек, и фамилии Кошер тоже никогда не слышал. Хотя они успели познакомиться – Залман уже знал, что молодого человека зовут Саул, что он капитан, а капитан знал, кто такой Залман, – все-таки Залману пришлось несколько раз напомнить ему, чтобы, рассказывая, как мужественно солдаты его роты сражались с врагом, Саул не забывал про себя, например, подробнее рассказал про последний бой, в котором он был тяжело ранен.

Об этой встрече с тяжело раненным капитаном, о том, как горстка оставшихся красноармейцев его роты преградила путь немецким танкам, Залман потом рассказал в своем очерке под названием

«Сила духа». Очерк опубликовали в газете «Эйникайт» и позже перепечатали в нескольких иностранных еврейских изданиях. Это у него не единственный очерк о том, как еврейские бойцы не на жизнь, а на смерть сражались на фронте.

Во время войны Залман много писал, как фашисты зверски убивали евреев от мала до велика. Один из его первых очерков тоже напечатали в газете «Эйникайт». Он назывался «Гибель Киева».

Залман не знал, что еще добавить, но следователь, видимо, ничего и не ждал. Кажется, Евдокимов не заметил, что Залман замолчал, даже когда он пару раз на несколько секунд прикрыл глаза. Подполковник сосредоточенно писал, макая перо в чернильницу. Почему так долго? Неужели он записывает в протокол слово в слово все, что услышал?

Наконец Евдокимов отложил перо, отодвинул в сторону заполненные бланки, достал из сейфа тонкую книжку в зеленом картонном переплете, открыл и положил перед собой на стол.

Через несколько минут, найдя в серой папке нужный документ, Евдокимов подозвал Залмана и указал на книжку:

– Ваша?

К чему эта глупая игра? Сзади на переплете, там, где цена, по-русски написаны название книжки и фамилия автора. Следователь прекрасно это знает. И так же прекрасно знает, как зовут обвиняемого, но все-таки перед каждым допросом спрашивает, и Залман каждый раз называет имя, отчество и фамилию. Зачем теперь начинать эту глупую детскую игру с книжкой? Но, если следователь задает вопрос, приходится отвечать.

– Да, моя. – И, хотя Залман не сомневался, что подполковник и без него это знает, добавил: – Вышла четыре года назад в Москве, в издательстве «Дер Эмес».

– О чем в ней написано?

В конце концов, ничего ужасного для Залмана в книжке нет. И Мандел так же подробно, как о встрече с раненым капитаном, рассказал, как по заданию газеты «Эйникайт» вскоре после войны ездил в Биробиджан с эшелоном переселенцев. В основном это были люди, которые чудом спаслись из гетто или вернулись из эвакуации в свои разрушенные местечки, где нашли только могилы близких и ненависть своих прежних нееврейских соседей.

Подполковник не перебивал. Когда Залман рассказал, о чем его книжка «Новый дом», Евдокимов потребовал перевести на русский открытую страницу, но строго запретил листать. Пока Залман переводил, он смотрел в документ, который вынул из папки. Нетрудно было догадаться, что это сделанный заранее перевод.

Зачем опять какие-то игры? Подполковник хочет поймать его на неточности, на попытке что-то скрыть?

На странице говорилось про дорогу, про то, что глаза устали смотреть на бегущие навстречу леса и поля, пролетающие мимо города и реки, и что сердце тоскует по новому дому.

Переводя, Залман сумел незаметно перевернуть несколько страниц. На полях были пометки, в основном восклицательные знаки и многоточия. На одной странице, кроме пометок, было что-то написано химическим карандашом, но Залман не успел прочитать, именно в этот момент Евдокимов оторвался от листа, который держал в руках.

Вот сейчас опять можно посмотреть. Вдруг он ошибается, как ошибся насчет Ойзера Норвила. Но все-таки почерк кажется ему знакомым. Не было ни одного писателя, который не подарил бы ему свою книжку с подписью. И эту книжку с пометками, несомненно, прислал сюда кто-то из них. Но кто? Яша Розен? Он хорошо знает Яшин почерк, буквы аккуратные, округлые, а здесь острые, будто ножом заточены. Если бы он мог взглянуть на подаренные книги у себя на полках, наверное, легко узнал бы, чьих рук это дело. Нет, если поэт Алтерка Гелберг, когда распустили еврейскую секцию Союза писателей, сказал ему, что не верит, будто еврейских писателей арестовывают просто так, значит, они действительно в чем-то провинились перед властью, то это еще не доказательство. Может, и не Алтерка. Попробует-ка Залман опять незаметно перевернуть страницу. Но в этот раз Евдокимов заметил.

– Я же сказал, не листать! Дайте сюда книжку! – И рукой показал Залману, чтобы тот вернулся за столик у двери.

Закурил сигарету и снова взялся за перо.

А теперь что пишет? Пересказывать, что Залман прочитал из книжки, Евдокимову незачем. Для него, надо полагать, заранее приготовили русский перевод и этой страницы, и, наверное, других тоже.

Или приготовленный перевод не такой полный, как сейчас сделал Залман? Возможно.

Интересно, который час? До утра, наверное, еще далеко, а раньше следователь его сегодня опять не отпустит. Голова уже не держится. От недосыпания тяжелой стала, как камень, глаза слипаются. Но, чуть закроются, Мандель тут же их открывает. Не забывает ни на секунду, кто сидит напротив и следит за ним. Если Евдокимов заметит, что он сидит с закрытыми глазами, это кончится для него карцером. Хотя все равно к тому идет, не сегодня, так завтра. Сил больше нет со сном бороться. Сон, одно из величайших наслаждений, дарованных человеку, здесь превратили в проклятие. В одно из самых страшных, мучительных наказаний. Вот почему Евдокимов будет держать его в кабинете до утра и следить, чтобы он не закрывал глаз…

Кажется, Залман ошибается. Похоже, следователь собирается уходить. Завязал папку, которой без конца пугал, что в ней якобы все записано, хотя пока достал из нее только пару листов – показания Бен-Шолема, убрал в сейф книжку и перевод одной-единственной страницы, высыпал из пепельницы в корзину накопившиеся за ночь окурки. Сейчас Евдокимов вызовет конвоира, и арестованного отведут в камеру.

И вот он – желанный сон. Залман так ослаб, что до камеры не дойдет. Вытянуться бы прямо здесь, на полу. Но где же конвоир? Ведь Евдокимов, наверное, уже нажал кнопку электрического звонка на столе или вызвал его как-то иначе. Залман в нетерпении повернулся к двери, и в тот же миг следователь грозным окриком разрушил его надежды:

– Долго еще молчать будешь?!

Сладостное ожидание сна испарилось, оставив вместо себя холод накатившего страха.

– Говори!

– Я все сказал. Все, что знаю.

– «Все, что знаю!» – передразнил подполковник. – А что ж ты, сволочь, не рассказываешь о своей шпионской деятельности за все годы в вашем антисоветском Еврейском комитете, о предательстве своем? Сколько тебе, шкура продажная, за измену Родине заплатили? Хватит хитрить. Нам все известно. – И изо всех сил хлопнул ладонью

по папке. – Не отвертишься, здесь все записано. Я тебя уже не раз предупредил, будешь молчать – плохо кончишь. Мы тебя к стенке поставим.

– Не знаю ни о каком шпионаже. Никогда им не занимался, Родине никогда не изменял. Всегда был предан советской власти.

– Вот как? Овечка невинная. Может, тебе еще раз прочитать, что говорит об одном из столпов антисоветского комитета главный шпион и предатель Бен-Шолем?

– Я не верю.

– Чему, мать твою, ты не веришь? Я тебе всю морду разобью, сволочь пархатая! – Евдокимов так саданул кулаком по столу, что на нем все подпрыгнуло. – Не верит он! Чему ты, сука, не веришь, я тебя спрашиваю? Что ваш Бен-Шолем с Бен-Михоэлом американской разведке продались? Бен-Шолем в этом сам признался. Или, может, это не его подпись? Не его?

Залман опустил голову.

– Так чему ты не веришь, хрен моржовый? Или хочешь все от самого Бен-Шолема услышать? Я могу устроить.

– Все равно, – не поднимая головы, тихо ответил Залман.

– Что все равно? Все равно не поверишь? А я тебе прочитаю, что рассказали твои дружки по вашей шпионской банде Айзик Добрин и Гирша Златопольский. Прочитаю, но в другой раз. А сейчас протокол подписывай. – Евдокимов положил перед Залманом перо и три густо исписанных листа.

Залман с трудом прочитал первую страницу. Слово в слово, как в предыдущем протоколе. Почти ни одной буквы не изменилось. То же начало: «Будучи враждебно настроенным к советской власти, я клеветал на нашу страну, на Коммунистическую партию, распространял среди еврейского населения буржуазный национализм…» И дальше в том же духе: «Мы гордились, что в стране очень велико число еврейских ученых, писателей, музыкантов, артистов, и представляли евреев как высшую расу».

А дальше шло такое, что у Залмана кровь заледенела в жилах, а голова напрочь отказалась понимать прочитанное. Уму непостижимо, как из рассказа о раненом капитане Сауле Кошере можно сделать вывод, что Залман по заданию комитета приехал в Куйбышев

встретить эшелон с ранеными, найти в нем еврейских бойцов и написать только о них, чтобы весь мир узнал, как героически евреи сражаются с немцами и, значит, спасают Россию. И под этим следователь требует подписаться!

И что за нелепость – увидеть буржуазный национализм и ярко выраженный шовинизм в том, что, рассказывая о двухнедельной поездке с переселенцами в Биробиджан, Залман пишет, что глаза устали смотреть на пролетающие леса, поля и города, и что сердце стосковалось по новому дому. Евдокимов внес в протокол свои претензии, что Мандел, кроме Биробиджана, не описал ни одного города на Урале и в Сибири. Следователь объяснил это тем, что все это чуждо Манделу, потому что евреи думают только о себе, им нет дела до чужих забот. Дикость какая-то! Будто следователь не понимает, что, сидя у окна в летящем поезде, невозможно описать жизнь незнакомого города. Для этого надо провести в нем хотя бы три-четыре дня.

Как бы то ни было, но сегодняшнего протокола с нелепыми, лживыми обвинениями он тоже ни за что не подпишет. Не возьмет на себя приписанных ему преступлений.

Залман не притронулся к перу.

– Что? Опять подписывать не хочешь? – Сдержанность исчезла, в голосе послышалась явная угроза.

– Гражданин следователь, – Залман еле ворочал языком от недосыпания, – я подпишу не раньше, чем в протоколе будет написано только то, что я говорил.

– Педераст! Хрен моржовый! – И еще в том же духе. – Учить нас будешь, как протокол составлять? – Пальцы сжались в два здоровенных кулака. – Подписывай! Живо!

Голова Залмана втянулась в плечи, глаза закрылись, чтобы не видеть готового к броску зверя.

Что-то все-таки мешало следователю пустить в ход кулаки. Он только потряс ими перед обвиняемым, скрипнув зубами.

Убрав в сейф сегодняшний неподписанный протокол, подполковник сказал смертельно бледному Залману:

– Помнишь, сука, как великий пролетарский писатель Максим Горький советовал поступать с врагом, если тот не сдается? А ты как

раз из таких. Был и остался врагом народа. С такими, как ты…Что до сих пор было, это ерунда. Это еще цветочки, ягодки впереди. Ух, сука… – Он вызвал конвоира и, отдав ему подписанную бумажку, что-то тихо приказал.

Уже по тому, как конвоир скомандовал: «Пошел!» и толкнул Залмана к двери, так что тот чуть не упал, стало ясно: его поведут не в ту камеру, откуда ранней ночью привели сюда.

Глава 48

Помещение в конце коридора, куда конвоир втолкнул Залмана и запер дверь, ничем не отличалось от других боксов, где Залману не раз приходилось несколько минут ждать, пока не освободится путь, чтобы, боже упаси, не столкнуться лицом к лицу с кем-нибудь таким же из другой камеры, кого тоже ведут на допрос или с допроса. Бокс такой же величины, не сесть, можно только стоять. Стены и низкий потолок, как Залман успел разглядеть в свете из коридора за пару секунд, пока конвоир не захлопнул дверь, выкрашены в такой же ярко-красный цвет свежей крови. Но чем-то бокс все-таки отличался. Воздуха не хватало, и густая темнота, переполненная страхом, не давала Залману забыть, что скоро за ним придут и отведут туда, откуда на своих ногах, как он наслушался в камерах, никто не выходит. К тому, что его ждет, Залман уже приготовился. Нашел для себя поддержку в старом изречении: несчастье многих – половина утешения. Чем он лучше других? Такова судьба всех, кто сюда попал. Самое страшное – это ожидание. Если так ему суждено, то чем скорее, тем лучше. Он готов к встрече с мясником в жестком черном переднике и с ножом в глубоком кармане штанов. Уже все равно, будет это тот же мясник, что тогда, или другой, один или несколько. Чувство страха понемногу притупилось. Сердце еле стучит, уже не так мучают недосыпание и боль в животе. Словно желая себя проверить, Залман до крови впился зубами в нижнюю губу, но боли не почувствовал. Все будто отмерло. Коли, режь, бей, убивай… Только ноги напоминают о себе. Он чувствует, как они все больше опухают. Деревенеют, как колодки. Сколько можно так стоять? Ни сесть, ни упасть некуда. Разве

что опуститься на колени и встать на четвереньки. Дойдет до того, что он залает, завоет на весь мир и на себя, как Бен-Михоэл – король Лир в грозовую ночь.

Почему за ним не идут, почему заставляют так долго ждать? Мясники заняты кем-то другим? Очередь не подошла? Они опять его разденут? Бить будут? Не так страшны удары по голому телу, как унижение.

Стоять и ждать, когда на тебя посыплются удары – с ума можно сойти. Надо чем-то отвлечься. Пока не спеша сосчитаешь до трех тысяч шестисот, пройдет час. До семи тысяч двухсот – два часа. Залман начал считать. Дошел до трехсот, когда за дверью послышались шаги, тяжелые шаги подкованных сапог. Залман почувствовал, что задыхается, еще секунда, и он, наверное, забарабанил бы в дверь кулаками. Шаги удалились. Это не за ним. Он не забыл, что досчитал до трехсот. Но продолжить не смог. Вдруг сбился. Вмешалась Элиша. Не надо клясться, он и так верит, что она будет его ждать. Но Элиша должна понять: это безумие – то, что она говорит. Кому-кому, но ей-то он не должен рассказывать, что отсюда никто не выходит на свободу. А она пытается его поддержать, говорит, Бог поможет.

Вот с Ним, с Создателем, Залману есть о чем поговорить. Прежде всего, он должен Ему сказать, что полностью не разуверился, как его ни принуждали. Но его вера была полна сомнений. За несколько дней, которые он здесь пробыл, сомнения постепенно исчезли.

До синевы сжал он губы, чтобы наружу не вырвался крик: «Если я согрешил перед Тобой, накажи меня! Но Ты караешь весь народ. Караешь и не говоришь, за что. К Бен-Шолему, который помог Тебе своими показаниями, у меня претензий нет. Бен-Шолем не из тех героев, которые могут сопротивляться, хотя он был красноармейцем в Гражданскую и сидел в камере смертников у белых». Великая загадка, как люди, которые столько вынесли, столько прошли, могут наговорить и на себя, и на друзей, и на весь свой народ такого, что за это убить мало, для Залмана больше не загадка.

Но показаниями Натана следователь на него не давил. Единственный человек, насчет которого Залман более чем уверен, что он не сломается, – это Натан Левитин. Натан здесь его поддержка, его опора.

Да, в этот раз за ним. Залман мотнул головой, будто отгоняя

накативший страх. Он не очернит своего народа, не предаст его, не подпишется под кровавой клеветой. Если придется, на смерть пойдет, как умирали за еврейскую веру наши предки.

Выпустив Залмана, конвоир ткнул его кулаком, чтобы он не оглядывался по сторонам.

Где-то совсем близко раздавался ужасный крик. Именно туда, откуда он доносился, конвоир и повел Залмана.

Вдруг совершенно неожиданно Залман понял, что стоит перед дверью своей камеры. Что случилось? Следователь отменил наказание или отложил назавтра? Или, может, пока наказание в том и заключалось, что Залман полночи простоял на затекших как бревна, опухших ногах?

Глава 49

Открыв дверь в камеру, надзиратель, как и в прошлый раз, предупредил, что ночью нельзя сидеть в одежде, надо раздеться и лечь под одеяло, даже если до команды «подъем» меньше минуты. Но Залман знал и то, что после команды «подъем» ни одной лишней минуты нельзя лежать… Надзиратель в коридоре строго следит. По зарешеченному кусочку неба под низко надвинутым козырьком не определить, который час, сколько времени осталось на сон. И Залман боялся, что, если уснет, потом не сможет оторвать голову от подушки и заплатит за это тремя-четырьмя сутками карцера или тем, что лишится права один или два раза на квитанцию купить в тюремной лавочке что-нибудь съестное. Остается одно: из последних сил гнать от себя сон и, не смыкая глаз, дожидаться рассвета. Как только Залман начинал терять власть над собой и закрывать глаза, ему на помощь приходил знакомый окрик следователя. У Залмана в голове до сих пор звучало: «Не спать! Не спать!!»

Как же он не заметил – ведь он не спал! – что на него наехала груженная камнями телега? Давит на грудь, дышать не дает. Наверное, это его так будят. Уже прозвучала команда «подъем», а его не добудиться.

С трудом разлепив глаза, он увидел, что все лежат на шконках, никто не встает. Но тяжесть, которую он почувствовал минуту назад, не исчезла. Давит все сильнее. Залман не понимает, что происходит. Почему он вдруг проснулся после стольких бессонных ночей?

Что-то подобное с ним уже случалось, и тоже ночью, во сне. Уже немало лет прошло. Он постучался к соседям по коммуналке, они вызвали скорую. Тогда все кончилось тем, что он довольно долго не выходил из дому без валидола и нитроглицерина в кармане, хотя больше сердце о себе не напоминало. И вот…

Разбудить соседей по камере? А чем они помогут? Лекарств у них нет. Если кто-то и захватил с собой, тут все отобрали. И скорую помощь они не вызовут. Вот бы открыть окно на минутку. Дышать нечем, и сил нет сбросить с себя тяжесть, которая придавливает к шконке. Залман напрягается, опускает ноги на пол. Вроде бы немного легче. Но он знает, что надзиратель в коридоре не позволит ему долго так сидеть. Лучше подойти к параше, возле нее можно немного постоять. От параши надзиратель не отгонит.

Только сейчас, стоя над парашей, Залман заметил, что шконка француза пуста. Значит, за французским полковником пришли, когда Залмана уже увели к следователю. Француза совсем из камеры забрали или тоже на допрос?

Заскрипел ключ в замке, и опять стало тихо, как только Залман вернулся на шконку. Теперь ему незачем бояться, что он не сможет встать. В борьбе со сном ему поможет навалившаяся на него тяжесть. Она давит все сильнее, не дает лишнюю секунду задержать воздух в груди.

И все-таки сон его одолел.

Без посторонней помощи Залман не проснулся бы, когда из коридора донеслось: «Подъем!» Его разбудил глава ешивы.

– Что? За мной пришли? – растерянно спросил Залман, оторвав голову от подушки.

– Никто за вами не пришел. Просто команда «подъем» была. – И, оглянувшись на дверь, реб Арон вздохнул: – Тяжелая ночь вам выдалась. Видно, не помогло, что я псалмы читал, перед Всевышним за вас ходатайствовал.

– Все-таки помогли. Иначе я бы, наверное, не выдержал.

– Что с вами? – испугался Арон, увидев, что Залман схватился за сердце. – Постучу в дверь, чтобы вам врача вызвали.

– Не надо.

– Что значит «не надо»? Если не врача, то пусть хоть медсестру позовут, чтобы таблетку валидола вам принесла.

– Не надо, не надо. Само пройдет… Уже лучше. Сил больше нет, реб Арон. Боюсь, не выдержу. Сколько человек может без сна? Голова раскалывается.

– Чего они от вас хотят?

– Пока требуют признаться, что я буржуазный националист.

– Ну, а если буржуазный националист, – применил Арон принцип «кал вехоймер», – значит, и враг народа, и партии, и всего остального. Знаете, что я вам скажу, реб Залман? В том, в чем они вас обвиняют, хоть, как я понимаю, никаких доказательств у них нет, вам все равно рано или поздно придется признаться. Оправданным отсюда никто не выходит. Так зачем лишние мучения? Буржуазный национализм для них, слава богу, не самый большой грех. Так может взять его на себя, и дело с концом? Думаете, я сразу поддался? «Бово камо» и «Бово мецийо», которые я на чердаке изучал, – чем не буржуазно-националистическая отрава? Но подписать протокол, что я имел отношение к «Джойнту», занимался шпионажем, на это, как надо мной ни издевались, спать не давали, в карцер сажали, я не пошел. В конце концов со шпионажем они от меня отстали. Боже упаси взять на себя шпионаж. Тут надо держаться, не сдаваться ни в коем случае. Ни к чему вам объяснять, реб Залман, сами понимаете, тут дело не во мне и не в вас. В Первую мировую царь выслал евреев из губерний, близких к германской границе, потому что подозревал нас в шпионаже, в предательстве. То же самое повторяется сейчас, евреев хотят представить всем народам страны шпионами и предателями.

Залман не услышал от реб Арона ничего нового, обо всем этом он и сам догадался после первой встречи с Мартином Константиновичем в гостинице на Охотном Ряду. Но не поэтому он ни слова не ответил на объяснения главы ешивы. Просто голова была другим занята. Тяжелая, будто свинцом налитая, она могла думать только о том, как день пережить. По ночам у Залмана есть тот, кто не дает ему спать, а днем надо самому за собой следить.

Если бы Залман только слово сказал, сегодняшний дежурный по камере, реб Арон, стразу отдал бы ему щетку, чтобы, натирая воском паркет, он поборол сон хоть на час. Но Залман еле на ногах стоит. Все плывет перед глазами. День только начался, а ему надо держаться за шконку, чтобы не упасть.

Вместе с другими сокамерниками он кое-как дотащился до клозета, где каждый в присутствии остальных справил нужду и умылся. Потом Залман выпил кружку чая, но к еде не притронулся. Кусок в горло не лез. Сердце освободилось от гнетущей тяжести, но совсем забыть о себе не давало, нет-нет да и сбивалось с ритма.

Покончив с завтраком, сокамерники сидели за столом и ждали, собственно, непонятно чего. Днем редко уводят на допрос.

– Не спите! – толкнул Залмана в бок локтем тайшетский зек Лейзер Элькин. – Собака смотрит. О, знаете, что я придумал? – Лейзер так обрадовался своей идее, что чуть не всплеснул руками. – Возьмите-ка, Залман, книжку Шарля и сидите читайте.

– Эх, Лейзер! Она ведь на французском, а я по-французски ни слова не знаю.

– А вам не все равно, на каком она языке? Главное, собака из коридора видит, что вы читаете. Книжку надо вот так держать. – Парень подложил под книжку ладони с крепко сцепленными пальцами. – Пересядьте спиной к шконке, чтобы было на что опираться. Пока француз не вернулся, сможете таким манером подремать. Старый, проверенный способ обмануть собаку за дверью.

Залман сцепил под книжкой пальцы. Прошло какое-то время, но вдруг кормушка открылась, и в нее просунулась голова надзирателя:

– Что-то ты долго одну страницу читаешь, не перелистываешь.

Об этом Лейзер забыл предупредить. Теперь опеку над Залманом взял на себя глава ешивы. Подсел к нему и иногда незаметно подталкивал в бок локтем:

– Переверните страницу.

Ближе к полудню в камеру вернулся Шарль. Увидев Залмана со своей книжкой, полковник от радости аж подпрыгнул:

– Parlez vous français?

– Так же, как вы по-еврейски, – ответил Шарлю, причем по-французски, его ученик Лейзер Элькин и, опять же на ломаном французском, объяснил, зачем человек держит в руках книгу на языке, которого не знает.

Сердце все еще напоминало о себе, в голове шумело, ноги были как не свои, две деревянные колодки, шагу не ступить, но от двадцатиминутной прогулки в тесном кирпичном загоне на крыше Залман не отказался. Все-таки клочок неба над крышей побольше, чем в зарешеченном окне под нахлобученным козырьком.

Если бы Элиша знала, в котором часу его выпускают на крышу, то поставила бы лесенку до небес и оттуда позвала бы его. Он думает об этом на каждой прогулке, повторяет про себя все, что сказал бы ей, и всегда начинает с одного: «Я люблю тебя… Я люблю тебя…» Он никогда ей этого не говорил. Но если бы знал, что в эту минуту, когда он крутится в кирпичном загоне, Элиша где-то здесь, внизу, он и это, и многое другое, что хотел бы ей сказать, выкрикнул бы во весь голос, чтобы она услышала. Он готов заплатить пребыванием в карцере даже только за то, чтобы ему сказали, где сейчас Элиша, на свободе, или ее выслали обратно, в продуваемую всеми ветрами, холодную тундру…

По сравнению тем, что ему спать не дают, запрет купить что-нибудь в тюремной лавочке на квитанцию, выданную вместо отобранных денег, это не наказание. Тем более что он не курит. Он как-нибудь обойдется без кусочка сливочного масла и двухсот граммов колбасы, которые купил бы на строго ограниченную сумму – два рубля.

– Купить вам что-нибудь?

– А? Нет, спасибо. Ничего не нужно, спасибо, реб Арон.

– Благодарить потом будете. Буханку белого хлеба я все-таки для вас возьму. Не беспокойтесь, успеете рассчитаться.

День, когда из ларька разносят по камерам заказы, проходит куда быстрее. Обеда и ужина не ждут с таким нетерпением. Даже для Залмана, хотя сегодня, видимо, по приказу следователя, ему ничего нельзя было купить, день прошел не так тяжело: французская книжка все-таки дала пару часов подремать.

Надзиратель, который не давал Залману закрывать глаза и поймал его на том, что он читает слишком медленно, не переворачивает

страниц, после отбоя проследил, чтобы теперь, наоборот, Залман уснул хоть на несколько минут, перед тем как ему дадут команду «слегка».

Видимо, Залман недооценил свои силы. Он не показал конвоиру, что после внезапного пробуждения страшно кружится голова. Шагал твердо, не шатаясь… Войдя в кабинет, не схватился за стену из страха, что сейчас упадет. И голос, когда он поздоровался, не походил на голос человека, которому не давали спать несколько ночей и опять подняли меньше часа назад.

– Здравствуйте, – мягко, даже по-дружески ответил Евдокимов.

Но как только Залман сел на свое обычное место, на прибитую табуретку у двери, рявкнул:

– Встать!

И, выждав, напомнил, что будет вызывать Залмана каждую ночь, пока тот не подпишет все протоколы.

– Понятно?

На столе опять появилась толстая серая папка. Евдокимов развязал ее, достал несколько листов, не читая, положил обратно и покачал головой. Наверное, это означало, что там написано про Залмана что-то ужасное, и его может ждать величайшее наказание. Но Залмана не покидала мысль, что в папке с перечнем всех его преступлений, всех грехов, к которой следователь обращается на каждом допросе, нет почти ничего, кроме чистых листов бумаги.

Прочистив проволочкой мундштук и затянувшись сигаретой, Евдокимов спросил:

– Ну что? Долго будем стоять и молчать?

– Мне нечего рассказывать, – отвернувшись, хрипловатым голосом ответил Залман.

– Опять за свое? Сукин сын! Как стоишь? Смир-но! Руки по швам! Забыли, что в армии не служили, отвертелись от фронта, как многие из ваших. Я тебе покажу, что значит стоять смирно. – Он с грохотом выдвинул ящик стола, порылся в нем, с таким же грохотом задвинул обратно и встал. В руке у него оказалась четырехугольная дощечка, похоже, металлическая. Залман вздрогнул, по телу пробежал холодок. Глаза сами собой закрылись, чтобы не видеть, как

металлическая пластина сейчас начнет его учить стоять смирно. Звук приближающихся шагов, и вдруг Залман услышал спокойный человеческий голос:

– Садитесь.

Вместо металлической пластины Залман увидел в руке у Евдокимова чистый лист бумаги и уже хорошо знакомое перо.

– Пишите фамилии всех ваших знакомых.

Вернуть лист чистым? Следователь заподозрит, что они в чем-то замешаны, если Залман боится их назвать. «Господи, дай мне сил пройти это испытание. Пусть уста мои не произнесут ни о ком из них ни единого худого слова». На всякий случай Натана он в список не включил.

– И это все? – забрав у Мандела список, спросил Евдокимов.

– Кроме писателей и некоторых артистов у меня знакомых не было.

– И, скажете, все до одного – честные советские люди.

– Да, насколько я знаю, все они преданы Родине.

Вернувшись за стол, Евдокимов положил перед собой список, прочитал вслух и спросил:

– Почему не вижу здесь фамилии четвертого, с кем вы перед вашим арестом стояли во дворе Литинститута? Ну, это я вам прощаю. О чем вы с ним тогда говорили?

– Гражданин следователь, во дворе Литинститута я бывал не раз и кого-нибудь из знакомых писателей встречал там постоянно. Как же я могу запомнить, кого когда встретил и с кем о чем говорил?

Четырехугольная металлическая пластина как магнитом притянулась ближе к Евдокимову.

– Послушайте, Залман Наумович, вы же взрослый человек. Сами понимаете, это не игра.

У Залмана чуть не вырвалось: «А что же это, если не игра, дьявольская игра?»

– Я же спрашиваю не обо всех встречах, а только о последней. Был у вас разговор про арестованных писателей?

Отпираться бессмысленно. Ясно, что Евдокимов знает, и кто был четвертым, и о чем шла речь. А шла она о том, что ни комитет, ни писатели ничем не согрешили, ни в чем не виноваты, и что охота этим

не закончится, она, собственно, только началась. Кто мог донести? Яши там не было. Все-таки Залман попытался возразить:

– Не помню, что за разговор был, просто не помню. Может, что-то про арестованных писателей говорили…

– А о том, что клеветал на нас, тоже не помнишь, морда пархатая? Встать! Отвечай, сукин сын, когда тебя спрашивают! Брось свои еврейские штучки. Почему у тебя в списке ни одного генерала?

– Среди моих знакомых нет генералов.

– Врешь, подонок, мать твою! О чем ты разговаривал на банкете с генералом Кацманом?

Непонятно, кто мог донести, о чем был разговор во дворе Литинститута у памятника Герцену. Розена тогда не было. Этот четвертый, которого следователь не называет, – поэт Алтер Гельберг. Но подозревать его – это уже грех. То, что на банкете в честь гостя из Канады в Большом зале Славянского антифашистского комитета, куда пригласили Еврейский антифашистский комитет и некоторых московских еврейских писателей, Яша Розен был, это Залман помнит точно. Так получилось, что соседом Залмана по столу оказался генерал Кацман. Что его фамилия Кацман, и что он иногда заглядывает в Еврейский комитет, Залман узнал только после банкета. Случайно или нет, но Розен тогда сидел прямо напротив.

– Теперь видите, – продолжил Евдокимов, – что мы все про вас знаем? От нас ничего не скроешь, понятно?! Так что за беседы вы вели за столом с генералом Кацманом?

– У генерала Кацмана вся грудь в орденах.

– Ну и что? В Ташкенте можно даже Звезду Героя купить. О чем вы говорили с вашим еврейским генералом? Обсуждали, что евреи – избранный народ?

– Гражданин следователь! – Залман понимал, что не стоит задавать такой вопрос, но промолчать, хоть чем-нибудь не отплатить своему теперешнему хозяину за то, что тот вздумал унижать евреев, он тоже не мог. – Объясните мне, я просто не понимаю. Вы все время приписываете мне буржуазный национализм. Значит, получается, есть еще и пролетарский национализм?

– Еще умничаешь, сволочь, образованность свою хочешь показать. Знаем, вы все образованные, на заводах и фабриках вас почти

нет. В институты пролезли. Как стоишь, сукин сын? Еще раз показать, что значит стоять смирно? – Он подошел вплотную и снизу вверх ударил Залмана в подбородок. Залман упал бы, если бы не успел схватиться за столик.

Беспомощность, унижение, невозможность выполнить заповедь «око за око, зуб за зуб», о которой до ареста не раз напоминал Натан, притупили боль от страшного удара затылком о стену, от еще одного выбитого зуба. Залман прикрыл глаза, чтобы следователь не заметил его мучений.

Но долго скрывать свои чувства Залман не мог. Едва отступил холод страха, сердце загорелось гневом. И Залман не стал его прятать, не закрыл глаз.

Глава 50

Вместе с гневом в сердце вдруг проснулась непереносимая боль, как прошлой ночью. Вдруг не хватило воздуха. На ребра опять наехала груженная камнями телега. Секунда, еще секунда, и сердце остановится. Залман схватил ртом воздух, но не успел вдохнуть, как пол заскользил под ногами, и со всех сторон надвинулась густая темнота…

Из темноты послышался голос. Незнакомый, не Евдокимова. Некто в белом халате, склонившись над Залманом, держал его за руку и считал пульс.

Залман ждал, что врач поможет ему, объяснит следователю, в каком тяжелом состоянии находится пациент, но неожиданно услышал другое:

– Можете продолжать допрос, товарищ подполковник. Он в полном порядке. – И, повысив голос, строго обратился к Залману: – Хватит притворяться. Симуляция здесь не пройдет.

– Слышал? – спросил Евдокимов, когда врач вышел из кабинета. – Если не прекратишь свои штучки, я тебе совсем другого доктора вызову. Он тебя быстро вылечит. Встать! Кто тебе сесть разрешил? Встать!

Но без посторонней помощи Залман не мог подняться с табуретки. Вдруг отнялись ноги. Закатав брюки до колен, он показал

следователю, как они опухли. От легкого нажатия пальцем на ноге оставалась глубокая ямка, как в поднявшемся тесте.

– Ничего, от этого не подыхают. Мы тебе сдохнуть не дадим, пока не признаешься в своих преступлениях и не назовешь всех, с кем ты был связан.

– Каких преступлениях? Я вам сто раз сказал, не совершал я никаких преступлений и ни с кем связан не был.

– Вот же сука! Долго еще будешь дурака валять? – Евдокимов сжал в кулаке четырехугольную металлическую пластину. – Получишь по своей иудейской морде, сразу вспомнишь, что да как. Последний раз по-хорошему спрашиваю: будешь протокол подписывать? Не забывай, тебя давно не только карцер ждет. – Он встал и, держа в одной руке плоский кусок металла, а в другой – неподписанные протоколы, приблизился к столику Залмана. – Ну?!

«Подпиши. Все равно рано или поздно подпишешь. Как я, как Айзик Добрин, который лежит в лазарете и кричит во сне: “Не бейте!.. Не бейте!..”»

Певучий голос Арона не смолкал, твердил дальше:

«Пункты десять и одиннадцать пятьдесят восьмой статьи не такие, чтобы из-за них под нож лечь, погибнуть смертью праведника. Народ нас простит, если мы подпишемся, что считаем его избранным. У них буржуазные националисты – все, кто любит свой народ, не отрекается от него, как я, как вы… Но боже упаси взять на себя вину, что мы когда-то имели малейшее отношение к шпионажу, предали Родину… Когда меня заставляли такое подписывать, я быстро понял, что дело не во мне, одиночке. Их цель – очернить весь наш народ, представить всех нас шпионами и предателями. Сколько они меня мучили, да еще как мучили, чтобы я признался! Но я не сломался. Вот за свой народ можно и умереть, как наши праведники погибали за еврейскую веру…»

– Что это вы задумались? – вмешался в напев Арона по-военному сухой голос Едокимова. – Подписывайте и пойдете спать.

Молнией пронеслась мысль: об измене и шпионаже, насколько Залман помнит, в этих протоколах ничего не сказано. Все-таки он стал заново их перечитывать, но почти ничего не понимал. Голова отказалась соображать. Подписать, не читая? Придумать бы что-

нибудь, чтобы подполковник отправил его в камеру, которая по сравнению с кабинетом следователя – просто рай. На помощь пришел глава ешивы. Залман снова будто услышал певучий, полный сочувствия голос реб Арона: «Ничего вы не придумаете. Подпишите. Я тоже подписал, хотя в том, что на меня повесили, виновен точно так же, как вы, как Айзик Добрин… Подпишите…»

Следователь не обманул. Как только Залман подписал протоколы, Евдокимов вызвал конвоира и приказал отвести его в камеру.

Войдя, Залман вдохнул полной грудью, не обращая внимания на вонь параши. Все показалось родным и милым. Здесь нет большего счастья, чем вернуться в камеру с допроса.

Все были на месте. Видно, кроме Залмана, никого сегодня на допрос не водили. Хотя до утра еще далеко, кого-нибудь могут и увести. Но Залману бояться нечего, он может спокойно поспать несколько часов, пока надзиратель не даст команду «подъем».

Расстелив постель, Залман быстро разделся, накрыл глаза полотенцем, сложил руки на одеяле, но еще долго не смог уснуть.

– Не кричите так громко. Вертухай услышит.

Залман открыл глаза, отбросил полотенце. Рядом в одном белье стоял реб Арон. За окном под низко надвинутым козырьком тьма кромешная.

Мандела не вызывали на допрос две ночи подряд, давали выспаться. Голова по-прежнему была как свинцом налита, соображала плохо, но не настолько, чтобы не понимать: неспроста ему вернули украденный сон – самое дорогое, что дается человеку от рождения, а здесь отбирается. Даже если бы Залман стал внушать себе, что заслужил две спокойные ночи, подписав протоколы, и следствие на этом, может, и закончится, сокамерники быстро бы его разочаровали. Потому что просто бессмысленно искать в происходящем какую-то логику. Все, что тут делается, против человеческого разума. А значит, надо ждать, что не сегодня завтра у него опять отберут сон, и, может, на большее время, чем человек вообще в состоянии выдержать. Хотя чего еще следователь может от него потребовать, коль скоро он все подписал? А если выяснится, что он перечислил не всех знакомых, пропустил в списке самого близкого из них – Натана Левитина? Не назвал кого-нибудь из ученых или генералов, с кем мог видеться

в комитете? Но ведь даже если он встречался с ними, ему нечего о них рассказать. К подписанным протоколам добавится еще один, который будет начинаться и заканчиваться так же, как, наверное, у всех арестованных еврейских писателей: «Клеветал на советскую власть». Ни в одном из протоколов точно не указано, в чем заключается клевета. Это мог заметить кто-нибудь из вышестоящих или сам Евдокимов спохватился и теперь насядет на Залмана, чтобы тот помог ему придумать для каждого знакомого из списка, что именно тот говорил про советскую власть, и тогда станет ясно, что это враг, еврейский буржуазный националист.

Понимая, что не сегодня завтра опять начнутся ночные допросы, Залман старался отоспаться на будущее, прихватывая и строго запрещенные дневные часы. Французский полковник Шарль пошел ему навстречу, пару раз одолжил книжку. Учить Залмана, как ее держать, чтобы она не выскальзывала из рук и чтобы вертухай не заметил, что он слишком долго читает одну страницу, уже было не надо. Залман овладел этой наукой в совершенстве.

Третья ночь прошла спокойнее, чем две предыдущие. Только резкая боль в животе все сильнее напоминала о себе каждый раз, когда открывалась кормушка, хотя команду «слегка» вертухай давал не Залману, а кому-нибудь другому в камере. А ему надзиратель скомандовал приготовиться на выход именно тогда, когда Залман меньше всего этого ожидал: ранним вечером, перед ужином.

В камеру Залман вернулся только под утро, с разбитым в кровь лицом. Глава ешивы сразу понял: на допросе не требовали добавить что-нибудь по существу к обвинению в «клевете на советскую власть и Коммунистическую партию». Речь шла о смертельно опасном пункте пятьдесят восьмой статьи – один-а. И видно, Залман стоял до последнего.

– Да поможет ему Всевышний! – пробормотал Арон.

– Я редко с допроса на своих ногах приходил, – вспомнил тайшетский лагерник Лейзер Элькин. – Меня оттуда приносили.

Его ученик, французский полковник Шарль, которому Лейзер ежедневно давал уроки русского, жестом показал своему учителю, что лучше помолчать, не рассказывать, как с ним обращались на допросах. И, подобрав нужные русские слова, сказал:

– Надо успокоить человека, не пугать.

И без колебаний отдал Залману книгу на целый день.

Залман в нее почти не смотрел. Ему незачем было прятаться от надзирателя, глаза все равно не закрывались. Спать не хотелось, несмотря на то что он всю ночь бодрствовал и после побоев стоял до утра на распухших, как бревна, ногах. Но разговаривать с сокамерниками и слушать их истории он тоже не мог. К своему удивлению, он полностью увлекся драмой, которая вдруг начала складываться у него в голове.

Конечно, глупо, очень глупо. Стыдно рассказать даже реб Арону, который думает не только о себе, но и о чем-то высоком. Здесь каждый занят не только собой, но и чем-то посторонним, чтобы отвлечься от страшных мыслей. Иначе и тронуться недолго. Реб Арон читает псалмы и повторяет по памяти Талмуд; тайшетский зек учит французский и вполголоса напевает романсы; парижский полковник отвлекается от тяжелых мыслей не столько французской книжкой из лубянской библиотеки, сколько зубрежкой новых русских слов.

Вообще-то Залман, как и француз Шарль, тоже мог бы заняться изучением языков. Например, древнееврейского, который он забыл уже много лет назад, хотя в молодости, когда язык еще не полностью запретили, даже сочинил на нем несколько стихотворений. Наверное, для Залмана не составило бы большого труда восстановить в памяти забытые слова. Хотя что толку, если разговаривать тут все равно не с кем. Реб Арона, как и самого Залмана, могут в любой момент перевести в другую камеру или другую тюрьму, и они расстанутся навсегда. А с Элишей и зятем Бен-Шолема Леоном, раз уж они стали персонажами задуманной драмы, Залмана никто не разлучит.

Он понимает, что ему больше не сидеть за письменным столом, и все, что рождается у него в голове, со временем исчезнет, испарится, выветрится из памяти. Но он не может заставить себя не думать о героях своей драмы, особенно о двух главных героях: Элише и Леоне. Они оба, дочь и сын еврейского народа, напоминают благородных русских женщин – жен сосланных на каторгу в сибирские шахты декабристов. Никто не принуждал Леона ото всего отказаться, пожертвовать учебой в Военной академии и полученными на фронте

орденами и с женой и тещей отправиться на край света, на север, чтобы вместе с ними терпеть холод, голод, унижения…

Это большое счастье, что Залмана арестовали до свадьбы, и Элиша не пострадает как жена врага народа, предателя и шпиона, как называет его следователь.

Но совсем забыть сегодняшний ночной допрос и страх, оставшийся после новых обвинений, которые выдвинул против него следователь, потому что в них признались и все члены комитета, и все писатели, Залман не мог. О чем бы он ни думал, вольно или невольно возвращался к вопросу: «Куда катится мир? Что с ним случилось? И что с ним будет?»

Ответа Залман не нашел. Наверное, ответа вообще не существует. Все перемешалось, все перевернулось.

За отказ подписать новый протокол с надуманными, дикими обвинениями Евдокимов и еще один, очкастый молодой человек в штатском, показали Залману разницу между «цветочками», как подполковник назвал свое обращение с Залманом на первых допросах, и «ягодками», которыми они угощали его всю ночь.

Среди тех, кто, как утверждал Евдокимов, признался в самом страшном, самом опасном – шпионаже и измене, – Натана не было. Но невозможно поверить, что подполковник не знает о дружбе Залмана с Натаном Левитиным.

Если следователь ни разу не упомянул Натана, значит, «ягодки» его не сломали. И не сломают, в этом Залман уверен.

А вот о себе он бы этого не сказал. Ведь он не воевал, не смотрел смерти в лицо, как Натан, который чуть ли не с первого и до последнего дня был на фронте. Это о многом говорит. С самого начала чумы Натан не сомневался, что о нем не забудут, и готовился к худшему, будто опять собирался на войну. Око за око – эту клятву Залман слышал от Натана, когда провожал его на войну, на битву с немцами. И потом с такой же злостью Натан еще не раз повторял ее, когда готовился к встрече с мясниками, как он называл хозяев серого здания на Лубянке и их прислужников, – здания, у которого очень широкий вход, но очень узкий выход.

После сегодняшней ночи Залман еще сильнее почувствовал, что до Натана ему далеко: он слишком слаб, чтобы выполнить закон «око

за око, зуб за зуб»… Однако он в силах выстоять, пройти все семь кругов ада, но не взять на себя страшного преступления, которое следователь пытается ему приписать. Мужество Натана придавало ему сил, служило опорой. Натан стал для него примером.

У главы ешивы тоже есть чему поучиться. Арон подписал все обвинения по пунктам десять и одиннадцать и Залмана убедил на это пойти. Но когда следователь потребовал, чтобы Арон признался в шпионаже, в том, что его с учениками завербовал «Джойнт», он ни за что не взял на себя страшную вину. Сколько же Арон выдержал, пока следователь не отстал от него со шпионажем и «Джойнтом»… Услышав, что Залману угрожает нечто худшее – обвинение в измене, пункт один-а, глава ешивы упросил его не сдаваться, помнить, что дело не только в нем: речь идет обо всем народе. Всегда, когда наступали трудные времена, искали, в чем обвинить евреев, приписывали им самые тяжкие, отвратительнейшие преступления: шпионаж, предательство, даже террор.

На вечерней двадцатиминутной прогулке по огороженному кусочку крыши Залман об этом не думал. Тут и думать нечего. Всю ночь Евдокимов слышал от него только «нет, нет и нет», и другого ответа он от Залмана не дождется.

Шагая по крыше между французским полковником и парнем из Тайшетского лагеря, Залман не сводил глаз с прозрачного облачка. Оно повисело над крышей и уплыло в том направлении, откуда Залмана привезли сюда несколько дней назад, туда, где он оставил Элишу, даже не попрощавшись. Знать бы хоть, где она. Облака, похожие на перевернутые сугробы, подсказали: а где ей быть, если не там, откуда она приехала, в далекой холодной тундре. Так же, как ее мать, красавица Пэпа, она стоит сейчас, согнувшись над корытом с чужим бельем, или моет кому-нибудь пол…

Глава 51

Генерала, к которому «Мешигене Коп», белокурый майор с небесно-голубыми глазами и ямочками на пухлых детских щечках, привел Натана, в кабинете не оказалось. В небольшой приемной

с до половины занавешенными окнами стоял столик с телефонным аппаратом. Пожилая женщина не спеша, будто не совсем понимая рукопись, печатала на машинке.

– Я вам не помешаю, – спросил майор, – если мы здесь подождем? Генерал вызвал к четырем, сейчас без пятнадцати.

– Не помешаете, можете подождать. Генерал должен явиться с минуты на минуту.

Указав Левитину на табурет у стены, майор выбрал для себя место на мягком диване возле двери в кабинет, откуда удобно было наблюдать за опасным преступником. Майор не спускал с Натана глаз и потом, когда пересел поближе к секретарше и завел с ней разговор, который, как Натан понимал по отдельным долетающим словам, не имел отношения ни к нему, неразоружившемуся врагу, опасному государственному преступнику, которого генерал приказал доставить к себе в кабинет, ни к тому, что женщина печатала. Но когда через минуту она пару раз бросила взгляд в его сторону, Натан почти уверился, что следователь рассказывает ей об их драке, случившейся на допросе неделю назад. Не из-за этой ли драки, после которой у майора до сих пор не прошел здоровенный синяк под левым глазом, следователь привел Натана к вышестоящему чину?

Чем закончится встреча с генералом, Натан примерно себе представлял. Скорее всего, его опять отдадут «ребятам», чтобы они занялись им, как в прошлый раз после сопротивления следователю.

Для секретарши, которая на всякий случай легла высокой грудью на машинку, наверное, чтобы майор не мог заглянуть в напечатанный текст, такая история, как нетрудно догадаться, не новость. Сидя в приемной, женщина подобных рассказов наслушалась немало. Вот и сегодня. Если Натана привели к тому самому генералу, который на одном из допросов ввалился в кабинет, именно когда Мешигене Коп щеголял своим богатым русским языком, ему «ребята» не понадобятся. Здоровый как молотобоец. Чтобы почувствовать его силу, Натану хватило легкого удара в плечо. Неизвестно, чем тогда закончилось бы вмешательство генерала, если бы он опять опустил ему на плечо свой тяжеленный кулак. Не ответил бы ему Натан тем же, чем во время допроса на той неделе ответил майору Дурья Башка.

Что от него лучше держаться подальше, Натан дал понять следователю еще на первом допросе, когда майор попробовал к нему прикоснуться. Натан отвел его руку, после чего майор несколько раз согнул и разогнул ее в локте, чтобы убедиться, что она не вывихнута. Но потом следователь, видно, все забыл, и когда Натан наотрез отказался подписывать протокол, достал из кармана связку ключей и так двинул ими Натана по голове, что кровь брызнула. Натан не забыл, как на фронте ходил в рукопашную, и сейчас точно так же, без колебаний, вскочил с прибитой к полу табуретки, бросился на следователя, одним ударом сбил его с ног и, навалившись всем весом, стал душить.

Может, и Натан, и Мешигене Коп здесь бы сейчас не сидели. Оба были бы на том свете, куда майор обещал его отправить, но майора спасли другие следователи, прибежавшие из соседних кабинетов.

Часов на стене, как и в других кабинетах, где Натан уже побывал, здесь не видно. Но и так понятно, что прошло больше пятнадцати минут. Вдруг в нем проснулся страх, от которого он избавился после второго или третьего допроса. Страх перерос в холод, который с каждой минутой становился сильнее. Натан тщетно пытался его преодолеть. Не помогла даже старая пословица, которую вспоминали на фронте перед атакой: двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Но умирать Натан сегодня не собирался. Он готовился к атаке на генерала, а проснувшийся страх мог помешать. Надо от него избавиться, пока генерал не пришел.

На что майор рассчитывал, когда привел его сюда? Что после встречи с генералом Натан подпишет протоколы, сознается, что он не только шпион и предатель, но и руководил в комитете, газете, издательстве, везде, где работал, шпионской агентурой, во главе которой стояли также Бен-Михоэл, Бен-Шолем, Ахнес, и что комитет являлся филиалом американской разведки? Видно, майор обо всех судит по себе. Он-то еще на первом допросе подписал бы что угодно. Он трус, Натан увидел его страх, когда на него бросился.

Секретарша опять на него покосилась. Натан заметил, что у нее приятное, милое лицо. А вот глаза – будто чужие, совершенно к этому лицу не подходят. Испуганные глаза. Здесь, кажется, испуганные

глаза у всех. Боятся друг друга больше, чем люди на свободе. Разумеется, секретарша – не исключение, иначе ее бы сюда на работу не взяли. Непонятно, как можно жить с такой женщиной. Она же боится слово сказать, тысячу раз подумает, прежде чем рот открыть.

Неожиданно или не совсем неожиданно ему вспомнилось, как в молодости он где-то вычитал, что можно передавать мысли на расстояние, и попытался это сделать. Пару раз получилось. А что, если попробовать мысленно сообщить этой женщине его телефонный номер, чтобы она позвонила Годл?.. Он оставил ее с двумя детьми... Фейгеле совсем маленькая… В последний раз Годл сообщила о себе полгода назад, передала ему сюда немного денег. Ничего, что он уже давно без копейки. Ему хватило силы воли бросить курить, раз сигарет купить не на что, к тому же он долго просидел в одиночной камере.

Неужели секретарша услышала его мысли? Как-то странно она на него посмотрела. Но тут вошел генерал, и она отвела свои испуганные глаза.

Генерал был другой. Даже не похож на того, которого Натан ожидал увидеть. Тоже выше среднего роста, но стройный, подтянутый. Светло-серые глаза, продолговатое лицо.

Майор вскочил с дивана и, вытянувшись по струнке, громко отрапортовал:

– Товарищ генерал-майор, обвиняемый Левитин по вашему приказанию доставлен!

Ни на кого не взглянув, генерал прошествовал в кабинет.

Через несколько минут Натан стоял по ту сторону высокой коричневой двери, в большом светлом помещении с зеленым ковром на полу. Между двумя широкими окнами с поднятыми кремовыми шторами над уставленным телефонами столом хозяина кабинета висел холст, на котором, вдвое выше своего роста, был изображен хозяин страны. Лучи вечернего солнца играли с хрустальными подвесками бронзовой люстры на высоком потолке.

Майор, держа руки по швам, шагнул к столу и замер. Натан остался у двери. Генерал не поднял головы от папки с бумагами, будто не заметил вошедших. Мешигене Коп давно к этому привык. Когда ему дадут такое же звание – вместо средней звезды на погонах будет большая,

здесь повышают быстрее, чем в армии, даже на фронте, – он так же будет обращаться с подчиненными, все время показывать им, что они ему не чета. Здесь так принято. Натан здесь уже не первый месяц, и белокурый майор с подбитым глазом у него не первый следователь. До него были двое, причем оба полковники. Так что ему не в новинку эта игра – оставить обвиняемого стоять у двери и даже не смотреть в его сторону, как бы забыть про него. Чем дольше тянется напряженная тишина, тем страшнее.

Но страх, холодом сковавший Натана в приемной, в кабинете почти прошел.

Папка, в которую углубился генерал, точно его, Натана, но не та, что лежит в сейфе у майора. Эта, как Натан успел разглядеть, когда генерал пару раз поднес ее ближе к глазам, потоньше и другого цвета, голубая, как папка с вшитыми анкетами, удостоверениями, характеристиками и прочими бумагами и бумажками, которая хранится в отделе кадров издательства «Физкультура и спорт», где он недолго проработал от закрытия комитета до ареста. Натан был готов к экзамену, который сейчас устроит ему генерал, рассчитывая, наверное, поймать обвиняемого на лжи: вдруг Натан написал неправду в анкете или скрыл что-то важное в автобиографии. Его следователь, Мешигене Коп, на допросах не раз его проверял, но Натан выдержал экзамен у майора, выдержит и у генерала, если тот захочет сравнить его сегодняшние ответы с написанными в анкетах ранее. Натану нечего скрывать о своем происхождении и общественном положении. Его отец был рабочим, столяром на мебельной фабрике, а Натан до поступления в университет был литературным работником в комсомольском журнале. В партию вступил на фронте. Что касается пунктов обвинения, то генерал услышит на них тот же ответ, что слышал майор. Другого ответа у Натана нет.

– Ну?

Натан ждал такого вопроса. С него начинали все следователи. Еще на первом допросе Натан для себя объяснил это так: «Ты же сам прекрасно понимаешь, кроме того, что тебя надо посадить, мы, в общем-то, ничего о тебе не знаем. Вот и помоги нам найти что-нибудь важное для протокола, из-за чего мы не сможем оставить тебя на свободе».

Не получив ответа, генерал задал следующий вопрос, которому Натан тоже не удивился:

– Долго молчать будете? Вижу, вам здесь недостаточно часто напоминали, где вы находитесь.

«Мне здесь слишком часто напоминали, где я нахожусь. Могу вам на своем теле показать». Но Натан все-таки сдержался, чтобы не сказать этого вслух.

Вместо него ответил следователь:

– Так точно, товарищ генерал-майор! Маловато ему напоминали. – И, беря на себя вину за такое упущение, добавил: – Я исправлю ошибку. Ваш приказ будет выполнен.

– Это не приказ, – отмахнулся генерал. – Я верю, что Натан Захарович не будет нас вынуждать. А что у вас с глазом, товарищ майор? Подрались с кем-то?

Нетрудно было догадаться, что генерал прекрасно знает, чьих рук это дело, и какую цену потом заплатил обвиняемый. Но непонятно, зачем генерал затеял эту игру. Неужели Натана привели сюда только из-за драки?

Долго ждать ответа, после того как Мешигене Коп рассказал историю, известную генералу если не от самого майора, то от следователей, сбежавшихся на его вопли, Натану не пришлось.

– Мы легко могли бы обвинить вас в терроризме. За нападение на сотрудника госбезопасности мы имеем право поставить к стенке даже без суда.

Но генерал говорил спокойно, будто ему понравилась и эта история, и то, что среди арестованных еврейских писателей нашелся один, оказавший сопротивление. После слов генерала о том, что ждет за нападение на служащего госбезопасности, Натану лучше было бы промолчать. Но он не сдержался:

– Гражданин майор первый набросился на меня и стал избивать.

– А что, по-вашему, он должен был сделать, – так же спокойно возразил генерал, – если вы до сих пор не сознались в своих преступлениях? – Он повертел в руках папку. – Тут все про вас написано.

Дальше Натан даже слушать не захотел. То же самое, почти слово в слово, он уже слышал от всех следователей. Генерал отличался от них только одним – не таким богатым русским языком. Как и они,

сначала генерал заявил, что того, кто во всем признался, показал, что разоружился, ожидает более легкое наказание, а закончил, как и они, тем, что заботится исключительно о благе Натана. Его дальнейшая судьба зависит только от него, она полностью в его руках.

И тут же без всякого перехода, видимо, рассчитывая неожиданным вопросом сбить Натана с толку и поймать на лжи, генерал спросил:

– На каком фронте воевали?

– На Юго-Восточном.

– А я на Ленинградском.

Генерал заглянул в папку, помолчал. Но когда Натан решил, что экзамен окончен, быстро задал следующий вопрос:

– Сколько в винтовке патронов?

Для старшего лейтенанта Натана Левитина, с первых дней войны сражавшегося с немцами, а потом, в Маньчжурии, с японцами, дважды раненого, награжденного орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и несколькими медалями, вопрос прозвучал настолько оскорбительно, что он даже не посчитал нужным ответить.

– Оглох?! – будто забыв, что не он тут старший по званию, заорал майор и повторил вопрос генерала: – Сколько в винтовке патронов?

– Шесть, – отвернувшись, ответил Натан.

Он опять еле сдержался, чтобы не бросить майору: «А ты где был во время войны? Ты-то винтовку в руках держал?» И то же самое он хотел бы спросить у генерала. Заметив, что тот снова заглянул в папку, Натан понял, что экзамен не окончен. Наверное, генерал собирается прогнать его по всем пунктам заполненной анкеты. Не прошло и минуты, как Натан услышал уже совсем дикий вопрос.

– В плену были? – Генерал жестом остановил майора, рвавшегося исправить допущенную ошибку в обращении на допросах с такими, как Натан Левитин. – Может, вас удивляет, что я об этом спрашиваю?

– Товарищ генерал… Виноват, гражданин генерал-майор, – поправился Натан. – Конечно, удивляет. Если бы я был в плену, то сейчас не стоял бы перед вами. Я же не должен вам рассказывать, как немцы поступали с еврейскими военнопленными.

– Мне это известно. Но мне также известны случаи, когда ваши, попав в плен, служили немцам верой и правдой. Вы на все способны, и Еврейский антисоветский комитет лучшее тому доказательство. Садитесь. Я вас не на пять минут вызвал. Нам предстоит долгий разговор об очень важных вещах. – Он указал Натану на табуретку перед столом с телефонами.

Табуретка не была прибита к полу. Майор это знал. Помня, что от обвиняемого можно ждать чего угодно, он подошел ближе.

– Послушайте, Натан Захарович! – Генерал встал из-за стола. – Я основательно ознакомился с вашим делом и должен сказать, что вы в очень тяжелом положении. Принимая во внимание, что вы были на войне, как фронтовик я хочу вам помочь. От вас требуется только одно: чистосердечно признаться во всех преступлениях, рассказать, кто вас завербовал, и кого вы завербовали в шпионскую сеть.

Уже больше четырех лет, как Натан снял шинель, но офицер есть офицер. Он не мог оставаться сидеть, когда перед ним стоит старший по званию, тем более генерал. Натан тоже встал, но разрешения говорить, как требует военный устав, не попросил.

– На все обвинения, гражданин генерал, я уже не раз отвечал следователям. Другого ответа у меня нет. Я никогда не занимался шпионажем, меня никто не вербовал, и я никого не вербовал.

– И антисоветской деятельностью тоже никогда не занимались? Сядьте!

Теперь это прозвучало как приказ. Но Натан не сел, пока генерал не занял свое место в мягком глубоком кресле.

Нахмурив густые брови, но ничуть не повысив голоса, он продолжил:

– Сколько должностей вы занимали одновременно?

Ясно, что генерал имеет в виду что-то другое. Ведь все должности Натана указаны в анкете. Почему, получается, он имел то или иное отношение ко всем еврейским организациям, Натан затруднялся ответить. Хотя что тут непонятного? Многие еврейские писатели не вернулись с войны, а среди оставшихся в живых почти не было редакторов.

– Не каждый писатель, даже хороший, может быть редактором. Для этого необходим опыт, и немалый. Я не мог, не имел права

отказаться от этой работы. Впрягся в нее, работал по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки.

– Гм, гм… Значит, никто вас никуда не отправлял, все произошло случайно, само собой. Так-так. – Генерал повернулся к майору. – Садитесь сюда, за стол, и ведите протокол допроса. – И, по-прежнему не повышая голоса, повторил: – Значит, все произошло не по вашему желанию, а случайно, против вашей воли.

– Я этого не говорил.

– А что же вы говорили?

– Редакторов не хватало, работать было некому. Я не имел права отказаться.

– Ладно, допустим. Так в протокол и запишем.

Судя по спокойствию генерала, ему понравилось, что Натан дал отпор следователю. Может, он первый из арестованных еврейских писателей и членов закрытого Еврейского антифашистского комитета, кто не дал себя унизить, ответил ударом на удар.

– А у нас другие данные, почему вас запрягли в эту телегу, как вы выразились. С показаниями ваших людей мы вас позже познакомим. Хотите, чтобы мы поверили, что вам поручили готовить почту для иностранной прессы только потому, что вы хороший редактор? Бывший руководитель вашего комитета Бен-Шолем объясняет это немного иначе. Из его показаний следует, что комитет видел в вас не только первоклассного редактора… Разумеется, мы в этом разберемся, но для вас, как я уже сказал, будет гораздо лучше, если вы сами все нам расскажете, подробно расскажете, что представляла собой почта для иностранной прессы, по каким и чьим установкам вы отбирали так называемые произведения, куда их относили, в чьи руки передавали. Так что, Натан Захарович, если хотите, чтобы мы вам поверили, к чему я готов, то рассказывайте без утайки. Скрывать бессмысленно. Мы знаем больше, чем вы себе представляете.

Все предыдущие следователи, в том числе и Мешигене Коп, который сейчас ведет протокол, не раз его об этом расспрашивали, и всем он отвечал то же, что мог ответить генералу: когда он готовил ежемесячную почту для иностранных еврейских газет, у него была одна установка – рассказать еврейским читателям за границей правду о

жизни советских евреев. Новеллы, рассказы, очерки, стихи должны быть на высоком художественном уровне.

Генералу, как и предыдущим следователям, такой ответ не понравился.

– Где ваши авторы брали материал для рассказов, очерков и так далее? – Не дав Натану ответить, генерал ответил сам: – Понятно где. На заводах, фабриках, в научных институтах, колхозах и совхозах. По членским билетам Союза писателей и командировочным удостоверениям они могли попасть куда угодно. – Глаза генерала сверкнули холодной сталью, но голос сохранил спокойствие. – Натан Захарович, хватит дурачком прикидываться. Вы сами прекрасно понимаете, что там, куда вы отправляли почту, не интересовались художественным уровнем присланных «произведений». Там интересовались скрытыми в них шпионскими сообщениями. И щедро за это платили. Одели вас с иголочки, типографию оборудовали для вашего антисоветского националистического издательства. Даже автомобиль комитету прислали, да еще какой автомобиль. Американская разведка не жалеет денег на своих агентов.

Все это Натан уже много раз слышал от следователей на допросах, но не в таком объеме и без такого количества подробностей, как услышал сейчас от генерала, который оставался для него загадкой. Натан думал, в генеральском кабинете его ждет такое, что от одной мысли чуть сердце не останавливалось. Мороз по коже. А генерал ведет допрос спокойно, можно сказать, душевно, будто и правда хочет дать ему возможность все опровергнуть, доказать, что комитет, издательство, еврейские писатели непричастны к вменяемым им преступлениям, что все это дикие, нелепые выдумки, ведь в них не верят даже здешние палачи, в которых зверь почти окончательно победил человека. Мало того, что генерал его пальцем не тронул. Натан даже не услышал от него ни одного слова на удивительно богатом русском языке, любимом следователями, превзошедшими даже величайших знатоков, которых ему довелось слышать на фронте во время боя.

Майор не скрывает, как он удивлен манерой генерала вести допрос. Не может на стуле усидеть, пытается, наверное, запомнить,

как надо, хотя Натану кажется, что и майора, и генерала мало заботит благосостояние страны, во имя которой они трудятся. На самом деле их заботит только собственное благосостояние. Ради него они готовы на все. И тем не менее…

Глава 52

Тем не менее, между генералом и майором Мешигене Коп разница есть. Натану довелось недолго посидеть в одной камере со священником. Они вели дебаты о духовном и материальном, и, похоже, священник был прав: он делил людей на праведников, в которых есть что-то от злодея, и злодеев, в которых все-таки есть что-то от праведника. К каким относится Мешигене Коп, и думать нечего. Но куда отнести генерала, к злодеям – раз тут работает, значит, злодей, – в которых осталось что-то от праведника, или к праведникам – раз он так спокойно, доброжелательно ведет допрос, – в которых все же есть что-то от злодея?

Ответа Натан не нашел, даже когда генерал предложил ему сознаться, что комитет занимался не только экономическим, но и военным шпионажем, для чего посылал завербованных агентов, еврейских писателей, на военные заводы, где директора были евреи, и в военные части, где командиры тоже были евреи.

А когда Натан отверг это обвинение, как и все предыдущие, и возразил, что отредактированные произведения, которые он готовил для иностранной еврейской прессы, посылал туда не он, а государство, Совинформбюро, вмешался майор, попросив у генерала разрешения:

– Совинформбюро тогда руководил еврейский буржуазный националист, шпион и предатель Абрам Лозовский.

– Соломон Абрамович Лозовский тогда был членом ЦК. – Натан сказал это не для того, чтобы снять с себя вину, но чтобы напомнить следователю и его высокопоставленному начальнику, что Лозовского зовут не Абрам, а Шлойме, Соломон Абрамович.

Что Лозовского посадили, Натан узнал за несколько месяцев до своего ареста. Спрашивать у кого-нибудь, за какие грехи сидит

Лозовский, было опасно, да и все равно никто из знакомых Натана не смог бы ответить.

С бывшим руководителем Совинформбюро Натан не то что не дружил, но и знаком-то не был. Только видел издали пару раз. Первый раз – в Куйбышеве, в Еврейском антифашистском комитете, который располагался тогда на улице Венцека в здании Совинформбюро. А второй и последний раз – уже после войны, в Московском еврейском государственном театре на премьере драмы Бен-Шолема «Солнце не заходит».

За два-три дня до возвращения из куйбышевской больницы на фронт Натан пришел в синагогу, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых. Как раз были Дни трепета. Молодой человек, с которым Натан молился по одному молитвеннику, показал на еврея с красивой густой бородой, стоявшего у восточной стены:

– Отец Лозовского, реб Авром. На Дни трепета место в синагоге купил.

Накануне отправки на фронт Натан заглянул в комитет попрощаться. В кабинете Ахнеса сидели Рефоэл Охримов и Бен-Шолем.

Лозовский зашел поздравить Ахнеса с круглой датой, тому исполнилось то ли шестьдесят, то ли шестьдесят пять. Сколько точно, Натан забыл.

Без всякой причины, просто так, у него вырвалось:

– Соломон Абрамович, я на Рошешоно вашего отца в синагоге видел.

– Знаю. Отец из этого секрета не делает. Он даже место в синагоге купил, как принято. Что он, не еврей, что ли?

Но ведь за то, что эвакуированный в Куйбышев отец Лозовского на Дни трепета ходил в синагогу, его сына, руководителя Соинформбюро, старого коммуниста, члена ЦК партии, посадить не могли. Это уже полная чушь. И причины думать, что это могло иметь отношение к закрытию комитета, как он только что услышал от майора, у Натана тоже не было. С какой стати, если при Совинформбюро было еще несколько комитетов, и ни один из них не закрыли?

Сколько же все-таки лет стукнуло тогда Ахнесу, шестьдесят пять или шестьдесят?

Натан напряг память, потому что не придумал ничего лучше, чтобы отгородиться от нахлынувших воспоминаний. Но долго думать

о возрасте Ахнеса ему не пришлось. Помешал мягкий, спокойный голос генерала:

– Закуривайте.

Генерал подвинул на край стола открытую пачку папирос «Казбек» и спички.

– Спасибо, не курю.

– Впервые вижу, чтобы фронтовик не курил.

– Он курил, товарищ генерал, только недавно бросил. – Отвечая за Натана, майор, наверное, хотел показать, что выяснил про обвиняемого Левитина все, изучил все его манеры и привычки.

– Значит, уже у нас бросили.

Против человека, который много лет ни дня не мог обойтись без кисловато-горького дыма, сигареты – мощное оружие. И, похоже, генералу понравилось, что Натану хватило силы воли бросить курить и ослабить свою зависимость от следователя.

По крайней мере, Левитину так показалось, но, чтобы генерал не истолковал его отказ от курения на свой лад, Мешигене Коп опять поспешил вмешаться:

– Он бросил курить, товарищ генерал, потому что ему покупать не на что. У него деньги кончились, которые он из дома взял, а жена за все время ему ни копейки не передала.

– Нет, товарищ генерал. Он просто больше ее не интересует.

«Сколько же Ахнесу исполнилось, когда Лозовский пришел его поздравить? Шестьдесят или шестьдесят пять?» Если бы Натан не схватился за эту мысль, то схватился бы за табуретку… И хотя он ничем не показал, что в нем опять проснулся фронтовик, только крепче сжал ладонями колени, все-таки Мешигене Коп вместе со стулом ближе придвинулся к столу генерала.

Генерал встал, махнул рукой Натану, чтобы тот оставался сидеть, и неторопливым, легким шагом прошелся по кабинету. На минуту задержался у окна, так же неспешно приблизился к Натану и, не повышая голоса, сказал:

– Не знаю, как у вас, но у нас, православных, в таких случаях бросают шапку оземь и бьют себя в грудь. Это значит, хватит друг другу голову дурить. Пора играть в открытую. Честно признаться, все рассказать, ничего не скрывая.

– Мне скрывать нечего и признаваться не в чем. Я все рассказал.

– Все?

– Да, все.

– Я вижу по вашему поведению, Натан Захарович, что вы не представляете себе, что вас ждет, если вы не разоружитесь, подробно не расскажете про вашу шпионскую сеть.

Глаза генерала сверкнули холодной сталью. Натан не отвернулся.

– Не знаю никакой шпионской сети, никогда ничем таким не занимался.

– Тогда почему, когда вы относили в Совинформбюро почту для заграницы, говорили, что можете за это дорого заплатить?

– Я так не говорил.

– А как?

Оба, и генерал, и майор, который вел протокол допроса, внимательно следили за Натаном.

– Не помню.

– Не помнишь, сукин сын? Так мы тебе напомним, мать твою!

– Мешигене коп!

Натан с самого начала понимал, что в белокуром майоре с подбитым голубым глазом давно не осталось ничего человеческого. Но что и в генерале зверь победил человека, Натан не ожидал.

Как генерал собирается доказать, что Натан говорил такое? Тогда рядом никого не было, он сказал это, кажется, только Залману с глазу на глаз. Получается… Нет, Залман не сдал бы его, даже если он тоже здесь, и его заставили все подписать, взять вину на себя…

– А когда создавалось ваше государство Израиль, ты сказал: «Нам за него немало крови предстоит пролить, но я пойду на это, я готов». Тоже не помнишь, шкура продажная?

Это он тоже говорил Залману. Но тогда, кажется, был еще Розен.

– Молчишь? Может, свидетелей привести, чтобы они тебе сказали, кто ты и чем занимался? Так я прикажу.

Генерал вернулся к столу и снял телефонную трубку.

– Товарищ полковник, я жду вас. Да, разумеется.

Глава 53

Вошедший в сопровождении высокого, как Ог царь Башана, полковника не был похож ни на одного свидетеля, которыми генерал пугал его, и кого Натан ожидал увидеть. Что доставленный окажется Блюмкиным, он и подумать не мог. И все-таки это Лейб. Как Натан в конце концов узнал в изможденном, сгорбленном человеке с наголо остриженной головой когда-то красивого, статного Блюмкина, Натан и сам не понял. Наверное, от прежнего Лейба все-таки осталось что-то, чего Натан не заметил сразу, тем более что Блюмкина почти полностью загораживал Ог царь Башана.

Долго рассматривать доставленного у Натана не было ни времени, ни необходимости. Как только полковник отошел в сторону, поставив их в двух шагах друг перед другом, генерал, указав на Натана, спросил Блюмкина:

– Знаете этого человека?

Отведя взгляд, Лейб тихо ответил:

– Да.

– Как его зовут?

– Носен Левитин.

– Носен? – генерал вместе с креслом придвинулся ближе к столу.

– Так на их жаргоне произносится, – поймав вопросительный взгляд генерала, пояснил майор. – По-русски он Натаном записан.

– Ага. Ну, а вы? – Таким же движением руки генерал указал Натану на Лейба. – Вы знаете этого человека?

Натан имел полное право ответить «нет». Потому что опять перестал видеть перед собой Лейба. Перед ним стоял совершенно другой человек. Но все-таки он ответил:

– Разумеется. Это известный еврейский поэт и прозаик Лев Блюмкин. Его детские стихи переведены на русский, украинский и многие другие языки.

– И все? Больше вам о нем сказать нечего?

– Нет, – ответил Натан, но тут же добавил: – Почему? О его произведениях я могу много чего сказать. В них на высоком художественном…

– Не валяйте дурака, Левитин, – резко перебил генерал. – Вы

прекрасно понимаете, о чем я. Я спрашиваю о его антисоветской националистической деятельности.

– Ничего не могу сказать. Об этом мне ничего не известно.

– И о шпионском гнезде в вашем антисоветском еврейском комитете, в котором состоял ваш поэт, ничего не известно? И о его вредительских книжках, вышедших под вашей редакцией в еврейском антисоветском националистическом издательстве, тоже ничего не известно? – Генерал повернулся к Блюмкину. – У вас, как видно из подписанных вами протоколов, память получше. Так помогите своему дружку-приятелю вспомнить, раз он твердит, что ничего не знает.

Что ответил Лейб, Натан не расслышал. И генерал, видимо, тоже, потому что переспросил:

– Что ты там бормочешь себе под нос?

– Язык отнялся? – пришел на помощь старшему по званию следователь Блюмкина, рослый полковник, нагоняющий страх одним своим видом. – Громче говори, империалистический агент.

Но, как Натан не напрягал слух, опять не разобрал ни слова. Похоже, полковник прав. У Лейба действительно отнялся язык. Губы шевелились совершенно беззвучно. Натан отвел взгляд, чтобы не видеть, как знаменитого поэта, гордость своего народа, смешали с грязью, довели до того, что его не узнать. Красивое, благородное лицо осунулось и пожелтело; по-детски невинные глаза, в которых всегда светилась улыбка, погасли, как окна в заброшенном доме; высокий лоб мудреца избороздили морщины; буйная черная шевелюра исчезла; нежный, певучий голос, который его самого превращал в восторженного ребенка, когда он читал свои детские стихи, тоже изменился до неузнаваемости, стал приглушенным и хриплым.

– Вы тоже память потеряли? Вам тоже надо напомнить, как вот этому неразоружившемуся шпиону и предателю? Что ж, мы вам поможем. – Генерал повернулся к застывшему как монумент здоровенному полковнику. – Протоколы у вас при себе?

– Так точно, товарищ генерал! – полковник открыл папку и достал несколько заполненных аккуратным почерком листов.

– Ваш обвиняемый Лев Менделевич Блюмкин их подписал?

– Так точно, товарищ генерал, все подписал!

Полковник будто удивился такому вопросу. Ведь его начальник прекрасно знает: у него еще ни разу не было, чтобы обвиняемый отказался что-нибудь подписывать.

Услышав, как полковник кичится перед генералом, что его обвиняемый Лейб Блюмкин подписал все протоколы, а это должно означать, что следователь Натана, майор Мешигене Коп, полковнику в подметки не годится, Натан подумал, что к этому Огу царю Башана, скорее всего, попал и Марк Полонер, который, как и Натан, наверняка выполнил правило «зуб за зуб». Если Полонер оказался у полковника, тот не сможет похвастаться, что он тоже все подписал.

– Давайте сюда. – Генерал взял у полковника протоколы, положил на стол и, сверкнув стеклами пенсне, с торжеством победителя над побежденным спросил Лейба: – Как поступим? Сами расскажете про предателя Левитина или мне прочитать ваши подписанные показания против него?

Натан старался не смотреть, как Блюмкин стоит, опустив голову и дергая плечом, а тот, наверное, даже не понимал, что генерал читает его подписанные показания.

Сделав паузу и посмотрев, как Натан воспринял прочитанное, генерал не спеша продолжил: «Нам еще до войны были известны националистические настроения Левитина. Не случайно враг народа, бывший редактор центральной еврейской газеты Эли Левадов доверил ему редактировать литературное отделение газеты, а предатель Шлойме Бен-Михоэл приглашал его читать лекции по искусству в Театральном училище. Из одного этого ясно, что Левитин был самым подходящим человеком, чтобы готовить почту для заграницы. Со временем он стал руководителем замаскированной шпионской сети в комитете и издательстве.

Кого из сотрудников комитета и издательства и кого из писателей Левитин завербовал, мне не известно. Но мне известно, что среди отправленных за границу произведений были и такие, где рассказывалось о промышленных предприятиях и научно-исследовательских институтах. Об одном металлургическом заводе, директором которого был еврей, я написал большую статью. Левитин с одобрения Ахнеса и Бен-Шолема отправил меня в Крым написать о еврейских деревнях. Из разговоров, которые он вел со мной до моего отъезда,

я понял, что меня посылают выведать как можно больше о крае, где собирались, как от нас требовали американцы, создать еврейское государство…»

Сняв пенсне и отложив протокол, генерал обратился к Блюмкину:

– Что написано дальше, вы сами расскажете. Там речь идет о том, как в Гражданскую войну вы с Рефоэлом Охримовым сбежали в Германию. Натан Захарович Левитин знал, когда завербовал вас в американскую разведку, что вы вернулись из Германии в СССР как немецкий шпион?

– Да.

– А что в ваших произведениях, предназначенных для отправки за границу, содержатся скрытые шпионские донесения, Левитин тоже знал?

– Да.

– А что издательство «Дер Эмес» планировало выпустить еще больше антисоветской литературы?

– Да.

– Что вы заладили «да, да»? – потерял терпение генерал. – Отвечайте ясно. Откуда вы узнали, что издательство собирается выпускать такие книги?

– Он мне сказал.

– Кто? Кто «он»? Имя назовите.

Блюмкин втянул голову в плечи.

– Кто «он»? – громче повторил генерал.

– Левитин.

Тут Натан не выдержал.

– Бог с вами, Лев Менделевич, что вы несете? Как вы можете такое говорить? Опомнитесь…

Голова Лейба совсем втянулась в плечи. Натан засомневался, что стоящий перед ним человек – действительно Лейб Блюмкин. Может, это кто-то, под него загримированный. Во время довоенных судов над бывшими руководителями страны в народе ходили слухи, что на скамье подсудимых сидят не те, о ком идет речь, а загримированная братия с Лубянки. Потому что просто невозможно поверить, что люди, которые в царское время годы провели в тюрьме и на каторге, готовы были взойти на эшафот, но не сдались, не сломались,

вдруг на весь мир заявили, что все они – шпионы, предатели, вредители, и подробно рассказали об этом и про себя, и про своих близких. Но если это правда, они, значит, их загипнотизировали. Все-таки их узнавали в лицо. А вот Лейба почти не узнать.

– Вас сильно мучили? – быстро, чтобы ему не успели заткнуть рот, спросил Натан.

– Мешигене коп! – замахнулся кулаком майор. – А ну, переведи, что ты сказал на вашем жаргоне!

– Спросил, – не отшатнувшись, ответил Натан, – так же ли с ним обращались, как со мной, если он бог знает что говорит про себя и про других.

– Он это сказал? – шагнул к Лейбу здоровенный полковник.

– Да.

– И что вы можете ему ответить? Разве в протоколах не ваши показания записаны?

Натана не удивило, когда Лейб ответил: «Там записаны мои показания».

Не каждый, подумал Натан, может быть Иовом. И что страдания Иова по сравнению со страданиями, которые уготованы здесь любому, кто не даст себя сломать? Насколько Натану хватит сил и мужества переносить мучения, которые его ждут? Добавить что-нибудь к тому, что он сказал Лейбу, он бы все равно не успел. Генерал указал рукой на дверь. Видно, что и генерал, и оба следователя смотрят на Блюмкина как на покойника. И после очной ставки Мешигене Коп будет так же смотреть на Натана.

– А теперь что скажете? – Генерал оттолкнул ногой кресло. – И дальше будете отпираться? Слышали, что сказал ваш друг Лев Блюмкин? Он облегчил свою участь, все-таки признался в тяжких преступлениях, выдал еврейских буржуазных националистов, так что его не расстреляют, хоть он и заслужил, чтобы его к стенке поставили. А вам, вижу, расстрела не миновать, раз вы до сих пор не разоружились, так и остались заклятым врагом нашей социалистической Родины. Одумайтесь. Времени у вас немного осталось. – Пробежав глазами сегодняшний протокол, генерал вернул его майору, приказал переписать набело и завтра доставить обвиняемого к пятнадцати часам.

– Завтра он у меня как миленький все подпишет. Вот здесь, в моем кабинете.

– Сухановка, товарищ генерал, пока отменяется?

– Туда он еще успеет. Сухановка, Натан Захарович, давно по вам плачет. Одумайтесь, пока не поздно. – Он нажал кнопку на столе.

Через минуту явился конвоир и увел Натана из кабинета.

Глава 54

Натан сразу все понял, когда вернулся в камеру и вместо троих прежних соседей увидел там незнакомца, который ростом и шириной плеч превосходил полковника Ога царя Башана. Один удар таким кулачищем, и череп на куски разлетится. Видно, генерал приказал посадить сюда этого верзилу, чтобы он как следует подготовил Натана к завтрашней встрече в кабинете. Так подготовил, чтобы Натан быстро признался в диких, выдуманных преступлениях, которые взял на себя Лейб, и тоже подписал протокол с дурацкими обвинениями. Чтобы оставить Натана наедине с незнакомцем и удалить из камеры лишних свидетелей, пришлось поискать для них новое жилье. Наверное, поэтому Натана после генеральского кабинета не один час подержали в душном, темном боксе. До сих пор Натан выдержал все встречи с мясниками и живодерами, как в одном из своих произведений Рефоэл Охримов назвал гитлеровцев, от которых местные несильно отличаются. Они Натану не один зуб выбили, не одно ребро сломали, но своего не добились. Ни одного обвинения в измене и шпионаже он не подписал, о знакомых ни одного худого слова не сказал. Но каждый раз при встрече с этими парнями его пробирал холод и сердце замирало от страха.

И этот же хорошо знакомый холод Натан почувствовал, увидев нового сокамерника.

К Лейбу у него претензий нет. Какие претензии могут быть к человеку, которого довели до того, что он готов взять на себя что угодно, все подписать, лишь бы скорее покинуть кабинет следователя, избавиться от нечеловеческих мучений и унижений и вернуться в вонючую, но уже родную камеру к своим, таким же,

как он? А Блюмкина до такого состояния и довели, сразу видно. У Натана возникло впечатление, что Лейба привели на очную ставку из карцера или после нескольких бессонных ночей. Натана столько раз запирали в холодном карцере и столько суток не давали спать, что все это ему прекрасно известно. Но еще лучше ему известны зверские избиения, которые наверняка ждут его сегодня в камере.

Но избиений, которые всегда заканчивались тем, что Натана отливали холодной водой, осталось немного. Все равно надеяться не на что, если его решили выставить руководителем шпионской сети. Так зачем тянуть? На одной из ближайших встреч со следователем или с тем, в чьи руки Мешигене Коп передаст его, чтобы научить, как вести себя на допросе, Натан соберется с силами. Эта встреча станет последней не только для него, но и для того, кто поднимет на него руку. Он не отделается распухшей щекой или подбитым глазом, как белокурый майор. На этот раз Натан вцепится ему в горло и не отпустит.

Возможно, это произойдет сегодня, прямо здесь. Натана не остановит, что он на голову ниже и в плечах вдвое уже, чем тот, кого он встретил в камере.

Пока незнакомец не показывает ничего похожего на то, чего ожидал Натан. Наверное, присматривается, оценивает его силы, думает, с какой стороны зайти. У Натана пальцы сами собой сжались в кулаки и затвердели, как сталь.

Вдруг незнакомец рассмеялся:

– За кого вы меня принимаете, что у двери застыли? Будем знакомы, – он подал Натану руку. – Меня зовут Марэль, Марэль Ковель. Студент Московского университета. Филолог. С последнего курса забрали.

Правда его так зовут, или он скрывается под вымышленным именем, свое имя Натану скрывать незачем. Но подозрение, что Марэль Ковель, как он представился, тот, за кого он его принял, когда увидел в камере, Натана не покинуло, даже когда парень рассмеялся. Натан следил за каждым его движением, каждым жестом.

– Давно вы тут? – без особого любопытства спросил Марэль

и, не дождавшись ответа, добавил: – Я уже второй год. Почти во всех московских тюрьмах посидеть успел. Сюда из Лефортово привезли. Здесь, на Лубянке, я второй раз уже.

Вблизи парень не производил впечатления человека, способного раскроить череп одним ударом кулака. И все же, хотя лицо у него изможденное, голова обрита, Натан по-прежнему не верил, что молодой человек тоже арестант и сидит второй год. Разве что…

– Скажите честно, что вы подумали, когда увидели меня в камере? Спрашиваю, потому что мне показалось, что вы очень испуганы.

«А вы на моем месте, – хотел спросить Натан, – не испугались бы, вдруг увидев в камере такого гиганта, как вы, подсаженного, как я подумал, чтобы научить меня, как вести себя на допросе?» Вместо этого Натан, теперь почти уверившись, что молодой человек действительно тот, за кого себя выдает, все-таки устроил ему небольшой экзамен, как заведено в камерах при знакомстве с новым соседом. Обычно сразу спрашивают, кто, откуда, какие пункты пятьдесят восьмой.

– Интересуетесь, в чем меня обвиняют? Да так, ерунда. Терроризм. Донес на меня один подонок, мерзкая тварь. В библиотеке Исторического музея познакомились, за одним столом оказались в читальном зале. Может, я и сболтнул лишнего, но к терроризму имею такое же отношение, как вы, например, к папе римскому. Однако пойди докажи, что меня оклеветали, если у меня такая родословная… И отец, и мать сидят. Еще при Ежове забрали, и оба как в воду канули. Старые коммунисты. С такой родословной мне, сыну двух врагов народа, даже если бы на меня не донесли, недолго оставалось на свободе гулять. Наш великий вождь Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. А на самом деле я сижу не потому, что сболтнул лишнего, а потому что я сын осужденных родителей. Как утверждает следователь, мне всю жизнь придется за них расплачиваться.

Натан изучал Тору лет до одиннадцати-двенадцати, кое-что еще помнил, и сейчас ему пришел на память стих из пророка Иеремии: «Овойс охлу войсер вешиней воним тикгэно». Для Марэля, человека

с чисто славянской внешностью, он перевел: «Отцы ели незрелые плоды, а у детей на зубах оскомина»[1]. Но перед этим спросил, не заглядывал ли Марэль как филолог в Библию, не читал ли Книгу Иеремии.

– Не довелось, – признался Ковель, – но что-то про Иеремию слышал. Когда он это сказал?

– Пару тысяч лет назад. Но, как видите, ничуть не устарело.

– И для вас тоже?

– Еще бы!

– А вас в чем обвиняют?

Грубой ошибки не будет, если Натан ответит, что у них на двоих одна вина – их родословная. С Марэля спрашивают за то, что его родители, старые большевики, на фронтах Гражданской жертвовали жизнью за новую власть. А с Натана – за то, что его родители евреи.

Так Натан и сказал, и тут Ковель совершенно поразил его, заявив, что он тоже еврей.

Натан посмотрел на молодого человека другими глазами, но все равно не нашел в его внешности ничего еврейского. И не в том дело, что среди евреев нечасто встречаются такие высокие и плечистые парни, способные удержать быка за рога. Его знакомый, известный певец Мойше Баум, арестованный на пару месяцев раньше Натана, был еще выше и сильнее. Скорее всего, Натан не признал в филологе еврея из-за его чистейшего русского произношения.

Сообщив это новому соседу, Натан между прочим спросил:

– Откуда у вас такое имя? Впервые слышу, чтобы еврея звали Марэль.

– Мои родители – не просто старые большевики. Они убежденные большевики, из тех революционеров, которые даже для детей выбирали особые имена… Революционные. Марэль – это Маркс, Энгельс, Ленин. Мою младшую сестру зовут Аврора.

«А для себя? Какие имена ваши родители для себя выбрали?» – хотел спросить Натан. По тому, сменили родители Марэля и Авроры

1 Иеремия 31:28 (по греческой нумерации 31:29).

имена или нет, он мог бы понять, считают они себя евреями или скрывают свое происхождение.

– Неужели ваша вина только в том, что вы еврей? – тем временем спросил Марэль.

– Нет, не только. Я еще и еврейский писатель.

Марэль чуть не подпрыгнул:

– Вы слышали про такого поэта – Наум Давидович Волынер?

– А почему спрашиваете?

– Я в Лефортове сидел с ним в одной камере. Он за еврейского поэта себя выдавал.

– Вы сидели с Наумом Волынером? – С этой минуты парень стал близок ему как брат. – Знаете, кто такой Волынер, какой это великий поэт? Это еврейский Тютчев, Бунин, Блок. Я не преувеличиваю. Такого великого поэта, такого тонкого лирика упрятали за решетку… Вы долго с ним сидели?

– Несколько месяцев. Значит, он не врал, что он поэт? Еще и великий, говорите? А мы не верили. Он читал нам стихи. Действительно прекрасная, глубокая философская лирика. Но мы были уверены, что это не его.

Натан не мог ни слова сказать, дыхание перехватило. Он с трудом отозвался, когда вдруг открылась кормушка, и надзиратель спросил, на какую букву начинается его фамилия.

– Это за мной! – побелев, бросил Натану великан Марэль, и лишь потом назвал букву К – первую букву фамилии Ковель.

– Слегка!

Как бы Натан ни был измучен несколькими бессонными ночами, а потом еще очной ставкой с Лейбом Блюмкиным, заснуть не получалось. Сквозь опущенные веки Натан видел Нохума Волынера.

За дверью послышались тяжелые шаги. А это уже за ним. Камера, куда его скоро отведут готовить к завтрашней встрече с генералом, Натану знакома. Чем кончится на этот раз? Опять только ведром ледяной воды?.. Шаги удаляются. Холод, сковавший, что ни рукой, ни ногой не шевельнуть, понемногу отпускает… И опять в густой темноте через сжатые веки Натан видит Нохума Волынера.

Ты спросил, тихий брат,
Кто заплатит
За кровавые реки,
За горы костей…[1]

Натан не принимает ответа, который дает на свой вопрос Нохум Волынер.

– А у тебя есть другой ответ? – продолжает разговаривать сам с собой Натан. – Ну так скажи!

Чтобы не выкрикнуть что есть сил ответ, который он здесь нашел, Натан сжал зубами край сползшего с глаз полотенца.

Глава 55

Ягодки, о которых Евдокимов еще на первой встрече предупреждал Залмана, не заставили долго себя ждать. У подполковника едва хватило терпения покончить с цветочками – обвинениями, построенными на дикой, безумной лжи. Следователь довел Залмана до того, что тот перестал понимать, где он находится, что происходит, и есть ли под небом какой-то другой мир, кроме этого. Довел до того, что Залману стало все равно, что произойдет, если он подпишет протоколы, как требует следователь. В конце концов Залман подписал их за обещанную награду – чтобы его отпустили в камеру. Большей награды, чем покинуть кабинет следователя, в этом здании, кажется, вообще нет.

За эту же награду Залман согласился подписать протокол, где его драма «В пути» была представлена как злостная клевета на советскую власть. Дескать, государство намеренно не эвакуировало вовремя еврейские деревни, но приказало оставить их, только когда путь в тыл уже был отрезан, и почти все они были уничтожены немцами.

– Не огорчайтесь, – успокоил глава ешивы реб Арон, когда Залман на другой день рассказал об этом в камере. – Хвала Всевышнему, что вы отделались только цветочками по пунктам десять

1 Из стихотворения великого еврейского поэта Давида Гофштейна.

и одиннадцать. До ягодок, которыми он вас пугал, как и мой следователь меня, у вас, слава богу, не дошло. Значит, самый опасный пункт один-а отпал, а за буржуазный национализм, как я тут много раз слышал, дают лет десять-пятнадцать, не больше. Меня, наверное, ждет то же самое. Короче, реб Залман, как я понял из ваших слов, худшее вы, с Божьей помощью, уже пережили. Следствие закончилось, а до тройки, которая решает судьбу арестованных, выносит приговор, хотя бы сможете спокойно поспать несколько ночей.

– Не совсем так, – вмешался тайшетский лагерник Лейзер Элькин, который знал об этом немного больше. – Здесь двумя-тремя неделями не отделаешься. Они нарочно следствие на месяцы затягивают, чтобы наверху видели, как тяжело им, бедняжкам, кусок хлеба с маслом достается. Так или иначе, как человек, который тут не один месяц просидел, а сюда из лагеря приехал, хочу вам пожелать, чтобы вы не попали на Колыму.

– А у кого он может об этом попросить, что вы ему такие советы даете?

– У кого? У высшего начальства, разумеется. У Господа бога.

– Зря смеетесь, молодой человек. От Него все зависит: и кому жить, и кому умереть.

– А если так, почему, например, вас тут держат? Вы в чем-то против Него согрешили?

– Мы все в чем-то согрешили.

– О чем ваш разговор? – Шарль отложил книжку.

– О Боге беседуем, реб Шарль, – мешая французские и русские слова, с улыбкой объяснил Элькин своему ученику и учителю.

Шарль не ответил, только хмуро посмотрел на Залмана, будто тот хотел отнять у него единственную опору на чужбине – веру в бога.

Той ночью к шагам в коридоре не прислушивался только один из сокамерников – Мандел. Все, даже Лейзер Элькин, уверяли, что сегодня он наконец-то поспит: может, ненадолго, но хотя бы на ближайшее время его оставят в покое. Поэтому Залман был совершенно потрясен, когда среди ночи надзиратель, разбудив всю камеру, скомандовал ему: «Слегка!»

Подполковник стоял у стола, будто собирался уходить. Наверное, следователь вызвал его на пару минут уточнить что-нибудь в протоколе, который Залман после долгих мучений вчера подписал.

– Добрый вечер, – все-таки поздоровался Залман, хотя и чуть слышно.

– Уже ночь, а не вечер, – возразил Евдокимов и, указав на прибитую к полу табуретку, приказал: – Садитесь.

Значит, Залман пробудет в кабинете полковника госбезопасности не пару минут, а гораздо дольше.

– Ну что, Залман Наумович, будем рассказывать?

– Мне больше нечего рассказать, гражданин следователь. Я же все подписал.

– Это были цветочки, понимаете? Цветочки. А вот теперь ягодки. Я вас с самого начала предупреждал. Или думаете, если сознались в буржуазном национализме и клевете на советскую власть, вы искупили свои шпионские грехи? Я даю вам возможность облегчить вашу участь. Назовите всех, кого вы завербовали, и кто вас завербовал, расскажите, какие секретные шпионские материалы вы передали и собирались передать, когда мы вас забрали. Я не буду вам объяснять, сами прекрасно понимаете, что значит разоружиться. – Евдокимов вернулся за стол и обмакнул перо в чернильницу. – Рассказывайте, Залман Наумович.

– Гражданин следователь, мне нечего рассказывать. Я в жизни шпионажем не занимался, с иностранцами не встречался и даже не переписывался.

– Врешь, сукин сын! – В руке подполковника Залман увидел что-то похожее на плетку. – Сколько долларов тебе заплатили твои американские хозяева, мать твою?! Думаешь, мы не знаем? Мы все знаем. Признавайся!

– Мне не в чем признаваться. Я ни разу в жизни доллара в руках не держал, даже в глаза не видел.

– Брешешь, собака пархатая!

Залман не врал, разве что немного лукавил. Он действительно никогда не видел долларов, но чек на десять долларов в руках держал. Это было много лет назад, еще во времена нэпа. К большому удивлению Залмана, какой-то нью-йоркский еврейский журнал прислал ему

гонорар за стихотворение, которое там перепечатали из московского молодежного журнала. За какое стихотворение, Залман уже, конечно, не помнит. Помнит только, что, когда он пришел в банк и его спросили, как он хочет получить, в долларах или в рублях, он выбрал рубли. И даже помнит, что по курсу десять долларов – это было ровно восемнадцать рублей. Он купил на них кожаную шляпу, шерстяной шарф и меховые перчатки. Неужели здесь об этом знают? Совершенно дикая мысль. А даже если и так, значит, знают, что это было за полтора десятка лет до войны, до создания Еврейского антифашистского комитета, до того как произведения Залмана и других авторов отправили для печати за границу.

И что он с иностранцами никогда не встречался, тоже не совсем правда. В Биробиджане Залман останавливался в одноэтажном деревянном бараке для переселенцев, и там же, в соседней комнате, останавливался гость из Америки, зять Шолом-Алейхема, муж его младшей дочери Бенциен Гольдберг. Залман не раз с ним беседовал. Они даже договорились вместе слетать в Амурзет, крупный еврейский поселок на берегу Амура. Была зима, стояли жгучие морозы, в открытом двухместном самолетике лишнему пассажиру сесть было некуда. Залман полетел в Амурзет, когда Бенциен оттуда уже вернулся.

Если бы следователь знал, он заговорил бы об этом еще на первом допросе. Хотя… Но, если так, кто мог донести? Розена там не было. Разве что переводчица. Бенциену дали в Москве переводчицу с английского – молодую, красивую женщину. Но как она могла донести, о чем они говорили, если не знала еврейского языка? Да и доносить-то нечего. Впрочем, достаточно, если она просто сказала, где надо, что он общался с иностранцем. А может, она и знала еврейский, только притворялась, что ничего не понимает. Все переводчики, которых дают иностранцам, наверняка из этого дома.

– Долго молчать будем?

– Мне нечего рассказывать, гражданин следователь.

– Встать! Смирно! Сколько раз ты от комитета в Крым ездил?

– Три раза. – На всякий случай, чтобы следователь не поймал его на лжи, Залман поправился: – Может, четыре. Точно не помню.

– А почему Бен-Шолем точно помнит, сколько раз он тебя туда посылал, какие шпионские сведения ты оттуда привозил и должен

был привозить? А какой портфель тебе предложили в совете министров Еврейской республики, которую ваш комитет собирался создать в Крыму, чтобы американцы смогли ввести корабли в Черное море и получить в Крыму аэродромы для своих самолетов, тоже не помнишь? Или тебя обошли? Ничего тебе не оставили, когда портфели делили? Как же с тобой так поступили? Ты же близкий друг президента Бен-Михоэла, премьера Ахнеса, министра иностранных дел Бен-Шолема…

– Не понимаю, о чем вы, гражданин следователь.

– Хватит хитрить, сука. Сам же говорил, что присутствовал, когда Бен-Михоэл, Ахнес и Бен-Шолем портфели делили.

– Это шутка была. Я вам это и рассказал как шутку.

– Шутка?! – Евдокимов сжал в кулаке резиновую плетку. – Нашел где шутить, придурок. Сколько раз ты был в Хитрограде, в вашем еврейском Биробиджане?

– Два раза. Первый раз лет за семь до войны, второй – года через полтора после.

– От кого ты туда ездил?

– От газеты.

– Где ответственным редактором был шпион и вербовщик шпионов Гершон Циз?

Залман затекшей рукой оперся о стену. Евдокимов тут же взмахнул плеткой.

– Отойти от стены! Стоять смирно! Кому вы хотели отдать Дальний Восток? Америке, Японии? С каким шпионским заданием Циз отправил тебя в вашу Еврейскую автономную область?

Товарищ Циз… Как ни трудно было использовать для обращения к следователю, надзирателю, конвоиру слово «гражданин», еще труднее было отвыкнуть использовать слово «товарищ» для тех, с кем Залман дружил на свободе. Назвать кого-нибудь из них товарищем, как он обращался к Цизу, означало сделать его соучастником всех придуманных преступлений. Может, подполковник Евдокимов этого не заметил, не придал значения. Но на всякий случай Залман решил обходиться без слова «товарищ», называть друзей по имени и фамилии, что для него было тоже не слишком привычно.

– Циза я знаю как честного, порядочного человека, истинного патриота Советского Союза.

– Все? А теперь послушай, что честный истинный патриот Советского Союза говорит о себе и о вас. – Евдикимов достал из стола тонкую желтую папку, вытащил из нее лист бумаги и не спеша, слово за словом, прочитал: – «Когда редакторы американских еврейских газет Бенциен Гольдберг и Пейсах Новик были у нас якобы в гостях, они предложили мне сотрудничать с американской разведкой. Я дал согласие. Среди завербованных мной еврейских писателей был также Залман Мандел. По поручению комитета я пару раз отправлял его с заданиями в Крым. Когда наши планы создать в Крыму еврейское государство провалились, я отправил Мандела в Биробиджан собирать сведения о Дальнем Востоке, где мы хотели создать плацдарм для Америки». Ну, что на это скажете, Залман Наумович?

– Циз не мог такого сказать. Разве что в бреду.

– Может, хотите, чтоб он вам в глаза повторил? Могу вам это устроить… Когда, говорите, первый раз в Биробиджане были?

– Месяца за два до областного съезда Советов.

– Тогда же, как нам известно, там был американский шпион Бенциен Гольдберг. Разумеется, вы с ним встречались.

Лучше всего было бы ответить «нет». Но что, если переводчица сообщила сюда, с кем ее иностранец встречался в Биробиджане? К тому же она могла знать еврейский язык и донести, о чем они с американцем говорили, хотя бояться Залману нечего. В их разговорах ничего ужасного не было. В основном беседовали о тесте Бенциена Шолом-Алейхеме и о том, как счастлив он был бы дожить до того времени, когда у евреев будет своя автономия, и приехать посмотреть, как здесь живет его народ.

Подумав об этом, Залман вздрогнул. Доживи Шолом-Алейхем до сего дня, он тоже был бы здесь, и его пытали бы, как всех еврейских писателей, а может, и сильнее.

– Я видел Бенциена, когда он гостил в нашей стране, но не в Биробиджане, а на несколько лет позже, после войны, в Литературном клубе, на встрече с московскими еврейскими писателями. Тогда мы сделали групповой снимок, но с глазу на глаз мы с Бенциеном не встречались и не разговаривали.

– Допустим… А зачем вам было встречаться, если он мог передавать вам указания через главных шпионов Бен-Шолема и Циза… О чем вы писали в произведениях, которые комитет отправлял за границу?

– Рассказывал, как живут и трудятся в братской семье советских народов евреи СССР.

– И больше ничего? – резко спросил следователь.

– Ничего, – ответил Залман и, будто только теперь вспомнил, добавил: – Иногда еще природу описывал. Как можно писать о Биробиджане и не написать про сопки, тайгу?..

– Вот-вот. Описать врагу топографию Дальнего Востока, Крымского полуострова…

Судя по количеству сигарет, выкуренных подполковником за время допроса, наверное, уже светает, а может, и рассвело. Плотные шторы не пропускают ни одного лучика света. Залман уже привык часами наблюдать следователя с пером в руке, но почти всегда сомневался, что Евдокимов действительно что-то записывает, а не просто делает вид.

– Ну, так и будем молчать? – Раз двадцать, если не больше, следователь задавал ему этот вопрос, часто даже не глядя в его сторону. Ответ Залмана «Мне нечего рассказывать» для протокола, над которым Евдокимов усердно трудился, сегодня, видимо, ему был не нужен. – Сядьте.

Через пару минут Евдокимов, как всегда, положил перед Залманом исписанные листы бумаги и перо.

– Прочитайте и подпишите.

Протокол ничем не отличался от тех, которые Залман уже подписал. То же начало: «Являясь буржуазным националистом… антисоветские настроения… и т. д.» Но заканчивался сегодняшний протокол тем, что Мандел признался в преступлениях, предусмотренных пунктом один-а пятьдесят восьмой статьи: измене и шпионаже.

Залман не прикоснулся к перу.

– Почему не подписываете?

– Я никогда не занимался шпионажем, я не изменник…

– Вижу, вы невнимательно прочитали. Я пошел вам навстречу. Здесь сказано, что умышленно вы шпионажем не занимались.

– А неумышленно, значит, занимался?

– Еще как! Хватит торговаться, себе же хуже делаете.

«Боже упаси взять на себя шпионаж, – услышал Залман голос реб Арона. – Держитесь, не сдавайтесь ни в коем случае. Тут дело не во мне и не в вас. Всех евреев хотят представить шпионами и предателями».

– Ну, Залман Наумович?

– Не подпишу.

– Что? Ах ты, шкура продажная! – Евдокимов схватил со стола плетку.

«Держитесь. Хоть умрите, но не подписывайте».

Вдруг Залман почувствовал, что его нижняя губа стремительно распухает, с каждой секундой становясь толще.

Подполковник опустил занесенную плетку и отступил на шаг назад.

– Что это у вас?

– Не знаю, – ответил Залман, с трудом выговаривая слова.

Увидев, что обвиняемому сейчас опять понадобится врач, как уже было несколько ночей назад, следователь вызвал конвоира и отправил Залмана в камеру. Если дойдет до врача, пусть лучше он возится с обвиняемым в тюремной камере, а не здесь, в кабинете.

Глава 56

Никто, даже реб Арон, не спросил Залмана, как прошел неожиданный допрос. И так было ясно.

Позже, когда сокамерники, кто как, пытались убить еще один день, реб Арон, прочитав утреннюю молитву, подсел к еле живому Залману.

– Крепитесь, пока душа в теле. Не сдавайтесь. Надо держаться.

– Мы всего лишь люди, реб Арон. Сколько человек может выдержать, сколько перенести?

– И все-таки надо держаться, реб Залман.

– Пока держусь. Но что дальше будет? Не могу понять, почему мой следователь из кожи вон лезет, чтобы выставить меня шпионом и предателем. Он же прекрасно знает, что это чушь.

– А про все остальное, в чем он вас обвиняет, не знает, что ли?

Это тоже чушь, ложь на лжи и ложью погоняет. Но у каждого из них, как я понимаю, есть план, и надо его выполнять, от этого их благополучие и карьера зависят. План по буржуазным националистам и антисоветским элементам ваш следователь, наверное, выполнил, а может, и перевыполнил. Со шпионами, предателями, диверсантами, террористами тяжелее. Вот он и ложится костьми, чтобы приписать вам шпионаж. Спросите, с чего я взял? Сидел я тут в одной камере с бывшим генералом из этого учреждения. Конечно, он не все мне рассказал. Но я и так достаточно от него услышал, чтобы понять, с кем мы тут имеем дело, и что значит для следователя не выполнить план.

– Выходит, от меня не отвяжутся, пока я не сознаюсь в самых тяжких преступлениях, измене и шпионаже?

– Боже упаси! Я уверен, если не сдадитесь, рано или поздно от вас отстанут. Мой же отвязался, перестал надо мной издеваться, чтобы я подписал, что я агент «Джойнта», то есть американский шпион.

Полковник Шарль опять пришел Залману на помощь, дал книжку и, хотя день только начинался, на смеси русского с французским пожелал спокойной ночи, напомнив, чтобы Залман покрепче сцепил пальцы. Если книжка упадет, Залман подведет их обоих, и себя, и Шарля. Арон тоже не остался в стороне. Когда приближались шаги надзирателя, он локтем подталкивал Залмана, чтобы тот открыл глаза и перевернул страницу.

Какое надо иметь жестокое сердце, чтобы будить Залмана и разлучать с Элишей, вырывать у него ее теплую ладонь, которую он только что держал в руках…

Этим злодеем с жестоким сердцем был реб Арон. В кормушку уже дважды просовывалась голова надзирателя и спрашивала, у кого фамилия начинается на М.

Уже по тому, что за ним пришли не ночью, как обычно, а днем, и конвоир обращался с ним особенно грубо, с такой силой толкал кулаком в спину, что и упасть недолго, Залман понял: если он сегодня не сознается в шпионаже, то выползет от следователя со сломанными руками, ногами и позвоночником. Не лучше ли положить конец мучениям, бросившись в лестничный пролет? Наверняка многие так и поступали, поэтому в пролете и натянуты на каждом этаже стальные сетки. Теперь Залмана ведут по крыше, в первый раз там, где она

с одной стороны огорожена колючей поволокой. Вот бы пролезть через проволоку и, прежде чем караульный под козырьком заметит и преградит путь, добраться до края, за которым вечность…

– Стоять, сука! – конвоир еще выше поднял руки Залмана за спиной и опять пустил в ход кулаки, заставляя почти бежать.

К удивлению Залмана, хотя вчера он отказался подписать протокол, сегодня допрос начался как обычно: тихо, спокойно, даже с каким-то сочувствием.

– Как вы себя чувствуете?

– Спасибо, ничего.

Пройдясь туда-сюда по залитому солнцем кабинету, Евдокимов достал из сейфа вчерашний протокол и положил перед Залманом.

– Подпишите.

Готовый ко всему, что может его ожидать, Залман без колебаний, тверже, чем вчера, ответил:

– Я не подпишу.

В кабинет тихо вошел сутулый, низкорослый майор. Сразу видно, военную форму он надел недавно. Она висела на нем, как на вешалке. Майор ступал осторожно, широко ставя кривые ноги, будто боялся упасть. Залман встал, как всегда при появлении военного.

– Сидите-сидите, – махнул рукой майор, и не только Залману. Кажется, Евдокимов тоже собирался встать.

– Как следствие продвигается?

– Этот паскудник все не хочет протокол подписывать, товарищ начальник.

Залман ни на секунду не усомнился: майор знает, как продвигается следствие, и заявился сюда не случайно. Странно только, что майор занимает более высокую должность, чем подполковник. В том, как Евдокимов сказал «товарищ начальник», чувствовались и страх, и подобострастие, но сильнее всего – зависть: здесь хозяин – этот кривоногий маломерка, и очередную звезду на погоны он раньше получит.

– Что ж вы не подписываете, Залман Наумович? – Майор взял протокол, пробежал близорукими глазами. – Не понимаю, что вас не устраивает. Здесь очень мягко сформулировано: умышленно шпионажем не занимался.

– Я им вообще не занимался, гражданин майор.

– Не преувеличивайте. Что значит «вообще не занимался»? Вы же когда-то учили математику. Наверное, кое-что еще помните, хотя все знают, что писатели, а тем более поэты, математику не любят. Есть в геометрии такая штука – аксиома, постулат, не требующий доказательств. – Он достал из кармана блокнот, вырвал листок и провел на нем три одинаковых линии. – Вот вам три отрезка: А, В и С. Если В по длине равен А, а С равен В, значит, С равен А. Доказывать это – как доказывать, что три равно трем, а четыре равно четырем.

– Не понимаю, при чем тут я.

– Ну-ну. Все вы понимаете. Тут и понимать-то нечего. Если ваш Еврейский комитет, как известно, был не антифашистским, а антисоветским, шпионским центром, то произведения, которые вы предоставляли ему для иностранной прессы, разумеется, представляли собой определенный шпионский интерес. Одним словом, если В равно А, а С равно В, то С равно А. Значит, сотрудничая с комитетом, вы сотрудничали с иностранной разведкой.

– Я так ему и объяснял, товарищ начальник.

– А он?

– Заладил как попугай: «Шпионажем не занимался, подписывать не буду».

– Товарищ подполковник, раз такое дело, давайте заменим в протоколе слово «умышленно». Напишите: «Я не знал, что мои произведения могут быть использованы для шпионажа».

– В моих произведениях нет ни слова, которое можно использовать для шпионажа. Я не подпишу.

– Не торопитесь. Это вам не игра. Выберите сами, какой из двух ответов вам больше подходит. Его и запишем.

Оба ответа – горшки с огнем, но не те, которые у фараона поднесли младенцу Моисею. Такие ответы, как Залман слышал в камере, ведут к стенке.

– Так что вы выбрали?

В который раз Залман поневоле, и правда как попугай, повторил:

– Я никогда не занимался шпионажем. Почему вы хотите выставить меня шпионом? Сами знаете, я не…

– А кто ж ты? – со злостью перебил Евдокимов. – Подписывай, сука, предатель чертов!

– Я не могу это подписать.

– Жаль, Залман Наумович. – Майор подтянул смятые голенища. – Только хуже себе делаете. Хотел я вам помочь, но нет так нет. – Он вернул протокол Евдокимову. – Оставьте как было.

Зазвонил телефон.

– Подполковник Евдокимов. Так точно, майор Панкратов здесь.

Начальник взял у подполковника трубку:

– Слушаюсь, товарищ генерал, уже иду.

Повесив трубку на рычаг, майор Панкратов бросил Евдокимову:

– Отправляйте его, как мы решили.

В дверях он обернулся к Залману, но ничего не сказал.

Глава 57

Вместо того чтобы свернуть направо, в коридор, ведущий к лестнице со стальными решетками, а дальше – к камерам с глазками в дверях, конвоир повел Залмана прямо. Потом они спустились на лифте.

Куда его ведут, спрашивать бесполезно. Конвоир все равно не ответит, хотя вокруг никого, мертвая тишина. Да и зачем спрашивать, если и так ясно, что путь ведет в карцер. Шагая в сопровождении молчащего конвоира по сырому, темному туннелю, Залман просил у бога только одного: чтобы в карцере не было мышей и крыс.

В камере с маленьким зарешеченным окошком под самым потолком Залман будто заранее почувствовал холод, который ждет его в карцере, когда через скрытые отверстия в стенах туда начнут накачивать ледяной воздух. А может, это начнется сейчас…

Что сырой, слабо освещенный туннель ведет не только в карцер, но и в вечность, которой следователь не раз его пугал, Залман был наслышан от соседей по камере.

За все время глазок в двери открылся только пару раз. Но и этого достаточно, чтобы Залман не забывал: здесь тоже за ним следят, правда, может, не так внимательно, как наверху, в камере. Надзиратель из-за двери ни разу не приказал открыть глаза и подпереть голову рукой.

Когда Залман вошел сюда, еще был день, а теперь через зарешеченное окошко смотрела ночь – темная, угрожающе тихая, полная тайн.

Внезапно открылась дверь, и Залман увидел военного со звездочками на погонах. В руке офицер держал лист бумаги. Он пришел зачитать приговор! Сердце остановилось. Как в тумане, перед Залманом проплыл варшавский мальчик, который спрашивал у матери, когда их вели ко рву: очень больно, когда в тебя стреляют? Кажется, сейчас он спросит то же самое у офицера, который, конечно, не раз присутствовал на расстрелах. Но у него отнялся язык. Залман даже не мог спросить, зачем ему принесли из камеры обмылок, два сэкономленных кусочка сахара и оставшийся с обеда ломтик хлеба.

– Руки за спину! Выше!!

Через пару минут Залман увидел то же темное небо, что в окошке, но усыпанное звездами, далекими тусклыми звездами. Они таинственно перемигиваются друг с другом. И завтра будут перемигиваться…

– Налево!

Они вышли в окруженный стеною двор. Офицер подвел Залмана к машине, обычному фургону, в таких развозят по магазинам хлеб, колбасу, молоко. На этом было написано: «Сосиски».

Внутри фургон был разделен на очень маленькие, узкие клетушки. Вместо дверей – решетки, такие, что муха не пролезет, если залетит внутрь.

В одну из этих тесных – не повернуться – клетушек конвоир втолкнул Залмана. Высоко над головой, как спелая вишня, висела маленькая красная лампочка, роняя кровавые капли света.

Машина тронулась с места. Залман услышал, как открылись высокие кованые ворота. Сколько раз до ареста он проходил мимо них, но всегда отворачивался и ускорял шаг.

Когда фургон, выехав на асфальтированную улицу, перестал подпрыгивать на булыжной мостовой, Залман кашлянул, сперва чуть слышно, потом немного громче. Из клетушки справа кто-то слабо, хрипло покашлял в ответ, что, наверное, означало: «Вы тут не один, все клетушки заняты. Но куда нас везут, никто не знает…» Это тихое покашливание придало Залману сил, приободрило, как узников

гетто – песня времен немецкой оккупации: «Не говори, что ты идешь в последний путь…»

Который час? Если еще нет двенадцати, на улице должны попадаться прохожие. Но никому из них и в голову не придет, что в фургоне с надписью «Сосиски» на борту везут людей, которые задыхаются в тесных клетках…

Молодой конвоир, который крутился по машине, как тюремный надзиратель по коридору, вдруг остановился перед зарешеченной каморкой Залмана. Прошелся вперед-назад по машине, опять остановился, присмотрелся. Залман не удивился бы, если бы оказалось, что они знакомы. Парень мог видеть его на литературном вечере в Колонном зале или в Политехническом музее, где Залман однажды читал свои стихи в переводе на русский, или, может, конвоир узнал его по фотографии в каком-нибудь его сборнике. Кажется, парень что-то шепчет, но очень тихо, ни слова не разобрать. Отошел, огляделся и, уже громче, спросил:

– Вам воздуху не хватает? Дышать тяжело? Душно, наверное?

– Очень. – Видимо, он заметил, что Залман держится за сердце, и в конвоире проснулся человек.

Больше ничего не сказав, он отпер дверцу и покачал ей, создавая в клетушке легкий ветерок. Дышать стало легче, не столько потому, что в клетушку попало немного свежего воздуха, сколько потому, что Залман встретил здесь того, в ком зверь не окончательно убил человека. И, чтобы в этом убедиться, Залман спросил:

– Куда нас везут?

Парень помотал головой, показывая, что не может ответить, не имеет права, и опять закрыл дверцу. Но по его взгляду Залман понял, что сегодня в вечность не уйдет, как пугал его следователь. А может, конвоир взглядом попытался усыпить бдительность, скрыть правду, куда их везут и что их сегодня ждет… Если парень опять остановится перед его клетушкой, Залман попросит запомнить номер телефона и имя – Элиша.

Перед красным сигналом светофора машина не стояла бы так долго. Значит, приехали. Но куда? Сердце опять заболело, вот-вот остановится… Залман закрыл глаза, чтобы спрятаться от кровавых капель света, падавших с лампочки над головой. Дверцу открыл

тот же самый конвоир, но когда он скомандовал: «На выход!», его голос был голосом зверя.

Возле машины поджидал здоровяк в черном халате, как две капли воды похожий на того, кто в первую ночь на Лубянке, достав из кармана нож, приказал Залману раздеться и повернуться лицом к стене.

Руки опять завели за спину, здоровяк провел его по темному широкому коридору, где воняло хлоркой и кислой капустой, и втолкнул в бокс размером с клетушку в фургоне.

В коридоре переговаривались надзиратели, и Залман пару раз уловил давно знакомое слово «Бутырка». Значит, его перевели из Лубянской тюрьмы в Бутырскую. Это хорошо или плохо? Но в любом случае, как говорится, новое место – новая судьба.

Глава 58

Новое место, камера Бутырской тюрьмы, куда надзиратель за полночь привел доставленного из Лубянки Залмана Мандела, встретило его шконкой возле параши.

Ну, это ничего. Он уже привык к резкому запаху мочи и хлорки, от которого поначалу чуть не падал в обморок. Хуже, что пол в камере цементный, а не паркетный, как на Лубянке. Там, если допрос заканчивался под утро, у Залмана был способ хоть ненадолго прогнать сон. Спасителем становилась щетка. Засунув в ремешок босую ногу, он усердно натирал воском паркет, проходя по одному и тому же месту, наверное, раз десять. Может, бдительный надзиратель и догадывался, почему Залман так долго работает, но ничего не говорил, как в тех случаях, когда он слишком долго читал одну страницу. Что пол не паркетный, это, конечно, минус. Цементный пол воском не натирают. Зато, как Залман успел заметить за пару минут, по сравнению с Лубянкой есть и плюсы, причем немалые. Уже то, что не надо накрывать глаза полотенцем, дорогого стоит. Оплетенная проволокой электрическая лампочка в нише еле светит. Еще Залман обратил внимание, что кружки на тумбочках не стоят как на параде, в ряд и ручками к двери. Но первое, что бросилось ему в глаза, – спящие на шести шконках сокамерники держат руки не на одеяле, а кому

как удобно, и надзиратель за это не наказывает, не будит, тыкая через кормушку палкой.

Может, за пару минут Залман заметил не все, но что его новое жилище отличается от старого, видно было сразу. Во всяком случае, сожаления, что его сюда перевели, он не испытывал.

Изменит ли новое место его судьбу, покажет время. Но все-таки какая-то надежда есть, иначе его не перевели бы туда, где за несколько недель, с тех пор как он переступил порог этого мира, он сможет поспать, не следя, чтобы руки лежали на одеяле, и не закрывая глаза полотенцем от яркого электрического света.

Когда утром Залман высказал соседям по камере свои мысли о новой судьбе, ожидавшей его в новом месте, спрашивать, давно ли он сидит, они не стали. И так ясно, что это новичок, еще не знакомый с тем, что они уже повидали и здесь, в Бутырке, и на Лубянке, откуда перевели сюда их всех, кроме одного.

Его перевели из Сухановки.

Он был из Черновцов – молодой человек с черными еврейскими глазами и изможденным благородным лицом. Он сидел на краешке табурета, упершись локтями в колени, и что-то тихо бормотал, слегка покачиваясь. Один из сокамерников на всякий случай шепнул Залману, что парень приехал из Сухановки слегка не в себе, и, наверное, его отправят в психиатрическую больницу.

– Еврей? – Парень пригласил Залмана присесть рядом. – Даже, говорите, еврейский писатель? И как вас зовут? Не обижайтесь, что ваше имя мне не знакомо. До войны советские еврейские книги к нам в Буковину, то есть в Румынию, почти не попадали, как, наверное, и наши книги к вам. – Он указал взглядом на мужчину без шеи, с головой, растущей прямо из плеч. – От этого держитесь подальше. По-моему, он наседка. Его фамилия Штейн.

– Еврей?

– Ага, еще не хватало. Нас тут и без него большинство. Непонятно. Ведь Россия огромная. Почему же во всех камерах, где я сидел, наших всегда оказывалось больше половины?

– Просто случайность.

Но Залман совсем не был в этом уверен. На Лубянке почти во всех камерах, где он сидел, евреев тоже было большинство. Залман много

об этом думал и пришел к выводу, что на евреев идет охота. Сезон открыт.

– Черт его знает. Может, и еврей, но выдает себя за немца. Хотя… Мне не нравится, что он прикидывается большим другом еврейского народа, без конца Израилем восхищается. Одним этим он у меня подозрение вызывает, меня ведь из-за Израиля посадили.

– Думаю, вы не единственный, кто из-за Израиля пострадал.

– Да, но меня заподозрили в шпионаже в пользу Израиля. Когда оповестили весь мир, что в Палестине создано еврейское государство, я послал туда телеграмму, поздравил с великим событием. А наша черновицкая почта отправила ее не в Израиль, а на Лубянку. А раньше, когда Черновцы принадлежали Румынии, я был учителем иврита в еврейской школе, вот на Лубянке и заинтересовались. Короче, на другой день после ареста меня привезли в Москву, пару месяцев продержали на Лубянке и отправили в Сухановку. – Молодой человек опять покосился на немца. – Что он вам обо мне шепнул? Что у меня не все дома? Это потому, что я его избегаю, не хочу говорить с ним о евреях и Израиле. Не слушайте его, я пока, слава богу, в своем уме. Правда, в Сухановке чуть-чуть не хватило, чтобы меня в сумасшедший дом отправили. Вдруг мне стало казаться, что в соседней камере мучают мою жену. Я слышал ее голос, ее крики. И так каждую ночь. В конце концов я не выдержал и все подписал.

– Все? Даже что вы шпион?

– Ну, почти все. А от вас чего хотят?

– Примерно того же. Чтобы я сознался, что я американский шпион.

– И вы сознались?

– Боже упаси. Хотя пытали неслабо. А остальные евреи здесь – это кто?

– Вон тот, в черных брюках и желтых ботинках, – это Зальцман. В американском посольстве служил. Выкрал из кабинета какой-то документ, и те, кто его туда подослал, сразу его отозвали и посадили. Ну, посадили и посадили, за таких я не переживаю. Другой – профессор Московского университета. Леонид Пинский. Большой ученый. Он точно ваши книги читал. Много языков знает, в том числе идиш и иврит. Просто по глупости сел. В последнее время он вел дневник,

и дифирамбов советской власти там не было… Впрочем, думаю, он сам вам расскажет, как его дневник попал на Лубянку.

Открылась кормушка, и надзиратель, тот самый, который ночью привел Залмана в камеру, приказал готовиться к прогулке.

Уже то, что здесь гуляли не по крыше, а внизу, во дворе, показалось Залману преимуществом нового жилища. Не важно, что огороженная часть двора, куда вывели заключенных, полностью заасфальтирована, ни единой травинки. Все равно чувствовалась близость земли, ее дыхание. На Лубянке земля была где-то далеко-далеко…

Глава 59

Первое утро, встретившее Залмана на прогулке в Бутырке, было прозрачно-ясное. Солнце сияло высоко в голубом небе, ни для кого не жалея своего золота. Кажется, Залман никогда так не чувствовал его слепящей красоты, а солнце никогда не пробуждало в нем такой тоски, как сейчас.

Залман гулял в паре с черновицким учителем. Они держались от немца в стороне, хотя в их разговоре не было ничего опасного. Они говорили о темно-синем жучке, который лапками кверху лежал прямо у них на пути. Один неосторожный шаг, и раздавишь. Оба удивлялись, как жучок сюда попал. Площадка, где они гуляли, окружена высокой кирпичной стеной, и в асфальте ни одной трещинки. Каждый раз, когда приближались к жучку, они на секунду беспомощно останавливались, не зная, как ему помочь. Больно было смотреть, как он мучается, из последних сил пытаясь перевернуться. Нетрудно ему помочь, но для этого надо наклониться.

Надзиратель, который вывел заключенных на прогулку и внимательно следил за ними, заметил, что Залман и Мойше, как звали черновицкого учителя, на одном и том же месте останавливаются и что-то рассматривают под ногами. Подошел и, увидев, как живой жучок из последних сил пытается перевернуться, наступил на него и носком начищенного до блеска сапога отбросил в сторону.

– Видели, с какой злобой он его раздавил? В чем несчастный жучок перед ним повинился?

– Жучок? – переспросил Залман. – А мы? Мы в чем провинились? В том, что мы евреи? – И сам себе возразил: – Хотя у нас в камере двое неевреев. Если хочешь, всегда найдешь, в чем человека обвинить. Один недолго в Лондоне служил, в нашем советском посольстве, второй, как я слышал, у немцев был в плену.

С вышины послышался приглушенный шум самолета. Залман поднял голову и подумал о том же, о чем не раз задумывался, гуляя по крыше на Лубянке: вот бы схватиться за самолет, улететь с ним в небеса и никогда не возвращаться на землю.

Мойше такие нелепые мысли в голову не приходили. Его волновало другое:

– Где сейчас моя Шифра? Неужели ее тоже посадили? Она ведь ни в чем не виновата, телеграмму в Израиль не подписывала, только я. Но мне до сих пор кажется, что в Сухановке я слышал ее крики. Там что угодно может померещиться. Недолго с ума сойти. Смотрите не попадите туда.

– А что, это от меня зависит? – спросил Залман.

– Не совсем, разумеется, но отчасти. Чтобы было понятнее, расскажу вам одну старую историю о помещике и арендаторе. Здесь, в Бутырке, слышал от одного адвоката, по фамилии Штивельман. – И Мойше почти запел, как над Талмудом: – Ваякум мелех ходош… Думаю, еврейскому писателю перевод не нужен.

Залман хотел возразить: есть два типа еврейских писателей, советские и дореволюционные. Советским перевод как раз нужен. Не всем, но большинству. Вместо этого он сказал:

– Во всяком случае, мне – нет.

А больше переводить было и нечего, дальнейшее Мойше рассказал почти целиком на идише:

– Кроме полей, лесов и всего остального, «новый царь», молодой помещик, получил в наследство корчму, которую арендовал некий еврей, то ли Янкл, то ли Зорах, какая разница. Возвращаясь со своей свитой с охоты, завернул молодой помещик в корчму, подозвал арендатора и говорит: «Через две недели я с соседями-помещиками снова буду с охоты ехать. Хочу завернуть с гостями к тебе в корчму, а ты приготовь царскую трапезу. И если на столе чего-нибудь недостанет, выпорю тебя у всех на глазах».

Недели через две гости во главе с молодым помещиком по пути с охоты заехали в еврейскую корчму.

Зажег арендатор все лампы, что у него нашлись. Стол просто ломился от яств. Чего там только не было! И закуски, и вина, которых в тех краях не то что не пробовали, в глаза не видали.

Наелись, напились, подзывает молодой помещик еврея:

– А теперь подавай на стол картошку в мундире. Как? Ты картошки в мундире не приготовил? Предупреждал я тебя: если чего-то не найдется… Одним словом, ложись.

Бедный то ли Янкл, то ли Зорах снял штаны, лег голым задом кверху, и помещик у всех на виду его выпорол.

Это историю Залман уже слышал, и, кажется, от Рефоэла Охримова на встрече с его читателями в еврейском клубе «Коммунист» на Лесной. Охримов тогда жил за границей, в Америке, а в Советский Союз приезжал в гости. Рассказал он эту историю в связи с поркой, которую постоянно устраивал ему гениальный Эли Левадов за идеологические грехи в его произведениях. Например, вместо того чтобы сделать героиню одного из своих романов о Первой революции социалисткой, сражающейся на баррикадах, Охримов изобразил ее просто хорошенькой девушкой, в которую все влюбляются.

Но какое отношение эта история имеет к Сухановке? Залман не стал перебивать. Хотелось услышать концовку. Наверное, вся суть в ней.

Надзиратель уже пару раз посмотрел на часы, а то вдруг двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе продлится на секунду больше. Но по солнцу – единственным часам, которыми могли пользоваться заключенные – оставалось еще достаточно времени, чтобы закончить рассказ.

– Слушайте дальше, – продолжил Мойше, ни на полшага не отставая от идущих перед ними. – Прошло время, помещик опять вызвал к себе арендатора и сказал то же самое: через неделю-другую он поедет с гостями на охоту, на обратном пути они завернут в корчму, и если на стол чего-нибудь недостанет, пусть Янкл или Зорах пеняет на себя. Помещик всыплет ему так, что он долго сидеть не сможет.

На этот раз арендатор ничего не забыл. О картошке в мундире и говорить нечего. Три чугунка наварил.

После сладкого зовет помещик еврея и говорит:

– А жареную селедку приготовил?

– Жареную селедку? – изумился арендатор. – Нет, ясновельможный пан. Кто же после сладкого ест жареную селедку?

– Не твоя забота, так тебя и так. Не приготовил – ложись.

Отсчитал помещик еврею пятьдесят плетей. Прошло время – опять зовет арендатора, опять, говорит, на охоту поедет, потом со свитой и гостями – в корчму, и если на столе чего-нибудь не окажется, еврею несдобровать. Пятьюдесятью ударами не отделается.

И вот после охоты заворачивает помещик со всей свитой в еврейскую корчму.

Открывает помещик дверь, смотрит и ничего понять не может. В доме пусто, темно. В углу горит одна керосиновая лампа. Посредине стоит стол, а на столе голым задом кверху лежит арендатор.

– Янкл, что это? – разозлился помещик.

– Пан помещик, – отвечает еврей, – я же знаю, чем эта игра закончится. Все равно вы меня выпорете. Найдете, к чему придраться, как до сих пор находили. Так зачем мне в такие расходы входить?

Уже в камере, после прогулки, Залман спросил:

– И к чему это? Хотите сказать, если все равно накажут, зачем такие муки терпеть? Сразу во всем сознаться, подписать, и дело с концом?

– Боже упаси! – замахал руками Мойше. – Боже упаси… Но если дойдет до отправки в Сухановку… Там я подписал… почти все.

Фридрих Штейн, которого Мойше считал наседкой, подсаженной в камеру слушать и докладывать куда следует, о чем там говорят, кажется, прав: этот черновицкий парень, похоже, действительно не в себе. Один день сидит и молчит, как глухонемой, а на другой день у него рот не закрывается. Немец, возможно, знает древнееврейский язык, потому что от Мойше ни на шаг не отходит. И Залман – один из немногих еврейских писателей в стране, которые знают древнееврейский. В одной из своих статей о Залмане Манделе Эли Левадов даже назвал его древнееврейским автором в советской еврейской литературе. Но у Мойше сефардское произношение, и говорит он слишком быстро. Залман плохо его понимает. Хоть к немцу обращайся, чтобы перевел.

Мойше без конца повторяет, что его казнить мало. Залман попытался выяснить, в чем он так сильно согрешил.

– У Шифры моей спросите, в Сухановке… Она еще там. Я отсюда слышу ее крики. Ее ужасно мучают. Боюсь, чтобы ее не изнасиловали. Она у меня красавица.

Кончилось тем, что в один из дней, когда черновицкий учитель не мог замолчать, его забрали из камеры с вещами. Это означало, что он не вернется. Залман глубоко сочувствовал Мойше. Спросил у немца:

– Как вы думаете, куда его увезли?

– В дурдом, разумеется, куда же еще?

– С чего вы взяли? – прислушавшись к разговору, вмешался Леон Пинский, которому следователь на каждом допросе угрожал Сухановкой.

– А куда его могут увезти, если не в психбольницу? Не он первый, не он последний. На вашей шконке, геноссе профессор, до вас спал капитан морского флота, здоровяк и силач. Его тоже привезли из Сухановки, а потом отправили в лечебницу. Сухановка – страшное место, постарайтесь туда не попадать.

Хотя последние слова относились ко всем, ответил только Залман:

– И что для этого делать?

– Не спорить со следователем.

– Что значит «не спорить со следователем»? – опять вмешался профессор. – Все подписывать?

– Абсолютно все? – уточнил Залман и затаил дыхание.

– Не абсолютно, разумеется, – спокойно ответил немец. – Хотя любое следствие закончится так же, как у меня. Вы тоже все подпишете. Не здесь, так в Сухановке.

Глава 60

Через пару дней, после того как увезли Мойше, за час до обеда открылась кормушка и голова надзирателя объявила:

– На М.

На эту букву, как и в последней камере на Лубянке, начиналась только фамилия Залмана.

Что означает команда «слегка», объяснять ему было не надо. Как и напоминать, что, выходя из камеры, руки положено держать за спиной. К этому он был готов. Но после Лубянки Залман не мог не удивиться, что следователь вызвал его не ночью, а средь бела дня. Конвоир ни разу не прикрикнул, что Залман слишком низко опустил руки, и пока его вели по коридорам и лестницам с железными сетками в пролетах, он не слышал пугающих, диких звуков, только постукивание ключом о пряжку ремня, похожее на дробь дятла в лесу. И впрямь, новое место – новая судьба. Здесь все было по-другому. И тем более было бы по-другому, если бы с Лубянки, как обещали следователь Евдокимов и его начальник Панкратов, Залмана привезли не сюда, а в Сухановку.

Коль скоро новая судьба распорядилась отправить его не в Сухановку, не в Лефортово, а в менее страшную, как он слышал еще на свободе, Бутырку, Мандел не удивился, что в кабинете, куда привел его конвоир, он увидел не военного, а человека в штатском. Это еще больше успокоило. Следователь чем-то напоминал двух одетых в штатское молодых людей, которые на Лубянке по очереди приходили в бокс, где сразу после ареста его заперли на несколько часов, и спрашивали, как его зовут. И приказывали говорить тихо, почти шепотом. Он так приучился шептать, что потом следователь даже спросил, где он застудил горло.

Окно было занавешено до половины, но света хватало, чтобы Залман разглядел, как следователь одет: светлый костюм в клетку, белая накрахмаленная рубашка, пестрый галстук, желтые туфли с острыми носками. Белокурые волосы расчесаны на прямой пробор, пожалуй, слишком широкий. Круглое лицо чисто выбрито. Создавалось впечатление, что молодой человек собирался в гости, скорее всего, к женщине, и по дороге заскочил сюда на несколько минут.

– Садитесь. – Хозяин кабинета указал на табуретку и столик у двери.

Голос негромкий, спокойный. Залман даже подумал, что столик и табурет не прибиты к полу.

Больше не сказав ни слова, хозяин кабинета достал из сейфа

несколько исписанных листов бумаги, пробежал их глазами и положил перед Залманом.

– Подпишите.

Залман растерянно посмотрел на человека в штатском и только теперь заметил, что у него точно такие же голубые веселые глаза, как у майора Мешигене Коп.

– Вот перо.

Если бы табуретка не оказалась прибита, Залман просто отодвинулся бы от столика. Это единственное, чем он мог ответить. Очень странно. Залман впервые видел такого человека. Ему еще ни слова не сказали, а он уже предлагает подписать заранее заготовленные протоколы.

Следователь, видимо, понял, о чем думает Залман, и с тем же спокойствием продолжил:

– Я вас не тороплю, можете еще раз перечитать, если хотите. Но, как нам известно, вы все это уже видели.

По первым же строчкам Залман понял, что читать незачем. Ничего нового. И все-таки прочитал протокол от начала до конца. Там несколько раз упоминались его имя и фамилия, но Залман не мог поверить, что это про него. Когда это он говорил следователю, подполковнику Евдокимову, и его начальнику, майору Панкратову, что Еврейский антифашистский комитет и еврейское отделение Союза писателей – шпионское гнездо, а он сам – шпион и изменник Родины? Как он мог такое сказать? Разве что в бреду. Но, скорее всего, бредил не он, а следователь, когда это записывал. В здравом уме человек такого не напишет. Это точно.

Задумавшись, Залман услышал знакомый внутренний голос: «Ты до сих пор ищешь в них подобие божие, пытаешься в ком-то из них разглядеть человека?»

И все-таки, кажется, в этом парне что-то человеческое осталось. Он не повышает голоса, не кичится знанием непечатных русских слов, пока ни разу не напомнил, что Залман слишком долго читает одну и ту же страницу, не рассказывает, что ждет арестованного, если он не подпишет потокол.

Нет, Залман не забыл, что примерно так же на первых двух-трех допросах вели себя следователи Евдокимов и Панкратов. Наверное, здесь так заведено. Но уж очень не хочется верить, что парень

в штатском такой же. Он отличается от всех, с кем Залман тут столкнулся за недели, с тех пор как его посадили.

Уже то, что вместо прежних следователей, которых он ожидал увидеть, он встретил этого вежливого человека в штатском, подсказывало Залману, что его и, может, не только его судьба изменилась, и, надо полагать, к лучшему. Наверное, там, наверху, увидели, что следователи перегнули палку, и послали этого человека разобраться и аннулировать фальшивые протоколы. А если бы Залман их подписал, то, как утверждали реб Арон и тайшетский лагерник Лейзер Элькин, дело закончилось бы для него стенкой.

Мандел настолько убедил себя, что уже ждал: сейчас тот, кто его сюда вызвал, заведет разговор о литературе, попросит почитать стихи и так проникнется его любовной лирикой, что разрешит увидеться с Элишей, встретиться с ней хоть на минуту, или, по крайней мере, скажет, где она.

– Прочитали?

Голос по-прежнему был спокоен, но Залман вспомнил, что он не в том мире, куда его только что унесли мысли.

– Я спрашиваю, – повторил следователь, – прочитали?

– Да. Вы правы, я уже не раз это читал.

– Тогда почему не подписываете?

Залман все еще видел перед собой человека и без страха ответил:

– Странно, что вы такие вопросы задаете.

– Почему?

– Вы и сами знаете.

– Откуда мне знать, если не я вел следствие?

В Залмане росла уверенность, что он не ошибся в этом человеке. Можно смело сказать, что он о нем думает.

– Если бы вы вели следствие, вы бы никогда такого не написали. Вы же понимаете, я не мог отвечать так, как здесь написано. Моя единственная вина, если это вина, в том, что я поэт и драматург.

Вместо того чтобы попросить почитать стихи, следователь так же спокойно и вежливо сказал:

– Все-таки советую вам подписать протокол.

То же самое советовал Панкратов, но при этом угрожал карцером и Сухановкой. А этот ни словом не упомянул, что ждет Залмана, если

он не подпишет, и Залман опять на секунду забыл, где он, кто он, и заговорил с хозяином кабинета на равных:

– Скажите честно, если я подпишу, вы поверите в то, что здесь написано?

– Странные вопросы задаете, Залман Наумович. Кроме того, вопросы здесь задаем мы, ваше дело отвечать. Так вот. В последний раз спрашиваю, будете подписывать?

Голос стал строже, но угрозы в нем не слышно, и Залман сделал вывод, что следователь разрешает ему говорить не как положено по протоколу, а как он считает нужным.

– Нет. Ни в коем случае.

– Дело ваше. – И добавил будто не для Залмана, но так, чтобы он запомнил: – Смотрите, как бы потом не пожалеть.

И даже после этого Залман не перестал видеть в нем человека, правда, уже не так, как несколько минут назад. За эти минуты в нем на мгновение промелькнуло что-то от лубянских следователей. И все-таки с ними не сравнить. В Евдокимове и Панкратове человека не разбудишь, сколько ни старайся. Они окончательно убили его в себе, ни следа не оставили. Похоже, тут все такие. По крайней мере, о тех, с кем Залман имел дело, и о тех, про кого слышал от сокамерников, он может сказать это наверняка. Непонятно, как тот, кого Залман видит сейчас перед собой, смог выстоять, сохранить в себе человека. Даже если не совсем, то это простительно.

Уже сколько недель, как Залмана арестовали, а он до сих пор не избавился от писательской привычки: наблюдать, подмечать, копаться в человеческой душе, добираться до ее самых затаенных уголков. Что в человеке есть душа, дарованная ему при рождении тем, Кто живет во всем и во всех, Залман никогда не перестанет верить. Он боялся говорить об этом открыто, так же как боялся сказать, что глупо и смешно называть писателей инженерами человеческих душ. Если кто-нибудь и достоин этого звания, то только он – Сталин.

Что на это ответил бы тот, кто сидит перед Залманом с пером в руке, склонившись над листом бумаги? Вежливый мужчина в штатском для Залмана по-прежнему загадка. Только чтобы спросить, подпишет ли Залман протокол, который еще две недели назад состряпали следователи с Лубянки, он не стал бы его вызывать. Неужели ему

невдомек, что, если там, на Лубянке, перед этими двумя бандитами, Евдокимовым и Панкратовым, Залман не подписал, что он шпион и предатель, то здесь тем более не подпишет?

Теперь Залман убедился, что не ошибся в этом человеке. Вместо протокола, привезенного с Лубянки, он положил на столик протокол, написанный здесь, при Залмане.

Прочитав, Залман расписался без колебаний. Все так, как он говорил. Ни один ответ не искажен. Для Залмана больше не загадка, кто такой хозяин кабинета. Вверху на протоколе указано, что он полковник, старший следователь Чернышов. Только теперь Залман заметил, что у его нового следователя, более высокого по званию, чем двое предыдущих, очень красивые, ухоженные руки с точеными пальцами.

Спрятав подписанный протокол в сейф и достав оттуда новый лист, Чернышов, как бы между прочим, спросил:

– Юнгача знаете?

– Писателя? – уточнил Залман, будто мог знать еще какого-то Юнгача. – Ну конечно. После войны осталось не так много еврейских писателей, чтобы я кого-нибудь не знал.

Выдержав паузу, Чернышов спросил без особого любопытства:

– Что можете о нем сказать?

– Как о писателе?

– И как о писателе тоже.

Залман смутился:

– К сожалению, не читал его произведений.

– А не о произведениях что рассказать можете?

– Собственно, ничего. Я с ним очень мало знаком.

– Совсем рассказать нечего? – переспросил Чернышов, подперев рукой голову. Из рукава пиджака в луче вечернего солнца сверкнула позолоченная запонка. – Что ж, я вам напомню, что сказал Хаим Юнгач, когда в Литературном клубе вы обсуждали, как получить гонорары, которые закрытое еврейское издательство «Дер эмес» должно было вам по договору. Как Юнгач назвал одно из членов Политбюро?

– Я же все подробно рассказал подполковнику Евдокимову.

– Хорошо. А теперь расскажите мне. Заодно постарайтесь вспомнить всех, кто при этом присутствовал. В протоколе не все указаны.

Спрашивать у полковника, даже если бы позволялось задавать следователю такие вопросы, с чего он взял, что в протоколе перечислены не все, было незачем, коль скоро тогда присутствовал Яша Розен!

Дав подписать второй лист, Чернышов вызвал конвоира и отправил Залмана в камеру.

– Ну, как вам первый допрос на новом месте? – спросил профессор Леонид Пинский. – Не подвела новая судьба, изменилась к лучшему, как вы ждали?

Мандел не ответил. Просто не знал, что ответить. Что он может сказать о новой судьбе, если допроса как такового не было? Но одно то, что Залману больше не придется встречаться со своими прежними следователями, а новый следователь старше по званию, уже кое-что значит. По первой встрече понятно.

Глава 61

Почему?

Почему для Залмана сделали исключение? Не его среди ночи поднимают со шконки, не ему надзиратель через кормушку дает команду «слегка».

Пойди пойми, если во всем, что происходит и здесь, и там, по ту сторону решетки, нет не то что логики, но даже следа здравого смысла. Но с тех пор как Залман попал в Бутырку, его только раз вызвали к следователю, причем не ночью, а средь бела дня, и после этого прошла уже не одна неделя. Залман может вызвать у сокамерников подозрение, как немец, которого несколько дней назад забрали и не привели обратно.

Больше всех, как кажется Залману, его подозревает профессор Пинский. Неспроста Леонид Пинский однажды спросил, как он объяснит, например, что его, древнееврейского поэта, как назвал Залмана гений Эли Левадов, оставили в покое и не вызывают к следователю. При этом другой сокамерник как бы мимоходом заметил, что Штейна, немца, тоже редко вызывали на допрос, и, как правило, в дневные часы.

Что Залман мог ответить, если сам ничего не понимал?

На Лубянке его вызывали к следователю чуть ли не каждую ночь, и почти всегда он возвращался с допроса избитый. Не иначе как за то время, что он сидит в Бутырке, в который раз говорил себе Залман, наверху что-то изменилось к лучшему, и особенно для наиболее пострадавших – евреев. Залман увидел это на первом и единственном допросе. Новый следователь Чернышов не задал ни одного вопроса о шпионаже и измене, ни разу не назвал Еврейский антифашистский комитет антисоветским комитетом, как следователи на Лубянке. Отсюда при желании можно сделать вывод, что до властей, может, даже до самого царя наконец-то дошло, что с евреями перегнули палку, и еврейским писателям, да и не только им, следователей поменяют на таких, как Чернышов – доброжелательных, честных людей. Об этом говорит поведение Чернышова на допросе: он Залмана пальцем не тронул, ни разу голоса не повысил. А главное, не настаивал, чтобы Залман подписал старые протоколы с обвинениями в шпионаже и измене.

Выслушав все это, Пинский, который не мог сказать того же о своем следователе, только головой покачал, что означало: не обольщайтесь. Глупости, ничего не изменилось. Например, следователь Пинского и теперь поднимает на него руку, не дает спать, угрожает, что посадит в карцер, если Пинский не признается, куда дел дневник, где описывал преступления советской власти против интеллигенции, особенно писателей, и обвинял ее в смерти поэтессы Цветаевой, которую он ставил выше талантливейшего поэта эпохи.

Действительно, куда Пинский задевал дневник, после того как забыл его на кафедре, а какой-то студент или аспирант переписал несколько страниц и отправил сюда? По вопросам следователя нетрудно догадаться, что из дневника переписали и те страницы, где говорится о гибели Шлойме Бен-Михоэла и арестованных еврейских писателях. Чтобы Залман не удивлялся, почему профессор Московского университета, который занимается творчеством европейских и русских классиков, заинтересовался горсткой еврейских писателей, Леонид Пинский рассказал, что успел пару лет поучиться в еврейской школе.

И все-таки Залман удивился, когда Пинский, выслушав его хвалы Чернышову, ответил:

– Вас послушать, так этот Чернышов – больший праведник, чем хасидский ребе из рассказа Переца «Если не еще выше».

Подольше поговорив с Пинским, Залман убедился, что ему опять повезло. На Лубянке его соседом оказался кременчугский глава ешивы Арон, а здесь, в Бутырке, – московский профессор, которому не чужда еврейская литература, хотя он занимается западноевропейской. Впрочем, удивляться нечему. Леонид Пинский напоминал профессора Исаака Ниссенбаума, большого знатока не только мировой, но и еврейской литературы, чем он гордился, как гордился своим еврейским именем знаменитый артист Большого академического театра Хромченко. Вдруг Залман вспомнил, как однажды случайно попал на концерт в студенческом клубе Горной академии на Калужском шоссе. Когда ведущий объявил, что сейчас будет выступать известный певец Большого академического театра Семен Хромченко, тот сразу поправил: не Семен, а Соломон.

– Боюсь, – закончил Пинский, – то, что вас столько времени не трогают, – это затишье перед бурей.

Залман и сам это знал. Каждую ночь ждал вызова на допрос, хотя на встрече с новым следователем ничто не предвещало бури, о которой говорил профессор Пинский. И все-таки Залман не понимал, почему Чернышов так долго его не вызывает. Ведь не было ни одной ночи, чтобы через час-другой после отбоя не открылась кормушка, и вертухай не разбудил всех сокамерников, спрашивая, у кого на какую букву начинается фамилия. А потом одного уводили туда, откуда и здесь, в Бутырке, редко возвращаются своим ходом.

Сегодня, кажется, сбудется пророчество Пинского. С чего Залман это взял, он и сам не смог бы ответить. Просто чувствует, что надзиратель, который возится с кормушкой, сейчас назовет букву М. Залман уже приготовился встать и начать одеваться, но вдруг услышал, что надзиратель отпирает не кормушку, а дверь. Видно, будет шмон. Парни в черных халатах, с электрическими фонарями в руках, начнут сдергивать людей со шконок и обыскивать с головы до ног. Потом будут шарить в тумбочках и под матрацами, простукивать стены, пол и потолок. Залман уже видел такое. Это было на Лубянке,

когда Илюша принес в камеру обрывок газеты, ловко украв его со стола у следователя. Залману бояться нечего. Ни одного слова из всего, что он здесь непонятно зачем сочинил, он не записал. Все хранится у него глубоко в памяти.

Но вместо парней в черных халатах и с электрическими фонариками Залман увидел в дверном проеме человека с узлом в одной руке и сложенной раскладушкой в другой. Он и шагу сделать не успел, как дверь захлопнулась.

Вошедший растерянно озирался, не двигаясь с места.

– Чего вы ждете? – Пинский приподнял голову и указал на свободное место возле своей шконки. – Ставьте раскладушку и ложитесь.

Но вошедший все стоял, испуганно глядя в сторону Залмана.

– Что вы так на него смотрите? Вы знакомы? – спросил Пинский.

Услышав этот вопрос, Залман оторвал голову от подушки и сел, потрясенный. У двери стоял Хаим Юнгач, о котором на первом и пока единственном допросе его расспрашивал Чернышов, видимо, недовольный ответами, записанными в протокол Евдокимовым.

Увидев Юнгача, Залман сперва подумал, что это случайность, просто камеры перепутали, по ошибке отправили Хаима туда, где сидит еврейский писатель Залман Мандел. Но такого здесь не бывает. Никогда. Значит, Хаимку, как его за глаза называли в литературных кругах, хотя он уже далеко не мальчик, посадили сюда специально, чтобы он вел с Залманом разговоры о геноциде евреев, об арестованных и еще оставшихся на свободе еврейских писателях. Правда, Хаимка – не Яша Розен, но и с ним надо быть поосторожнее, Юнгач не раз давал Залману повод так о себе думать, особенно после того как припугнул, что могут полететь головы, если кто-нибудь узнает, что он сказал о близком соратнике Сталина. Впрочем, и до того Залман смотрел на Юнгача не иначе как на трепло, хвастуна и завистника…

Увидев Хаима Юнгача, Залман поспешил ему намекнуть: «Мы не знакомы!» Чтобы соседи не заподозрили, что это не совсем так, потому что вошедший все не сводил с него глаз, Залман небрежно бросил Хаиму:

– Мы вроде где-то встречались. Ваша фамилия случайно не… –

Он закашлялся, чтобы успеть придумать подходящую фамилию, и повторил, будто припоминая: – Ваша фамилия случайно не Федерман?

– Нет, моя фамилия Юнгач.

– Наверное, ошибся. Вы не были администратором в театре Станиславского?

Так же растерянно Хаим ответил:

– Никогда там не работал.

– А мне показалось… Значит, точно ошибся. Бывает. Ложитесь спать. Ночью нельзя разговаривать. Надзиратель накажет.

До глубокой ночи Залман не смыкал глаз, лежал и думал, почему Хаим оказался в его камере. Это явно неспроста.

Хаим тоже не спал. Он еще не совсем понял, чего добивался Залман, прикидываясь, что его не знает. На всякий случай утром, знакомясь с соседями по камере, Хаим не сказал, что он писатель, раз Залман зачем-то хочет, чтобы он это скрыл, но представился снабженцем. Отчасти это была правда. По молодости в своей родной Одессе он пару лет проработал по снабженческой части. Заодно Хаиму пришлось выдумать, из-за чего его посадили. Сгоряча в Елисеевском гастрономе сболтнул лишнего. В этом тоже была доля правды. С ним вполне могло такое произойти. Чтобы не вызывать подозрений, что они с Залманом знакомы, Хаим старался не смотреть в его сторону.

Только после завтрака, на прогулке в огороженном дворе, Хаиму удалось якобы случайно приблизиться к Залману и пошагать с ним в паре два-три круга. Прежде всего Хаим хотел понять, почему Залман делает вид, что они не знакомы. Но вместо этого спросил:

– Здесь бьют?

– Скоро от следователя узнаете. – И хотя по вопросу Залман понял, что Лубянка Хаима миновала, все-таки спросил: – Откуда вас сюда привезли?

– Что значит откуда? Из дома.

– Не с Лубянки?

– Нет. А что?

– Ничего.

Если Юнгача сразу привезли сюда, а не на Лубянку, значит,

не случайно его подсадили в одну камеру с другим еврейским писателем. А раз так, не зря он не доверяет Хаиму. И Залман быстро добавил:

– По крайней мере, меня тут пока пальцем не тронули.

– А в чем вас обвиняют? То есть не только вас, а нас, еврейских писателей?

– Это тоже от следователя узнаете. Он от вас скрывать не будет, – так же сухо, как раньше, ответил Залман.

Но Хаим не отстал:

– А все-таки?

Они прошли рядом уже несколько кругов, а он все не унимался с расспросами.

– Как вы считаете, – под конец спросил он испуганным, хрипловатым голосом, – они знают, что я тогда про маршала сказал?

К кому бы Хаим ни попал, любой следователь ознакомит его с показаниями Залмана, так что скрывать нет смысла.

– Да, знают. Меня об этом уже два раза спрашивали. И на Лубянке, и здесь.

– Яша донес. Его работа.

– Не возьмусь этого утверждать. Но могу сказать точно: про ваши угрозы, что чьи-то головы полетят, если ваши слова сюда дойдут, здесь не знают. Я об этом никому не рассказывал, а угрожали вы прежде всего мне, потому что я первый из всех, кто был тогда в ложе, отказался слушать ваши опасные высказывания.

Казалось бы, ночью Залман ясно дал понять Юнгачу: надо вести себя, будто они не знакомы, но избежать разговора не удалось. Что ж, придется его продолжить, но так же сухо и сдержанно. Если даже кто-нибудь за ними наблюдает, то ничего не заподозрит, не заметит, что они знают друг друга. И все-таки не стоит долго держаться рядом с Хаимом. Но за недели, проведенные за решеткой, Залман впервые встретил человека, от которого можно узнать об оставшихся на свободе еврейских писателях. А может, и об Элише. Хаим не раз видел их вместе, наверное, догадался, что она будущая жена Залмана. Раз Хаима привезли не с Лубянки, значит, между ним и Яшей Розеном разница невелика. Надо быть поосторожнее в словах. Но все равно не избежать расспросов и о близких друзьях, и о шапочных знакомых, с которыми Залмана сблизило жестокое время. Больше

всего Залману хотелось расспросить про Элишу, но он не упоминал о ней, ждал, что Хаим сам заговорит. Залман не сомневался: если он ее видел в последнее время, то расскажет обязательно.

– А патриарх-то наш, царство ему небесное, сумел выкрутиться. Его бы точно взяли, если бы вовремя не помер в своей постели.

– Кто? Меер Аренс? – Залман застыл на месте, как прибитая к полу табуретка в кабинете следователя. Идущий сзади слегка подтолкнул Залмана в спину, напомнил, что останавливаться нельзя. – Неужели умер прекрасный поэт, великий мастер еврейского слова, гордость нашей литературы?..

– Он был тяжело болен. Рак.

– Да, я знаю… А знаете, что его до болезни довело? Переживания. Он ужасно переживал, что за ним не приходят. Он считал, если так, значит, его творчество не воспринимают всерьез. Получается, он своими произведениями не заслужил стоять в одном ряду с арестованными писателями. Эх, Меер, Меер… Представляю себе, как Блюма страдает. Она, наверное, не ждала такого конца. На войне сына потеряла, теперь мужа. Такого человека потерять… Они прекрасной парой были, от бога.

– Его Блюма, как я понимаю, немного умом тронулась. Незадолго до ареста случайно ее на улице встретил. Волосы растрепаны, на ногах мужские ботинки, солдатские, шнурки развязаны…

Услышать такое о красавице Блюме Аренс было особенно тяжело. В голову пришла дикая мысль: а вдруг, не дай бог, что-то похожее случилось с его Элишей, поэтому Хаим о ней и не рассказывает. Ждет, наверное, чтобы Залман спросил.

Но Залман продолжал расспрашивать о писателях, которых, с тех пор как он сидит, тоже успели забрать.

Среди тех, кого назвал Хаим, кроме полутора десятка москвичей, были почти все киевские, кишиневские, вильнюсские, черновицкие, одесские, биробиджанские еврейские писатели. И не только писатели.

– Вы столько перечислили, что скоро, собственно, и брать-то некого будет.

– Не беспокойтесь. Они найдут. Ясно одно: пока не придут за Алтеркой, облава не кончится.

Залман на пару секунд опять застыл на месте. Не хотелось спрашивать Юнгача, с чего он это взял. Меньше знаешь – крепче спишь. Здесь так принято: я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Залман уже не раз это слышал. Да и что тут спрашивать? И так нетрудно догадаться: Хаим подозревает, что его арестовали из-за Алтерки, и, как видно по его словам, не собирается оставаться в долгу. Даже если все не совсем так, как думает Залман, сидеть с Юнгачом в одной камере не хочется. Если не спохватятся, что ошиблись, когда отправили Юнгача в камеру, где уже сидит еврейский писатель, которого обвиняют, надо полагать, в тех же самых преступлениях, наверное, Залману придется напомнить об этом своему новому следователю.

Глава 62

Так или иначе, говорить с Хаимом на еврейские темы в камере он больше не будет. Но во дворе, под открытым небом, хотя с Хаимом надо быть поосторожнее, почти как с Яшей Розеном, ему опасаться нечего. Там свидетелей нет. Правда, эти кирпичные стены тоже могут иметь уши. Поэтому Залман спросил очень тихо, еле слышно:

– Не знаете, а что с бывшими студентами закрытого Театрального училища? – Может, зря он об этом спросил, но ведь Хаим – единственный, у кого он может узнать про Элишу. Вдруг ее, не дай бог, из-за него тоже забрали. Самое нелепое, что можно услышать, это что и за студентов взялись. В чем их можно обвинить? Они же почти дети, только со школьной скамьи.

– Дети, не дети, но некоторые из них уже там же, где мы с вами.

– А кто, не знаете? – Голос Залмана задрожал. – Была у меня там студентка знакомая, Элиша Криштол. Наверное, вы ее видели со мной в Доме писателей или в комитете, на наших литературных вечерах.

– Конечно, видел. Только не знал, что ее так зовут. Она на свободе. Недавно встретил ее с Яшей Розеном. Кажется, этот молодчик не на шутку в нее влюблен. Он мне потом рассказал, что руководитель театра Вахтангова обещал взять ее к себе в Театральное училище. Но пока ничего не получилось.

– Этого следовало ожидать.

– Но ведь, представьте себе, трем другим режиссерам, чисто русским людям, удалось взять к себе трех еврейских артистов. Примадонна запрещенного ГОСЕТа, Этеле, теперь опять примадонна. Она в театре у Завадского.

Залман слушал и не слышал. Боже упаси. К Элише у него никаких претензий. Какое он имеет право предъявлять ей претензии? Она ему не жена. Даже если бы они успели пожениться, то это не по-настоящему, а только чтобы ей прописаться у него в комнате и законно жить в Москве. Трудно сказать, догадалась ли Элиша, что Залман в нее влюбился, да еще как влюбился! Он ни на что и не рассчитывал, кроме как понарошку и недолго побыть ее мужем. На большее рассчитывать глупо, он же почти в два раза ее старше. Но чтобы Элиша возобновила знакомство с Яшей, опять стала с ним встречаться, после того как Залман предупредил ее, что это за человек, – такого он никак не ожидал. Подробнее расспросить Хаима про Элишу Залман не успел. Двадцать минут истекли, и прогулка под незарешеченным небом закончилась.

Глава 63

Вернувшись в камеру, Залман ни словом не напомнил Хаиму о новости, которую от него услышал, будто она его совсем не заинтересовала, и он сразу о ней забыл, при том что она весь день мучила его, хотя он старался о ней не думать, пытался себя убедить, что придает ей слишком большое значение. Залман без конца спрашивал себя: какое значение все это имеет по сравнению с тем, что происходит в другой части мира, где он сейчас пребывает, там, где человек рано или поздно перестает быть человеком, превращается, как его прежние следователи, конвоиры, надзиратели, в зверя, дикого, кровожадного зверя, который доводит свою жертву, перед тем как ее растерзать, до состояния, когда кроме сна и лишней ложки каши ей уже ничего не надо?

Пока, слава богу, он до такого еще не докатился, как некоторые из тех, с кем он сидел на Лубянке и здесь, в Бутырке. Однако Залман

чувствует: он уже не тот, что раньше. Вот он опять обрадовался, что надзиратель среди ночи поднял со шконки не того, у кого фамилия на М, а того, у кого на Ю. И все-таки Залман не мог смотреть, как постоянно бодрый, элегантно одетый Хаим Юнгач, который на свободе хвастался, что близко знаком с большим начальством, чуть ли не со всеми оттуда на «ты», теперь, перепуганный, стоит у двери. Чего ему пугаться, если, как он заявил после встречи в Союзе писателей, от него зависит, полетят головы или нет? Ясно, что он переборщил с хвастовством. Но подозрение, что в Хаиме есть немало от Яши, не покидало Залмана. Он уверен, что там, куда среди ночи увели Хаима, ему сейчас припомнят неосторожное высказывание о ближайшем соратнике Сталина, видном члене Политбюро, и Хаим придумает, как отплатить Залману, хотя не от Залмана здесь узнали эту историю. Он только подтвердил, что примерно так и было. А как он мог это отрицать, если тогда рядом стоял Яша Розен?

Чем же, например, Хаим может ему отплатить, если он никогда не вел с ним откровенных разговоров? И все-таки Залман не уверен, что при Хаиме ни разу не сболтнул лишнего.

С допроса Юнгач вернулся уже после завтрака, но на прогулку не опоздал. Как назло, их камеру повели дышать свежим воздухом только перед обедом. У Залмана едва хватило терпения дождаться минуты, когда они с Хаимом уединятся, послушать, что тот расскажет про допрос, где наверняка спрашивали и про него. Попытку Хаима заговорить об этом в камере Залман сразу пресек, нарочно возобновив беседу с Леонидом Пинским о современной еврейской литературе, которая, по сравнению со старой, дореволюционной, как считал профессор, стала гораздо слабее. Ее основной недостаток Пинский видел в неправдоподобии, искаженном отражении реальной жизни. Просто приукрашивают. Это жизнь наполовину выдуманная.

– Меня удивляет, – возразил на этот раз Мандел, – что вы беретесь судить, да еще так поверхностно, о литературе, с которой, как я вижу, вы очень слабо знакомы.

– Дорогой мой, разве для этого необходимо прочитать все произведения? Достаточно ознакомиться с творчеством пяти-шести писателей, наиболее крупных, разумеется. Но этими недостатками грешит не только еврейская литература. Даже в великой русской

литературе вы едва ли найдете современное произведение, благодаря которому можно отменить суровый приговор, ради которого стоит торговаться со всевышним, как праотец Авраам ради Содома.

– И вы об этом в дневнике написали?

– Я же дневник для себя вел, а не для кого-то. От самого себя мне скрывать нечего.

Наверное, еще сильнее, чем Залман, прогулки ждал Хаим Юнгач, и как только их камеру вывели в огороженный угол двора, он сразу встал с Залманом в пару и да конца прогулки не отходил от него ни на шаг, наматывая круг за кругом.

Кроме профессора Пинского, идиша в камере никто не понимает, а Пинского можно не бояться, даже если он что-нибудь услышит. В своем дневнике он писал куда более опасные вещи. И все-таки Залман попросил Хаима, хотя у того и так хриплый голос, говорить потише.

– Вы, наверное, думали, следователь будет меня расспрашивать, что я наговорил про первого красного офицера? Вы ошиблись. Вернее, и об этом спрашивал, но так, мимоходом. Допрос был о том, чего я никак не ожидал. О добровольцах, которых комитет собирался отправить в Израиль, когда арабы напали на только что образованное еврейское государство. Тогда в комитет приходили молодые демобилизованные евреи, просили, чтобы их отправили на войну добровольцами, и комитет даже списки составлял. Я про это слышал, но так, краем уха. Я в комитет нечасто заглядывал. А вам, наверное, эта история с добровольцами лучше известна.

Если Залман скажет, что ничего не знает, Хаим, естественно, не поверит. Как Залман мог об этом не знать, если бывал в комитете чуть ли не каждый день? Тем более, как всем известно, он дружил с Бен-Шолемом. Бен-Шолем даже рассказал ему по секрету, что комитет отправил кому надо запрос, куда добровольцам следует обращаться, и оттуда ответили, чтобы составили и прислали список. Как только все прояснится, каждому записавшемуся сразу сообщат. Видно, список переправили сюда, если следователь о нем знает. И как было не подчиниться, если отсюда и приказали? Неужели умный, дальновидный Бен-Шолем с самого начала не понимал, не предвидел, к чему это приведет? Неспроста следователь Хаима расспрашивал.

Среди добровольцев было и несколько студентов Еврейского театрального училища. Он даже знает, кто именно. Натан сказал.

И все-таки Залман ответил:

– Впервые слышу.

– Серьезно? Вы же с Бен-Шолемом дружили.

– Представьте себе, никогда от него ничего подобного не слышал. Скажите честно, – Залман тронул Хаима за руку, – в связи с этим ваш следователь про меня ничего не спрашивал, вы с ним про меня не говорили?

– Нет. Про вас не вспомнили даже.

– Правда?

– Вы что, мне не верите?

– Боже упаси.

А что еще Залман мог ответить? С глазу на глаз он, может, и сказал бы: «Бросьте ваши штучки. Сами знаете, в писательских кругах у вас репутация не только хвастуна. Никто из нас вам никогда не доверял. Как можно доверять человеку, который чуть что угрожает, что головы полетят, он, видите ли, с большим начальством знаком? Думаете, я сразу не понял, почему вас со мной в одну камеру посадили? Тот, кто вас ко мне подослал, наверное, думает: если вы постоянно будете заводить со мной разговор на еврейские темы, я рано или поздно проговорюсь. Скажу что-нибудь, что пригодится следователям, которые занимаются здесь сфабрикованными еврейскими делами. Вы меня не убедите, Хаим, что на допросе, когда вас расспрашивали о добровольцах, вы не указали на меня, что я тот, кто может сообщить о них гораздо больше».

Так или иначе, в конце прогулки Залман повторил Хаиму то же, что дал ему понять ночью, когда тот стоял у двери с котомкой под мышкой: я не знаю вас, вы не знаете меня.

Глава 64

В тот же день после долгого перерыва Залман услышал, что вызывают на букву М, с которой начинается фамилия Мандел. Эту новость принес ему надзиратель через открытую кормушку сразу после

ужина, когда до команды «отбой» оставалось еще немало времени. Почему следователь вызвал его вечером, а не поздней ночью, когда нет сил оторвать голову от подушки, Залман не стал ломать голову. Что толку об этом думать, если логика тут не действует. Все, что здесь происходит, как Залман убедился еще в первые дни, противоречит здравому смыслу.

Залман был почти уверен, что так и будет, и не удивился, когда полковник Чернышов начал допрос не с уговоров подписать старые протоколы, где Залмана обвиняют в шпионаже и измене, а с того, о чем на прогулке говорил Хаим Юнгач: с добровольцев, которые приходили в комитет просить, чтобы их отправили в Палестину воевать с арабами, напавшими на молодое, только что созданное по решению Организации объединенных наций еврейское государство.

Услышав от следователя то же самое, что на прогулке от Хаима, Залман сразу подумал, что зря не предупредил Пинского держаться от нового соседа подальше, хоть тот и еврейский писатель. Яша Розен тоже еврейский писатель, причем гораздо более значительный, чем Юнгач. Но, собственно, а с чего Леониду Пинскому бояться Хаима, если он писал в дневнике все, что думал, в том числе и про то, как несладко живется евреям в советской стране, и немалая часть этих записей попала сюда, к ним в руки?

В который раз Залман слышит сегодня от Чернышова то же прозвище – Попугай, которое на Лубянке дали ему оба следователя, потому что он повторял одно и то же: «Я ни в чем не виноват, ничего не слышал, мне нечего рассказывать». Чернышов может сто раз назвать его попугаем, попкой, но ничего другого не добьется. Нет! Залман не отрицает, что дружил с Бен-Шолемом. Разумеется, Бен-Шолем рассказал бы ему об этом, если бы все было так, как утверждает следователь.

Вот если бы Залман мог, не таясь, рассказать следователю все, что знает, он не стал бы скрывать: в том, что еврейские парни изъявили желание ехать в Палестину, помогать евреям в борьбе с арабской агрессией, он не видит ничего дурного. Будь он сам немного моложе и здоровее, он, наверное, тоже записался бы добровольцем. Разве мало добровольцев отправилось отсюда в Испанию и Вьетнам?

Пусть Чернышов полистает газеты за тот год, когда в Палестине вспыхнула война. Сразу увидит, на чьей стороне было тогда советское государство.

Допрос, как и в тот раз, прошел без ругани, без криков, тихо, спокойно, что еще больше укрепило представление Залмана о новом следователе как о вежливом, воспитанном человеке, с которым иногда можно поговорить по-человечески, забыв, кто он и где служит. В такие минуты Залману очень хотелось рассказать ему историю про американского переселенца в Биробиджан, чтобы следователь понял, насколько фальшивы, надуманны обвинения, что Залман не был предан Родине, клеветал на партию и советскую власть. Хаим Юнгач, который случайно там оказался, может подтвердить, что Залман держался с иностранцем как положено в теперешние времена, особенно с приезжим из Америки, и разговаривал с ним как должно.

Произошла эта история, по которой видно, насколько Залман предан советской стране, где-то за полгода до закрытия комитета.

Однажды утром Залман заглянул туда не по делу, а просто знакомых повидать. В просторной приемной, где сидели машинистки, на диване расположились Хаим Юнгач и незнакомый мужчина, сразу видно, и не только по одежде, что иностранец. Хаим тоже был в заграничной одежде, которую американские евреи еще в войну присылали для советских еврейских писателей, но похожим на иностранца она его не делала. Уроженца Молдаванки по манерам сразу видно.

Чтобы покрасоваться перед иностранным гостем, Хаим панибратски махнул Залману рукой:

– Это наш известный литератор, великий еврейский…

– Хаим!..

– Ладно-ладно. – И все-таки повторил: – Великий еврейский писатель Залман Мандел. Наверное, мистер Можес, вы в Америке про него слышали. – И, не дожидаясь ответа, низким, хрипловатым голосом продолжил: – Писатель Залман Мандел недавно из Биробиджана. Он лучше, чем любой из нас, расскажет вам про Еврейскую область.

– А зачем ему это знать? – спросил Залман, приглядываясь к незнакомцу с черными-черными глазами и холеной бородкой.

– Потому что мистер Можес туда собирается.

– В гости или по делам?

– Не в гости и не по делам, – ответил сам мистер Можес. – Я еду туда навсегда. Чтобы там поселиться.

«С ума сойти! Интересно, кто его надоумил».

Залману пришлось приложить немалое усилие, чтобы по лицу было незаметно, о чем он подумал.

– И что, например, вы хотели бы у меня узнать? – спросил он американца, стараясь скрыть жалость и сочувствие.

– Раз я еду туда навсегда, хотелось бы услышать, как там живут.

– Как и везде. – Ответить иначе Залман не мог, даже если бы хотел. К разговору теперь прислушивались не только Хаим, но и все три машинистки. – Вы один туда едете или с семьей?

– Пока один. Жена и двое детей потом приедут. Я везу для Биробиджана подарок. Когда собрался в путь, я все продал, а на вырученные деньги закупил оборудование для небольшого металлургического заводика.

– Ну, что вам сказать, мил человек? – Залман заговорил громче, чтобы Хаим, который отодвинулся в сторону и начал флиртовать с хорошенькой машинисткой, слышал каждое слово. – Еврейская автономная область – прекрасный край, богатый. Все есть. Плохо только, что там евреев мало. – И тут же добавил: – Пока мало. Очень мало евреев, но это пока.

Потом Залман спрашивал себя, что помешало ему сказать этому приятному, жестоко обманутому человеку, чтобы он немедленно, пока у него не отобрали американский паспорт, возвращался, откуда приехал. Как взрослый человек мог позволить так себя обмануть? Неужели он не слышал, как там поступили с переселенцами, которых агенты ОЗЕТа и КомЗЕТа своими проповедями еще задолго до войны убедили приехать в Биробиджан из Аргентины, Бразилии, Америки, Литвы, Латвии и других стран? Почти всех иностранцев кого посадили, кого расстреляли, кого сослали в Сибирь на верную гибель, и никто даже не знает, где покоятся их останки.

Залман до сих пор не простил себе, что не рассказал об этом американцу. Он бы спас его. Что может быть благороднее, чем спасти человека от смерти? Слишком большую вину он тогда на себя взял. Грех, который ничем не искупить.

«Погоди, – лезла в голову утешительная мысль, – но с чего ты взял, что американец послушался бы, не решил, что ты врешь? Что не истолковал бы твои слова как клевету, не подумал, что ты ненавидишь свою страну, если говоришь про нее такое? Иди потом доказывай, что ты честный гражданин и никогда не говорил про свою страну ничего плохого. Напрасно ты теперь каешься и бьешь себя в грудь. Ты не мог ответить ему по-другому, и не потому, что боялся. Просто ты сам еще верил в справедливость происходящего, не сомневался, что так и надо, даже стихи об этом сочинял. Все писатели восхваляли власть, и ты восхвалял. Так что хватит каяться».

Когда Залман начинал об этом размышлять, ему вспоминался другой американец, тоже еврей, маленького роста, но мощный, кирпичную стенку развалит, если случайно плечом заденет. Какое-то время Залман часто встречал его в Совинформбюро, когда оно находилось в Куйбышеве, на улице Венцека. Американец постоянно болтался в коридоре, расстроенный и злой. Он оставался таким, даже когда ему находили какое-нибудь занятие, чаще всего – разрезать рулон упаковочной бумаги. Ничего особенного он не хотел. Только одного из двух: или пусть ему дадут постоянную работу, чтобы не голодать и не ночевать на полу без простыни и наволочки, или пусть вернут американский паспорт, который у него отобрали, как только он ступил на советскую землю, куда его заманили. Он лучше отсидит в американской тюрьме в два и даже в три раза дольше, чем ему полагается за нападение на полицейского во время анархистской демонстрации, чем останется здесь. Американец этого не скрывал, говорил открыто. Но в Совинформбюро все понимали, что его паспорт давно отдали другому, тому, кого отправили в Америку с каким-нибудь спецзаданием.

Наверное, так же поступили с Можесом: сразу отобрали американский паспорт. Ну и как бы американский переселенец вернулся домой, если кто-то другой уже отправился в Америку с его документами?

– Не спать! Слышишь?! Не спать!!

Секунда, не больше, и Залман вырвался из внезапно напавшего на него сна. Но чтобы убедиться, что за столом сидит Чернышов, а не Евдокимов, понадобилось куда больше времени. Уж очень голос

был похож на евдокимовский, такой же резкий и злой, и точно такая же интонация.

– Ну? Вспомнил? Чего уставился?

– Не понимаю, гражданин следователь, что я должен вспомнить. Я же все рассказал.

– Лжешь! Хитрить вздумал?

Это были не те слова, чтобы Залман тут же посмотрел на полковника по-другому, увидел в нем своего прежнего следователя Евдокимова, или Панкратова, майора с кривыми ногами кавалериста, или Мешигене Коп, но опять увидеть в Чернышове вежливого, воспитанного человека, после того как тот так грубо с ним заговорил, да еще перешел на «ты», Залман тоже не смог. Только поэтому он отвел глаза, когда повторил, что не лгал, говорил чистую правду.

– Чистую правду? – опять грубо перебил Чернышов, наверное, чтобы показать Залману, что не стоит искать среди них человека, что и в нем, в его теперешнем следователе, человека победил зверь. – Хватит хитрить! Сейчас в карцер пойдешь, если не расскажешь всю правду о завербованных добровольцах. С какими заданиями твой друг Бен-Шолем посылал тебя в Крым и Биробиджан? Имей в виду, нам все известно.

– Гражданин следователь, разрешите спросить. – Залман прекрасно помнил, как ответил ему его прежний следователь на Лубянке, Евдокимов, когда он попросил разрешения задать вопрос. Как Залман теперь понимает, с его стороны было очень необдуманно спрашивать, существует ли пролетарский национализм, если его обвиняют в буржуазном национализме. Но отступать, не задать вопроса, который Залман хотел для себя разрешить, было уже поздно. И зачем отступать, если он уверен: о добровольцах и о том, что Залман имел к ним отношение, Чернышов узнал от Хаима. Это Хаимка мстит Залману за то, что он слышал, как Юнгач высказался о члене Политбюро. Ведь Хаим предупреждал, что головы полетят, если здесь об этом узнают. Но эта история дошла сюда не через Залмана. В ложе тогда был еще Яша Розен.

– Так что вы хотели спросить? – Чернышов опять перешел на «вы», наверное, чтобы расположить к себе обвиняемого. – Не бойтесь, наказывать не буду.

– Я не боюсь, не в этом дело… – Все-таки Залман еще немного подумал, прежде чем спросить. – Как я понимаю, здесь ничего не делается просто так, все заранее продумано. Как же получилось, что в одну камеру посадили двух еврейских писателей? Неужели вы думаете, что, подсадив ко мне Юнгача, вы узнаете больше, чем я вам рассказал? Вы прекрасно понимаете, что больше мне рассказать нечего. – Тут у него вырвалось: – Наивно, даже глупо… – Но, увидев, что взгляд подполковника изменился, Залман поспешил добавить: – Я уверен, это сделали без вашего ведома. Вы бы такого не допустили.

– Допустил бы, не допустил бы… Не ваше дело! – Он надавил на кнопку, и кабинет вошел конвоир, тот самый, который привел Залмана из камеры.

– Ожидайте здесь.

Захватив серую папку, следователь вышел из кабинета.

Вернулся Чернышов нескоро. Конвоир, молоденький парнишка, вскочил и вытянулся по струнке. Чернышов принес какую-то бумажку. Он отдал ее конвоиру, и тот, подтолкнув Залмана в спину, куда-то его повел.

Минуты через три Залман понял, что его ведут не в камеру. Не доходя до лестницы с натянутой по бокам панцирной сеткой, конвоир повернул в длинный коридор. Из закрытых кабинетов доносились проклятия и ругань, прерываемые криками боли.

Конвоир подвел Залмана к столу, за которым сидела симпатичная блондинка средних лет с красивой прической. Конвоир протянул женщине бумажку. Блондинка доброжелательно посмотрела на Залмана, открыла регистрационный журнал, нашла нужную страницу, приложила широкую линейку к строке, где были указаны фамилия Мандел, полное имя и отчество – Залман Наумович, точное время, когда его привели из камеры к следователю и от следователя сюда, и так же доброжелательно сказала:

– Распишитесь, пожалуйста.

Когда Залман расписался, она протянула негромким, приятным голосом:

– Спасибо.

Залман не мог отвести от нее глаз, настолько удивительным было ее поведение. Он понимал, что это игра, на такой работе невозможно

сохранить доброе отношение к людям, и все-таки трудно было себе представить, что такая милая, приятная женщина, у которой, наверное, муж и дети, сидит тут по ночам и волей-неволей слушает матерную ругань, какую ему не довелось услышать даже от такого знатока великого и могучего русского языка, как Евдокимов. И разве можно спокойно слушать, как от боли кричат в кабинетах обвиняемые?

Дверь в кабинет напротив была приоткрыта, и Залман слышал, как другая женщина, которая вела там допрос, орала на обвиняемого, показывая знания непечатной русской лексики и угрожая тем же, чем Залману угрожали на Лубянке: что он больше никогда не прикоснется к женскому телу, причем со всеми подробностями. Залман не видел ее, но был почти уверен, что она похожа на эту, за столом. Если выйдет из кабинета, окажется такой же симпатичной и обаятельной.

За другим столом сидела еще одна, очень молодая, почти девочка, рядом с ней стоял парень в военной форме – здоровенный, крепкий как дуб. От него так и перло грубой силой. Боже упаси попасть в руки к такому следователю. Этот любого заставит подписать что угодно. От одного взгляда мороз по коже.

Здоровяк говорил очень тихо, но до Залмана все равно долетало каждое слово. Следователь спорил с девушкой. В регистрационной книге указано, что он начал допрос не в двадцать пятьдесят, а в двадцать один ноль семь. Получается, он потерял больше четверти часа. Наверное, для него это очень важно, если он торгуется за каждую минуту. Видимо, здесь такой же учет времени, как на заводе, но с одним отличием: здесь ничего не производят, не создают. Здесь уничтожают, причем самое ценное…

Вот теперь Залман начал понимать, почему допросы проводят в основном по ночам. Наверное, не только для того, чтобы мучить обвиняемых, не давая им спать, но и ради заработка. За ночную работу больше платят. Оплата зависит от того, как долго следователь продержал у себя обвиняемого. Сегодня Чернышов продержал его, как Залман успел прочитать в регистрационном журнале, с восьми вчера до пяти утра. Время, когда он в кабинете оставил вместо себя конвоира, а это час, не меньше, тоже, конечно, записывается на счет следователя.

Сперва эта мысль показалась Залману совершенно дикой, но она многое объясняла и избавляла от других мыслей, которые день и ночь не давали ему покоя, держали как в тисках.

Темный коридор, куда его привел конвоир, мигом избавил Залмана от размышлений. Заболело сердце, он начал задыхаться. Каждый шаг стоил невероятных усилий. От амбарных замков на дверях веяло могильным холодом.

До подъема еще далеко. Судя по записи в журнале, сейчас начало шестого. Но в этих камерах уже не спали. Из-за всех дверей доносился один и тот же приглушенный звук – стук костяшек домино.

– Кто здесь сидит? – вырвалось у Залмана.

Конвоир не ответил, только подтолкнул Залмана в спину, чтобы тот шагал быстрее, не задерживался.

Они свернули в другой коридор. Кажется, он ведет к камере, откуда Залмана вечером забрали к следователю.

Напрасная надежда. В камере, куда его привели, никого не было. Шесть пустых шконок. Залман выбрал одну, посредине, и рухнул на нее прямо в одежде. Тут же открылась кормушка.

– В карцер захотел?

Глава 65

Уже на другой день одиночество стало не таким мучительным. Не беда, что в камере не с кем словом перекинуться. Залман нашел выход. Как бы ни велика была власть надзирателя у двери, он не в силах запретить ему приводить в камеру персонажей задуманной драмы, одного за другим, и беседовать, спорить с ними. С утра понемногу собирается такая компания, что и рассадить негде. И так день за днем. А поговорить есть о чем. Просиди Залман в камере даже вдвое или втрое дольше, и то не исчерпал бы всех тем для разговора. А поговорить надо с каждым героем неоконченной драмы, задуманной еще на свободе. Он так и не выбрал для нее подходящего названия. Пока он условно называет ее «Вечная мера».

Главный герой срисован с зятя Бен-Шолема, Леона, который все бросил и добровольно отправился с женой и тещей в далекую

Сибирь, где ему каждый день нужно бороться за кусок хлеба, чтобы семья не умерла от голода и холода. Благородным женам декабристов, как бы тяжело им ни было, такая опасность все-таки не угрожала. Были те, кто мог им помочь. Но какой помощи могли дождаться Леон и его семья, если все их имущество описали, а тесть Бен-Шолем уже второй год за решеткой? Кто знает, не раз думал Залман, может, Бен-Шолем сидит здесь, в камере под амбарным замком, и по ночам стучит в домино.

О том, что происходит в пьесе с условным названием «Вечная мера», над которой Залман трудится с утра до вечера, спасаясь от одиночества, на бумаге не написано ни слова. Все записано в голове. Мойше Сморгонский, которого забрали много лет назад, еще во время первой чумы, читал для актеров свою знаменитую драму «Община согласна», насколько Залман помнит – а он тогда там был, – не с листа, а по памяти. И погибший на войне белокурый матрос Янкл Эльдин свою поэму «Веселые рязанцы», которая произвела на всех не меньшее впечатление, чем «Община согласна», тоже читал наизусть. И оба, и Мойше, и Янкл, клялись, что не записали ни слова. Но Залман не записывает своего произведения не только потому, что нельзя. Даже если бы он плюнул на запрет и сэкономил несколько листков туалетной бумаги, писать-то все равно нечем. Да и отобрали бы при первом же обыске.

Чаще чем с кем бы то ни было, причем вслух, во весь голос, Залман спорит с Создателем всего сущего, в Которого он никогда не переставал верить окончательно. Здесь его вера окрепла, хотя здесь еще труднее понять пути Господни. Почему Бог так обходится со своим народом, которому Он доверил Тору? Должен быть какой-то смысл в том, что такое происходит из века в век. Залман не может допустить, что в этом нет логики, другое дело, что пока никто ее не понял, не докопался до скрытого смысла.

Об этом Залман и спрашивает в молитве. Он сочиняет ее, как бердичевский ребе, на простом идише, беря себе в помощь строки своего любимого еврейско-древнееврейского поэта, как много лет назад его назвал Эли Левадов, который, может, сидит сейчас в соседней камере.

Боже, Ты мне больше дал, чем я тебя просил.
Ты, наверное, сам не знаешь, сколько дал мне сил.
Тихо-тихо песни я петь Тебе могу,
Тихо, как роса ложится ночью на лугу,
Тихо, как на небесах Твоих утро настает,
Тихо, как Твои птенцы готовятся в полет…

Сторож у дверей уже не раз просовывал голову в кормушку посмотреть, с кем разговаривает его единственный квартирант. Решил, наверное, что тот сошел с ума, и доложил куда следует. Но Залмана это не остановило. Он продолжал говорить с Создателем всего сущего.

Блуждающий по стене тонкий золотой лучик служил Залману часами. По нему он узнавал, сколько еще ждать скудного обеда, сколько еще мучиться до ужина, когда откроется кормушка, и в нее подадут немного жидкой каши на дне миски и кружку чуть теплого чая.

На десятый или одиннадцатый день, незадолго до ужина, когда золотой лучик вечернего солнца, прокравшись через решетку, указал, что из коридора вместе со звяканьем термосов на тележке скоро донесется теплое дыхание каши, открылась не кормушка, а дверь, и рядом с надзирателем Залман увидел молодого конвоира, похоже, того самого, что почти две недели назад привел его сюда с допроса. Залману приказали взять все его имущество: кусочек мыла, полбатона и немного сахарного песку, купленного в ларьке на квитанцию, выданную вместо денег, которые кто-то ему передал, наверное, Надя. Значит, можно не сомневаться: его переводят в другую камеру, возможно, обратно, туда, где он сидел. Ясно, что Хаима он там не застанет. Залман так и не понял, почему из той камеры забрали его, а не Юнгача. Губы невольно скривились в подобии улыбки, что означало: «Ну и дурак же ты! До сих пор логику ищешь?»

Путь домой, в прежнюю камеру, где Залман не довел до конца дискуссию с профессором Лейбом Пинским о близорукости еврейских писателей, шел по темному коридору, мимо камер с амбарными замками на дверях.

Теперь здесь стояла мертвая тишина. Ни звука. Непонятно, что это за камеры, и кого в них держат. Наверное, сумасшедших, людей,

у которых в голове все смешалось, которые превратили день в ночь, а ночь в день.

От мысли, что сейчас его запрут в одной из этих камер, у Залмана ноги подкосились. «Только не это! Господи, только не это!» – молился Залман. и молитва была услышана. Конвоир не останавливал его, даже подгонял. Только в конце коридора Залман глубоко вдохнул и медленно, будто экономя воздух, выдохнул.

За все время в Бутырке он был у Чернышова только два раза. Но запомнил, что на лифте к нему не поднимался. Его водили по лестнице наверх, а теперь везут на лифте вниз… Конвоир открыл дверь, и Залман сразу узнал помещение, огромное, как зал ожидания на Казанском вокзале. Тогда, перед тем как отвести отсюда в камеру, Залмана довольно долго продержали в темном, тесном боксе. Но едва Залман понял, что он в Бутыре, ему сразу вспомнилось: «Новое место – новая судьба». Все-таки Бутырку с внутренней тюрьмой на Лубянке не сравнить. Неспроста его сюда перевели и ни разу не подняли среди ночи, передали в руки гуманному следователю, который на допросах его пальцем не тронул, почти голоса не повысил, надеясь, наверное, что добром скорее убедит Залмана подписать протокол, потому что все, что Залман сочинял, а комитет посылал за границу, использовалось там со шпионскими целями. Ясно как день. А поскольку все равно не добились, чтобы он сознался и подписал протокол, что почти все, кто входил в комитет, даже те, с кем он и знаком-то не был, а просто видел там пару раз, буржуазные националисты и заклятые враги, его переводят на Сухановку, как на Лубянке, на последнем допросе, ему обещали подполковник Евдокимов и его начальник, кривоногий капитан Панкратов.

Залман представляет себе, что ждет его там, на новом месте. Он немало слышал про этот ад. Но что он может сделать? Сдаться? Боже упаси. Остается одно: просить Всевышнего, чтобы Он помог выдержать это испытание. И Залман в который раз слышит голос реб Арона: «Все ничего, но не дай бог сознаться в измене и шпионаже. Помните, тут дело не в вас, не во мне. На кону существование и честь нашего народа, который они хотят выставить предателем. Держитесь. Не сдавайтесь. Я буду за вас псалмы читать».

– Читайте, реб Арон, читайте.

Конвоир вытаращился на него. Наверное, последние слова Залман произнес вслух.

Молодой человек с тремя звездочками на погонах и подстриженными усиками под кончиком носа не дал Залману задержаться. Как только конвоир передал Залмана в его распоряжение, сразу повел его во двор.

Снаружи было довольно светло, небо еще не выпустило на свободу все звезды. Казалось, они выглядят здесь не так, как через решетку. Не так таинственно смотрят вниз.

Во дворе стоял фургон, такой же, как тот, на котором Залмана привезли с Лубянки. Но на том было написано «Сосиски», а на этом, большими, жирными буквами, – «Хлеб». Залман оказался в машине один, но его сопровождали два конвоира, оба огромные, как подпирающие стену колонны. Впрочем, ничего удивительного. От парня из Черновцов, с которым он недолго просидел в одной камере, Залман слышал, что в Сухановке и следователи, и надзиратели, и конвоиры – все по одной мерке: высокие, плечистые, мощные. Хилых там не держат.

Увидев этих конвоиров, Залман догадался, откуда они, и куда его везут. Только не понял, по какой причине его понадобилось переводить в Сухановку. Чернышов на допросах ему Сухановкой не угрожал. «Эх, мил человек, опять логику ищешь?»

Судя по шуму моторов и сигналам проезжающих автомобилей, они еще в центре. Сухановка от города далеко, часа два езды. Можно вздремнуть, конвоиры вроде пока не запрещают сидеть с закрытыми глазами.

Когда Залман проснулся, машина уже стояла во дворе с высокими железными воротами. Вместе с Залманом из фургона вышел еще один, тоже с котомкой в руке. Нет, это не Юнгач. Разумеется, Хаим Юнгач остался в Бутырке, в той же камере.

И думать нечего, это не Сухановка. Дело не только в том, что слишком быстро доехали. Залману хорошо знакомы и двор, и стены со множеством окон. Но все равно не хочется верить, что его опять привезли на Лубянку, хотя все говорит, что он не ошибается: и желтоватый паркет, и дикие звуки в коридоре, и грубое обращение конвоира. Он уже не раз поворачивал Залмана лицом к стене и заталкивал

в тесный бокс. А когда надзиратель, которому конвоир передал Залмана, отпер дверь камеры, сомнений вообще не осталось. Да, он снова на Лубянке. Непонятно только, что дальше. Ясно, что ничего хорошего. Но что он может изменить? Залман не властен над собой, с первого дня он будто под прицелом. С ним могут сделать все, что угодно. Абсолютно все.

В камеру вошел еще один, прижимая к груди котомку. Залман сразу узнал человека, которого вместе с ним – в одной машине, но в разных секциях – только что привезли из Бутырки. Скоро прикажут ложиться спать, до команды «отбой» остались считанные минуты.

Но Залман не забыл правил, которым обучил его Лейзер. Эти правила должен усвоить каждый, кого ждет лагерь: ты ничего не видел, ничего не слышал, и никогда не спрашивай незнакомого человека, кто он, откуда, какая статья. Такие расспросы сразу вызовут подозрение, а в лагере это очень опасно. Помня об этом, Залман даже не спросил, не довелось ли новому соседу сидеть с каким-нибудь еврейским писателем из Антифашистского комитета. Надо понимать, их посадили вместе не на одну ночь, познакомятся поближе – тогда все и прояснится. Залман даже не стал спрашивать, где его новый сосед задержался. Их же одновременно привезли, а свободных шконок тут достаточно. Но и этот вопрос мог бы вызвать подозрения.

Но, кажется, новый сосед еще не успел усвоить правила, которым Залмана обучил тайшетский лагерник, потому что, едва положив на шконку котомку, сразу подал Залману руку и представился:

– Игорь Быков. Художник.

Залман не стал тянуть с ответом, но сказал тихо, будто раскрывая секрет:

– Мандел. Залман Наумович Мандел. – И, не выпуская руки художника, добавил: – Писатель.

– Писатель? – напрягшись, переспросил Игорь, будто не расслышал.

– Вижу, вы пытаетесь вспомнить, что у меня читали. Не трудитесь. Моих произведений вы читать не могли, я по-еврейски пишу. Кое-что, правда, на русский перевели, но это давно было. И как драматурга вы меня, конечно, тоже не знаете. Мои пьесы только в Еврейском театре шли.

– Значит, вы не из тех писателей, которых превозносить надо, а иначе посадить могут, как со мной и случилось. Что, не верите?

Залман пожал плечами. Но, немного подумав, стоит ли продолжать неожиданный разговор, начатый художником, тихо сказал:

– Неужели уже до такого дошло?

– Сколько же вы сидите, если для вас это новость?

– Порядочно. Уже дням счет потерял.

– А я, можно сказать, только с воли. Еще месяца нет… За этот месяц с разными людьми посидеть успел, но с писателем впервые встречаюсь.

– А какая вам разница?

– Писатель – это все-таки не обычный человек. Он мыслит по-другому. видит по-другому. Раз судьба свела меня с писателем, хочется спросить. Только ответьте честно. Хотя не надо. Это может вам навредить. Мне-то уже бояться нечего, здесь и так давно знают, что мне не понравился роман «Бруски», и почему он мне не понравился. В нем написана неправда о коллективизации. Все приукрашено, приглажено. Насквозь фальшивая книга. Вот мое мнение о «Брусках». Кроме матери, я никому этого не говорил, но оказалось, нас подслушала домработница. Мы ее своей считали, она, можно сказать, выросла у нас в доме. Но донесла. А тут из меня сделали убежденного врага колхозов и всей советской власти. Кроме того, я унизил одного из величайших представителей советской литературы. Что скажете? Большей дикости и глупости представить невозможно.

Для Залмана это была такая же дикость и глупость, как для художника. Видимо, за то время, что он сидит, многое изменилось. На свободе он не слышал, чтобы сажали тех, кто осмеливается отзываться не так, как положено, об авторах произведений «Кухарка», «Бруски», «Зеленая улица», разве что это были евреи, поэтому, как все понимали, на них и набрасывались с такой злобой. Но ведь этот Быков – русский. Или Залман ошибается? По внешности судить нельзя. Чтобы избавиться от сомнений, он пренебрег наукой тайшетского лагерника и все-таки спросил нового соседа, не имеет ли тот отношения к евреям.

– В каком смысле?

– Как бы вам объяснить…

– Не надо объяснять, – помог ему Быков. – Я понял, о чем вы. Хотите знать, русский ли я на все сто? Да, на все сто. И отец, и мать русские. О моем отце вы, может, слышали. Он в истории партии упомянут. Был народным комиссаром сельского хозяйства в ленинском правительстве. Владимира Ильича я не только видел, на коленях у него сидел. Мне тогда шел четвертый или пятый год, но до сих пор помню. А мать вошла в историю Красной Армии. В Гражданскую была политкомиссаром.

– И несмотря на это, – не смог скрыть удивления Залман, – вам не простили, что у вас свое мнение о романе «Бруски»?

– Может быть, именно поэтому не простили. Сегодня на очной ставке с одним нашим старым знакомым я понял, что в нынешние времена лучше не иметь такой родословной, как у меня.

Надзиратель постучал в кормушку и приказал ложиться.

По тому, как Игорь Быков поставил кружку ручкой к глазку и положил руки на одеяло, Залман понял, что его сокамерник на Лубянке не в первый раз, и до команды «подъем» больше ни слова не сказал, хотя видно, что Быков слабо знаком с правилами и законами лагерной жизни. Иначе он при первой встрече не завел бы такого разговора и не рассказал бы столько о себе.

Поскольку Быков не утаил, где был два часа до того, как его привели в камеру, Залман уже не сомневался, что их обоих привезли на Лубянку с одной и той же целью. Значит, и Залману скоро предстоит очная ставка с кем-то из знакомых.

За ним не шли, но Залману не спалось. Он думал, с кем ему сегодня предстоит встретиться. Если с кем-то из арестованных писателей или членов комитета, то не важно, с кем именно. Он знает наперед, что услышит о себе от любого из них. На допросах его прежние следователи зачитывали отрывки протоколов, где о нем говорится. Во всех протоколах он выставлен ярым националистом, шпионом и изменником, впрочем, как и они. И все это без каких-либо доказательств. Удивляться, что они подписали протоколы, предъявлять им претензии может только тот, кто не переступал порог этого дома, не просиживал по несколько ночей, не смыкая глаз, на прибитой к полу табуретке в кабинете следователя, не истекал кровью, не возвращался с допроса с выбитыми зубами и сломанными ребрами.

А что, если тот, с кем ему предстоит встретиться, будет не из тюрьмы, а с воли? Кто это может быть из оставшихся на свободе? Яша Розен? Скорее всего, нет. Все, что Яша мог про него рассказать, он наверняка сюда уже сообщил. Следователь Евдокимов зачитывал ему отрывки протокола, хотя Яшиного имени не называл. Но это и не нужно, и так ясно, что это Яшины показания. А если не Яша, то кто? Алтерка?

– Алтерка? – чуть слышно переспросил себя Залман.

– Алтерка? – повторил через минуту и задумался.

Сколько Залман ни взвешивал и ни перевешивал, сколько ни мерил и ни перемерял, он не мог отделаться от подозрений, которые Алтер Гельберг вызвал у него во время последнего собрания кучки еврейских писателей, тогда еще остававшихся на свободе. Он запомнил почти слово в слово, что сказал ему Алтерка, когда мясник Сафролов разогнал еврейскую секцию Союза писателей и уничтожил еврейскую литературу: «До сегодняшнего собрания я еще сомневался, еще не верил, что наши писатели совершают такие грехи, за которые сажать надо. Но после того, что сегодня рассказал секретарь Союза писателей Сафролов, у меня малейшие сомнения отпали, что они виновны. Иначе их бы не посадили. У нас невиновных не сажают».

Что Залман ему ответил? Кажется, ничего, отделался молчанием, и Алтерка мог истолковать это по-своему: значит, Залман как раз верит, что невиновных тоже сажают, а это и есть еврейские писатели и члены Еврейского антифашистского комитета. Но что Алтерка тогда имел в виду, исповедуясь перед ним, Залман до сих пор не может понять до конца. И почему он для этого именно Залмана выбрал?

Но, как бы то ни было, больше Алтерке рассказать нечего. Какие еще грехи он может припомнить Залману?

Как сквозь сон, Залман вдруг услышал: «Шимен Дангар». Холод пробрал до костей. Будь у Залмана десять таких же одеял, как то, под которым он лежит, и то не согрелся бы. Если некто, с кем ему предстоит очная ставка, это Алтерка, то очень может быть, что он вспомнит историю с Шименом Дангаром, которая случилась двадцать с лишним лет назад, и к которой Залман имел некоторое отношение.

Причина думать, что при встрече лицом к лицу Алтерка заведет об этом разговор, у Залмана есть. Теперь он понимает, что не случайно

столкнулся с Алтеркой во дворе Литинститута, в одном здании с которым находится Литфонд, и Алтерка ни с того ни с сего спросил, правда ли история Шимена Дангара наделала столько шуму, как об этом газетах писали.

– С чего это вы вдруг вспомнили?

– Просто так. Я тогда в Ленинке был, листал «Дер Эмес» и харьковскую «Штерн» за двадцать девятый год. В одной из них был напечатан отзыв Айзика Добрина о моей книжке. Но я не запомнил, в какой именно газете и за какой месяц. И вот, ищу и неожиданно натыкаюсь на дело Шимена Дангара по поводу его стихов, опубликованных в варшавской «Литерарише блетер». Заново все перечитал, что тогда об этом писали. Аж страшно стало. Кстати, про вас там тоже кое-что написано.

В другое время Залман, наверное, спросил бы у Алтерки, как портной Шимеле Сорокер у хозяйского сынка: «По крайней мере, хорошее?» Но что ничего хорошего про него там написать не могли, он и сам знает.

Глава 66

История с четырьмя-пятью стихотворениями Шимена, напечатанными в иностранной прессе, Залману немало крови попортила. И сейчас, с зажмуренными глазами лежа на шконке и замерзая от накатившего страха, он видел в полной тьме те далекие события, о которых ему годы спустя неожиданно напомнил во дворе Литфонда Алтерка Гельберг.

Пока у Залмана еще есть соломинка, за которую можно ухватиться. Если Алтерка просмотрел газеты только за тот год, Залману нечего бояться, что он вступился за Шимена, когда на него напали, будто он совершил величайшее преступление. Шимена исключили из комсомола и собирались исключить из университета.

Тогда в Москве было два университета. Во втором на педагогическом факультете существовало еврейское литературно-лингвистическое отделение, где готовили учителей для еврейских школ. На этом отделении училось несколько будущих известных писателей,

среди них совсем молодой Шимен Дангар. Когда Залман с ним познакомился, Шимену еще восемнадцати не исполнилось.

Познакомились они у Меера Аренса. Залман был там, когда Шимен читал по тетрадке свои стихи.

В том, что Шимен пришел без приглашения, ни Залман, ни Меер не увидели наглости или навязчивости графомана. Тогда у писателей старшего поколения двери были открыты для молодых, не то что потом: есть что показать – показывай, хочешь что-нибудь прочитать – читай. Начинающие прозаики обычно приходили за благословением к Айзику Добрину и Исааку Ниссенбауму, молодые поэты – к Мееру Аренсу. В его стихах они видели образчик высочайшего поэтического мастерства. Это и привело к Аренсу совсем юного Шимена Дангара, новичка в московском литературном мирке. Лишь несколько месяцев назад он приехал из глубокой провинции, маленького местечка Полтавской губернии.

Залману очень понравилось, как Шимен все-таки нашел Аренса, зная только, что тот живет на Сретенке, но не зная ни дома, ни квартиры. Шимен обходил на Сретенке дом за домом, спрашивая всех встречных и поперечных, где живет Меер Аренс, и очень удивлялся, что никто не знает великого еврейского поэта. В конце концов Шимен оказался возле нужного дома, и дворник указал ему квартиру. Дворник удивил больше всех, ведь даже он не знал, что Аренс – автор поэтического сборника «Прийти вовремя».

Шимен сам рассказывал, как в большом городе Москве искал еврейского литератора, и эта история выглядела вполне правдоподобно: тогда в народе относились к писателям с уважением.

Символистские стихи Шимена были полны неизбывной грусти: заканчивается суббота, пора зажигать лампу, и начинаются серые будни с их заботами и печалями.

– Откуда у такого молодого парня, как вы, столько тоски? – послушав стихи, спросил Аренс. – Вам надо поскорей от нее освободиться. В наше время мы воспеваем восход, а не оплакиваем закат. У вас есть талант, не загубите его. Победите в себе тоску. – И повторил: – У вас есть талант, настоящий поэтический талант.

Залман тоже увидел талант Шимена и с глубоким сожалением сказал:

– Стихов, которые вы сейчас читали, в нашей стране никогда не напечатают. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Вы же слышали, что сказал Меер Аренс: в наше время мы воспеваем восход.

– Залман, а что, если ты по ним своим пером пройдешься? Подправишь, чтобы их смогли напечатать у нас?

Эта идея крайне удивила Залмана. Как Аренс, поэт от бога и порядочнейший человек, мог до такого додуматься? Разумеется, чужие стихи можно подредактировать, заменить в них слово, строку, даже образ. Но тут речь о том, чтобы вынуть из стихов Шимена душу и вложить другую. Видимо, Меера просто подвели его доброта и готовность помочь ближнему.

От Аренса они вышли вместе. Не доходя до ворот, Шимен остановился и спросил:

– Может, все-таки отнести стихи в газету?

– Что вы как маленький, ей-богу. Не напечатают их.

– А за границей?

– Точно напечатали бы. Там прежде всего на художественный уровень произведения смотрят. А почему спрашиваете? Туда отправить хотите?

Надо было предупредить Шимена, чтобы он об этом и думать не смел, но Залман вдруг начал читать наизусть «Мы стоим перед каменною стеною» Аврома Рейзена, а закончил тем, что тоже хотел бы своими стихами напомнить о себе еврейским читателям за стеной. Только ему смелости не хватает.

– Вы правы, кто-то должен попытаться сломать стену. Она сама не рухнет. Значит, хотите стать первым?

– Почему же первым? Стихи Марка Полонера я уже несколько раз в варшавской «Литерарише блетер» видел.

– Дорогой мой, Марк Полонер недавно оттуда, его у нас до сих пор наполовину иностранцем считают. Одно могу сказать точно: если ваша попытка удастся, я буду следующим.

Месяца через три, а то и раньше, в варшавском еженедельнике «Литерарише блетер» и виленском журнале «Ди идише велт» напечатали несколько стихотворений Шимена Дангара. И одно из них было посвящено ему, Залману Манделу.

Ой, что тут началось! Такой крик поднялся из-за этой публикации

в «Литерарише блетер»! О самих стихах разговоров почти не было. Кто-то пытался их критиковать, но важнее было то, что Шимен напечатал их за границей, в Польше. Кто только не писал в газетах, не выступал на собраниях, осуждая молодого поэта за его ужаснейшее преступление! Не помогло и письмо, которое Шимен напечатал в центральной еврейской газете «Дер Эмес». Потом он рассказал Залману, что написать письмо ему помог сам редактор, наверное, предвидя, чем все это может кончиться для молодого горячего парня, если он публично не покается перед руководством страны. Но на общеуниверситетском комсомольском собрании Шимена исключили из комсомола, а в тот же месяц и из университета.

Но буря и тут не утихла. Даже мудрец Эли Левадов, который помог Шимену написать письмо в газету, в итоге сам набросился на молодого поэта, разразившись статьей чуть ли не на полстраницы. Правда, не прошло и года, как Левадов, суровый критик и строгий редактор, напечатал в газете новеллу Шимена Дангара, из чего Залман, и не только он, сделал вывод, что написать статью Левадова заставили.

Залмана в ней он не упомянул, хотя о нем не забыл почти никто из тех, кто обрушился на Шимена. Все спрашивали у Залмана одно и то же: почему стихотворение посвящено именно ему, и почему Залман не осудил Шимена и не отказался от посвящения?

В конце концов от Шимена отстали, может, потому, что райком восстановил его в комсомоле, ограничившись строгим выговором. В университете его тоже восстановили. Залман стал первым, к кому Шимен пришел с этой радостной новостью, хотя, несмотря на то что была зима и стояли жгучие морозы, его выселили из студенческого общежития, причем без гроша в кармане.

Мысль пойти в «Правду» к Михаилу Кольцову, все ему рассказать и попросить заступиться подал Шимену его близкий друг и товарищ по университету, ставший потом известным писателем Нахман Ладинер, которого друзья называли гуляйпольским цадиком. Нахман был уверен: если бы Шимен вел себя иначе, не показывал на собрании свою гордость, его наказали бы не так строго.

Придя в «Правду» на прием к Михаилу Кольцову, Шимен без утайки рассказал все как было. Он никак не мог понять, почему

писатель не имеет права печатать свои произведения, где хочет. Шимен привел в пример Горького, Шолом-Алейхема и многих других, которые ни у кого не спрашивали, где им печататься. Залман поверил Шимену на слово, что он не выдал никого из тех, кто тоже, как он слышал, хотел бы публиковаться за границей, не назвал ни одной фамилии.

По тому, как Кольцов пролистал принесенный Шименом номер «Литерарише блетер», слева направо, трудно было сказать, знает ли он еврейский язык. Но что «Литерарише блетер» призывает к восстанию, к перевороту в Советском Союзе, как написала «Комсомольская правда», это на самом деле полная чушь, объяснять не понадобилось. Кольцов сам прекрасно понимал, что в такое издание ни один советский писатель не отправил бы своих произведений, и что власть никогда не допустила бы, чтобы такая газета попадала в СССР и спокойно лежала в читальных залах.

Выслушав Шимена, Кольцов сказал:

– Конечно, с вашей стороны было очень легкомысленно так поступить. Горький, Шолом-Алейхем и все остальные, на кого вы ссылаетесь, жили в другое время. Тогда еще была царская Россия, а не Советский Союз. Сколько вам лет? Восемнадцать? Я считаю, с вами слишком жестко обошлись. Постараюсь, насколько от меня зависит, чтобы вам облегчили наказание. Но в дальнейшем будьте осмотрительнее.

Хотя Михаил Кольцов пообещал помочь, гуляйпольский цадик Нахман Ладинер посоветовал Шимену все-таки пойти в Народный комиссариат просвещения, к самому Луначарскому, который, возможно, Шимена даже запомнил. Незадолго до того в университете прошла встреча студентов с народным комиссаром. После вечера, стоя за Луначарским в очереди в гардероб – взять пальто без очереди тот отказался наотрез, Шимен спросил народного комиссара, как ему понравилась «Принцесса Турандот» в театре Вахтангова. Несколько дней назад Шимен с Нахманом Ладинером и Иосифом Рабичевым – оба учились на курс старше – ходили на представление, и им понравилось далеко не все. Нахман с Иосифом подначили Шимена обратиться с вопросом к Луначарскому.

Ответ для всех троих оказался неожиданным.

– Я вообще не поклонник этого театра. Редко туда хожу.

– А Камерный театр? – Шимену любопытно было услышать мнение известного человека.

– Какой именно?

– Еврейский.

– Еврейский камерный театр – уникальный театр, а Бен-Михоэл – уникальный артист. Один из величайших актеров, и не только у нас в стране.

Возможно, если бы Шимен попал к Луначарскому, то напомнил бы ему об их разговоре в университетском гардеробе. Но, услышав, зачем Шимен пришел, секретарша указала ему на светловолосого мужчину в золотом пенсне. Тот, стоя у двери соседнего кабинета, просматривал бумаги, которые принес ему какой-то молодой человек.

Когда хозяин соседнего кабинета отделался от молодого человека и уже взялся за ручку двери, Шимен моментально оказался рядом, держа в руке «Литерарише блетер», открытую на странице с его стихами.

Долго объяснять, в чем дело, Шимену не пришлось. Светловолосый мужчина чуть ли не на втором слове перебил его, приказав говорить кратко и по существу. Пролистав «Литерарише блетер» не как Кольцов, слева направо, а наоборот, справа налево, он вернул газету Шимену и так строго посмотрел на него через сверкнувшие стекла пенсне, что у того язык отнялся.

– Кто заведует вашим еврейским отделением?

– Цви Фридланд.

– Хорошо. – Попросив секретаршу записать фамилию и адрес посетителя, уже в дверях кабинета он бросил Шимену, что тот может с завтрашнего дня ходить на лекции: он даст указание.

Это было так неожиданно, что Шимен даже забыл спросить у секретарши, кто этот человек и как его фамилия. Как он завтра пойдет в университет, если не знает, кто ему разрешил? И Шимен Дангар, уже пройдя пару кварталов, вернулся в комиссариат и узнал, что его восстановил в университете начальник профобра Вышинский.

Вспоминая эту фамилию много лет спустя, Шимен чувствовал его сверлящий взгляд через блестящие стекла золотого пенсне.

Когда начались первые аресты, Шимен признался Залману, что собирается уехать, но еще не решил, куда. Во всяком случае, очень-очень далеко, куда-нибудь на Север. И, кажется, действительно уехал, не стал ждать, когда за ним придут. Залман его не отговаривал, хотя не сомневался, что от чумы не убежишь. Так же он когда-то не отговорил Шимена от попытки проломить высокую каменную стену…

Ну вот зачем?.. Зачем он будоражит свою память, будит в ней подробности этой старой истории с «Литерарише блетер» и «Ди идише велт», спрашивал себя Залман, лежа лицом к дверному глазку, руки на одеяле. Спрашивал, хотя понимал, что взбудораженная память готовит его к очной ставке, если противоположной стороной окажется Алтерка Гельберг. Алтерка, который в клубе, когда закончилось последнее собрание разогнанной еврейской секции Союза писателей, заявил, что все арестованные писатели в чем-то провинились, невиновных не сажают, теперь, наверное, скажет, что это Залман помог Шимену Дангару завести связи за границей.

Алтерке не составит труда это доказать. Достаточно того, что одно из стихотворений, напечатанных в капиталистической стране, Шимен посвятил Залману, а он не отказался от посвящения и даже ни единым словом не осудил Шимена, в то время как многие писатели поспешили осудить его за попытку прорубить окошко в «высокой каменной стене».

Залману есть что возразить. Если бы Шимен и правда совершил великое преступление, как об этом кричали, его точно не восстановили бы в комсомоле и университете. Но как Залман мог сказать, что на помощь Шимену пришел Михаил Кольцов, если это имя еще во время первой чумы опасно было произносить? А упоминать тогдашнего начальника профобра тем более не стоит. Это просто самоубийство.

– А что, – вопрошала взбудораженная память, – если Алтерка листал не только еврейские газеты за зимние месяцы двадцать девятого года, но и «Комсомольскую правду» за тот период? В ней же черным по белому написано, что «Литерарише блетер», где Шимен напечатал несколько стихотворений, одно из которых посвящено Залману Манделу, призывала к восстанию, к перевороту в Советском Союзе.

В животе проснулась знакомая резкая боль. Как Залман докажет, что в «Литерарише блетер» никогда ничего подобного не писали? Где ее теперь найти, если в стране закрыты все еврейские библиотеки, а книги, газеты и журналы уничтожены, сожжены?

В конце концов разбуженная память нашла какое-никакое утешение, слабенькую надежду. А с чего он взял, что очная ставка будет с Алтеркой и речь пойдет о той давней истории? Только с того, что Алтерка когда-то об этом заговорил? Но «Комсомолку» он тогда не упомянул. А если не с Алтеркой, то с кем ему предстоит очная ставка? С кем же, с кем?

Не успел надзиратель просунуть голову в кормушку и назвать букву М, с которой начинается фамилия Мандел, как Залман уже встал, зная, что это за ним, и, не дожидаясь команды «слегка» или «с вещами», стал одеваться. Сокамерник тоже проснулся и молча проводил его испуганным взглядом.

Резкая боль, которую Залман опять почувствовал, услышав скрип кормушки, не отпускала ни на секунду.

Когда он поднимался по лестнице, боль стала такой сильной, что Залман обеими руками схватился за живот.

И сразу получил страшный удар в голову, а вслед за ним – пинок, от которого чуть не упал. Не останавливаясь, конвоир опять заломал ему руки и не отпускал, пока не довел до коричневой двери загадочного кабинета.

Глава 67

Что он увидит сегодня Мартина Константиновича, Залман даже подумать не мог. Это было настолько неожиданно, что Залман чуть не шагнул к столу, чтобы убедиться, что ему не почудилось, что это действительно тот, кто уже давно, еще до чумы, остановил его на Охотном Ряду, около гостиницы «Москва», и по-приятельски пригласил к себе в номер поговорить с глазу на глаз. А после двух-трех таких разговоров Залман накинул себе петлю на шею. Если бы в ту минуту не вошла Надя и не вынула его из петли, он не сидел бы здесь и не знал бы мучений, через которые уже прошел и еще пройдет.

Все это Залман вспомнил, уже сидя на прибитой к полу табуретке. Когда он перешагивал порог загадочного кабинета, куда его привел конвоир, ничего подобного ему в голову прийти не могло. В первую минуту он не узнал Мартина Константиновича, и не только потому, что не видел его пару лет и был уверен, что Мартин вообще его забыл. Залман не узнал его еще потому, что, кажется, впервые увидел его в форме. В гостинице, насколько он помнил, Мартин был в штатском.

Оттуда, где сидел Залман, было трудновато рассмотреть, какие три звездочки у Мартина на погонах – старшего лейтенанта или полковника. Поскольку логика тут не действует, как Залман уже не раз убедился, невозможно понять, почему ему опять дали другого следователя, поменяли Чернышова на Мартина.

Как бы то ни было, только из-за другого следователя его, надо думать, не перевели бы из Бутырки обратно на Лубянку. Видно, сосед по камере прав: Залмана, как и художника, привезли сюда на очную ставку с кем-то из знакомых…

Если это из-за добровольцев, о которых говорил на последнем допросе Чернышов, Залман как-нибудь сумеет избежать опасности, ведь никто не сможет доказать, что он имел к ним отношение и вообще о них знал. Никто. Разве что… Разве что сам Бен-Шолем…

Нет, Залман даже мысли такой допустить не мог!

Но как быть, подумал Залман, если на очной ставке речь пойдет о «Литерарише блетер»? Центральная комсомольская газета и университетский листок писали, что варшавский еженедельник призывал к восстанию, к перевороту в Советском Союзе, но как доказать, что это полная чушь? Где теперь найти «Литерарише блетер», если вся еврейская периодика уничтожена, и иностранные газеты уже два десятка лет вообще не попадают в страну?

– О чем задумались, Залман Наумович? – встав из-за стола, спросил Мартин. – Не ожидали меня увидеть? И я не ожидал, что с вами встречусь. Но вы сами виноваты. Я вас предупреждал, чем все это кончится, если вы меня не послушаете, не поможете выявить врагов Советского Союза в вашем Еврейском антисоветском комитете и антисоветской секции еврейских писателей. Как видите, мы и без вас обошлись. Среди ваших еврейских писателей тоже есть порядочные советские люди. Они не отказались пойти нам навстречу.

«И кто же эти порядочные еврейские советские писатели, которые пошли вам навстречу? Яша Розен? Хаимка Юнгач? Ударник Юдка или, может, Алтерка?..»

Чтобы не спросить это вслух, Залман сжал губы до синевы.

Пару раз четким военным шагом пройдясь туда-сюда по кабинету, Мартин Константинович остановился перед Залманом.

– Ах, Залман Наумович, Залман Наумович! Ну почему? Почему вы тогда меня не послушали? Сейчас не сидели бы здесь. Ах, Залман Наумович, Залман Наумович!

Если минуту назад Залман еще сомневался, что вместо Чернышова его следователем будет Мартин Константинович, то теперь, разглядев, что у него звездочки такой же величины, он в этом убедился. Хорошо это или плохо? Что Мартин начал допрос с сочувствием, с жалостью, совершенно ни о чем не говорит. Трое прежних следователей, Евдокимов, Панкратов и Чернышов, на первых двух-трех допросах тоже якобы сочувствовали ему и желали добра. Судя по тому, что Залман после ареста успел услышать от сокамерников, так поначалу ведут себя почти все следователи.

О том, как полковник Мартин Константинович будет держаться дальше, Залман и думать не хотел. Его беспокоило только, с кем он сегодня встретится лицом к лицу, и о чем будет разговор. Только для того, чтобы он с новым следователем познакомился, его бы сюда из Бутырки не повезли. Хотя тут все бывает, чего угодно ждать можно.

Залман задумался, перебирая в памяти чуть ли не всех знакомых и пытаясь угадать, с кем предстоит очная ставка, и что тот сможет о нем сказать, но не пропускал ни слова из того, что говорил полковник.

А Мартин Константинович, стоя около Залмана, с глубочайшим сочувствием продолжал:

– Я досконально ознакомился с вашим делом. Не представлял себе, что вы так далеко зашли, настолько погрязли в преступлениях, которые совершал ваш Еврейский комитет вместе с вашими писателями. Знаете, что вас за это ждет? В лучшем случае двадцать пять лет строгого режима. Даже если, допустим, вы доживете до освобождения, вам все равно не отмыться. У вас вот здесь, – он прижал ладонь к груди, – до конца ваших дней будет висеть позорная табличка «враг народа». Вас будут избегать, как тифозной вши.

Вернувшись за стол возле окна, Мартин Константинович заглянул в папку, многозначительно покачал головой и почмокал губами.

– Да, за такие преступления, как шпионаж и измена Родине, двадцать пять лет – еще не самое большое наказание. Думаете, когда мы встретились у гостиницы, я не знал, что ваш комитет вместе с вашими писателями занимается шпионажем, и вы тоже замешаны? Но я уже тогда от одного нашего общего знакомого столько наслушался о вас как о талантливом поэте и драматурге, как о человеке высокой культуры, что мне ужасно хотелось вам помочь, предоставить вам возможность искупить вину, пока вы не зашли слишком далеко.

Мартин Константинович снова встал и заходил по кабинету, будто обдумывал какое-то сложное дело, к которому не знал, как приступить.

Несколько раз пройдясь туда-сюда по желтоватому вощеному паркету, опять остановился около Залмана и заговорил деловым тоном:

– Вообще-то и сейчас еще не поздно искупить вину и облегчить наказание. Но, Залман Наумович, вы должны доказать, что вы верны нашей стране и готовы помочь нам разоблачить замаскированных шпионов, предателей, буржуазных националистов из Еврейского так называемого антифашистского комитета, превращенного в филиал американской разведки, как в своих показаниях его назвал редактор почты, которую комитет ежемесячно отправлял за границу, ваш близкий друг Натан Левитин.

– Не может быть.

– Что не может быть? – с любопытством, но так же спокойно спросил Мартин.

И хотя Залман понимал, что с его стороны это чистейшее безумие, все-таки не сдержался и повторил еще более уверенно:

– Не может быть.

– Что не может быть? – переспросил полковник уже со злостью.

– Это неправда, такого не могло быть. Как Левитин мог такое сказать, если почту, которую Еврейский антифашистский комитет через Совинформбюро посылал за границу для тамошних еврейских газет и журналов, Левитин подготавливал сам, а Натан Левитин, как все знали, был очень строгим и внимательным редактором? Если бы даже

кто-нибудь из писателей сделал хотя бы малейшую попытку в стихотворении, рассказе, очерке выдать какой-нибудь секрет, неужели Левитин не заметил бы?

И все-таки Залман не был полностью уверен, что Натан не мог такого сказать, хотя, чувствуя, что за ним наблюдают, не раз просил запомнить: он никогда не скажет худого слова о комитете, писателях, друзьях и знакомых, что бы с ним ни делали. Глаз за глаз. На удар он ответит ударом. Он прошел войну с первого до последнего дня, не раз смотрел в лицо смерти… Единственной опорой оставался для Залмана Натан Левитин, и если он не выдержал… сломался…

– Что молчите? Рассказывайте все, что вам известно.

– Мне больше нечего рассказать. Я уже все рассказал.

– Хитрите, Залман Наумович. Ой, хитрите! Не верите, значит, что ваш друг, крупная фигура в комитете, сам назвал его филиалом американской разведки? Хотите убедиться? – Полковник подошел к сейфу, держа в руке ключи, но вдруг сказал скорее себе, чем Залману: – Ладно, отложим на другой раз. Подумайте, Залман Наумович. Даю вам честное слово чекиста, я сделаю все, чтобы облегчить вашу участь. Обещаю, по ночам вас вызывать не будут. Разрешат вам днем полежать иногда, на продукты сумму увеличат. Постараюсь, чтобы вам пару раз свидание с вашей женщиной разрешили.

Имени Мартин не назвал, разумеется, нарочно. Полковник намекнул: одна из них уже не на свободе. Скорее всего, Элиша. Удар попал в цель, но Залман не выдал своего волнения, будто ему было все равно. Уж если о чем-то спрашивать следователя, то в первую очередь Залман хотел бы выяснить, почему полковник считает, что он готов стать вторым Яшей Розеном. Разве он, Залман Мандел, годится на эту роль? Но его новый следователь, полковник Мартин Константинович, будто Залман уже согласился, потребовал, глядя ему в глаза:

– Расскажите все, что вам известно о вашем друге Бен-Шолеме.

– Все, что я знаю про комитет и его руководство, я подробно рассказал. И про Бен-Шолема подробно рассказал следователям.

– Неправда! Я вам докажу. Зря вы изворачиваетесь. А вот Бен-Шолем, перед которым вы все преклонялись и, вижу, до сих пор преклоняетесь, все выложил как на духу. Про всех рассказал. Показать вам

протоколы, где он про вас говорит? Подписанные? Он не скрыл даже, что с вашей подругой из консерватории спал. С Цилей Гарбер, на которой вы жениться собирались. Вы были так ему преданы, говорит, что сами ее ему в постель подложили. В протоколах много интересного прочитать можно и про вас, и про знакомых, и про баб ваших…

Но что бы ни было написано в этих протоколах, даже если там есть какая-то правда, Залман ничего не добавит к тому, что уже рассказал про Бен-Шолема на допросах и здесь, на Лубянке, и там, в Бутырке. Залман может ответить своему новому следователю только то же самое, что сказал тогда, на Охотном Ряду: «Мне рассказывать нечего, я никогда не подслушивал, не высматривал. Я для этого не гожусь. Не тот я человек».

В руке у полковника опять появились ключи от сейфа.

– Значит, отказываетесь? Смотрите, Залман Наумович, как бы потом не пожалеть. Вы ж образованный человек, знаете русскую пословицу: дают – бери, бьют – беги. У нас так принято, наверное, вы уже убедились: кто сам не раскаивается, тому мы помогаем раскаяться. Только помните, Залман Наумович, нам все ваши преступления известны. Все до одного.

«Выходит, они и про “Литерарише блетер” знают. – Залман почувствовал, что ему стало трудно дышать. – И что история с добровольцами для него не секрет, тоже знают? Бен-Шолем ему рассказал, значит, наверное, мог и здесь рассказать?»

– Итак? Точно отказываетесь от моего предложения?

Ему самому не надоело переспрашивать? Разве Залман не дал понять совершенно ясно, что не собирается в сотый раз повторять одно и то же? Но повторить все-таки пришлось, когда Мартин приблизился к нему, сжимая в кулаке связку ключей. По тому, как он их теперь держал, Залман понял: не для того Мартин достал их из кармана, чтобы открыть сейф.

Но, понимая, что сейчас ключи запачкаются его кровью, Залман все равно повторил:

– Гражданин полковник, все, что я знаю про комитет и писателей, я рассказал предыдущим следователям. Ничего от них не скрыл и от вас ничего не скрываю.

Кулак с зажатыми ключами приблизился к лицу Залмана.

– Жаль, очень жаль… А я вам добра желал. Думаете, я поверю, что вы ничего не утаили?

– Мне нечего утаивать, гражданин полковник.

– Нечего утаивать, говорите? А почему же вы ни слова не сказали об опаснейшем шпионе Корнфельде? А?!

– О Корнфельде? – наморщив лоб, переспросил Залман.

– Хватит хитрить, Залман Наумович.

– Я не знаю никакого Корнфельда. – Морщины на лбу обозначились еще резче.

– Опять врете. Есть свидетели, которые утверждают, что вы были с ним близко знакомы. Вспоминайте, иначе мы будем вынуждены вам помочь. Мне бы очень этого не хотелось. Но придется.

– Корнфельд? – Нет, все-таки среди его знакомых не было никого с такой или хотя бы похожей фамилией.

– Ну? Не вспомнили? – после затянувшейся паузы снова приступил к допросу Мартин. – Видно, все-таки хотите, чтобы мы вам помогли. Не советую. Подумайте.

Он вернулся к столу, открыл темно-серую папку и углубился в бумаги. Вдруг тихо открылась дверь, и в кабинет вошел следователь Чернышов, а вместе с ним – подтянутый военный с густыми бровями, из-под которых на Залмана повеяло холодом отточенного ножа.

– Разрешите начинать, товарищ начальник?

Ни у Чернышова, ни у того, который обратился к Мартину Константиновичу как к старшему, в руках ничего не было, но Залман втянул голову в плечи, как недавно, когда Мартин подошел к нему с ключами в кулаке. Что к Мартину как к старшему обратился не Чернышов, а тот, второй, подсказало Залману: теперь это его новый следователь. Но что Мартин Константинович начальник над ними обоими – это было неожиданно.

– Вести его, товарищ начальник? – снова спросил незнакомый военный с холодным блеском в глазах.

Залман повернул голову к двери. Там никого не было. Что значат эти вопросы? Что они собираются начинать, кого для этого нужно привести? Того, кто будет выбивать из Залмана ложные показания,

или того, с кем ему сегодня предстоит очная ставка? Кто это? Корнфельд? Кто ж он такой, этот Корнфельд?

– Приступим. – Мартин нажал кнопку на столе. Вошел конвоир. – Уведите арестованного.

Незнакомый военный двинулся за ними, не спуская с Залмана глаз. «Кто сам не раскаивается, тому мы помогаем раскаяться». Наверное, с Натаном так и поступили. А теперь поступят с ним. Ледяная рука сжала сердце.

– Сюда!

По приказу незнакомого следователя конвоир открыл дверь бокса в самом конце коридора и втолкнул Залмана внутрь.

Глава 68

Стоя в тесном – не повернуться – и совершенно темном боксе, Залман коротал время, повторяя грамматические правила и пять-шесть десятков английских слов, которые он успел выучить за месяцы в тюрьме.

Среди его сокамерников и на Лубянке, и в Бутырке было немало людей, у которых можно поучиться иностранному языку. Глупо спрашивать, для чего это надо. А чем еще заполнить время, которое тянется ужасно медленно, когда сидишь в карцере или, как сейчас, в боксе, чтобы не дать втянуть себя в дьявольскую игру, которую здесь с тобой ведут, и которая неизвестно чем для тебя закончится?

Из иностранных языков, которым можно было поучиться у соседей по камере, Залман выбрал английский. Ему казалось, что еврею, знающему идиш, легче выучить именно английский, а не немецкий. Во всяком случае, ему гораздо проще запоминать совершенно новые слова, чем постоянно держать в голове, что знакомые еврейские слова надо коверкать, чтобы они превратились в немецкие. К тому же порядок слов в английском оказался ближе к еврейскому, чем в немецком. Да и вообще у него душа к немецкому не лежала, хоть этот язык и называют матерью идиша.

Но, как бы упорно Залман ни повторял: «I am, you are, she is, I shell, you will», он не мог забыть вопроса, который задал начальнику военный с холодным взглядом: «Разрешите начинать?» Мартин Константинович

не поспешил дать добро. По его ответу можно подумать, что он хочет еще подождать, предоставить Залману возможность вспомнить, кто такой этот Корнфельд. Что Залмана привезли из Бутырки на очную ставку с Корнфельдом, уже нет сомнений, но кто ж он все-таки такой? Нет у Залмана знакомых с такой или похожей фамилией.

«Кто сам не вспомнит по-хорошему, тому мы поможем. Здесь есть те, кто знает, как помочь и чем помочь». Вот и Залмана, значит, отведут к тем, кто поможет ему вспомнить этого Корнфельда, и что Корнфельд, как подсказал Мартин Константинович, опаснейший шпион и предатель.

– I am, you are, she is… – опять начал Залман, да так громко, что конвоир открыл дверь и погрозил кулаком, дескать, замолчи, а не то в карцер пойдешь.

– Стоп, стоп, – вдруг сказал себе Залман, уже собираясь постучать в дверь, чтобы конвоир отвел его в кабинет к Мартину Константиновичу. – Как это я не знаю Корнфельда?

Ведь Корнфельд, о котором спрашивал Мартин, – это сам Залман, и не только он. Это псевдоним, которым, кроме Залмана, пользовались Ахнес, Бен-Шолем, Рефоэл Охримов и еще кто-то из комитета. Все, кто готовил для иностранных еврейских газет ежемесячные репортажи о героизме советского народа на фронте и в тылу, о великих достижениях на заводах и фабриках, колхозных и совхозных полях. Но какое отношение это имеет к шпионажу, предательству и буржуазному национализму, если эти репортажи были всего лишь дословными переводами на еврейский язык статей, напечатанных в «Правде», «Известиях» и других центральных газетах, которые можно было свободно читать за границей, по крайней мере, в Америке точно? И с кем тогда будет очная ставка? Неужели полковник Мартин Константинович действительно не знает, что Корнфельд – коллективный псевдоним, или это пока только подготовка к какой-то новой игре?

Предчувствие не обмануло. Когда конвоир опять привел его в кабинет, Залман и оглянуться не успел, как услышал:

– Знаете этого человека?

Двоих следователей и их начальника не удивило бы, если бы Залман ответил, что не знает, никогда раньше не видел.

В этом сгорбленном, сжавшемся человеке с остекленевшими от страха близорукими глазами и правда трудно было узнать «кумира», как Евдокимов, Чернышов и Мартин Константинович называли Бен-Шолема. К тому же Залман до сих пор ни разу не видел его без очков. Вместе с очками исчезли мудрый взгляд и бодрая улыбка человека, влюбленного в жизнь. А Бен-Шолему было с чего в нее влюбиться. Не один год его жизнь оставалась совершенно безоблачной.

Так, по крайней мере, казалось его собратьям по перу, которые знали его не слишком близко. У таких он вызывал зависть. Но от тех, кто знал его лучше, в том числе от Залмана, за постоянной наигранной улыбкой Бен-Шолем не мог скрыть своей собственной зависти, зависти к таким, как Лейб Блюмкин, Марк Полонер, Нохум Волынер.

Близкие знакомые Бен-Шолема знали: он достаточно умен, чтобы понимать, что он не первый, не величайший еврейский поэт, как его представляли почти все, кто о нем писал. Некоторые даже называли его истинно народным поэтом.

Особых претензий к тем, кто восхвалял Бен-Шолема, Залман не имел. Тому было оправдание: время такое. Разве о нем могли писать по-другому, если от него много лет зависело, сможешь ли ты напечататься, издать книгу, даже квартиру получить?

К власти в еврейской литературе Бен-Шолем пришел, когда в одном журнале появились его юношеские, ученические стихи, он только что снял красноармейскую шинель, вернувшись с Гражданской, и оказался чуть ли не единственным еврейским писателем с партбилетом. Видно, поэтому его и решили поставить во главе еврейской литературы. Правда, в его стихах кроме сухой, строго выдержанной идеологии чувствовалась и «талантология». Первым это заметил Эли Левадов. Ему так понравились последние стихи Бен-Шолема, что по легкости, изяществу, остроумию он поставил их в один ряд со стихами Генриха Гейне.

А раз такое сравнение допустил самый строгий критик, то Гейне стали упоминать чуть ли не все, кто писал о Бен-Шолеме. Когда Залман просто из любопытства спросил одного из критиков, правда ли он так считает, тот, оглядевшись по сторонам, ответил, что Левадов, конечно, хватил лишку: по сравнению с Лейбом Блюмкиным, Марком Полонером, Нохумом Волынером «талантология»

Бен-Шолема хромает на обе ноги. Но он больше всех подходит на роль руководителя. Бен-Шолем сам живет и дает жить тем, кто не стоит у него на пути.

А тогда у него на пути никто не стоял. Возможно, именно Бен-Шолема имел в виду Меер Аренс в известном стихотворении «Осенняя листва»: «Благо тем, кто вовремя пришел, кто не опоздал ни на минуту».

Бен-Шолем пришел вовремя, не опоздал, в отличие от представителей старшего поколения.

Кто и как подсказал классикам, уже далеко немолодым Лейбу Блюмкину, Марку Полонеру, Нохуму Волынеру и другим из их поколения по примеру Бен-Шолема вступить в Коммунистическую партию, Залман так толком и не понял. Ясно одно: если Бен-Шолем теперь не единственный еврейский писатель с партбилетом, он не может быть уверен, что кто-нибудь не встанет у него на пути, не отберет у него власть, чего Бен-Шолем очень боялся, как любой, кто сидит на троне. Впрочем, Залмана Бен-Шолем не опасался, и не только потому, что Залман беспартийный. Просто он никогда не рвался к власти. А партбилет легко смог бы получить, если бы захотел. Достаточно было заявление написать.

Когда три классика вступили в партию, им тоже кое-что стало перепадать. Несколько лет назад, когда награждали писателей, их тоже не обошли, в то время как оставшихся беспартийными литераторов с мировым именем Пинхаса Машберга и Рефоэла Охримова совершенно забыли. Им не вручили даже медалей.

Машберга, насколько Залман знал, это совершенно не обеспокоило. Наоборот, говорили, он был только рад, будто отсутствие орденов и медалей возвышало его в глазах читателей, придавало ему значимости. Но непонятно, почему так огорчился реб Рефоэл. Наверное, не ожидал, что с ним так поступят. Ведь во всех выступлениях и здесь, и за границей он произносил имя товарища Сталина чаще, чем «Борух Гу»[1] на молитве.

Со временем, правда, Охримов тоже изменил свое отношение к тому, что его обошли. Даже стал этим гордиться. Без медали,

1 Благословен Он (древнееврейск.).

без «бляхи», как он ее называл, в нем будут видеть писателя, а не дворцового привратника.

Почему не наградили двух всемирно известных еврейских классиков, еще можно было понять. Не в том дело, что они так и не вступили в партию. И Пинхас, и Рефоэл описывали в основном прошлое, не касаясь пятилеток и соцсоревнований. Но непонятно, почему высшие чины так поступили со своим любимчиком Бен-Шолемом, дав ему низший орден – «Знак почета». Видно, его наказали за то, что в его последних стихах все больше выпирала «талантология», вытесняя идеологию, которая годами занимала в его творчестве важнейшее место.

Все-таки, когда во время войны пришлось выбирать, кто еще с Бен-Михоэлом поедет в Америку просить помощи, выбор пал на Бен-Шолема. Его завистникам не помогло даже, что в последнем опубликованном стихотворении Бен-Шолем без конца повторял, что он еврей.

Из-за этого стихотворения, как он потом рассказал Залману, Бен-Шолема пару раз вызывали на самый верх, и оба раза, уходя, он не мог дверей найти.

Когда Бен-Шолем вернулся в Куйбышев из Москвы, куда его вызывали из-за этого злополучного стихотворения, они с Залманом сдружились, хотя знакомы были уже давно. Их дружба началась, когда они вместе вышли из синагоги после «Кол нидрей»[1]. У Бен-Шолема были слезы на глазах.

О чем они тогда говорили, спускаясь к Волге по крутой Красноармейской улице, Залман забыл. Но запомнил, что, прощаясь, он почему-то спросил:

– А настоящие друзья у вас есть?

– Нет, – не задумываясь, ответил Бен-Шолем. – И никогда не было. Я всегда это знал, хотя я почти со всеми на «ты» и за руку. – И тут Залман неожиданно для себя услышал: – Мне кажется, единственный человек, с которым я мог бы подружиться по-настоящему, это вы…

1 «Все обеты» (древнееврейск.). Молитва, которую читают вечером, когда начинается Йом-Киппур (по еврейскому календарю сутки начинаются с заходом солнца).

А потом было вот что: вернувшись с Бен-Михоэлом из Америки, Бен-Шолом рассказал Залману о поездке такое, что действительно можно доверить только настоящему другу.

Глава 69

Увидев Бен-Шолема, Залман подумал, что сейчас услышит: все, что тот сказал о своем друге, ложь от начала до конца, его заставили. Залман не мог и не хотел поверить, что Бен-Шолем, даже если это записано в протоколе, так его унизил, сказав, что Залман сам подложил свою любимую девушку ему в постель.

– Что вы там бормочете себе под нос? – прервал воспоминания Залмана следователь с холодными стальными глазами. – Почему не отвечаете? – И, указав на сгорбленного Бен-Шолема, повторил: – Знаете его?

Как ни тяжело было вместо всегда веселого, бодрого Бен-Шолема видеть перед собой совершенно другого человека, Залман опять пригляделся к нему, будто все еще сомневался, что не ошибается, и, проведя языком по пересохшим губам, тихо ответил:

– Да.

– Говорить разучились? Громче! Чтоб слышно было! Знаете его?

– Да. Конечно, – отведя взгляд от Бен-Шолема, ответил Залман чуть громче.

– Что «да»? Что «конечно»? Четко отвечайте, как его зовут, где и когда с ним познакомились.

К этой игре, когда каждый раз в начале допроса следователь спрашивает одно и то же, будто видит его впервые, Залман уже привык. И каждый раз, как бы глупо это ни выглядело, он, вот как сейчас, отвечал, что записано у него в паспорте:

– Залман Наумович Мандел.

И не сразу понял, почему все трое расхохотались. Ведь так начинается любой допрос.

Но Залман недолго пребывал в недоумении. Майор строго предупредил, что хитрить не надо.

– Я спрашивал, не как вас зовут, а как его зовут. – Он указал

на Бен-Шолема, который еще глубже втянул голову в плечи. – Назовите его имя и расскажите все, что про него знаете. Ничего не скрывая, потому что нам и так все известно.

– Мне нечего скрывать, гражданин майор. Это Бен-Шолем. Все, что я про него знаю, я рассказывал на допросах, это записано в протоколах. Единственное, что могу добавить, это что Бен-Шолем – известный еврейский поэт, народный поэт.

– Поэзия нас не интересует. Его стихи мы знаем, в том числе и националистическое стихотворение «Мы – евреи». Ну, а вы? – повернулся он к Бен-Шолему и указал рукой на Залмана, который попрежнему стоял у двери, в двух шагах от прибитой к полу табуретки, ожидая разрешения сесть. – Вы знаете этого человека?

Наверное, по сравнению с Бен-Шолемом Залман за месяцы в тюрьме не так сильно изменился, потому что Бен-Шолем сразу его узнал.

– Да, мы знакомы. Это поэт и драматург Залман Мандел.

– Отчество?

– Отчества не знаю.

Залман не удивился. Он и сам не мог бы назвать по отчеству многих еврейских писателей, даже тех, с кем дружил. В этом не было надобности.

– Садитесь. – Мартин Константинович указал Залману на табуретку. – И рассказывайте, что вам известно о вашем друге, руководителе Еврейского антисоветского комитета.

Наивно было бы напоминать трем военным, что комитет назывался не «антисоветский», а «антифашистский», каким он и был. На одном из первых допросов, напомнив об этом следователю Евдокимову, Залман получил от него такой удар, что вся щека распухла. И знал, что здесь произойдет то же самое. Что касается работы Бен-Шолема в комитете, где он, как выразился Мартин, был правой рукой Бен-Михоэла, тут Залману нечего было добавить. Он все рассказал на предыдущих допросах. И повторил это снова.

– Значит, все?

– Да, все.

– Вижу, – Мартин заглянул в серую папку на столе, – вы собираетесь продолжать игру, которую пытались вести со мной в гостинице:

ничего не знаю, ничего не видел… Эта игра, Залман Наумович, ничего вам не даст. Только хуже себе сделаете.

«О чем вы, Мартин Константинович? Здесь только вы ведете игру, дьявольскую игру… Скажите прямо, чего вы хотите? Чего добиваетесь?»

Но, видно, Бог спас, не дал Залману высказаться вслух.

А Мартин, не повышая голоса, продолжал сдержанно, почти по-доброму:

– Не надо хитрить, Залман Наумович. Признайтесь чистосердечно, какие шпионские задания давал вам главарь банды предателей из вашего Еврейского антисоветского комитета, и какие данные вы ему предоставляли.

У Залмана не нашлось другого ответа, кроме того, который он давал своим предыдущим следователям, и хотя он знал, что сейчас услышит от троих военных, все равно повторил слово в слово:

– Я никогда не занимался шпионажем и никаких шпионских заданий не получал.

– Напомните ему, раз он забыл, с какими поручениями его посылали на заводы и фабрики, в Крым и Биробиджан.

Бен-Шолем, к которому обратился Мартин, еще глубже втянул голову в плечи и промолчал.

С разрешения старшего из них, Мартина Константиновича, в допрос вмешались майор и Чернышов.

Чернышов пару раз обратился к майору по фамилии: Кузьмин. Эта фамилия была Залману знакома. Он слышал ее от кого-то из сокамерников. Судя по тому, как Бен-Шолем вздрогнул, когда Кузьмин шагнул к нему, майор, без сомнения, был его следователем.

– Долго еще ждать? У вашего друга, который вам душой и телом был предан, кумиром вас называл, видно, слишком короткая память. Он вдруг все забыл, так напомните ему, с какой целью вы отправляли его в поездки по стране, и какие шпионские сведения он вам поставлял. Ну?! – И взмахнул рукой, как кнутом.

– Гражданин следователь… – Бен-Шолем судорожно глотнул воздух. – Гражданин следователь, я же все рассказал.

– До всего еще далеко. Но пока то, что вы мне рассказали, повторите для вашего друга, раз он такой забывчивый. Что ж вы голову

опустили? Может, хотите, чтобы я дал ему протоколы прочитать? Пусть увидит, чего вы про него наговорили.

– Не надо. Там не все записано так, как я говорил.

– Неверно записано? Но там ваша подпись стоит.

– Да. Да. Но…

– Что еще за «но»? – повысил голос Кузьмин. – Отказываетесь от подписанных показаний? На суде тоже будете ваши еврейские штучки выкидывать, говорить, что в протоколах не ваши слова? Об этом мы сегодня еще побеседуем. Не здесь. А знаете, где?

– Я не буду отказываться, клянусь.

– А? – По тону это означало: «А чем клянетесь? Отобранным партбилетом?»

– Я буду вести себя на суде, как мы договорились, все подтверждать. Я не хочу, чтобы меня довели до того же состояния, что главного врача Боткинской больницы.

– А если не хотите, – следователь Залмана Чернышов погрозил Бен-Шолему пальцем, – напомните этому хрену моржовому, какие преступления он совершил по вашему приказу. И ничего не скрывайте.

Отведя от Залмана взгляд, Бен-Шолем говорил без остановки, будто читал по книжке, которую уже выучил почти наизусть и давно потерял к ней всякий интерес. Разве что воспринимает звучание слов, напоминающих строчку его давнего стихотворения, когда-то наделавшего много шуму: «Я люблю, когда слова босые…»

– Врете, Бен-Шолем, опять свои преступления скрываете, – перебил майор.

– Я ничего не скрываю, гражданин следователь, честно рассказываю про все, к чему хоть какое-то отношение имел. Ведь я даже не отрицаю, что начал сотрудничать с органами не когда из Америки вернулся, куда ездил с Бен-Михоэлом по поручению партии и правительства, а на два года раньше. Много лет я был связан с полковником Бочковым, меня свел с ним Ахнес, он начал сотрудничать с органами раньше меня. Мое имя здесь было Зо…

– Тихо! – остановил его Мартин Константинович, не дав Бен-Шолему полностью произнести имя Зорин, которое ему тут дали.

– Это мы без вас знаем. Расскажите нам о шпионской деятельности своего лучшего друга, как вы называли его на допросах.

Его лучший друг, как он называл его на допросах, был удивлен не меньше Мартина, как допустили, что Бен-Шолем при нем, при Залмане, сообщил о себе такое. А сам Бен-Шолем? Зачем он это сделал? Зачем сообщил, как его тут называли? Если он сказал о себе правду, то по сравнению с ним Яша Розен, Ойзер Норвил, Алтерка – овечки невинные. А вдруг произойдет чудо, и то, что здесь сейчас происходит, хотя Залман ни секунды в это не верил, закончится тем, что их всех выпустят на свободу? Как Бен-Шолем будет смотреть им в глаза? Думает, Залман никому не расскажет, и все останется тайной на веки вечные?

Возможно, Залман и не рассказал бы, но только если, оказавшись на свободе, увидел бы, что Бен-Шолем стоит на мосту, перегнувшись через перила, или на платформе метро, готовый броситься под несущийся поезд с горящими фарами.

Но Бен-Шолем, как сейчас видно по его поведению, слишком слаб, чтобы на такое решиться. Скорее всего, он стал бы оправдываться тем, что его заставили, как и Ахнеса. Залмана Мартин тоже заставлял. Конечно, не каждый сможет устоять. Ойзер бросился под поезд. Залман полез в петлю. Но каждый, кто еще не переступил порог этого дома, хоть немного сам себе хозяин. Власть над собой утрачивают только здесь. Да и то не все. Бен-Шолем поклялся, что на суде не откажется от подписанных показаний, и упомянул главного врача Боткинской больницы. Ясно, что так Бен-Шолем намекнул: он давал и будет давать показания не по своей воле и заранее просит прощения. Залман будто услышал его слабый голос: «А разве ты не подписал протоколы? А твой кременчугский глава ешивы разве не подписал?»

И вдруг Залман услышал у себя внутри другой голос, поселившийся в нем, как душа умершей молитвенной мелодии, – голос реб Арона. Этот голос говорил от лица их обоих: «Не надо нам рассказывать, как заставляют подписывать бредовые показания против себя и других. Все в камере прекрасно это знают. Но вы, реб Бен-Шолем, очернили невинных людей, еще находясь на свободе. Поставили под удар весь наш народ. Можно такое простить?»

Глава 70

Дальше Бен-Шолем понес такое, что Залман заткнул пальцами уши. Но его хозяин Чернышов тут же скрутил ему руки за спиной, как конвоир в тюремном коридоре.

– Ну, Залман Наумович, может, достаточно? – спросил Мартин Константинович. – Думаю, когда вы услышали все это от своего кумира, вы наконец-то распишетесь, признаетесь, что вы шпион?

– Я понятия не имею о том, что Бен-Шолем тут нарассказывал. Никогда в жизни шпионажем не занимался.

– Опять за свое? Только хуже себе делаете.

Не дождавшись от Залмана ничего, кроме «Я не имею к шпионажу никакого отношения», Мартин Константинович махнул рукой сгорбленному Бен-Шолему:

– Рассказывайте дальше, чем вы там занимались в своем Еврейском антисоветском комитете.

И Бен-Шолем, пряча глаза, продолжил испуганным, дрожащим голосом:

– Мы знали про националистические и антисоветские настроения Залмана Мандел.

– Откуда знали? – спросил Чернышов.

– Откуда? Это видно хотя бы по эпиграфу к его избранным произведениям: «Мы в ногу шагаем и мрем от твоих поцелуев…»

Напомнив, откуда Залман взял эпиграф, и кто автор стихотворения «Россия», Чернышов, наверное, хотел показать начальству, что слова Бен-Шолема для него не новость. Он записал это в протокол уже давно, на одном из первых допросов.

– А еще? Что еще вам известно о националистических, антисоветских настроениях Мандела?

Залман почти готов был поверить, что его следователь хочет за него заступиться и для этого что-то задумал. Но Бен-Шолем решил, что трое военных хотят лишний раз убедиться, что он их не подведет, скажет то же самое на суде, чем, как уверяли его следователи, облегчит свою участь. Бен-Шолем уже не мог отказаться от своих слов, протокол подписан. Обратного пути нет.

Шлагбаум опустился, и все ведет к тому, что Бен-Шолему придется опять повторить то же, что он рассказывал о Залмане на бесконечных ночных допросах.

– Разумеется, мы не только из этого сделали такой вывод. Я, например, не раз слышал от Залмана Мандела всякие претензии к партии и советскому правительству, он обвинял их в уничтожении еврейской культуры, в антисемитизме. Само собой, когда в начале войны мы встретили его в Куйбышеве, куда он эвакуировался вскоре после того, как туда из Москвы вместе с различными учреждениями переехал Еврейский антифашистский комитет, мы Залмана, как идейно близкого нам человека, сразу пригласили сотрудничать. Он оказался для нас настоящей находкой.

– Кто это «мы»? Для кого «для нас»? – будто не понимая, о чем речь, спросил Мартин Константинович.

– Мы – это Бен-Михоэл, Ахнес, я…

– И замаскированный враг народа, бывший бундовец Лозовский, – подсказал Бен-Шолему его следователь, стремясь показать, что он помнит наизусть все записанное в протоколах.

– Да. И Соломон Абрамович Лозовский.

Как заметил Залман, следователей не поразило, что Мартин так назвал бывшего начальника Информбюро, заместителя министра иностранных дел и члена ЦК Коммунистической партии. И не потому, что они, наверное, это знали. Они наверняка не удивились бы, если бы услышали то же самое о человеке, занимавшем и более высокое положение, особенно если он еврей.

– А кто пригласил вас и Ахнеса на работу в комитет, которым вы руководили с самого начала? Лозовский, разумеется. Так?

Бен-Шолем едва заметно кивнул:

– Так.

– Он знал, что вы с Ахнесом тоже бывшие бундовцы?

– Наверное.

– Не наверное, а точно. Мы это выяснили. Кто еще из еврейских писателей, кроме вас и Ахнеса, входил в буржуазно-националистический шпионский штаб – президиум так называемого Еврейского антифашистского комитета? Назовите поименно.

Почувствовав на себе пристальный взгляд Залмана, Бен-Шолем совсем отвернулся в сторону и странным, будто чужим голосом назвал всех, кого по имени и фамилии, кого и по отчеству:

– Охримов Рефоэл, Полонер Марк Давидович, Исаак Ниссенбаум, Лейб Блюмкин, Айзик Добрин, Пинхас Машберг, Нохум Волынер, Биньомин Бен-Арье… Извините. Я запутался. Биньомин Бен-Арье – не писатель. Он из Еврейского государственного театра, из ГОСЕТа…

– Неважно, – успокоил Мартин. – Ваш Бен-Арье из той же банды националистов и шпионов, что и Юзефович, что и сионист Элиегу Ватенберг, которых вы не назвали. Ваш Бен-Арье, как и вы, пробуждал в евреях тоску по прошлому, ставил в театре только те пьесы, которые побуждали в евреях примитивные, местечково-националистические чувства.

– А «Король Лир»? – спросил Залман так тихо, что сам не услышал. Может, вообще про себя, потому что никто даже головы не повернул.

Полистав две папки на столе, Бен-Шолема и Залмана, Мартин Константинович указал на Бен-Шолема пальцем:

– Расскажите, и как можно подробнее, что вам известно обо всех, кого вы перечислили.

– Все, что мне про них известно, я уже рассказал своим следователям майору Кузьмину, полковнику Марч…

– Не все, далеко не все! – резко перебил Мартин. – Вы указали только, что Охримов, Блюмкин, Полонер и другие еще до революции по несколько лет прожили за границей, но ни словом не упомянули, что они бежали туда потому, что являлись убежденными противниками Октябрьской революции и, находясь там, клеветали на Советский Союз. Вы также скрыли, что, вернувшись из-за границы, они продолжили свою буржуазно-националистическую деятельность. Охримов был и остался членом ЦК националистической Культурлиги, Блюмкин стал одним из активнейших членов троцкистского еврейского литературного объединения «Бой», Полонер на каждом шагу проповедовал, что евреи – единый народ, на них не распространяется марксистское учение о диктатуре пролетариата и классовой борьбе. Волынер бежал от революции в Палестину как сионист

и вернулся сюда, как хорошо известно, через Германию, где, разумеется, неслучайно, задержался на определенное время. Неспроста ваши еврейские писатели, и не только писатели, бежали в Германию и вернулись оттуда уже завербованными.

Если бы подобный разговор зашел не здесь. а на свободе, Бен-Шолем, наверное, ответил бы: Ленина тоже в этом подозревали, ведь он тоже вернулся из-за границы через Германию.

– А вас там не завербовали?

– Я никогда не был в Германии.

– До войны вы были в Чехословакии, а там в те годы немцев было полно. Об этом мы еще поговорим. Как видите, Бен-Шолем, нам все известно, нет смысла что-то скрывать.

Видимо, чувствуя себя виноватым, что не доставил Бен-Шолему тех особых мучений, после которых почти любой признается в чем угодно, майор Кузьмин поспешил встрять, чтобы загладить вину:

– Товарищ начальник, я сегодня же поговорю с ним как следует.

– И про своего друга Мандела, для которого вы были кумиром, вы тоже не все рассказали. Советую вам перестать хитрить. Расскажите, что еще о нем знаете. И помните, скрывать бесполезно.

Из жалости к Бен-Шолему Залман отвернулся и затих, пытаясь не шевелиться, будто его тут вовсе не было.

– Получив от Мандела согласие сотрудничать с нами, мы снабдили его необходимыми бумагами от Совинформбюро, с которыми он имел доступ куда угодно. Тогда в Куйбышеве и его пригороде Безымянке находились авиационный и другие крупные заводы. Директорами и главными инженерами на этих заводах были евреи.

– Назовите их.

– Гонар, Быховский, Бершадский, Юсим… Остальных не помню. Я их лично не знал.

– Врешь, шкура продажная! Падла! Хвост собачий!..

Полностью показать свои знания лубянской устной Торы майор Кузьмин не успел. Начальник прервал его на полуслове, и Бен-Шолем по знаку Мартина продолжил пересказывать все, что следователи на допросах занесли в протоколы и заставили его подписать, если он не хочет разделить судьбу главврача Боткинской больницы. Мартин следил по протоколу и сравнивал с тем, что Бен-Шолем говорил сейчас.

– В Куйбышеве и Безымянке на заводах работали эвакуированные евреи из западных областей, прибалтийских советских республик, Бессарабии. Американцы часто расспрашивали комитет об их судьбе: как им живется, чем они занимаются, что представляют собой предприятия, на которых они трудятся, что там производят. Для нас эти расспросы выглядели странновато. Но раз заказчик, еврейская иностранная пресса, куда комитет отправлял по почте из Совинформбюро при Министерстве иностранных дел произведения наших авторов, об этом спрашивает, мы требовали от наших авторов, чтобы они подробнее описывали жизнь эвакуированных евреев и вообще еврейского населения в нашей стране, отвечали на эти вопросы.

– На какие? – спросил Мартин Константинович, будто опять не понимая, но на самом деле имея в виду, что Бен-Шолем должен повторить все, что записано в протоколе, который полковник держал перед глазами. Пусть Залман, который упорно отрицает, что имел отношение к шпионажу, послушает показания своего друга.

– Мы требовали от наших авторов как можно подробнее рассказывать о заводах и фабриках, где работают евреи: какую продукцию там выпускают, выполняют ли план. Мы предупреждали авторов, что без подробной информации за границей их не станут печатать, что обернется для комитета большой потерей. Кроме того, пострадают и сами авторы: придется уменьшить им гонорар.

– Залману Наумовичу Манделу за его злостную клевету на советскую власть, что евреи «мрут от ее поцелуев», вы тоже платили повышенный гонорар, как шпиону и предателю Самуилу Перкину за его хитрые заметки, как сообщает бывший редактор вашего антисоветского комитета Натан Левитин?

– Гражданин полковник, я не помню, чтобы мы вообще платили кому-нибудь повышенный гонорар.

– Не помнит он! Падла! – подскочил к Бен-Шолему его следователь. – Как только что-нибудь такое, они сразу память теряют. Ничего, сейчас напомню…

– Ну, ну, – Мартин поднял руку, будто загораживая Бен-Шолема от разъяренного майора Кузьмина и одновременно показывая Чернышову, чтобы они оба не вмешивались в допрос, который он проводит на очной ставке, и опять обратился к Бен-Шолему:

– На заводы в Куйбышеве и Безымянке, как занесено в протокол, вы посылали писателя Манделя. Как я понимаю, эти заводы не ложки с вилками выпускали и, тем более, не детские игрушки. Так чем же ваш Мандел мог заниматься на этих заводах, если не шпионажем? Вы сами здесь показали, что Мандел был в комитете одним из главных по сбору информации, за что американские разведслужбы были вам очень благодарны.

– Я так не говорил.

– Здесь ваша подпись стоит, – не спросив у начальства разрешения, опять влез Кузьмин.

– Да, здесь на каждом листе ваша подпись…

– Но я так не говорил.

– А как вы говорили? – Мартин начал терять терпение.

– Точно не помню. Наверное, я сказал только, что это могли использовать как шпионские сведения.

Мартин Константинович достал из сейфа еще одну папку, голубую, и просмотрел несколько листов.

– А вот что об этом рассказывает бывший редактор вашего комитета Натан Левитин: «Еврейский антифашистский комитет был филиалом американской разведки. Почти во всем, что мы посылали в иностранные еврейские газеты, содержалось нечто, что могло быть использовано как шпионские данные. Я сам никогда этим не занимался, но объективно получается, что я шпион». То же самое говорит о себе в своих показаниях другой редактор комитета Абрам Бердичевский. И оба упоминают вас. Что теперь скажете, Залман Наумович?

– Об этих показаниях я слышал от следователя Евдокимова еще на первых допросах. Тогда не верил и сейчас не верю. Левитин не мог такого сказать.

– Не верите? Тут на каждой странице его подпись. Оба редактора утверждают, что в материалах, которые вы писали для заграницы, содержались государственные тайны. Зря вы от следствия правду скрываете. Себе же хуже делаете. Вот ваш кумир, например. Тоже многое скрыть пытается, но, в отличие от вас, не отрицает все подряд, чем облегчает свою участь. Бросьте хитрить, Залман Наумович. Знаете, что вам грозит за сокрытие правды?

– Я ничего не скрываю. Все, что знаю, я рассказал.

– И про Бен-Шолема все рассказали.

– Да, все, что знаю.

– А теперь послушайте, что Бен-Шолем рассказывает про вас: «Писатель Залман Мандел, – не спеша, громко и четко начал читать Мартин из голубой папки, – поставлял нам важные сведения. Прямо сказать, это был шпионаж. Для американской разведки во время войны очерки Мандела о военных и прочих заводах были очень важны. Так мне сказали, когда я с Бен-Михоэлом был в Америке». Все записано, как вы говорили?

– А? – Бен-Шолем будто проснулся и, почти не разжимая губ, прохрипел: – Да.

– О господи! Бен-Шолем, вы в своем уме? – Залман вскочил, шагнул к Бен-Шолему, но следователь Чернышов оттащил Залмана назад и навалился на него всем весом, что даже табуретка заскрипела. – Господи, вы сами себя слышите? Все, что я писал, печаталось здесь, у нас, в газете «Эйникайт»…

Бен-Шолем повернулся к нему. Утер рукавом глаза. Его лицо было мокрым от слез. Он беспомощно махнул рукой. Это означало: «Жизнь кончена, все пропало. Сопротивляться бессмысленно. Мы мертвецы, живые мертвецы. Приговор уже вынесен». Наверное, сидя здесь, он все время видел перед собой, как в зеркале, главврача Боткинской больницы, искалеченного, избитого до неузнаваемости…

Но жалости к себе Бен-Шолем у Залмана не вызвал.

Глава 71

Залман не мог понять, зачем Мартину надо, чтобы Бен-Шолем вслух повторил все занесенное в протоколы, где на каждой странице стоит его подпись. Наверное, им устроили очную ставку на случай, если на суде Бен-Шолем вдруг откажется от своих показаний. Тогда Залмана вызовут как свидетеля подтвердить, что Бен-Шолем действительно все это говорил! После такой мысли, тем более что его следователи уже не раз читали ему на допросах показания Бен-Шолема, Залман перестал внимательно прислушиваться к его рассказу о том,

как Бен-Шолем и Бен-Михоэл встречались в Америке с разными людьми якобы из разведслужбы, и эти люди чего-то от них требовали, и какие обязательства Бен-Шолем с Бен-Михоэлом на себя взяли.

Чаще других в показаниях Бен-Шолема упоминались в качестве тайных агентов редактор американской коммунистической газеты «Моргн Фрайгайт» Пейсах Новик и зять Шолом-Алейхема Бенциен Гольдберг. И при этом не сказано ни слова, зачем Бен-Шолему и Бен-Михоэлу понадобилось брать на себя какие-то обязательства. Что они с этого имели? Мешок золота заслужили, виллы в Швейцарии? В конце войны «Моргн Фрайгайт» прислала для обедневших советских писателей подарки: маленький пакетик, в нем банка консервов, килограмм крупы, килограмм сахара, пара носков, еще кое-какая мелочь. Наравне со всеми такой же пакетик получил и Бен-Шолем…

Но когда он начинает рассказывать о своих встречах с зятем Шолом-Алейхема в Америке, а потом в Москве, Залман жадно ловит каждое слово. Кажется, Бен-Шолем сам себя не слышит. Похоже, он совсем спятил. Что он несет? Надо его остановить, какой-то знак подать, подмигнуть, что ли, чтобы он замолчал. Но как это сделать, если Мартин и еще двое следователей внимательно наблюдают, как Залман воспринимает слова Бен-Шолема? Особенно подробно тот рассказывает, какие встречи устроили Бенциену в комитете, в Доме литераторов, в Боткинской больнице. Да и в Литве, Латвии, на Украине, всюду, куда Бен-Шолем его сопровождал, для гостя из Америки были все двери открыты. Ему предоставили доступ куда угодно, чуть ли не к сейфам с документами. Везде он чувствовал себя хозяином: что захочет, то ему и покажут.

По словам Бен-Шолема получается, даже слепой заметил бы, что американец – опытный разведчик, впрочем, как и его провожатый. Единственная правда в его рассказе – это что Бенциену устроили слишком дружественный прием. Но кому, как не Бен-Шолему, знать, что Бенциена так встречали, потому что он зять Шолом-Алейхема. Воздали должное светлой памяти его великого тестя, которым гордится еврейский народ во всем мире. И Бенциен достаточно умен, чтобы это понимать.

При такой убойной памяти, как у Залмана, как он может не помнить, что когда-то рассказывал Бен-Шолему, как встречался

с Бенциеном в Биробиджане, где они занимали соседние комнаты в деревянном колхозном доме? Гостиницы там еще не было. Кажется, они не пропустили ни одного вечера, чтобы не посидеть, не поговорить. И если Залман все-таки рассказывал об этом Бен-Шолему, тот мог проболтаться следователю, и сейчас Залман это услышит. Одного этого достаточно, чтобы с него уже не сняли чудовищного обвинения в шпионаже, и приписали, что Бенциен завербовал его еще тогда, в Биробиджане.

Залмана охватил ужас. Выход только один: вмешаться, остановить Бен-Шолема одним из вопросов, всплывших у Залмана в голове, пока он слушал. Но вмешаться не получилось. Ему преградил дорогу Мартин Константинович, спросивший Бен-Шолема:

– Среди сведений, которые вы предоставляли гостю из американской разведки, была информация, собранная Манделом?

– Да.

– О чем?

– О заводах.

– Еще о чем?

– О Крыме.

Поворошив листы в голубой папке, полковник приказал Бен-Шолему пересказать занесенное в протоколы, ясно дав понять, что будет сранивать теперешние и прежние показания.

Нет, не все, что сейчас говорит Бен-Шолем, Залман уже знает, хотя следователи не раз зачитывали ему эти самые протоколы, в которые углубился полковник.

Как мог Бен-Шолем, который называл его единственным другом, скрыть от него, что на встречах в Америке речь шла о еврейской республике в Крыму? Бен-Шолем не упомянул об этом, даже когда комитет и газета «Эйникайт» отправили Залмана в Крым с поручением описать еврейские поселки после немецкой оккупации.

«Находясь в Америке, мы, я и Бен-Михоэл, встречались с представителями различных обществ и землячеств, – говорил Бен-Шолем тем же монотонным голосом, присматриваясь не столько к Залману, сколько к полковнику, который не отрывался от папки. – На встрече с миллионером Розенбергом и другими американскими богачами, а также с главным раввином Соединенных Штатов

Стефаном Вейзом речь шла о еврейской республике в Крыму. Биробиджан – неподходящее место для евреев, это Дальний Восток, а от Крыма рукой подать до Ближнего Востока, ведь евреи – ближневосточный народ. В деньгах недостатка не будет. То же самое обещал от имени «Джойнта» Бенциен. Безопасность еврейской республики обеспечит американское правительство. Это оно берет на себя. Как только Крым станет еврейской республикой, Америка введет в Черное море корабли…»

– Значит, в случае войны с нами…

В протоколе такого вывода не было, поэтому Мартин посчитал нужным уточнить, какая опасность будет угрожать стране, если Америка введет корабли к нам в тыл. Он объяснил это не для Бен-Шолема и Залмана, а для следователей, чтобы указать им на их близорукость.

– Итак, вернувшись из Америки, вы выполнили ее требование? – Мартин отложил папку, давая понять, что больше в ней не нуждается, потому что остальное помнит наизусть.

– На заседании президиума комитета мы подробно доложили о наших встречах в Америке и о требовании создать Еврейскую республику не на Дальнем Востоке, а в Крыму. Мы послали письмо в правительство…

– Кто подписал письмо?

– Ахнес, Бен-Михоэл, Шимелевич…

– Бывший главврач Боткинской больницы?

– Да. И я.

– И Лозовский, – вставил Кузьмин, который составлял протоколы из голубой папки. – Это Лозовский послал вас с Бен-Михоэлом в Америку, чтобы вы снюхались с заклятыми врагами нашей страны, с американскими еврейскими буржуазными националистами и сионистами.

– Лозовский письмо не подписывал, только редактировал.

– Значит, послали письмо и стали ждать ответа? Положительного, разумеется.

– Да. Для этого мы кое-что предприняли заранее.

– Что конкретно?

– Чтобы Америка повлияла на наше правительство, нужно было

убедить американцев, что советские евреи дружественно к ней настроены, и что…

– Не дружественно настроены, а преданы всей душой, – уточнил Мартин, опять не для Залмана и Бен-Шолема, но для их следователей. – И по этой причине, как утверждает в своих показаниях Айзик Добрин, вы не просили, а настаивали, чтобы советское правительство выполнило ваши справедливые требования. Это ваши слова, Бен-Шолем, ваши и Бен-Михоэла, на том заседании, когда вы составляли письмо. В чем еще вы собирались убедить американцев, чтобы они встали на сторону евреев? Продолжайте.

И Бен-Шолем продолжил, не слыша себя, как казалось Залману:

– В том, что наши евреи хотят поселиться в Крыму. До войны там было больше сотни еврейских поселков, колхозов. И в городах немало евреев жило. Об этом надо было подробно рассказать американцам. С этим поручением мы и отправили туда писателя Залмана Мандела. К тому времени в Крыму не осталось ни немцев, ни татар. А евреи начали понемногу возвращаться из эвакуации.

– Почему ваш комитет отправил именно Мандела?

– Другие тоже поехали.

– Кто?

– Писатели Лейб Блюмкин, Айзик Добрин, кто-то еще, не помню. Но Мандел знал Крым лучше всех. Он жил там какое-то время до войны, написал о крымских еврейских колхозах пьесу «На Черном и Азовском».

– Значит, вы еще до войны про Черное море писали? – повернулся Мартин к Залману. – Что вы в своей пьесе написали про Севастополь?

– Я никогда не был в Севастополе.

– Врешь, хер обрезанный! Хватит юлить!

Мартин не остановил Кузьмина, дал ему возможность показать богатство русского языка на Лубянке.

– И где ты был, сука? Отвечай, подонок, когда тебя спрашивают!

– В Евпатории.

– В столице запланированной Еврейской республики. – Начальник вернул себе инициативу, остановив Чернышова, который тоже порывался блеснуть познаниями лубянского русского. – Вы передали

своим гостям из американской разведки Бенциену Гольдбергу и Пейсаху Новику очерки Мандела о крымских еврейских деревнях. В этих очерках содержались шпионские сообщения?

Мартин терпеливо ждал. Но Бен-Шолем не отзывался, сидел, опустив голову, и молчал… Мартин не переспросил. Поворошил листы из голубой папки и, будто вынося приговор, медленно и отчетливо начал читать:

– «Будучи враждебно настроен к партии и советской власти, писатель Залман Мандел через наш комитет установил преступную связь с еврейскими буржуазными националистами и вместе с ними активно занимался шпионской националистической работой. В своих произведениях он проталкивал шовинистские, сионистские, религиозные и другие реакционные антисоветские идеи. В очерках Мандела о Крыме и Биробиджане содержалось нечто такое, что могла использовать американская разведка». Под протоколом от восьмого июня тысяча девятьсот пятьдесят первого года стоит ваша подпись, Бен-Шолем, – грозно заявил полковник. – Что значит это «нечто такое»? Вы хотели сказать, что во всех произведениях Мандела о заводах, о Крыме, о Биробиджане, которые ваш комитет пересылал в Америку, содержались шпионские донесения? Так? Не слышу! Не бормочите под нос, отвечайте громко и четко. Там были секретные сведения, государственные тайны. Так?

– Так.

– Господи, что вы несете? – Залман вскочил с табуретки, схватившись за голову. – Как вы можете так говорить? Какой еще шпионаж?! Где, когда?.. Господи…

– Залман Наумович, сколько раз вы ездили от комитета в Крым и на какое время?

Снова обращаясь к Залману по имени-отчеству, полковник, наверное, давал понять, что еще не поздно согласиться на его предложение, сделанное в гостинице месяцев за пять-шесть до закрытия комитета. Видимо, поэтому он и не позволяет особо вмешиваться в допрос двум остальным следователям, Чернышову и Кузьмину. А если так, подумал Залман, Мартин любым способом постарается показать ему, насколько велико его преступление, чтобы скорее сломать, вынудить согласиться.

«Боже сохрани, реб Залман!», – услышал он предостерегающий голос кременчугского главы ешивы реб Арона.

– Сколько раз? – Залман не понял, зачем следователь переспрашивает.

– Он три раза от комитета ездил, – ответил Чернышов.

Наверное, захотел показать начальству, что даже такие мелочи помнит.

– Зачем вы столько раз посылали его туда и, как указано в командировочных листах, на такое долгое время? – повернулся Мартин к Бен-Шолему.

– Его не я посылал.

– Верно, командировочные листы подписывали не вы. Но вы посоветовали, кого послать. Мы выяснили. Так почему вы все три раза выбрали Мандела?

– Туда и другие от комитета ездили.

– Это мы тоже знаем. Но я спрашиваю про Мандела. Отвечайте на вопрос.

– Я же уже сказал, – промямлил Бен-Шолем. – Мандел знал крымские еврейские деревни гораздо лучше, чем все остальные, кого мы тоже туда посылали.

– Только поэтому? Может, еще какая-то причина была? Скажите, я разрешаю. Мы ведь все равно ваш мужской секрет ему выдадим. Скажите-ка, Бен-Шолем, как получилось, что вы обошли лучшего друга, когда распределяли места в еврейском правительстве Крыма? Какую должность вы для себя выбрали?

– Министра иностранных дел, – опять влез, несмотря на приказ Мартина не вмешиваться, следователь Бен-Шолема. – Но еще речь шла о портфеле министра внутренних дел.

– А Мандела совсем обошли? Слышите, Залман Наумович? А вы, наверное, рассчитывали, что станете по крайней мере, вице-премьером. – Мартин привстал на табуретке и опять обратился к Бен-Шолему: – А в Биробиджан почему вы тоже Мандела посылали?

– Мы посылали туда еще Пинхаса Машберга, Гиршу Ламеда, Лейзера Погребинского…

– Но первым и на более долгое время, чем остальные, вы все-таки

отправили Мандела, и не только собирать информацию. У вас была и другая цель. Та же самая, с которой вы его три раза в Крым посылали? Отвечайте.

И без всякой связи с вышесказанным Мартин продолжил:

– Находясь с Бен-Михоэлом, этим замаскированным врагом Советского Союза, в Америке, вы одновременно торговались там насчет Биробиджана. Предвидели, что ваш шпионский антисоветский комитет не сможет поднести Америке такой подарок – плацдарм для кораблей в Черном море у берегов нашей страны. Или американцы сами это предусмотрели?

По тону полковника нетрудно было догадаться, какой ответ его устраивает. Во всяком случае, Бен-Шолем понял и отдал первенство в биробиджанском вопросе американцам, хотя комитет тоже не ждал положительного ответа на свое письмо.

Глава 72

Из показаний Бен-Шолема о Еврейской автономной области и ее столице Биробиджане следовало, что американцы не удовлетворились одним подарком. Кроме плацдарма на юге, на солнечном Крымском полуострове, они хотели еще один плацдарм на Дальнем Востоке, о чем, по словам Бен-Шолема, и шла речь, когда они с Бен-Михоэлом были в Америке.

Зачем Мартину понадобилось, чтобы Бен-Шолем повторил при Залмане свои показания, и так наверняка занесенные в протоколы предыдущих допросов, догадаться нетрудно. Мартин хотел, чтобы Залман понял: все, что он написал о дальневосточной Еврейской области, тоже было сплошным шпионажем, как того требовали филиалы американской разведки – дважды отправлявшие его туда Еврейский антисоветский комитет и газета «Эйникайт».

Убежденным сторонником Еврейской республики на берегах Амура Залман никогда не был. Но, оказавшись там, он не смог не заметить чудесной красоты дальневосточного края, не описать тайги, сопок, рек, не упомянуть сокровищ, которые ждут там переселенцев. Все это он описал в книжке «Поселенцы», которую комитет послал

в Америку и там получил за нее благодарность от Амбиджана, где тоже хозяйничала разведслужба.

До той минуты Залман не понимал, почему газета «Эйникайт» сразу не указала ему на допущенную им в одном из очерков ошибку о количестве еврейских жителей области. Залман превысил его почти вдвое. Оказывается, как заявил Бен-Шолем, ошибку не исправили умышленно. Это было возражение американцам на их претензии, что в области слишком мало евреев, что они не хотят туда ехать и там жить. Если так, зачем давать на область деньги, и немалые? Но если туда, причем за очень короткое время, приехало так много евреев, значит, они готовы там селиться. А что евреи любят американцев, ни для кого не секрет.

Так Бен-Шолем истолковал случайную ошибку.

Похожую ошибку, но действительно намеренно, комитет допустил в отправленной за границу заметке. Там говорилось, что в биробиджанских школах учат еврейский язык. Именно тогда, вскоре после войны, Залман объехал всю Еврейскую автономную область и написал, что в одной из биробиджанских школ дети учатся на идише. Но в отчете, который Залман вместе с тамошним писателем, беженцем из Польши Исроэлом Эмиотом, послал в комитет, черным по белому было написано, что еврейский язык учат только в одной школе и в одном классе, причем в нем всего-то семь-восемь учеников.

Эту ошибку, как Залман услышал, вернувшись из Биробиджана, допустили специально. Пусть весь мир знает: в Советском Союзе евреи – полноправный народ. И что в биробиджанских государственных школах преподают на еврейском языке – лучшее тому доказательство.

Разве Залман мог возразить? Ведь так поступили ради советской Родины, которой евреи преданы, как никакой другой народ.

А на самом деле, как теперь заявляет Бен-Шолем, просто хотели показать американским еврейским буржуазным националистам, связанным с разведкой, что комитет в Москве не сидит сложа руки, а готовит для Америки еврейский дальневосточный плацдарм – не хуже крымского.

Делается все, чтобы идиш возродился, и делается при поддержке советского правительства. Еще до войны стали закрывать еврейские

школы, клубы, библиотеки, а до того – синагоги, но это не значит, что в СССР есть государственный антисемитизм. Будь оно так, как пишут за границей, крупный писатель Рефоэл Охримов не вернулся бы в Россию и не поселился бы в Биробиджане.

– Откуда вскоре сбежал, – подсказал Бен-Шолему его следователь.

– На то были причины…

– Какие? – Мартин вместе с табуреткой повернулся к Залману, который сквозь полудрему слушал показания Бен-Шолема. – Погодите, погодите. – Полковник опять заглянул в папку. – Ну да. Вы тогда тоже были в Биробиджане.

– Возможно. Уже не помню.

– «Возможно! Уже не помню!» Ах ты, сука продажная… – снова набросился на Залмана Чернышов, и Мартину снова пришлось его остановить, чтобы тот не мешал вести допрос двух государственных преступников из филиала американской разведки – Еврейского комитета.

– Это мы выясним. Но роман Охримова про Биробиджан вы, конечно, читали. Или тоже не помните?

– Помню, как же не помнить? Я читал все произведения Рефоэла Охримова, учился у него художественному мастерству.

– И в чем заключается его мастерство? В том, что он подсказывал, какие цитаты из Библии и Талмуда вам вставлять в свои произведения?

– Манделу не требовались подсказки Охримова. Он сам прекрасно знает Библию и Талмуд. И цитаты у обоих этих писателей не всегда националистические и шовинистические. – Ответил Бен-Шолем, хотя его никто не спрашивал. Наверное, он попытался хоть чуть-чуть загладить вину, искупить грех, который он совершил против Залмана и многих других, в том числе и себя самого. – В моих произведениях националистические и шовинистические мотивы встречаются не чаще, чем у любого еврейского писателя…

Скрытый смысл этих слов сразу дошел до Залмана, и неприязнь к Бен-Шолему стала еще сильнее.

– Как установлено, – продолжил Мартин, пропустив слова Бен-Шолема мимо ушей, – Охримов, редактируя чужие произведения, уснащал их реакционными религиозными цитатами и отравлял мозги

читателей контрреволюционным шовинистическим ядом. И вы, Залман Наумович, как его верный последователь, делали то же самое: вставляли цитаты из реакционных, националистических книг – Библии и Талмуда – в произведения, которые редактировали для советских и иностранных читателей.

Еще ближе придвинув к себе папку, он опять повернулся к Залману.

– Что еще вы можете сказать о книгах Охримова? Роман «Биробиджан» тоже написан с большим художественным мастерством?

– Без сомнений.

– И как там изображена советская жизнь?

– Правдиво и реалистично. Когда Охримов навсегда вернулся из-за границы, он по-другому уже не писал. «Биробиджан» – образец социалистического реализма. Критика очень высоко его оце…

– А то, что там написано о парторгах, – резко перебил Мартин, – что парторг – как вол, которому нужен кнут, – это тоже социалистический реализм?

– Не помню, чтобы там такое было.

– А как там было?

– Не помню.

Залман действительно не помнил и не верил, чтобы Рефоэл Давидович Охримов проявил такую храбрость, замахнулся аж на… Понятно же, что это означало бы замахнуться не только на совхозного парторга. Для этого другая храбрость нужна. Не та, которую Рефоэл показал во дворе Дома литераторов, приехав в СССР еще как гость: у всех на виду, средь бела дня, отвесил пощечину защитнику Шомера Аврому Вевику за то, что тот его оклеветал. Но замахнуться на такую величину…

– Ну? – не отставал Мартин.

Возражать? А как он что-то докажет? И Залман только повторил:

– Не помню.

– Забыли? Ничего, мы вам напомним, что там написано у Охримова в его шовинистическом романе. А не реалистическом, как вы утверждаете.

Теперь полковник Мартин повернулся к Бен-Шолему, и Залман заподозрил, что тот, кто сообщил о сравнении парторга с волом

и должен ему об этом сравнении напомнить, – это Бен-Шолем и есть. И все-таки Залман отогнал от себя подозрения, опять попытался найти в Бен-Шолеме хоть какие-то остатки еврейской души, ради которых его можно простить за то, что он наговорил сегодня про Залмана и про многих других…

Не дождавшись от Залмана ясного ответа ни на этот, ни на предыдущий вопрос, а это означало, что Залман, как и Рефоэл Охримов, отравлял мозги читателей цитатами из религиозных, реакционных, шовинистических книг, Мартин Константинович в связи с этим напомнил ему про эшелон, который привез в Биробиджан переселенцев вскоре после войны.

– Кто еще, кроме вас и Машберга, ходил по домам и требовал от биробиджанцев говорить исключительно по-еврейски и отдавать детей только в еврейские школы?

– Откуда мне знать, гражданин полковник, если меня там уже не было? Я этого эшелона не сопровождал.

Эшелон с несчастными, оборванными, голодными переселенцами сопровождали маститый Пинхас Машберг и молодой сотрудник «Эйникайт» Лейзер Погребинский. Но напоминать об этом не стоит. Полковник и сам знает. Возможно, в каком-нибудь протоколе он уже прочитал то же самое, что ему мог бы ответить Залман: «Не вижу в этом никакого национализма, как вы это называете. Если человек болеет душой за свой родной язык, разве это преступление? Народ, утративший язык, уже не народ. Если бы, когда приезжал Пинхас Машберг, я тоже там был, то, конечно, вместе с ним ходил бы по домам, чтобы в еврее будить еврея, как раньше ходили будить на покаянную молитву в Дни трепета[1]».

Но если бы Залман набрался мужества сказать это вслух, все равно не успел бы. Полковник задал следующий вопрос, причем совершенно дикий:

– Как долго вы были экскурсоводом на выставке в Совинформбюро Лозовского в связи с поездкой Бен-Михоэла и Бен-Шолема в Америку? Сколько раз?

– Разве такое запомнишь, гражданин полковник? Наверное,

1 Первые десять дней года по еврейскому календарю, время покаяния.

пару раз сопровождал посетителей, был, как вы говорите, экскурсоводом, отвечал на вопросы. Разумеется, если мог.

– Выставка большая была?

– Небольшая, но очень содержательная.

– Послушайте, Залман Наумович, – отчеканил Мартин Константинович, подчеркивая, насколько важен этот вопрос. – Какова была цель выставки? Как свой человек, вы должны знать, что комитет хотел этим сказать? Только честно.

– Не хитрить, не врать! – уточнил Чернышов, воспользовавшись случаем, чтобы лишний раз о себе напомнить.

– Итак, что хотел сказать ваш комитет этой выставкой? – повторил Мартин Константинович, видимо, чтобы вставить забытое слово «ваш». Он еще забыл более важное слово «антисоветский». Наверное, сейчас третий раз повторит.

Дурацкий вопрос, но Залман не удивился. Если до сих пор, до очной ставки с Бен-Шолемом, он на каждом допросе пытался понять, в чем смысл этой дьявольской игры, которую здесь ведут с ним уже не один месяц подряд, зная, что он ни в чем не виноват, как и все арестованные писатели и члены комитета, давно ему знакомые, то теперь, после этого дурацкого вопроса, незачем копаться в происходящем. Реб Арон кременчугский сразу ему сказал: «Не в вас дело и не во мне, реб Залман. Дело во всем нашем народе. Гитлер не искал оправданий своим зверствам. Для него достаточно было одного: ты еврей. То же самое происходит здесь и сейчас. Но здесь ищут какое-то оправдание, не для себя, а для всего мира. Хоть какое-то».

– Вы думали, Мандел, мы не знаем, зачем вы устроили выставку? Я вам уже сколько раз говорил, от нас ничего не скроешь, мы все знаем, абсолютно все. – Мартин смотрел не столько на Залмана, сколько на растерянного, сломленного Бен-Шолема. – Но я хочу, Залман Наумович, услышать это от вас, хотя заранее знаю, что всей правды вы все равно не скажете. Ваши никогда правду не говорят. Постоянно хитрят, что-то скрывают.

– Тут скрывать нечего, гражданин полковник. Выставка же была открыта для всех желающих, в самом центре города, в Совинформбюро.

– Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, какова была ее цель. Что ваш комитет имел в виду?

– Цель была и могла быть только одна: чтобы по выставленным газетам, журналам, фотографиям люди увидели, как тепло в Америке принимали представителей Советского Союза, какую помощь американские евреи оказали Красной Армии, населению…

– Врете, Залман Наумович. Сами знаете, комитет имел в виду другое. Цель выставки заключалась в том, чтобы очернить, унизить нашу страну перед всем миром, выставить в самом неприглядном свете ленинско-сталинскую национальную политику нашей партии, братскую дружбу советских народов. Ваш кумир оказался откровеннее вас. Подскажите ему, – обратился Мартин к Бен-Шолему, – какова была истинная цель выставки. – И он заглянул в папку, чтобы Бен-Шолем не сомневался: то, что он скажет сейчас, полковник сравнит с его прежним ответом на этот же вопрос.

Это был голос не Бен-Шолема. Совсем другой, тихий, хрипловатый. Бен-Шолем будто надеялся, что Залман, сидящий от него в трех-четырех шагах, ничего не расслышит.

– Цель выставки заключалась в том, чтобы все увидели, сколько еврейских газет и журналов выходит в Америке, в то время как в Советском Союзе, где тоже живут миллионы евреев, издается только одна еврейская газета, «Эйникайт».

Даже после того как Залман услышал от самого Бен-Шолема, что тот не один год сотрудничал с Лубянкой, все равно было непонятно, почему Бен-Шолем это говорит. Потому, что он их человек, или потому, что он окончательно порабощен страхом. Ведь Бен-Шолем оправдывает даже то, что закрыли комитет и рассыпали набор «Черной книги».

Глава 73

Как заявил Бен-Шолем, согласно «Черной книге», евреев убивали не нацисты, а местное население.

Тут Залман уже не смог промолчать:

– В «Черной книге» рассказано и про то, как местное население, рискуя жизнью, прятало евреев, спасало их от неминуемой смерти.

– Верно, – согласился Мартин Константинович, – но там об этом всего несколько строк, чтобы сбить нас с толку. Как видите, не получилось.

Майор Кузьмин, который вел протокол, отложил перо, хотя очная ставка не закончилась. Может, он перестал записывать, потому что в этом не было нужды с самого начала. Все, что сейчас рассказал Бен-Шолем, уже было в протоколах предыдущих допросов, и вопросы, и ответы совпадали слово в слово. Скорее всего, протокол, который дадут Залману подписать, был приготовлен заранее, еще до очной ставки и, может, даже до того, как Залмана привезли на Лубянку с Бутырки.

– По вашей «Черной книге» вообще получается, – продолжил полковник, – что немцы убивали только евреев, евреи были их главными врагами, и война была чуть ли не еврейско-немецкая. Вас не беспокоит, что на фронте погибли миллионы наших, и еще миллионы были уничтожены на оккупированной территории. – Мартин закрыл папку. Видимо, дальше он решил высказаться от себя. – Вас волнуют только ваши евреи, и у вас еще хватает наглости спорить с нами, отрицать с пеной у рта, что вы буржуазные националисты, шпионы, предатели. Вы все такие. Вас интересуют только евреи, только ваш народ, хотя вы давно и не народ вовсе.

«А кто же мы?» – Залман спросил не полковника, а того, кто смотрел со стены, того, с кем он в молодости чуть ли не плечом к плечу прошагал от Колонного зала на Охотном Ряду до Мавзолея на Красной площади. Тогда Залман и представить себе не мог, что все, сказанное сейчас полковником, на много лет раньше сказал Сталин. Если бы Залман знал, может, еще тогда спросил бы у него то же, что сейчас: «Любить свой народ, болеть за него душой, когда он погибает, – это буржуазный национализм?»

Не то что высказать, но даже додумать до конца эту мысль Залман не успел. За Бен-Шолемом пришел конвоир. Оба – и Залман, и Бен-Шолем – понимали, что видятся в последний раз, но даже не обменялись взглядами на прощание. Залман первым отвел глаза.

Вскоре в кабинет явился второй конвоир, совсем молодой, почти мальчик.

Мартин передал Залмана в его распоряжение, а сам вместе с обоими следователями, Кузьминым и Чернышовым, покинул кабинет.

Похоже, писатель еще не окончательно умер в Залмане. Иначе с чего бы он так задумался над судьбой этого паренька, в чьей власти сейчас оказался. И все равно Залман не может отыскать в нем того, что испокон веков называли душой и считали главным в человеке. Как его занесло на Лубянку? Залман сам недоумевает, почему этот паренек так его заинтересовал, зачем он присматривается к нему, как художник, который собирается писать портрет. Залман хочет разобраться, как здесь оказался этот мальчик. Ведь он, наверное, даже школу окончить не успел. Может быть, опять думает Залман, его конвоир просто не знал, не понимал, куда его заманили, и в кого он тут превратится. Или совсем наоборот? В том-то и дело, что знал и хотел власти?

Задумавшись, Залман невольно увидел себя в те далекие годы, когда был примерного того же возраста, что его конвоир. Он уже не помнит, как звали девушку, с которой они вечерами сидели на скамейке в дальнем уголке городского парка, провожая заходящее солнце и встречая звездопад. Но Залману до сих пор помнится, с каким нетерпением он ждал этого вечернего часа. Запомнились и необыкновенно синее небо, и необыкновенно серебристые звезды.

Глупо даже пытаться вспомнить, о чем они говорили, сидя на скамейке в парке или на крыльце у той девушки во дворе. Наверное, просто сидели, молчали, и в этом молчании слышалось: «Я тебя люблю». Хотя ни один из них не ответил бы, что это значит, да и сейчас, жизнь прожив, он не знает ответа. У него одно мерило – Элиша. Чтобы увидеть ее хоть на мгновение, на одно мгновение, он, кажется, отдал бы все на свете.

«Ну-ну-ну!» – вдруг услышал Залман голос реб Арона и сразу ответил почти вслух, даже губы зашевелились: «Нет, взять на себя то, чего они требуют – измену и шпионаж, – на это я не пойду. Как бы из меня ни выбивали признание, я выдержу». «Не будь так уверен, – возразил он себе. – Ты еще их не знаешь. Ты еще в печи не оказался…»

Чтобы не думать об этом, он вернулся к тому, с чего начал, – к своему конвоиру.

По его сердито нахмуренным бровям было видно, что он уже сутки, а то и двое, не встречался со своей избранницей и винит в этом Залмана. Он проводит время с такими, как Залман, вместо того чтобы проводить время с ней. Его избранница – самая красивая, самая милая девушка на свете. Как для Залмана – та, с которой он встречал звездные вечера.

Залману стало стыдно. Как он может думать об этом сейчас? Ведь сколько раз, сидя за письменным столом, он задавал себе вопрос: что такое любовь? И, как и сейчас, не нашел исчерпывающего ответа, как и на вопрос, что такое человек и его душа. Только одно он знает еще из Песни Песней: нет той силы, которая могла бы ее одолеть. Ну, а ревность? Ее можно победить? Наверное, так показалось Хаиму Юнгачу, не может быть, чтобы Элиша, после того как он рассказал ей про Яшу, опять с ним встретилась. Не может быть.

А может, парнишка так сердито хмурит брови, потому что не уверен в своей избраннице. Вдруг, пока он сидит тут всю ночь, она гуляет с другим. У ревности та же сила, что у любви, если не больше. Ревность – адское пламя, которое невозможно потушить.

Что сказал бы на это молоденький конвоир, если его спросить?

Кроме них, в кабинете никого. Следователи, наверное, пошли отдохнуть, вздремнуть немного. Бен-Шолема, конечно, отвели назад в камеру. До команды «подъем» еще успеет поспать пару часов. Залмана в камеру не отправили, наверное, оставили здесь до утра. Когда спать не дают, большего мучения, кажется, нет. Несть, семь суток подряд глаз не смыкать.

«Жизнь дается человеку один-единственный раз», – однажды услышал он от Бен-Шолема, еще до того как это сказал автор романа «Как закалялась сталь». Залману вместе с другим переводчиком когда-то довелось переводить эту книгу на еврейский. Выводы из этих слов оба сделали совершенно разные. Для Бен-Шолема они означали, что надо брать от жизни все, наслаждаться ею, получать удовольствие и стараться не думать о смерти, которая тоже дается один-единственный раз.

То ли прибитая табуретка под ним, то ли дверь натужно

заскрипела. Кто-то идет? Нет, показалось. А до рассвета, как показывает синева за окном, еще далеко.

Раз больше никого нет, молоденький конвоир, может, ждет, что Залман заведет с ним разговор, попросит рассказать про его избранницу. А потом Залман расскажет ему про Элишу…

У него совершенно вылетело из головы, кто из писателей, севших еще во время первой чумы, рассказывал, что его конвоир, услышав знакомую фамилию арестованного, взял у него адрес и номер телефона его жены и передал ей привет от мужа. А вдруг, когда Залман расскажет пареньку про Элишу, тот тоже согласится сделать доброе дело, позвонить ей…

– Глаза не закрывать! Не закрывать, я сказал!

Разве он их закрыл, чтобы мальчишка разорался, как молоденький петушок, и разрушил все, что Залман успел о нем подумать?

Глава 74

О том, что для человека значит быть или не быть, Залман задумался, увидев, как на очной ставке Бен-Шолем безнадежно махнул рукой: «Не слушайте меня. Я сам не знаю, что говорю. Мне уже все равно. Жизнь кончилась». Или: «Корабль тонет. Кто как может, так и спасается».

Напоминать об этом было необязательно. Залман здесь еще в первые дни понял, что жизнь проиграна. Впрочем, если хорошо подумать, жалеть особо не о чем. Немного у него было в жизни солнечных дней, и надеяться, что они еще придут, просто глупо. Откуда им взяться, даже если случится чудо, и он выйдет на свободу? Так и так это будет жизнь за решеткой. С другой стороны, пусть за решеткой, но пожить все равно хочется.

В одном Залман совершенно уверен: если ему суждено здесь расстаться с жизнью, а после сегодняшнего допроса он в этом почти не сомневается, ему нет причины бояться Всевышнего, в которого он верил с каждым днем все сильнее. Если Залман и совершил какой-нибудь грех, то уже понес за него наказание, причем гораздо более суровое, чем может назначить Высший Суд.

В отличие от Залмана, Бен-Шолему солнечных дней выпало в жизни немало. Он не гонялся за ними, они сами бежали ему навстречу, особенно после того как он встал во главе писателей, среди которых были и поистине великие.

Почему именно ему, не очень одаренному «талантологией», дали власть над такими крупными фигурами, как Марк Полонер, Нохум Волынер, Рефоэл Охримов, Пинхас Машберг и некоторые другие, ни для кого не секрет. У писателей все как у всех остальных. Руководителем крупного предприятия скорее мог стать невежда с партбилетом, чем толковый, опытный, но беспартийный специалист. При этом все писатели признавали поэтический дар Бен-Шолема, ценили его ум, его юмор. Врагов он не нажил. Все знали его как человека, который живет сам и дает жить другим, особенно тем, кто может ему пригодиться.

Это понятно. Не совсем понятно другое: как Бен-Шолем стал своим человеком в этом доме? Что его сюда привело? За глаза, конечно, говорили, что ни в коем случае хозяином какой-нибудь организации, тем более такой, как писательская, не сделают человека, не связанного с этим домом. Однако до недавнего времени Бен-Шолем мог поклясться чем угодно, хоть единственной дочерью, что ему никогда не предлагали здесь служить. Правда, однажды его сюда вызывали. Еще до войны, и вызывали из-за его шутки про женщин.

На фабрике устроили его творческий вечер, и кто-то, среди прочего, спросил Бен-Шолема, как он относится к женщинам. Он опять отшутился, сказал, что относится к ним как коммунист, вот, например, как Ленин, то есть любит их, как Владимир Ильич любил Инессу Арманд.

Тот, кто задал вопрос, наверное, знал, что Бен-Шолем никогда не прочь завести интрижку. Он и за молодой женой Яши Розена ухаживал, и, потом, за девушкой Залмана, Цилей Гарбер. С неосторожной шуткой про Ильича ему еще повезло, Бен-Шолем сам удивлялся, что так легко отделался. Это было незадолго до чистки, до тридцать седьмого года.

Здесь ему про эту шутку и напомнили, когда подсунули на подпись бумажку, наверное, такую же, как раньше дали подписать Ахнесу, который свел Бен-Шолема с полковником Бочковым.

В молодости Бен-Шолем недолго играл в местечковом драмкружке. Там ему как-то досталась роль сына в одноактной драме Ан-ского «Отец и сын». Когда ночью в дом врываются жандармы, отец спрашивает: «Сын мой, чего они требуют от тебя?» – «Хотят, чтобы я стал доносчиком. Скажи, отец, ты хочешь, чтобы твой сын стал доносчиком?» – «Нет, сын мой, – отвечает отец, – не хочу».

И как же он стал доносчиком? Зачем, оговорив себя, что он убежденный националист, и произведения у него националистские, он добавил, что у других писателей национализма еще больше, и по сравнению с ними не такой уж он и националист?

Чем дальше, тем больше Залман убеждается, что Бен-Шолем стал доносчиком по трусости. Ведь он в Гражданскую воевал в Красной Армии, попал к белым в плен, сидел в камере смертников. Может, это неправда? Описывать героизм и проявлять героизм – не одно и то же. У Залмана нет доказательств, которые он мог бы высказать Бен-Шолему. Разве что можно припомнить один случай. Они возвращались с куйбышевского радио, где во время войны дважды в неделю велись передачи на еврейском, в основном для заграницы. В тот вечер Бен-Шолем был диктором, а Залман читал свои стихи.

Закончилась передача часов в девять. Стояла поздняя осень, на небе ни одной звезды, все окна наглухо занавешены.

В кромешной тьме они прошли уже с полпути, когда где-то далеко раздался винтовочный выстрел и сразу еще один. Бен-Шолем бросился наутек, не разбирая дороги, по лужам и палым листьям, но не домой, а к «Гранд-отелю», где остановился Бен-Михоэл. Он на пару дней прилетел по делам из Ташкента, куда эвакуировали Государственный еврейский театр.

Увидев при свете бледное лицо Бен-Шолема, Залман подумал: как человек, побывавший на фронте, может до смерти испугаться далекого выстрела? К тому же Бен-Шолем даже не скрывал, что ужасно боится заболеть. Убегая, он промочил ноги. Бен-Михоэл с огромным трудом раздобыл где-то чуть-чуть водки и заботливо растер им обоим ступни.

После очной ставки насчет Бен-Шолема явно не стоит обольщаться. Ведь он сам признался, что имел отношение к этому дому, еще за пару лет до того как Ахнес свел его с полковником Бочковым.

Это было в начале войны: знаменитое поэтическое сравнение пера со штыком, конечно, хорошее, но не совсем точное. Сидеть с пером в руке за письменным столом где-то в тылу, в жарко натопленной комнате, спать на мягкой постели под надежной крышей, есть и пить вволю – это не то же самое, что на фронте лежать в снегу с винтовкой в руках, когда вокруг щелкают горячие пули. Бен-Шолем точно не согласился бы поменять перо на штык, он очень любит красивую жизнь, а на фронте жизнь, данная один раз, постоянно подвергается опасности.

Ко дню рождения Бен-Шолема в комитет пришла телеграмма. Бен-Шолем недавно вернулся из-за океана, где его, почетного гостя, встречали полными бокалами вина, как на кидуш[1]. Но в телеграмме, наделавшей немало шуму, вместо «кидуш» стояло «кадиш»[2]. И, видимо, не по ошибке: в ней подчеркивалось, что вино было красное. Подпись отсутствовала. Подозрение пало на поэта Максима Грудера, который вернулся с фронта без ноги.

Что имел в виду автор телеграммы, напоминая, что на банкетах вино в бокалах было цвета крови? Не намекал ли, что знает о довоенной жизни юбиляра что-то такое, о чем Залман сегодня услышал от самого Бен-Шолема?

Глава 75

Молоденький конвоир неожиданно подпрыгнул на месте. Залман тоже вскочил, не понимая, что случилось. В ту же секунду дверь распахнулась, и он опять увидел троих следователей и Бен-Шолема.

Пока его держали где-то в соседнем кабинете, он будто постарел.

Следователи заняли свои прежние места. Кузьмин остался стоять, наверное, показывая Залману, что бояться нечего. Теперь он находится здесь как свидетель, а обвиняемый – только Бен-Шолем, дальше допрашивать будут только его. Но через пару минут Залман понял: он опять забыл, упустил из виду, что в происходящем нет

1 Благословение, которое по субботам и праздникам перед трапезой произносят над бокалом какого-либо напитка, обычно вина.

2 Поминальная молитва.

и не может быть никакой логики, и если продолжать допрос будет не Чернышов, а Кузьмин, это ровным счетом ничего не значит.

Кузьмин пододвинул к себе табуретку, на которой сидел ушедший конвоир, оперся на нее обеими руками, будто собираясь схватить ее и швырнуть, и с неожиданным спокойствием спросил:

– Что вы можете рассказать про инженера Рогачевского?

– Рогачевского? – растерянно переспросил Залман. – Не знаю такого. Даже не слышал.

Кузьмин остался спокоен. Видно, решил подражать своему начальнику.

– Как вы могли забыть близкого знакомого? Не хитрите, это бесполезно. Только хуже себе сделаете.

– Глупую игру ведете, Залман Наумович. И опасную, – добавил Мартин Константинович. – Никого не знаете, ничего не помните. Корнфельда никогда не видели, с Рогачевским не знакомы, не слышали даже.

– Про Корнфельда я вспомнил. Это был коллективный псевдоним, не только мой. Псевдонимом Корнфельд, кроме меня, часто пользовались Рефоэл Охримов, Шлойме Нович…

– Вас сейчас не про Корнфельда спрашивают. Про него мы и без вас все выяснили. Вас спрашивают про Рогачевского. Кто, где, когда вас с ним познакомил? Только не говорите, что вас память подводит. Все знают, что у евреев память прекрасная.

«Ошибаетесь, – хотел ответить Залман. – Наша беда как раз в том, что у нас короткая память, даже слишком короткая. Мы часто забываем то, чего нельзя забывать ни в коем случае». Но только повторил, что знать не знает никакого Рогачевского.

– Врете! Мы все равно вас разоблачим. – Кузьмин оттолкнул ногой табуретку и повернулся к Бен-Шолему. – А ну, напомните ему! – Спокойствия как не бывало.

Голос Бен-Шолема дрожал, будто его только что держали на морозе:

– Я не уверен, что Залман Мандел знаком с Рогачевским. Но фамилию точно слышал.

– Где? – Наверное, Чернышов испугался, что Кузьмин потеряет нить, и поспешил на помощь.

– Мандел мог видеть его в комитете. Насколько я помню, Залман

один раз чуть не столкнулся с ним в дверях моего кабинета. Рогачевский очень спешил, и я не успел их познакомить. Когда Залман спросил, кто это, я ответил, что это инженер автомобильного завода, пришел позвать меня к себе домой на собрание ученых, инженеров, врачей. Они собирались написать в высшую инстанцию письмо о дискриминации евреев в послевоенном Советском Союзе: евреям трудно на работу устроиться, их детям – в институт поступить. Я предложил Залману сходить туда и потом рассказать, как там было. Не знаю, что ему помешало, но знаю, что он не пошел.

– Вы уверены, что Мандела не было на этом собрании?

– Думаю, если бы он там был, то не стал бы от меня скрывать. Так или иначе, полковник Бочков об этом собрании знал, я заранее ему доложил.

Поскольку речь зашла о Залмане, Кузьмин уступил место Чернышову.

Чернышов встал между Залманом и Бен-Шоломем, чтобы они не видели друг друга, не могли перемигиваться, хотя давно заметил, что Залман и так избегает смотреть на Бен-Шолема. Следователь немного подождал, будто давая Залману возможность угадать, какие вопросы он для него заготовил. Казалось, Чернышов забыл, что вопросы здесь задают почти всегда одни и те же. Для всех следователей их готовят заранее. Во всяком случае, большой разницы между вопросами Евдокимова, Панкратова и Чернышова пока не видно.

Но вдруг Залман услышал совершенно неожиданный вопрос:

– В каких городах, куда вас посылал комитет, вы создавали землячества и какие шпионские и изменнические задачи перед ними ставили?

– О господи…

– Оставьте в покое своего господа. Отвечайте.

– Понятия не имею, о чем вы…

– Не забывайте, Залман Наумович, здесь ваш кумир сидит. Надо будет – он вам подскажет. Но его подсказки вам дорого обойдутся. Ну, а про легионы, еврейские боевые единицы, которые вы собирались создать, тоже, скажете, понятия не имеете?

Не сидел бы тут Бен-Шолем, Залман бы так и сказал. Но как это отрицать, если в комитете и среди писателей об этом действительно

шла речь? Правда, еще в годы войны. Мысль подкинул неистовый Марк Полонер. Он сослался на еврейские легионы в Испании, во время кровопролитной гражданской. Еврейские добровольцы из Советского Союза, если отправить их в Палестину, тоже будут стоять до последнего. И не потому, что большинство из них – обученные военные, которые недавно сняли шинели, но потому, что добровольцы своими глазами видели зверства фашистов, и то же самое ждет евреев на Иордане, если они проиграют войну на Святой земле.

Не дождавшись ответа от Залмана, Чернышов повернулся к Бен-Шолему:

– И с кем ваши легионы должны были здесь воевать? С советской властью, с Коммунистической партией?

– Гражданин следователь…

Более дикого, нелепого предположения Залман даже представить себе не мог. Кучка еврейских легионеров в войну будет сражаться против советской власти, хотя еврейский народ предан ей как никакой другой! Если бы Залман не боялся, что Чернышов истолкует его слова на свой лад, с точностью до наоборот, то ответил бы, что в еврейских городах и местечках уже были легионеры – так называемые отряды самообороны. Было это много лет назад. И вот, незадолго до ареста, в автобусе его походя обозвали пархатой мордой.

– Я тебе сейчас всю морду разобью, жид пархатый!

Залман испуганно обернулся, будто не веря, что сейчас он не в автобусе, где уже слышал нечто подобное, но в кабинете, где со стены на него смотрит величайший друг еврейского народа, как Залман сам назвал его в одном стихотворении.

– Ничего-то ты не знаешь. И про списки добровольцев, желающих воевать в Палестине, тоже не знаешь, наверное?

Выходит, Хаимка Юнгач врал, когда утверждал, что в связи с добровольцами имя Залмана на допросе не упоминалось. Может, Бен-Шолем выдал? Залман мысленно посоветовался с кременчугским главой ешивы и у себя в голове услышал: «Скажите, что ничего не знаете об этих списках. От них до измены недалеко…»

Но вместо Залмана ответил Бен-Шолем:

– О списке добровольцев, которые приходили в комитет записываться, Мандел, может, и не знает. – Но тут же поправился: – Вернее,

знает, конечно. Но что он знает о списке, который принес мне Рогачевский, утверждать не могу. Я, во всяком случае, ему не рассказывал. Я этот список сразу передал сюда, полковнику Бочкову.

– На свою погибель.

Залман не был уверен, что не сказал этого вслух.

Чернышов отступил в сторону, чтобы Залман ясно увидел, как изменился Бен-Шолем, пока его держали в соседнем кабинете.

А Чернышов переводил взгляд с Залмана на Бен-Шолема, с Бен-Шолема на Залмана. Этот взгляд означал: «Вот тебе пример. Посмотри на него, если не хочешь, чтобы тебя и дальше поднимали среди ночи и держали до утра на ногах, не давая сомкнуть глаз. Посмотри на него, если не хочешь, чтобы тебя, как мальчишку, раскладывали на скамейке голым задом кверху и пороли, пока сознание не потеряешь, обливали холодной водой и опять пороли так, что лошадь не выдержит». И еще этот взгляд вопрошал: «И это – твой кумир?»

Глава 76

Кумиром для него Бен-Шолем никогда не был. Но Залман считал его порядочным человеком и другом, пока ему кое-что не рассказал Исаак Ниссенбаум…

…Это случилось в конце зимы, за полгода с небольшим до закрытия комитета. Недалеко от Пушкинской площади Залман услышал за спиной:

– Куда вы так спешите, товарищ Мандел?

Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто его окликнул.

– Куда так торопитесь, мой дорогой? – переспросил Ниссенбаум своим тонким голосом.

– Никуда, просто немного прогуляться решил. Зимой Москва особенно прекрасна.

– Париж, дорогой Залман, прекрасен не только зимой.

Что Исаак Ниссенбаум еще до революции учился в Париже, ни для кого не было секретом, но все-таки Залман тихо сказал:

– Хорошо, что нас никто не слышит, а то за сравнение Москвы с Парижем вас могут и в космополитизме обвинить.

– Меня однажды уже обвиняли в космополитизме. Вы же, наверное, читали.

Да, в центральной газете Залман читал разгромную рецензию на литературоведческую книгу Ниссенбаума, где он утверждал, что в некоторых стихах Пушкина чувствуется влияние Байрона.

– Вы не против, если я немножко пройдусь с вами? Я сейчас с лекции в Институте имени Горького. Эх, как время летит! Помню, Залман, вы пришли ко мне на Мясницкую, как тогда называлась улица Кирова, и принесли свои первые стихи. Местами сыроватые, подражательные, но я сразу разглядел в вас поэта, настоящего поэта. Я отправил ваши стихи со своим отзывом в тогдашний центральный литературный журнал «Ди ройте велт». Мы были близко знакомы с его редактором Генехом Казакевичем. Он напечатал ваши стихи, насколько я помню, в одном из ближайших номеров. Сколько вам тогда было? Лет девятнадцать-двадцать, наверное. Совсем мальчик. А теперь вам должно быть столько же, сколько мне было тогда. Эх, как время летит! Я рад, что в вас не ошибся. Вы поэт и драматург от бога. Сейчас чем занимаетесь?

– В основном стихи сочиняю.

– Прочтите что-нибудь из последних.

Долго уговаривать Залмана Ниссенбауму не пришлось. Все знали, что Залман охотно читает свои стихи, и неважно где: на улице, в трамвае, в метро…

Вдруг Ниссенбаум остановил его:

– Послушайте, Залман. Я знаю, вы дружите с Бен-Шоломем. Он несомненно талантливый поэт, пусть не самый глубокий, и идеология из его стихов так и лезет… – Замялся, будто еще сомневался, говорить или нет, и все-таки продолжил: – Я вас не первый день знаю, уверен, что могу на вас положиться, вы ему не передадите. – И совсем тихо, почти неслышно: – Опасайтесь его. Не слишком ему доверяйте.

– Кому? Бен-Шолему? – поразился Залман.

– Да, мой дорогой Залман. Если я расскажу, что он про меня, Полонера и других написал куда следует, в том числе и в… – Исаак повернул голову вправо, туда, где через две-три улицы находится знаменитый дом. – Даже указал в своих доносах, что мы с Марком Полонером когда-то в «Бунде» состояли, будто там об этом

не знают. И даже то, что я предложил вместо «Еврейский антифашистский комитет» написать на вывеске «Еврейский антисемитский комитет», тоже дотуда дошло. Не через вас, полагаю…

– Кому такое могло в голову прийти?

– Во всяком случае, не мне, потому что я точно знаю: это Бен-Шолем.

– С чего вы взяли?

– Вам я могу сказать. Верю, что вы ему не передадите, иначе не стал бы. В разных госучреждениях работает много моих бывших студентов и аспирантов из «красной профессуры», из Института иностранных языков, где я декан на факультете западноевропейской литературы. И некоторые из моих бывших слушателей предупреждали, чтобы я был с этим человеком поосторожнее. Кроме вас и Марка Полонера, больше никто не знает. Вам я рассказал, потому что вы один из тех, кому я доверяю, и я хочу уберечь вас от беды…

Как Залман ни уважал Ниссенбаума, не мог он в такое поверить, не мог и не хотел. Но теперь, когда Бен-Шолем при Залмане сам повторил все, что написано в протоколах, и про собрание у Рогачевского рассказал, и про списки добровольцев…

Он хоть понимает, что этого даже смертью не искупить?

Мартин Константинович сидел за столом, будто принимал у своих учеников экзамен. В допрос начальник больше не вмешивался, показывая следователям Бен-Шолема и Залмана, что одобряет их обращение с обвиняемыми. Но заново составленный после очной ставки протокол он поднес Залману вместе с пером и положил на прибитый к полу столик.

– Прочитайте и подпишите.

Новый протокол почти не отличался от старого. Все три обвинения – в шпионаже, измене и антисоветской агитации – никуда не делись, только оказались чуть смягчены. Залман по-прежнему был представлен как буржуазный националист и враг народа, только без слова «заклятый», а обвинение в шпионаже было дополнено словом «объективно». Так его уже пытался одурачить следователь Панкратов. И когда Залман, не дочитав протокола, покачал головой, отказываясь его подписать, Мартин, точь-в-точь как Панкратов, мягко попытался объяснить, что субъективно Залман, может,

и не шпион, но все, что он писал для комитета, а комитет пересылал за границу, там объективно могли использовать как шпионскую информацию. «Это подтверждает и ваш хозяин Бен-Шолем».

– Я правильно передаю ваши слова? – обратился Мартин к Бен-Шолему, напомнив, что под всеми протоколами, где это написано, стоят его подписи.

– А? – Бен-Шолем вздрогнул и, почувствовав холодный как сталь взгляд Кузьмина, прохрипел: – Да. – И глубже втянул голову в плечи.

Залман забыл, что табуретка прибита к полу, и попытался от него отодвинуться, подумав: «Нельзя сидеть к нему ближе, чем на расстоянии в два локтя».

– Не подпишу, – повторил он в который раз. – Я не писал ничего, что можно расценить как измену и шпионаж. Могу подписаться только под тем, что я националист, если писать по-еврейски – это национализм.

– Опять клевещете на советскую национальную политику? Сами же понимаете, до чего это вас доведет. Берите пример со своего кумира, хотя он тоже пока не во всем признался! Давайте договоримся, Залман Наумович. Я еще больше смягчу в протоколе обвинение в шпионаже. Но вы расскажете, какие задания давал вам Бен-Шолем, когда отправлял в поездки по стране.

– Никаких особых заданий он мне не давал.

– Вот оно что? Никаких особых заданий? – повысил голос Мартин. – Он так и остался вашим кумиром, что вы его выгораживаете? Чем он вас подкупил, что вы ему в постель свою невесту подложили? – Он подошел к столу, порылся в папке. – Как выразился ваш кумир, аппетитная девушка Циля Гарбер. Передаю вам в точности, как указано в протоколе. С его подписью. – Он четко, по-военному, повернулся к Бен-Шолему. – Так?

– Да, – дрожащим голосом подтвердил Бен-Шолем.

– Что «да»? Расскажите подробно, как все было. Вы спали с его Цилей?

– Да.

– Не слышу.

– Да.

– Он сам подложил ее к вам в постель?

– Он знал, что я с ней развлекаюсь. – Слова застревали у Бен-Шолема в горле.

– Откуда? Вы ему сказали или она?

Опять так же четко, по-военному, повернулся и бросил Залману строго, будто отдавая приказ:

– Чего ждете? Почему не подписываете протокол?

– Я не могу его подписать.

– Не можешь, сволочь? В карцер его! В карцер! И не выпускать, пока не подпишет!

Глава 77

Раздетый до белья, Залман Мандел стоял в промерзшем, темном карцере. Единственное место, куда можно присесть, – сросшаяся с цементным полом цементная скамейка. Холод, сковавший Залмана, как только надзиратель с каменным лицом втолкнул его сюда и захлопнул дверь, с каждой минутой становился сильнее, обжигал, как огонь. Ноги не оторвать от пола, как от раскаленного железа.

Вместе с холодом мучает голод, но Залман старается не думать о нем, заглушить его в себе. Надо, чтобы душа отделилась от тела, и его потребности станут неважны. Только душой Залман сейчас и занят. Хочет понять, что она такое, зачем Всевышний создал человека, если так с ним обращается, без конца испытывает его, как Иова.

На одной мысли Залман не задерживается. Чтобы заглушить телесные страдания, перескакивает с одной мысли на другую, которую подбрасывает ему возбужденная память. Вот он остановился на том, что в какой-то святой книге, кажется, сказано: против воли Всевышнего ни у кого даже волос с головы не упадет. Но это значит, что все, что тут сделали с ним раньше и делают сейчас, происходит по воле Бога. Значит, Каин восстал на Авеля, сыновья Иакова – на своего брата Иосифа, людей заживо сжигали, детей бросали в ямы тоже по Его воле? По Его желанию, с Его позволения за железной решеткой запирали пророков и священников, писателей еврейского народа, жестоко наказывали их, как величайших грешников?

И Залман опять возвращается к мысли, которая мучает его все время, пока он сидит: зачем Господь создал свое подобие – человека? Чтобы испытывать? Только для этого?

Об этом же в драме Залмана Мандела «Переулок Бал-Шем-Това» твердит старый портной Гилел – единственный, кто из всего местечка чудом остался в живых после резни, учиненной нацистами. В драме Залман дает Гилелу полное право высказаться перед Всевышним, предъявить Ему счет. Но ответа Гилел не находит, как не находит его теперь и он, Залман. Он видит только один выход: Тот, кто создал мир, должен превратить его обратно в хаос, как до сотворения.

Но, едва подумав об этом, Залман услышал голос реб Арона: «А дети в чем провинились? Чем согрешили?» И Залман отвечает: «Родители ели неспелые плоды, а у детей оскомина на зубах…» Объяснять главе ешивы смысл этого стиха – что каждое поколение расплачивается за грехи предыдущего, – конечно, ни к чему.

За несколько минут в карцере холод почти превратил Залмана в ледяной столп – головы не повернуть. Память снова помогает заглушить страдания, отделить душу от тела. Подсовывает Залману сравнение: он сейчас, как соляной столп, в который превратилась жена Лота, потому что нарушила запрет оборачиваться. Но ведь Залман не нарушал запретов надзирателя за дверью. Ни на секунду не обернулся. Попробуй обернись, когда шея совсем закоченела.

– Ну что, прохладно?

Кто это спрашивает, у кого? Голос идет откуда-то издалека.

– Что, прохладно тебе тут?

Только теперь Залман понял: это к нему обращается надзиратель из-за двери.

– Сейчас я тебя чутка согрею.

Из отверстий в полу и стенах, откуда тянуло ледяным холодом, заструился теплый воздух. Залман почувствовал, что его душа воссоединяется с телом. Как только что с каждой минутой, с каждой секундой усиливался холод, теперь с каждой минутой, с каждой секундой усиливалось тепло и скоро превратилось в непереносимую жару. Цементная скамейка накалилась так, что не прикоснуться.

Жара заползла в глаза, в ноздри, в рот, не давала дышать, будто Залман лежал в парилке на верхнем полке, а внизу на раскаленные камни

ведрами плескали холодную воду. Выбирай между двух смертей: «ми бемаим» – превратиться в ледышку, или «ми беэш»[1] – задохнуться от жары.

Со сводчатого потолка капает кипяток. Залман прикрывает голову руками, через секунду убирает их и снова приносит в жертву, чтобы защитить голову и плечи. Чтобы выдержать эту пытку, Залман опять пытается заглушить в себе чувства, не прислушиваться к телу, отделить его от души, хотя никто, кроме Создателя, не знает, что она такое.

– Ну что, согрелся? – как эхо, прозвучал в удушающем зное сухой голос надзирателя. – Наверное, охладиться хочешь?

И не успел Залман ответить, как почувствовал, что жара спадает так же быстро, как недавно усиливалась, и опять потянуло холодом. Из отверстий в стенах снова подул пронизывающий ветер.

Мороз крепчал с каждой минутой, угрожая превратить Залмана в ледяную глыбу. Но на этот раз душа его не покинула. Она помогала преодолевать холод, снова и снова подсовывая воспоминание о том, что полковник Мартин Константинович прочитал Залману из протокола на очной ставке с Бен-Шолемом: будто Залман был так ему предан, что, можно сказать, сам подложил свою тогдашнюю невесту, Цилю, ему в постель.

Ничего нового из протокола Залман не узнал. Все это следователь Евдокимов выложил ему еще на третьем или четвертом допросе. Тогда Залман и поверил, и не поверил, воспринял это как попытку их поссорить, сделать его врагом Бен-Шолема. Но Бен-Шолем сам повторил записанное в протоколе чуть ли не слово в слово и еще раз объяснил, почему чаще, чем кого-либо, и на более долгое время, чем кого-либо, отправлял Залмана в поездки от комитета и газеты «Эйникайт». Причина проста: чтобы Бен-Шолем мог свободно развлекаться с Цилей.

«И она соглашалась?»

Еще секунда, и Залман задал бы Бен-Шолему этот вопрос. Но вместо этого сказал себе то же, что теперь: «Господи, как я вообще могу об этом думать?»

Все-таки Залман не смог заглушить память, заставить ее замолчать.

1 Кому от воды, кому от огня (древнееврейск.).

Как назло, она все подсовывает мысли, от которых холод кажется еще сильнее.

«Погоди-ка, – говорит себе Залман, – а может, Яша так взъелся на комитет, потому что подозревал: когда он был на фронте, Бен-Шолем заигрывал с его молодой, красивой женой?» Возможно, Яша и рассказал об этом Залману, потому что знал, что Бен-Шолем заигрывает с Цилей, с женами некоторых писателей, даже своих друзей, о чем на допросах сообщил Залману его первый следователь Евдокимов.

С кем из писательских жен Бен-Шолем был близок, Яше могли рассказать по секрету в том сером здании, где Яша служил и, как многие подозревают, служит и сейчас, хотя прошло немало времени с тех пор, как он снял шинель с голубыми погонами и фуражку с голубым околышем…

Если бы любая из тех, с кем развлекался Бен-Шолем, узнала, как низко пал этот заправлявший в издательствах и комитете человек, от которого так или иначе зависела судьба ее мужа, она бы тут же его возненавидела. Как же иначе, ведь он оклеветал всех и каждого. Но у Залмана он не вызывал ненависти, только отвращение, ужасное отвращение. Если случится чудо – Залман иногда допускал такую мысль, хотя ни секунды в нее не верил, – и их всех освободят, он Бен-Шолему руки не подаст. Только ему. Некоторые другие арестованные и не арестованные писатели тоже наплели про Залмана всяких небылиц, но никто так его не унизил, не выставил посмешищем.

«Слушай, – вдруг думает Залман без всякой связи с тем, что мучило его секунду назад, – а почему Чернышов не дал на подпись протокол последнего допроса? Может, особого значения не придал? Непонятно».

Пытаясь найти ответ, Залман восстанавливает в памяти весь допрос от начала до конца, почти слово в слово.

– Скажите, Залман Наумович, – стоя около прибитого к полу столика, спрашивает Чернышов, – почему вы пишете по-еврейски?

– А как я должен писать? – не скрыл удивления Залман. – Это мой родной язык.

– А русский? За то время, что мы знакомы, я убедился, что вы прекрасно владеете русским языком. Почему же вы по-русски не пишете?

– Гражданин следователь, Пушкин, как вам, наверное, известно, свободно владел французским. И Лермонтов тоже. Но все-таки творили по-русски, потому что русский был их родным языком.

– Но русский – богатый, мощный язык, на нем говорит и читает не только великий русский народ. А еврейский? Кто на нем говорит и читает? Даже ваш Шолом-Алейхем его жаргоном называл.

Зачем следователь завел с ним этот разговор? Какая ему разница, на каком языке писал обвиняемый Залман Мандел, если все, что он создал, наверное, уже отправлено в топку?

Чернышов и не скрывал.

– Тем, что ваша компания столько лет писала по-еврейски, – заявил он открыто, – вы не давали евреям сблизиться с русским народом, мешали им ассимилироваться. Все эти годы вы разжигали в своем народе национализм. Если бы не вы, буржуазно-националистические еврейские писатели, то евреи уже давно отказались бы от еврейского языка, от ограниченной местечковой еврейской культуры. Наш великий вождь призывал к этому ваш народ еще до революции.

– Я знаю.

– Разумеется, знаете.

– Но евреи перестали бы быть нацией, народом.

Чернышов не перебил, не остановил его. Наверное, чтобы вести допрос дальше, следователю нужно было услышать, что обвиняемый думает насчет еврейского вопроса, которым все здесь так сильно озабочены. Этот вопрос – основа обвинения. Предыдущие следователи этого не говорили, только намекали. Но когда Чернышов прямо спросил, Залман прямо ответил: «Язык – душа народа. Как можно от него отказаться? Народ, утративший язык, перестает быть народом». – «А кому надо, чтобы евреи оставались отдельным народом? Тем более, что ваша молодежь еврейского языка не знает и знать не хочет. Только по-русски говорит». – «Не совсем так, гражданин следователь». – «Но вы же не будете отрицать, что к тому идет. Будучи еврейским писателем, вы прекрасно знаете, что у еврейского языка нет будущего. Вы же неспроста сами уговаривали одного молодого поэта перейти на русский, а одну девушку поступать не в еврейское, а в русское театральное училище».

Полковник будто поставил это Залману в заслугу, смягчающую обвинение в буржуазном национализме.

Теперь Залман не был уверен, что стоило давать Яше и Элише такие советы. Но задумался он о другом. Что про Яшу Чернышов узнал от Яши, и сомневаться нечего. Но вот про Элишу… Ясно, что не от нее. Хотя, если Элиша опять встречается с Яшей, как говорит Хаимка, она могла Яше и рассказать, а через него это дошло до Чернышова.

Восстановить по памяти весь допрос у Залмана не хватило времени. Открылась кормушка, надзиратель просунул в нее миску баланды и швырнул кусок хлеба, как собаке, привязанной на цепь в будке.

Залман торопливо, будто боясь, что отберут, выхлебал жидкий супчик, затолкал в себя хлеб. Чуть теплая баланда ненадолго согрела желудок. И опять – то жуткий холод, то непереносимая жара. Так они попеременно и властвовали в карцере.

Сколько времени его тут держат? Проверяют на прочность. Продолжается игра «ми бемаим, ми беэш»: выбирай, какая смерть тебе больше нравится.

Сколько еще он выдержит? Он уже еле на ногах стоит.

Переходы от холода к жаре, от жары к холоду – единственное мерило времени в карцере. Но все равно не узнаешь, день сейчас или ночь. Упавшая на грудь голова говорит, что, скорее всего, ночь, мучительный голод – что день. Смена жары и холода подсказывает, сколько еще ждать баланды с черным хлебом, как долго осталось поститься.

Пробыв в карцере несколько минут, Залман подумал, что выдержит час, от силы два. Но вот, по его подсчету, он здесь уже четвертые сутки, но все еще на ногах. Не иначе как сам Всевышний дает ему силы пройти испытание, остаться человеком, созданным по образу и подобию божьему. Но каждую секунду Залману угрожает опасность, будто он карабкается в гору, под которой чернеет бездонная пропасть.

«Не выпускать, пока не подпишет!» – гремит в ушах голос Мартина.

Что правда, то правда. Было уже, когда Залман, не выдержав мучений, хотел постучать в дверь и попросить вертухая, чтобы тот

отвел его к начальнику, полковнику Мартину. И Залман подпишет что угодно.

«Вы в своем уме? – Голос реб Арона преградил ему путь, когда Залман уже стоял у двери. – Вы готовы подписать состряпанный протокол, признаться, что вы не только буржуазный националист, но и шпион, предатель? Разве дело в вас или во мне? Дело во всем нашем народе, тут под угрозой его честь, его существование в этой стране».

Во сне примерзнув к скамейке, Залман в первую минуту не понял, чего требует от него маячивший в двери вертухай.

– Вижу, тебе тут понравилось, раз выходить не хочешь, – пошутил надзиратель, выпуская Залмана из карцера.

Дрожа от холода, Залман натянул одежду, сложил руки за спиной и в сопровождении надзирателя двинулся туда, где мерцал бледный свет. На полпути они повернули на лестницу, ведущую из подземелья, из ада в рай, в широкий, светлый коридор. Но едва надзиратель открыл дверь одного из бесчисленных кабинетов, и Залман увидел у порога прибитые к полу столик и табурет, а у окна – следователей Чернышова и Кузьмина, военного с густыми бровями, из-под которых смотрели холодные как сталь глаза, он снова почувствовал себя в аду.

– Что с вами? – жестом приглашая сесть на прибитый табурет, спросил Чернышов. – Почему такой вид измученный? Вам плохо? Может, врача вызвать?

Залман будто не слышал.

– Он из карцера, – объяснил Кузьмин.

– Из карцера? – изображая удивление, протянул Чернышов.

«Кто ж они все-таки, эти, для которых человеческая жизнь – всего лишь игрушка, забава, а величайшее наслаждение – мучить людей? Мучить, унижать…»

В который раз Залман задает себе этот вопрос и не может найти ответа. Наверное, в человеческом языке для них и сравнения подходящего нет.

– Долго на курорте пробыли? – продолжил игру Чернышов. – Во всяком случае, свободного времени у вас там было достаточно, чтобы хорошо подумать, что вас ждет, если будете и дальше так

себя вести. Имейте в виду, на очной ставке Бен-Шолем повторил далеко не все, что он нам про вас рассказал. Прекратите хитрить. Только хуже себе делаете. – Он положил перед Залманом протокол и перо. – Подписывайте.

Залман не шевельнулся, будто Чернышов говорил с кем-то другим.

– Ну? Почему не подписываете? – повысил голос следователь. – В карцере понравилось? Могу вас опять туда отправить, в этот раз подольше там посидите. Выбирайте!

– Может, он перечитать хочет? – пришел на помощь Чернышову Кузьмин, подходя к столику.

– Я уже читал.

– Тогда в чем дело?

– Я не могу этого подписать. Я никогда в жизни шпионажем не занимался.

– А где тут сказано, что вы шпион? Сказано только, что вашу писанину, которую комитет переправлял за границу, там могли использовать как шпионские сведения. Это не одно и то же. Здесь сформулировано гораздо мягче, чем Бен-Шолем рассказывал. Подписывайте, и следствие окончено. Больше не будут на допрос вызывать. – Чернышов сунул перо Залману в руку.

Во взгляде Кузьмина Залман почувствовал ледяной холод карцера. Как живое существо, перо против воли Залмана потянулось к бумаге.

– Ну вот. – Чернышов выхватил подписанный протокол и спрятал в сейф.

Как победитель, после нескольких тяжелых боев взявший крепость, он с гордостью посмотрел на Залмана.

– Зря вы думаете, Мандел, что буржуазный национализм – меньшая вина. Это, собственно, то же самое, что шпионаж и измена. Правда, не в такой степени. – И, будто пожалев, что дал Залману хоть какую-то надежду, поспешил добавить: – Но это уже как суд решит.

Залман сидел в клетке внутри машины, на которой большими буквами было написано: «Сосиски». На той машине, которая привезла его сюда, на Лубянку, такими же буквами было написано: «Хлеб».

Глава 78

Наверное, подумал Залман, из уважения к нему как к старожилу Бутырки, вернувшемуся с Лубянки, его не стали держать в шумном зале ожидания, не заперли, как в прошлый раз, на пару часов в боксе, а сразу отвели в камеру.

Знакомая дорога мимо дверей с амбарными замками. Конвоир вел себя вполне по-человечески, не выкручивал ему рук за спиной, не подталкивал, и Залману захотелось спросить, что это за камеры, кто в них сидит. Но тут провожатый начал подгонять его, чтобы скорее пройти этот коридор, и Залман понял, что спрашивать бесполезно. Ответа не будет, как и в прошлый раз. И Залман снова сделал вывод, что здесь держат сумасшедших. Может, среди них есть и писатели, и члены комитета, которых уже довели до такого состояния?

Вдруг, думал, шагая по коридору, Залман, его как старожила посадят в ту же камеру, откуда увезли на Лубянку, и он опять встретится с кременчугским главой ешивы реб Ароном. Залман знает заранее: реб Арон попеняет ему, что он подписался под обвинением в шпионаже. Если бы он не сдался, рано или поздно от него отстали бы, как от реб Арона отстали с обвинением в сотрудничестве с «Джойнтом». Легко сказать. Ведь реб Арон не побывал, как Залман, в том же аду, его не пытали ледяным холодом, непереносимой жарой и голодом: раз в день – миска жидкого супу и кусок черного хлеба на один зуб. Чтобы реб Арон понял, почему стойко державшийся Залман все-таки сдался, он расскажет ему притчу о помещике и арендаторе, которую слышал от исчезнувшего из камеры черновицкого учителя: ради чего терпеть муки и унижения, если так и так возьмешь на себя все, чего они от тебя требуют. Пусть реб Арон узнает, какой чудовищный поклеп Бен-Шолем возвел на себя, на Залмана и на других!

«Аппетитная дамочка», – вдруг стукнуло ему в голову.

О ком так сказал Бен-Шолем на очной ставке? О его несостоявшейся невесте Циле Гарбер или о молодой жене Яши, с которой тот из-за Бен-Шолема развелся? Непонятно. Как Залман мог настолько ошибаться в Бен-Шолеме?

Ненависти к себе он у Залмана не вызвал. Только отвращение.

Что Бен-Шолем любит женщин, Залман знал давно. Бен-Шолем этого и не скрывал. И постоянно твердил, что женщины – не такие праведницы, как думают их мужья. Будто оправдывался. Но Залман ни разу не слышал, чтобы Бен-Шолем назвал какую-нибудь из них по имени. Впрочем, на очной ставке одну назвал – Цилю.

Следователь Кузьмин, заставив Бен-Шолема повторить на очной ставке, что Залман сам подложил Цилю ему в постель, еще добавил, что для протокола Бен-Шолем подробно рассказал, как с ней встречался.

Какие подробности он мог рассказать? Как наслаждался ее телом, ее упругой девичьей грудью?

«Это до сих пор причиняет тебе боль?» – спросил себя Залман и в ту же секунду ответил: «Мне причиняет боль, что я так ошибся в Бен-Шолеме, которого считал другом. Как можно предать друга?»

«А что ты сдался и подписал состряпанный протокол, тебя не беспокоит?»

На этот вопрос он ответить не успел. Вертухай уже отпирал дверь, возле которой остановился конвоир.

Человек, которого Залман увидел в камере, где вплотную друг к другу стояло шесть шконок, наверное, попал сюда из камеры с амбарным замком на дверях. Как еврей, погруженный в молитву, он даже не взглянул на Залмана. Скрывшись в углу, где вертухай почти не мог видеть его через глазок, он энергично размахивал руками, будто плыл по морю. Одет он тоже был очень странно: белая крахмальная рубашка со стоячим воротником, белый жилет и черный фрак с закругленными фалдами. Будто стараясь спрятать свой немалый рост, человек слегка сутулился. Продолговатое лицо, в глазах – детская наивная улыбка. Что его перевели сюда из тех камер, Залман окончательно убедился, увидев на ногах незнакомца начищенные лаковые туфли.

А чему тут удивляться? В тех камерах сидят люди, которым, наверное, позволено все. Непонятно только, почему их держат здесь, а не отправляют туда же, куда черновицкого учителя, которому казалось, что он слышит за стеной крики своей несчастной жены.

Наверное, молодой человек догадался, какое впечатление он произвел на вошедшего, и, перестав размахивать руками, почти пропел:

– Откуда вы? Тоже с воли?

– Нет. Я здесь уже давно.

– А я с воли только четвертый день. Свободна одна шконка, у окна. Остальные заняты. Вашим соседом справа будет Александр Добцис, капитан морского флота. Соседа слева тоже зовут Александр. Фамилия – Свинцов, был проводником в вагоне Хозяина.

Он так и стоял в углу, вытянув вперед руки с приподнятыми ладонями, чтобы Залман не приближался.

– Вы, наверное, невесть что думаете. Просто я здешней еды не перевариваю. Живот пучит, особенно от щей. Из-за кислой капусты газы, как в сифоне с сельтерской. Если их не выпущу, взорвусь. Но не могу, чтобы другие из-за меня мучились. Да и стесняюсь. Отхожу подальше, чтобы не слышно было и не чувствовалось. Форточку-то открывать не разрешают.

– Не волнуйтесь, скоро привыкнете и к еде, и к вони. И не надо будет руками махать.

Молодой человек засмеялся.

– Думаете, это я газы разгоняю? Руками махать – моя профессия. – Подойдя к Залману, он протянул руку и представился: – Пятигорский. Наверное, слышали.

– Вы имеете какое-то отношение к еврейской поэтессе Анне Пятигорской? – обрадовался Залман. – Моя фамилия Мандел. Залман Мандел. Я тоже еврейский писатель.

– Очень приятно. Но я не имею отношения к поэзии.

– А к евреям? – спросил Залман, хотя это было лишнее. Он с первого взгляда понял, что это так.

– Да. К евреям имею, хотя я не еврей. Я русский, правда, не чистокровный, наполовину. Отец был еврей, мать русская. Но руками я махал не потому, что во мне есть еврейская кровь. Для дирижера это ежедневная гимнастика.

– Так вы дирижер Леонид Пятигорский? Заслуженный артист республики, если не ошибаюсь?

– Не ошибаетесь. И про моего старшего брата наверняка слышали. Он знаменитый виолончелист, зять Ротшильда. Меня забрали

прямо с концерта. Как видите, даже переодеться не дали. За что? Обожаю анекдоты рассказывать, это моя слабость. А кто-то из оркестра взял и заложил. Но оказалось, мой самый большой грех – что я себя за русского выдавал. Следователь на каждом допросе требует признаться, что я еврей. «Это в Израиле, – говорит, – по матери определяют, а в Советском Союзе – по отцу».

– И чем это для вас кончилось? – с любопытством спросил Залман.

– Пока ничем. Я абсолютно не стыжусь своего еврейского происхождения. Чего стыдится, если такие музыканты, как Миша Хейфец, Иегуда Менухин, Давид Ойстрах и почти все дирижеры Большого театра – евреи? Но сказать, что я еврей, силой они меня не заставят. Зачем им это, объяснять не буду. Если вы еврейский писатель, сами понимаете.

Уже высказавшись, Пятигорский посмотрел на оплетенную проволокой электрическую лампочку в нише над дверью и приложил палец к губам: здесь не место для таких разговоров.

– А где остальные? – спросил Залман, доставая из узелка свое имущество: кружку, ложку, обмылок и несколько сэкономленных кусочков сахара.

– На прогулке. Я у следователя был. Что-то они долго сегодня. Пора бы уже вернуться. Который час? – Пятигорский приподнял рукав фрака и засмеялся. – Четвертый день здесь, а все не привыкну, что часов нет.

– Здесь они не нужны, – поделился опытом Залман. – Который час, голод подскажет.

В коридоре послышались шаги, и тут же заскрипел ключ в замке.

Глава 79

Залман не успел представиться сокамерникам. Его представил родственник Ротшильда Леонид Пятигорский. Кто его сосед слева, а кто справа, Залман догадался, еще не услышав их фамилий.

Белокурый сосед справа – сразу видно, что флотский. Кажется, Залман в жизни не встречал человека с такими широченными

плечами и такой мощной грудью. По лицу – меньше сорока, но уже лысый, только венчик светлых волос остался, а посредине лысины – глубокий шрам.

Наверное, Пятигорский так подробно описал этого человека, потому что у них немало общего: они примерно одного роста, у обоих светлые глаза и добрые лица. Но у Пятигорского лицо продолговатое, а у Александра Добциса – круглое. Еще, может, Пятигорский говорил про Добциса с такой симпатией потому, что тот одессит, а все одесситы, как считал родственник Ротшильда, люди с хорошим юмором. Добцис же не виноват, что Леонида Пятигорского за одесский анекдот привезли сюда прямо с концерта, даже не дав переодеться.

У соседа слева, тоже Александра, фамилия Свинцов. По нему не скажешь, что он был очень близок к властям. Обычный парень, обычное, ничем не примечательное лицо. И все-таки надо быть с ним поосторожнее. С улицы не возьмут проводником в вагон-салон Сталина. Хотя, будь он наседкой, он не выдавал бы себя за человека оттуда. Придумал бы что-нибудь другое.

О третьем сокамернике Пятигорский не сообщил ничего. Сказал только, что у него польская фамилия, которую очень трудно запомнить, поэтому все зовут его просто по имени – Станислав. Он с Западной Украины, из бывшей Польши. Цирковой борец.

Сокамерники не стали расспрашивать нового соседа, за что сидит, в чем его обвиняют. Значит, хорошо усвоили науку Лейзера из Тайшета: не задавай лишних вопросов. Возьми за правило: я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Ничего не видел, ничего не слышал.

Но когда люди день-деньской сидят в одной камере, если, конечно, они не глухонемые, волей-неволей, несмотря на всю осторожность, что-то друг про друга узнают.

До команды «отбой» еще далеко, но лица напряжены, в глазах ужас. Спокоен только Залман. Когда он подписал протокол, Чернышов пообещал, что больше на допрос вызывать не будет. Следствие окончено, осталось только ждать суда.

Залман не вздрогнул, как все остальные, когда поздно ночью открылась кормушка, вертухай, ткнув в каждого пальцем, потребовал назвать фамилию и, не дав команды «слегка» или «с вещами», закрыл кормушку снова.

– Это за мной, – дрожа всем телом, сказал западенец и сел на шконке.

– Или за мной, – оставшись лежать под одеялом, возразил сосед слева Александр Свинцов.

– А мне уже бояться нечего.

– Уверены? – повернулся к Залману сосед справа Александр Добцис.

– Так следователь сказал.

– И вы поверили? Я своему поверю, только если он опять скажет, что я из кабинета своими ногами не уйду, на носилках унесут.

Страхи оказались напрасны. Вертухай больше не появился. Он просто захотел убедиться, что все на месте, никто не сбежал. Бдительность! Все на бдительности держится, вертухаи даже друг за другом следят.

То ли потому что Добцис прослушал, как Пятигорский представил Залмана еврейским писателем, то ли потому что сам еврей, Александр не стал при всех рассказывать, что с другим еврейским писателем недолго сидел в одной камере, когда вернулся из Института Сербского, куда его возили выяснить, не сошел ли он с ума. Но на другой день, во время прогулки, он уточнил:

– Вы еврейский писатель?

– Вас это удивляет?

– Почему же? В нашей прекрасной Одессе я еще успел захватить два класса еврейской школы. Спрашиваю, потому что с другим еврейским писателем пару недель в одной камере просидел.

– С кем? – Залман резко остановился.

– Вертухай смотрит, – подтолкнул его локтем Добцис. – Не останавливайтесь.

Только когда они прошагали еще один круг, стараясь держаться подальше от передней пары – проводника из сталинского вагона и заслуженного артиста – и идущего следом западенца Станислава, Добцис тихо сказал:

– С Марком Полонером.

– О господи! – чуть не выкрикнул Залман. – Вы хоть знаете, кто такой Марк Полонер?

– Конечно. Еще до войны про него слышал. У нас в Одессе до войны

еврейских писателей знали. Его великим называли. Правда, я не читал.

– Саша, дорогой, вы очень много потеряли. Марк Полонер – солнце еврейской поэзии. Марк Полонер – это вулкан… Ураган…

– Что он вулкан и ураган, как вы говорите, я почувствовал еще в одной с ним камере. До этого я один сидел. Меня накануне привезли из Института Сербского. Возили туда, чтобы доктора сказали, сумасшедший я или нет. Сам удивляюсь, как я с ума не сошел, месяц с лишним в камере смертников пробыв. Вас, наверное, водили мимо камер с большими замками на дверях.

Залман задрожал. Видно, он еще не совсем отогрелся после карцера.

– А я был уверен, там сумасшедшие сидят.

– Потому что ночью в домино стучат, а днем там тихо? Это потому, что на расстрел только по ночам уводят, и каждый ждет, что сегодня придут за ним. Разве уснешь? Вот и отвлекаются игрой в домино, стучат костяшками, что оглохнуть можно.

Однажды ночью и за мной пришли. Отвели в Пугачевскую башню. Это та, где расстреливают. Поставили к стенке, прицелились: выбирай. Или подпишешь, что твой генерал готовил покушение на Самого… или от тебя сейчас мокрое место останется. Отказался. Несколько пуль рядом пролетело. Показали, что не шутят. Но я не поддался. Не потому, что я такой герой. Просто на фронте столько раз смерть повидал, что мне уже все равно стало.

Короткая прогулка могла по воле вертухая закончиться в любую секунду, и Залман поторопил Добциса, чтобы тот успел рассказать про Полонера.

– Да что тут рассказывать? Его с Лубянки привезли. Он там на очной ставке был с другим вашим писателем.

– А с кем, не сказал? Меня тоже туда на очную ставку возили с нашим писателем, Бен-Шолемом…

– Тоже с этим? Полонер мне рассказал, как этот человек оклеветал и его, и многих других. Даже имени его больше слышать не хочу. Когда Полонер про очную ставку рассказывал, он еще добавил: «Жаль, второй мотор не сломался».

Залман знал, что имел в виду Марк Полонер. Историю, как сломался

мотор самолета, на котором Бен-Михоэл и Бен-Шолем летели в Америку, он слышал от самого Бен-Шолема.

По его словам, дело было так: под крылом самолета бушевал океан, когда один из пилотов вышел из кабины в салон и сообщил, что, может быть, придется прыгать с парашютом, потому что отказал один из двух моторов, и дотянут ли они только на втором, неизвестно. Затем пилот принес парашюты и объяснил, как их надевать, когда раскрывать, как прыгать…

Теперь, после встречи на Лубянке, Залман легко представил себе, как выглядел в те минуты отчаянный трус Бен-Шолем. Но, рассказывая про тот случай, Бен-Шолем изображал себя человеком, перед лицом опасности не утратившим не только мужества, но и чувства юмора. А вот Бен-Михоэл, если верить Бен-Шолему, растерялся. Но актер есть актер. Для него жизнь – театр, представление. Он подошел к Бен-Шолему, протянул к нему руки и произнес отчетливо и ясно, как на сцене:

– Я ни разу в жизни не прыгал в океан с такой высоты. Вдруг всевышний опоздает, не пришлет вовремя ангела, который нас спасет. Так давайте же на всякий случай простимся. – Бен-Михоэл заключил его в объятия и трижды расцеловал.

Все-таки бог помог им выполнить их священную миссию, не дал познакомиться с Левиафаном…

– Я еще спросил Полонера, что было бы, если бы они погибли. «Я бы здесь не сидел. И никто из комитета и наших писателей не сидел бы. Кто еще был так же предан стране, советской власти, как евреи? Все из-за Бен-Шолема. Себя оклеветал, и всех нас, и весь наш народ».

– Но ненависти к нему у меня нет, – выслушав Добциса, сказал Залман. – Только презрение. Ничтожный человечишка. Но талантливый, по-настоящему талантливый.

– Полонер, как я понял, не считает его значительным поэтом.

– Разумеется, с Полонером его не сравнить. Полонер – это гигант. Ну, а про себя что он вам рассказывал? Как он выглядит? Очень красивый был человек.

– И сейчас видно, что он был красавцем.

– Не сказал, как с ним обращаются? Его пытали, били?

– Сами знаете, у них без этого почти ни одного допроса не проходит.

Он очень переживал, что про родных ничего не знает. Уже давно от них весточки не получал. И деньги, которые из дома захватил, давно кончились. Уже два года сидит. Но привык довольствоваться тем, чем в тюрьме кормят. Без курева очень страдал. Хорошо, у меня махорка нашлась. Закуривал, метался по камере как вихрь, другую закуривал. Смолил, смолил, смолил. Вы точно выразились, в этом человеке вулкан бушует.

– Говорите, вы с ним пару недель просидели. Он ведь, наверное, что-то рассказывал. Или боялся?

– Он не из трусливых, как я убедился. Мы очень много разговаривали. Я ему про сражения на море рассказывал, про высадку в Керчи, где ранение получил, про любимую Одессу-маму. А он – про свои поездки по миру. Я еще спросил, почему он всегда из них возвращался.

– И что он ответил?

– «Мать не бросают. Куда бы ты ни уехал, все равно к ней вернешься. Россия – моя мать. Как же я мог не вернуться?» Но потом сказал: «Россия для евреев никогда раем не была. Здесь всегда плохое время. Бывали времена и хуже, чем сейчас, но подлее не было. Особенно для евреев».

Залман уже слышал эти слова Полонера. Еще на свободе их пересказал ему Пинхас Машберг.

– Все, кончилась прогулка. В камере об этом не будем.

Но Залман еще успел спросить:

– Сколько у нас евреев в камере?

– Вместе с вами больше половины.

И здесь, получается, то же самое. Наверное, не найдется камеры, где евреев хотя бы половины не наберется.

Ночью, лежа на шконке, Залман повернулся к Добцису и, будто во сне, тихо сказал:

– Но вообще-то Марк Полонер не прав. Зря он думает, что лежал бы сейчас в своей постели, если бы второй мотор тоже отказал. И без помощи Бен-Шолема и он, и я, и все мы здесь были бы. Я давно это понял. Но что Бен-Шолем приложил к этому руку, ему не простится. Никогда. Ни на этом свете, ни на том…

И все же Залман не был уверен, что никогда не сможет простить Бен-Шолему его тяжкий грех.

Глава 80

За последнее время это была вторая ночь, когда Залман не прислушивался с замирающим сердцем к каждому шороху за дверью, как сокамерники, а спокойно уснул. И спал так крепко, что даже не услышал, как из камеры увели родственника Ротшильда. Не на допрос. Он взял с собой котомку с вещами.

Чуть позже кормушка опять открылась, и вертухай назвал букву М.

Никто не спал, но никто не ответил. Только когда вертухай повторил: «На М!», глубже просунув голову в кормушку, сосед слева, проводник, указывая на Залмана, спросил Добциса:

– Как фамилия писателя? Разбуди его.

Александр Добцис, будто выполняя приказ надзирателя, с силой потряс Залмана за плечо. Он тоже не знал его фамилии.

Проснувшись, Залман растерянно огляделся по сторонам, не понимая, где находится. Он только что был очень далеко, на литературном вечере в коммуне «Мешамер». Напротив сидела Пэпа. Пэпа или Элиша?

– Залман, как ваша фамилия? – спросил Добцис.

– Мандел, – пробормотал Залман, по-прежнему не понимая, что происходит. – А что?

– За вами пришли.

– А?

Добцис указал на открытую кормушку, из которой торчала голова вертухая.

– Фамилия? – гаркнул надзиратель.

– Мандел.

– Слегка!

И кормушка захлопнулась.

Залман начал неторопливо одеваться, еще не веря, что команда «слегка» дана ему.

– Следователь же сказал, что больше на допросы вызывать не будет.

– Нашли кому верить.

С допроса он вернулся поздним утром.

– Ну? – окружили его сокамерники.

Залман не знал, что ответить. Рассказывать было особо нечего.

– Похоже, следователь совсем рехнулся. Вызвал меня среди ночи, только чтобы я объяснил, что я имел в виду, когда на одном из последних допросов сказал: «Чем хуже, тем лучше».

«Может, и сказал, – говорю, – но уже не помню, в связи с чем. Забыл».

«По карцеру соскучился? Там ты у меня быстро вспомнишь!»

Залману не понадобилось напрягать память. На самом деле он помнил, что действительно так сказал, и в связи с чем. Чернышов прицепился, чтобы он сознался во всем, что наговорил Бен-Шолем.

Опять отправляться в карцер желания не было. Пришлось Залману признаться, что он имел в виду. Он хотел сказать, что чем больше на него наговорят всяких нелепостей, тем быстрее это дойдет дотуда, и он увидит…

– Кто? – Чернышов указал на портрет на стене. – Он? Думаешь, пархатый, он не знает, что вы за хитрожопый народец? Он все знает! Не беспокойся!

Рассказ о допросе Залман закончил тем, что, как он понимает, его еще не раз поднимут среди ночи и до утра продержат на ногах.

– А вы еще не привыкли? Здесь можно… – Добцис, не договорив, вдруг изменился в лице, скользнул по камере бессмысленным взглядом и вдруг, испустив жуткий крик, рухнул как подкошенный.

Падая, Александр ударился головой о железную шконку и теперь лежал на полу, раскинув руки и конвульсивно дергаясь.

– Похоже, припадок, – бросил Залману проводник и, наклонившись, прижал к полу руки Добциса.

Залман попытался удержать его ноги, но не смог, сил не хватило. На помощь пришел борец Станислав.

– Это не эпилепсия. Последствия тяжелого ранения в голову. – Западенец подложил под голову Александра подушку.

Не прошло и минуты, как распахнулась дверь, и в камеру вместе с вертухаем вошел корпусной.

– А ну отошли от него! – рявкнул он на сокамерников, и вместе с вертухаем они принялись избивать Добциса ногами.

Залман отвернулся. Точно с такой же злобой тогда, на прогулке,

надзиратель растоптал жука, который лежал на спинке и не мог перевернуться на лапки, а потом, шаркнув сапогом, отбросил в сторону.

Корпусной и вертухай ушли, оставив Добциса неподвижно лежать на цементном полу. Сокамерники втроем помогли Александру подняться, усадили на шконку. Видно, он не сразу понял, что случилось. Провел рукой по лысой голове, посмотрел на ладонь.

– А почему у меня пальцы так болят? Будто дверью прищемил.

– Это ерунда. – Залман поднес ему кружку. – Обмакните в воду, быстрее пройдет.

Наверное, чтобы отвлечь Добциса, проводник, словно только что вспомнил, начал рассказывать о своей последней поездке с хозяином страны на Черное море. Ясно, что он уже рассказывал сокамерникам эту историю. А может, подумал Залман, Александр Свинцов решил опять рассказать ее по другой причине. Вдруг Залман когда-нибудь об этом напишет. Будь Залман уверен, что так и есть, он возразил бы, что, даже если случится чудо и он выйдет отсюда живым, он больше никогда не возьмется за перо.

– Уже Джанкой проехали, – говорил Свинцов, – но и здесь, как на всем пути после Сиваша, неубранный хлеб мок в полях под дождем, и на всех станциях, где поезд останавливался, его толпы голодных ребятишек осаждали, кусок хлеба просили.

«Счастье выпало такое: как в раю живем в Джанкое, ой, в Джанкое, Джан, Джан, Джан», – с грустью вспомнил Залман песенку переселенцев в дикую, поросшую кураем степь. Сколько лет прошло! Элиши тогда еще и на свете не было…

Свинцов совсем разошелся, будто забыл, где находится.

– А я ничего понять не могу. Только вчера в газетах напечатали, по радио зачитали доклад первого секретаря Крымского обкома партии, что область закончила уборку и перевыполнила план по поставке зерна, а хлеб в полях под дождем гниет. Так удивился, что не сдержался, говорю напарнику: «Почему Иосиф Виссарионович позволяет себя обманывать? Не видит, что ли, что хлеб не убран, а люди с голоду помирают? Сердце кровью обливается смотреть, как дети с протянутой рукой за поездом бегут. У него в вагоне окна не занавешены. Что он, выглянуть не может?»

Вот и все. Да я бы это же и самому сказал, если бы он меня слушать захотел.

А в Сарабузе, перед Симферополем, меня вдруг снимают с поезда, и в тот же день я на Лубянке. Самолетом привезли в наручниках. Восьмой пункт шили – терроризм. Не получилось, но раз уж взяли, просто так не отпустят. Хоть в чем-то надо обвинить. Нашли для меня десятый пункт, антисоветская агитация.

– Какая часть десятого пункта? – спросил Залман.

За месяцы в тюрьме он выучил все пункты опаснейшей пятьдесят восьмой статьи.

Прошло несколько ночей с тех пор, как Залман, вернувшись с Лубянки, побывал у следователя. Больше Залмана не тревожили, хотя сокамерников вызывали на допрос каждую ночь. Чаще всех уводили борца с Западной Украины. Залман не мог смотреть, как циркач дрожит, когда за ним приходят.

Все сокамерники знали, почему их нового соседа оставили в покое: видимо, следствие действительно окончено, и Залману осталось только ждать приговора. Хотя бывает – тут все возможно, – что игру начинают сначала. Наверное, неспроста, едва Залман вернулся с Лубянки, следователь вызвал его и заставил объяснять, что значит «чем хуже, тем лучше».

Залман и сам допускал эту мысль, и хотя, как другие, по ночам не прислушивался с замирающим сердцем к каждому шороху в коридоре, сон был не сон.

«Как мил и сладок сон – не передать! Ты слышишь, как дубы в лесу трещат опять».

Несомненно, это строчки Йоэла Рогачева. Не из стихотворения «Мы в ногу шагаем…», но тоже пророческого. Смысл примерно тот же: в лесу вырубают могучие дубы, и старые, и молодые, к которым относится и он, Залман Мандел.

Днем спокойнее. Днем редко вызывают в страшные кабинеты. Но от недосыпания уже нет сил. Несмотря на голод, любой из них променял бы завтрак или обед на пару часов сна. Хоть бы часа два подремать, сидя спиной к глазку, через который беспрестанно следит вертухай.

Борются со сном, рассказывая друг другу всякие случаи из жизни, но фронтовых историй избегают. И без них страшно.

Получивший тяжелое ранение капитан второго ранга Александр

Добцис воевал на двух морях – Черном и Балтийском, чуть не утонул, высаживаясь в оккупированной Керчи, но говорил про войну очень кратко, будто рапортовал. Зато охотно рассказывал про свою любимую Одессу – самый прекрасный город на свете.

Немало мог рассказать и бывший проводник Александр Свинцов. Но избегал разговоров о своей работе, указывая на нишу над дверью, где, кроме оплетенной проволокой лампочки, могло скрываться подслушивающее устройство. Свинцов разбирался в таких вещах.

Рассказывал и Станислав. Всегда говорил очень тихо, тише, чем все остальные. Он объездил с цирком весь мир и всюду удивлял публику своей силой. У него на вытянутой руке повисали четыре-пять человек и даже не могли ее согнуть. По его груди, как по мосту, проезжал полный людей грузовик. Станиславу не раз приходилось бороться на арене со всемирно известными силачами.

Залману тоже было что рассказать. Но, как и в других камерах, где он сидел раньше, он обходился тем, что читал свои или чужие стихи и пересказывал сюжеты своих пьес.

Однажды утром, слушая пересказ его драмы «В гетто», Станислав тихо-тихо, только для себя, вдруг начал напевать: «Есть дороженька одна от порога до окна, от окна и до порога, вот и вся моя дорога». Мелодия чем-то напомнила Залману «Гамавдил бейн койдеш лехойл», и он спросил борца, где тот услышал эту песенку.

– Я тут сидел в одной камере со священником из Абезского лагеря. Его как свидетеля привезли. Часто от него это песенку слышал.

– Он сам ее сочинил? – Но все-таки мелодия подсказывала Залману, что эту песенку, которую он уже от кого-то слышал, мог сочинить только еврей.

– Нет. Он сказал, пожарный один у них на ОЛП[1], бывший еврейский поэт.

– Священник вам не сказал, как звали пожарного?

– Я не спрашивал. Мне-то какая разница? А что, это ваш знакомый?

– Может быть. Очень может быть.

1 ОЛП – общий лагерный пункт.

Если пожарный, как сказал священник, еврейский поэт, то, скорее всего, это Йоэл Рогачев, которого первосвященник от критики Эли Левадов назвал еврейско-древнееврейским стихотворцем. Оба и за еврейский, и за древнееврейский язык дорого заплатили. Эли Левадов раньше, во время великой чумы при разрушении Первого храма – идиша; Йоэл Рогачев – позже, во время теперешней чумы при разрушении Второго храма.

Глава 81

На Лубянке никто не знал, когда выведут двадцать минут подышать свежим воздухом в огороженную часть двора или на крышу.

Чаще всего выводили вечером, перед отбоем. Иногда поднимали среди ночи. Кто не хотел жертвовать драгоценным сном, мог не идти. Залман отказывался от прогулки не один раз.

Здесь, в Бутырке, тоже не знали, когда поведут гулять. Знали только, что не ночью. Или после завтрака, или после обеда. Но вот уже вечер, и, похоже, прогулки сегодня не будет. Может, что-то случилось? Сокамерники гадали, в чем причина. Залман считал, что утром они слишком громко разговаривали, вертухай доложил корпусному, и тот в наказание лишил их двадцати минут на свежем воздухе.

Но вдруг, перед самой командой «отбой», открылась дверь, и вертухай объявил:

– В баню!

В баню ходили с не меньшим удовольствием, чем на прогулку. Это единственное место, где можно что-то узнать про родных и знакомых. В камеру не каждый день приводят человека, который может передать от них привет.

Баня находилась ниже этажом, в конце коридора. Заключенных водили туда, как в клозет, построив в колонну, руки за спиной. Брать из камеры было нечего и незачем. Для каждого все было приготовлено заранее: кусочек мыла на один раз и залатанное, прожаренное для дезинфекции белье.

Отдав старому, исхудалому банщику и еще более исхудалой банщице грязное белье и одежду, Залман вошел в мыльную

комнату. Намылил носовой платок, прошелся им, как губкой, по всему телу, опрокинул на себя шайку теплой воды и приник к стене, густо исписанной где отдельными буквами, где словами и датами, как стены Рейхстага, которые Залман не раз видел на экране, в кинофильмах о Победе… Но на стенах Рейхстага надписи выцарапывали штыком или ножом, а здесь – ногтями.

Залману сразу бросилось в глаза, что некоторые буквы похожи на еврейские. Вот эта, на стене, где краны, наверное, «ламед». Кажется, не осталось ни одного еврейского писателя, кто не подарил бы Залману своей книжки с дарственной надписью, кроме того, он много лет занимался редакторской работой, правил чужие рукописи, так что мог узнать почерк с первого взгляда. «Ламед» на стене – или Левитина, или Ладинера. Больше ни у кого из писателей, посаженных до Залмана, фамилия с этой буквы не начинается. Правда, он не знает, сколько писателей посадили уже после него.

Переходя от стены к стене, не пропуская ни одной надписи, Залман нашел еще несколько еврейских букв. Это точно «алеф», это «мем». Но с этих букв начинаются фамилии нескольких писателей. Кто бы это мог быть?

Раздумывать было некогда. Банщик и банщица уже дали понять, что пора поторапливаться. Залман подошел к стене подальше от глазка в двери и, обдирая пальцы до крови, выцарапал буквы «заен» и «мем».

Рано или поздно сюда приведут другого еврейского писателя. Ему не придется, как Залману, с трудом выискивать на стене еврейские буквы, и что значат эти «заен» и «мем», он догадается сразу. Чтобы все знали, что он жив, под своими инициалами Залман выцарапал еще число, месяц и год.

Кроме Залмана, тем же способом сообщил о себе циркач Станислав. Двое Александров – Добцис и Свинцов – оставили автографы еще раньше.

Глядя, как Станислав выцарапывает на стене первую букву своей фамилии, Залман только теперь заметил его могучие мускулы. Тело казалось высеченным из камня. Каждая мышца играла, двигалась под кожей, будто говоря: «Ты можешь точить о меня

нож, бить по мне кувалдой…» Эти мускулы все выдержат. Они тверже гранита.

Залман очень хотел задать Станиславу один вопрос, но не решился. Спрашивать такое опасно не только здесь, но и в камере.

На другой день, на прогулке, незаметно задержав Станислава, Залман все-таки спросил:

– Почему вы так дрожите перед допросом? Чего вам бояться? Вы следователя можете одним пальцем на месте уложить.

Станислав удивленно посмотрел на Залмана.

– Как вам такое в голову пришло? – И еле слышно пояснил: – Да, я мог бы убить любого из них одним ударом. Я бы и с десятком справился. Но что толку? Что мне это даст? Их сотни, тысячи. Разве я могу противостоять им в одиночку?

Залман не нашел, что возразить. С тех пор он старался не смотреть на борца, когда его вызывали на допрос. Видно, следователя не останавливает, что обвиняемый – силач, атлет. Чего следователю бояться, если у него за спиной сотни таких же, как он, готовых прийти ему на помощь, наброситься на жертву, как злобные псы, сорвавшиеся с цепи.

Глава 82

Слишком долго сидеть в одной камере, с одними и теми же соседями, здесь мало кому удается. Расставание каждый переживает по-своему: и тот, кто уходит, и те, кто остается. Залман по себе знает. Всякий раз, когда он менял камеру, ему казалось, что он расстается с близкими людьми, даже если просидел с ними всего-то несколько дней, как здесь, где до него сидел Марк Полонер.

Как только надзиратель скомандовал Залману собираться с вещами и закрыл кормушку, сокамерники начали гадать, куда его уводят. Бывший сталинский проводник Александр Свинцов даже додумался, что Залмана просто высылают. Станислав не согласился: как могут выслать, если суда еще не было?

– Какой суд? Зачем суд? – возразил Александр Добцис.

У него было свое мнение. Предыдущего соседа, писателя Марка

Полонера, как и писателя Залмана, тоже увели не ночью, а средь бела дня. Но Полонер не огорчился, наоборот, даже обрадовался. Если у него десятый пункт, часть первая, а не вторая, его делом буде заниматься ОСО, а ОСО судит заочно.

Правда, чем это лучше, Добцис не знал. Разве ОСО не выносит смертных приговоров?

Послушав сокамерников, Залман хотел ответить, что гадать бесполезно. Как можно что-то просчитать, если логика тут не действует? Более того, все делается вопреки логике. Вместо этого он на прощание пожелал соседям долго в камере не засиживаться.

Уже за дверью Залман вспомнил: он не попросил Добциса передать Полонеру, если его опять переведут в эту камеру, что Хаим Юнгач, которого посадили позже других, среди прочих новостей с воли рассказал, что выслали семьи не всех арестованных. Незадолго до ареста Хаим случайно встретил в метро жену и старшего сына Полонера.

Хотя, как Залман не раз убедился, здесь на трезвую голову и следа логики не найдешь, все-таки он пытался угадать, куда его так долго ведут то вверх, то вниз по лестницам. Вдруг у него ноги подкосились. А не ведут ли его в Пугачевскую башню? Но, по словам Добциса, который там побывал, из камер с амбарными замками уводят поздней ночью, а сейчас день. Нет, не может быть. Да и суда еще не было. «Какой суд, зачем суд?» – вспомнилось Залману. ОСО выше суда, на ОСО обвиняемых не вызывают. Судят заочно.

Но все-таки, куда его ведут так долго?

Но еще больше Залмана волнует, с чего Добцис взял, что и его, и Марка Полонера, и других писателей из комитета будет судить не военный трибунал – высший и опаснейший суд, – а ОСО. Или Полонер не слишком доверял Добцису и не назвал всех пунктов обвинения? Залман представил себе, как тяжело было Полонеру оставаться в камере наедине с Добцисом, смотреть, как тот бьется в конвульсиях, ударяясь головой о цементный пол и железные шконки, и не иметь возможности ему помочь: это запрещено под страхом карцера.

На двери, перед которой надзиратель остановил Залмана, амбарного замка не оказалось. Но беспокойство не прошло. Сердце бешено колотилось, грозя остановиться в любую секунду. Залман собрался

с духом и перешагнул порог. В глазах мелькало, но Залман заметил, что камера отличается от тех, где он сидел до сих пор: она была в три-четыре раза больше, расставленные в два ряда железные койки прикованы к стенам, по восемь к каждой. Между двумя рядами шконок стоит длинный стол со скамьями по сторонам. Почти все, кто сидит за столом, играют в домино.

Молодой человек с курчавой черной бородкой, показав Залману свободную шконку, странно посмотрел на него, будто не мог вспомнить, где они виделись, и ждал, что Залман ему подскажет.

Сложив в тумбочку свое добро, Залман подсел к столу и начал молча наблюдать за игрой. В сдержанном стуке костяшек слышалось: «Ночью мы не играем…Мы играем только днем…»

У Залмана спросили только, как его зовут. Больше никто вопросов не задавал. Значит, не вчера сюда попали, успели, как и Залман. усвоить науку Лейзера из Тайшетского лагеря: чем меньше знаешь, тем лучше. Молодой человек с бородкой сообщил Залману только одно: здесь сидят те, у кого следствие окончилось, и осталось ждать суда. Некоторые ждут не первый месяц.

Только на другой день, на прогулке – а где тут еще можно поговорить без свидетелей? – Васильев, молодой человек с черной бородкой, тихо спросил Залмана, не еврей ли он.

– А почему спрашиваете?

Залман еще хотел добавить: «Вы прямо как следователь». И вдруг неожиданно услышал:

– Потому что я тоже еврей.

– Васильев, и еврей?

– Отец у меня русский. Но раз мама еврейка, следователь и меня к евреям причислил. Так и записал в протоколе, хотя я русский по паспорту.

– А у Пятигорского все наоборот: мать русская, отец еврей. Но следователь его тоже евреем сделал.

– Кто такой Пятигорский?

Чем меньше знаешь, тем лучше. Может, и не стоило болтать лишнего, но Залман рассказал, кто такой Леонид Пятигорский, и за что его арестовали, и как следователь требовал, чтобы он подписал протокол, где сказано, что Пятигорский – еврей, хотя по паспорту он русский, как и Васильев.

– Что вы по паспорту русский – это ваша единственная вина? – Залман опять нарушил закон лагерной Торы, но сразу нашел для себя оправдание. В Васильеве, как и в Пятигорском, было что то, говорящее об их еврейском происхождении. Обоих выдавали глаза.

– Не единственная. Я в Китае родился. Родители служили на Китайско-Восточной железной дороге. Как только вернулись из Китая, их сразу арестовали. А меня только теперь, через пятнадцать лет. Уже второй год сижу. Наверное, в десяти камерах побывал.

– Может, вам довелось сидеть с кем-нибудь из писателей или членов Еврейского антифашистского комитета? – Этот вопрос Залман задавал всем и в Бутырке, и на Лубянке.

– Нет. – Васильев опять посмотрел на Залмана, будто пытаясь вспомнить, где они встречались. – А что?

Скрывать, что он писатель, Залману совершенно незачем. А раз Васильев еврей, пусть наполовину, то незачем скрывать, что Залман – еврейский писатель, и его главная вина, как он понял на следствии, заключается не в том, о чем он пишет, а в том, что он пишет на еврейском языке.

– У них это называется буржуазный национализм.

– Лишь бы не шпионаж и измена. Меня хотели в них обвинить, когда я из-за границы вернулся. В составе советской команды принимал участие в шахматном турнире. Я мастер спорта. За шпионаж и измену, насколько я знаю, судит военный трибунал. Но если вас посадили к нам в камеру, значит, вас будет судить тройка, ОСО, а ОСО больше двадцати пяти не дает.

– Двадцати пяти?! – чуть не крикнул Залман, схватив Васильева за руку.

– Скажите спасибо. У вас какая часть десятого пункта? Первая или?..

– Первая.

– Тогда вам вообще бояться нечего. Больше десятки не дадут. Вот часть вторая – это серьезно. С ней в нашу камеру не сажают.

– Но у меня еще пункт один-а и одиннадцать.

– Значит, один-а и одиннадцать с вас сняли, – не задумываясь, ответил Васильев и повторил: – С таким багажом, как вы говорите,

вас бы к нам в камеру не перевели. У нас сидят только те, кому светит лет десять-пятнадцать, не больше.

На последней встрече со следователем Залман так и не понял, сняли с него обвинения в шпионаже и измене или только слегка смягчили, не занесли в протокол, который он подписал, того, что наговорил о нем Бен-Шолем: якобы в комитете Залман был чуть ли не главным по сбору шпионской информации. Может, Васильев и прав. Реб Арон тоже отмерил ему примерно такой же срок, лет восемь-десять, но только если Залман не сдастся, не подпишет протоколов, в которых ему предъявлен пункт один-а.

«Бог свидетель, как я сопротивлялся».

Но что после всех этих издевательств, пыток и уговоров он отделался пунктами десять и одиннадцать, Залман совершенно не был уверен. И хотя он понимал, как бессмысленно мучиться заранее из-за того, что ОСО даст ему на полную катушку – двадцать пять лагеря и пять поражения в правах, – он все-таки не мог об этом не думать, зная наверняка, что и трех лет не выдержит: ноги распухли как колодки, и сердце напоминает о себе все чаще и чаще…

Двадцать пять лет! Двадцать пять зим, двадцать пять весен… Сколько лет тогда будет Элише?

Невозможно себе представить. Элиша выглядит для него точно так же, как в тот далекий день, когда он в последний раз видел ее на свободе.

Тот день стал для него последним в мире, из которого его сюда забрали. А предыдущие дни – уже из другой жизни, из другого мира, который сам не знает, чего хочет, если для нет ничего страшнее и опаснее, чем евреи, которые стремятся остаться евреями, и писатели, которые творят на еврейском языке. Наверное, из-за того, что в высших эшелонах власти сами не знают, чего хотят, и приходится так долго ждать приговора. Скоро два месяца, как закончилось следствие, а его все держат в камере.

Нет ничего хуже, чем сидеть сложа руки и ждать. Ни в одной камере время не тянулось так медленно, как в этой. Нигде не приходилось так же усиленно бороться со сном, таращить слипающиеся от скуки глаза. Но понемногу Залман привык. Пустое время заполняли, рассказывая друг другу разные истории, которых у каждого

находилось в избытке. Говорили о чем угодно, только не о том, как сюда попали.

Но лучше всего помогало домино.

Большим любителем домино Залман никогда не был, но быстро овладел искусством строить из костяшек многоэтажные здания, причем так, чтобы они чудом не рушились, если вытащить пару костяшек снизу. Он мог часам сидеть за столом и воплощать в жизнь свои архитектурные фантазии. Если сооружение вдруг разваливалось, Залман видел в этом дурной знак – настолько дурной, что даже подумать страшно.

Были в камере и шахматы, но Залман редко в них играл. Голова была другим занята, он не мог сосредоточиться и еще в дебюте допускал столько ошибок, что вскоре сдавался. Несколько раз он все-таки померялся силами с мастером спорта Виктором Васильевым. Залман знал наперед, что проиграет, хотя Васильев давал ему фору – ферзя и ладью. Залман не думал, что Васильев стремится показать ему всю несостоятельность его ходов. Скорее мастер хотел, чтобы поэт Залман Мандел почувствовал поэзию древней игры. В комбинациях Виктора действительно присутствовала истинная красота. Волшебство слова и игры сблизило поэта и шахматиста с первых дней в одной камере.

Двенадцать сокамерников жили как дружная семья, делить им было нечего. Все получали одинаковые пайки хлеба, одинаковые горстки сахарного песка, одинаковое количество баланды и каши. Выделялись только двое молдаван. Они все время держались в стороне от остальных, разговаривали друг с другом на своем языке, и никто не удивлялся, не видел ничего подозрительного, как, наверно, увидели бы те, кто отбирает у человека его двадцать пять зим и весен, в том, что Залман с Виктором часто ведут себя как эти молдаване. Неважно, что только один из них еврей. Еврей наполовину, видимо, ничуть не лучше, иначе следователи так упорно не торговались бы с заслуженным артистом Леонидом Пятигорским и мастером спорта Виктором Васильевым.

За дружбу они оба – еврей Залман и еврей наполовину Виктор – однажды уже заплатили тремя сутками в карцере. Хотя повод для наказания был другой.

В прошлую субботу (Залман хорошо это запомнил, потому что был дежурным по камере, а по дежурствам он вел счет дням недели) Виктор долго стоял у большого зарешеченного окна, потом подозвал Залмана.

– Вот из этого дома, – Виктор указал рукой на здание напротив, выделявшееся красной трапециевидной крышей, – меня и забрали. Сколько я в этой камере, мне кажется, родные смотрят на меня оттуда. Еле сдерживаюсь, чтобы им не крикнуть.

– Понимаю. Если бы мне казалось, что из того дома на меня смотрит Элиша, я бы вообще от окна не отходил. Все время ей бы рукой махал.

Оба задумались и совсем забыли про вертухая, для которого нет большего счастья, чем поймать заключенного на каком-нибудь нарушении, как накануне он поймал Залмана, когда он горелой спичкой рисовал на папиросной коробке женское лицо… Залману тогда запретили две недели пользоваться тюремным ларьком.

– Эй! Вы что там забыли, у окна?

– Ничего, – спокойно ответил Виктор. – Просто на свой дом смотрю. Его видно отсюда.

Часа не прошло, как оба в одном белье стояли в холодных карцерах.

Когда Залман вернулся в камеру, из ада в рай, он увидел нового соседа, высокого, широкоплечего мужчину с длинной седой бородой. Он занял шконку недавно уведенного из камеры молдаванина, того, что постарше.

Что новенький – еврей, Залман не сомневался ни секунды. Даже показалось, что они где-то встречались. Но где? Может, на Йом-Киппур в куйбышевской синагоге, в начале войны, когда они с Бен-Шолемом читали «Кол-нидрей», украдкой заглядывая в чужой молитвенник. Выйдя после «Кол-нидрей» во двор, Залман услышал плач, доносившийся из небольшой пристройки. Там молился еврей в белом халате и талесе. Этот рослый, сильный человек, рыдая, вопрошал всевышнего, почему Он так жестоко поступил со своим избранным народом. Заткнутый за пояс платок – мокрый, хоть выжимай. Молящийся ежеминутно вытирал им красивое, благородное лицо. Залман запомнил его фамилию – Дубин. Он был из Риги, где в Большой синагоге заживо сожгли согнанных туда евреев.

Нет, Залман ошибся. Новенький даже не похож на человека, которого он видел на Йом-Киппур в куйбышевской синагоге на улице Чапаева. Залман даже не стал спрашивать, как его фамилия, но спросил то же самое, что у всех, с кем встречался в камерах: не сидел ли он случайно с кем-нибудь из еврейских писателей или членов Еврейского антифашистского комитета.

– Нет. – Новенький сразу дал Залману почувствовать, что у них ничего общего. – Я не еврей. – И уже не так резко: – Я караим.

Вот теперь Залман вспомнил, где мог видеть этого человека. В Евпатории, уже в конце войны. Комитет послал Залмана в Крым за материалами об эшелоне переселенцев – оставшихся в живых евреев, – который должен был в ближайшее время отправиться в Биробиджан.

Выйдя в Евпатории из здания вокзала, Залман увидел газетный киоск.

– Свежий номер «Эйникайт» есть? – по-еврейски спросил Залман продавца, высокого мужчину с красивой длинной бородой и благородным лицом.

– Не понимаю, – довольно грубо ответил продавец, и, как показалось Залману, с испугом добавил: – Я не еврей. Я караим.

Может, этот страх так с тех пор в нем и остался? И злость, что его приняли за еврея, тоже?

Глава 83

Впрочем, Залмана все это не так сильно волновало, чтобы долго об этом думать. Его больше беспокоило, что шконка молдаванина уже занята, но не еврейским писателем или кем-нибудь из комитета, на что Залман очень надеялся, поскольку эта камера, как сказал Васильев, исключительно для тех, кому осталось только ждать суда. Ведь Залмана взяли гораздо позже, чем писателей старшего поколения, а их всех, как он понял на допросах, обвиняют в одном и том же. У него следствие закончилось месяца три назад, а у них, получается, еще раньше, значит, кого-нибудь из них вполне могут перевести

в эту камеру. Непонятно, почему тюремное начальство этого не делает. Боится, что арестованные писатели сговорятся, что-нибудь придумают, чтобы облегчить свою вину? Слишком поздно. Следствие закончено, протоколы подписаны!.. Странно, очень странно. Ведь один раз уже допустили, чтобы в камере оказались двое арестованных писателей, он и Хаим Юнгач, причем в самом начале следствия.

Залман до сих пор не мог понять, зачем так поступили. Может, те, кто решает, кого в какую камеру посадить, просто ошиблись, а может, подсадили к нему Юнгача нарочно: вдруг получится что-нибудь выведать.

Иногда, задумавшись, Залман начинал верить в то, что здесь не раз ему снилось: Рефоэла Охримова, Марка Полонера, Лейба Блюмкина и всех остальных выпустили на свободу. Только он остался.

Глупее не придумаешь. Если Залман и допускал такую мысль, то только на секунду. Невозможно поверить, что у стариков следствие еще продолжается. Значит, остается одно: ждать.

И Залман ждал, что не сегодня-завтра приведут кого-нибудь из арестованных писателей или, по крайней мере, того, кто сидел с ними, у кого можно что-нибудь узнать. При этом он забыл, что для тех, кто ждет приговора, здесь есть и другие камеры.

В конце концов Залман дождался. В камере освободились две шконки. Одна – для Марка Полонера. Залман сам не знал, почему он так решил. Скорее всего, потому, что ему очень этого хотелось. А вторая шконка для кого? Для Лейба Блюмкина? Натана Левитина? Пинхаса Машберга?.. Слава богу, есть из кого выбирать.

Но когда на другой день, вскоре после обеда, распахнулась дверь, в ней стоял только вертухай. Не переступив порога, он тяжелым взглядом посмотрел на удивленные лица заключенных и тихо назвал три фамилии.

Третьей была фамилия Мандел.

– С вещами! – И дверь захлопнулась.

Среди тех, кто, прощаясь с Залманом, пытался угадать, сколько ему дадут, ни один, как сосед по предыдущей камере Александр Свинцов, не предсказал, что Залмана просто вышлют. Но Виктор Васильев уверял, что срок Залману дадут небольшой. Ведь его вызвали вместе с двумя парнями, которые даже не успели узнать,

в чем их обвиняют, а таким дают детские сроки, от пяти до восьми. Раз Залман с ними в одном списке, его ждет то же самое.

Восемь – это, конечно, не двадцать пять. Но все-таки отнятые восемь лет, восемь зим, восемь весен…

Надзиратель привел их в большую пустую комнату двумя этажами ниже. Через расположенное под потолком зарешеченное окно весело заглядывало яркое послеполуденное солнце.

Как только надзиратель ушел, парнишки, будто жеребята, выпущенные из тесных денников, начали прыгать возле окна, хватаясь за подоконник, счастливые, что опять видят живое дерево, живую траву, живое солнце.

– Товарищ, идите сюда. Мы вас поднимем, тоже на свободный мир посмотрите, – позвали ребята задумавшегося Залмана.

Но тут раздались шаги. Щеголеватый молодой человек, почти мальчик, с довольным видом вошел в комнату. Светлые волосы расчесаны на пробор, как на вывеске местечковой цирюльни. В руке – тонкая коричневая папка.

Спросив у всех троих фамилию, имя и отчество, молодой человек достал из папки бумагу и, выпятив грудь, чтобы было ясно: несмотря на гражданскую одежду, это вымуштрованный военный, представитель власти, зачитал каждому его приговор. Ребята, как и предсказывал Виктор Васильев, получили по восемь лет лагеря.

– Залман Наумович Мандел, – отчеканил довольный собой молодой человек, – за шпионаж, измену Родине и антисоветскую деятельность приговаривается к двадцати годам строго режима и пяти годам поражения в правах.

Протянул Залману перо и показал, где расписаться, что приговор зачитан.

Залман задрожал, как от мороза, и еле выговорил:

– Кто меня судил?

– ОСО. – И, крепко зажав под мышкой коричневую папку с подписанными бумагами, молодой человек, очень довольный собой, покинул комнату.

Услышав приговор, как Залман понял только потом, он так изменился в лице, что не на шутку перепугал своих юных сокамерников. Он почти упал к ним на руки.

– Не принимайте близко к сердцу, не падайте духом! – Тот, что помладше, погладил Залмана по голове, как ребенка.

– Двадцать лет. Это же смешно, – поддержал второй. – Никто не знает, что даже через год будет. Уповайте на бога. Вы не единственный. Надо держаться. Уповайте на бога.

Когда он второй раз упомянул бога, Залман понял, что за это ребят и посадили – за веру.

– Спасибо, – только и смог он сказать своим юным друзьям, обнимая их, как сыновей.

Тот же вертухай, что привел их сюда, разлучил Залмана с молодыми сокамерниками. Увел его и, спустившись этажом ниже, передал надзирателю в темном коридоре, куда выходило множество запертых дверей.

В новом помещении оказалось полно народу, но, еще не успев войти, Залман увидел знакомое лицо.

– Айзик? – И, будто желая убедить себя, что не ошибся, повторил: – Айзик?

У противоположной стены стоял пожилой мужчина, опираясь на палку и слегка отставив в сторону ногу в ортопедическом ботинке, – милая мама еврейской литературы, как называли его писатели, особенно молодые. Критик и драматург Айзик Добрин.

– Изя! – Залман подбежал, обнял и расцеловал его. – Изя, дорогой мой…

– Залман, это вы? – спросил Айзик, но не потому, что Залман изменился в тюрьме до неузнаваемости. Просто Айзик Добрин так глубоко о чем-то задумался, что не видел никого и ничего вокруг, будто все происходящее в комнате не имело к нему отношения. В отличие от Залмана, его даже вблизи было трудно узнать. Вместо постоянно веселого, подетски восторженного человека с буйной русой шевелюрой, будто растрепанной ветром, Залман видел перед собой озабоченного, грустного старика. Из-под золотого пенсне, не скрываясь, покатились крупные слезы.

– Ну, ну! – Залман осторожно взял его за рукав. – Цорас рабим[1],

1 Несчастье многих (древнееврейск.). Усеченная пословица «несчастье многих – половина утешения».

Изя. Вы не один такой. Сколько вам насчитали?

– Десятку.

– Всего? Я побогаче буду. В два раза. Да еще с добавкой. Двадцать лагеря и пять по рогам. Итого, дорогой Изя, двадцать пять лет, двадцать пять весен. Зимы, осени – это не в счет. Но не стоит падать духом. Уповайте на Господа, Айзик. Еврей без упования – не еврей. – Залман даже удивился, что так легко избавился от отчаяния и уже может поддерживать другого, как его самого недавно поддерживали двое ребят.

– Ах, Залман! Если подумать…

– А думать как раз не надо. Все равно ничего не изменишь.

– Да я не об этом, Залман, не это меня гнетет. Такая жизнь – это и не жизнь вовсе. Сколько такой «шиври кейли»[1], как, я, может выдержать? Меня беспокоит, «ме ону ума хаейну?»[2]

Очень странно было услышать от Добрина слово на святом языке. Видимо, Айзик стал мыслить по-другому, начал избавляться от агрессивного атеизма. Они нередко из-за этого спорили. В последний раз – перед Пейсахом, незадолго до арестов. Негде было раздобыть мацу, и Айзик это оправдывал, считал, что давно надо было ее запретить, еще до войны. Без принуждения нашего брата еврея от религиозного дурмана не освободишь.

– До чего мы докатились, Залман. Ни за что ни про что жизнь отдали. Почему, за какие грехи? Чего только я тут от них не наслушался! Горе ушам, которые это слышали, и горе мне, который столько на себя наговорил.

– Наверное, не больше, чем я на себя. Хорошо хоть, бог спас, других не оклеветал. Ведь это значит оклеветать весь наш народ.

– К огромному сожалению, про себя этого сказать не могу. Слишком я слаб. Не выстоял. В чем только меня не обвиняли! В измене, шпионаже, шовинизме, буржуазном национализме, антисоветской агитации и черт знает в чем еще. Припомнили даже, что я в Париже учился.

– О господи, да когда ж это было? Лет за десять-пятнадцать до револю-

1 Разбитый сосуд (древнееврейск.).

2 Что мы и что жизнь наша (древнееврейск.). Слова покаянной молитвы.

ции.

– Им это неважно. Побывать за границей – уже грех. Почти во всех протоколах, которые мне зачитывали, я, как вы понимаете, не самым добрым словом помянут. Я никого не виню. Но что Бен-Шолем в своих показаниях представил меня как замминистра культуры в крымском еврейском государстве… Наверное, он слегка не в своем уме. Откуда взялась на нашу голову какая-то еврейская республика с министрами, заместителями? Бред сивой кобылы. Об этом и речи не было. По крайней мере, я ничего такого не слышал, а ведь я член президиума Антифашистского комитета. Зачем Бен-Шолему понадобилось втягивать меня в эту кровавую игру, делить шкуру неубитого медведя, представлять меня заместителем…

– Чьим?

– Рефоэла Охримова. Его он министром культуры назначил. Знаете, я даже начинаю думать, что Бен-Шолем мстит мне за то, что я не отобрал первородства у Марка Полонера, у Нохума Волынера, у вас, Залман, и не отдал ему. Не представил его в своих книгах величайшим поэтом. Бен-Шолем вполне на это способен, знаю я его.

Айзик Добрин оглянулся, не подслушивает ли кто-нибудь, хотя бояться было уже нечего: следствие окончено, приговор известен. Но оглядываться вошло у Айзика в привычку, как, наверное, у всех, кого согнали в эту комнату.

– А ведь все мы верили, не сомневались, что история с гибелью Бен-Михоэла произошла так, как об этом писали, хотя народ еще тогда все по-другому воспринял, по-другому истолковал. И оказалось, что народ был прав.

– Народ, дорогой Изя, всегда прав. Наш народ прозорливее, чем его писатели.

– Наверное. – Айзик опять оглянулся и заговорил совсем тихо: – Как я понял на допросах, ни под какую машину Бен-Михоэл не попадал. Его просто-напросто приговорили к смертной казни. Убейте, не понимаю, зачем им это было надо. Зачем, Залман?

– Не только в нем дело. Дело во всем нашем народе. Начали с него, потом перешли на нас, писателей, а теперь хотят взяться за всех, за весь народ. А может, уже взялись. Попробуй узнай, если за решеткой сидишь.

– И все-таки… Не могу понять, зачем им это. У Гитлера по отношению к евреям все было ясно. Открытые карты. Он ничего и не скрывал.

– Здесь то же самое будет. К тому идет, если писать и говорить по-еврейски уже стало преступлением. Причем тяжким преступлением. Скажите, дорогой Айзик, вы же немного старше меня, больше знаете, больше помните. Зачем родителям внушали, что они должны отдавать детей в еврейские школы? Назовите мне одного еврейского писателя, да, хоть одного, кто отдал детей в еврейскую школу, чтобы они знали еврейский язык. Даже сын и дочь Левадова, насколько мне известно, по-еврейски ни слова не знают… А кто еще так ложился костьми за наш язык, как гениальный критик Эли Левадов, царство ему небесное? Получается, они еще в те годы предвидели, что у нас в стране еврейский язык не имеет будущего. И за то, что они предвидели это только для себя, только о своих детях позаботились, я бы их наказал.

– Как вы можете говорить такое, Залман? Разве мало мы заплатили за свою слепоту? Бог знает, какой приговор ждет наших писателей, тех, кто еще сидит. Хоть бы, боже упаси, не двадцать пять. Темнота, Залман, темнота у нас впереди.

– Неужели это конец, как у Йоэла Рогачева в его старом пророческом стихотворении «Россия»: «Мы в ногу шагаем и мрем от твоих поцелуев…»?

– От каких поцелуев? О чем вы? От меча, от меча мы погибнем. Давно понемногу погибаем вместе с нашим богатством.

– Неужели это конец? Разве можно погубить такое богатство, такие сокровища?

– Да, это конец, мой дорогой Залман. Продолжения не будет. Некому будет даже «Изкор» прочитать.

– Ну, ну…

– Все еще сомневаетесь? – И вдруг, будто и до этого речь шла о разных будничных делах, Айзик спросил: – За какие грехи я должен таскать с собой эту тяжесть?

Только сейчас Залман заметил, какая у Айзика большая котомка.

– Откуда у вас этот огромный узел? Из дома захватили?

– Из дома – только пару мелочей. А это мне сестра вещи собрала.

Видно, ей сообщили, что меня ждет дальняя дорога в северные края, и можно передать мне теплую одежду. Но как я буду таскать это с собой, если у меня сил нет палку в руке держать?

– Я вам помогу. Надо думать, всех, кого собрали в этой комнате, отправят по одному этапу, может, даже в одно место. Постараемся держаться вместе. У меня руки свободны.

– Ваши ничего не передали? Наверное, им не сказали, что вас, как и меня, ждет дальний путь.

– Не знаю, дорогой Айзик. У меня, собственно, и нет никого. Надежда Федоровна – не законная жена, и я не хочу, чтобы она из-за меня пострадала. Как ей поступить, если меня заберут, мы с ней не раз обсуждали. Ну, а Элиша Криштол…

– Студентка Театрального училища, с которой я вас несколько раз видел?

– Да. У меня с ней было что-то вроде романа. Любовь, но без взаимности, только с моей стороны. Старый я для нее, чтобы на что-то рассчитывать, тем более что подвернулся молодой и красивый Яша Розен.

– Кстати, хотел вас спросить. Мой следователь пару раз ссылался на протокол, где написано, что я восхвалял только тех авторов, от которых зависел. Чьи это были показания, я примерно догадался. Подписываясь под приговором, в своем деле, с которым мне дали ознакомиться, я этого протокола не нашел. Изъяли, или что?

– Айзик, неужели непонятно, что они не могли вам его показать? Они своих не сдают. Но это до поры до времени. Все тайное рано или поздно становится явным.

Вдруг стало шумно. Все схватились за котомки, как пассажиры на вокзале, когда к перрону подают поезд. Залман закинул на спину увязанные в простыню вещи Добрина, а свой скромный узелок взял в руку.

– Залман, мне вас сам бог послал. Не знаю, как бы я справился, со своей-то больной ногой. Но вам же тяжело.

– Ничего, Айзик, терпимо. О, идут, собаки.

– Тише, Залман, мы тут не одни.

– А чего бояться? Следствие закончено, приговор вынесен…

– Все-таки, Залман, надо быть поосторожнее.

Громыхая подкованными солдатскими сапогами, в комнату вошли трое парней в черных халатах – братья-близнецы тупого здоровяка, того, что в первую ночь на Лубянке раздевал Залмана догола, ощупывал его тело, рылся в одежде, срезав с нее пуговицы и вспоров швы.

Перетряхнув развязанные узлы, обшарив каждого с головы до ног, старший из троих приказал, чтобы каждый, кого он вызовет по фамилии, назвал имя, отчество и пункт, по которому он осужден.

– Пятый пункт.

– Что за пятый пункт? – спросил старший Добрина.

– Еврей.

Стоявшие рядом улыбнулись. У Залмана защемило сердце. С Айзиком вообще все в порядке? Просто оговорился?

По одному, строго по очереди, заключенных вызывали во двор, где ждал фургон с широкой красной полосой по диагонали, как на машинах, развозящих почту.

Больше половины осталось во дворе, когда в машине сесть уже стало некуда. Айзик с Залманом тоже не успели забраться внутрь.

– А ну, подвинулись! – засунув голову в переполненный фургон, заорал конвойный офицер. – Вросли в стенки, падлюки!

И начал подталкивать всех влезающих в машину, кого руками, кого ногой. Солдаты ему помогали.

Залман и Айзик Добрин оказались среди последних.

– Чего копаешься, сука старая? Лезь давай, мать твою! – Выхватив у Добрина палку, офицер замахнулся на него.

– Гражданин офицер, у профессора больная нога, он сильно хромает, – объяснил Залман.

Офицер еще больше рассвирепел. Скорее всего, из-за слова «профессор».

– А ты чего встал, сволочь? – набросился он на Залмана. – Давай, помогай этой падле старой и сам залезай!

– Гражданин офицер, там даже ногу поставить некуда.

– Лезь, мать твою! Пархатый!

Глава 84

В битком набитый фургон даже руку не просунуть, дверца наглухо задраена, дышать нечем, но он все не выезжал со двора. Стоял перед высокими железными воротами.

«Наверное, – подумал Залман, стоя на одной ноге, как аист, и не находя места для второй, – слишком рано нас в машину затолкали, еще долго ждать будем. Бог знает, доеду ли в такой давке».

Он пощупал себе пульс.

Бог помог, в конце концов машина тронулась, покидая двор Бутырской тюрьмы. Куда их везут, никто даже не пытался угадать. В зарешеченном окошке проплывали клочок синего неба, дерево…

Вдруг в спертом воздухе почувствовалась удушающая вонь. С каждой минутой сильнее и сильнее.

– Задыхаюсь! – раздался где-то сзади женский голос. – Нас в душегубку заперли! Фашисты!.. Ой, мне плохо!

Те, кто сидел впереди, забарабанили в запертую дверь:

– Откройте! Задыхаемся! Откройте! Откройте!

Конвой не отвечал.

От мысли, что их заперли в душегубку, у Залмана заболело сердце. Вот-вот остановится. Вонь заползала в рот, в нос, застревала в горле.

– Господи! – прошептал Залман. – За какие грехи Ты меня наказываешь? За что Ты меня на двадцать лет осудил? Это же верная смерть. А с благороднейшим Айзиком почему так поступил?

Залман повернул голову к Добрину, будто хотел ему что-то сказать. Айзик оказался слишком далеко, не услышит. Но Залману показалось, что кто-то ему ответил. Или это он сам говорит, не узнавая собственного голоса? С ним такое уже бывало.

И в ту же секунду услышал: «А чем ты лучше своих братьев, сгинувших в душегубках? Или они грешили больше, чем ты? Молись, пока силы остались. Молись, пока ты в своем уме».

Но Залман не верил, что он в своем уме. В голове все перемешалось.

– Ошамну, богадну… Гозалну… А дальше? Что дальше? Дибарну

дойфи[1], кажется. Да, дибарну дойфи. Прости мне, Господи, грех злословия, прости, что по принуждению возвел напраслину на себя и свой народ. Ведь Ты милосерден…

Молитва прорвалась сквозь запертую дверцу машины, достигла небес. Залман без чувств рухнул к кому-то на колени, и тут машина остановилась.

В машину просунулась голова конвоира. Он скользнул по заключенным тяжелым взглядом, проверил, все ли на месте, не сбежал ли кто-нибудь, пока ехали, и захлопнул дверь, не дослушав, что кричала ему сидевшая сзади женщина. Конвоиры давно привыкли, что запертые в черных воронках и столыпинских вагонах кричат им и что-нибудь похуже, чем «фашисты», «гитлеровцы», «сволочи». Солдат только погрозил кулаком, сжимая в другой руке заряженную винтовку.

Прошло еще немало времени, прежде чем дверь снова открылась, и строгий голос скомандовал: «Вылезай!»

У машины стояли солдаты с винтовками. Чуть в стороне конвоир держал на поводке огромного косматого пса со злобными глазами голодного волка.

Пока их пересаживали из одной машины в другую, Залман успел оглядеться. К своему большому удивлению, он не узнал города, будто не был в нем много лет. Высотка напротив говорила, что машина стоит на Садовом кольце, в самом сердце города. Но что это за высотка, на Смоленской площади, площади Восстания или, может, на Котельнической набрежной, Залман никак не мог понять. На тротуаре собралась толпа. Наверное, прохожих не меньше, чем Залмана, удивляло, как столько людей, да еще с вещами, поместилось в одну машину. Судя по всему, собравшиеся на тротуарах искали среди арестованных своих близких, знакомых. Залман заметил, что некоторые прячут глаза в носовые платки. Кто-нибудь мог бы ему подсказать, где он находится. Если на Смоленской, то это недалеко от Извозной улицы, где он жил, и где осталась Элиша. Если бы она знала, что сейчас может его здесь увидеть… Или Яша ее не пустил бы?

«Элиша! – хочет и не может вырваться наружу его голос. – Элиша!»

1 Виновны мы, предавали… Грабили… Возводили напраслину… (древнееврейск.) Слова покаянной молитвы.

Если бы Залман мог с кем-нибудь передать ей… Ему вспомнился довоенный день в столице Крыма, Симферополе, куда их с писателем Меером Альбертоном, недавно вернувшимся из Биробиджана, пригласили на встречу с учениками еврейской школы.

Выйдя с утра из гостиницы на улице Карла Маркса, они увидели, как мимо пролетела черная машина с зарешеченным окном. Вдруг на мостовую упал просунутый через решетку сложенный листок бумаги. Ветер отнес его в сторону. Прохожий, будто не заметив, наступил на бумажку, наклонился якобы завязать шнурок. А когда выпрямился, бумажки на мостовой уже не было…

Но как Залман мог заранее написать записку и незаметно для конвоя уронить ее на асфальт? А если бы и мог, подобрал бы ее кто-нибудь, передал бы Элише? Толпа на тротуаре, увидев их, худых, измученных, с обритыми головами, изможденными лицами и узлами в руках, наверное, принимала их за уголовников.

Так или иначе, пересаживаясь в другую машину, Залман махнул толпе рукой, за что получил от офицера пинок под зад.

В присланной за ними машине теснота была такая же, как в предыдущей. Залман ухитрился посадить Айзика, пристроить его узел, но самому опять пришлось стоять. Хорошо хоть, что теперь на двух ногах. К этому он привык. На допросах следователи не раз держали его на ногах всю ночь.

Слабое сердце требовало воздуха, Залман вдыхал глубоко, насколько хватало сил. В этой машине тоже было ужасно душно, но хотя бы не воняло.

«Точно что-то перепутали, – попытался Залман найти объяснение, почему их средь бела дня пересадили из одного фургона в другой. – Может, по ошибке сначала и правда в душегубку заперли. Или в машине утечка газа произошла. Сразу бы на смерть не задохнулись, но постепенно – как пить дать».

Машина наверстала упущенное время, не опоздала к вагону с зарешеченными окнами, ожидавшему пассажиров.

Их опять пересчитали, проверили по списку, не сбежал ли кто-нибудь, и конвой скомандовал: «Шагом марш!» Не растягиваться, шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, стреляют без предупреждения.

От тупика, где остановилась машина, до вагона оказалось довольно далеко. Добрину все время приходилось догонять идущих впереди. Но каждый раз, чтобы переместить больную ногу, ему приходилось останавливаться, и конвоир подталкивал его дулом винтовки.

Залман ни на секунду не оставлял Айзика одного. Когда Добрин останавливался, Залман тоже замедлял шаг и подбадривал его, глотая слезы: «С правой ноги, Изя. С правой ноги». Точь-в-точь как Вениамин – Бен-Михоэл в постановке «Путешествия Вениамина Третьего», для которой, как и для многих других театральных постановок, Айзик Добрин сочинил тексты песенок.

– Эй, ты, падла старая! – заорал офицер. – Чего ползешь как черепаха? Сейчас тебе вторую ногу сломаю! А ты, сука, чего встал? – И замахнулся на Залмана кулаком. – А ну, догоняй!

Все-таки офицер приказал передним идти медленнее.

– Куда они так летят? – спросил Айзик Залмана. – Куда торопятся?

– Думаю, это наши советские военнопленные, а военные не привыкли ходить медленно. Всегда широким шагом маршируют. Что там у вас, почему узел-то такой тяжелый?

– Чтоб я так же про наших надсмотрщиков знал. Мне его перед самым этапом принесли, даже посмотреть не успел. Знаете что, Залман, бросьте вы его. Мне все равно по дороге придется его выкинуть. Не мне с моей больной ногой такую тяжесть таскать. Давайте сюда, прямо тут и брошу.

– Изя, не говорите глупостей. Вы же знаете, куда нас везут. Точно не в Крым и не на Кавказ. А в Сибири вам все это очень пригодится.

– Знаете что, хоци шели, хоци шелхо[1]. Берите себе половину.

– Спасибо, мой дорогой. Как-нибудь обойдусь тем, что у меня в узелке.

– Ой, Залман, Залман…

– Держитесь, Изя. Надо держаться.

– Десять лет, подумать страшно…

– У меня вдвое больше.

– Для меня, Залман, что десять, что двадцать – никакой разницы. Я, наверное, и года не протяну. Как глупы, как близоруки мы были! Жизнь

1 Половину мне, половину тебе (древнееврейск.).

отдавали, и за что? Чтобы наши книги в огонь швыряли, с нас живьем кожу сдирали только потому, что мы писали по-еврейски, любили наш еврейский язык. Народ без языка, у которого отобрали язык, – это не народ.

– Они того и добиваются. Я это еще на первых допросах понял.

Охотников биться за нижние полки в купе с зарешеченным окном почти не нашлось. Лучше занять место на второй или даже на третьей полке. Там хоть иногда прилечь можно, а на нижней все время сидеть придется. Хорошо еще, что есть куда ноги поставить. Об этом Залман в первую очередь и подумал, когда его втолкнули в купе.

Заняв для Айзика и для себя место на нижней полке, Залман немного перевел дух и огляделся. До сих пор он видел своих соседей по купе только в темноте, в фургоне. Теперь Залман рассматривал их лица и удивлялся, как в обычное четырехместное купе уместилось двадцать шесть человек.

Пяти женщинам, которых вместе с ними привезли из Бутырки, повезло больше: им дали другое купе.

Солнце уже стояло низко, когда вагон вздрогнул и начал двигаться. За окном поплыли железнодорожные постройки, одинокие деревья, товарные и пассажирские составы на других, сходящихся и расходящихся, ветках. Вагон прополз под вздернутым клювом семафора и остановился у запруженной людьми платформы. Пассажиры возвращались с работы на дачу. Вот к другой платформе подошла электричка, из нее высыпала толпа народу, почти все с букетами в руках. Эти, наоборот, провели жаркий летний день на свежем воздухе, на лоне природы, и вернулись в город.

Таким же прекрасным теплым вечером Залман год назад возвращался с Элишей из загорода. Они гостили на даче у старого знакомого. Элиша привезла оттуда букет полевых цветов, как у девушки, которая стоит на краю платформы и смотрит сюда… Наверное, ищет кого-то. Рядом – мужчина. Отвел взгляд в сторону. Видно, боится. Ведь следят за всеми, и не сегодня завтра он тоже может оказаться в таком вагоне…

Подошла электричка, забрала пассажиров, и платформа опустела. За ней виднелась желтая стена вокзала. Но вот какого? По проходу

вдоль решеток туда-сюда шагает конвоир. Спросить бы у него, да разве ж он ответит?

К ночи пассажирский поезд с прицепленным арестантским вагоном тоже отправился в путь.

Судя по названиям пригородных станций, поезд отправился с северного, Ярославского вокзала. Этот путь был немного знаком Залману. Он два раза ездил по нему в Биробиджан, два раза пересекал всю Сибирь.

В зарешеченной железной двери купе открылась кормушка, и конвоир выдал каждому из двадцати шести арестантов по полбуханки черствого хлеба и по две ржавых селедки.

– Селедку не ешьте, – посоветовал Залману и Айзику их сосед по нижней полке, Абрамович. – От жажды помрете. Здесь поят очень редко.

– Как, вы сказали, ваша фамилия? – переспросил Айзик. – У дедушки еврейской литературы, у Менделе, тоже фамилия Абрамович.

И был крайне удивлен, услышав от соседа, что тот не еврей, а белорус.

– У нас, белорусов, фамилия Абрамович такая же распространенная, как у вас, евреев. Воду здесь раза три-четыре в день дают. Я уже ездил по этапу, знаю.

Опять открылась кормушка, и конвоир из жестяной кружки, привязанной цепочкой к ведру, дал каждому по глотку воды.

Из конца коридора донесся молодой женский голос.

– Отвернись, паршивец, фашист проклятый! – кричала женщина молодому конвоиру, который привел ее в туалет и не разрешил закрыться. – Я не могу на унитазе сидеть, когда дверь открыта. Не стыдно тебе? Чтоб у тебя глаза повылазили, фашист чертов! Дай дверь закрыть!

Но солдат не позволил закрыть дверь и, наверное, даже не отвернулся. Следил за женщиной, чтобы она, значит, не сбежала.

– В жизни такого не было. Что ж…

Все уже спали, когда в вагоне прогремело, как на параде: «Да здравствует СССР!» И сразу тот же голос громко и отчетливо разъяснил, что означают эти четыре буквы: «Смерть Сталина спасет Россию!»

В коридоре стало шумно. Конвой бросился к тому купе.

– Не в первый раз по этапу еду. В дороге всякое бывает. Кто-то с ума сошел. Сейчас они из него котлету сделают, – объяснил своим соседям Абрамович, высунув голову из-под лоскутного одеяла, пестрого, как занавес в «Путешествии Вениамина Третьего».

На ближайшей станции избитого, закованного в наручники арестанта сняли с поезда. В последнюю минуту несчастный успел еще раз крикнуть, чеканя каждый слог: «Смерть Сталина спасет Россию».

– Убийца усатый, имах шмой везихрой[1].

Залман, вздрогнув, посмотрел на Айзика.

– Имах шмой везихрой леойлом воэд[2], – повторил тот, произнося каждое слово, как набожный еврей на молитве.

Глава 85

От Котласа вслед за поездом с прицепленным столыпинским вагоном семенил нудный холодный дождь. Вторые сутки – ни одного луча света: свинцовые тучи заперли где-то в вышине солнце, луну и звезды, как конвой – арестантов в зарешеченном вагоне.

Сосед Залмана и Айзика по нижней полке, белорус Василий Абрамович, за годы отсидки побывал в разных лагерях и по первым пятишести станциям уже мог примерно сказать, куда их везут. Но сейчас даже он еще не понял, куда идет их эшелон. Ясно только, что не на Кавказ и не в Крым, а совсем наоборот, на север, в тундру. Об этом говорили редкие, чахлые деревца, низко летящие птицы, упрямый бесконечный дождь. Проникавшей в вагон сырости не было дела, что за окном август, и даже в северном Котласе еще чувствовалось лето. Василий Абрамович давно знал, что в этих краях осень наступает рано, и дождь, сопровождавший их поезд от Котласа, может перейти в снег, который больше не растает.

Даже от старика с больной ногой, Айзика Добрина, однофамилец дедушки еврейской литературы не стал ничего скрывать, сказал чес-

1 Да сотрутся имя его и память о нем (древнееврейск.).

2 Да сотрутся имя его и память о нем на веки веков (древнееврейск.).

тно, что, скорее всего, их путь лежит в Инту, на угольные шахты, где без жертв не обходится ни одного дня. Кроме того, там такие ветра, что между бараками натянуты канаты. За них надо держаться изо всех сил, иначе ветер унесет в тундру, и от человека ни следа не останется: волки или медведи сожрут.

Абрамович немало наслышался в лагерях о здешних морозах и вьюгах и рассказал о них своим попутчикам.

– Ну что, мой дорогой Айзик, прав я был? А вы еще хотели вещи выбросить. Хорошо бы вам было там без теплой одежды.

– Хоци шели, хоци шелхо.

– Никаких «хоци шели, хоци шелхо». Я чуток помоложе, так что обойдусь тем, что есть.

– Эх, как же слепы, как глупы мы были! Столько лет позволяли водить себя за нос. По десять раз на дню восклицали: «Кодойш, кодойш, кодойш!»[1]

– Не все. Вы же, наверное, помните, как у Йоэла Рогачева: «Мы в ногу шагаем и мрем от твоих поцелуев…»

– Нохум Волынер, дорогой Залман, предупреждал гораздо раньше:

О, бездна!
Не требую я – вопрошаю:
Я знаю давно, разумею издревле,
Что значит с тобою тягаться,
Что значит с тобой пререкаться…[2]

И что? Наш народ хоть чему-нибудь научился? Мы уже не шагаем в ногу к бездне? Сколько пророки предупреждали о гонениях, и разве народ прислушался? А ведь такие поэты, как Йоэл Рогачев, Нохум Волынер, Марк Полонер – это, если хотите знать, пророки. Почему же народ остался слеп и глух?

– Время. Время, Айзик, было другое. Россия знала и более страшные времена. Но никогда не знала такого подлого, отвратительного, проклятого времени, как наше.

1 Свят, свят, свят! (древнееврейск.). Слова молитвы.

2 Из стихотворения Давида Гофштейна «В падении», перевод Н. Леонтьева.

– Это тоже из «России» Йоэла Рогачева?

– Нет. Это я слышал от нашего неистового пророка, нашего великого поэта Марка Полонера.

– Он так где-то написал?

– Кажется, да. В каком-то романе или поэме, не помню.

Василий чуть-чуть понимал идиш, как многие в довоенных белорусских городках, и сразу сообразил, на каком языке говорят его соседи по нижней полке. Он не прислушивался к их разговору, удивлялся только, почему они перешли на шепот и стали озираться по сторонам. Кажется, они подозревают, что он не тот, за кого себя выдает: притворяется, что не знает языка, представился белорусом, хотя на самом деле еврей.

Что они его подозревают, Абрамович убедился, когда услышал, что теперь они говорят на совершенно другом языке, ему совершенно непонятном.

Абрамович не ошибся, это был не идиш. Но Айзик и Залман перешли на древнееврейский не потому, что опасались соседа и не хотели, чтобы он знал, о чем они говорят. Они перешли на древнееврейский, потому что их обоих внезапно охватила тоска по святому языку, который уже столько лет под запретом. Пусть приговор вынесен, все равно страшно, что кто-нибудь подслушает, и они оглядывались, хотя были уверены, что никто во всем вагоне не поймет ни слова.

Беседа на святом языке так захватила их, что они пожертвовали драгоценным сном, позабыли, что скоро не смогут прилечь подремать, когда захотят, как здесь, в вагоне. И, разговаривая, оба не переставали удивляться, что запретный язык сохранился у них в памяти, как молитва в закрытом молитвеннике.

Глава 86

За пару станций до Инты дождь утих. Совсем перестал. В густых тучах сверкнул огонек, как шахтерская лампа в лаве. Собравшись с силами, солнце прорвало свинцовую завесу и выглянуло во всей своей красе. Залману подумалось, что оно решило подразнить

конвой, который в Котласе будто и солнцу запретил выходить: шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, стреляют без предупреждения.

Строго по списку конвой вывел из вагона половину арестантов. Выходя, каждый в который раз назвал фамилию, имя, отчество, пункты пятьдесят восьмой статьи и срок. Кроме Залмана, двадцати не оказалось ни у кого. Наверное, для конвоя это означало, что он особо опасен.

Вскоре Залман заметил, что среди тех, кого вывели из вагона, Добрина нет. Получается, его повезли дальше на север. Залман даже не успел с ним попрощаться. Они оба не ожидали, что их разлучат. Один бог знает, увидятся ли они еще когда-нибудь.

Конвой опять напомнил, что готов стрелять без предупреждения, и, подталкивая арестантов прикладами, повел их к вагончику, стоявшему на другой ветке.

Даже солнце не смогло на это смотреть. Снова пряталось в густые тучи, и из них устало закапал дождь, который и так больше суток сопровождал котласский эшелон с прицепленными зарешеченными вагонами.

– Я сразу заметил, что наш новый конвоир – тоже вологодский, – ни к кому не обращаясь, сказал Абрамович. Он шел рядом с Залманом. – Не к добру. Вологодский конвой шутить не любит.

Последнюю фразу Абрамович произнес слишком громко, и шагавший сзади солдат тут же передернул затвор винтовки:

– Я тебе еще покажу, что такое вологодский конвой. Поговори у меня, сука!

– Я не из пугливых, гражданин конвоир. Я фронтовик и старый лагерник.

– Сейчас ты у меня заткнешься, падлюга.

Залман не понимал, зачем Абрамовичу понадобилось схлестнуться с этой бешеной собакой. Сам же знает, что вологодский конвой отличается особой жестокостью. Ясно, что просто так это не закончится. Конвоир выдернул Абрамовича из колонны, будто хотел расстрелять на месте, и рявкнул:

– Фамилия!

– Абрамович, – вместо Василия ответил кто-то из заключенных.

– Еврейчик?! Марш на место! Я с тобой потом разберусь, зараза жидовская.

В вагончик пробралась промозглая осень, в нем было сыро и холодно.

Белорус не стал забиваться в угол, чтобы не мозолить глаза конвоиру. Наоборот, как назло, сел прямо напротив окошка, через которое конвоир наблюдает за арестантами.

– Слышали? – повернулся Абрамович к Залману. – Еврейчиком меня назвал.

– Почему вы с ними связываетесь, зачем вам это надо?

– В гробу я их видал.

– С огнем играете. Вы ж видите, это убийцы.

– Ничего. Я кадровик, старый лагерник. Все их повадки знаю. Нельзя показывать, что их боишься. Как я мог промолчать, когда эти щенки, высаживая нас из вагона, каждому дали пинка под зад, да еще ржали при этом? Еврейчиком меня назвал. Не впервой. Постоянно расплачиваюсь за фамилию, которая мне от моего еврейского деда досталась. И никому не спускаю, ни разу в долгу не остался. Следователи тоже хотели меня в евреи записать. Не может быть, твердили, что Абрамович – и не еврей.

Легкий вагончик качался, подпрыгивал на рельсах, как лодка на волнах, и наконец пристал к берегу, где стоял одинокий деревянный домишко, похожий на заброшенную будку, в которой на еврейском кладбище обмывали покойников.

Высаживая арестантов, тот же конвоир опять дал каждому пинка, наслаждаясь своей властью. Залман решил, что надо вести себя именно так, как Василий Абрамович. Только хватит ли сил и смелости?

Подведя колонну новоприбывших арестантов к воротам в заборе из колючей проволоки, вологодский конвой сразу показал, что не зря заслужил свою славу. Тут же прозвучала команда:

– Лечь!

– Куда, гражданин командир? Тут болото, воды по колено.

Дождь, сопровождавший поезд от Котласа до Инты, превратил тундру в сплошную грязь, из которой ногу не вытащить.

Услышав Абрамовича, арестанты не поспешили выполнить приказ.

– Лечь! – Конвоиры передернули затворы винтовок.

Напомнили, что вологодский конвой шутить не любит, у него сказано – сделано: оружие заряжено. Арестанты растянулись в грязи.

«Хорошо, что Айзика здесь не высадили, а дальше, в Воркуту, повезли, – думал Залман, стараясь не наглотаться грязной воды. – Как бы он тут, с больной ногой, без посторонней помощи? К нему бы тут никого не подпустили, как в камере к Добцису, когда он падал как подкошенный на цементный пол и головой о железные шконки бился. Надзиратели сами ему помогли, кованными сапогами в пол втоптали. Представляю себе, как эти ребята-конвоиры безобиднейшего Добрина схватили бы за руки – за ноги, раскачали да в болото закинули. Для них человек – как жучок, которого надзиратель во дворе Бутырки сапогом раздавил».

По всем произведениям Залмана всегда было видно, что он в каждом пытается найти хоть что-то человеческое. Не перестал он искать его и в этих вооруженных убийцах, хотя и знал, что человек в них давно умер.

– Встать!

Только теперь Залман увидел, что по ту сторону ворот собрались небольшие группки людей: наверное, сбежались из бараков посмотреть, нет ли среди новоприбывших друзей, родных, просто знакомых. Подойти ближе к забору не позволяла винтовка охранника на вышке.

Ворота чуть приоткрылись. Прежде чем войти, Залман, как и все остальные, который раз слово в слово повторил записанное в формуляре: Залман Наумович Мандел, статья пятьдесят восьмая, пункты один-а, десять, одиннадцать, двадцать лет лагеря и пять лет поражения в правах. Целых пять лет…

Глава 87

Пройдя через ворота, Залман быстро двинулся вперед, Могло показаться, он боится, что его вернут обратно.

В тюрьме и в дороге он столько наслушался про лагеря, что у него с первого шага возникло чувство, будто он здесь уже давно.

Все казалось знакомым, привычным. На секунду он увидел себя в крымской еврейской деревне, где был много лет назад. Его перенесли туда побеленные бочки для воды и крыши бараков, напомнивших сельскохозяйственные постройки в устеленных соломой колхозных дворах.

Но долго разглядывать длинную улицу, на которой не было ничего, кроме низких бараков. Залману не пришлось.

Возле каптерки, куда новоприбывшие сдали котомки и где переоделись в залатанную и выстиранную лагерную одежду, собралась толпа, в которой Залман сразу узнал братьев-евреев. Про тех, о ком он начал расспрашивать, никто ничего не знал. Но некоторые слышали, что на другие пункты Интлага недавно привезли каких-то еврейских писателей. Как их зовут, по каким ОЛПам[1] их распределили, тоже никто не знал. Этот ОЛП, третий, – транзитный. Отсюда отправляют дальше, на разбросанные ОЛПы Инты и Абези… Отсюда до Абези сотни полторы километров дальше на север. Туда отправляют пожилых, почти стариков, больных и слабых. Угольных шахт, как здесь, в Инте, там нет. Но работа тоже нелегкая…

«Наверное, Айзика туда отправили», – подумал Залман. Для какой работы Айзик годен, он не мог себе представить. На свой счет он не сомневался, его-то в шахту отправят. По возрасту он подходит. Что у него сердце больное и ноги распухают, никого не волнует. Его сюда привезли умирать. Что ж, чем скорее, тем лучше.

– Что загрустили, молодой человек? Вы у Бога не один такой, – неожиданно мягко заговорил с ним лагерный ветеран, очень похожий на аптекаря, исхудалый и почти совсем седой. Под низко надвинутый круглый картуз с маленьким хасидским козырьком у него было подложено серое вафельное полотенце, свисавшее на обе стороны. Оно закрывало почти все лицо, видны были только водянистые глаза и острый нос. – Вы десять раз на дню должны Бога благодарить, что вас не привезли сюда года на два раньше, как меня, например. Вам очень повезло! По сравнению с тем, что я тогда увидел, здесь теперь просто рай. Есть крыша над головой, с голоду помереть не дадут, работой обеспечат, как обычно на каторге. Сейчас вас

1 ОЛП – отдельный лагерный пункт.

в столовую поведут. Ложки нет? Возьмите мою. – Он достал из глубокого кармана штанов обгрызенную ложку. – Только вернуть не забудьте.

– Спасибо, я не голоден. – Залман так и не привык есть грязными руками и чужой ложкой.

Возле столовой стояли новоприбывшие с жестяными мисками в руках и хлебали из них, как собаки около будок. Наверное, Василию Абрамовичу тоже было неприятно есть чужой ложкой. Он попросил у повара топор и пытался вытесать ложку из полена.

– Реб Ицхок! – крикнул похожий на аптекаря еврей другому зеку, такому же доходяге и тоже с вафельным полотенцем на голове. Тот, впрягшись в оглобли, как лошадь, тащил огромную бочку. – Что за сокровище везете?

Золото! Золото везу! – сердито отмахнулся запряженный.

– Кто это? – спросил Залман. – Кажется, я его где-то видел. Как его фамилия?

– Рабинович. Известный музыкант.

– И что он делает?

– Вы же слышали. Золото везу. Золотарь я.

Глава 88

Вдруг подул ветерок, и ассенизатор первым бросился бежать, сам не зная куда. Концы вафельного полотенца развевались, разгоняя тучу налетевшей мошкары. Василий Абрамович воткнул топор в полено и тоже кинулся прочь. На бегу он мощно загребал руками, как будто плыл.

– А этот еврей откуда? – спросил у Залмана ассенизатор.

– Который ложку делал? Он белорус. Но по-еврейски говорит получше некоторых евреев. На западе почти все белорусы, украинцы, молдаване еврейский знают. Прекрасно можете с ними на нашем языке разговаривать, но лучше будьте поосторожнее.

– Может, вы и правы. За неделю вы, новички, узнаете, что такое труд на озере. Чтоб оно провалилось! С шести утра до семи вечера его надо вычерпывать, а на другой день в нем опять воды по горло.

Реб Зберчук, где вы там? Соберите с народа деньжат на водку да подкупите наших надсмотрщиков, надзирателей и урок, чтобы они не слишком мучили наших евреев, не били палкой или ремнем, боже упаси. Старший над ними, бригадир Павлов, – это же зверюга… Ярмарка рабов для шахт, как обычно, в конце недели.

На другой день, еще задолго до обеда, все с нетерпением ждали ярмарки, еле на ногах стояли, уж лучше в шахте, чем здесь. Когда кто-нибудь случайно или нарочно проваливался ногой в озеро, урки вместе с надзирателями не позволяли вылить из ботинка ледяную воду и хоть немного посушиться у костра. К тому же некоторых арестантов заставляли нагружать носилки камнями: такая тяжесть, что с места не сдвинуть.

…Ваеги эрев ваеги бойкер …[1]

Холодная осенняя ночь на голых нарах, ужасная теснота, открытые рты вдыхают и выдыхают спертый воздух. До рассвета всех подняли шум, крики. В бараке зажгли свет. На грязном полу кучей валялись расшнурованные ботинки, задубевшие так, что надеть невозможно, и расстегнутые арестантские робы. На нарах никого не осталось, все сонные, босые, в одном белье, стояли посреди барака в окружении вертухаев, не понимая, что происходит. Только позже узнали, в чем дело. По секрету каптер рассказал, пленный польский солдат Алтер Зберчук. Женщина с соседней зоны украла мужскую одежду, переоделась и пробралась в барак к изголодавшимся мужчинам.

Всю ночь не спали, но утром на работу погнали всех, кроме привилегированных – блатных.

Зберчук указал на одного из них – рослого, стройного парня в заграничном костюме и высоких хромовых сапогах. Каптеры знают все, и Зберчук знал, что этот парень был приговорен к расстрелу и сидел в камере смертников с еврейскими писателями. Отведал там последнюю пайку перед смертью.

– Его Алеша зовут, – тихо сказал Зберчук Залману. – С еврейским писателем сидел, Марком Полонером. Такого красавца в целом мире не сыскать, от него солнечный свет исходил. Казалось, их всех

1 И был вечер, и было утро (древнееврейск.).

не сегодня завтра расстреляют. Ждали смерти. Поговорите с Алешей. Может, он вам что-нибудь расскажет. Через меня нельзя. Я каптер, мне запрещено.

Ровно через неделю, когда вернулись к обеду с работы, из барака никого не выпустили. Посредине составили несколько столов, накрыли их красным ситцем, как гроб. За ними сидели торжественные, как в праздник, мужчины в военной форме и женщины в белых халатах. Арестантам приказали раздеться догола. Даже врачихи с ярмарки рабов осмотрели и ощупали каждого зека с нескрываемым удовольствием, будто годами не имели близости с мужчиной. На худых, костлявых рабах из одежды была только посиневшая кожа.

Среди годных для работы в шахте оказался и Залман Мандел.

В тот же день, тщательно проверив их скудное имущество, отобранных заперли в эшелон. На каждой станции к нему прицепляли новые теплушки, оборудованные по всем канонам лагерного искусства. Сесть было некуда. Полпути стояли, опираясь друг на друга.

Около щели в стене вагона Залман увидел мальчика лет девяти-десяти.

Не может быть! Залману показалось, что он знает этого ребенка. Где они могли видеться? Ну да, в Голицыне, в подмосковном пионерлагере для детей писателей. Залман один раз был там с писателем Кипринским.

– Кипринский тебе не родственник?

– Это мой дядя.

– Боренька?

– Да.

Больше Залман не сказал ни слова. Он не мог поверить, что этот ребенок – тот милый, живой Боренька, который на литературном утреннике в пионерлагере громко, с выражением читал «Что такое хорошо и то такое плохо» Маяковского.

Со стороны Абези, куда держал путь эшелон, потянуло началом весны, хотя ночи были холодные: во сне прислонишься головой к стенке – к утру волосы примерзли. Потребовалось немало времени, чтобы Борис рассказал свою историю.

В их пятом классе была очень красивая девочка, Женечка. И один мальчик в нее влюбился. А ее брат придумал, чтобы они втроем

бежали за границу. И приказал Борису собственноручно написать план, как это сделать. А потом отнес этот план куда надо. Среди ночи к ним пришли, надели на него наручники… Маме даже не разрешили с ним попрощаться. Забрали у нее ее счастье единственное. Так и оставили лежать без сознания на полу.

Ему чуть ли не каждый день присылают из дома посылки. Он отдает их бригадирам и вертухаям, чтобы в сильный мороз его не выгоняли на работу, особенно на тяжелую.

Залман пытался сдержать слезы и не мог.

– А знаете, – очень тихо сказал Боренька, – нас ведь скоро освободят.

– Милый, с чего ты взял? – Залман обнял мальчика, как сына.

– От старика одного слышал, молдаванина. Молдаване считают, кто поднял руку на евреев, тому недолго осталось.

– И ты в это веришь?

– Не знаю. Жаль, Пинхас Машберг до этого не дожил. В прошлую среду умер. В бараке, во время операции. Я случайно рядом оказался, когда он умирал. Знаете, о чем он попросил перед смертью? Чтобы я хоть несколько дней по нему кадиш[1] читал. А я не умею.

– Я тебя научу. А пока поспи. – И, нежно прижав голову мальчика к своей груди, начал его убаюкивать.

Трудно сказать, откуда молдаване заранее об этом узнали. Но чудо произошло. На четвертый или пятый день, после того как они вышли из вагонов, все оказались свободны: поезжай куда хочешь, иди куда хочешь. Только бумажки нет, а без нее винтовка перегораживает путь.

Вдруг то ли из-под земли, то ли с неба раздался родной, знакомый голос:

– Залман… Залманка!

Конвоир еле успел винтовкой преградить Залману дорогу, чтобы тот не перепрыгнул на другую сторону, где с распростертыми объятиями, как перед открытым ковчегом со свитками Торы в синагоге, стояла Элиша.

1 Молитва по умершему.

– Господи! – Он все равно рванулся к ней. – Как ты здесь очутилась? Откуда? Как ты?

Постарался удержаться, но все-таки тихо спросил:

– Ты одна? У тебя есть кто-нибудь?

– Дорогой мой, я от тебя ничего не скрою, все тебе расскажу. Все-все. Залманка, любимый… А остальные где? Все их жены сюда съехались. Любимый, помоги им отыскать…

Глава 89

Сегодня Йом-Киппур[1].

Только что в синагоге – в молельном зале, в вестибюле, на лестнице, под лестницей – стоял такой шум, что оглохнуть можно. Но еще громче шумела длинная улица Архипова, ведущая к синагоге, где в Дни трепета[2] собирались в основном женщины: вдовы погибших на фронте, бабки и деды, чьих детей и внуков заживо сожгли или разрубили на части всюду, где ступил фашистский кованый сапог.

На улице и в синагоге полно сватов, которые пытаются сделать доброе дело – найти пару для бедных и одиноких сирот.

Элиша с Береле все время держались около Залмана, помогали ему искать тех, кто освободился из северных и южных лагерей. Их нетрудно было узнать в толпе по так называемым «талесам»[3] – белым холщовым лентам, нашитым на спины, колени, рукава, поля шляп.

Синагогальный служка, рослый, широкоплечий мужчина с густой бородой, ударил кулаком по биме[4], подавая знак, что сейчас будут читать изкор. Кантор, худой, высокий юноша с бегающим кадыком, стоял в окружении хора – слепых стариков с тонкими, слабыми голосами плакальщиков.

Никто никого не торопил. Прочитали изкор по всем погибшим на войне, по жертвам резни, по убиенным раввинам, резникам,

1 Осенний праздник, день искупления грехов, пост. Приходится на десятый день после Рош а-Шана – праздника наступления нового года.

2 Первые десять дней года по еврейскому календарю, время покаяния.

3 Талес – молитвенное покрывало.

4 Бима – огражденное возвышение посредине синагоги, с которого читают свиток Торы, произносят проповеди и т. д.

канторам, и на биме появились чернобыльский проповедник и рыжебородый гуляйпольский цадик с белыми нашивками на спине. И вместе с ними на биму поднялись все освобожденные лагерники, пришедшие сегодня на изкор. Боренька ни на шаг не отходил от Залмана и Элиши. Лагерная семья, только что из-под свадебного балдахина.

Шире открыли ковчег, и прогремел мощный голос чернобыльского проповедника, будто доставшийся ему по наследству от бердичевского ребе:

– Изкор Элойгим нишмас…[1]

Чернобыльский проповедник не забыл никого из погибших еврейских писателей: ни павших в бою, ни убитых в городах и местечках. А если кого-то и пропускал, ему сразу напоминали.

Мертвая тишина вытекала из синагоги через окна, двери и стены, заполняла собой окрестные улицы и переулки.

Чернобыльский проповедник и гуляйпольский цадик подошли к распахнутому ковчегу, откуда гремел над землей и под небесами вечный еврейский изкор.

1 Да вспомнит Бог душу… (древнееврейск.). Начальные слова молитвы изкор.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мордехай Юшковский.
Самуил Гордон и его
историческая эпопея 6

Глава 1 10
Глава 2 24
Глава 3 29
Глава 4 32
Глава 5 35
Глава 6 49
Глава 7 58
Глава 9 76
Глава 10 82
Глава 11 88
Глава 12 94
Глава 13 101
Глава 14 105
Глава 15 113
Глава 16 115
Глава 17 128
Глава 18 136
Глава 19 139
Глава 20 154
Глава 21 162
Глава 22 169
Глава 23 177
Глава 24 180
Глава 25 189
Глава 26 201
Глава 27 210
Глава 28 225
Глава 29 236
Глава 30 244
Глава 31 249
Глава 32 258
Глава 33 261
Глава 34 269
Глава 35 274
Глава 36 278
Глава 37 287
Глава 38 292
Глава 39 296
Глава 40 308
Глава 41 314
Глава 42 326
Глава 43 333
Глава 44 339
Глава 45 347
Глава 46 356
Глава 47 359
Глава 48 365
Глава 49 367
Глава 50 375
Глава 51 382
Глава 52 391
Глава 53 395
Глава 54 400
Глава 55 405
Глава 56 412
Глава 57 416
Глава 58 419
Глава 59 422
Глава 60 426
Глава 61 432
Глава 62 439
Глава 63 440
Глава 64 443
Глава 65 451
Глава 66 460
Глава 67 467
Глава 68 474
Глава 69 479
Глава 70 484
Глава 71 490
Глава 72 497
Глава 73 503
Глава 74 507
Глава 75 510
Глава 76 514
Глава 77 518
Глава 78 526
Глава 79 529
Глава 80 535
Глава 81 540
Глава 82 542
Глава 83 549
Глава 84 558
Глава 85 564
Глава 86 566
Глава 87 569
Глава 88 571
Глава 89 575

Самуил Гордон

ИЗКОР
Поминальная молитва по осужденным писателям

Роман

Перевод И. Некрасов, Н. Привальская
Корректор Е.Л. Корниенко
Дизайн, макет В. Демихова

Подписано к печати 27.05.2024
Формат 60x90/16. Усл. п. л. 36,25. Гарнитура Minion Pro.
Печать офсетная. Тираж 120 экз. Заказ №
Отпечатано в АО «Хабаровская краевая типография»
680000, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31